В 65
1939

ВОЙНА

В65

ВОЙНА

Берлин 2587

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
6	5 снизу	Впоследствие	Впоследствии
10	16 сверху	произведение	произведения
15	8 »	литературав	литература
83	22 »	помешался	помещался
170	16 »	приведение	привидение
305	15 »	затрат	затрёт
414	10 снизу	Арматонов	Артамонов
636	3 сверху	большовизма	большевизма

Сборник „Война"

ЛЕНИНГРАД
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1939

B65

ВОЙНА

К 25-ЛЕТИЮ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1914—1918

ЛЕНИНГРАД

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

1939

В — 65

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

582287

ПРЕДИСЛОВИЕ

Двадцать пять лет прошло с того дня, когда господствующими классами империалистических держав была начата первая мировая война, принесшая неисчислимые беды человечеству. Ее организаторы рассчитывали на „молниеносные победы". Германский генеральный штаб намеревался обходным наступлением через Бельгию уничтожить французскую армию. Этот план разгрома Франции и ее союзников был разработан немецким генеральным штабом в лице Шлиффена за много лет до августа 1914 года. Уверенность в осуществимости этого плана была полная. Недаром немецкие военачальники в дни августовского похода на Париж говорили о начавшейся войне как о желанной, быстрой и веселой („frischer, frommer, fröhlicher, freier Krieg").

Со своей стороны французский генеральный штаб готовился разбить германскую армию ударом во фланг в районе Арденн или прорывом в Лотарингию. Австрийский генштаб был также уверен, что ему удастся наступлением на правом берегу Вислы отрезать силы царской армии, которые сосредоточивались в Польше. Генеральный штаб царской России, договорившись с французским командованием, готовился с 800-тысячной армией захватить Галицию и отсюда направить свой удар на Берлин. Английские империалисты имели свои столь же радужные военные планы, рассчитанные на совместные действия с французской армией.

Война началась. Миллионные армии были приведены в движение. Под лозунгами „На Берлин!", „На Париж!" армии вторгаются на земли своих соседей. Немецкие армии занимают Бельгию и подходят к французской границе с севера. Французы пытаются наступать на Эльзас-Лотарингию, но терпят здесь крупное поражение. Отвод французской армии на юг спас ее от уничтожения. 5 сентября 1914 года французская и английская армии останавливаются на реке Марне. Гром канонады слышен в Париже. Буржуазное правительство

Франции в испуге, оно бежит в Бордо. Наступают решающие дни. Немецкому командованию кажется вполне возможным осуществить план Шлиффена и молниеносным ударом поставить французов на колени. Но здесь произошли некоторые непредвиденные обстоятельства. Россия сумела мобилизовать свою армию скорее, чем это предполагалось немецкими военачальниками. Кроме того, немецкие войска столкнулись с совершенно непредвиденным героическим сопротивлением бельгийского народа в защиту своей опустошаемой родины. Германскому командованию пришлось оставить ряд корпусов на осаду крепостей в Бельгии. В это время две армии царской России вторгаются в Восточную Пруссию. Не встречая почти никакого сопротивления, так как основные воинские соединения Германии действовали на Западном фронте, русские войска быстро продвигаются вперед. И здесь у немецкого командования нехватило хладнокровия. В самый решительный момент они ослабляют свой удар по Парижу снятием двух корпусов для задержки наступления русских. Время упущено. Немецкая армия выходит к полю сражения на Марне ослабленной, с разрывом в группировке сил, со слабым левым флангом, без достаточного количества снарядов и резервов.

Кровопролитные сражения на Марне фактически явились для Германии проигрышем войны. Русские войска, ценой своего вторжения в Восточную Пруссию без достаточной подготовки тыла, связи и снабжения армии (это и привело к разгрому армию Самсонова 26—29 августа), спасли Францию и Англию.

В итоге марнских боев огромные армии зарылись в землю, и была начата новая страница войны, связанная с позиционными действиями. Надежды на „быструю" победу навеки развеялись. И вместо того, чтобы закончить войну, как обещал Вильгельм немецкому народу, до „осеннего листопада", война продолжалась четыре года три месяца и двадцать шесть дней. Война охватила весь мир. Свыше десяти миллионов рабочих и крестьян полегли костьми на полях сражений. Двадцать миллионов остались изувеченными на всю жизнь. Десятки миллионов трудящихся погибли от голода и эпидемий.

Император Вильгельм в письме к матери одного убитого офицера заявлял: „Видит бог, я не желал этой войны". Ллойд-Джордж в своей речи остроумно охарактеризовал подлинный смысл этих слов: „Совершенно правильно, — этой войны император Вильгельм не желал. Он желал другой войны — такой, в которой Германия в два месяца покончила бы с Францией и Россией". Но не только германские военачальники были вынуждены признать крушение своих надежд на быструю победу. Нерадостны были наступившие дни и для Франции. Позиционная война влекла за собой неисчислимые жертвы.

На западноевропейском театре к началу 1915 года фронт протянулся на восемьсот километров. От трех до четырех миллионов солдат залегли с каждой стороны в окопах. Даже на небольших участках фронта наступление требовало применения огромных технических средств и обычно приносило незначительные результаты при страшных потерях. Так, в том же 1915 году весенние и осенние бои в Артуа и Шампани, несмотря на колоссальный расход снарядов (осенью в Артуа было выпущено пять миллионов снарядов), несмотря на сотни тысяч жертв, по своим тактическим и стратегическим результатам были исключительно ничтожны. И такая же картина была на других фронтах. Так, для наступления в Галиции и Польше австро-германское командование было вынуждено сосредоточить два миллиона солдат и четыре тысячи орудий. Армия Макензена на фронте у Горлицы, в Западной Галиции, наступает под прикрытием ураганного огня 1500 тяжелых орудий. Здесь развертываются бои, в которых принимает участие до четырех миллионов людей. Несмотря на огромные технические преимущества противника, русская армия героически сопротивляется. Здесь следует отметить, что за первые три месяца войны царская армия полностью расстреляла свои снаряды. Нехватало винтовок, патронов. Несмотря на это убожество военно-технического оснащения, несмотря на бездарность военного руководства, русская армия выдерживает напор многомиллионной немецкой армии, оснащенной великолепной техникой. И в итоге, одержав некоторые „успехи" в Польше, германская армия была не в состоянии продолжить наступление до „решающей победы", ибо она в изнуряющих боях понесла громадные потери и не имела резервов.

Более того, русская армия еще раз в продолжение войны спасает Англию, Францию и Америку от разгрома. Это произошло в дни верденских боев. За время сражений под Верденом общие потери французов и немцев определяются в два миллиона человек, из которых четыреста тысяч пали мертвыми. Артиллерийский огонь в боях был таким смертоносным, что из четырехсот тысяч убитых триста тысяч человек не могли быть даже опознаны. Здесь немцы пытались создать такую „зону смерти", в которой ни одна воинская часть не могла бы удержаться. Каждый квадратный метр обстреливаемой площади покрылся толстым слоем железа и стали. Но, несмотря на эту всеуничтожающую силу огня, лишь на пятый день сражения немцам удалось занять форт Дуомон.

В эти тяжелые дни на помощь Франции снова пришла русская армия. Войска Юго-западного фронта в мае 1916 года переходят в общее наступление. Талантливый военачальник генерал

Брусилов разрабатывает план, согласно которому противнику одновременно наносился удар в различных пунктах фронта. Немецкое и австрийское командование было дезориентировано. 22 мая войска генерала Брусилова перешли в наступление. Как рассказывает Брусилов в своих воспоминаниях, „со дня наступления 22 мая по 1 ноября Юго-западным фронтом было взято в плен свыше 450 000 человек офицеров и солдат, то есть столько, сколько в начале наступления, по всем имевшимся довольно точным у нас сведениям, находилось передо мной неприятельских войск. За это же время противник потерял свыше 1 500 000 убитыми и ранеными".

Это победоносное наступление русской армии настолько деморализовало немецкое командование, что оно вынуждено было снять с Западного фронта двадцать четыре дивизии. Напряженное положение, создавшееся на Западном фронте и, в частности, под Верденом, было ослаблено. Силы германской армии были надломлены, и она, в результате контрнаступления французов, понесла под Верденом такой урон, от которого более не смогла оправиться.

Здесь следует отметить, что для усиления средств атаки немцы в начале 1915 года на французском и русском фронтах стали применять отравляющие вещества.

Вопреки буржуазному международному праву, исключавшему, в согласии с постановлением Гаагской мирной конференции 1899 года, использование снарядов, выбрасывающих „удушливые и ядовитые газы", немцы внезапно применили это запрещенное оружие в невиданных масштабах и формах. Громадную роль в создании германского химического оружия сыграл известный германский ученый, химик, проф. Фриц Габер, который предложил имевшийся в большом количестве в Германии хлор в качестве средства нападения. Как повествует официальное английское описание первой германской газовой атаки у Ипра, англо-французские войска понесли громадные потери. Было отравлено газами пятнадцать тысяч человек, из которых пять тысяч умерли.

В конце мая 1915 года немцы повторили газовую атаку на русском фронте у Воли-Шидловской, в районе Болимова. Хотя верховная ставка и командиры корпусов и дивизий уже имели точные сведения о газовой атаке на Ипре, русские войска оказались совершенно неподготовленными к этой атаке и понесли большие потери. Впоследствие все воюющие державы стали применять отравляющие вещества.

Война продолжалась. Человечество захлебывалось в крови и изнемогало от страданий. Вожди Второго Интернационала еще до первого пушечного выстрела предали рабочий класс, встали на защиту империализма.

В эти дни лишь одна большевистская партия была на боевом посту. Ленин, находясь в эмиграции, организовывает пораженцев, ведет упорную борьбу с оборонцами, социал-шовинистами и их помощниками центристами, русскими представителями которых были Иуда-Троцкий и Мартов. Ненавидимый всей мировой буржуазией, травимый социал-шовинистами, Ленин сплачивает в Циммервальде левые элементы Второго Интернационала. Он резко критикует предательство Радека, Бухарина и Пятакова; он беспощадно разоблачает двурушничество Зиновьева и Шляпникова; он бичует позорное поведение на царском суде Каменева, трусливо отрекшегося от солидарности с ЦК по вопросам об отношении к войне. Из всех партий, принадлежавших ко Второму Интернационалу, лишь одна только большевистская партия не только осталась верной знамени борьбы против империализма и за социализм, но приступила к немедленной организации этой борьбы. Ленинские и Сталинские лозунги, их призывы бороться за превращение империалистической войны в войну гражданскую вызвали бешеный вой не только русской буржуазии и русских меньшевиков, но и международных предателей рабочего движения. Но, несмотря на все препятствия, эти лозунги становятся достоянием все бо́льших и бо́льших масс трудящихся. И в итоге большевистская партия сумела возглавить рабочий класс и крестьянство России, прорвать огненное кольцо и вывести народы нашей родины из кровавого потока к миру.

Мировая война резко обострила классовые противоречия во всех воюющих странах. В тяжелых условиях военного времени начало развертываться широкое стачечное движение. Буржуазные правительства, прибегая к террору, пытаются перевести народы из стадии империалистической войны в стадию империалистического мира. На-смерть перепуганная буржуазия, дабы отвести от себя гнев обездоленных широких масс, стала кричать на всех перекрестках, что эта война последняя, что больше войн не будет. Продажная капиталистическая пресса заверяла, что ружья, пулеметы и пушки будут перекованы на плуги и сохи. Но действительность показала другое. „Мирные договоры", завершившие бойню и перекроившие карту мира, в результате военного разгрома германского империализма, не разрешили и не могли разрешить ни одной проблемы мира. Наоборот, Версальский мирный договор стал источником нового, еще более усиленного роста милитаризма. Здесь можно было видеть глубокую справедливость того предостережения, которое сделали народам большевики, что без победы трудящихся, без изменения общественного строя эта война не только не будет последней, но,

наоборот, подготовит почву для нового тура войн. Эта суровая правда была подтверждена теми событиями, которые последовали в наступившие „мирные“ годы. Состояние войны ни на день не прекращалось в капиталистическом мире. И с каждым годом все отчетливее и отчетливее было видно, что человечество неудержимо катится к новой, еще более страшной по силе разрушения, мировой войне. И вот сейчас мир втихомолку, как-то „незаметно“, вполз „в орбиту второй империалистической войны“ („Краткий курс истории ВКП(б)“, стр. 318).

События последнего времени, когда вся центральная Европа фактически пришла в состояние войны и военные действия происходят между Германией, с одной стороны, Польшей, Францией, Англией — с другой стороны, — эти события с наглядной убедительностью подтвердили суровую правду большевиков о новой мировой войне. Последние события, кроме того, разоблачили до конца так называемую „политику невмешательства“, чем до сих пор прикрывались, как ширмой, некоторые государства для подготовки новой империалистической войны. Эти государства, привыкшие „загребать жар чужими руками“, как о них говорил товарищ Сталин на XVIII Съезде ВКП(б), хотели бы видеть в первую очередь военное столкновение Германии с Союзом Советских Социалистических Республик. Но мудрая политика ленинско-сталинской партии большевиков, великий вождь народов Сталин предотвратили эту угрозу. Заключенный СССР с Германией пакт о ненападении еще раз продемонстрировал перед всеми народами незыблемость мирной политики Советского Союза. Товарищ Молотов на 4-й сессии Верховного Совета СССР сказал: „Советский Союз пришел к договору с Германией, уверенный в том, что мир между народами Советского Союза и Германии соответствует интересам всех народов, интересам всего мира“. Отсюда едва ли можно переоценить значение советско-германского договора, который означает поворот в развитии Европы и должен будет обеспечить дальнейший рост влияния Советского Союза на международное развитие. Договор о ненападении между двумя самыми большими государствами Европы является могущественным оружием в борьбе за мир. Сокращается поле военных столкновений. Уменьшается опасность разжигания провокаторами мировой бойни. СССР — великая страна социализма, оплот и надежда жаждущего мира человечества, под твердым, зорким и бдительным Сталинским руководством стоит на страже мира. Трудовое человечество, полное тревоги в связи с новой войной, ясно видит, что только диктатура пролетариата является единственным избавителем человечества от кровавых испытаний.

Совершенно естественно, что война — одна из самых основных тем современности — стала большой темой художественной литературы нашего времени. С первого дня мировой войны литераторы всех воюющих стран были „мобилизованы“ с целью служения войне. В эти годы создавались сотни и тысячи произведений, которые славили и в стихах и в прозе это страшное время. В одной малоизвестной статье, опубликованной в венгерском журнале „Nyugat“ („Запад“), А. М. Горький писал, что „художественная литература нашего времени не создала ни одного художественного произведения, темой которого являлась бы война“. Эти выводы великого пролетарского писателя совершенно справедливы по отношению к шовинистической литературе, расцветшей таким махровым цветением в годы мировой бойни.

После крушения надежд на быструю и „веселую“ войну, после страшных испытаний и жертв, выпавших на долю человечества, в литературе происходит поворот от „барабанной лирики“, от ура-патриотических произведений к пацифизму. Этот официальный пацифизм второй половины 1916 года и последующих лет следует отделять от нелегального пацифизма первых месяцев войны. Новая пацифистская литература выполняла задачу снижения революционного настроения масс, — она стремилась вселить веру в реальность тех пацифистских лозунгов, которыми буржуазия обманывала массы. В связи со стремлением организаторов войны добиться „мирного“ перевода народов из стадии империалистической войны в стадию империалистического мира пацифистские идеи в то время совпадают с тенденциями самих правительств, а потому пацифизм и становится легальным.

Эта эра буржуазного пацифизма закончилась лишь в наши дни, на что указывал товарищ Сталин в своем отчетном докладе на XVII Съезде партии.

Затяжка войны, трудности одоления врага, рост революционного настроения внутри страны — все это и содействовало росту пацифистских настроений сверху. Ленин в ряде своих статей со всей беспощадностью вскрывал этот подлинный смысл буржуазного пацифизма. Ленин указывал, что эта пацифистская проповедь есть не что иное, как обман народа, что она стремится внушить рабочим доверие к буржуазии, прикрашивает империалистические правительства и их сделки между собою, отвлекает массы от назревшей и поставленной событиями на очередь дня социалистической революции. Это не что иное, как попытка правящих классов разоружить пролетариат и перевести его из вонючих и смрадных траншей на каторги капиталистических фабрик, где он и должен „честным тру-

дом" отрабатывать сотни миллиардов государственного долга. Ленин говорил, что пропаганда мира, не сопровождающаяся призывом масс к революционным действиям, способна лишь сеять иллюзии, развращать пролетариат внушением доверия к гуманности буржуазии и делать его игрушкой в руках тайной дипломатии воюющих стран. И в противовес пацифистской проповеди революционный большевизм, во главе с Лениным, обращался к трудящимся с призывом о превращении империалистической войны в гражданскую.

Как мы уже отмечали, особый расцвет пацифистская литература в Европе получает в 1916 году после страшных по своим потерям боев под Верденом. Это сражение, также как многомесячная кровопролитная битва на Сомме, начатая французами и англичанами в июне того же года, произвело огромное впечатление в радикальных кругах европейской интеллигенции и вызвало значительный поток пацифистских произведений. В это время появляются произведение поэта Жув, издавшего в 1916 году в Женеве „Поэмы против великого преступления", произведения Дюамеля, Лефевра и Рене Бенжамена. Роман последнего „Гаспар", в котором была показана „правда о войне", где, вопреки традициям шовинистической литературы, повествовалось о страхе солдат на фронте, их голоде и ропоте, — этот роман приобрел значительную популярность среди французских читателей. В несколько месяцев он разошелся в восьмидесяти тысячах экземпляров. Успех этот показателен: он прежде всего вскрывает усталость обывателя от войны. Благодаря этим же испытаниям войны крупнейший писатель современности, Ромэн Роллан, переживает эволюцию от отвлеченных гуманистических идеалов к солидарности с резолюционным пролетариатом. Недаром Роллан, когда в России совершилась пролетарская революция, приветствует ее, ибо видит в ней залог нового мира, подлинной справедливости, и выступает на защиту этого нового мира.

Но крупнейшим литературным событием этого времени, событием международного значения является выход в 1916 году книги Анри Барбюса „В огне".

В романе „В огне", который очень положительно был оценен Лениным, мы найдем суровую реалистическую правду о военном аде траншей. Барбюс не дает никаких иллюзий военной славы и сентиментального пацифизма во имя отвлеченной гуманности. Символ этой войны, как рисует ее Барбюс, не верещагинская пирамида черепов, а груда наваленных трупов в разных стадиях разложения, развороченных внутренностей. И все это затоптано в грязь ногами живых, тут же падающих жертв. Существование живых людей на войне ничем не отличается от положения неубранных мертвецов. Но

Барбюс еще не знает выхода из этого ада войны. Его книга еще остается в пределах военного кошмара, пока не явился „La lueur dans l'abyme" („Свет из бездны"), пока не создался роман „Ясность" (1919 г.), который говорит о просвещении мятущегося сознания благодаря свету Великой социалистической революции.

Здесь — повесть о незаметном мелком человеке, который благодаря страшным испытаниям войны начинает размышлять и постепенно приходит к пониманию подлинного социального устройства (вернее, неустройства) мира. И он делает вывод, что этот мир и самого себя надо революционно преобразить на новой основе. Барбюс, вступив в 1923 году в компартию, становится одним из мужественнейших поборников пересоздания мира. В ряде своих выступлений он поднимает голос против организаторов новой войны. Он принимает активное участие в организации в 1932 году Амстердамского антивоенного конгресса и прошедшего с громадным успехом летом 1935 года Парижского конгресса писателей в защиту культуры. Вся борьба Барбюса логически была заострена прежде всего против застрельщиков и организаторов новых империалистических войн.

Он и умер на этом боевом посту, отдав все свои силы борьбе против войны, защите своего нового социалистического отечества, которое одно лишь обеспечивает человечеству прекращение страшных войн.

Из французских писателей, повествовавших о войне и выросших на ее испытаниях, следует отметить поэта Марселя Мартине. Несмотря на то, что он не был на фронте, он сумел понять подлинный хищнический смысл затеянной капиталистами бойни. В сборнике „Les temps maudits" („Проклятые годы"), изданном по условиям военной цензуры в Швейцарии, поэт охвачен чувством революционного гнева к инициаторам войны и братской любви к своим классовым друзьям за рубежом. Стихи Мартине, подобно книгам Барбюса, имели большое значение в развитии классовой солидарности между литераторами, разделенными фронтами. Недаром немецкий поэт-гуманист Карл Оттен пишет послание Мартине, которое он начинает следующими словами:

Брат, я услышал твой крик,
Когда поезда давили меня,
Нагруженные новыми братьями.

Из наиболее значительных произведений послевоенной немецкой литературы следует отметить роман „Человек — добр" писателя-экспрессиониста Леонарда Франка. Это произведение идет под знаком пацифистской иллюзии о возможности путем доброй воли улучшить человеческую основу и увести людей с полей брани.

Самый заголовок романа вскрывает его направленность. Здесь тезис о том, что мораль, альтруизм и являются подлинной сущностью человека. Социальные условия плохи — да, но стоит человеку (абстрактному — и буржуа, и пролетарию) осознать религиозные основы своей совести, и человечество избежит войны и кровопролитий.

Не останавливаясь сейчас на ряде произведений немецкой литературы подобного характера, все же отметим пацифистскую книгу Ремарка „На Западном фронте — без перемен". На первый взгляд кажется, что книга Ремарка не ставит никаких проблем, не хочет разрешить какие-либо вопросы, что она лишь бесхитростно повествует о переживании человека, девятнадцатилетнего юноши, на фронте. Но Ремарк умно и тонко применяет свое оружие, пользуется ядом религиозно-пацифистской проповеди. „Да, — говорит писатель, — война ужасна" — вот бесстрастное свидетельство юноши, который за четыре года окопной жизни стал стариком и умер от случайной пули в октябре 1918 года. И он погиб в то время, когда мир стал уже почти реальным фактом, когда главное командование, уже уставшее от ежедневного выдумывания побед и отступлений „на заранее заготовленные позиции", ограничивалось трафаретным „на Западном фронте — без перемен". Но кто виноват в этом ужасе? — никто, нет виновных. Война — вне возможностей и воли отдельных людей, война стихийна.

„Нет, — должен ответить читатель Ремарку, — враг и виновник есть, — береги силу своей классовой ненависти для иной борьбы с двуногими хищниками".

Идейные недочеты книги Ремарка были в свое время отмечены зарубежной коммунистической прессой, которая, не отрицая значения этого произведения, указывала, что из войны родилась не только Великая социалистическая революция в СССР, но и восстание германского флота и революционное движение почти во всех империалистических армиях. Этот же важнейший момент совершенно отсутствует в книге Ремарка, являющейся документом ужасов империалистической войны, но не документом борьбы с нею.

„У меня нет возраста, — заявлял немецкий поэт Иван Голл в своей автобиографии. — Детство мое воспитали старики, юношу во мне зарезал бог войны". Эту тему о поколении, уничтоженном войной, вслед за Голлом и Ремарком ставит ряд немецких, французских, английских и американских писателей. Эта тема положена в основу французского психологического романа „Вопрос" Дрие Ла Ришелля. Здесь повествование о трагедии двадцатилетних, брошенных в огонь раньше, чем они успели сформироваться.

Но эта же тема войны трактуется рядом французских писателей и в революционном плане. Здесь прежде всего надо отметить роман „Антон Блуайе“ Поля Низана. Коммунист, член революционной ассоциации писателей Франции и один из организаторов ее, Низан в третьей книге своего романа дает нам яркую картину мелкобуржуазной Франции довоенного периода и Франции первых месяцев мировой войны.

Поль Вайян-Кутюрье на войне был храбрым солдатом. За боевые заслуги его произвели в лейтенанты. Но здесь, на фронте, Вайян-Кутюрье пришел к осознанию подлинного смысла трагедии своего времени. Это привело его в ряды компартии и сделало из него одного из активнейших борцов против войны, борцом за дело пролетарской революции. В своих стихах и статьях он борется против войны, он разоблачает организаторов и инспираторов новой бойни. Следует отметить, что тот же путь прошел и ряд немецких писателей. Так, Людвиг Ренн, бывший офицер императорской германской армии, впоследствии коммунист, именно благодаря фронтовым испытаниям пришел к идеалам пролетарской революции. Он рассказал об этом своем пути в романах „Война“ и „После войны“.

Рядом с Людвигом Ренном должны быть отмечены и такие писатели, как Лион Фейхтвангер и Арнольд Цвейг. Первая пьеса Фейхтвангера „Военнопленные“ была написана еще в окопах, во времена развала фронта. Последующая его драматургия возникает именно из художественного осмысления исторического опыта мировой войны и германской революции 1918—1919 годов.

Арнольд Цвейг в своем романе „Воспитание под Верденом“ показывает не только ужасы войны, но и то просвещение сознания, которое приносят фронтовые тяготы.

К числу значительных произведений английской литературы, посвященной теме войны, следует отнести роман Р. Олдингтона „Смерть героя“. Здесь писатель повторяет ту же тему о поколениях, уничтоженных войной. Несмотря на остроумие и внешний блеск произведения, его все же нельзя причислить к произведениям революционного характера. Мы можем отметить в романе и черты ремаркизма (восхваление „боевого товарищества“, искупляющего фронтовые испытания, пацифистское положение о войне как случайности и „грехопадении“) и другие пацифистские софизмы.

Из числа американских писателей, повествовавших о мировой войне, следует прежде всего указать на замечательный роман революционного писателя Эрнеста Хэмингуэя „Прощай, оружие“. Здесь Хэмингуэй трактует уже известную нам тему о человеческих жиз-

ных, сломанных и смятых мировой империалистической бойней. Эти юноши, вошедшие в жизнь вместе с войной, были нравственно и физически сломаны той страшной действительностью, которая перед ними раскрылась и участниками которой они оказались. С большим мастерством, с огромной силой напряжения при максимальной лаконичности Хэмингуэй показывает не только трагедию молодого человека своего времени, но и дает яркую реалистическую картину того страшного разгрома, который понесла итальянская армия в годы мировой войны при Капоретто. Эрнест Хэмингуэй с большой реалистической силой и яркостью показывает нам подлинное лицо „могущества" итальянского империализма. Антивоенные настроения, которыми охвачены герои Хэмингуэя, соответствуют и настроениям бежавших от Капоретто итальянских солдат, требовавших заключения мира.

На почве страшной усталости от войны и родилось отвращение к ней и ко всем ее зачинщикам. „Возьмите Италию, — писал В. И. Ленин 10 ноября 1917 года, фактически еще в самые дни Капоретто, — где на почве этой усталости было длительное революционное движение, требовавшее прекращения войны..." (Соч., т. XXII, стр. 19.)

Хэмингуэй стал одним из самых передовых писателей революционной современности благодаря тем испытаниям, которые ему пришлось пережить на фронтах войны. Это испытание в той или иной степени не миновало и других крупнейших писателей современной Америки. „Чему научила меня великая война? — спрашивает Теодор Драйзер. — Я могу ответить одним американским словечком: „пленти" (очень многому). Война навсегда сделала ясным то, что весь социальный порядок, существовавший до войны, находится в упадке и, более того, прогнил до самых корней..." Эти слова, вслед за Драйзером, могут повторить многие и многие писатели современного зарубежного мира.

Однако рядом с этой революционизацией сознания, характерной для передовых представителей культуры всех стран, мы должны отметить также отрицательные стороны в идейных течениях нашего времени. Силы реакции отнюдь не сложили своего оружия в итоге мировой войны. Наоборот, они, страшась успехов социалистического строительства в Стране Советов, носятся с планами войны против СССР, с мечтами о разгроме поднявшегося революционного движения масс. Эти мутные силы реакции начали наступление на все то передовое, что было завоевано человечеством в начале мировой войны.

В наши дни эти силы реакции, борясь против всего ценного

и прогрессивного в искусстве и литературе, стремятся развеять и те впечатления, которые оставила в сознании трудовых масс передовая литература, посвященная мировой войне. Революционным настроениям масс противопоставляется пропаганда шовинизма и милитаризма. Книжные рынки всех капиталистических стран наводняются бесчисленным количеством произведений, которые стремятся реабилитировать бойню 1914—1918 годов.

Столь же громадна по объему литературав японской военщины. Сотни романов, повестей и стихов на тему об армии и грядущей войне пишут не только писатели-профессионалы, но и офицеры всех рангов, находящиеся в запасе и на действительной службе. Несмотря на более чем убогие литературные качества этих произведений, они выдерживают сотни изданий (каждый тираж насчитывает десятки тысяч экземпляров) и буквально наводняют всю страну.

Не останавливаясь сейчас на анализе этих грубо-агитационных шовинистических произведений, мы отметим, что перед передовыми писателями всех стран встает громадная и ответственная задача сказать правду о войне в свете той истины, которая была сказана о войне вождями мировой революции Лениным и Сталиным. И эта задача прежде всего падает на советских писателей, которые должны построить свои произведения на основе ленинского анализа причин и характера мировой войны, на основе опыта перехода России из стадии империалистической войны в войну гражданскую, опыта победоносного строительства социалистического общества. Ряд произведений советской литературы уже дает нам талантливые образцы этого политического и художественного осмысления военных событий нашего времени. Здесь прежде всего нужно упомянуть произведения „лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи" — Маяковского, посвященные мировой войне. Еще в годы мировой войны Маяковский в огне, охватившем весь мир, услыхал твердую поступь нового мира и почти единственный из среды писателей царской России сумел поднять свой голос против мировой войны. Он пишет ряд антивоенных произведений, в которых бичует подлинных инспираторов и организаторов мировой бойни. В разгар мировой войны, в 1916 году, он работает над поэмой „Война и мир", которая была принята А. М. Горьким в издававшийся им антивоенный журнал „Летопись". Военная цензура правильно разглядела революционный смысл этого произведения и запретила его для публикации. Действительно, в этой поэме Маяковский с громадной эмоциональной силой разоблачает ложь и лицемерие, воздвигнутые вокруг войны. Здесь мы находим и самый символ этой лживой буржуаз-

ной цивилизации, отвергнутой поэтом, — символ войны и ее виновников:

Врачи
одного
вынули из гроба,
чтобы понять людей небывалую убыль:
в прогрызанной душе
золотолапым микробом
вился рубль.

Рубль — это виновник войны. Вот кто залил землю человеческой кровью. Вот кто ответствен за „ветер ядер, в клочья изорвавший и мясо и платье". Вот кто виновен в „стоне солдат, травимых газами".

А. М. Горький, принявший к публикации эту поэму Маяковского (поэма полностью была опубликована лишь в ноябре 1917 г. в издательстве „Парус"), стремился объединить вокруг своего журнала все передовое, что было в современной мировой литературе. Несмотря на бешеную травлю всей реакционной прессы, Горький подымает свой голос против войны. Он разоблачает империалистические государства, он проводит одну мысль, что этот строй должен быть уничтожен, что лишь пролетарская революция может обеспечить человечеству спасение от варварства и уничтожения.

Тема мировой войны становится одной из самых больших тем советской литературы. Правда, в некоторых произведениях наших писателей чувствуется и влияние тех гуманистических традиций, которые были характерны для антивоенной литературы Запада. Это можно видеть на примере романа К. Федина „Города и годы" и повести С. Розенфельда „Окопы". Но в своей массе советские писатели сумели самостоятельно подойти к трактовке этой большой темы. С этой стороны прежде всего надо отметить повесть Н. Тихонова „Война". Значение этого произведения в том, что здесь писатель впервые в мировой литературе ставит вопрос о месте и роли в войне техники. В проблеме газа и огнемета — центр замысла этого произведения. Н. Тихонов достигает большой силы в показе технического действия этих средств военной борьбы.

Ряд советских писателей ставит перед собой задачу показать русскую армию и в годы, предшествующие мировой войне. Это — тема и первой книги классического „Тихого Дона" М. Шолохова и „Капитального ремонта" Л. Соболева. В своем произведении Соболев стремится как бы раскрыть ленинское положение о том, что „надо объяснить людям реальную обстановку того, как велика тайна, в которой война рождается". Соболев широко пользуется

приемом публицистических отступлений, органически включая в ткань своего романа высказывания Ленина и Сталина, которые насыщает художественными образами.

Другие советские писатели стремятся дать реалистическое изображение отдельных этапов войны на самых различных ее участках. Так, К. Левин в своей повести „Танненберг" рассказывает о трагическом эпизоде мировой войны, связанном с разгромом у Мазурских озер армии Самсонова. Он показывает храбрость русского солдата и беспомощность царского командования. Победоносному разгрому австро-германской армии в Галиции в 1916 году посвятил повесть „Прорыв" Ю. Вебер. Это произведение отчетливо показывает, каких победоносных результатов добиваются русские войска при талантливом военном руководстве.

Н. Брыкин в своих рассказах „Малиновые юнкера" рисует развал фронтов царской армии в 1916 году. Он показывает рост революционного сознания масс накануне социалистической революции.

М. Зощенко создает своеобразный образ российского Швейка, Назара Ильича — господина Синебрюхова. Этот трусоватый обыватель выбит войной из жизненной колеи и всеми средствами стремится приспособиться к новым условиям.

Советские писатели не ограничиваются показом военных событий, исключительно связанных с Россией. Как мы можем видеть и по роману Федина „Города и годы" и по повести Н. Тихонова „Война" — наша литература переносит читателя и в немецкую действительность этих лет и во Францию.

Художественные очерки В. Финка „Комбатанты" ярко показывают, как зарубежная буржуазия стремится путем пышных ритуалов в честь „неизвестного солдата" развеять в массах тяжелые воспоминания о страшных испытаниях мировой войны.

Б. Лавренев в повести „Стратегическая ошибка" переносит читателя из русской фронтовой действительности в кулуары английского адмиралтейства. На примере нарочитого пропуска в Турцию английской эскадрой двух германских крейсеров — „Гебена" и „Бреслау" — он ярко вскрывает двуличность империалистических дипломатов этой былой союзницы царской России.

Повести М. Слонимского, А. Ульянского, В. Финка, П. Евстафьева, Л. Славина — все они дают освещение трагических событий мировой войны, все они стремятся показать подлинное лицо ее участников. Все эти произведения, объединенные в данном сборнике, стремятся в той или иной мере дать реалистическую зарисовку событий мировой войны. Эти произведения — яркое свидетельство того, что наш советский писатель вплотную подошел к ответственной задаче худо-

Государств. публичная

жественного рассказа о величайшем опыте империалистической бойни 1914—1918 годов.

Ленинская правда о войне, в той или иной мере отраженная в ряде произведений советских писателей, подымает их произведения на большую высоту. Эти произведения говорят о том, что нет никакой иной гарантии против войны, кроме победы пролетарской революции, кроме борьбы за еще бо́льшую военную мощь социалистического государства. Эту грозную правду человечество с особой ясностью видит сейчас, когда мир снова объят пламенем новой империалистической войны. Слова Ленина, сказанные восемнадцать лет тому назад, остаются незыблемыми и поныне: „Нельзя вырваться из империалистской войны и из порождающего ее неизбежно империалистского мира... нельзя вырваться из этого ада иначе как большевистской борьбой и большевистской революцией".

О. Цехновицер

Кирилл Левин

ТАННЕНБЕРГ

ПОВЕСТЬ

1

Эшелон был в пути уже пятый день. С непонятной медленностью двигался он к западу, часто подолгу ждал на полустанках. Большие поля тянулись по сторонам дороги. Сухие копны хлеба, похожие на юрты кочевников, стояли прямыми рядами. Поля уходили в даль. Потом начинался лес. В кустах росла ежевика, и когда поезд останавливался, солдаты прыгали вниз и собирали темные ягоды. Вокруг была тишина. Ночи наступали теплые, ясные. В небе высыпало много звезд. В теплушках не зажигали огней. Во мраке блестели огоньки папирос, слышались тихие голоса. Засыпал эшелон, и вдруг лязгали буфера, повизгивали колеса, паровоз неторопливо тащил вагоны. Как-то ночью видели в лесу костер. Два человека сидели неподвижно, охватив руками колени. Из лесу выскочил крупный пес, долго бежал рядом с вагонами, потом прыгнул в кусты, исчез. На больших станциях приходили толпы с оркестрами, флагами, пели гимн, кричали «ура». Женщины раздавали булки и папиросы. Пока стояли в каком-то городе, из женского монастыря монашки привезли целую корзину образков, кланяясь, совали их солдатам. Примчалась коляска, запряженная парой караковых лошадей. Человек в белой фуражке выбежал на перрон и пожимал руки офицерам.

— Ах, господа, господа, как я вам завидую! — громко восклицал он. — Как я вам завидую!

Его глаза увлажнились, он пригласил офицеров к себе.

*

Представил им свою жену, короткую, кривоногую, чем-то напоминавшую кактус.

За станционными зданиями на круглых грязных площадях, одинаковых, кажется, на всех захолустных российских станциях, стояли мужицкие телеги. Маленькие пузатые лошадки были привязаны к обгрызанным столбам. Их владельцы опасливо вылезали на перрон, в недоумении и страхе оглядывали длинную теплушечную цепь, солдат, сидевших на полу теплушек и свесивших наружу ноги, походные кухни, стоявшие на открытых платформах.

Пожилой рыжеватый крестьянин, одетый, несмотря на лето, в полушубок, вытирая шапкой слезящиеся трахомные глаза, рассказывал солдатам, что у них в деревне в течение трех дней забрали почти всех мужиков.

— Идите, значит, и идите, — негромко жаловался он. — А зачем нам итти? Ничего нам неизвестно и не объяснено. Это, дорогие, все равно как в сказке. Налетел змей-горыныч, выхватил любого и унес... Горько, ох, как горько мужику.

Шея у него была коричневая, обожженная солнцем, лицо сухое, потрескавшееся, на щеках и подбородке заросшее бородой. Солдаты молча смотрели на него. Среди них было много запасных, только-только оставивших свои деревни, и им был близок и весь до мелочей понятен этот мужик, летом ходивший в полушубке. О войне они знали не больше его, хотя были в защитных рубашках, вооружены и должны были в ближайшие дни столкнуться с тем неведомым врагом, о котором с таким недоумением говорил мужик.

Ночью проезжали мимо большого завода. Красные, налитые огнем окна были совсем близко от дороги. Тяжелое гудение машин доходило до вагонов. Поезд медленно прополз через полустанок. В скупом свете керосиновых фонарей солдаты увидели толпу. Люди стояли тесно сбившись. Полустанок и завод скрылись в темноте, мимо поплыли насыпи, груды сложенных решетчатых щитов, низко над землей показались и прошли зеленые фонарики стрелок.

Все ближе подъезжали к границе. Пути были забиты эшелонами. На маленькой станции скомандовали выходить, брать с собой вещи. Солдаты шумно вылезали

из вагонов, торопливо строились вдоль пути, поправляли походные мешки, смотрели на опустевшие теплушки, в которых уже обжились. Многие оставляли их с таким чувством, словно бросались в воду. Другие смеялись, были довольны.

— Надоело ехать, — сказал кто-то. — Скорей бы нам до немца добраться. Все они к нам ездиют, надо теперь нам посмотреть, как они живут.

— Еще как встретят, — насмешливо ответил второй, — мы ведь незваные.

— Встретят, — уверенно сказал первый. — Нас ведь мильон. Вот она, русская силушка.

Офицеры шутили с солдатами, девятая рота запела лихую песню. Карцев, становясь в ряды, как-то по-новому почувствовал в руке тяжесть винтовки, на поясе вес подсумков, на груди патронташ, все тридцать гнезд которого были набиты боевыми остроконечными патронами.

Рядом стоял Гилель Черницкий. Черницкий был спокоен, даже весел, он похлопывал по спине скисшего Самохина и говорил:

— Не пучи глаза, а то они у тебя выскочат и ты не увидишь немцев. Достань-ка махорку. Или, постой, у меня есть папиросы. Не робей, Самохин!

Самохин за неделю до выступления в поход вернулся в роту из госпиталя, в котором лечился около двух месяцев. Улыбаясь, он стоял перед Черницким и закуривал. Бородатые запасные оглядывались в смятении. Возможно, что им мерещились немцы. Они не знали, что еще многие десятки километров отделяют их от границы и от противника. Кадровые солдаты весело подсмеивались над ними. Кто-то плясал под губную гармошку.

Машков ходил вдоль рядов. Надувал щеки. Взвод его разросся — в нем было шестьдесят человек, и он почувствовал себя чуть не ротным командиром.

В стороне от солдат вокруг командира эшелона, толстого пожилого подполковника Смирнова, собрались офицеры. Смирнов сообщил, что отсюда отряд пойдет походом на соединение с другими эшелонами полка. Подполковник отяжелел, отвык от походного снаряжения, новый кожаный пояс туго сжимал его брюхо, он был сердит, беспокоен. Ротные командиры смотрели внимательно и озабоченно. Молодые подпоручики и пору-

чики были радостно возбуждены. Война манила их, награды и героические бои, лихие разведки, стремительный поход через неприятельскую землю на Берлин мерещились им в розовой дымке. Боевой походкой, рисуясь перед самим собой, прошел толстенький поручик Жогин. Нетерпеливо ждал приказа о выступлении подпоручик Руткевич, длинными пальцами в лайковой перчатке перебирая темляк шашки. Спокойно поглядывал на Смирнова старый капитан Федорченко. Для себя он твердо решил, что эта война поможет ему добиться заветной мечты — штаб-офицерского чина.

«Пускай молодежь лезет под пули, — думал капитан, — пускай побесится. Я пойду себе тихонечко, смирненько. Слава богу, в японской уцелел и эту кампанию проделаю. На рожон не попру, даст бог, батальон через месяц освободится, тогда риску меньше будет. Быть тебе полковником, Федорченко, ох, быть».

Он завистливо перебирал своих соперников, думая, что ему, старому, заслуженному офицеру, должны в первую очередь предоставить вакансию батальонного командира.

Роты построились. Васильев, пощипывая усики, подошел к десятой роте. Он неторопливо ходил по рядам, заглядывал в солдатские лица, улыбался и шутил.

— Ну, вот, ребята, — сказал он, — пойдем походом. Держите себя крепче, жителей не обижайте. Неприятель хотя далеко, но все же надо быть настороже. Бойтесь паники и вздорных слухов. Если будем спокойны, ничего плохого с нами не случится. Сила у нас такая, что если не оплошаем и не ошибемся, а серьезно, по-солдатски возьмемся за дело, никакой немец не будет нам страшен.

Его слова и ясный добродушный вид хорошо действовали на солдат. Десятая рота оживилась, ряды подравнялись. Когда скомандовали двигаться, сотни новых, еще не стоптанных солдатских сапог бодро ударили о землю.

2

Неширокая полевая дорога вывела к редкой осиновой роще, за рощей лежал луг. Кочки покрывали его, они, как резиновые, поддавались под ногами. Было утро. Крестьянская телега с задранными оглоблями стояла на

лугу. Она была завалена матовым, еще зеленоватым сеном. Хозяев не было видно. Солдаты жадно вдыхали мирный запах сена, косились на телегу. Солнечные лучи плавили туман, стоявший над лугом. Сочная трава хрустела под ногами, сапоги стали мокрыми от росы. Молодой рыжий пес рыча выскочил из травы и озадаченно присел, пораженный таким, никогда еще невиданным скопищем людей. Началось болото. Ряды расстроились. Каждый старался ступать по кочкам, солдаты сталкивались друг с другом, упал Самохин, попав ногой в яму.

Машков по старой привычке ударил его, приговаривая:

— До сих пор, сволочь серая, не научился ходить!

Болото кончилось, пошли кусты, нечастые деревья, показался покатый со срезанной вершиной холм, а за ним желтая песчаная дорога. Солнце медленно ползло по синеватому, с белыми лоскутьями облаков небу. Шли уже больше двух часов. Становилось жарко. Скатки давили плечи и шею, винтовки несли не по-походному — на ремнях, а по-строевому — на плечах, у солдат затекали руки. Никто не наполнил фляжки водой, все мучились от жажды. Черницкий размашисто шагал, завалив штык, неутомимо шутил с товарищами. Уставший Карцев удивлялся его бодрости. Пользуясь тем, что рота шла вразброд, он пробрался к Черницкому. Возле Гилеля, прихрамывая, в потемневшей от пота гимнастерке шел Чухрукидзе. Он стер ногу, так как новые сапоги, выданные ему перед походом, были ему велики и портянки сбивались у пальцев. Гилель советовал ему присесть и перемотать портянки, но Чухрукидзе, застенчиво улыбаясь, мотал головой. Он боялся взводного.

— Как себя чувствуешь на войне, Гилель? — спросил Карцев.

— Войны, положим, еще нет, — медленно ответил Черницкий, — но я очень хотел бы посмотреть, какая это получится война. Я не верю ни полковнику Максимову, ни генералу Гурецкому. Они хороши для мирного парада или для покупки овощей.

— Нет, германцев мы побьем, — подбрасывая на плече винтовку, уверенно сказал Карцев. — Где же им с нами справиться! У нас больше народа. Еще французы с нами. Не выдержать германцам!

Впереди роты на пегой лошадке ехал капитан Васильев. В двух шагах от него бодро шел Бредов. Штабс-капитан был рад войне.

«Здесь моя академия, — думал он, — я окончу, окончу ее, и только смерть может мне помешать».

Он нетерпеливо продумывал блестящие боевые планы. Роту он должен получить не позже, чем через месяц. Будет действовать смело, решительно. Внимательно будет изучать стратегическое положение (Денисов — полковой адъютант — друг и однокашник, он поможет достать нужные сведения), выищет слабые стороны противника. В полку мало способных, образованных офицеров, бо́льшая часть из них — старики и рутинеры. А он недаром готовился в Академию генерального штаба. Сколько бессонных ночей прошли за книгами и картами, — теперь все это должно окупиться.

С ласковой снисходительностью поглядывал он на прапорщика запаса, шедшего неумелым (непоходным — подумал штабс-капитан), подпрыгивающим шагом. Что понимает этот юнец в сложной, прекрасной науке войны? Идет он, полный молодого петушиного самодовольства, гордый своим офицерским званием. Пишет, наверно, какой-нибудь Любочке байронические письма, влюблен в свои погоны, и если не трус, то бросится по молодой горячности вперед в первом же бою и пропадет, как Петя Ростов. Нет, он, Бредов, так дешево себя не продаст. Прятаться не будет, когда понадобится, подставит грудь пулям, но только тогда, когда иначе будет нельзя... «Война, война, что готовишь ты мне?»

Рысью проехал подполковник Смирнов. Он что-то крикнул, Васильев приложил руку к козырьку и остановил коня. Протяжно скомандовал остановиться. Приклады винтовок нестройно стукнули о землю.

Это был первый привал — получасовая остановка.

Солдаты торопливо снимали через головы походные мешки, валились на землю. Голицын, старший унтер-офицер из запасных, который, как все запасные унтер-офицеры, был в строю рядовым, проворно стащил сапоги и перемотал портянки.

— Вот так-то, паренечки, — весело сказал он, поворачивая к солдатам круглую, коротко остриженную голову, — сорок годочков скоро мне простучит, проделал

я японскую и китайские кампании и многому там научился. Главное в походе, чтобы ногам удобно было. Тогда воевать легче.

Он критически смотрел на переобувающегося Чухрукидзе и показал ему, как лучше завертывать портянки. Карцев, отделенный командир, заботливо оглядел своих людей. Чухрукидзе, Ужогло, Рогожин, Самохин, донецкий шахтер Шарков — все это были свои, близкие по казарме ребята. Остальные были запасные, которых, кроме Голицына, он мало знал. Он обратил внимание на толстого, румяного человека с пепельными усами. Человек этот лежал на спине, подложив под голову скатку, и хватал воздух открытым, жалобно искривленным ртом. Оказалось, что солнце сильно пекло ему голову. Голицын посоветовал положить под фуражку мокрый платок.

Время подходило к полудню. Прошли длинную деревенскую улицу, но не остановились, хотя всем хотелось пить и низкие срубы колодцев неудержимо привлекали солдат. Некоторые воровски выбегали из строя, крались к колодцам. Женщины совали солдатам яблоки. Старухи фартуками вытирали слезы. Ребята провожали за околицу. Песчаная дорога то подымалась на холмы, то опускалась в низины. Редкие заросли тянулись по сторонам. Послышалось густое шмелиное жужжание, тонкая хвостатая тень появилась в небе. Многие из солдат, особенно запасные, до сих пор ни разу не видели аэроплана. Они испуганно смотрели вверх, и когда кто-то крикнул, что это германский аэроплан, поднялась суматоха. Солдаты торопливо стреляли вверх. Охваченный боевой яростью, Машков собрал свой взвод и приказал стрелять залпами.

Васильев на коне ворвался в ряды.

— Стой, стой! — кричал он. — Это наш аэроплан. Прекратить огонь!

Давно уже прошло время обеда, но походные кухни, которые выгрузились вместе с эшелоном, куда-то пропали. У каждого в вещевом мешке лежали сухари, солдаты грызли их.

Мимо проехал казачий разъезд. Чубатые казаки ядовито подтрунивали над пехотой, их начальник, молодой,

рябоватый хорунжий, иронически откозырял Васильеву, по-пехотному сидевшему в седле, и, щегольски изогнувшись, галопом поскакал вперед. Обдавая пылью солдат, казаки скрылись за холмом. Наконец скомандовали остановиться. Составили винтовки, дозоры разошлись по сторонам. Васильев, сердито посматривая на дорогу, тихо сказал что-то подпоручику Руткевичу. Руткевич вскочил на капитанского коня и поехал назад. Прошел час, никто не знал, долго ли останутся тут. Офицеры совещались возле одинокой избы, стоявшей на опушке дубового леска, солдаты сидели и лежали на земле. Чухрукидзе, морщась, рассматривал стертую ногу. Голицын осторожно доставал щепоть махорки из кисета, а Самохин спал, уткнувшись лицом в мешок. Только к вечеру приехали кухни, найденные Руткевичем. Оказалось, что они не имели точного маршрута и шли по другому пути. Вышел начальник дивизии генерал Потоцкий, длинный, сухой старик. Начал говорить с офицерами. Подполковник Смирнов стоял, вытянувшись, он показал рукой на солдат, но генерал махнул рукой, как будто отказывался от чего-то, сел в автомобиль и уехал. Приказали строиться. Загибин, потерявший свой щегольский вид, справлялся у Машкова, скоро ли придут на ночевку, но взводный сам ничего не знал. Рогожин, шедший возле Карцева, с завистью вспомнил вольноопределяющегося Петрова, которого перед самым выступлением в поход отправили в Иркутск в военное училище.

— Пока он там будет обучаться, — сказал Рогожин, — война придет к концу. Нет, что ни говори, — барин всегда барином останется.

— Это Петров? — с досадой возразил Карцев. — С нами вместе жил, из одного котла щи хлебал, какой он к чорту барин.

— Погоди, — упрямо ответил Рогожин, — приедет он офицером, другую песню запоет. Посмотрим, как он с нами тогда из одного котла будет есть. «Ваше благородие» — тут, брат, ничего не попишешь.

Карцев замолчал. Ему трудно было представить Петрова, простого, одетого в неуклюжую солдатскую одежду, офицером.

На поле, на лес не спеша надвигался августовский вечер. Темнело небо, сыростью повеяло из леса, галки

низко кружились над деревьями, готовясь к ночлегу. Вблизи виднелась деревня. Нарядный дом, крытый черепичной крышей, форпостом стоял в поле. Плетеная изгородь окружала его, белая лохматая собака яростно залаяла на солдат. В сумерках видно было, как остановилась девятая рота, как отошла в сторону, в поле. Васильев слез с коня. Через минуту стало известно, — ночевать будут здесь, в поле. В мягкую, много раз паханную землю вбивали низенькие колышки. На колышках растягивали серые полотнища походных палаток. В палатки пробирались ползком, мешки клали под головы, ложились прямо на землю, укутавшись в шинели.

Карцеву не пришлось ложиться. Он был назначен в полевой караул. Вместе с несколькими солдатами его отвели шагов за шестьсот от стоянки.

Руткевич показал, откуда можно ждать противника, и, нахмурясь, сказал:

— Вы не думайте, что если мы на русской земле, то нет опасности. Возможно, что германские разъезды пробрались к нам и бродят где-то недалеко. Смотреть в оба. Винтовки зарядить. В случае чего — немедленно послать ко мне связного.

Он ушел. Легкий озноб охватил Карцева. Он оглядел своих людей: Рогожина, Чухрукидзе, Кузнецова, солдата из запасных, мелкого сложения, с красными, как будто воспаленными глазами, с толстыми, вывороченными губами.

Туман стлался по низине. Босоногая девчонка пробежала мимо, гоня гусей в деревню. Гуси бежали, вытянув шеи, распустив крылья, гоготали. Мычание коров, лай собак, громкие женские голоса, доносившиеся из деревни, лошадь со спутанными передними ногами, щипавшая невдалеке траву, — все это было мирное, успокаивающее. Кузнецов тихо рассказывал Рогожину, как внезапно его забрали, как будет трудно его бабе одной управиться с уборкой и обмолотом.

— Чудаки люди, — с обидой и недоумением в голосе говорил он, — что бы им еще хоть недельку с войной погодить! Разве можно мужиков в такое время трогать? Баловство это господское, ей же богу.

Карцев осторожно исследовал местность. Наткнулся на изгородь вокруг нарядного дома, крытого черепицей.

Подумал о том, что из-за дома могут легко подобраться к караулу и хорошо бы поставить Рогожина по другую сторону дома, — пускай наблюдает за полем и леском. Сделалось совсем темно. Он сделал, как хотел, поставил Рогожина за домом, оставил Кузнецова и Чухрукидзе на месте, а сам все ходил, прислушиваясь, в состоянии бодрой нервности, в ожидании чего-то, что непременно должно случиться. Кузнецов стал тихо посапывать и всхрапнул. Чухрукидзе придвинулся к Карцеву, и тот угадал мягкий внимательный взгляд грузина на себе.

— Что, Чухрукизде, — спросил он, — не страшно тебе на войне?

— Нет, ой, нет, — горячо ответил Чухрукидзе и, положив руку на колено Карцева, зашептал: — война, скажу тебе, лучше, чем в казарме жить. Не боюсь воевать.

Близко склонившись к лицу Карцева (тень его головы заслонила черный силуэт дома), он продолжал:

— Скажи, друг, как думаешь, после войны домой пустят или опять потащат в казарму? Хорошо воевать буду, что хочешь сделаю, только пускай в казарму не посылают.

В возбуждении сжимая руку Карцева, он говорил певуче и протяжно:

— Ох, глупый был, никогда не знал, какое счастье человеком быть... Думал, что дома плохо жил, работы много, бедность большая, а в солдаты взяли, узнал, что такое горе, узнал, как собаки живут.

Из-за дома донесся резкий, злой крик. Крик перешел в визг, и вдруг прогремел очень громкий в ночи выстрел. Карцев вскочил, стискивая винтовку. Он грубо толкнул спавшего Кузнецова и, вытянув голову, прислушивался. Ему показалось, что он слышит стоны, возбужденные голоса, но выстрелов больше не было.

«Неужели германцы?» — думал он.

Послышались торопливые шаги, кто-то бежал к ним, и, прежде чем Карцев мог выжать окрик из сдавившегося от волнения горла, темная тень Рогожина возникла перед ним.

— Неспокойно там, — доложил Рогожин, показывая рукой в сторону выстрела. — Ушел я, знаешь, от греха. Все-таки вместе лучше. Побьют еще по отдельности.

Кузнецов крестился, стоя на коленях и всхлипывая. Чухрукидзе спокойно улыбался. Стало тихо. Ночь молчала, черная, загадочная, опасная. Поколебавшись, Карцев решил, что останется здесь. Он приказал всем лечь в боевой готовности. Несколько минут было тихо. Тяжелая рука легла на плечо Карцева, и глухой голос (он не сразу узнал голос Кузнецова) прошептал:

— Идут, ей-богу, идут.

— Погоди, — сказал Карцев, прикладывая ухо к земле.

Шаги зловеще стучали все ближе и ближе. Не было сомнений. Шли сюда. Щелкнул затвор. Кузнецов, трясясь, подымал винтовку.

— Это ты оставь, — сказал Карцев, с радостью чувствуя, как к нему возвращается спокойствие. — Без моего приказа не сметь стрелять.

И когда шаги, неспокойные и как бы прячущиеся, затихли довольно близко от них, он спросил четко и медленно:

— Кто идет?

— Свои, свои, — ответил знакомый голос. — Не стреляйте, голубчики, свои. Пароль вот вам... иду, значит...

Две фигурки показались на холмике. Плачущий голос ефрейтора Баньки говорил:

— В первом месте по-человечески встретили... Проверяли мы дозоры эти проклятые, прямо звери, а не люди там сидят. В одном завопили — стой, стрелять будем, в другом, не спрашивая, прямо бабахнули, человека у нас испортили, Крылов человек-то зовется, из запасных он. Грудь ему прострелили, вот какое беспокойство случилось.

Он присел, жалобно вздыхая, попросил покурить и передал приказ ротного командира: смотреть строго, не курить.

— Приказ передаешь, а сам куришь, — усмехаясь, сказал Карцев.

— Разволновался я очень, — доверчиво объяснил Банька. — Как же это так, прямо тебе в человеков стрелять? Вот воюй с таким народом.

Ночь прошла спокойно. Карцев не заснул. Только перед самым рассветом, сидя на корточках и глядя в неясно проступавшие контуры леса, в пустынное, нежи-

вое небо, чувствуя, как холод пробирает его всего, как равнодушно и неуютно лежит вокруг эта страна, он ощутил вдруг большое одиночество и спросил себя — зачем он здесь.

Так иногда человек, заночевавший не у себя дома, проснувшись, не понимает сразу, где он, и с удивлением оглядывается кругом.

8

В поле дымили кухни синим прозрачным дымом. Заведующий хозяйством торговал у крестьян двух коров. Их зарезали тут же, и шкуры были проданы деревенскому кожевнику. Карцев бросился искать Мазурина. Он обрадовался, когда высокая фигура Мазурина, его серые, спокойные глаза возникли перед ним. Он любовно смотрел на Мазурина, все крепче сжимал его широкую руку и невольно спрашивал себя, отчего так сильно тянет его к этому человеку.

— Ну, что, жив? — ласково сказал Мазурин. — Вот куда мы с тобой попали. На самую на войну.

Он ничуть не изменился (как менялись на глазах Карцева другие солдаты), а был все тот же, неторопливый, спокойный, крепкий.

Разговаривая с Мазуриным, Карцев увидел Орлинского. Орлинский бежал к нему, протягивая обе руки. Радость, проявленная им, тронула Карцева. Он подумал, как тяжело, должно быть, Орлинскому итти на войну с Вернером.

— У тебя боевой вид, — улыбаясь, сказал Карцев, — ну, как у вас там Вернер? Не заставлял он вас в вагонах давать ногу?

Орлинский засмеялся.

— В вагонах не заставлял, но как только мы пошли походом, велел подсчитывать ногу, — ответил он. — Он, видно, до смерти будет верен себе.

Карцев жадно всматривался в лицо Мазурина. Он знал, что Мазурин считает войну ненужной для рабочих, помнил тот холодок, который прошел между ними перед самым выступлением полка в поход. Ему неудержимо захотелось говорить с Мазуриным, захотелось опять почувствовать на себе его бодрящее влияние. Он отвечал

на вопросы Мазурина, рассказал ему про ночной случай, и все ждал, что его спросят о главном, о его отношении к войне. Но Мазурин так просто и с таким интересом расспрашивал о походе, о полевой ночевке, о ранении солдата в дозоре, что видно было, как это занимает его и что ни о чем другом он сейчас не думает.

— А как Черницкий? — весело спросил он и засмеялся. — Ведь он парень горячий, один всех немцев побьет.

К ним подошло несколько солдат, разговор стал общим, рассказывали о том, как доехали, как пили водку и играли в карты. Молодой солдат с выпущенной из-под фуражки лихим вихром, хвастаясь, рассказал, как ночевал в деревне. В избе были одни бабы.

— Кобель, — с презрением сказал пожилой бородатый солдат, — уже пользуешься. Мужиков на войну взяли, а ты уже скочишь на теплое место с непотребством своим. Погоди, погоди, довоюешься!

Прибежал Черницкий. Он обнял Мазурина, хлопнул его по спине.

— Теперь можно воевать — говорил он, улыбаясь. — Ведь я без тебя, Мазурин, не найду дороги в Берлин.

Когда много времени спустя Карцев вспомнил это утро, оно казалось ему одним из самых лучших утр всего похода. Воздух был чистый, свежий, пронизанный солнечными лучами, солдаты тоже были еще свежи, вокруг лежали мирные поля, дымились трубы деревенских изб — ничего страшного и пугающего не было в это прекрасное утро. Лучшие его друзья — Мазурин, Черницкий, Орлинский — сидели с ним, смеялись и шутили. Прибежал ефрейтор Банька, попросил закурить и, таинственно оглядываясь, сообщил важную новость. Он слышал от верных людей, что их полк будет все время находиться в резерве. Много этот полк бился и пострадал в японскую войну, и поэтому ему оказана такая милость. Пускай повоюют в первой линии другие полки, не бывшие на японской войне.

Некоторые недоверчиво усмехнулись, но многие поверили ефрейтору Баньке: уж очень хотелось поверить. День был хорош, мясным наваром пахло от походных кухонь. Все поле, насколько хватал глаз, было покрыто зелеными гимнастерками. Винтовки, составленные в коз-

лы, походили на узенькие коричневые стога. Весело дымились костры. На краю поля стояла артиллерия. Сытые крупные лошади, помахивая хвастами, жевали сено. Окрашенные в защитный цвет орудия глядели уверенно и грозно. С хохотом пробежали два солдата и опустились на землю, один достал из-за пазухи бутылку, отбил горлышко. Водку наливали в алюминиевую чашку, формой похожую на лодку. Угощали товарищей. Несколько человек, узнав, что солдаты достали водку, побежали в деревню. Когда после обеда построили полк, солдаты дружно стали в ряды. Полковник Максимов впервые в походе объезжал полк. Четырехтысячная масса солдат растянулась в длиннейшую колонну, — в самом центре колонны была пулеметная команда — восемь новеньких пулеметов, с толстыми рыльцами, похожие на бульдогов. Максимов был важен, с довольным видом оглядывал всю эту массу вооруженных людей, подчиненных ему, он подъехал к батарее, приданной полку, галопом проскакал вдоль колонны, здороваясь с каждой ротой в отдельности. Видно было, какой он боевой командир.

Орлинский при каждом удобном случае прибегал в десятую роту. С ним подружился Голицын, особенно после того, как Орлинский угостил его махоркой.

— Да ведь ты не куришь, — удивляясь, спросил Голицын, — откуда же у тебя махорка?

Орлинский объяснил, что махорку держит для курящих товарищей. Но через два дня махорка рассыпалась у него в вещевом мешке. Голицыным овладела ярость.

— Эх, ты! — со злобой, отчаянием и презрением сказал он Орлинскому и посмотрел на него, как глядит строгий учитель на жестоко провинившегося мальчишку. — А я ведь тебя за серьезного человека считал. Эх, ты!

Ворча и ругаясь, он взял мешок Орлинского и, перетряхнув все вещи, до крошки собрал махорку. Курево было еще большей драгоценностью, чем еда. С первых же дней похода было почти невозможно достать его.

В деревнях, которые проходили войска, было пустынно. Крестьяне неохотно выходили из изб, боялись и прятались, так как их заставляли возить войсковую кладь за десятки и сотни верст.

Однажды услышали глухие далекие выстрелы.

— Пушки,—сказал Голицын,—значит дошли до немца.

У Карцева стукнуло сердце, тяжелый ком метнулся к горлу, стесняя дыхание. Как будто кончился один этап войны, похожий на маневры, и начался другой — настоящий. В тот же день полк встретил первых раненых. Их везли на крестьянских телегах. Они стонали, когда безрессорные телеги подбрасывало на кочках. Их обогнала щегольская коляска. Рядом с молоденькой сестрой в белой наколке с красным крестом сидел, развалясь, казачий офицер с забинтованной головой.

В этот день прошли несколько деревень.

— Бедно живут мужики, — сказал Рогожин Карцеву, — земля у них совсем плохая — песок да песок.

Солдаты внимательно оглядывали избы, улицы, огороды. Бо́льшая часть изб была покрыта почерневшей соломой. Лишь один-два дома выделялись железной или черепичной крышей. Коровы были мелкие, худые, непородистые. Крестьянки низко кланялись офицерам, вид у них был забитый, грязные дети держались за их подолы.

Плохо было в деревнях, но не лучше было вокруг них. Клеймо безысходной нужды, запущенности и уныния лежало на всей стране. Узкие проселочные дороги были непроходимы в ненастье и пыльны в ясную погоду. Рытвины и ямы встречались на каждом шагу. Земля на полях была серая, мелко вспаханная, неурожайная. Часто попадались болота. В лесах, в болотах артиллеристы и обозники рубили ветви, валили деревья, настилали гати, но орудия и зарядные ящики все же застревали, и часто армия отрывалась от своих оперативных обозов на пятьдесят и более верст.

Полк шел редким сосновым лесом. Дорога привела в низину, к болоту. У болота застряли два обоза. Они не могли ни разойтись, ни перебраться через болото. Круглый маленький полковник, теребя поводом серую лошаденку, подскакал к Максимову и, кланяясь так, что его огромный живот наплывал на шею лошадки, стал просить помочь ему вытащить телеги из болота.

Пушечные выстрелы теперь доносились чаще, крупные кавалерийские отряды обгоняли полк. Навстречу тянулись телеги, доверху набитые убогим скарбом, за

телегами тягучим шагом плелись облезлые с выпирающими из-под кожи ребрами коровы. Дети с любопытством смотрели на войска, взрослые с обреченным видом шагали возле телег. Дальше наткнулись на большой грузовик, безнадежно застрявший в песке. Молча обошли его. Перед вечером устроили привал.

Возле офицерской столовой, устроенной в палатке, оркестр играл марш.

Солдаты разбрелись. Некоторые тайком пошли к деревне, расположенной вблизи. Черницкий, Карцев и Рябинин побежали к избам, надеясь раздобыть курево. На буром, скупо поросшем травой пригорке возле низкого плетня толпились солдаты, жадно заглядывали через головы товарищей. С каждой секундой вокруг собиралось все больше народа.

— Что там такое? — спросил Рябинин у пробегавшего мимо рябого солдатика.

— Немцы пленные, — радостно ответил солдатик и добавил, взмахивая рукой, — я думал, что они пострашнее будут. А они так себе, простые.

Немцы, действительно, оказались простые. Двое людей, один молодой, другой лет сорока, оба небольшие и слабосильные по виду, в плоских бескозырках, в сапогах с короткими прямыми голенищами (все это солдаты осматривали с неистовым любопытством), сидели на земле и растерянно, видимо, не зная, как себя держать, поглядывали на русских солдат. Часовой с винтовкой стоял возле пленных и, помаргивая синими глазами, уговаривал солдат отойти подальше. Но его никто не слушал. Тут были те, кого обозначали страшным словом «противник», с кем они должны были встретиться в смертной схватке, те, кого называли варварами и злодеями. Их вид будил в солдатах любопытство, удивление, разочарование — уж очень не были похожи эти плохо одетые люди на гордых, свирепых врагов, какими рисовало их воображение.

— Скорее всего из запаса они, — задумчиво сказал, точно подумал вслух, пожилой, с седой бородкой солдат, — вроде нас, стало быть.

Он осторожно, видимо, не желая пугать пленных, потрогал их сапоги, постукал пальцем по подметкам и добавил с сожалением:

— А сапоги-то дермовые, кожа на голенищах твердая, невыделанная.

— Чудаки, воюют тоже, — сказал кто-то и, выйдя вперед (он оказался толстоногим, с веселым лицом), спросил, весело оглядывая своих: — Эй вы, землячки заграничные, почему воевать с нами пошли?

Молодой пленный застенчиво улыбнулся, старший кивнул головой и что-то пробормотал себе под нос.

Никто не смеялся, хоть солдат, видимо, рассчитывал вызвать смех своих слушателей.

Пленным сунули махорку, несколько сухарей, хотя сами были голодны. Когда показался офицер, солдаты не спеша разошлись. Барабанщик играл сбор. Обеда не давали, но солдаты так привыкли к полуголодному существованию, что, не выражая особого неудовольствия, стали в ряды. Шли по обочинам, так как дорога была занята чужим корпусом. На несколько верст она была забита возами, орудиями, двуколками и людьми. Крестьяне, мобилизованные со своими лошадьми, с тупым отчаянием сидели на передках нагруженных телег. Обозы двигались так медленно и нерегулярно, что они не имели представления, когда их отпустят. Фуража им не давали, — его нехватало даже для лошадей оперативных обозов, не кормили и их самих. Некоторые из них уже по неделе ехали с войсками. Офицеры, к которым они обращались, сердито отмахивались от них: по горло было собственных забот, где тут было думать еще о мужиках, едущих с обозами. Десятая рота проходила мимо них. Васильев на минуту задержал коня, и мужик в длинной свитке, сойдя с телеги, быстро опустился перед всадником на колени:

— Ваше офицерское благородие, господин главный начальник, — завопил он, всплескивая руками, — как же с нами такое делают, сам посуди. Сын у меня на действительной, тольки-тольки от него письмо пришло, что на войну отбыл, как тут и меня с конем забрали, вторую неделю мытарят. Пожалеть же надо, ей-богу.

Васильев пожал плечами:

— Видишь, что война, — ответил он, — всем приходится трудно. Потерпи уж немного, старик, скоро тебя отпустят.

4

Верхом приехал генерал Гурецкий. Он поговорил с офицерами, потом подошел к солдатам, отпустил похабную шуточку и роздал пачку папирос.

— Уж я знаю, — хитро подмигивая, сказал он подполковнику Дорну, — с солдатом надо пошутить, показать ему иногда дружбу, и он за вас, за отца командира, в огонь полезет.

Дорн ничего не ответил генералу. Он из-под очков посмотрел на капитана Васильева и штабс-капитана Круглова, болезненного печального офицера, вечно нуждавшегося (у него было пятеро детей), и громко спросил, сколько отставших в их ротах. Гурецкий, сощурившись, разглядывал беременную бабу, гнавшую козу.

Он был уже стар, гордился своим генеральским чином, заработанным тридцатипятилетней офицерской службой, и был глубоко уверен в своем полководческом таланте. Он почти все время проводил при штабе полка, наседал на Максимова, вмешивался в его распоряжения. У Гурецкого был твердый план. Он хотел скорее бросить полки своей бригады в бой и личным руководством добиться победы. Бой он представлял себе просто — не отступать, бросать войска напролом в штыки с криками «ура», и никакой немец не устоит против такой атаки.

— Эх, лихой командир у зарайцев, — грустно сказал Дорн. — Он не позволяет Гурецкому вмешиваться в свои дела. Тот к нему и носа не показывает, все время торчит у нас, а Максимов, шляпа такая, не смеет сказать ему ни слова.

Круглов печально склонил бледное лицо. Он думал о своей семье и соображал, удастся ли ему отправить домой пятьдесят рублей, сэкономленных им на ротном хозяйстве.

Краснея, он вспомнил, как ловко ему намекнул фельдфебель, что деньги все равно попадут заведующему хозяйством полка, если Круглов их упустит. Как он, собака, нагло смотрел в глаза! Без ротного командира брать ему нельзя, а вместе почти безопасно... Не убили бы только. Он будет аккуратно каждый месяц посылать жене деньги. Пусть подкормится с детьми.

Васильев и Дорн отошли в сторону и тихо разговаривали. Они давно знали друг друга. Оба были на японской войне, оба любили военное дело. Дорн выписывал немецкие журналы и нередко читал Васильеву выдержки из сочинения покойного начальника германского генерального штаба графа Шлиффена «Канны».

К ним подошел капитан Вернер. Он пренебрежительно сказал, что вся беда в том, что мало внимания в армии отдавали маршировке. Маршировка тренирует солдат и позволяет им выдерживать какие угодно марши. Дорн не стал с ним спорить. Вернер вернулся к своей роте. Люди отдыхали уже несколько часов, и он приказал фельдфебелю выстроить их и провел с ними небольшое учение. Третья рота вздваивала ряды, строилась во взводные колонны, давала ногу. Через полчаса Вернер закончил учение, посмотрел на Орлинского, хотел было подозвать его к себе, но раздумал и, приказав фельдфебелю следить, чтобы солдаты не разбредались, пошел к себе.

Утром поход продолжался. Подходили к германской границе. Издалека доносились редкие выстрелы, несколько раз видели пролетавшие аэропланы, и солдаты не разбирали, чьи они — свои или германские, — открывали по ним бешеный огонь.

Прошли по скверной песчаной дороге, оставили позади деревню, нищую, грязную, как и другие деревни этого края, и вступили в прекрасный сосновый лес. Старые сосны стояли в лесу, как медные и бронзовые колонны, украшенные извилистыми узорами. Мшистые бугорки, похожие на зеленые бархатные подушки, были разбросаны под соснами. В лесу была полутемь, торжественная тишина, лес был наряднее и богаче полей, жил своей обособленной жизнью.

Дошли до просеки и остановились. Прискакали Гурецкий и Максимов, и бригадный, напыщенным жестом показывая коротенькой рукой на столб с черным орлом, прокричал:

— Солдаты, ребятушки, русские боевые орлы, поздравляю вас со вступлением на вражескую землю. Отсюда путь нам один, на столицу Германии, на Берлин. Ура!

Ударив плеткой коня, он наскочил на столб, пытаясь свалить его конской грудью, но столб был крепок, конь,

хрипя, топтался на месте, и генерал, хлестнув по распростертым крыльям черного орла, приказал немедленно повалить столб.

Черницкий толкнул Карцева и глазами показал ему в сторону. Там под деревьями стоял белый, нарядный домик с остроконечной крышей, выкрашенной в голубой цвет. Домик, огород, разбитый возле него, охваченный зеленым заборчиком, дорожки, посыпанные песком, — все это было такое чистое, не русское, что и без пограничного столба можно было узнать, что Россия кончилась здесь.

Вышли из леса. Поле, расстилавшееся по сторонам, было вспахано огромными глыбами, — очевидно, вспашка производилась машинами. В версте от леса кучкой белых сверкающих пятен лежала прусская деревня. Солдаты пристально смотрели — все ближе становились чистые оштукатуренные домики, массивные строения, развесистые яблони. Полк вступил в деревню. В немом удивлении оглядывали солдаты добротные чистые постройки, выметенную улицу, круглые каменные колодцы. Большой сад тянулся за деревней, желтые и красные яблоки выглядывали из листьев.

Мужчин не было видно. Женщины хмуро и недоброжелательно смотрели на русских, не отвечали на их приветствия.

— Какие серьезные, — насмешливо сказал кто-то, а другой сердито ответил:

— Посмотрел бы я, каким ты веселым будешь, когда в твою деревню чужаки придут.

В тот же день впервые увидели немцев. Конный разъезд показался на лесистом взгорье, верстах в двух от полка, и, сделав несколько выстрелов, скрылся. Максимов приказал батарее выпустить шрапнельную очередь по леску, в котором предполагался неприятель. Батарея развернулась сзади полка, снялась с передков, и шрапнели со скрежещущим металлическим визгом низко пролетали над головами солдат, заставляя пригибаться и вздрагивать необстрелянных запасных, из которых на две трети состоял полк. Гурецкий распорядился выделить роту и занять лесок. Первая рота рассыпалась в цепь, капитан Федорченко повел ее вперед. Видно было, как перебегали солдаты, как, скучиваясь, они бежали

к лесу, ложились на землю. Из леса не стреляли. Там не нашли ни одного немца. Гурецкий хвастался, что прогнали неприятеля. Офицеры тихонько подсмеивались над генералом.

— С воздухом воевал, — пошутил один, и шутка пошла гулять по ротам.

Солдаты нервничали, становились беспокойнее. Упорно говорили о двух эскадронах немцев, которые гуляли где-то поблизости и могли напасть каждую минуту. Подполковник Смирнов, думая подтянуть распустившихся солдат, объявил, что видели в этом районе германскую кавалерию.

Гурецкий, получив из штаба дивизии сведения, что небольшие силы германцев занимают село Вилиберг, решил взять его сналета. До села было пятнадцать верст, и, несмотря на то, что приближался вечер, он приказал Максимову двигаться вперед. Денисов, бывший при этом, в отчаянии посмотрел на командира: было безумием двигаться по необследованной местности. Сведения о противнике были неопределенны и не проверены разведкой. Но Максимов не возражал бригадному. По настоянию Гурецкого взяли проводника из местных крестьян. Это был поляк, пожилой человек с худым бритым лицом, с крысиными глазками. Низко кланяясь и ни на кого не глядя, он, суетливо перебирая руками, говорил, что дорогу в Вилиберг знает всякий ребенок и он доведет туда в одно мгновение. До сумерек шли по хорошей шоссейной дороге, потом втянулись в лес. В лесу было уже совсем темно. Передовые дозоры жались к главной колонне, разведка не высылалась.

— В дивизии сказали, что там небольшие силы, — уверял Гурецкий. — Чего нам их бояться? Ударим сналета, вряд ли там больше двух-трех рот, и займем Вилиберг.

Федорченко, Любимов, Смирнов — многодетные старики — шли покорно и тупо. Другие — Дорн, Васильев, Бредов и еще несколько человек — не могли скрыть своего беспокойства. Дорн пытался отговорить Максимова от рискованного марша, но полковник упрямо не соглашался с ним.

— Сказано же вам, — говорил он, — что там слабые силы. Вы боитесь необследованной местности. Но что

могут нам сделать две роты? Не беда, если солдаты немного и устали. Удачный бой оживит их. Увидите, как все будет хорошо.

Васильев решил, с согласия Дорна, послать разведку. Карцев и Рябинин были посланы вперед. Васильев толково объяснил им, что надо сделать.

— Уж вы не беспокойтесь, ваше высокоблагородие, — сказал Рябинин, — я ведь природный охотник. Выслежу, разнюхаю и вам доложу.

Оба солдата, взяв с собой только винтовки и подсумки с патронами, скрылись в темноту. Рябинин шел мягким широким шагом, ступая по-медвежьи. Часто он останавливался, прислушивался, иногда ложился, прижимаясь ухом к земле. Шли не по тропинкам, а стороной. Напряжение, которое испытывал Карцев, выходя на разведку, понемногу проходило: было приятно итти лесом. Как-то не думалось, что в спокойной тишине, в бодром смолистом запахе сосен может скрываться опасность. Прошли уже версты четыре, когда услышали голоса. Карцев невольно взялся за винтовку, Рябинин остановил его.

— Стрелять — для нас самое последнее дело, — тихо сказал он, — нам это ни к чему.

Они поползли в трех шагах друг от друга. Лицо Карцева царапали ветки кустов. Черненький комочек выпрыгнул из-под его рук и с писком исчез. Винтовку он держал в руке и все оглядывался на Рябинина, которого скорее чувствовал, чем видел. На немцев наткнулись неожиданно. Человек шесть сидели возле лесной сторожки, на них падал красноватый отблеск из окна. Карцев замер, сжал винтовку. Рябинин помахал рукой, показывая, куда ползти, и они начали обходить сторожку.

— Дозор, — прошептал Рябинин, — теперь пойдем дальше, посмотрим, откуда их корень растет.

Он был совершенно спокоен, а Карцев от волнения едва переводил дыхание. За сторожкой продолжался лес, между деревьями с трудом обозначались сероватые просветы. Они останавливались, каждый шорох заставлял их ложиться на землю. Лес кончился, вдали мелькнули крошечные бронзовые огоньки. Рябинин пошел скорее. Согнувшийся, напряженный, чуткий, он напоминал лесного зверя. Карцев хотел ему сказать, что

они далеко зашли, но постеснялся. Рябинин мог подумать, что он трусит. Огоньки стали ярче, послышался железный грохот, какие-то темные массы двигались возле длинных строений, пыхтение автомобилей было совершенно ясным, и они видели, как, одна за другой, десять или двенадцать тяжелых машин с потушенными фарами проехали по дороге.

— Много тут немцев, — шепнул Рябинин, — давай обойдем село. Похоже, что они с другой стороны высаживаются.

И они, пригибаясь, выбирая места потемнее, опять сделали обход и увидели, как из рощи по ту сторону села выходили германские колонны. С полчаса они лежали за кустами, наблюдая за германцами. Когда прошли последние ряды, Рябинин поднялся.

— С полк, пожалуй, будет, — заметил он, — теперь надо шибче пробираться к своим.

Они пошли обратно, делая еще более глубокий обход, чем раньше, чтобы не наткнуться на немцев, и прямо вышли на полянку, где расположилась германская артиллерия. Опираясь спиной о дерево, в двух шагах от них стоял часовой в каске и молча открыл рот, увидев русских. Бежать было поздно. Местность вокруг была занята дозорами. Был один выход — помешать растерявшемуся часовому поднять тревогу, и едва у Карцева мелькнула эта мысль (все длилось меньше секунды), Рябинин, роняя винтовку, присел и сильным прыжком налетел на часового. Они упали оба, Карцев услышал хрип. Ноги часового вытянулись. Рябинин поднялся. Лицо у него заострилось, глаза ввалились.

— Ходу, — хрипло пробормотал он, — нам теперь нельзя попадаться в их руки.

Он поднял винтовку и, не оглядываясь на часового, побежал, пригибаясь. Оба не ощущали усталости. Ужас подгонял Карцева (так бегут сильно напроказившие дети в страхе от того, что они натворили), ему хотелось быть как можно дальше от этого места, он стиснул зубы, чтобы удержать крик. Два раза им пришлось красться ползком, уходя от германских дозоров. Карцев плохо помнил, куда им надо итти, но Рябинин шел безошибочно, как гончая. В лесу было так темно, что двигались ощупью, вытянув перед собой руки. Каждый слы-

шал учащенное, свистящее дыхание товарища. Они не говорили между собой, и только после часу пути Рябинин остановился, внимательно посмотрел кругом и сказал, опускаясь на землю:

— Выбрались как будто, немножко отдохнем.

Он достал кисет и, торопясь, скрутил папиросу, жадно затянулся и молча протянул кисет Карцеву. Закуривая, Карцев сказал:

— Я бы не рассказывал, как мы душили немца.

— А чего рассказывать? — равнодушно ответил Рябинин. — Не мы его, так он бы нас убил. Ты, брат, этим делом не беспокойся: война ведь. Не привык, так привыкнешь, не нами это повелось, не нами и кончится.

Васильев внимательно выслушал доклад Рябинина. Заставил его повторить, подробно расспрашивал его о числе немцев, об их артиллерии, о примерной длине колонн. Он пошел к Дорну, и оба они отправились к Максимову, ехавшему в центре колонны. От командира полка капитан вернулся бледный, глаза его зло поблескивали. Он невнятно ругался, много курил. Впрочем, никому, даже Бредову, с которым был дружен, ничего не говорил.

В темноте полк продолжал двигаться вперед. Теперь шли полем. Вернеровская рота была в авангарде. Вернер был спокоен, уверен в себе. Его не тревожило, что передовые дозоры шли совсем близко от главной колонны. Он разговаривал с Блинниковым, уверял штабс-капитана, что через час они лягут спать в Вилиберге.

Когда сверкнул огонь, пробил черный воздух и затем послышался визг шрапнели, растерянность охватила Вернера. Немцы били прямой наводкой, очевидно, по заранее вымеренным целям, шрапнели рвались низко над землей. Дикая паника сразу овладела полком. Необстрелянные солдаты бежали по всем направлениям. Офицеры кричали, приказывали окапываться. Сотни людей бросились на землю, с бешеной энергией работали лопатами. Рыли в темноте, без всякого плана, каждый зарывался на том месте, где упал, не помня о товарищах, смутно представляя себе, как надо окапываться. Огонь затих, потом начался сразу с двух сторон. Солдаты яростно насыпали окопы в том направлении, откуда им чудился неприятель. Загремели винтовки. Беспорядочно стреляли

во все стороны. Офицеры потеряли всякую власть над испуганными людьми, да они сами не знали, что надо делать. Васильев спокойно, не повышая голоса, пытался отвести свою роту в кусты, чтоб окопаться под их прикрытием. Колесников, ощерясь и повизгивая, помогал ему, но никакими силами нельзя было оторвать солдат от земли. Черницкий насыпал перед собой целый холм и кричал Карцеву:

— Иди ко мне, у меня здесь семейный окоп, поместимся оба.

Рябинин уже зарылся, как крот, и прикрыл голову лопатой. Рядом с ним отчаянно ругался ефрейтор Банька, роя себе окоп. Чухрукидзе казался скорее удивленным, чем испуганным. Выстрелы, стоны, крики, ругательства неслись отовсюду. Ночь тянулась невыносимо медленно. Германский огонь то затихал, то начинался с новой силой. Частая дробь пулеметов перемежалась с редкими орудийными выстрелами, пули со свистом летели над головами.

С первым проблеском рассвета все увидели дикую картину. Поле было изрыто маленькими окопами в самых разнообразных направлениях. Многие окопались лицом друг к другу, другие во фланг, третьи спиной к неприятелю. Максимов со своим штабом сидел в центре поля, в небольшой ложбине. Гурецкого не было. При первых выстрелах он уехал в штаб дивизии. На рассвете огонь усилился. Но теперь солдаты видели, где тыл. Они выскакивали из окопов и, низко пригибаясь, на четвереньках, побежали от немцев. Дорн, Васильев и Бредов старались организовать оборону, к десятой роте присоединилось много солдат из соседних рот. Ободренные хладнокровным видом офицеров, они около часа отстреливались от германцев. Но надо было отступать. Из леска, заходя во фланг, появились германские цепи. Максимов исчез. Дорн приказал отходить на юго-восток. Остатки третьего батальона (было больше бежавших, чем убитых и раненых) шли редкой цепью, часто ложились на землю, отстреливались. Васильев в бинокль наблюдал за противником. Справа от них донеслось слабое «ура». Вернер с развевающейся рыжей бородой, колотя солдат обнаженной саблей и грозя им револьвером, пытался бросить их в бесцельную (она ничем не могла по-

мочь) атаку. У него было бледное, исступленное лицо, его ругательства доносились до десятой роты. Карцев старался разглядеть в третьей роте Орлинского, но его не было видно. Сам он держался хорошо. Правда, было жутко, но вид Васильева, спокойного, как на маневрах, и Черницкого, шутившего как всегда, поддерживал его.

Весь день продолжалось беспорядочное, разрозненное отступление полка. В ту ночь выбыло из строя около пятисот человек.

Двое суток ушло, пока усталых и деморализованных солдат собрали и привели в порядок. В ночь на третьи сутки полк опять был двинут вперед, так как вторая армия, в которую он входил, выполняя план главного командования фронта, должна была форсированным маршем вторгнуться в Восточную Пруссию.

5

В тот день, когда полк, собранный после ночной катастрофы, опять двинулся вперед, солдаты впервые увидели командующего армией и корпусного командира. Они проезжали на автомобилях, и Самсонов, приказав остановиться, мощным, привыкшим к командованию голосом сказал короткую речь. Он называл солдат молодцами и героями, он призывал их крепче беречь славные традиции полка и бить врагов отечества и православной веры. Максимов стоял красный, испуганно моргая глазами. Неужели генерал не знал об отступлении полка? Нет, очевидно, не знал, хотя командир корпуса был рядом с ним. Командующий подал ему руку, поздравил с боевым видом полка.

По дорогам, двумя лучами сходившимся к деревне, подходили остальные полки дивизии. На большом лугу Самсонов приказал пропустить войска церемониальным маршем. Через час, когда дивизия была построена, заиграли полковые оркестры. Самсонов, окруженный штабом, стоял на пригорке. Широкие колонны, отбивая шаг, проходили мимо командующего. Офицеры с обнаженными саблями шли впереди частей. Развевались знамена. Карьером прошел казачий полк. Рысью пронеслась артиллерийская бригада — сорок восемь орудий, сильные толстоногие лошади, зарядные ящики, бравые ездовые,

усталые фейерверкеры. Самсонов стоял, улыбаясь, гладил белые усы.

— Хорошая армия, — как бы думая вслух, сказал он, и генерал Нокс, английский представитель при штабе, не отымая от глаз бинокля, кивнул головой:

— O, yes, wery good!

После марша он разговаривал с командирами полка, заботливо спрашивал их, как кормят солдат.

— Берегите людей, — говорил он. — Пожалуйста, берегите. Здоровый, сытый солдат — залог нашей победы. Поздравляю вас, господа. С такой армией мы много сделаем.

Полк продолжал свой марш. Опять потянулись песчаные дороги, перемежаясь болотами. Опять деревни возникали перед солдатами, и из черных, не похожих на человеческие жилища изб старики и женщины боязливо кланялись офицерам. В сумерки Максимов дал полку короткий отдых и вызвал к себе Васильева. Сопя и тяжело вздыхая, он приказал капитану итти со своей ротой в авангарде.

— Знаю вас как опытнейшего офицера, — говорил он, — знаю, что на вас можно положиться. Только осторожнее, ради бога, осторожнее. Не наткнуться бы нам опять на какую-нибудь неожиданность.

Он крепко стиснул Васильеву руку, отпуская его. Десятая рота беглым шагом прошла вперед, обогнув голову колонны.

— Ну, ребята, — сказал Васильев, оглядывая роту синими глазками, — нам дано почетное поручение, давайте дружно выполним его.

Он объяснил солдатам, в чем заключается их задача, выделил сильную разведочную команду, сам принял над ней командование, а с ротой оставил Бредова. Команда выслала дозоры по шести человек. Васильев остался с ядром разведки, назначил связных между ядром и дозорами и приказал выступать. Карцев был при командире. Дозоры ушли. Васильев с остальными людьми тихо двинулся за ними. Стемнело. Серые паруса облаков медленно плыли над лесом. Душная сыроватая теплота подымалась от земли, точно там сушили на огне намокшую одежду. Карцев ближе подошел к командиру. Ему хотелось поговорить с ним. И когда Ва-

сильев спросил его (как часто спрашивал солдат), хорошо ли он себя чувствует в походе, Карцев решительно сказал:

— Покорно благодарю, ваше высокоблагородие, хорошо. Разрешите спросить — ведь не может быть, чтобы мы эту войну, как японскую, проиграем? Народ всей душой... Россию подняли и разворотили... Ваше высокоблагородие, если разворошить сумели, должны и великие дела сделать!

Васильев щипал усики и сбоку посматривал на Карцева.

— Что же это ты, братец, — сказал он, и в его голосе Карцеву послышались жесткие ноты. — Какой же ты солдат, если так рассуждаешь? Что же ты думаешь, что война, как свадьба — заиграла музыка и молодых повели к венцу? Нет, тут каждый шаг надо выстрадать, купить кровью и муками.

Он дернул головой и с усилием добавил:

— Мне труднее, чем тебе, — понимаешь ты это? Я больше тебя отвечаю, меня сильнее бьет, если у нас плохо идет. И я сжимаюсь, я крепче себя завинчиваю и говорю себе, что буду драться, как чорт, потому что хочу, чтобы Россия победила. Я так с тобой говорю, потому что ты русский, и у нас с тобой одна родина, которую мы должны оборонять. Вот, братец, как нам надо с тобой думать.

И как бы подстерегая и угадывая те мысли, что могли укрыться в солдатской голове, он близко наклонился к Карцеву, так близко, что темные болотца его глаз точно пахнули холодом на солдата, и строго закончил:

— И иначе думать не смеем. Думать иначе — это измена. Запомни — измена!

Карцев ничего не ответил. Было неловко, даже стыдно. Не стоило ему говорить с Васильевым. Не так вышло, как он думал. Он шел по лесной дороге, по вражеской, по германской земле, которую он должен был завоевать, подчинить русскому царю. Германские звезды светили на него сквозь ветки пушистой синевы надлесного пространства. Кто-то осторожно коснулся его плеча, и, оглянувшись, он увидел смутные очертания лица, удлиненного острой бородкой. Присмотревшись, он уз-

нал Годнева, солдата первого взвода, призванного из запаса. Годнев пошел рядом и, оглядывая дорогу, сказал:

— Слышал я, как ты разговаривал с ротным. Над чем ты мучишься? Какие тебе великие дела нужны? Чего тебе от войны надо? Чего ты от нее хорошего ждешь?

Годнев начал спокойно, даже иронически, но к концу его слова звучали едко и злобно. Карцев видел, как сердито двигалась его рука, рассекая воздух. Он хотел ответить, но не успел. Все остановилось. От правого дозора прибежал связной. Он тихим голосом что-то доложил Васильеву, и капитан вполголоса велел троим солдатам итти на усиление дозора, заметившего за лесом что-то подозрительное. Со связным, который знал дорогу, пошли Карцев, Годнев и Чухрукидзе. Они шли гуськом, и каждый раз, когда под ногами скрипела ветка, связной шипел:

— Тише вы... К девкам, что ли, идете?

На опушке леса залег дозор. Карцев увидел ефрейтора Баньку и еще трех солдат, лежавших в кустах. Вдалеке мелькали тусклые точечки огоньков, и трудно было угадать их происхождение.

— Рябинин туда пополз, — тихо сказал Банька. — Чорт его знает, какие там огни. Вы, ребята, вдвоем пройдите шагов двести к ним и залягте. В случае чего — один беги ко мне с донесением.

Поползли Карцев и Годнев. Карцев полз уверенно — сказывался опыт, приобретенный за эти дни. От земли шел мягкий, густой запах, мокрая трава брызгала в лицо прохладными капельками. Они залегли в ложбине, узкой, точно корытце, и Карцев, поймав огоньки и не отпуская их прищуренными глазами, спросил, продолжая разговор, сильно взволновавший его:

— Чего я от войны хорошего жду? Может быть ничего не жду. Но раз уж воевать, так по-настоящему. Напали на нас немцы — будем отбиваться. Нельзя им нашу землю отдавать. А мы мажем. Больно это.

— Не знаю, — угрюмо ответил Годнев, — может быть и мажем. Не замечаю я этого — понимаешь. Не моя это война.

Он повернулся к Карцеву, и тот с досадой отметил, что Годнев не наблюдает за тревожными огоньками.

«Солдат тоже», — пренебрежительно подумал он.

Длинная огненная палка пролетела по черному полотну ночи, и треск выстрела донесся до солдат тревожно и напоминающе: война, смерть, берегитесь!

— Надо разузнать, — прошептал Карцев. — Я поползу, а ты оставайся здесь. Смотри, не зевай, а то сразу снимут.

Годнев, покорно кивнув ему, положил перед собой винтовку, поставил ее на боевой взвод. Сжавшись, щупая глазами тьму, он лежал, полный напряжения, просунув палец под спусковой крючок, готовый стрелять в каждого, кто нападет на него. Тревога оказалась напрасной. Стрелял солдат передового дозора во что-то белое, что появилось перед ним и, несмотря на окрик, продолжало двигаться. Белое оказалось заблудившимся гусем. Гусю свернули шею и опять залегли. Скоро опять послышался шорох: кто-то полз. Окликнули, наставив винтовку по шороху и, испугавшись, едва не застрелили Рябинина. Вызвали Васильева. Рябинин доложил, что в деревне, расположенной в трех верстах отсюда, неблагополучно.

— Нет ни одного огня, а в проулке слышны голоса, — шопотом докладывал он. — Похоже, что там засели немцы.

Васильев послал приказ остановить колонну, а сам вместе с Карцевым, Рябининым и Банькой отправился к деревне. Он быстро и легко шагал рядом с Рябининым, и оба они, небольшие, коренастые, казалось, были схожи, шли одинаковой охотничьей походкой, свободно неся чуть вихляющие тела, не напрягаясь, по-медвежьи косолапо ставя ноги. Деревня завиднелась впереди мертвой массой строений. Согнувшись, они свернули с дороги в поле и поползли. Залаяла собака низким густым лаем.

— Не на нас, — прошептал Рябинин. — Брешет, не заливаясь.

Васильев полз впереди, за ним Рябинин, — Карцев и Банька находились немного позади. Вот в упор встало первое строение. Улица, как просека в лесу, светлела чуть заметно, тишина была такая чистая и ясная, что звенело в ушах — динь, динь, — и вдруг раздался выстрел. Кто-то, грасируя, по-немецки ругался и грозил, а другой голос отвечал тихо, точно извиняясь. Васильев

пополз в сторону, за ним остальные. Отползли к полю, обошли всю деревню. В двух местах слышали голоса. Когда уже возвращались, Васильев сказал:

— Хорошо, что немец нечаянно выстрелил, помог нам.

В центре колонны нашли Максимова. Он отказался от предложения Васильева окружить деревню и захватить неприятеля.

— Нет, голубчик, — вяло сказал он, — зачем нам ввязываться в авантюру? Сами знаете, как у нас хромает тактика ночного боя. Нельзя ли нам как-нибудь миновать эту проклятую деревню? Ведите полк, капитан, ведите, родной мой. Я вам верю.

Лицо у него было осунувшееся, бледное. Он не был трусом, но при первых же столкновениях с противником понял, как трудно будет ему, по малой его подготовленности, руководить полком. И теперь он, растерявшись, передавал своим офицерам ответственнейшую часть своих обязанностей. Как тогда, на маневрах, Васильев вынул карту (шинелями отгородили свет электрического фонарика) и показал маршрут, которым следовало, по его мнению, итти. Денисов и Дорн возражали ему, остальные молчали, очевидно плохо ориентируясь в местности. Итак, полк двинулся в обход деревни. Но нервное и тревожное настроение, которое было у командира полка и офицеров, не могло не передаться солдатам. Слух о том, что вблизи находятся германцы и в засаде ждут полк, каким-то неведомым путем распространился по колонне. Люди нервничали, жались в рядах друг к другу, испуганно всматривались в темноту. Каждая тень казалась им германским разведчиком, каждый шорох — щелканием затвора или шагами крадущихся немцев. Ряды незаметно перепутались. Смешались сначала взводы, потом роты. Офицеры шли тут же. Они понимали, как опасно такое настроение солдат, грозящее перейти в панику при первом выстреле, старались успокоить их, объясняли, что никакой опасности не предвидится в эту ночь. Вернер ругал солдат самыми изощренными ругательствами и, хватая то одного, то другого, говорил, поблескивая зелеными, кошачьими глазами:

— Да как ты смеешь бояться? Ты что — на гулянку пришел сюда? Ты, сукин сын, пришел царя и родину защищать, кровь за них пролить, жизнь отдать. А ты

от страха в штаны наложил. Вот, пускай появится противник, заставлю вас в атаку итти и первого, кто отстанет, уложу на месте.

Блинников плелся в хвосте роты.

«В обоз бы мне, старому человеку, — тоскливо думал он, — пускай Вернер воюет, он молодой и буйный».

Он с завистью смотрел на подпоручиков, которые, бравируя перед неопытными прапорщиками и стариками-офицерами, весело шутили и, видимо, не испытывали страха. Он так плохо себя чувствовал, что, когда раздались крики и выстрелы и вокруг него заметались люди, даже не испугался, а стал под деревом, закрыл глаза и покорно ждал, пока его убьют. Он слышал свист пуль, стоны раненых и читал «верую». Его сильно толкнули, он упал, тоненько вскрикнув и сразу ощутив свое тело, как тысячу беззащитных точек, и вдруг услышал спокойный бас, знакомый, родной голос, успокаивавший солдат, уверявший их, что произошла ложная тревога. Это был подполковник Дорн, он с несколькими офицерами быстро шел вдоль колонны и бодро сыпал шутки и ругательства.

— Слава тебе, показавшему нам свет, — прошептал Блинников, молитвенно смотря на Дорна. — Вот кому бы полком командовать вместо этого Максимова. А где же Вернер?

При первых выстрелах, не проверив, в чем дело, Вернер с кучкой людей бросился на край дороги, залег с ними, приказал открыть огонь. Эти выстрелы еще увеличили панику.

Спасла случайность. Горнист Шаповаленко, флегматичный полтавец, несколько раз громко и отчетливо проиграл отбой. Дорн с молчаливым презрением оглядел Вернера.

— Эх, вы, — сказал он, — к маршировочке, небось, больше привыкли. То-то оно и сказывается.

Человек десять было ранено своими, главным образом в боковых дозорах, двигавшихся по обе стороны дороги. Около часа прошло, прежде чем можно было продолжать марш.

Утром шел дождь. Прискакал забрызганный грязью ординарец и отдал Максимову срочный пакет. Полковник прочел, нахмурился и велел позвать батальонных и ротных командиров. Он оглядел их с недоверием, сердито

покосился на животы стариков — Смирнова, Федорченко, Любимова, перехваченные поясами, и сказал, что из штаба дивизии получен приказ — полк должен выбить противника из деревни Кунстдорф. Офицеры внимательно слушали командира полка. Они проверяли маршрут, делали пометки.

Полк развертывался в боевой порядок — на правом фланге первый батальон, на левом — третий, немного сзади, уступом к нему, — второй и в полковом резерве — четвертый батальон. Батарея, приданная полку, шла со вторым батальоном. Максимов со штабом и конными ординарцами расположился на краю деревни. Десятая рота была в авангарде батальона и наступала на левый угол Кунстдорфа, где за добротными сараями легко мог укрыться неприятель. Разведочные команды, выяснив, поскольку сумели, силы германцев, отошли к своим ротам. Цепи залегли и под редким огнем немцев перебежками двинулись вперед. Карцев наступал со своим отделением. Вся картина боя отчетливо расстилалась перед ним. Поле, по которому они наступали, мохнатое, с рыжеватой шерстинкой (от скошенных колосьев), шло под уклон по направлению к деревне, лежавшей в долине. Вторая деревня, где расположился Максимов, осталась в двух верстах позади. Слева на маленьком пригорке тесно сбилась молодая сосновая роща. За ней, укрытая от неприятеля, стала на позицию русская батарея. Суховатый артиллерийский офицер, подталкиваемый двумя солдатами, лез на сосну у самой опушки, обращенной к неприятелю. На правом фланге усилились выстрелы. Первый батальон наступал. Зеленые травяные фигурки бежали к деревне, поспешно падали, стараясь зарыть головы в землю, ползли, стреляли, кричали. До них было шагов шестьсот, и Карцев ясно видел Вернера, бегавшего вдоль цепи. Вот он выхватил шашку, взмахнул ею, и третья рота, поднявшись и крича «ура», побежала к деревне. Германские пулеметы затакали часто и горячо, и вдруг ряд коротких громовых ударов, следовавших один за другим, потряс воздух. Третья рота, вырвавшись из своего батальона, бежала вперед, и простым глазом было видно, что до первых строений им надо пробежать еще много — шагов четыреста. Вернер бежал позади солдат, потом опередил их, замахал шашкой,

блеснувшей как широкая водяная струя, и «ура», выкрикнутое его диким, ревущим голосом, донеслось до десятой роты. Он сразу исчез, точно провалился в яму, было видно, как под пулями валилась третья рота. Шагах в двухстах от деревни она залегла и до конца боя не двигалась вперед. Германские шрапнели рвались сначала высоко, потом ниже, из-за рощи в очередь доносились короткие громовые удары, и Карцев услышал ликующий голос Васильева:

— Ай, молодцы артиллеристы, в морду, в морду бьют!

Десятая рота пошла вперед, но Васильев изменил направление, он вел роту во фланг, в обход деревни, командуя сухим, звонким голосом.

— Возьмем их, возьмем, ребятушки, — говорил он, — ползите к ним, прячьтесь за каждой кочкой, землей укрывайтесь. Наши орудия славно их бьют. Вперед, ребятушки! А когда бросимся, тогда уже рвитесь изо всех сил. Чем скорее достигнем немцев, тем безопаснее.

Он управлял настроением и движением своих солдат, как опытный учитель управляет своим классом. Шутил, переходил от одного взвода к другому, заговаривал с самыми робкими и вел роту все ближе к тому рубежу, за которым уже не могло быть отступления, а только бешеное движение вперед.

— Ну, вот и время, — прокричал Васильев звенящим голосом. — Сейчас мы их возьмем. По передним равняться. С богом за мной, в атаку! Ура!

Карцеву показалось, что кто-то поднял его и бросил вперед. Горло его вздулось от крика, он скачками несся вперед, и, рядом с ним и обгоняя его, бежали с винтовками наперевес, тоже крича, солдаты. Он увидел Гилеля Черницкого, бежавшего без шапки, Чухрукидзе с оскаленными зубами, Голицына, ощетинившегося и колючего, Годнева, наклонившегося вперед, с подрагивающим штыком, Рогожина, красного, с раскрытым в крике ртом. Все они бежали, охваченные бешенством, желанием бить и колоть. Пули дзыкали вокруг него, острая жуть заставляла сжиматься тело, но нельзя было остановиться, и при каждом дзыкании он свирепо думал:

«Не моя, не моя, вот только добегу, подождите, только добегу».

Он вместе с другими перескочил через канаву, не понимая того, что видит, заметил, как, удивленно и обиженно охнув, упал лицом вперед унтер-офицер Кузнецов. Фуражка у Карцева дернулась на голове, точно ее хотели сорвать, но он не понял опять, в чем тут было дело, и все бежал, бежал вперед. Страшная птица с визгом пролетела над ним и разорвалась шагов за сто впереди, и он, ликуя и с глубокой благодарностью, подумал, что это русская шрапнель, которая охраняет его, действует с ним заодно.

«Милые, молодцы», — подумал он об артиллеристах, уткнулся в забор, сразмаху, как на гимнастике, перескочил его и увидел бегущих людей в чужом зеленоватом обмундировании.

— А, то-то же! — злобно крикнул он, опускаясь на колено и вскидывая винтовку, и сейчас же несколько человек стали стрелять в бегущих.

Сзади кричали «ура» — восьмая рота набегала правее от них на деревню, и в цепи Карцев ясно отметил высокую знакомую фигуру.

— Мазурин, — крикнул он, как будто тот мог его услышать.

Он видел, как Мазурин стрелял на вскидку, как, наклонив штык, бежал к дому, откуда раздавались выстрелы.

Карцев снял фуражку, вытирая потный лоб. Фуражка была прострелена, два круглых отверстия были в ее тулье.

8

Первый батальон, отставший из-за неразумного удара Вернера, атаковавшего противника со слишком большой дистанции, с опозданием вступил в бой. Но резервные роты, двинутые Денисовым, уже обошли деревню, и смелая атака третьего батальона решила дело. Деревня была взята, и батарея, галопом выскочив на улицу, снялась с передков и начала бить по отступающим германцам.

Рябинин шел прихрамывая. Пуля оцарапала его, и он, перевязав ногу, остался в строю. Смех и шутки доносились со всех сторон. Солдаты расходились по избам, по садам, с любопытством отыскивая следы недавнего пре-

бывания германцев. Чухрукидзе, счастливо улыбаясь, показывал черную островерхую каску, которую он нашел в маленьком окопе. Голицын восхищенно рассматривал плетеную фляжку с ромом, осторожно отпивал из нее. Третий батальон оставался в деревне. Кухни расположились возле самых изб.

— А воевать-то ничего, — сказал Рогожин, — славно мы сегодня немцев потрепали.

— Бабочки тут хорошие, — сказал Черницкий, — я уже говорил с двумя. Они очень ласковые до нас.

— Поженимся, Гилель, — толкая его, предложил Рогожин, — ей-богу, а?

Они расположились недалеко от сарая, тесной группой лежа и сидя, довольные сегодняшним днем.

— Что надо солдату? — философствовал Черницкий, сбрасывая сапоги. — Хороший обед, маленькую победу и сладкую бабу.

Он лихо провел по своим черным усам и посмотрел на молодую женщину, шедшую в сарай. Твердо ступая босыми, коричневыми от загара ногами, она оглянулась на него и засмеялась.

— Счастье тебе, Гилель, — завистливо сказал Рогожин, — поженишься.

— Обязательно, — обещал Гилель, проворно натягивая сапоги, — пойду говорить о свадьбе.

Он скрылся в сарае. Голицын угощал ромом. Рябинин рассказывал о раненом германском офицере, которого он на плечах притащил в штаб.

— Обязательно крест дадут, — сказал Голицын, — уж я знаю.

— Крест крестом, — хитро улыбнулся Рябинин, — а пока у нас это имеется.

Он вынул из кармана плоские никелированные часы с металлическим браслетом и приложил к уху.

— Золотой ход, — с уважением сказал он, — хорошо сработаны.

Мимо прошел солдат, опечаленно смотря в фуражку, которую держал в руках.

— Что, земляк? — весело спросил Голицын: — Покойник у тебя там?

— Вроде того, — ответил солдат, и все захохотали, заглянув в фуражку: там лежали битые яйца. — Подобрал

я их битыми, — сокрушенно объяснял солдат, — жалко ведь — яичница какая пропадает... вот не знаю только, где пожарить.

Издали доносились выстрелы. В стороне, жужжа, пролетел аэроплан.

— Летай, слетай, — презрительно сказал Голицын, — уже на земле тебя достигнем.

Из сарая выбежала женщина, потупясь пробежала мимо солдат. Подошел Руткевич, крикнул — не вставайте! — бросил несколько папирос. Чухрукидзе рукавом чистил каску: на ней был матовый рыжеватый след крови — и тихо напевал. Воробьи пищали и возились на соломенной крыше сарая. По небу ползло облачко, белое и маленькое, похожее на разрыв шрапнели. По улице быстро прошли два солдата, за рога таща упирающуюся козу. Редкие выстрелы слышались до самого вечера.

Подполковник Смирнов, красный, вспотевший, пил воду из горлышка фляжки. Испуганно оглядываясь на солдат, к нему быстро подошел поручик Журавлев. У поручика тряслись губы, беспорядочно двигая руками, он наклонился к Смирнову и стал шептать ему на ухо. Подполковник перестал пить, снял фуражку, перекрестился.

— Очень жалко, — сказал он, — ох, как жалко. Но что же делать — война.

— Да нет же, — пробормотал Журавлев (он почти плакал), — не в том же дело. В спину, понимаете, в спину убит... А он шел впереди роты...

Толстый подполковник ошалело посмотрел на него, слабо махнул на Журавлева рукой, словно отводя то, страшное, чего он боялся и чему не хотел верить, и оглянувшись на солдат, шумно и беспорядочно проходивших мимо него, тихо спросил:

— А они... а нижние чины видели тело?

— Поставил фельдфебеля, не велел никого подпускать, — ответил поручик. — Разве я не понимаю? Ах, подлецы...

— Надо сообщить командиру полка, — сказал Смирнов, трясущимися руками поправляя пояс. — Пойдемте, поручик, вы нас проводите к телу.

Максимов, Денисов, Смирнов и Журавлев пошли в поле. Вернер лежал на груди, раскинув ноги. Конец шаш-

ки высовывался из-под рыжей бороды. Фельдфебель, скуластый, с висячими усами, сорокалетний человек, с выражением страха, виновности и отчаяния смотрел на офицеров. Они наклонились над трупом. Защитная суконная рубашка на левой части спины была пропитана кровью. Открытые глаза капитана смотрели злобно и яростно, голова была повернута набок, будто Вернер, умирая, хотел оглянуться. Денисов опустился на колени и перевернул мертвеца.

— Не вышла пуля, — глухо сказал он: — надо найти ее.

Фельдфебель в готовности рванулся к телу.

— Ну, ты, — сквозь стиснутые зубы пробормотал Денисов, — не лезь, не твое дело. С тобой еще особый разговор будет.

— Ваше благородие, — всхлипнул фельдфебель, — пятнадцать лет верой, правдой. Да разве же я...

— Молчать! — крикнул Денисов. — Помогите мне, поручик.

Они расстегнули пояс, подняли рубашку. Рыжие волосы блеснули золотом, рана была и на груди. Она чернела чуть ниже правого соска. Пуля прошла навылет, но на гимнастерке не было никакого отверстия. Денисов нащупал бумажник и вытащил его из внутреннего грудного кармана рубашки. Он хмыкнул, показав Максимову на дыру в бумажнике, и открыл его. Пуля лежала в тугой пачке красненьких, почти насквозь пробив пачку. Денисов внимательно осмотрел ее, положив на ладонь, и молча протянул командиру. Пуля немного сплющилась. Тяжело задумавшись, Максимов рассматривал маленький кусочек свинца, заключенный в никелевую оболочку. Винтовые нарезы остались на пуле. Кто выпустил ее? Он обернулся и посмотрел на солдат, на свой полк, близкий, родной полк, которым он командовал уже три года. Он вздрогнул, бешенство охватило его. Тяжело ступая, он пошел прочь.

7

Штабные автомобили стояли у каменного двухэтажного дома, где помещался штаб корпуса. Корпусный командир генерал Благовещенский сидел в маленькой комнате и, пальцами расчесывая окладистую бороду,

изучал недавно вышедшую книгу Черемисова «Действия корпуса в полевой войне». Книга с трудом давалась ему.

Оперативные распоряжения были всегда тяжелым и непонятным ему делом, но зато он хорошо усвоил из книги те места, где говорилось о месте командира корпуса на ночлеге и об указаниях, даваемых командиром для расположения частей на ночлег. Черемисов рекомендовал корпусному штабу в целях безопасности ночевать в районе расположения одной из дивизий корпуса, и Благовещенский был очень ему благодарен за мудрый совет. В горячие моменты он под видом корпусного резерва держал при себе целый полк и не отпускал его, боясь остаться без достаточной охраны. Это был тихий по виду генерал, с седой бородой и мышиными глазками, внимательно смотревшими из-под мохнатых бровей. Всю свою жизнь он провел в канцеляриях и был свято убежден в том, что ни одно распоряжение не достигнет своей цели, если оно будет отправлено без исходящего номера. Он был автором руководства для адъютантов — о правилах выдачи литеров для бесплатного проезда воинских чинов по железным дорогам. Руководством этим генерал очень гордился, и сорок экземпляров его с собственными надписями разослал виднейшим генералам, начиная с военного министра и начальника главного штаба.

Сейчас корпус был в трудном положении. Одна дивизия, атакованная с фронта и флангов, с большими потерями отступила на десять верст. По плану в этом бою должен был участвовать весь корпус. Вторая дивизия шла на соединение с первой, но на марше был получен приказ корпусного командира вернуться в исходное положение. Карцев видел, с каким неудовольствием возвращались войска по уже раз пройденной дороге.

— Мы идем туда, мы идем сюда, — меланхолически говорил Черницкий, — а кто знает, зачем нам надо два раза итти, чтобы очутиться на том самом месте, откуда мы вышли? Здесь скрыта самая высокая стратегия, которую простой солдат не может понять.

Поздно вечером пришли в деревню, откуда выступили утром. Корпусный командир вышел из своего домика. Он хотел поругать отступившую дивизию, и устав-

шие от двойного бессмысленного перехода солдаты слышали, как генерал визгливо кричал на выстроившиеся в поле батальоны соседней дивизии, видели, как потом с каменными лицами проходили мимо них запыленные, ободранные их товарищи. Васильев нервничал. Невнятно ругаясь, он ходил по дороге перед своей ротой, и, когда подошел Дорн, капитан заговорил с ним шопотом, дергая соломенные усики:

— Что же, долго ли будет продолжаться это? В чем, наконец, дело? Знакомы вы с положением корпуса? Почему мы вернулись сюда?

Дорн ничего не ответил ему. Сняв очки, он протирал их платком и горбился, как очень уставший человек. Мимо них прошли капитаны Федорченко и Любимов. Федорченко весело помахал рукой и крикнул:

— Благодать-то какая, вернулись в насиженное гнездышко. А я еще утром говорил Алексею Иванычу (он кивнул на Любимова), что жалко деревеньку покидать. Квартиры тут хороши. Ан бог и помог вернуться. Только бы до утра не потревожили. Милости прошу с нами чайку попить.

Но старым капитанам не пришлось отдохнуть. В полночь, когда солдаты спали прямо на земле, с головами на походных мешках, с руками, засунутыми в рукава шинелей, офицеры и взводные стали будить их. Ошалевшие, плохо соображающие люди подымались, пошатываясь, перебрасывали через головы лямки мешков, брали винтовки, покорно строились. Апатия и усталость были так велики, что ни о чем не расспрашивали. Они не знали о том, что корпусный командир, встревоженный донесением о наступающем неприятеле, решил уходить. Корпус, отступая, обнажал правый фланг армии. Соседний корпус не был извещен о том, что рядом с ним оголяется целый участок фронта.

И даже командующий армией только на следующий день узнал об отступлении своего правого фланга.

Сталкиваясь друг с другом, налезая на передние ряды или растягиваясь, по ночной дороге шли колонны корпуса. Часть войск двигалась проселками. В третий раз в течение одних суток корпус выполнял противоречивые приказания своего командира. Не только солдаты, но и офицеры не представляли себе, в каком положении

они находятся: отступают ли они, или идут на сближение с противником. Смешались роты. Слышалось тяжелое дыхание. Многие спали на ходу. В спину Карцева равномерно тыкалась чья-то голова, и, оглядываясь, он видел черную фигуру, все время валившуюся вперед, но идущую, идущую. Странное ощущение овладело им. В мягком ватном мраке несли его без всякого участия с его стороны. Ни рук, ни ног у него не было. Плывет, покачиваясь, множество круглых голов. Над головами почти не видны тонкие полоски штыков. Под синим полушарием августовского неба, под россыпью звезд, мимо лесов, мимо чужих строений плывет он, и голова его тихо качается на поверхности полевого моря, широко и ровно разлившегося кругом. Восходит луна. Свет ее тревожен, он подобен раскаленной меди, он ширится, захватывает все большее пространство. Потом свет возникает и с другой стороны неба. Там восходит вторая медная луна, и в ее недобром свете, задыхаясь, гибнут звезды.

— Пожар, пожар, — шепчут в рядах, и солдаты смотрят на далекие зарева.

Они растут, ночь наливается темнобагровой мутью, уже видна дорога, она ведет к чугунному массиву леса. Где горит? Кто поджег? С какой стороны неприятель? Солдаты расспрашивают друг друга, расспрашивают офицеров. Зарева сдвигаются, окружают дорогу и густое месиво людей. Солдатам кажется, что пожары выдают их присутствие. Карцев видит сухое лицо Васильева, его внимательные, в напряжении сощуренные глаза и тихо спрашивает:

— Германцы, должно быть, подожгли, ваше высокоблагородие?

Капитан молча кивает головой и смотрит на зарево с другой стороны дороги, и Карцев, глядя на него, понимает.

Васильева тревожит, что пожары с двух сторон, — это похоже на планомерный поджог со зловещей целью.

Лес впереди так страшен, что колонна втягивается в его грозную темноту в полном смятении. Офицеры пытаются подравнять ряды, подбадривают солдат. Но роты так перепутаны, что много времени проходит, пока полу-

чается относительный порядок. Кто-то толкает Карцева, и Черницкий показывает ему головой: иди за мной. В темноте это легко сделать, нужно только замедлить шаг, и вот они оба идут рядом, вне своей роты.

— Один человек хочет тебя видеть, — смешливо говорит Черницкий. — Что, не узнаешь?

Карцев видит в темноте высокую фигуру и, скорее по догадке, чем узнавая человека, радостно спрашивает:

— Мазурин?

Широкая сильная рука сжимает его руку, и он слышит низкий, грудной смех Мазурина.

— Еще не убили? — шутливо говорит Мазурин. — Крепко же ты в землю врос — никак тебя не выдернешь.

Он спрашивает об обыденных делах, но голос у него такой родной, теплый, он с таким вниманием слушает ответы, что все его слова приобретают особое значение. Попрежнему он ровен и спокоен. Попрежнему исходит от него обаяние сильного, крепко знающего, что ему надо делать, человека. Он слушает, потом рассказывает о себе, о последних боях, о товарищах по роте.

— Орлинского не видел? — И, задавая вопрос, Карцев вспоминает, что уже несколько дней не слыхал об Орлинском.

— Вчера говорил с ним, — отвечает Мазурин, — он был легко ранен, но остался в строю. Даже в полковой околоток на перевязку не пошел.

— Это его штучки, — с пренебрежением говорит Черницкий. — Орлинский хочет доказать, что евреи не трусы. Кому он, дурак, докажет? Сволочь все равно не поверит, хотя возьми он самого Вильгельма в плен, а настоящим людям нечего доказывать. Они не думают о таких пустяках. Жалко, что Орлинский не спас Вернера. А то некому звать его жидовской мордой.

Хотя Вернер считался павшим в бою, весь полк знал, что командир третьей роты убит своими солдатами. Знали, что негласно велось следствие и поручик Журавлев с фельдфебелем следят за солдатами и подслушивают их разговоры. Из сорока кадровых солдат подозреваются семь-восемь человек, и среди них Орлинский. Фельдфебель прямо указывал, что их высокоблагородие — покойник — так сильно донимал жидка, что не иначе, как тот, ожесточившись, застрелил его.

— Плохо его дело, — задумчиво сказал Мазурин. — Увезут в тыл, забьют, замучают, а потом расстреляют. Пускай Орлинский в первом же бою сдается в плен.

— Что ты говоришь? — резко крикнул Карцев. — Как же это такое — сдаться в плен — разве можно? Ты ведь воюешь, не сдаешься.

— У меня и тут дела найдутся, — сердясь ответил Мазурин и, положив руку на плечо Карцева, тихо спросил его: — А ты думаешь, что я за царя воюю?

Карцев, пересиливая себя (не хотелось этого говорить), сказал:

— Видел я, как ты с ротой шел в атаку. Стрелял, кричал «ура». Значит, воюешь.

— Значит, воюю, — согласился Мазурин. — Что же тут поделаешь? Хочу я, не хочу, но я солдат, и некуда мне от этого уйти. Когда другие стреляют, стреляю и я. Я знаю, — продолжал он, подергиванием плеча поправляя за спиной винтовку, — что мне, тебе, всем им, — он показал рукой на солдатские колонны, — да всем им не за что воевать, но они воюют потому, что у них нет своей воли. И я здесь затем, чтобы помочь нам всем эту волю добыть.

— Помочь? — с горечью спросил Карцев. — Как же ты им можешь помочь? За одно острое слово тебя расстреляют. Да разве такую машину сковырнешь?

— Как, сам пока не знаю, — качая головой, ответил Мазурин. — Думаю, что на войне все делается скорее. На своей крови учится солдат. Ведь не один я так думаю. Я, может быть, только яснее других понимаю положение. Да, я стреляю, я воюю. Но если хоть чуточку повеет новым духом, если почую я, как солдат становится другим оттого, что доела его война, тогда я буду на своем месте, буду в открытую играть. Расскажу я тогда, каким путем итти надо, кровью своей напишу, что солдатская правда сходится с рабочей. Вот для чего я на фронте воюю. За себя, за тебя, за всех их.

Он говорил, а Карцев качал головой и с недоумением разглядывал его.

— Не идут с родины письма, — пожаловался Черницкий. — Действующая армия отрезана от живых людей. Там наверно знают о нас столько же, сколько и мы о них.

Они шли по тропинке, тянувшейся рядом с дорогой.

Здесь было мало людей, так как напуганные заревом и неудачными боями солдаты тесно шагали по дороге. Глухо лязгали штыки, мерный тяжелый топот тысяч сапог был похож на шум далекого прибоя.

— Спать хочется, — устало зевая, пробормотал Черницкий. — Что, если бы, ребята, завалиться нам всем троим под деревьями? Разыграем, кому посредине лечь, в теплоту. Утром догоним полк. Идет?

— Лучше пойдем, — предложил Карцев. — Тут опасно отставать, близко германские разъезды. Да и жители плохо относятся к русским.

Они пошли дальше. Пушечный выстрел донесся с запада — оттуда, где горело. Зарево усилилось. Как рана, багровело оно на темной, шелковистой коже неба. Сквозь густую сеть деревьев на дорогу и на солдат ложились неровные тусклые блики. Лес казался еще темнее. Он уходил к оврагу, к пожару, и вдали, вероятно, на самой лесной опушке самые зоркие и внимательные видели узкие золотые просеки огня и пухлые, нарастающие клубы дыма, похожие на горящий хлопок. Сзади в колонне что-то началось. Оттуда доносились крики и сначала редкие, потом все учащающиеся выстрелы.

— Немцы, кавалерия! — послышались испуганные голоса, и вдруг темная, грохочущая масса, опрокидывая все на своем пути, вынеслась из-за поворота.

Одни бросились в лес, другие, обезумев, стреляли, сами не зная куда.

— Стой, стой! — закричал кто-то таким мощным голосом, что сотни голов повернулись к нему. — Обоз, наш обоз! Что вы, черти, стреляете?..

Приказали остановиться. На краю дороги невысокий офицер кричал истерически повизгивающим голосом:

— Говорили же, сто раз говорили, что не нужно без самой крайней необходимости назначать ночные марши. Не умеем мы их проводить.

— Прошу не нервничать, полковник, — ответил ему резкий картавящий голос. — Что за бабья распущенность на войне? Вот за нее нас и колотят. Немцы идут, как каменные, а у наших кисель вместо нервов.

И картавящий голос закончил уже мягче, точно поняв, что обвиняет он не только полковника, но и самого себя:

— Ей-богу, не узнаю славное русское офицерство. Надо же нам подтянуться, наконец, господа.

— Подтянешься с таким корпусным, — с горечью ответил первый голос. — Скажите мне, какой маневр мы сейчас выполняем? Пытаемся ли мы восстановить положение или просто удираем? Мы дрались вчера весь день. А где в это время была вторая дивизия корпуса? Почему она не поддержала нас? Хотите, я вам скажу почему? Потому что его высокопревосходительство командир корпуса не имеет никакого представления, что такое современный бой.

Вспыхнула спичка и на секунду осветила небритый, мускулистый подбородок и вытянутые губы, зажавшие папиросу.

— Я удрал из штаба корпуса, — продолжал первый голос, — так как не мог дальше всего этого выносить. Назначили помощником командира полка, пусть хоть батальон дали, я все равно не остался бы там. Не могу я, полковник генерального штаба, быть свидетелем того, как корпус ведет бой на основах тактики прошлого века. Командир корпуса приказал вести наступление в густых строях, с тем, чтобы потом по-драгомировски броситься в штыки. Все резервы он велел нагромоздить в тылу и посылал их в бой пакетами. Понимаете, какой ужас! Оказывается, он не знаком даже с началами тактики, которые были опубликованы в наших уставах еще в девятьсот десятом году. И такому человеку вверяют корпус — больше сорока тысяч человек, больше ста орудий!

Несколько секунд было тихо, только по разгорающемуся огоньку папиросы можно было видеть, как жадно затягивался полковник. Картавящий голос неуверенно спросил:

— Почему же вы ничего не сделали, не доложили куда следует, что нельзя терпеть такого корпусного?

Папироса, прочертив в воздухе огненную дугу, упала на землю. Полковник ответил с выражением явной усталости:

— Докладывал. Докладывал лично начальнику штаба армии генералу Постовскому. Мне ответили, что тогда придется сменить девяносто процентов генералов, и кроме того в данном случае есть еще одно обстоятельство, так сказать, частного характера. Дело в том, что корпус-

ный командир был назначен самим государем... Перед войной он был за несоответствие занимаемой должности представлен главным штабом к увольнению. Говорят, что при помощи того самого старца... Распутина он добился аудиенции у государя и был оставлен на службе. Вот и все.

Ветер зашелестел в лесу. Небо светлело над лесом — оно становилось желтовато-бурым, необычным, и невольно возникала мысль, что таким оно бывает только во время стихийных бедствий. Солдаты стояли беспорядочной толпой, опираясь на винтовки. Многие ложились тут же на дороге и засыпали. Офицеры, разговаривавшие на краю дороги, медленно шли мимо солдат. Один из них сказал:

— Теперь можно не сомневаться. Мы отступаем. Что будет с армией?

Другой ответил почти спокойно:

— Знаете, что мне сказал командир корпуса, когда я несколько дней тому назад докладывал ему, что наше отступление ставит под угрозу всю армию? Он сказал, что ничего не знает об общем положении на фронте и отвечает только за свой корпус.

Они прошли вдоль колонны и скрылись в темноте. Начальник корпусного штаба в эту минуту в третий раз спрашивал у дежурного офицера, установлена ли связь со штабом армии, и дежурный в третий раз отвечал, вытянувшись и с выражением отчаяния на молодом энергичном лице, что никак нет, связь не установлена.

Начальник штаба постоял, барабаня пальцами по маленькому стеклу окна деревенской избы, где в эту ночь остановился штаб. Последние радио, полученные из штаба армии после неумелого их расшифрования, оказались настолько бессмысленными, что из них нельзя было ничего понять. Оказалось, что такие же случаи были в других корпусах, и теперь по неофициальному разрешению командующего армией радио посылались в незашифрованном виде. Но в последний день не приходили и незашифрованные радио. Может быть их получению мешала какая-то мощная станция. Может быть приказы командующего армией получались германцами еще раньше, чем русскими. Начальник штаба знал, что это вполне возможно.

8

В эти дни германская армия представляла собой нечто вроде изогнутого коромысла, на концах которого были привешены большие гири. Линия коромысла была тонкая и слабая линия германского фронта, противостоящего русским, а гири — мощные ударные группы, нависшие над русскими флангами и сбивавшие их тяжелыми ударами.

В то время, когда корпус, в котором служил Карцев, отступал на правом фланге армии, на левом фланге происходили еще более трагические события. Первый корпус был атакован германцами.

Атаки германцев были отбиты. Командиры двух русских полков, находившихся в нескольких верстах от места боя, по своей инициативе двинулись на выстрелы и, атаковав не ожидавших нападения германцев, разбили их и обратили в бегство. Охваченные паникой, начали отступать и другие германские части, поспешно двинулся назад обоз, и положение русских, имевших крупные резервы, стало на короткое время исключительно благоприятным. Но успех не был использован. Генерал Артамонов, командир первого корпуса, не проявил никакой инициативы. Он держался пассивно, хотя в его распоряжении были силы, превосходящие силы противника. Ключ к русской позиции был у Уздау. Взятие этого городка германцами влекло за собой неисчислимые последствия, предрешало поражение русских. До самого полудня русские дрались так упорно, что сумели отбросить наседавшего противника и несколько раз бросались в штыки. Артамонов со своим штабом находился за несколько верст от места сражения. Он был хорошо известен в мирное время своим солдатам, прозвавшим его «иконным генералом». При посещении казарм, небольшой, плотный, с расчесанными усами, он тихо шел по помещению, выставив грудь, от обилия орденов напоминавшую иконостас, и заглядывал в углы. Его интересовало, достаточно ли икон имеется в ротах и хорошо ли знают солдаты молитвы. Строевая подготовка не касалась его. За все годы он не задал солдатам ни одного вопроса из полевого устава, и выслуживавшиеся командиры полков знали, что можно быть спокойным, имея в казармах двойное против положенного по штатам количество икон.

Канонада усилилась, командиру корпуса доложили, что надо послать гвардейские части. Генерал, закрывая руками уши и болезненно морщась, ответил, что нельзя трогать гвардию и лучше отступить. Уздау был оставлен русскими весь в пламени. Войска отступали неохотно: они были разгорячены удачным для них боем и ждали подкреплений, чтобы атаковать немцев. Первый корпус откололся от армии — второй ее фланг был сбит. Главнокомандующий за день до этого поздравлял Самсонова с победой под Орлау, которая, как и все выигранные в этой операции бои, ничего не дала русским. А Самсонов хотя и беспокоился за свои фланги, но не считал еще положение опасным. В тот день, когда Артамонов своим отступлением открывал германцам путь на Нейдебург, где был стратегический центр армии, Самсонов прибыл в этот город со всем своим штабом. В шесть часов вечера в прекрасном каменном доме, принадлежавшем бургомистру, подавали парадный обед. Рядом с Самсоновым, полным, красивым стариком, с пышными белыми усами, сидел генерал Нокс, представитель английской армии. Он разговаривал с Новосельским о последних операциях. Нокс, хорошо знакомый с планом русского командования, считал, что дела идут хорошо. Он пил коньяк из высокой хрустальной рюмки и, весело глядя на Новосельского помутневшими серыми глазами, объяснял ему свой взгляд на военные события.

— Немцы идут на Париж, — говорил он. — Пускай их идут. Они думают, что там, как в тысяча восемьсот семьдесят первом году, лежит решение войны. Они скинули со счетов такую мелочь, как Англия. Но поверьте, дорогой капитан, что мы их достанем, где бы они ни были — в Париже или Берлине. Германии незачем было лезть в море. Море — это не германская стихия. И мы перережем все кровеносные трубы, которые тянутся через море к Германии. Я думаю, что ваши храбрые войска сломают им ноги, прежде чем они смогут предпринять что-нибудь серьезное против Англии, не правда ли?

За столом становилось все шумнее.

— Пьем за героев Орлау, — громко сказал Самсонов, подымая бокал, и начальник штаба Постовский, улыбаясь, показывал телеграмму главнокомандующего с поздравлением по случаю победы.

— Во всяком случае мы идем вперед, — говорил он, — мы уже отхватили порядочный кусок немецкой земли и отхватим еще больше. Завтра мы будем в Алленштейне, а оттуда прямой путь на Берлин.

— Из Гумбинена — дальше, — сказал кто-то.

Этот намек на медленное продвижение первой армии после победы под Гумбиненом офицеры встретили смехом.

— Вперед, вперед, вперед! — вполголоса запел полный, очень красивый офицер в форме генерального штаба, дирижируя себе стаканом, и вдруг замолчал, с недоумением поглядывая на дверь.

Дверь полуоткрылась, и армейский, в плохо пригнанной гимнастерке, офицер смущенно выглядывал из передней, видно, не решаясь войти. Постовский заметил его и махнул ему рукой. Сутулясь под взглядами блестящих штабных, вбирая во внутрь носки запыленных сапог, офицер подошел к Постовскому и подал ему сероватый конверт. Постовский вскрыл его, прочел, и все видели, как дрогнули его руки. Он, привстав, протянул Самсонову развернутый листок и тихо сказал ему несколько слов. Самсонов, краснея полной, не по-стариковски гладкой шеей, опустил листок и беспомощно поглядел на своего начальника штаба. Несмотря на то, что он много пил, важность полученного сообщения ошеломила его. Это была телеграмма генерала Артамонова, из которой, несмотря на ее путанность, можно было понять, что Уздау взят немцами и левый фланг через Сольдау отступает на юг. Командующий тяжело встал (за ним вскочили все присутствующие), с усилием скрывая волнение, сказал: «Продолжайте, господа, прошу вас, продолжайте», — и вышел вместе с Постовским. Они долго сидели перед картой, висевшей на стене. Цепь красных флажков, изображавшая линию фронта, тянулась через карту. В центре цепь сильно выдавалась вперед, на флангах же, особенно на левом, она круто загибалась назад. Но кое-где флажки отсутствовали — штаб армии не имел сведений о точном нахождении некоторых частей.

— Как же, скажите мне, как же могло так получиться? — спрашивал Самсонов. — Ведь мы заходим левым плечом, мы отбрасываем противника на север, на Ренненкампфа, а наш левый фланг оказался позади центра. Выходит, что мы заходим правым флангом, что мы со-

вершенно не так двигаемся и маневрируем, как это нужно.

Постовский молчал. Он лучше Самсонова понимал, что армия фактически не управлялась.

В последних содроганиях все еще шли вперед центральные корпуса, ускоряя свою гибель. Прикованный к пустому Кенигсбергу, Ренненкампф пропускал последние сроки совместных действий с армией Самсонова. А за два дня до гибели второй армии главнокомандующий фронтом генерал Жилинский телеграфировал Самсонову:

«Доблестные части вверенной вам армии с честью выполнили трудную задачу, выпавшую на их долю в боях 25, 26 и 27 августа. Приказал генералу Ренненкампфу, который дошел до Гердуан, войти в связь с вашей конницей. Надеюсь, что в пятницу 29 августа совокупными усилиями трех ваших корпусов вы отбросите противника».

«Доблестные» части болтались тем временем в виде бесформенной, ничем не связанной массы. Самсонов заперся у себя в комнате и ходил от окна к маленькому письменному столику красного дерева, на котором стоял в овальной рамке портрет молодой красивой женщины. Подходя к столику, он внимательно каждый раз глядел на портрет, кивал головой и продолжал ходить. Несколько раз к нему стучали, и он отвечал коротким мычанием: «Нельзя».

— Неужели они не могут понять, что надо же человеку, на которого обрушилась такая тяжесть, хоть десять минут побыть одному, не чувствовать на себе этих почтительных, отчаянных и сочувствующих глаз, взглядов, которые ранят и жгут.

Он походил на раненого зверя, который спешит спрятаться в берлогу, в темноту, чтобы там издохнуть одному, без свидетелей. Крадучись, генерал подошел к кровати и, оглянувшись на окно, на запертую дверь, опустился на колени и сунул голову под подушку. В мягкой теплой тьме успокоенно закрыл глаза, так побыл минуту и решительно встал. Сунул в карман браунинг, провел рукою по усам и уже у самой двери остановился, чувствуя, как трудно выйти отсюда под взглядами людей. Беспомощно оглянулся и, быстро подойдя к столику,

вынул из рамки женский портрет, погладил молодое, ласково улыбавшееся ему лицо, спрятал портрет в бумажник и бодро вышел. Через несколько минут он уже мчался в автомобиле на север, к Надрау, туда, где дрались центральные корпуса его армии. Перед самым отъездом он продиктовал главнокомандующему следующую телеграмму:

«Первый корпус, сильно расстроенный, вчера вечером по приказанию генерала Артамонова отступил к Иллову, оставив арьергард впереди Сольдау. Сейчас переезжаю в штаб пятнадцатого корпуса в Надрау для руководства наступающими корпусами. Аппарат Юза снимаю. Временно буду без связи с вами».

«Драться, драться, — думал он, смотря, как несется назад дорога и пробегают рядами деревья по краям дороги. — Драться как простой солдат. А связи с фронтом не надо. Не могу сейчас. Не могу».

9

В утреннем воздухе, синем и необычно прозрачном, была свежесть, предвещавшая осень. Последняя трава уже утратила летнюю окраску, стала тусклой, вялой, готовой к увяданию. Береза, одиноко росшая среди елей, резко выделялась серебряной чернью ствола, точно была посажена здесь по ошибке. Три солдата, укрывшись двумя шинелями, спали здесь. Карцев огляделся, протирая глаза. Черницкий еще спал между ним и Голицыным, — среднее, самое теплое место досталось Гилелю по жребию.

Уже двое суток полк метался на пространстве в десять-пятнадцать километров, то наседая на немцев, то вдруг по непонятным для солдат причинам отступая в леса. В этот глухой овражистый лесок с кристальным озерцем посредине они попали ночью после утомительного марша и сразу же без ужина, без глотка воды легли спать — где кто стоял. Повсюду, с головой одевшись шинелями, лежали спящие солдаты. Не видно было ни одного дозора. Пройдя по лесу, Карцев удивился беззащитности полка, так беззаботно подставившего себя неприятельскому нападению. Он пошел в кусты, побыл там и, когда возвращался, услышал чьи-то шаги. Вдруг маленькая фигура, радостно хрипя, бросилась к нему

и крепко обняла его. Он отпрыгнул, испугавшись, и узнал Комарова, солдата их роты, уволенного в запас за несколько месяцев до начала войны.

— Я это, — говорил маленький солдат, — я, Комаров, блошинка человеческая. Друг ты мой, помнишь, как ты меня в казарме папиросами угощал. Ох, все-таки ничего жили, сыты были, хоша и доставалось, конечно, — в карман плохого не спрячешь, оно из дыры вылезет.

И, все еще радостно ощупывая Карцева глазами, поглаживая его по руке, он деловито осведомился:

— А Машкова, стервь эту, не убили? Ему бы ничего, полезно, говорю, ему это было бы. Черницкий жив? За него богу спасибо. Из смолы человек. Прокипел он в своей жизни. Где он?

Он вприпрыжку побежал к Черницкому и с радостным хрипом упал на него (Гилель только вылезал из-под шинели). Обычной своей скороговоркой он начал рассказывать. Его красноватые, лишенные ресниц глаза сияли. Полк, в который его назначили, не был предназначен для боевых действий, и половина солдат была вооружена берданками. В полку — сплошь бородачи, рассыпного строя они не знали и в первый же день после высадки разбежались, услышав артиллерийскую стрельбу. Побежал и Комаров, ночевал в лесу и бродил там два дня.

— Определюсь я к вам, — весело сказал он. — Вы мне свои, родные ребята. Разве я ополченец, чтобы мне во второочередных частях служить? Я же самый что ни есть кадровый солдат.

— Перестань молоть, сорока, — сказал Черницкий, — расскажи нам, что слышно в России. Что люди говорят о войне?

— А ничего не говорят, — беззаботно ответил Комаров, — работы у них много, провожали нас, подарков понадавали, а бабоньки, конечно, плакали. Рабочие смирные стали. Раз только погнали нас на один заводик. Военный такой заводик, в заборе он весь, поверх забора колючая проволока, у ворот часовой. Вошли мы с прапорщиком, целый взвод, и повел нас инженер рабочих арестовывать. Машины у них остановленные, работать не хотят, на главной машине красная тряпка болтается. Прапорщик у нас образованный, говорун-человек, он сейчас же к рабочим, речь им говорит: «Стыдно вам, русские вы люди, —

ваши храбрые братья проливают за вас кровь, а вы им в спину нож втыкаете за то, мол, что вам мало денег платят». Рабочие, конечно, мнутся, много ли ему скажешь, если за ним взвод с винтовками стоит, но все же выступает от них один, в светлом волосе, глаза серые, не мигают, и отвечает прапорщику: «Мы, господин офицер, за деньгами не гонимся. Никакой нам прибавки не надо, а надо, чтобы нас отсюда отпустили. Не хотим тут работать». Тут ему, конечно, трудно пришлось. Прапорщик ему кричит, что он не русский, если так думает, а немецкий шпион, и приказал всем встать на работу. Поставили мы пост у машин, парня этого забрали и прямым его ходом — в маршевую роту. Вот какой случай был.

Тем временем поднялся весь полк. Не было ни хлеба, ни чая, и солдаты ели сухари, размачивая их в воде. Офицеры завтракали мясными консервами, сыром, пили кофе с коньяком. Полковым офицерским собранием заведывал прапорщик Саврасов, сын крупнейшего в городе, где стоял полк, трактирщика. Саврасов за свой счет покупал продукты, лебезил перед командиром полка, кормил его роскошными обедами и все это делал для того, чтобы не попасть в строй. Толстый, с черненькими опухшими глазками, он мячиком носился по своей столовой-палатке, обслуживал офицеров с таким вкусом и ловкостью, как будто дело происходило в богатом, с лепными украшениями ресторане его отца.

Комаров доложился Саврасову как помощник повара. Бегло оглядев маленького, исщипанного солдата, Саврасов молча взял его за плечо и толкнул из калитки. К солдатам он относился с инстинктивной боязнью — так же, вероятно, боятся в голодное время владельцы богатых ресторанов безработных, бродящих под их окнами.

Вернулся с разведки Рябинин. С тех пор как он вместе с Карцевым принес важные сведения о высадившихся германцах, его часто посылали в разведку, и он охотно и хорошо делал свое дело. Рябинин был весел, покряхтывая, он снял сапоги и рассказывал, что с севера идут немцы — никак не меньше дивизии.

— Аккуратно воюют, — говорил он. — Что мне у них больше всего нравится, ребята, так прямо скажу — снаряжение. Все у них прилажено, как обстругано. Шинель

на ранце, ранец плоский, через оба плеча продет, не то что у нас: на каждом шагу тебя мешок по боку хлещет.

Рябинин достал из-за пазухи узенький сверток и положил его на землю. В свертке было сало, неведомым путем добытое им, и, нарезая его тонкими ломтями, он говорил, облизываясь:

— Богатая страна, надо уж попользоваться, все равно отберут или в грязь затопчут.

Офицеры все еще были возле своей палатки, когда тяжелый, низкий гул докатился до полка. Он повторился через минуту, и сотни испуганных людей вскочили с земли. Гул напоминал артиллерийские выстрелы, но был так силен, зловещ, что вызывал у солдат чувство страха и тоски. В нем была неизвестность, страшный сюрприз мудрого, хитрого врага. Казалось, что расшатанные глыбы воздуха падали, как обвалы, земля вздрагивала от ударов. Часто и мелко крестясь, старческой рысью пробежал Блинников. Васильев с обычным своим видом пришел вместе с Бредовым.

— Что, ребята, страшно? — спросил он, оглядывая посеревшие солдатские лица. — Это всего лишь тяжелая германская артиллерия. Бояться тут нечего.

— Пушки, пушки-то какие, — нервно поеживаясь, прошептал Рогожин. — У нас ведь таких нет. Попадет такой снаряд — все разворотит.

Он точно накликал. Высоко в воздухе послышался низкий, быстро растущий рев. Рев приближался, с чудовищной силой пронесся над лесом. Взрыв показался всем ужасным. Короткий вихрь рванул воздух. Потом наступила мертвая тишина. Солдаты в отчаянном ожидании смотрели друг на друга, — ждали нового взрыва. Полк двинулся вперед. Шли по прекрасной лесной дороге. Ели и сосны ровными, вымеренными рядами стояли по сторонам дороги. Боковой дозор привел крестьянина, пожилого человека с красным бритым лицом, с длинными тяжелыми руками, свисавшими до колен. Он с угрюмым спокойствием смотрел на русских. Руткевич по-немецки спросил его, давно ли он стал шпионом. Сердитое удивление выразилось в маленьких тусклых глазах крестьянина.

— Шпион, конечно, шпион! — закричал Руткевич и жестким голосом продолжал допрос: — Что ты делал

в лесу? Сколько ты видел немецких войск? Куда они идут? Много ли у них орудий?

Крестьянин отвечал, что он из ближней деревни. Шел к своей дочери в Фридрихсдорф. О германских войсках ничего не знает.

— Отвечай, немецкая свинья! — взвизгивающим голосом крикнул Руткевич.

Крестьянин отвернулся от него и только качал головой, когда Руткевич спрашивал его. Подъехал Максимов, расслабленно сидевший в седле, с опущенной на грудь головой. Яростно поглядывая на немца, Руткевич доложил, что если бы немца не поймали, он через час сообщил бы своим о передвижении полка. Максимов тупо смотрел в землю, кивнул головой и поехал дальше. Руткевич, оскаливая белые, собачьи зубы, вынул револьвер, за плечо повернул крестьянина и показал ему на лес. Крестьянин побледнел, снял шапку и рванулся за Максимовым. Потом посмотрел в лицо Руткевичу и, понурясь, пошел в лес. Он надел шапку, и видно было, как Руткевич сорвал ее с головы старика и поднял револьвер.

По дороге галопом проскакала артиллерия. На опушке леса орудия снялись с передков, крупных, взмыленных лошадей отвели в лес, и подполковник в очках, наблюдая в бинокль что-то невидное колоннам, громко подал команду. Вдоль опушки полк поспешно развертывался в боевой порядок. Поле расстилалось перед ним, и солдаты видели, как с правой стороны леса выбегали русские цепи. С левой стороны леса к полю выскочил казачий полк. Казаки развернулись лавой и с гиканьем помчались вперед. Их маленькие кони стлались в бешеном намете, всадники, стоя в стременах, пригибались к конским головам, и клинки шашек сверкали, как искрящиеся на солнце водяные фонтанчики.

— Вперед, с богом вперед! — закричал Дорн, скача вдоль фронта на рыжей лошадке. — Теперь-то мы их поймали.

Зажмурясь и пригибая головы, побежали в поле. С германской стороны почти не было огня, там как будто стреляли в другую сторону.

— Во фланг, во фланг берем, — услышал Карцев радостный голос Васильева.

Германская часть, на которую они шли, была повернута к ним боком — германцы отражали атаку с другой стороны, и нападение отсюда было для них неожиданным. Все побежали вперед. Это походило на захватывающую игру. Вокруг себя Карцев чувствовал (чувствовал, а не видел — смотреть кругом нельзя было) возбужденные лица товарищей, они делали то же, что и он, как и он, были охвачены острым желанием скорее броситься, ударить, захватить врасплох, выиграть игру. Выскочил вперед Руткевич, легко размахивая обнаженной саблей, неловко подпрыгивая на длинных тонких, как у жеребенка, ногах. В цепи на секунду показалось сосредоточенное лицо Бредова и дикое, осыпанное крупным потом лицо Машкова. Васильев шел деловито, уверенно. Вид у него был хозяйский, и вдруг странное успокоение почувствовал Карцев. Все делают то, что надо, и он делает то же, сообща идет работа, и сейчас, вот сейчас наступит самый горячий, самый крепкий момент.

Большая суетня шла по всему полю, солдаты размахивали винтовками, трудились свирепо и жарко, вскрикивали, стонали, падали и другие наскакивали откуда-то сзади, точно подсыпали их оттуда щедрой горстью, не жалея, не считая.

«Вперед, вперед», — думал Карцев и смутно видел перед собой напряженные лица, из которых выделилось одно, очень сердитое, по-собачьи тонкое у подбородка, но с синими, чистыми глазами. Лицо это не пропадало несколько секунд, толстые губы смешно топырились на нем, и серая полоска пронеслась в воздухе. Карцев с любопытством увидел, что серая полоска была германским штыком, чуть не проткнувшим его, увидел Рябинина, который прикладом свалил немца, и на какой-то очень маленький срок теплая мыслишка мелькнула у него: «Я не один. Вот как меня защищают... Эх, родные...»

В горячности, в увлечении боем он мало замечал из того, что происходило вокруг него. Только узенькое пространство, на котором он действовал, существовало для него. Чувство счастья охватило его, когда он ощутил у своего локтя локоть Голицына, твердый, дружеский локоть. Порыв, уносивший его, все еще не проходил. Он не хотел отставать от товарищей, рвавшихся

вперед. Его привычные солдатские руки лезли в сумку за обоймами. Он не понимал, как с суховатым треском закрывался и открывался затвор, как прочно и удобно входил в плечо приклад, когда он стрелял на вскидку. Вид бегущих немцев заставил его закричать «ура», но он уже не стрелял в них, незаметно для себя переходя к иному, более спокойному настроению. Чаще оглядывался вокруг, замедлял бег. Наступила перемена в бою. Опрокинутые фланговой атакой, немцы бежали, убитые и раненые лежали в поле, в тыл вели пленных, и четверо солдат на плечах, чтобы все видели, тащили германский пулемет. Но чаще доносились выстрелы орудий, шрапнель рвалась над русскими цепями. Цепи, скучившись, топтались на месте, и младшие офицеры, потеряв связь со штабом полка, не знали, продолжать ли наступление. Русская батарея била в лесу, и снаряды визжали, как сверла, режущие металл. Поле было ровное, и только в одном месте оно горбилось холмиком. Десятая рота занимала это место. Карцев лежал на земле возле самого холмика. Он услышал команду и видел, как неохотно и медленно подымались солдаты. Это Васильев решил вывести роту из пункта, который сильно обстреливали. За холмиком хриплый знакомый голос ругался, и Карцев, посмотрев туда, вскочил и побежал. На земле, подогнув под себя ногу и опираясь на локоть, сидел Чухрукидзе. Взвод уже шел вперед, и Машков кричал Чухрукидзе, чтобы тот подымался. Солдат, смотря на взводного, рванулся. Ноги его вытянулись, спина глухо стукнула о землю, руки прижались к бедрам. Он лежал навытяжку, как поваленный манекен, изображающий русского солдата, застывшего по команде «смирно». Лицо его желтело и морщилось болью, но горячечные глаза не отрывались от Машкова. Он видел только его, он был в строю.

Карцев, отбрасывая винтовку, наклонился над Чухрукидзе. Синие губы солдата раскрылись, он, должно быть, хотел улыбнуться Карцеву, но вместо улыбки послышался стон.

— Ранен? ранен? Отвечай, друг, — тихо спрашивал Карцев, весь стиснутый щемящей жалостью к Чухрукидзе. — Да брось же, брось тянуться, — почти плача прокричал он и нежно отвел руки раненого от бедер.

— Ты что, санитар? — крикнул Машков. — В бой иди, сволочь, в бой иди! Плакальщики и без тебя найдутся.

Карцев поднял голову. Горло у него сдавило. Он смотрел на взводного, человека с медным, тугим лицом, долгие месяцы мучившего его и Чухрукидзе, отравившего им жизнь, — врага. Молча он нагнулся над Чухрукидзе, пожал вялую, холодевшую руку, поцеловал синие губы и, схватив винтовку, побежал вперед. Бой уходил дальше, чаще стреляла германская артиллерия. Карцев шел к лесу, догоняя наступающую цепь, пригибаясь, когда свистели пули. Но итти уже не хотелось, и, увидев заминку в наступающих цепях, он лег в окопчик, очевидно наспех вырытый кем-то совсем недавно, и лежал там долго, спрятав в прохладной ямке лицо.

Русское наступление затихло. До леса так и не дошли. Прибежал рыжий прапорщик, исполняющий обязанности помощника полкового адъютанта, и передал приказ. Полк был обойден с тыла, надо было скорее отходить. Лежа в своем окопе, Карцев услышал глухой топот бегущих людей. Он поднял голову и увидел расстроенные цепи, поспешно отходившие назад.

— Били, гнали, народу сколько испортили, — громко говорил молодой, очевидно кадровый солдат, — и вот — пожалуйте. Немцы бегут, немцы нами побиты, а нам отступать приказывают. Смеются они там, что ли, над солдатами?

Одни шли, сжав плечи, беспокойно оглядываясь назад, другие ругались и, часто останавливаясь, с колена стреляли по лесу. Дорн, поглядывая на солдат из-под очков, шагал с огорченным видом, похожий на врача, которому не удалась операция.

Небо было синее. Далеко над лесом виднелось белое пятно германского привязного аэростата.

10

Полевая почта привезла письма. С удивлением смотрел Бредов на маленький голубой конверт, на тонкие, знакомые буквы, которыми был написан адрес.

— Боже мой, как все это далеко, — тихо сказал он.

Жена, покинутая где-то квартира и вся мирная жизнь

показались ему маленькими, как кажутся маленькими предметы, когда смотришь на них в большие стекла бинокля. Он прочитал письмо, не содержавшее в себе, как он подумал, ничего значительного, и, вспомнив, что еще ни разу с начала войны не смотрел на портрет жены, достал этот портрет из бумажника и с глубоким любопытством стал его рассматривать.

— Зоя, жена, — вслух сказал он, точно убеждая себя, что это в самом деле так, что это она, а не другая, чужая женщина.

Он подумал, что надо ответить на письмо, нахмурился и с наступившим сразу облегчением решил, что завтра напишет письмо. Недалеко от него на шинели лежал Васильев и жадно читал письмо. Лицо у него было размягченное, добрые морщинки собирались у носа.

— Вот-с, — растроганно сказал Васильев, — пишут мои зверюшки, кланяются, целуют.

Бредов сочувственно улыбнулся ему. Ему казалось, что черные твердые узелки с томительной медленностью проходят близко перед самыми его глазами. Он встряхивал головой, закрывал глаза, но черные узелки двигались неумолимо, как движутся заводные куклы. Штабс-капитан медленно пошел в лес, хотя он знал, что тут итти опасно. Пушечные выстрелы звучали с разными промежутками времени, и Бредову показалось, что это бьют огромные, сделанные гигантами часы. Он тихо улыбнулся смешной этой мысли и, всматриваясь в кусты, часто разросшиеся здесь, шел по узенькой, мало хоженной, как это было видно по покрывавшей траве, тропинке. Его окликнул дозор. В невысоком широкоскулом солдате Бредов узнал Рябинина.

— Что, близко? С этой стороны? — спросил он.

Рябинин усмехнулся.

— И с этой, и с той, ваше благородие, — выразительно сказал он. — Далеко не ходите.

Бредов, хмурясь (неприятно было, что солдат так ясно видел плохое положение полка), кивнул Рябинину и пошел дальше. И точно развязанные солдатским ответом, давно уже мучившие его мысли, которые он давил и прятал, овладели им.

«Вот она, вот она, самая многочисленная, самая храбрая в мире армия. Три или четыре корпуса германцев

действуют против целого фронта и бьют, загоняют в мешок, наседают со всех сторон. Какой прекрасный день был вчера. Противник, взятый во фланг, сотни захваченных пленных, радостные лица солдат, сладостное чувство удовлетворения. Победа, победа! Что может быть радостнее? Потом неожиданный приказ об отступлении, обход с тыла, беспорядок, молча идущие колонны, зарева пожаров вокруг».

Он незаметно для себя ускорял шаги. В кустах зашумели, послышался треск ветвей, и Бредов увидел угреватое лицо штабс-капитана Тешкина. Сзади Тешкина с земли торопливо подымалась женщина. Это была уже немолодая крестьянка в грязном ситцевом платье. Она побежала, прикрывая лицо руками. Бредов с удивлением посмотрел на нее, а затем на Тешкина.

— Старовата, конечно, — деловито пояснил Тешкин, — и вообще женщина не первого сорта, но что делать. Война...

Бредов неприязненно оглядел его длинную, нескладную фигуру. Но во всем облике штабс-капитана не было видно никакой сконфуженности. Он спокойно отряхнул травинки и листья, приставшие к его шароварам, застегнулся, вынул портсигар и предложил Бредову папиросу.

— Не сердитесь, — дружелюбно сказал он, заметив резкое движение Бредова, не взявшего папиросу. — Разве я сделал что-нибудь нехорошее? Все то же, уверяю вас, все то же, что делают люди и на войне и в мирное время. Зачем же лицемерить?

Он не оправдывался, а объяснял, маленькие глаза его глядели прочно и уверенно, рука с папиросой делала плавные движения.

— Сядем, — сказал он, — очень приятно поговорить с интеллигентным человеком. Не знаю, как вы, но я себя чувствую здесь таким же одиноким, как в гарнизонной жизни. Противно наблюдать этих старых болванов, этих верблюдов в мундирах. Блинников — командир. Федорченко — командир. Максимов — командир. Боже мой, как можно этих приказчиков посылать на дело, требующее такой точности, таких знаний и решительности! Я партач в военном деле, не понимаю и не люблю его, но и мне ясно, что мы играем наверняка — на проигрыш. Половина офицеров никуда не годится. Другая — ничего

не может изменить. Видели вы нашего корпусного командира? Ему бы в музее быть, а он ведет сорок тысяч солдат и офицеров... Суворов паршивый. Нет, знаете, лучше не вмешиваться во все это. Пережить как-нибудь — вот что главное.

— Как же не вмешиваться? — с бешенством ответил Бредов. — Да вы понимаете, что вы говорите? Разве вам все равно — выиграем ли мы войну или проиграем ее?

Тешкин посмотрел на докуренную свою папиросу, втянул дым и просто сказал:

— Пожалуй, что все равно. Здесь лес, никто нас не слышит, и я честно говорю вам: да, мне все равно, выиграет или проиграет Россия эту войну. Меня интересует только моя собственная судьба, и я никогда не видел, чтобы Россия заботилась о ней. России все равно, что будет с Николаем Ивановичем Тешкиным. Россия никогда не заботилась о нем, не помогала ему строить его жизнь, и Николаю Ивановичу Тешкину все равно, что будет с Россией. Нет у меня ни наследственных, ни благоприобретенных капиталов, ни имений. Нет у меня любимых людей и любимых мест. Выучите меня немецкому языку, и я буду жить в Германии. Если в Германии мне будет лучше жить, чем в России, если там полюбят меня и будут обо мне заботиться, я скажу — вот моя родина, вот где мне хорошо.

— Как вы смеете так говорить? — в тоске и бешенстве закричал Бредов (тоску навевал унылый и циничный тон Тешкина, весь его вид). — Вы — русский офицер, русский человек...

— Чепуха, — внимательно выслушав его, ответил Тешкин. — Вот русские солдаты убили Вернера. Разве от этого они стали менее русскими? Неужели вы так отождествляете себя с Россией (а я, ей-богу, до сих пор по-настоящему не знаю, что такое Россия), что должны кричать на меня потому, что я чувствую себя отдельно от нее? Проверьте себя, не говорите ли вы чужих, натасканных и ставших вам привычными слов. Россия не так широка, как вы это представляете. Для одних это Петербург, дворцы, скачки, кутежи. Для других — выгодные гешефты на военных и интендантских подрядах, для третьих — жалованье двадцатого числа, церковь, квартира из пяти комнат, для четвертых — голодная деревня,

для пятых — каторга или тюрьма. Какая же она, ваша Россия? Не надо абстрагировать, будем точными. На какую полочку вы себя положите? Где она, ваша собственная тропиночка, которой вы идете, где ваша ямка, ваше гнездышко? Пока вы не укажете его, я не поверю вашим словам о России.

Он с любопытством смотрел на Бредова, он напряженно ждал его ответа, и Бредов вдруг ощутил некоторую растерянность. Ему вспомнилось многое из того, что он охотно забыл бы теперь. Неудача с академией, чванные петербургские гвардейцы, для которых он был черной костью, разговор с Максимовым. Какую же Россию он любит и защищает? С горьким удивлением смотрел он на угреватое лицо Тешкина, на язвительные его губы, на глаза, искрящиеся черным жиром, и молчал.

— Вот и у меня нет своей России, — продолжал Тешкин, короткой паузой как бы подчеркнув тот факт, что Бредов не ответил на его вопросы. — Никогда я не сознавал себя гражданином, а только подданным. «Дай, дай, дай, — говорили мне, — слушайся, слушайся, уступай дорогу тем, кто выше тебя». А взамен что я получал? Пинали меня, отталкивали подальше в сторону. Всю жизнь отталкивали. Так позвольте же мне самому позаботиться о себе, если никто не делает этого.

Он поднял с земли фуражку, не отряхнув, надел ее на черные, прямые волосы и, не прощаясь с Бредовым, вялой походкой ушел в кусты. Лес был тихий, предосенний. Грустный запах гнили исходил от опавших листьев, от сыроватой лесной земли.

11

Ночь провели в брошенной жителями деревне, ночевали в чистых немецких домиках, в сараях, еще полных сена, переловили и съели всех кур и гусей, на дрова ломали заборы и мебель. Черницкий ловко выпотрошил гуся и жарил его, насадив на штык. Костер горел во дворе. Маленькие злые искры с треском вылетали из бронзового, чуть задымленного огня и пропадали в ночи. Где-то стреляли, но никто не обращал внимания на выстрелы, как не обращают внимание городские жители на уличный шум. В девятой роте было весело. Солдаты

нашли в подвале несколько боченков пива и распивали его, щедро угощая всех, кто к ним приходил. Офицеры сидели по избам и только на минуту увидели капитана Эйсмонта, который, ругаясь, пробежал по улице. Пьяненький ефрейтор Банька, отрыгивая пивом, привалился к костру и сообщил, что капитан ругается потому, что нигде не выставлено сторожевого охранения.

— Кричит, что германцы заберут нас голыми руками, — говорил Банька, ласково осматривая товарищей, — так, пожалуйста, — и он обвел рукой весь двор, — пожалуйста, забирайте нас всех.

Он вытянул из походного мешка резиновый пузырь, в каких больным кладут лед, и, любовно оглядев его, отвинтил крышку.

— Удобная штука, — с уважением сказал Банька, — для пива или для водки лучше не надо.

И, потискивая пузырь, он наливал поочередно Карцеву, Черницкому, Голицыну и Рябинину, бормоча:

— Вместительный, чорт, умные люди, должно быть, его придумали. Образованная страна!

— Умные всегда хорошее придумают, — сказал чей-то голос с украинским акцентом, и Карцев с Черницким быстро обернулись.

— Защима! — закричали оба.

Карцев вскочил и, не веря себе, смотрел на знакомую фигуру ефрейтора. Всего несколько месяцев прошло с тех пор, как он видел Защиму в последний раз, но столько событий случилось за эти месяцы, что Карцеву казалось — прошли годы. Защима, накануне своего ухода в запас оскорбивший фельдфебеля и приговоренный судом к шести месяцам дисциплинарного батальона, стоял перед ним, немного похудевший и осунувшийся, с ввалившимися глазами, одетый в защитную солдатскую одежду.

— Ты чего смотришь? — неторопливо спросил он. — То ж я, Защима, бывший государственный ефрейтор, а теперь рядовой из разряда штрафованных. Прибыл защищать отечество и начальство. Для того отпустили меня из дисциплинарного батальона на месяц раньше срока.

Привычным движением через голову он снял скатку и опустился на землю возле костра. Голицын, не знавший Защиму, подвинулся, уступая ему лучшее место, и сказал, щуря серые мохнатые глаза:

— Дисциплинарным ты нас не удивишь. Я, когда на действительной был, троих туда проводил, и сам едва с ними не попал.

— Я и не удивляюсь, — равнодушно ответил Защима. — Мы вже давно не удивляемся. — Принимая от Черницкого коричневый, с капающим с него жиром кусок гуся, он спросил: — Ну, как вы тут, братики, воюете? Не продырявили вас еще немцы?

Он слушал, медленно прожевывая гуся, кивая головой. Было в нем что-то спрятанное от людей, что-то такое, что он берег, как берегут выстраданное и горькое чувство. Запавшие его глаза глядели невесело, но в их взгляде не было надломленности.

— Жил, слава богу, — ответил он Карцеву, спросившему его, как ему служилось в дисциплинарном батальоне. — Жил так, скажем, как на доброй каторге. Всюду же люди. Фельдфебели есть, господа офицеры есть, тюрьма есть и поп — все, как полагается. Сорок человек нас освободили и отправили на войну. Речь нам говорили. Хорошую речь. «Вас отечество вскормило и вспоило, ласку вам всякую оказывало, так вы его своей кровью за это за все защитите». И отправили нас под конвоем и без оружия прямо на вокзал. Просились там некоторые — дурни — нельзя ли с родными попрощаться. Умные молчали — они всей солдатской жизнью научены, как начальство их просьбы исполняет. К одному жинка приехала, всю дорогу рядом шла, а к мужу не допустили ее. «Когда свою вину отвоюешь, — сказал ему поручик Корнеев, командир наш, — тогда сколько хочешь с жинкой видайся, а теперь нельзя». Музыка даже нам поиграла, поп нам крест целовать давал — проводил нас честь-честью, как следует христианским воинам. Ну, вот мы и здесь.

Голицын смотрел на него подозрительно: серьезный тон Защимы путал его, и он не понимал, серьезно ли говорит тот или издевается.

— Да, парень, — сказал он на всякий случай, — такие вот дела. Кто их, значит, разберет, да распутает? Может быть после и разберут, а нам с тобой да вот с ними (он широким жестом показал на солдат, на избы) втемную придется пожить. Видно уж так.

Костер затухал, серый пушистый пепел осторожно покрывал золотые столбики огня, точно укутывал их от холодящего ночного воздуха.

Вдруг сильный взрыв поколебал воздух. Деревья во дворе зашелестели, как от порыва ветра. На севере багровым светом стало наливаться небо, точно там преждевременно всходило солнце. Взрыв повторился, тоненько зазвенели стекла в домах, и вдруг настала тишина. Она длилась долго, деревня молчала по-мертвому, не лаяла ни одна собака, воздух давил тяжело, как чугун.

Первым, не выдержав напряжения, закричал Защима. Большое его тело дрожало, он гнулся к земле и трудно дышал. Взрывы продолжались с короткими промежутками, и север все шире заливался расплавленным металлом, точно выдавала его без счета чудовищная домна. Пожар начался и на западе, два зарева сближались, и между ними проходил черный коридор еще неосвещенного неба. Из изб поспешно выходили офицеры. В штабе полка началась суетня. Туда вошел Дорн. Через минуту он показался в дверях вместе с Денисовым. Дорн сердито что-то говорил Денисову, тыча рукой в комнату, где помешался командир полка, а полковой адъютант пожимал плечами и отвечал шопотом, наклоняясь к уху полковника. Старшие офицеры торопливо подходили к штабу, до солдат доносились их громкие, возбужденные голоса. Вышел Максимов, сутулый, с небритым отекшим лицом. Он говорил мало, больше слушал Денисова и кивал головой. Штабс-капитан Блинников, заменивший убитого Вернера, повел третью роту. Он оглядывался, отыскивая исчезнувшего поручика Журавлева, так как совсем не надеялся на себя, а прапорщик Калдыгин, худой, похожий на аиста юноша, робко жался к нему и все одергивал желтую, поскрипывающую новой кожей кобуру нагана.

Журавлев отсиживался в задней комнате домика, где стояли офицеры первого батальона, и твердо решил, что рота уйдет без него.

Он лежал на металлической кровати. «Сволочи, деревня, а живут лучше, чем у нас в городе» — думал он и угрюмо разглядывал в овальном зеркале свое прыщеватое, с ввалившимися щеками лицо. Он часто вспоминал Вернера. Перед его глазами четко стояла последняя сце-

на земного пути убитого своими солдатами капитана: рыжая борода, рыжая шерсть на голой простреленной груди, открытые, ненавидящие глаза и дорогой коричневой кожи бумажник, туго набитый кредитками. «Ах, дурак, дурак, первый был возле тела и не сумел использовать такой прекрасный случай. Ведь в бумажнике было рублей четыреста, не меньше. Испугался чего-то, не посмел залезть в карман. Одна пачка была насквозь пробита пулей — на такие деньги, должно быть, здорово везет в карты».

Оскалив гнилые зубы, он с тоской прислушивался к топоту выступающих рот, к словам команды. Швырнул на пол зеркало и, зажав пальцами уши, сунулся головой под подушку: ничего не знать, ничего не слышать.

Августовская ночь переходила в рассвет. Было свежо, бледнели звезды. На правом фланге загремела русская артиллерия. Под шрапнелями валились тонкие садовые деревья. Тяжелые германские снаряды падали совсем близко. За рощей проходила железная дорога. За буграми, за холмиками возле железнодорожной будки залегла немецкая пехота, и пули с визгом и цоканьем проносились над русскими цепями. Группы раненых уходили обратно в деревню, где расположился полковой госпиталь. За дорогой была речка, красиво поросшая кустами, и вдруг из-за кустов выскочили немцы и с криками побежали в атаку. Русская батарея била по ним прямой наводкой, восемь полковых пулеметов татакали непрерывно, и простым глазом было видно, как падали люди, как в смятении побежали они назад и стали прятаться у речки в рытвинах и в кустах. Энергичный капитан Эйсмонт повел в атаку свою роту. Артиллерийский огонь усиливался, сражение происходило на широком фронте. В деревню въехал автомобиль, худощавый генерал с маленькой коричневой бородкой долго и внимательно выслушивал доклад другого генерала, остроносого человека в черепаховых очках, смотрел на карту, которую начальник штаба разостлал на сидении автомобиля, и негромко отдал несколько распоряжений. Стягивая с маленькой руки серую лайковую перчатку, генерал вылез из автомобиля и прошелся по дороге, по-птичьи наклонив набок голову, — прислушивался к артиллерийской стрельбе. Прискакал запыленный ординарец с донесением. Рыжий

конь тяжело водил боками, пена белыми хлопьями падала с его боков, с тонких ног. Генерал ласково похлопал коня по шее, сказал ординарцу: «Спасибо, спасибо, родной мой», — и, прочитав донесение, быстро пошел к автомобилю. Он продиктовал приказ, который торопливо записывал офицер генерального штаба, и уехал. Через час на фронте в несколько верст двинулись в наступление три полка, имея четвертый в дивизионном резерве. Это была операция, предпринятая командиром пятнадцатого корпуса генералом Мартосом, которая дала русским краткую иллюзию победы, несколько орудий и больше тысячи пленных.

Бредов вел десятую роту. Дорн был убит германским снарядом в то время, когда батальон развертывался в боевой порядок. Васильев заменил его, и штабс-капитан достиг своей мечты: он стал ротным командиром. Все было хорошо в этот день. Небо синело чисто и спокойно. Далеко позади в красноватых лучах утреннего солнца виднелся грюнфлисский лес. Темная его громада тянулась на несколько верст. Отдохнувшие солдаты шли весело и бодро. Бредов, охваченный счастливым чувством, решил, что сегодня для него нет ничего невозможного. Раздражала только унылая фигура Максимова, которого он видел перед самым наступлением, но и Максимов исчез. Васильев точно объяснил задачу роты, и Бредов, отчеркнув карандашом в трехверстке пункты и места, по которым он должен был итти, почувствовал себя, как на маневрах. Грохот артиллерии доносился справа и слева, близко рвались неприятельские снаряды, дзыкали пули, но чувство счастливой уверенности, охватившей Бредова, было так сильно, что он шел в рост, зная, что ни одна пуля не может сегодня попасть в него. Он видел, как по обе стороны от него наступали девятая и одиннадцатая роты, видел, как молодцевато шел вперед старый капитан Любимов, видел зеленоватые цепи германцев и кивал головой.

Да, все идет хорошо. Он ведет к победе двести человек, двести человек! Через связных он передавал приказы взводным, следил, чтобы при перебежках солдаты не скучивались, бросился вперед, когда сблизились с германцами, сам восхищаясь четкостью своих действий, своим хладнокровием и храбростью.

Он видел, как побежали от русских согнувшиеся, совсем не страшные фигурки, как поспешно легли они (или упали), когда русские пулеметы захлестнули их, бегущих.

Вот они, вот они, они поднимают руки, бросают на землю винтовки, у них серые, покорные лица, расширенные от ужаса глаза...

И вдруг тревога охватывает Бредова. Прапорщик отчаянно кричит ему, показывает рукой направо. Среди редких сосен, среди колючей ежевики, растущей между соснами (как хорошо все это видно в бинокль), появились немцы, они обходят девятую роту, и нет ни одного резервного взвода, чтобы остановить их. Бредов стискивает зубы, — сейчас зайдут, ударят, засыплют пулями. И без всякого усилия с его стороны в голове ясно возникает военное училище, занятия по тактике, чертеж на доске: противник охватывает фланг, и охват парируется резервом, который выдвигается уступом, удлиняя фронт батальона. Хватит ли времени сообщить Васильеву? Он рвет из сумки полевую книжку, ломается карандаш, он оглядывается, полный муки, и вскрикивает. Согнувшись, с винтовками наперевес из резерва бегут на правый фланг солдаты. Их ведет усатый капитан Эйсмонт. Двенадцатая рота брошена Васильевым навстречу обходящему русских неприятелю.

Все это кажется Бредову волшебством. Как быстро и верно Васильев оценил обстановку, как странно совпали их мысли!

Бой окончился в сумерки. Солдаты и офицеры были бодры, возбужденно разговаривали. И в первый раз за все время войны Бредов почувствовал, что он и солдаты — это одно целое, здоровенная слаженная силища, которая может ломать и крушить все, что становится ей на пути. Он разговаривал с солдатами, он ходил среди них, жадно всматриваясь в них, и трепетал от радостного возбуждения, находя и в лицах, и в словах отзвуки тех настроений, которые дала солдатам (как и ему) сегодняшняя победа. Потом повели пленных, повезли взятые орудия, и незнакомый полковник, счастливо улыбаясь (у него было милое, чисто славянское лицо, сероглазое, с белокурой бородкой), закричал Бредову и другим офицерам:

— О, это еще не все, посмотрели бы вы, сколько их взяли по всему фронту корпуса! Здорово дрались мы сегодня!

— Ваше высокоблагородие, — выкрикнул небольшой курносый солдат, показывая в улыбке такие белые, крепкие, радостные зубы, что нельзя было не улыбнуться ему, — ваше высокоблагородие, кабы нам всегда так воевать... Ей-богу, и немцев, и англичан — всех под Россию завоюем!

Полковник засмеялся и, ласково сказав что-то солдату, поехал дальше.

Надвигался вечер. Колонны со смехом, веселыми разговорами и песнями втягивались в немецкий городок. Тихие улицы наполнились шумом, квартирьеры не успевали показывать частям их помещения. Упоенные радостью офицеры не следили за порядком размещения, и как только они устроились, денщики начали шнырять повсюду, отыскивая вино и продукты. Полки должны были пройти весь город и расположиться по другую его сторону, но они не выполнили приказа и остались в городе. В погребах нашли пиво. Солдаты выкатывали толстые влажные бочки, разбегались по своим помещениям с полными котелками. Какой-то поручик остановил солдата, тащившего ведро с темным пенистым пивом, но тот обиженно сказал:

— Ваше благородие, после таких побед да не попользоваться? Все же пьют!

Офицер, махнув рукой, быстро ушел. Уже через час по улицам попадались пьяные солдаты, поздравлявшие друг друга с праздничком, а еще через некоторое время все спали мертвым сном. В штабе корпуса, расположившегося в доме бургомистра, огонь горел всю ночь. Дежурный офицер спал, сидя за столом. Его разбудили, осторожно похлопывая по плечу. Он открыл глаза и опять закрыл их, думая, что ему снится сон. Но его опять разбудили, и он вскочил, беспорядочно хватаясь руками за бока, отыскивая револьвер. Немецкий офицер, улыбаясь, смотрел на него.

— О, не беспокойтесь, — сказал он жестко, но совершенно свободно выговаривая русские слова. — Я думаю, что вам не надо кричать, так как все уже сделано. Мы вас, так сказать, взяли обнаженными руками.

Он был не совсем точен. С улицы стали доноситься выстрелы, крики, топот многих бегущих людей. В задних комнатах штаба громко стукнула дверь, что-то тяжелое упало с большим шумом, и в комнату вбежал седой человек в одном белье. У него были сумасшедшие глаза, и он, задыхаясь, закричал дежурному офицеру:

— Так-то вы дежурите, капитан? — И замолчал, в недоумении глядя на немецкого офицера.

Офицер вежливо отдал ему честь и спросил, с кем он имеет удовольствие говорить. Узнав, что перед ним начальник штаба корпуса, он сделался еще вежливее, но на дворе сухо защелкали выстрелы, и он бросился к окну. Маленькая группа всадников, стреляя, скакала к воротам. Впереди был пожилой, сухощавый человек в очках. За ним держались четыре казака.

— Командир корпуса, — вскрикнул дежурный, и немец стремительно выбежал из комнаты.

В эту ночь пятнадцатый корпус, ночевавший в Нейдебурге по-домашнему, без всякого сторожевого охранения, с перепившимися солдатами и офицерами, был захвачен врасплох, и несколько тысяч человек были убиты и взяты в плен. Командир корпуса генерал Мартос убежал с четырьмя казаками и через два дня был взят в плен в окружающих город лесах.

12

Было уже совсем темно. В небе белыми искорками сверкали звезды. Чуть-чуть светлела в ночи песчаная дорога. Спотыкаясь, без всякого строя, растянувшись на несколько верст, брела толпа людей. Каждую минуту, шатаясь, отходили в сторону черные фигуры и валились на землю. Давно уже Карцев не видел вокруг себя ни одного знакомого лица. Он слышал дыхание смертельно усталых людей, слышал хриплые ругательства, слышал стоны. Он пытался найти Черницкого, Голицына, Чухрукидзе, но не видел никого из них. Он спал на ходу, спотыкался и, наконец, упал, наткнувшись на что-то, лежавшее на дороге. Невнятное проклятие донеслось с земли, человек с трудом поднял голову и прошептал:

— Землячок, откуда ты такой неугомонный? Хочешь

царский полтинник получше отработать? Ложись, земли на всех хватит.

Голова упала, Карцев услышал храп и, опираясь на винтовку, встал на колени.

— А в самом деле, — пробормотал он в удивлении, что такая простая мысль — лечь и уснуть — не пришла ему в голову, — а в самом деле! Только я не на дороге лягу.

Он заставил себя встать. Это было очень трудно. Земля влекла к себе, как лучшая постель. Он перебрался через дорогу, толкая попадавшихся по пути людей, почувствовал под ногами траву, увидел какую-то темную массу, последним усилием сдернул со спины мешок и повалился на него лицом. Кто-то наклонился над ним, теплое влажное дыхание коснулось его лица. Но Карцев не имел силы подумать — кто это: он ничего не сознавал.

Он проснулся от толчка. Два коричневых мохнатых столбика стояли перед его глазами. Он долго не мог понять, что это такое. Все тело казалось опутанным тугой жесткой сетью. Движением плеч он пытался ее сбросить, поднял голову. Над головой было что-то темное, издававшее терпкий, приятный запах. Он еще раз с любопытством и недоумением посмотрел на коричневые мохнатые столбики и осторожно отполз на два шага. Всю ночь он спал между ног лошади. Заночевавший в лесу обоз уже приходил в движение. Заспанные обозники, почесываясь, ходили между телегами. Никто не обращал внимания ни на Карцева, ни на сотни других солдат, в самых неожиданных позах лежавших на земле. Карцев поднял свою винтовку, любовно осмотрел ее — длинную, стройную, ладную, почти год уже не разлучавшуюся с ним, рукавом отер росу на штыке и на затворе. По свежести, по особой молодой прозрачности воздуха, по нежной, чуть посеребренной тонкими облачками синеве неба, по красноватым, еще неярким лучам солнца, не дошедшим до земли, а только золотившим вершины деревьев, он узнал, что сейчас раннее утро. Он плохо отдохнул. Ему было неудобно, зевота судорожно раздергивала рот, в ногах ощущалась неловкость. Повесив винтовку на ремень, он медленно пошел по лесу. Вышел на дорогу. По дороге в одиночку и маленькими группами брели солдаты. Карцев увидел на их погонах номера

различных полков. Попадались и солдаты его полка. Карцев пошел с ними. Маленький солдат без фуражки (наверно заспал ее, подумал Карцев) грыз желтую тугую репу, и Карцев почувствовал как удар — жгучий голод. Он шел все дальше, рассеянно поглядывая по сторонам, дошел до деревни, свернул на зады и остановился возле большого сарая, из открытых дверей которого пахло сеном. Какая-то серая кучка привлекла его внимание — в решете лежала мелкая вареная картошка, положенная здесь, вероятно, для свиней. Он сел на землю и стал есть картошку, не очищая ее от кожуры. От жадности его горло сжимали спазмы, он ел и ел, не в силах оторваться. Звякнуло ведро. Карцев поднял голову и увидел молодую женщину, смотревшую на него. Он жалко улыбнулся ей ртом, набитым картошкой. Она тихо ахнула и убежала. Вернулась с глиняным кувшином молока и с хлебом. В том, как она молча поставила перед ним молоко, и в чрезмерной величине куска хлеба он почувствовал великую жалость к нему, исходившую от женщины, и протянул ей руку. Она, стыдясь, лопаточкой вложила в его ладонь маленькую жесткую руку и ушла, не оглядываясь, видимо, не желая мешать ему поесть. Он съел хлеб, выпил молоко и отяжелевший, сонный, отравленный еще не прошедшей усталостью, пошел в сарай. Забрался в самый угол, раскидал сено и зарылся в него, подложив под голову мешок, а рядом с собой — винтовку.

Он не знал, долго ли спал. Проснувшись, лежал еще несколько минут, прислушиваясь к шуму и крикам, доносившимся снаружи. Он знал — там проходили войска. Вздохнув, он встал, стряхивая с себя сено, взял мешок и винтовку и вышел. По улице, по дорожкам, криво и узко проходившим сзади дворов, непрерывно, беспорядочно, шумно двигались солдаты, повозки, орудия. Солдаты шли без всякого строя, винтовки несли как попало, они были запылены, как каменщики на постройке. Он пошел вместе с ними, думая, что куда-нибудь выйдет. Молчаливая обреченность была в лицах солдат. Карцев смотрел на них, мысли его текли неудержимо, в какой-то лихорадочной поспешности. Кому из тех, кто, одетый в одинаковую защитную одежду, топтал сейчас эту чужую землю, — кому из них хорошо и привольно

жилось на родине?.. Самохин, Чухрукидзе, Рогожин, он сам. Какие места занимали они в жизни страны, за которую теперь умирали? Лязгали штыки, скрипели ремни, а ему казалось, что это со стоном и скрежетом зубов шла казарма, серая, задушенная насмерть.

Он шел, глядя вперед невидящими глазами. Вдруг сильнейший грохот ошеломил его. Во все стороны бежали солдаты, кто-то кричал, показывая рукой вверх, отчаянно крестился бородатый солдат. Высоко над лесной дорогой плыла длинная серебристая рыба с толстой, кругловатой мордой. Тихое рокотание доносилось вниз, рыба неуклюже описала полукруг и поплыла обратно. Маленький темный предмет отделился от ее брюха, точно она метнула икру, и полетел к земле.

— Ложись! — закричали дикие голоса, а Карцев, как зачарованный, смотрел на серебристое чудовище и лег лишь тогда, когда черный косматый столб, расширяясь кверху, поднялся из земли и с громом рассыпался вокруг.

13

Третий батальон оторвался от своего полка. Васильев вывел его из взбаламученного моря растрепанных, перемешавшихся между собой войск, которые никем не управлялись и метались, совершая бесцельные марши, натыкаясь всюду на немцев, поколачивая их иногда, но в конечном счете ни разу не сумевших использовать плоды своих побед. Бледный, с перекошенным лицом шел Бредов во главе своей роты. Штабс-капитан сильно страдал. Иногда ему казалось, что он подобен слепому щенку, который не видит и не понимает, что делается вокруг него. Была победа. Он гнал неприятеля, он брал пленных, он видел эти жалкие бегущие фигурки, видел, как яростно и беззаветно шли в атаку русские солдаты, как здорово управляли своими ротами и батальонами многие офицеры, и все же русские были разбиты. Вот они идут, оторванные от своего полка, — куда, зачем? Спасаются, бегут. Он боялся смотреть на солдат, он испытывал странный стыд перед ними, — ведь он был одним из тех, кто своим плохим управлением лишал солдат плодов их страшной кровавой работы, кто губил их, разрушал веру в своих начальников.

С трудом мог он представить, как это случилось. Положение резко изменилось за два-три дня. Почему-то стремительно отступила соседняя дивизия. Он видел, как по дорогам, по тропинкам, через леса, через немецкие деревни торопливо шли растрепанные части. Никто толком не знал, в чем дело, но все были охвачены паникой. Их дивизия держалась дольше других. Но, атакованная немцами и лишенная поддержки, она покатилась назад. Казачий офицер, задержавшийся со своей сотней возле стоянки полка, рассказал о том, что он видел за последние дни.

— Сбиты фланги, — говорил он. — Немцы прорвались в тыл. Мы наступали, а они обходили нас. Вот и рассыпалась армия, словно карточный домик.

Это был худой, жилистый человек с кротким лицом, осыпанным веснушками. Садясь на коня, он повернулся к офицерам и показал нагайкой на запад:

— Мы были верст за сто отсюда, — сказал он. — Ей-богу, думали, что через месяц будем в Берлине... Ведь как дрались, как наступали... Я не поклонник пехоты, но должен признать — классически воевали. Хорошие я видел полки, превосходнейших офицеров... Как же все-таки получилось так, господа?

И, не дождавшись ответа, поехал прочь, впереди сотни.

Бредов хмуро смотрел ему вслед.

— Господин капитан, — услышал он робкий голос и оглянулся.

За ним шел толстоватый, с узкими бедрами офицер — прапорщик Олейников. Он был из запаса, университетский значок, белый с синей эмалью, висел на его груди. Офицеры посмеивались над ним за его штатский вид, и Бредов раздраженно подумал, что прапорщик испуган поражением и будет нудно расспрашивать о том, выберутся ли они, и о других вещах, о которых не говорят настоящие военные.

— Не напоминает ли вам, — негромко говорил Олейников, догоняя Бредова и шагая рядом с ним, — наше теперешнее шествие («фи, какое слово!» — поморщился Бредов) великое переселение народов? Мне, как историку, всегда приходят в голову исторические примеры, — как бы извиняясь, пояснил он, — но все-таки сравните:

ночь, где-то скрипят повозки, ржут лошади, идут бесчисленные толпы воинов, звенит оружие, и над всем этим, как и тогда, тысячу пятьсот лет тому назад, светят чистые вечные звезды, кометы совершают свой путь, миры проходят над нами.

Бредов стиснул зубы. Злобы у него не было к этому, очевидно, совершенно постороннему человеку, была только усталость и ноющая, похожая на зубную, боль во всем теле.

— Я не думаю о переселении народов, — с усилием ответил он, — есть, как будто, дела поближе и поважнее.

— Это вы о нашем отступлении? — спокойно спросил Олейников. — Но ведь мы победим в конце концов. Ведь Германия окружена с запада и востока, ей ни за что не устоять.

Бредов опять подумал, что прапорщик совершенно посторонний человек в военном деле. Он не понимает тех ужасных внутренних причин поражения, которые больше всего пугают Бредова.

«Да, да «в конце концов», — горько подумал он. — А кто мне скажет, что будет через неделю, через месяц, хватит ли снарядов и винтовок, придут ли на смену теперешним негодным полководцам другие — знающие, полные железной энергии и воли к победе?»

Они шли в темноте грозной ночи, на каждом шагу таящей в себе смерть, панику, — одинокий батальон, выведенный своим командиром из кипящего моря разбитой, растерянной армии, которой никто больше не управлял и которая, не будучи еще разбитой, уже утратила самое свое драгоценное качество: воинский дух и веру в своих командиров.

На опушке леса стояли три автомобиля, окруженные маленькой группой казаков. Васильев заметил их еще прежде, чем ему доложил головной дозор, так как он шел впереди батальона.

Он подходил к автомобилям своим спорым, развалистым охотничьим шагом, щуря зоркие синие глаза, привыкшие к темноте.

— Что за часть? — спросил повелительный голос, и Васильев, сдвинув каблуки и подняв к козырьку руку, отдал краткий рапорт. Он вглядывался в спросившего

его человека и все яснее различал тяжелую, плотную в груди и в плечах фигуру, опиравшуюся на борт автомобиля.

— Останьтесь пока при мне, — сказал голос, и Васильев окончательно узнал командующего армией, которого он видел в начале кампании.

Охваченный тревожным чувством, он не смел, однако, спросить, почему полевой штаб армии (автомобили, конвойные казаки) очутился ночью в лесу, вдали от жилых мест, очевидно лишенный связи с корпусами, подвергаясь угрозе неприятельского нападения. Он, хмурясь, отошел к своему батальону и вполголоса стал отдавать распоряжения. К нему подошли офицеры, и он отрывисто сказал им, в чем дело, и, дергая себя за усики, сейчас же скрылся, явно не желая ни с кем разговаривать. Но слух, что в лесу находится командующий армией, не мог не распространиться среди солдат. Они тревожно и любопытно поглядывали на автомобили. Подходили ближе, пытались поговорить с казаками, догадываясь, что раз штаб, который по обычаям всех крупных штабов должен был находиться где-то далеко позади, попал так близко к неприятелю, в кучу перепутанных и отступающих войск, то дело должно быть плохо.

Так действительно и было. Самсонов ехал в Нейдебург, чтобы взять в руки руководство наступлением своих центральных корпусов. В дороге ему донесли об отходе шестого корпуса, то есть о том, что левый фланг армии, как и правый, был обойден германцами. Офицер, который привез Самсонову известие об отступлении шестого корпуса, был нервный, с беспокойными движениями человек, на бледном измученном лице которого заметно выделялся широкий, тонкогубый вдавленный рот. Видимо, желая оправдать командование своего корпуса, он говорил о тяжелых боях с превосходными силами немцев. Самсонов слушал его молча. Только по его чуть дрожавшим плечам и все более красневшей шее чувствовалось напряжение, которое он испытывал. Он оглянулся и, видя, с какой растерянностью и отчаянием смотрят на него офицеры штаба, и чувствуя, что нельзя молчать, произнес первые слова, которые пришли ему в голову:

— Передайте, полковник, командиру корпуса, что он должен какой угодно ценой держаться в районе Ортельсбурга. От вашей стойкости зависит успех наступления тринадцатого и пятнадцатого корпусов.

Он болезненно отметил, с каким недоумением переглянулись капитан Новосельский и полковник Вялев.

«О каком наступлении может итти речь? — спрашивали их взгляды. — Ведь мы обойдены с флангов. Отступать, скорее отступать». Но Самсонов не знал, как ему можно отступать. У него уже не было армии. С того момента, когда он снял Юз, соединявший его с командованием фронта, и бросился в передние ряды своих войск, он потерял управление армией и знал о ее положении не больше, чем любой начальник дивизии. Он чувствовал себя раздавленным стихийно надвинувшимся на него хаосом, бежал от него и по старой привычке храброго кавалериста бросился в самую гущу боя. Он думал, что у него есть только один выход: умереть. Это было самое простое, самое легкое из того, что он мог сделать. Но когда он вспомнил об армии, о сотнях тысяч солдат и о тысячах офицеров, жизнь которых была ему вверена Россией, он чувствовал, что и смерть не выход. Надо было попытаться что-нибудь сделать, и опять начинался для него заколдованный круг. С великой завистью смотрел он на младших командиров. Они не знали этих иссушающих забот. Они могли драться, непосредственно руководить своими частями, вести их в бой, гибнуть в бою. Ах, с какой радостью встретил бы он неприятельскую пулю, честную солдатскую смерть на поле битвы!

Проходила ночь. Вокруг стояли зарева, выстрелы орудий доносились со всех сторон. На сидении автомобиля, скорчившись, спал адъютант и по-детски сопел носом. Казалось, что никогда не наступит утро. Самсонов не спал, ходил по дороге. Он увидел истомленные лица штабных офицеров, конвойную сотню, расположившуюся кругом, и пехотный батальон, которому он неизвестно зачем приказал остаться при себе. Маленький армейский офицер с соломенными усиками в сопровождении двух солдат возвращался по лесной тропинке. Его сапоги были мокры от росы. Они встретились, и Самсонов остановился. Ему понравилось, что батальонный

командир сам ходил в разведку, понравились его неторопливые движения, его умные глаза.

— Какие новости, капитан? — отрывисто спросил он.

Васильев, всю ночь проведший в разведке, тихо доложил, что в деревне Мушакен находятся артиллерия и пулеметы противника, что перед деревней Саддек им обнаружены кавалерийские разъезды германцев, что окружающие дороги заняты в беспорядке отступающими русскими и забиты обозами. Самсонов слушал молча и кивнул головой, как бы отпуская Васильева. Но капитан не уходил. Он сделал шаг к генералу, вытянулся и голосом, в котором были преданность, просьба и служебная суховатость, сказал:

— Ваше высокопревосходительство, я хорошо знаю местность. Штабу надо выбраться отсюда, разрешите мне выполнить это.

Самсонов все так же молча смотрел на него, и вдруг испуганное выражение появилось на его лице.

— Нет, зачем же? — как бы защищаясь от предложения Васильева, сказал он и быстро пошел к автомобилям.

Там уже толпились офицеры. Среди них выделялась высокая, сухая фигура генерала Нокса, одетого в хаки, в фуражке с большим козырьком.

— Генерал, — сказал Самсонов, отводя Нокса в сторону и, видимо, торопясь высказать то, что он хотел, — я считаю своим долгом осведомить вас... — (тут он запнулся, подыскивая слова), — да, осведомить вас, что положение моей армии стало критическим. Мое место при войсках, но вам я советую вернуться, пока еще возможно это сделать. Прошу вас, передайте, что я остался на своем посту.

Нокс протестующе поднял руку, но Самсонов, отвернувшись от него, приказал, чтобы все автомобили шли на Валленберг. Он с упрямым выражением лица следил за тем, как, подымая пыль, машины уходили по лесной дороге, и слабым движением поднес руку к козырьку, отвечая на приветствие Нокса, сидевшего в задней машине.

— Мы поедем в Надрау, господа, — тихо сказал он, ни на кого не смотря. — Прикажите дать нам лошадей.

Командир конвойной сотни, есаул со смуглым, восточного типа лицом, исподлобья посматривая на генерала, точно он не верил отданному им приказанию, отбирал восемь лучших лошадей, шопотом ругая казаков, неохотно слезавших с седел (сотня уже стояла в строю). Самсонов тяжело перенес грузное тело через круп маленького донского коня, пошатнувшегося под ним, и, улыбаясь, сказал Постовскому:

— Люблю казацкие седла. Сидишь, как в кресле.

Постовский ничего не ответил.

«Ну да, все пошло к чорту, — думал он. — Но почему он этой ненужной вредной храбростью хочет загладить свои ошибки? Куда он ведет нас? Нет, ужасно это донкихотство».

Васильев решил двигаться за штабом, держась от него на расстоянии версты. Он обошел свой батальон, шутил с солдатами, старался показать им, что ничего плохого не случилось. Но отчаяние охватывало его. Он понимал, что штаб, попав в гущу отступающих войск и оторвавшись от всяких средств связи, обезглавил армию, лишил ее всякого руководства.

Он видел спокойное лицо полковника Вялова, видел Дюсиметьера, гвардейского офицера, с непринужденным видом сидевшего на рыжем сухом донце, генерала Постовского, самого Самсонова и вздохнул. Неужели никто не видит, что наступает катастрофа?

Среди сосен с их грозной темной хвоей стоял клен, и его лапчатые листья краснели по-осеннему ярко. Все, проезжая мимо, внимательно смотрели на красивое дерево.

Не прошло и часа, как вся картина отступающей, развалившейся и дезорганизованной армии, картина, напоминающая процесс разложения огромного трупа, открылась перед ними. Они вышли на дорогу, ведущую из Мушакена в Янов. Вся дорога была забита повозками, орудиями, зарядными ящиками, походными кухнями. Закинув за плечи винтовки, без всякого строя шли толпы солдат, молча или громко разговаривая между собой. Тут же с безучастным видом лежали на траве и под деревьями сотни людей. Среди солдат попадалось нема-

ло офицеров. Они угрюмо посматривали на штаб. Вялов окликнул пожилого капитана и спросил у него, куда идет его часть. Капитан иронически посмотрел на него.

— Виноват, господин полковник, — ответил он, останавливаясь и сутулясь, как очень усталый человек. — Тут нет моей части и нет, по-моему, никаких частей. Здесь сброд с бору по сосенке от двух, кажется, корпусов. А куда они идут, — лицо у него задрожало, и глаза сузились, — куда они идут, про это вам, штабным, должно быть лучше известно.

Он приложил руку к козырьку и пошел дальше, припадая на правую ногу. Штаб пересек шоссе и по неширокой тропинке углубился в лес. Вдруг послышались выстрелы. Стреляли из деревни, дома которой виднелись сквозь редкие деревья. Полковник Вялов посмотрел в бинокль и приказал есаулу атаковать деревню. Есаул построил казаков офицеры штаба встали впереди и бросились вперед, крича «ура». Но сотня, состоявшая из казаков второй и третьей очереди, осталась на месте. Постовский посоветовал обойти деревню, пробиться на Вилленберг. Штабс-капитан Дюсиметьер с двумя казаками поехал на разведку. Прошло около часа. Самсонов, сгорбившись, сидел в седле, лицо у него осунулось, под глазами висели мешки. Дюсиметьер прискакал галопом и доложил, что Вилленберг занят неприятелем. Все молчали. Выходы в тыл были отрезаны. Оставалось пробиваться силой. Самсонов слез с седла, прошел в лес. Сосновые иглы скрипели под его ногами. Лес был старый, мощные высокие сосны стояли, как колонны древнего храма, сделанные из гравированной бронзы. Самсонов услышал легкие шаги и посмотрел. К нему подходил офицер маленького роста, с соломенными усиками, с тонким широким ртом.

— Ваше высокопревосходительство, — тихо сказал он, — вы меня видели вчера ночью и приказали остаться при штабе. — (Самсонов сделал отстраняющее движение и сказал: «Не нужно, никого не нужно».) Но офицер не уходил. Синие глазки смотрели сурово, сильнейшее волнение выражалось на его лице.

— Ваше высокопревосходительство, — сказал он, вытягиваясь. — Я поступаю не по правилам, вы можете взыскать с меня, но сейчас я говорю с вами, как рус-

ский офицер со своим начальником в страшную минуту ответственности перед родиной, которую мы оба защищаем. Ваше высокопревосходительство, тыл отрезан, но там, — он показал на запад и на север, — там идут два наших корпуса. Может быть их еще можно собрать (это нужно сделать), сосредоточить в одном направлении, прорваться с ними из кольца.

Самсонов стоял, опираясь спиной о ствол дерева.

— Вы думаете? — медленно спросил он. — Нет, нет, я не знаю, как это можно сделать. Ведь все развалилось, нет никакого управления, нет связи с частями... — Он говорил, как в забытьи. — А потом такие командиры корпусов, как Артамонов, как Благовещенский, они же мне фланги проиграли. Другие не лучше... Разве один Мартос. Как же воевать при таких условиях? Нет, теперь ничего нельзя исправить, теперь можно только умереть, чтобы не влачить куропаткинского существования, — усмехнулся, точно поморщился, он.

Он пошел, наклонив голову, по-старчески сгибая колени. Васильев стоял, пока Самсонов не скрылся из виду. Он вернулся к своим.

С каждым часом размеры катастрофы, постигшей русскую армию, становились яснее. На небольшом пространстве лесов и болот, все больше сгущаясь в своей массе, сходились десятки тысяч растерянных, измученных и голодных солдат, многие из которых вели успешные бои с немцами и до сих пор не могли понять, как это вышло, что они, наступавшие и бравшие пленных, очутились в таком положении. Разрезанная на несколько живых кусков, армия слепо ворочалась в мешке, тонкие стенки которого она могла бы легко прорвать, если бы нашлись инициативные и энергичные штабы, сильные и хладнокровные вожди. Слабый кордон первой германской дивизии был растянут на несколько километров по шоссе Нейденбург — Вилленбург, и два русских корпуса, стеснившиеся в районе грюнфлисского леса, не могли, да и не пытались прорвать этот кордон. На севере в полной прострации пребывала первая армия. Но еще ближе, всего в пятнадцати километрах от окруженных корпусов, дралась третья гвардейская дивизия. Против нее действовали всего три батальона германцев, и, потеснив их, дивизия заняла Нейденбург. Ей нужно было

сделать еще одно, последнее усилие — захватить деревни Мушакен и Напивода, и германское кольцо вокруг центральных корпусов Самсонова было бы разорвано.

Была ночь, над пылающим Нейденбургом стояло зарево горящих домов, редкие выстрелы слышались с германской стороны. После полуночи начальник дивизии генерал Сирелиус, слабовольный, неустойчивый командир, опасаясь обхода, которого не было, решил отступить. Так стоящий на берегу человек видит, как тонет его товарищ, он уже входит в воду, чтобы спасти его, но вдруг, охваченный малодушием, бежит. Дивизия Сирелиуса отступила, не дожидаясь рассвета, так как моральная неустойчивость, охватившая всю самсоновскую армию, коснулась и ее, и она была разбита еще прежде, чем вступила в сражение. Гвардейцы бежали так поспешно, что бросали орудия, винтовки, боевое снаряжение. Целые роты сдавались небольшим дозорам.

Восходящее солнце осветило высокие сосны грюнфлисского леса. На узких лесных дорогах, в оврагах, усыпанных хвоей, под каждым деревом сидели и лежали русские солдаты. Здесь были люди из нескольких корпусов — пехота, артиллерия, обозы, саперы, пулеметчики. Паника, трепавшая их еще накануне, теперь затихла. Все они были так изнурены и деморализованы, что не были в силах ничего больше предпринять. Они лежали с выражением полной апатии на худых, заросших лицах, слушали артиллерийский и ружейный огонь, грохот которого доносился к ним со всех сторон, ждали решения своей судьбы. Всего лишь неделю тому назад это была гордая, полная боевого духа армия, составленная из лучших кадровых частей и запасных самых молодых возрастов. Она обладала превосходной артиллерией, она была храбра, и когда сталкивалась с неприятелем в открытом бою, и когда ею правильно руководили, она действовала решительно и била противника. Несколько раз она ставила германцев в опасное положение, но в тот момент, когда крепким толчком надо было довершить начатое дело, проявить сильную волю, инициативу, — некому было это сделать. Для проведения ответственнейшей операции были выбраны, как на подбор, самые нерешительные, бездарные и просто безграмотные в военном отношении генералы.

В ту же ночь, когда третий батальон наткнулся на штаб армии, Бредов увидел Новосельского. Он удивился перемене, которая произошла с блестящим капитаном генерального штаба. Лицо Новосельского осунулось, в глазах был нездоровый блеск, крупные зубы казались еще крупнее оттого, что у него ввалились щеки. Бредов был подавлен событиями последних дней и ни о чем не спрашивал Новосельского. Но капитан сам начал разговор.

— Помнишь, — усмехаясь, сказал он, — как ты, прости меня за откровенность, высокопарно говорил о генеральном штабе? Мозг армии — называл ты нас, и вот смотри, как точно мыслит этот мозг, как прекрасно управляет он всем организмом армии.

Они сидели на поваленной сосне. Высоко над ними горели звезды. Липкая смола пачкала их одежду, но оба не замечали этого.

— Я состарился за эти дни, — глухо продолжал Новосельский, ковыряя стеком землю. — Еще в начале войны мне пришла в голову проклятая мысль: вести стратегический дневник всей нашей операции. Думал, что получится замечательная вещь, памятник нашего героизма, нашего военного искусства во вторую отечественную войну. Я копировал, я собирал все приказы по армии, по фронту, по корпусам, делал выписки из полевых книжек наших высших начальников. И знаешь, — он сухо рассмеялся, — это совершенно ужасно, то, что получилось. Если мы — мозг армии, то мозг разжиженный, да, да. Судя по этой операции, мы страдаем размягчением мозга.

Его позвал генерал Постовский. Он ушел, не прощаясь с Бредовым, горбя плечи, вяло передвигая ноги. Бредов смотрел ему вслед, охваченный страхом, чувствуя, что эти слова, ночь, окаймленная далекими заревами, суровые, ставшие чужими солдатские лица ломают его, путают так, что ничего, ничего не может он понять. Он бродил по лесу, натыкаясь на деревья. Косматые тени метались перед ним, ночное небо приняло буроватый, зловещий оттенок.

...Весь следующий день батальон метался по грюн-

флисскому лесу. Жизнь армии затухала тут. В гигантской западне стеснились солдаты. Иногда они делали отчаянные, напоминающие агонию, попытки прорваться. Батальоны, полки развертывались неровными цепями, бросались вперед с последней храбростью смерти. Глухое «ура» вспыхивало, как предсмертный крик, и стрекотание германских пулеметов, выстрелы германских орудий тушили эти крики. Цепи в беспорядке возвращались в лес, падали на землю.

Васильев был молчалив. Он ехал на своей пегой толстоногой лошадке, сбочившись, в рассеянности опираясь левой рукой на окованную медью луку седла. В рядах батальона шли Карцев, Черницкий, Голицын, Рогожин. Ужогло, грустивший с тех пор, как убили Чухрукидзе, оглядывался кругом с беспокойным видом. Толкнув Карцева, с которым шел рядом, он сказал ему:

— Хочу с тобой попрощаться. Надо мне уходить.

Карцев с удивлением посмотрел на него, и латыш спокойно объяснил:

— Не хочу больше воевать. Пойду домой. Немецкий язык знаю, до дому двести верст. Нечего мне здесь больше делать.

Карцев кивнул головой. Он смотрел на Ужогло, и вдруг такая ясная и простая мысль прошла перед ним:

«А почему бы ему и другим тоже не уйти? Что удерживает их здесь?»

Батальон проходил как бы сквозь строй разбитых корпусов. Два солдата стояли в стороне от лесной дороги и разговаривали. Они одновременно повернули головы, и Карцев узнал их. Это были Мазурин и Мишканис. Мишканиса Карцев не видел с того времени, когда литовца вернули из побега. Черницкий тоже увидел их. Он первый вышел из рядов. Карцев последовал за ним. Машков молча отвернулся. Сейчас было не до дисциплины, он боялся сделать им замечание. Ужогло неторопливо присоединился к друзьям. Лицо Мишканиса было спокойно. Он радостно пожал руки солдат и, засмеявшись, потрепал по плечу Ужогло.

— Здорово, четырнадцатый годок, — сказал он, — как тебе служится?

— Вот домой собираюсь, — просто ответил Ужогло.

Мишканис внимательно посмотрел на него.

— Тебе пара, — улыбнувшись, сказал Мазурин, — ведь и ты собирался.

Мишканис пожал плечами. Он был такой же, каким видел его Карцев в первые дни своей военной службы — крупный белокурый человек с толстыми ногами, с неторопливыми движениями.

— Да, я собирался, — ответил он, — да, я не хочу здесь больше оставаться. Но я не знаю, куда я пойду. У меня нет дома.

— Дом мы тебе найдем, — тихо сказал Мазурин, — и товарищей найдем.

Третий батальон остановился. Вся дорога перед ним, все пространство леса было забито солдатами. Мазурин сосредоточенно смотрел на них.

— Когда уезжали на фронт, — заговорил он, — старик один, хороший старик, сказал мне, что война учит людей жестокой наукой. Побили нас немцы — и слава богу. Спасибо надо сказать, как в пятом году японцам спасибо говорили. Много будет у нас ученых после этой войны.

Карцева покоробили эти слова. Он глядел на лес, на тысячи солдат, валявшихся под деревьями, и не мог понять, как можно желать всем им — своим, русским людям — еще больших несчастий, чем те, которые они переносили. Как можно желать им поражения?

— Чем же все-таки это кончится? — спросил Черницкий. — Если было начало, должен же быть конец. Боюсь только, что конец будет для нас очень скучный.

— Я не буду дожидаться конца, — упрямо сказал Мишканис. — Меня много били в моей жизни, мне причиняли много несчастий. Мне противно терпеть за тех, кто меня гнул к земле. Да, я ухожу с войны.

Тяжелый германский снаряд разорвался над лесом. С треском рухнуло дерево. Расщепленный сук упал совсем близко от солдат, зеленые, точно испуганные листья дрожали еще несколько секунд после падения. Сухой, небольшого роста генерал, сердито помахивая рукой, прошел мимо них, сопровождаемый офицерами.

— Сделаем, сделаем, — резко выкрикивал он. — Прикажете умирать, как бабам? Собирайте ваши части, господа.

До них донесся дребезжащий голос Васильева. Что-то происходило в лесу. Офицеры подымали солдат, высокий полковник звучным голосом говорил, что немцев на шоссе совсем мало, и молодецкий удар может вывести русских из окружения.

— Бодрей, бодрей, ребята! — кричал он. — Кто останется, тех побьют, как куропаток.

Конные ординарцы скакали по узким тропинкам, развозя приказания, судорожная жизнь вспыхивала среди мертвых полков, батарея, грохоча колесами, выскочила на самую опушку, снялась с передков, и первая очередь шрапнели брызнула по шоссе. Нестройные цепи выбегали из леса и бросались на немцев. Васильев, отшвырнув свою сабельку, с винтовкой шел впереди батальона. Громкое «ура» доносилось справа, ожившие батареи галопом выезжали на позиции.

Это была последняя атака левой колонны окруженных самсоновских корпусов, состоявшей из тридцать шестой дивизии и примкнувших к ней частей.

Рядом с собой Карцев видел яростное лицо Черницкого, ощерившегося Рогожина, сурового бородатого Голицына. Луг перед лесом был болотист, покрыт кочками. Сапоги у солдат были полны воды, но они, не замечая ничего, бежали в атаку.

Отчаяние, последняя надежда прорваться гнали солдат и офицеров. Они атаковали так стремительно, что германские шрапнели рвались далеко позади, пули летели высоко над головами.

— Достигли, достигли! — заревел Голицын. — Бей их, братушки!

Близко перед собой Карцев увидел шоссе, низкие брустверы перед шоссе и каски и фуражки германцев. Одни бежали, другие падали, третьи бросали винтовки и поднимали вверх руки. Германская бригада генерала Тротта, застигнутая врасплох, была разбита, двадцать орудий и сотни пленных достались русским. Но когда кончился бой, войска остановились, не зная, что делать. Управление, организованное штабом дивизии, куда-то исчезло. Очевидно, штаб не был уверен в успехе предпринятого им маневра. Высокий полковник бросился вперед, когда появились свежие германские батальоны, но остатки его полка и сам он погибли в бесплодной атаке. Растерянные

солдаты, никем не руководимые, побежали обратно в лес. Германцы не преследовали их.

Медленно надвигалась ночь. Огромный грюнфлисский лес, в котором находилось много десятков тысяч людей, был все же тих. Все то, что люди скопили из своей последней энергии, было полностью исчерпано ими. Дух их был мертв, никакая сила не могла больше поднять их. Так они лежали до рассвета и дальше весь день до тех пор, пока не приходили германцы, забирая их, как богатую жатву. Дивизии сдавались батальонам, роты — отдельным бойцам. Армия умерла, морально и физически — девяносто тысяч нераненых солдат, пятьсот орудий, огромнейшее количество боевого материала досталось победителям.

Третий батальон не сдался вместе со всеми. Васильев вывел его в узенький просвет, который он заметил в германской линии. Десятая рота шла в атаку в центре батальона. Бредов был впереди цепей. У него ввалились щеки и виски, в глазах светилась мука. Ему казалось, что мир рушится вокруг него, что он ступает по его обломкам.

— Ближе, ближе, — бормотал он, прислушиваясь к тонкому, как щенячий визг, свисту и вою германских пуль, — ближе, ко мне, конец, скорее конец.

Он видел хмурые, изверившиеся, полные отчаяния лица солдат, смотрел на их спотыкающиеся фигуры и не удивился, когда из цепи вышли двое и пошли назад.

Он знал, что перед его глазами совершен ужасный проступок, но никаких сил, никакой энергии уже не было у него, чтобы противодействовать тому, что произошло.

— Ближе, ближе, — шептал он, — ради бога, ближе ко мне, — и шел вперед, приближаясь к тому, что могло дать ему какое-то решение. И когда больно хлестнуло его по груди и стало тянуть к земле, он не сделал никакого усилия, чтобы удержаться на ногах, и упал с чувством успокоения, с чувством сладостного конца, пришедшего после тяжелых, унизительных мучений.

Батальон с солдатами, приставшими к нему из других полков, прорвался сквозь слабую цепь германцев и, проблуждав два дня в лесах и болотах, присоединился к своим.

16

Штаб армии оторвался от всех частей. Конвойная сотня, сильно поредевшая, была единственной боевой силой, оставшейся в его распоряжении. В болотистом лесу произошло последнее совещание. Самсонов, не слезая с седла, оглядел казаков и тихо сказал:

— С такой ордой мы не проберемся. Попробуем обойтись без них.

Штабс-капитан Дюсиметьер, молодой еще человек, сухой, черный, похожий на испанца, порывисто рванулся к командующему. Он хотел сказать, что сзади находятся русские корпуса, и можно попытаться собрать из них хоть небольшой кулак, но, встретив мертвый взгляд Самсонова, ничего не сказал. Ему стало ясно, что вопрос об армии уже целиком отпал: армии не было, армия погибла. Вопрос стоял только о спасении штаба.

— С богом, есаул, — с видимым усилием произнес Самсонов. — Попробуйте пробраться. Двигайтесь на деревню Зарембу.

Он слез с седла. Штаб, нестройно и как бы колеблясь, последовал его примеру. Казаки забрали лошадей, есаул перекрестился, и сотня двинулась вперед. Десять человек остались одни, они молча смотрели, как в синих лесных сумерках скрывались всадники. Из последнего ряда сотни кто-то весело сказал:

— Слава богу, камень с плеч скинули. Теперь легче будет.

— Пойдемте, господа, — послышался голос Самсонова, — будем двигаться на Хоржеле.

Впереди шел полковник Вялов, каждую минуту сверявшийся с компасом. За ним гуськом тащились остальные. Черная шерстяная ночь плотно укутала все кругом. Деревья стояли, как враги, холодный их шелест провожал идущих. Не было ни луны, ни звезд. Чуть красноватое, как сырое мясо, небо близко придвинулось к земле. Часто останавливались, собирались к полковнику Вялову, смотрели на его светящийся компас и советовались, как итти дальше. Самсонов молчал. К нему не обращались с вопросами. Так на похоронах не трогают ближайшего родственника покойника, дают ему остаться одному с его горем. Вышли на лужайку. Тут было немного

светлее. Коричневое зарево виднелось где-то на юге. Вдруг из леска, темневшего совсем близко, послышался резкий смех. Белая тень отделилась от темной лесной пещеры и с громким хохотом, прерываемым рычанием, понеслась к людям неровно и стремительно, как гигантская летучая мышь. Недалеко от них она завертелась, огромное белое крыло со свистом прорезало воздух. Нервный Дюсиметьер вскрикнул и схватился за револьвер.

— Боже мой, — содрогаясь и крестясь, сказал Самсонов, — что же это такое?

Все молча смотрели на ужасную тень. Поручик Кавершинский, состоявший при командующем, бросился вперед, и яркий луч электрического фонарика, как пуля, ударил в лицо тени. Выплыли круглые свирепые глаза, оскаленный рот, из которого вывалился черный язык.

— Кто вы такой, — грубо крикнул Кавершинский, подымая наган, — ну, прошу, живо, без дурачеств, — кто вы такой?

— Азраил, ангел смерти, — ответил глухой голос. — Разве вы не видите, как я летаю? В каждом взмахе крыла — смерть.

Он тихо двигался к людям, и они окружили его. Офицерские погоны были на его плечах. Грязная рубаха клочьями вылезала из-под рваной гимнастерки. Вокруг горла узлом была привязана простыня, развевавшаяся, как мантия, за плечами. Слюна капала из открытого перекошенного рта.

— Какого вы полка? — спросил полковник Вялов. — Как вы попали сюда?

Офицер вытянулся. Круглые глаза стали строгими.

Он подпрыгнул, завыл, захохотал и помчался к лесу.

— Идемте, идемте скорее, господа, — сказал Самсонов.

Он пропустил всех чинов штаба мимо себя и пошел последним. Шли ощупью. Шаги глухо стучали о землю. Самсонов шел все медленнее. Спина генерала Постовского, шедшего перед ним, исчезла, затих и шорох движущихся людей. Тогда он остановился, снял фуражку. Постояв немного, свернул с тропинки в лес. Тишина охватила его, он жадно вдыхал сыроватый ночной воздух, натыкался на деревья, торопился, точно его влекла к себе определенная цель.

Теперь никого не было вокруг. Он прислонился спиной к дереву и, задрав голову, искал в небе звезды. Но видел только бурую муть низких, слабо освещенных далекими пожарами туч.

Охваченный слабостью, он подумал, что виновны и другие, что его подвели плохие командиры корпусов, своим отступлением открывшие противнику фланги армии, подвел штаб, плохо управлявший армией, не наладивший связи, подвела плохая разведка, мало дававшая сведений о противнике, подвели начальники дивизий, вымотавшие солдат непосильными маршами, подвели те, кто не позаботился о снабжении армии, кто во-время не выстроил удобных, стратегических дорог... все, все подвели, а он один должен оплатить последний, самый тяжелый счет.

Послышался треск сучьев — кто-то, легко ступая, вышел на Самсонова.

Он вспомнил сумасшедшего офицера и задрожал.

— Кто идет? — слабо спросил он.

Шаги затихли.

— Свой, — ответил тихий голос. — А ты кто?

Самсонов не ответил. Тогда человек осторожно приблизился и чиркнул спичкой. Овальный огонек вырезал из темноты его бородатое лицо и лицо Самсонова. Генерал увидел защитные солдатские погоны, смятую фуражку без кокарды, темные, блестящие глаза. Спичка погасла. Пришедший присел на корточки, опираясь спиной о дерево. Он молчал. Самсонов утомленно закрыл глаза. Темнота, покой, молчание. Если бы так было долго, вечно! Он услышал шорох. Солдат наклонился вперед, он что-то делал, потом чиркнул спичкой, закурил.

— Хлеба, — сокрушенно сказал он, — поля такие богатые неубранными стоят. Мужики мимо идут, им бы убрать дали, вот поработали бы.

«Армия погибла, а он думает о неубранном хлебе, — подумал Самсонов.— Что же мне теперь делать? Я один, никто не может мне помочь. Я один».

— Хороши ночи, — продолжал солдат, — теплые, ласковые. В такие ночи девки песни поют. — И, помолчав, грустно добавил: — Растут они, молодые наши. Уберут за нас хлеб. Новый посеют.

Самсонов в отчаянии огляделся вокруг. Какой хлеб? Кто посеет его? О чем говорит этот странный человек?

Он шагнул вперед, схватился за грудь. Все болит. Сердце раскалили на страшном огне, оно раздулось, жжет, не дает жить.

— Кто же виноват? — громко спросил он. — Если бы вместо меня был кто-нибудь другой, разве было бы иначе? Хорошо, пускай устраивают суд. Я готов. Судите меня. Вот я, судите.

Он двигался, выставив жирную старческую грудь, почему-то расстегивая пуговицы, ударился о дерево. И вдруг, охваченный страхом, повернулся в сторону солдата.

— Голубчик, — тихо попросил он, — поди сюда. Какие это молодые посеют новый хлеб? Поди, поди.

Ему никто не ответил. Он прислушался, вдали как будто потрескивали ветви под ногами человека.

— Погоди, — в отчаяньи закричал Самсонов, — не уходи... О, господи.

Он прислушался. Теперь все было тихо — нехорошей мертвой тишиной.

— Никого не было, — прошептал он. — Мне показалось, никого не было.

Ночь была черная, густая, как смола. Безнадежная.

Самсонов поднял к виску револьвер.

М. Слонимский

ЕДИНОРОЖЕЦ

I

Цеппелин повис над Красносельцами. Его желтизна была так же ярка, как синева неба. Три аэроплана летали над местечком, и с земли ясно видны были черные кресты на их крыльях. Зенитные орудия ловили врага: шрапнель рвалась вокруг, пуская в воздух дым и пули. Опустев и потеряв силу, шрапнельные стаканы падали наземь. Они стукались о крыши домов, врезывались в пыльную мостовую, хлопались в реку, залетали и за реку, на фольварк, туда, где пили коньяк штабс-капитан Ротченко, поручик Никонов и прапорщик Лосинский.

Офицеры сидели в саду вокруг большого выкрашенного в зеленую краску стола. Тут же примостилась на табурете Тереза, девятнадцатилетняя хозяйка фольварка. Ротченке стулом служил ящик: в этом ящике офицеры привезли вино. Ящик был уже пуст: бутылки — на столе.

Ротченко не слушал звона шрапнельных стаканов. Он, близко придвинув к Терезе темное, хотя и чисто выбритое лицо, говорил:

— Не понимаю. Решительно не понимаю, как могли вы рискнуть остаться тут из-за фольварка.

Тереза — совсем маленького роста, но это (когда она стоит) не слишком заметно: на ногах ее — туфли с высокими каблуками. Она рыжевата. Лицо и руки у нее — полные, розовые. Она, как всегда, ничего не отвечала офицеру. Зачем отвечать? Все равно офицеры вместе со всей армией рано или поздно оставят Польшу, и тогда Петрик женится на Терезе. А сейчас Петрик — в австрийской армии, в Кракове, врачом.

Впрочем, сейчас она даже не слушала штабс-капитана: она вздрагивала при каждом новом разрыве шрапнели.

Офицер заметил это и досадливо отодвинулся.

— Неужели вы боитесь? Это же такая ерунда!

И он залпом осушил стакан коньяку.

У него на груди — офицерский Георгий, на эфесе шашки анненская лента. Он дважды был ранен: под Гумбиненом и под Праснышем, и твердо знал, что из всей этой затеянной на земле чепухи добра не выйдет. Он снова потянулся к Терезе:

— Послушайте, дорогая...

Поручик Никонов громко захохотал.

Ротченко обернулся к нему. Он опустил левую руку на эфес шашки, правой поправил несуществующий аксельбант (раньше он был полковым адъютантом) и подтянулся весь.

— Вы — что, поручик?

Поручик гоготал, как лошадь. Он оборвал хохот, чтобы проговорить:

— Если цеппелин начнет бросать бомбы, то через полчаса тут чисто будет.

И снова он радостно загоготал. Он радовался всему, что только ни есть на свете: войне, коньяку, цеппелину, Терезе. Череп у него — узкий, и в нем нехватало места для тоски. Поручик подмигнул Ротченке (слушайте, сейчас острить буду!) и обратился к прапорщику:

— Чем это вам не обстрел, господин прапорщик? Настоящий обстрел. И тебе палят, и тебе цеппелин, и тебе руку отчикают, если что. Хо-хо-хо!

И слова полезли из него одно за другим, словно сговорившись совершенно освободить узкий череп от лишнего груза мыслей:

— Он, капитан, обижается — хо-хо! — что с черным темляком ходит. В бою ни разу не был, ноги-руки на месте, ничего не отхлюпано — и черный темляк. О-хо-хо! Спросят: что на войне делал? А у него даже Анны нет. У-ху-ху!

И поручик пришел в совершенный восторг. Он застучал кулаком по столу и, не помня себя от радости, кричал:

— Что, спросят, на войне делал? А он — черный тем-

ляк! Ха-ха-ха! Вы только представьте себе это положение! Никакого, никакого, — ну никакого анненского темляка! Нет, вы...

Ротченко перебил сухо:

— Вы пьяны, поручик. На войну идут не для награды. Чему вы тут радуетесь?

Поручик затих. Лицо у него застыло на миг: рот раскрыт, глаза выпучены, брови ушли на лоб. Потом брови опустились, глаза замигали. Никонов не умел оскорбляться. Он заговорил:

— Нет, я про прапорщика ничего плохого не могу сказать. Большой храбрости прапорщик. А что в бою не был — так это ничего. Я тоже до войны в бою не был. Он — мой полуротный. Да я вот вам его покажу. Вот, например.

И он обернулся к прапорщику:

— Принеси сюда для дыма два фунта шоколада. Это не потому, что для моей левой ноги и каприз, а потому, чтоб все увидели храбрость и что тебе на бомбы начхать. Вот. И без денег. Ты жида в лавке по шее стукни — и без денег. Ха-ха!

Он был уже в восторге оттого, что прапорщик стукнет еврея по шее, и торопил:

— Ты скорей иди. Скорей!

Ему так захотелось побить еврея, что он даже сам двинулся было вместе с прапорщиком. Но раздумал и остался. Если военную форму заменить на прапорщике гимназической, то ему можно было бы дать лет шестнадцать, не больше: не мальчишка, но и не взрослый человек. Бороды и усов на лице его не было, но по щекам и подбородку шел пух, в иных местах густой и жесткий уже, как волос. И все на нем было новенькое: гимнастерка, погоны, фуражка. У пояса — аккуратно — наган. Эфес шашки и офицерская кокарда не потускнели еще.

Ротченко скосил на него глаз и спросил мягко:

— Вы добровольцем?

Прапорщик взял под козырек и отрапортовал:

— Так точно, господин капитан.

Ротченко только сейчас заметил, что стакан перед прапорщиком так и остался наполненным до краев: прапорщик не притронулся к коньяку. Значит, он сидел тут и уважал боевых офицеров, и вся эта дрянь представ-

ляется ему необыкновенно важной и значительной: и война, и георгиевский крест, и цеппелин.

Штабс-капитан проговорил вяло:

— Оставьте, поручик. Зачем напрасно подвергать опасности?

Прапорщик воскликнул пылко:

— Разрешите, господин капитан, исполнить приказание господина поручика.

Ротченко пожал плечами, и прапорщик ушел. В конце концов, все равно: добывать ли шоколад, брать ли Прасныш — одна чепуха.

Прапорщик вышел из-за прикрытия деревьев как раз в тот момент, когда германский аэроплан скинул первую бомбу. Земля треснула, воздух зазвенел, черный дым заклубился кверху на месте разрыва. Прапорщик вздрогнул и, кашлянув для храбрости, пустился дальше. Он еще не дошел до реки, когда вторая бомба разорвалась совсем близко от него. Прапорщик лег наземь, прежде чем успел подумать что-либо: тело его действовало уже самостоятельно, без помощи рассудка. Когда звон осколков стих, прапорщик вскочил и побежал к мосту. Тело помнило только одно: назад без шоколада ворочаться нельзя. И тело, не управляемое рассудком, напоролось на крест. Крест торчал у самой дороги. Прапорщик обхватил его обеими руками, как живого человека, и отдышался. Крест был неширок, но все-таки мог защитить от осколков новой бомбы. Прапорщик, чтобы успокоиться, прочел надпись на кресте. На кресте нацарапаны были штыком четыре строки:

О, путник! Стой и погляди,
Что здесь написано стихами:
Вчера он был такой, как ты,
Сегодня — бездна между вами.

Прапорщик оторвался от креста и стремглав понесся к мосту. Ночные страхи (а такие случались с прапорщиком в детстве) — ничто в сравнении с тем, что творилось сейчас. Ночные страхи не грозили телу. А тут тело было в опасности: пустой случай мог изувечить его на всю жизнь.

Прапорщик перебежал мост и, задыхаясь, остановился у стены ближайшего дома. Огромный солдат стоял недалеко и, поглядывая на офицера, усмехнулся.

— Здорово напугался, ваше благородие?

Прапорщик хотел оборвать его по-офицерски, но было ясно, что солдат оказался храбрей его и, главное, видел, как он бежал от бомб.

Солдат был без шапки и без пояса: должно быть, нестроевой команды, обозный. Волосы у него были черные и курчавые, как у негра. Брови были густые и тоже черные. Глаза — синие.

— Кто ты такой? — спросил прапорщик.

— Из Пинска, ваше благородие, — отвечал солдат.

Третья бомба упала в самое местечко, на площадь. Солдат не шелохнулся. Прапорщик, чтобы не показать страха, продолжал разговор:

— Должность твоя какая?

— Столяр, — отвечал солдат, пропустив на этот раз «ваше благородие». — Столяром был.

И прибавил недоуменно:

— И за что это народ мучают — никак не пойму. От меня, ваше благородие, как от столяра, пользы значительно побольше, как от солдата. Я и на зверя охотиться не любил, а тут в человека стрелять. Я так думаю: напрасно это выдумали.

Прапорщик не знал, что отвечать. Он не имел права слушать такие речи от солдата. И увидел: по мосту идет вразвалку поручик Никонов.

Прапорщик крикнул тонким тенором:

— Молчать! Ты не смеешь!

И пошел к лавкам. Солдат глядел ему вслед, усмехаясь.

— Молодой еще.

Никонов нашел прапорщика у лавок. В руке прапорщик держал плитки шоколада «Фукс-нукс».

— Ну что, — спросил поручик, — побил жида?

— Побил, — отвечал прапорщик.

— Ну, молодец. Идем назад.

Прапорщику стыдно было признаться: он не только не побил еврея, но даже не в силах был даром взять в лавке шоколад. Лавка была пуста (торговец спрятался от бомб в подвал) — и прапорщик оставил на прилавке деньги. Поручик сказал:

— Медленней пойдем. Там уж, наверное, капитан с де-

вочкой делом занялись; я для того и ушел. А капитан на девочек — хо-хо-хо!

И поручик радостно захохотал.

Прапорщик глядел на него с уважением: как спокойно говорил поручик о том, о чем прапорщику и думать стыдно было! И, главное, поручик, видимо, и не думал даже о бомбах и шрапнельных стаканах — так спокойно он шел и смеялся. Страх не находил места в его узком черепе, заполненном бессмысленной радостью. А Ротченко с Терезой ничем, кроме разговора, не занимались. Даже разговор стих. Ротченко глядел на Терезу так, что та отвернулась.

Заботы Терезы о фольварке были непонятны Ротченке. Какой тут фольварк, если все гибнет? И Ротченко усомнился: может быть, его непонимание оттого, что тело его избито и изломано войной? Ведь до войны он думал иначе. И штабс-капитан еле удержался, чтобы не кинуться на девушку: были ведь, может быть, последние дни затишья.

II

Было темно: не оттого, что солнце зашло уже, а оттого, что дым застлал небо и землю. Дым в лесу был желтый и едкий, как удушливый газ. Желтые космы его висели на соснах и плотной завесой ползли поверху, подымаясь к небу. Лес был огромный, и сосны в нем дрожали от корней до верхушек. Земля тоже дрожала: тысячи снарядов рвали ее уже десятый час под ряд. Направо и налево от дороги трещали и ломались деревья. А по дороге шел поручик Никонов.

Поручик искал штаб батальона. Но решительно ничего не было в лесу: ни штаба, ни батальона, ни офицеров, ни солдат. Были только дым и грохот. Но поручик знал точно: штаб должен быть. Штаб найдется, потому что у него, поручика Никонова, имеется важное для штаба сообщение.

— Кто идет?

— Командир пятой роты.

Голос Ротченки спросил удивленно:

— Какой бог пронес вас сквозь эту дрянь?

— Не могу знать, господин капитан, — отвечал Никонов, беря под козырек. — Честь имею доложить: рота

моя выбита неприятелем до одного. Оставшиеся сдались. Прапорщик Каверин убит. Прапорщик Лосинский, посланный для связи в четвертую роту, не вернулся.

— Благодарю вас, — отвечал Ротченко. — Значит, все обстоит благополучно?

— Так точно, господин капитан, — согласился Никонов.

Ротченко сказал:

— Остатки полка собираются у Красносельц. Мы сейчас отступаем туда. Из батальона осталось — полюбуйтесь — двадцать один солдат и два офицера, то есть вы да я. Идемте.

И они пошли.

Это был одиннадцатый час утра. Еще накануне снялись и ушли в тыл на новые позиции русские батареи, потому что на всю артиллерийскую бригаду было только девять снарядов, да и те старого образца. Сутки отбивалась отданная на разгром русская пехота.

Ротченко шел позади солдат, рядом с Никоновым. Они не вышли еще из области огня.

Никонов пошатнулся, схватился за живот и упал. Ротченко нагнулся и повернул тело поручика лицом кверху.

Лицо у поручика сморщилось, как у ребенка, которого купают. Глаза зажмурились крепко, открылись, и поручик заорал.

Ротченко сказал:

— Что вы? Молчите!

Но поручик продолжал орать громким голосом. Вся радость ушла из его тела, и ее заменил страх. Одновременно два чувства не умещались в узком черепе поручика.

Ротченко отшатнулся и крикнул:

— Молчи! Молчи, сволочь!

Солдаты остановились. Ротченко знал: еще секунда такого рева — и заревут все двадцать один человек.

— Сволочь! — заорал он. — Молчать!

И поручик замолк. Теперь страх ушел из тела поручика.

Ротченко следил, усмехаясь, за превращениями поручика Никонова. Он знал, как умирают люди, и не ужасался. Лицо поручика покрылось потом. Глаза в упор глядели на штабс-капитана. Тот усмехнулся.

— Успокойся. Сейчас все пройдет. Помрешь — Георгия дадим в приказе, и больше ничего. Поручения есть?

— Ведь это мука, — отвечал Никонов. — Ведь это мука, — повторил он. — Ничего не понимаю.

И умер.

Солдаты побежали, бросая на ходу винтовки.

Ротченко пожал плечами и пустился вслед за ними: в конце концов сейчас, действительно, не было нужды отступать медленно.

Впереди — окрик:

— Стой! Стой!

Ротченко тоже крикнул:

— Стой!

Впереди, в кучке солдат, стоял прапорщик Лосинский. Он размахивал шашкой и кричал:

— Стой!

Солдаты остановились и сбились в кучу.

Ротченко спросил прапорщика:

— В чем дело? Это направление дал штаб полка.

Прапорщик, отвечая ему, продолжал кричать во все горло и размахивать шашкой:

— Я привел пулемет и пять солдат! Мы вырвались! Господин капитан!

— Вложите шашку в ножны и молчите целую минуту под ряд, — приказал Ротченко.

Прапорщик опешил, вложил шашку в ножны и замолк.

— Так, — сказал Ротченко.

Солдаты глядели на него. Было ясно, что они ждут от него спасения, а он не знал, куда их вести.

— За мной — шагом марш! — скомандовал он и повел солдат вправо от дороги.

Солдаты, толкая его, понеслись вперед.

Ротченко заорал:

— Стой! Стой!

Прапорщик стоял у пулемета. Он топал ногами и тоже орал:

— Стой!

Он ничего не понимал и решил повторять все слова и движения батальонного командира.

— Из пулемета их, — сказал Ротченко. — Валяй!

Прапорщик навел пулемет и опустил руки.

— Не могу, — сказал он, побледнев, и вдруг понял, что его сейчас убьют: он выпал из войны. Он все увидел со стороны: лес, беспомощную кучку солдат, Ротченку и себя, совершенно непричастного к этому непонятному делу. Это было так страшно, и так ясно было, что все равно он умрет, — что, когда пулемет затрещал, направленный рукой Ротченки, прапорщик бросился за солдатами под пули и первый упал лицом в сухие сучья. Он не видел уже, как остановились солдаты, и как Ротченко повел их дальше, не взглянув на труп прапорщика Лосинского.

К ночи командир первого батальона штабс-капитан Ротченко и четырнадцать солдат подошли к фольварку. Тут собрались остатки дивизии.

Фольварк был цел: ни один снаряд не тронул его. Ротченко быстро вошел в дом. Дом был пуст: остатки дивизии переправлялись через Оржиц. Там, за рекой, новые позиции. Ротченко сам не знал, зачем ищет Терезу: спасти или убить. Но Терезы не было нигде.

Штабс-капитан вышел в сад, к солдатам, и приказал поджечь фольварк.

Он думал: все, что было с ним и со всеми, сделали люди. Создали чепуху и дрянь — и сами же ужасаются. Они никого не имеют права обвинять: ни бога, ни чорта. Они сами виноваты, сами же и должны все исправить.

Прапорщик Лосинский, убитый в бою 30 июня у деревни Единорожец, награжден был Анной 4-й степени за храбрость. Поручику Никонову, убитому в том же бою, дали в приказе георгиевское оружие.

ВАРШАВА

I

Такой уж бзик у кандидата на классную должность Кроля: жениться на Марише.

— Раз, два! — и как деньги будут — женюсь.

А денег нет иной раз даже и на то, чтобы пойти в цукерню, поглядеть на Маришу, как она бегает меж столиков, разнося господам офицерам шоколад.

Цукерня — вся белая, будто вылита целиком из молока, с белыми занавесками, стуликами и столиками. От беленьких прислужниц пахнет сливками. Речь у них сдобная и приветливая, и глаза, как изюм в булке, чернеют.

— Шоколаду пану?

И уже горячим паром дышит шоколад на столике, а рядом вафля, которую как в рот возьмешь, так и жить больше не хочется: сколько ни живи, лучше никогда не будет. Бегает Мариша и не знает того, что сидит у столика будущий ее супруг. И никто не знает, кроме кандидата Кроля.

Когда совсем нет денег, кандидат Кроль останавливается у окон цукерни, глядит туда, где шум и веселье, и идет дальше, чтобы у себя в комнатушке развалиться, задрав ноги на спинку кровати и руки засунув в карманы.

Лицо у него острое, как топор, и весь он в острых стремительных углах. Когда же он заберется на ночь под одеяло, то можно даже испугаться его чрезвычайной длины: на подушке торчит маленькая острая головка, и вдруг на другом конце кровати, там, где никак нельзя ожидать — задвигаются ступни, оттопыривая одеяло, и кажется тогда, что голова у него — отдельно, и ноги — отдельно.

Деньги кандидат Кроль занимает у Егорца, солдата из военной гостиницы. Егорец дает рубль и указывает:

— Если сапогом да одеяло пачкать — так от этого денег не будет. Работайте.

Кандидат обижается.

— Кроль не работает? У Кроля в госпитале кипяченая работа. Раз, два! — ни раны, ни солдата: одна постель. Кандидат Кроль устал. Кандидат Кроль...

А у Егорца лысина прошла от лба к темени, и колыхается он на табурете, как круглое облако зеленого дыма. И вот-вот загремит гром, засверкает молния: озлится Егорец.

— Иная вам работа нужна, господин кандидат. С такой работой никогда у вас денег не будет.

А кандидат Кроль с рублем в кармане идет в цукерню, чтобы поднести Марише цветок, посидеть с ней за столиком, разговаривать с ней тонкими намеками и убеждать одноглазую мать Мариши, что деньги у него будут.

II

Война вот что сделала с корнетом Есаульченко: всадила в окоп, надышала в лицо копотью, залила глаза синим пламенем и сокрушила слух так, что казалось ему: вогнали ему от уха к уху железный кол и бьют по тому колу молотом. А потом вытащила из грохота, дыма и пламени и пустила гулять по варшавским улицам.

Чуть приехал в Варшаву, — с вокзала к коменданту, оттуда в военную гостиницу и в «Римские бани». В «Римских банях» есть комнаты жарче Африки. Пройти из такой комнаты в соседнюю — все равно, что шагнуть одним шагом тысячу верст к северу. Выпарив засиженное в окопах тело, завернуться в простыню, забыться в теплой комнатке на диванчике и, очнувшись, отдыхать. Обставиться бутылками и пить, чтобы забылась война.

А войны не забыть. Везде — на севере, на западе, на юге, в пятидесяти верстах от Варшавы — война. И в командировке ясно сказано: «сроком на одну неделю». Как ни торопился отдохнуть корнет Есаульченко, но в одну неделю не успел заглушить и затмить войну варшавским весельем.

У него в номере военной гостиницы, на круглом столике — лимонадные бутылки с вином. У столика раскрытый чемодан, из которого торчит неплотно втиснутое мятое белье.

Завтра конец отпуска. Завтра корнет Есаульченко полетит по полю на коне сквозь дым и грохот или, оставив коня в обозе с денщиком, спрячется в окопе.

Вот что сделала война с корнетом Есаульченко, тем самым, который в «Римских банях» гулял голый, но при шпорах и сабле.

III

Егорец влетел в комнату рано утром, когда кандидат Кроль еще спал; заторопил, затормошил, задергал, и напрасно кандидат Кроль отгораживался подушкой и одеялом, приседал на корточки, упрятывая под длинную рубашку поросшие рыжими волосами ноги: Егорец не отцеплялся.

— Идемте! Идемте!

А по комнате от его дыхания пошел спиртной дух.

У кандидата Кроля зубы стучали от злости.

— Я тебя, нижнего чина, — раз, два! — и под арест. Ты — нижний чин, а я... Кандидат Кроль — не офицер? Нет? А если солдаты в госпитале Кролю честь отдают? А если господа офицеры с Кролем за руку знакомы?

— Я, господин кандидат, для вашего же удовольствия. Дело есть к вам, господин кандидат.

— А вот я — раз, два! — и чихнул на твое дело.

— Деньгу зашибете, господин кандидат!

И дымное лицо Егорца сразу стало серьезным.

— Без дела я, господин кандидат, вовек бы вас не обеспокоил. Офицер в вас нуждается, господин кандидат.

— А в чем дело? Какой это офицер? — спросил Кроль.

— А хороший офицер, — отвечал Егорец. — Усы, господин кандидат, такие усы, что белье на них сушить можно. Дли-инные! А говорит, господин кандидат, — что ни слово, то пуля в лоб. Прямо как винтовка разговаривает: пять патронов выпустит, и молчок — заряжается. А денег у него, господин кандидат, не иначе как миллион: всякого цвета деньги, мне гривенник-целковый дал.

Кандидат Кроль медленно одевался.

— Деньгу зашибете, господин кандидат!

— А он меня — позволь, позволь! — он меня звал?

— Звал, господин кандидат. Приведи, говорит, мне такого человека, который бы лучше всякого доктора бумагу мне написал. Как же не звал? Звал! Мало, что звал! Водкой, говорит, с ног до головы опою! Мне тоже коньяку вынес. А я в коньяке толк знаю. Я человек военный и сам на батарее пальца лишился. Как же не звал? Звал! Приведи мне, говорит, такого человека, которому скажу: весели господина корнета — и чтобы сразу девочки кругом. А я, говорит, час подожду, а как час пройдет, стрелять буду. Прямо, говорит, как винтовка стрелять буду. Как же не звал? Звал!

И чем больше говорил дымный солдат, тем стремительнее одевался кандидат Кроль.

— А — позволь! — какую бумагу ему?

— А на бланке: контужен, мол, человек, извините, пожалуйста, и подпись — кандидат Кроль. Деньгу зашибете, господин кандидат, а офицер в Варшаве останется — вам для наживы.

Кандидат Кроль накинул на плечи серую шинель.

— Все сделаю. Господин офицер чистоганом из воды выйдет. У кандидата Кроля кипяченая работа.

И подумал:

«Деньги будут, женился, дети пошли и собственный автомобиль».

IV

Корнет Есаульченко спрятал бумаги в карман и стал перед круглым столиком, растопырив кривые ноги. Ворот тугого кителя был уже расстегнут.

— Садись. Не торчи! Пей!

Медленно, как с крутой горы спускаясь, опустился кандидат Кроль на стул. Осторожно влил в горло полрюмки — теплый зуд прошел по телу. Еще выпил, и еще. И уже закачалась комната, и стало перед Кролем лицо офицера, как собственный его затылок.

— Я господину корнету не только бумаги... Кроль такой человек, что если сказал, так у него — раз, два! — и господину корнету весело.

А на руке у кандидата кольцо, заранее купленное, змеей обвивалось вокруг пальца. И сам он змеей извивается на стуле.

— Я такие места знаю, что господин корнет закричит от восторга и побежит по улице. Будет господин корнет бежать и кричать в голос. А девочки...

Тут кандидат Кроль довел голос до шопота и, пригнувшись к офицеру, помотал черной головой.

— Я скажу господину корнету: девочки такие, каких и на том свете не сыщешь! Господин корнет один приехал или, может быть, господин корнет с господами офицерами развлекается?

— Один.

— А у господина корнета есть деньги, чтобы веселиться?

И длинная фигура кандидата прыгала на стуле, и пальцы на столе сплетались и расплетались.

— Есть.

— У господина корнета есть деньги, чтобы веселиться! И он пьет в этой комнате, когда вся Варшава для него построена? Архитекторы сидели-сидели, думали-думали: как лучше построить, чтобы был доволен господин корнет? И выстроили такое... Я вам скажу: я не кандидат Кроль, а последняя сука, которая лает, задрав хвост, у ворот, если Варшава не для господина корнета построена. А девочки...

И опять кандидат Кроль задышал корнету в ухо. А у того от быстрых и увертливых слов замелькало в глазах так, будто приставили ему к переносице Анну 2-й степени с мечами и бантом.

V

На Уяздовской аллее белым сверкающим камнем облиты дома; густо пущенная зелень дышит за оградами садов и парков; медленные ландо несут на мягких рессорах закупоренных в мундир офицеров; тонкие кучера в синих цилиндрах помахивают высокими бичами и ни разу не обернутся к седоку для мирной беседы. И нет на Уяздовской аллее стука копыт и скрипа колес: выложена мостовая торцом.

Если покажется на Уяздовской аллее грязный лапсердак, то сгинет сей же час. Всякий брезгливо откинет носком ярко начищенного сапога спрятанную в лапсердак человеческую вонь, потому что создана она не для тонкого нюха отпускного офицера. Для офицера создано только то, что, напитав зрение, слух и желудок, рождает человеческую веселость.

А к вечеру желтым светом запылает Уяздовская аллея; веселый говор встанет перед занавешенными окнами цукерен; воздух колыхнется и запоет от множества невидимых оркестров. Тогда ордена и эфесы сольются в один сверкающий зигзаг и рассыплются с громом, гоняясь за женщинами. А те стремительно скользят вдоль домов, наклонив набок голову и щедро одаряя носы прохожих ненюханными в России духами.

Белая панель, свиваясь в гудящую электрическую дугу, убегала из-под спотыкающихся ног корнета и кандидата. И уже задыхался Кроль, и стало ему трудно передвигать ноги, будто идет он по колено в воде. А корнет неутомимо гремел саблей впереди.

— Скоро ли придем? — спросил корнет Есаульченко.

— Куда, господин корнет, придем? Кандидат Кроль всюду готов, куда господин корнет хочет.

— Ты, чорт тебя, не знаешь, куда итти? Ты что говорил? Ты — обманывать офицера?

Корнет остановился, приступая к кандидату. В страхе кандидат Кроль вжимался в стену. Вот-вот вольется весь в дрожащий камень, оставив на стене только зеленый контур длинной и узкой фигуры.

— Но — позвольте, господин корнет... Зачем же? Знаю! Я такое место знаю...

А вся Варшава для Кроля — одна цукерня. Больше ничего нет в Варшаве.

— Веди, а не то...

И в трепете повел Кроль офицера туда, где люди утопали в молочных ароматах и шоколадном пару.

— Тут, господин корнет... Сейчас, господин корнет...

— Шоколаду пану?

VI

Корнет Есаульченко целовал ручку Мариши, и та ласково улыбалась ему, а на Кроля даже не взглянула.

Офицер сунул кандидату сторублевку. Сторублевка упала на пол.

— Поднимай! Бери!

— Господин корнет...

— Чего тебе еще надо? Отстань!

— Господин корнет... Это такое недоразумение...

— Отстанешь ты или нет?

И рука корнета уже полетела к эфесу. Дрожащим голосом Кроль произнес:

— Это невеста моя, господин корнет...

— Что?

Корнет Есаульченко, обернувшись, заглушил шпорами

и саблей все вокруг. Ступил шаг вперед. Кандидат Кроль сделал шаг назад. Еще шаг вперед — еще шаг назад.

— Ты что, чорт тебя?

Кандидат Кроль замахал руками.

— Это — позвольте, господин корнет, — действительно... Но зачем же, господин корнет, саблей в ухо? Я — раз, два! — деньги в кармане и женился, господин корнет. Тут смеяться нужно, а не...

Корнет Есаульченко стоял, растопырив кривые ноги, перед Кролем, и лицо его медленно, от шеи начиная, наливалось кровью. Вот уже и в лоб краска ударила.

— Пошел вон!

— Вам вредно волноваться, господин корнет. Зачем же? Господин корнет другую найдет. Прямо — раз, два!

И кандидат Кроль отскочил от корнета, потому что кривая сабля засвистела в воздухе.

— Прочь!

И не дай бог попасть головой в сверкающий круг: покатится голова по полу, не допив шоколада.

Кандидата трясло, как будто налили его всего ртутью, а она пошла дергать тело в разные стороны. Тогда Мариша подбежала к офицеру.

— И женщину пан ударит?

Корнет Есаульченко размахнулся, да так и остался изогнувшись, как пересаженный на картину: высокий, горбоносый, в красных гусарских чакчирах и коричневом кителе. Потом вложил саблю в ножны и поцеловал ручку.

— Прошу извинения. Я контужен, и иногда такое найдет, что...

Кандидат придвинулся к офицеру и заговорил, оглядываясь, будто кто-то хватал его сзади за узкие вздрагивающие плечи.

— Господин корнет... Мариша...

Мариша сразу стала как ведьма: волосы еще чернее и лицо еще белее.

— Если ты еще одно слово... Вон! Сей же час вон!

И присела к офицеру за столик.

Кандидат Кроль поднял с пола сторублевку и вышел из кафе.

VII

У выхода, когда Есаульченко вел Маришу под руку в ландо, к нему подкатился толстый и важный, как ландо, капитан, а за его спиной, то с правого, то с левого плеча, показывалось красное лицо кандидата Кроля.

— Корнет, вы ведете себя недостойно офицерского звания. Я вас арестую.

— Господин капитан, я контужен и не могу отвечать за свои действия.

— Как же вас такого на улицу выпускают? Вы из госпиталя?

— Никак нет, господин капитан. С позиций в недельный отпуск приехал — отдыхаю. А отпуск по контузии продлен. Есть бумага, господин капитан, от врача, что бывают припадки, за последствия которых я не ответствен.

И корнет Есаульченко вытянул свидетельство, написанное кандидатом Кролем. Капитан даже губы оттопырил, прочитывая бумагу.

— Хорошая бумага.

Еще раз прочел, и веселые волны всколыхнули толстый живот, и все, что было спрятано под стареньким пехотным мундиром, заходило ходуном.

— Ах, черти! Ах, штука!

Утер лицо синим платком.

— Отдыхайте с богом. Только, когда отдыхать будете, человека невзначай не зарубите. Ах, черти! Ах, штука!

И пехотный офицер покатился дальше, пофыркивая. А обширное ландо приняло корнета Есаульченко и Маришу. Кандидат Кроль глядел на широкий зад медленного ландо. Вот плывет оно по улице, вот бич встал над вспаренной спиной лошади, визгнул ей под брюхо. И нет ландо. И нет Марищи. Дома встали на пути, чтобы не видел кандидат Кроль, и там, за домами, Мариша прижималась к корнету Есаульченко.

— Такая множества офицеров в Варшаве развелась, а других офицеров, чем ты, мне не нужно. Лишь только тогда разлюблю, как умру. Сподобает мне пан офицер за то, что никому не боится. Схитрюсь я на разную манеру — обману мать.

Одноглазая женщина, высунувшись из цукерни, дернула кандидата Кроля за рукав.

— Ушла, пся кревь? С кем ушла?

Кандидат Кроль погрозил кулаком:

— Я господину корнету — раз, два! — и нет головы.

VIII

Война догнала корнета Есаульченко: обозным грохотом застучала в уши, по ночам прожектором била в лицо, закрыла цукерню, потащила к коменданту и, наконец, рыжим конем встала у дома, где скрылся корнет с Маришей.

Конь бьет копытом о землю, зовет офицера ржаньем, но все нет корнета Есаульченки.

Офицер за белыми стенами дома стоит перед женщиной.

— Итти нужно. Итти. Пора.

И невозможно уйти. Не двигаются ноги.

Услышал офицер призывное ржанье коня. Кровью налились глаза.

— Нужно! Нужно!..

Радостно заржал конь, когда, наконец, вышел корнет Есаульченко. Корнет тяжелым взглядом обвел все кругом, ничего не видят глаза, — махнул рукой:

— К чорту все! Война!

И поскакал по опустевшим улицам. А женщина из дома не вышла...

Направляет коня не корнет Есаульченко, а Егорец.

И всем, что совершается в последние дни в городе, управляет Егорец, штабной писарь.

То есть не Егорец, а комендант города. Но Егорец рассылает пакеты с назначениями, ставит вместо «весьма срочно» три креста на конвертах, обозначая аллюр, и знает, где какая часть, и знает, куда едет корнет Есаульченко, и даже сам просил адъютанта назначить корнета Есаульченко в самый арьергард, в команду конных разведчиков.

— Это такой храбрый офицер, что взглядом убивать может. Взглянет — и от человека мокренько, как будто пушка выстрелила. А я в пушках толк знаю, сам на батарее пальца лишился.

IX

Кандидат Кроль явился к Егорцу в час дня и ждал его в комнате целых пять часов, до шести. Егорец, кончив все занятия, оставил дежурного писаря у телефона и, вдоволь наглядевшись в зеркальный шкаф на свою физиономию, вытянул из шкафа бутылку водки, вылил из горлышка в горло, сплюнул, обтерся рукавом и вышел с бутылкой в руке к кандидату. Поглядел на него презрительно.

— Не чета вы их благородию корнету Есаульченко. Завтра вам эвакуация с госпиталем вышла, а их благородию, может быть, еще три дня сидеть, последним отойти. Денег не нужно?

— Зачем деньги? Не нужно денег.

Егорец потянул из бутылки, забулькало в горле.

— Корнет-то наш не хочет Варшавы отдавать. Не отдам, говорит, Варшавы полякам на разграбление! Вот как!

Помолчали. Кандидат Кроль задвигался весь. Задергался, встал.

— А женщина-то, с которой господин корнет? Женщина где?

— А что женщина?

— Провожала она его только или с ним уехала?

Егорец еще потянул из бутылки — и небывалые события всколыхнулись в его голове.

— Провожала, — проплакал он. — Еще как провожала — я все видел. И что за женщина? Конь лучше у их благородия: рыжий конь и в три креста аллюром бегает. Хороший конь. Лучше женщины.

— А где женщина?

— А не знаю я, где женщина. Чего пристал?

Егорец качнулся вперед, назад, устоял на ногах, и слеза покатилась по коричневой щеке.

— Женщина! Женщине-то офицер-то наш: как умирать начнете, телеграфуйте, говорит, мелким почерком, сей же час явлюсь и самое смерть шпорой проткну. Человек у меня есть, говорит, Егорец, говорит, добрый, говорит, парень, душа, говорит, человек. Для меня, говорит, все сделает. Так ты ему в пакетик, говорит, в три креста, говорит... Такой, говорит, парень хороший...

И Егорец потерял равновесие.

Напрасно кандидат Кроль торкал его сапогом. Егорец как растянулся на полу, так и остался, чтобы храпом сгустить и без того спертый воздух чуланчика. И поверил Кроль всему, что наговорил Егорец. А корнет Есаульченко лежал на берегу Вислы и глядел в польское небо, откуда падали июльские звезды. Рыжий конь косил на офицера торжествующий глаз.

Спросит бог корнета Есаульченко:

— Что сделал?

И покажет корнет богу бумагу, написанную кандидатом Кролем:

— Ранен, контужен и за действия свои не отвечаю.

X

Поглядеть сверху — с моста, прыгнувшего высоко над рельсами, — на платформах копошатся сплющенные, как клопы, люди. Пройти через мост, спуститься — и уже нельзя итти спокойно: нужно бежать, задыхаясь и распяливая ноги; грубо расталкивать обезумевших людей, хрипло крича в ненавистные затылки и ненужные лица, пока не отяжелеют ноги, не покроется тело обессиливающим потом, и сердце, заколотившись бешено, не остановится вдруг на миг, не больше: но в этот миг кажется человеку, что он умирает и схватил его за горло предсмертный кошмар.

Мужчины, женщины, дети — все в одном стремлении: сквозь шум, сквозь тесноту плеч и рук, по ногам — к вагонам. В напряжении замолкая, схватиться за поручни, отдышаться — и дальше, туда, где притиснулись друг к другу — лицом в спину, спиной в лицо, по-всякому — стоймя поставленные тела людей. Утвердившись на площадке, врасти в занятое место и злобно бросить, оглянувшись через плечо, туда, откуда прет человеческая потная тяжесть:

— Нету мест!

А в вагонах, внутри, там, где торчит в окно крепкая подметка солдатского сапога или крепкая, как подметка, солдатская рожа, — там, в вагонах, духота, человеческий пот и визг гармоники. Там — рай.

Мечутся по платформе, сталкиваясь и отталкиваясь, быстрые фигуры людей, перебегают от вагона к вагону.

от площадки к площадке, от окна к окну, тыкают в сопротивляющиеся зады и спины руками, чемоданами, мешками, ногами.

И отходит поезд. И плывут по пересекающимся путям локомотивы, похожие на черных лебедей. И другой поезд вытягивается вдоль платформы, и летят в окна ошалевшие головы, протаскивая за собой плечи, руки, туловища и чемоданы.

И опять отходит поезд. И встает на его место следующий. И уже пустеют платформы.

Команда военно-санитарного поезда выстраивается перед зауряд-чиновником, который с листом в руках выкликает фамилии людей.

— Кандидат на классную должность Кроль!

Еще раз выкликнул зауряд-чиновник ту же фамилию и еще, но никто не откликнулся.

И зауряд-чиновник сделал пометку на полях: «пропал без вести».

И отошел военно-санитарный поезд. Поезд за поездом, доверху нагруженные орудиями, товарами, отпускными солдатами, беженцами, оставляют Варшаву.

И вот последний штабной поезд встал у платформы, и мерещатся за окнами единственного вагона затуманенные стеклом немногочисленные профили, затылки и неподвижно важные лица. Серая струйка со свистом вылетела из трубы локомотива, и последний поезд отошел от вокзала.

В единственном вагоне повествует Егорец товарищам-писарям:

— Упрашивала меня одноглазая: «Положи, говорит писульку в конверт три креста, пошли их благородию, а я тебе, говорит, вот — пятьдесят целковых». А я: «не хочу, говорю, твоей сотни! Убери, говорю, свою сотню в юбку назад!» — «А я, говорит, ежели моих двухсотенных билетов не примешь, колдовством, говорит, возьму. Плюну, говорит, дуну, и как, говорит, пакет их благородию отправлять будешь, так, говорит, там и моя писулька будет. А денег, пятисот целковых, вижу, говорит, взять не хочешь. Вижу, говорит, что честный человек, а только колдовством и честность человеческую одолею». Вот какая колдунья! А глаз у нее, ежели бы вы видели, прямо не глаз, а тарелка. Огромный глаз!

XI

По мосту, волной над волнами, с берега на берег, переливались солдаты. И бранное слово вставало над согнутыми спинами, подгоняя и остораживая.

А на этом, уже чужом берегу притихли конные разведчики, охраняя саперов. К утру мост через Вислу будет взорван.

Корнет Есаульченко даже не взглянул на бумажку из штаба: передал адъютанту. А сам уже в третий раз читает одну и ту же строчку: «Явись, пан!» И адрес. И мертвая рука подписала письмо: «Мариша».

Корнет Есаульченко отошел от берега подальше, зацепил рукой повод оседланного коня.

Еще раз прочел письмо, подписанное той женщиной, которую он убил. Или, может быть, он ее не убил? Может быть, показалось это только ему, что он убил Маришу?

Рыжий конь заржал, оскалив зубы.

— Не смейся, — сказал корнет и ударил его по носу. — Нельзя смеяться.

А конь захохотал еще радостнее.

Опустил голову офицер, подумал, оглянулся — тихо кругом. Повел коня в поводу, задумавшись. И когда снова поднял голову, уже не слышал и не видел товарищей. Поднес к глазам браслет с часами, — метнулись перед глазами светящиеся стрелки.

— Поспею, — решил корнет Есаульченко.

Вскочил в седло и поскакал в те места Варшавы, где улиц нет, где наворочены только одни переулки. Переулки эти достаточно широки для того, чтобы протянуть на веревке от дома к дому грязную юбку и сушить ее на солнце. Солнце только по получасу в день светит тут меж нагроможденных в беспорядке домов, и высокие крыши изрезали здешнее небо на узенькие и длинные полоски. И нехорошо подымать тут голову к небу: витает и льется в воздухе всякая дрянь и чернит лицо, шею и руки.

Корнет Есаульченко осадил рыжего коня, соскочил на землю, поднес к глазам письмо, оглядел дом и гулко стукнул стэком о стену. Из невидимой двери вылезла

старуха. Один глаз у нее был прищурен и видел все. Другой оттопыривался, как стеклянный пузырь на бракованной посуде, и не видел ничего. Старуха мотнула рукой, зовя офицера за собой.

XII

Комната, в которой старуха оставила офицера, была, как гроб, длинная и узкая. Темно было, и офицер, держа руку у эфеса, ждал мертвую женщину, ловя слухом звуки, которые человек слышит только тогда, когда ничего не слышно. И в тот момент, когда с ясностью встали перед невидящими глазами офицера черты убитой им женщины, он ощутил в углу белую фигуру, скользнувшую в комнату сквозь темную, чуть скрипнувшую стену, и узнал Маришу. Но когда корнет Есаульченко бросился к Марише, та упала на пол, и корнет увидел перед собою длинную фигуру кандидата Кроля со свечой в руке. Сзади подталкивала кандидата мать Мариши:

— Иди, трус, пся кревь!

— Господин корнет явился. Кроль не скажет дурного слова господину корнету. Кроль просит: отдайте Маришу! Кроль хочет знать: где Мариша? Мать Мариши плачет: где Мариша? Господин корнет, — где?

— Тут, — отвечал корнет Есаульченко. — Разве ты не видишь? Вот она дрожит на полу.

И он указал саблей на белую фигуру, которая струилась по полу, убегая от желтой свечи в темноту.

— Кроль не понимает. Кроль не видит. Кроль не хочет шутить. Кроль не воевать хочет, а — раз, два! — женился, и мир кругом. Это я написал письмо. Я подписал — «Мариша».

— Врешь! Разве ты не видишь Мариши?

— Нет, — отвечал Кроль и оглянулся кругом.

Свеча дрожала в его руке.

— Нет. Господин корнет выдумывает. Господин корнет не хочет сказать правду. Тогда — раз, два! — господин корнет хотел Кролю саблей в ухо, а пулю в лоб господин корнет не хочет?

Кандидат Кроль отскочил в сторону, и от двери отделилась старуха, мать Мариши. И одноглазый револьвер взглянул в лицо офицеру.

Корнет Есаульченко кинулся к дрогнувшей Марише как раз во-время для того, чтобы пуля пропела над его головой и, не встретив на пути человеческого тела, шмякнулась в стену.

— Вот Мариша, — сказал корнет Есаульченко.

Офицерская фуражка валялась на полу, глаза глядели неподвижно, волосы встали горой на голове, как шерсть у испуганной собаки.

— Вот она. Ты разве не видишь?

И медленно тянулся рукой к тому, что он видел, как пьяный, который ловит надоедливую муху.

Схватил. И свеча выпала из руки кандидата. И в темноте тяжко застонал Кроль.

А Мариша уже просвечивала в щель двери. Корнет загремел к ней саблей. На пути встала старуха.

— Прочь!

Кулаком в грудь отбросил старуху, вскочил на коня и поскакал к Висле. Поспеет ли? Мост взорван будет.

А на пороге дома лежала старуха, оттопырив стеклянное око, навсегда отразившее луну, и не отвечала на тяжкие стоны кандидата Кроля.

XIII

Поляки в щели ставней с испугом глядели на коня, налитого рыжей бронзой, который летел, распластав ноги и еле задевая землю копытами. От быстрого скока коня далеко назад отлетали дома, сады и парки. И врос в седло офицер без шапки, и сабля, отлетая назад, еле поспевала за быстрым поясом. И казалось, правой рукой он удерживает кого-то, сидящего в седле перед ним.

Уже влажные пары Вислы ударили в рыжие ноздри коня. Уже близко Висла. Но кроваво-черные полосатые вихри встали на пути. Железо, камень и дерево взлетели к небу, чтобы больно бьющими осколками осыпать землю и застлать землю дымом.

Рыжий конь, не изменив аллюра и даже не переменив ноги, радостно несся туда, где еще не рассеялся дым и еще не затих грохот.

Корнет Есаульченко, еле удержавшись в седле, что было сил, под огненным дождем, хлестнул стэком коня. Конь засмеялся, скаля зубы.

И вот офицер уже на берегу Вислы. Густо пахло копотью, и чернели сваи взорванного моста.

Оглянулся корнет. Позади чужой город. Впереди — проклятая польская река. Только теперь заметил он, как широка Висла.

Усмехнулся корнет.

— Господи, — сказал он, — ранен, контужен и за действия свои не отвечаю.

И рыжий конь унес его в тяжелые воды. А светлые клеточки и шарики, танцуя по воде, уже кончали бал.

Тогда Мариша взяла за руку корнета Есаульченко.

— Сподобает мне пан офицер за то, что никому не боится. Погубил пана рыжий конь — война. Слазь с коня, станьцуем в это бялое утро бялый мазур. И тьфу — кандидату Кролю.

— Идем, — отвечал корнет Есаульченко, сворачивая калачиком руку. — Только ведь у вас тут нужно по девяти раз сменять воротнички и манжеты.

И они пошли отплясывать белую мазурку туда, откуда не видно небо.

А рыжий конь, выплыв на русский берег, один, без всадника, понесся, блестя рыжей водой, на восток.

1921

ЧОРТОВО КОЛЕСО

В низине, влажной и пахучей, присели избушки. Это — деревушка Вышки. И от Вышек, сквозь леса и болота, бревенчатый путь, наскоро кинутый саперами. По этому пути пришли и осели в Вышках на зимний отдых солдаты и офицеры — остатки некогда славного полка. По этому же пути уйдут они, когда придет приказ воевать. Но приказа нет, потому что зимой наступать трудно. Солдаты зарылись в землянках, в поле, а офицеры расселились в деревне. Путь же и зимой ремонтируется.

Из соснового леса, болтая локтями и сбиваясь к луке желтого английского седла, трясся на белой кобыле поляк из строительного отряда.

У офицерского собрания потянул, распяливая локти, поводья, задрав морду кобыле: «Т-пру!» — как хороший

кучер. Грудью лег на толстую шею кобылы, путаясь в стременах, высоко задрал правую ногу и сполз наземь. И, когда сполз, казалось, будто все еще сидит он в седле, нисколько не снизился, — такой строитель длинный.

Солдаты строителю чести не отдали и не подскочили, чтобы отвести кобылу куда нужно. Строитель оглядывался сердито. Остренькое лицо — строго, а глаза бегают. Хочется прикрикнуть на солдата, да опасно: а вдруг облает в ответ? Что тогда? Погоны-то у строителя, правда, со звездочкой, да не офицерские — узкие и с черным кантом. Видно, что не офицер.

Пока строитель, мигая глазами, боялся кликнуть зевающего у входа в собрание вестового, вышел на уличку офицер — подышать вечерней сыростью.

— А, приехал? Ну, иди-иди — вино есть.

И вестовому:

— Бери кобылу.

Строитель козырнул важно и, поглядывая гордо на вестового (офицер под руку взял), вошел в собрание.

В собрании воздух жаркий, густой и от табачного дыма лохматый. И лампа — как седина в лохмах.

Офицеров в собрании — битком. Кто курит, кто рассказывает похабный анекдот, а подполковник Прилуцкий, командир полка, с прапорщиком Пенчо и еще несколькими склонились над круглым столиком. На столике — на круглой желтой папке — скачки. Картонные жокеи перескакивают на картонных конях с линии на линию к финишу. Кинет офицер кости — сколько очков? — И хватает жокея своего за шею, двигает ближе к финишу. Азарт.

Пенчо поднял полову.

— А, пся кревь, пришел? Иди — пришивайся...

Строитель осторожно подходит к столу, глядит будто в сторону, а рука уже зацепила бутылку.

Стакан. Еще стакан. И строитель распрямляет плечи и даже крутит желтые усы. И если бы он сейчас завидел вестового, сказал бы ему обязательно «ты» и, не боясь, выругал бы его даже по-матерному.

Так всегда: когда винная влага подкрепит тело и душу, строитель даже и на офицеров поглядывает гордо. А к ночи, похаживая, говорит:

— А мне чего-то хочется. А мне чего-то хочется.

И, выкидывая важно ноги, выстукивает каблуками высоких и гладких сапог к выходу.

— Адье, господа офицеры.

И знает он: господам офицерам того же хочется, что и ему. А вот не свободны господа офицеры: без приказа из Вышек не уйдут. А он не офицер, строитель жалкий, — всех офицеров выше. Захотелось ему — на коня, и — фьють!

— Адье, господа офицеры!

И уже ловчее вскакивает он в седло и вскачь несется по полю в лес. Льдинки бьются под быстрыми копытами, дышит лес холодным ветром, солдаты шарахаются и отдают честь.

Хорошо пьяному человеку проскакать на свободе сквозь холод и тьму к теплу, к. . .

— А мне чего-то хочется, — присвистывает строитель и шпорит кобылу. — А мне чего-то хочется.

И сосны белыми лапами укрывают его фигуру.

А господам офицерам — сидеть в офицерском собрании и пить. И как уедет строитель, так будто безнадежнее смыкается круг: утром и днем — ученье, вечером — вино и азарт.

Прапорщик Пенчо боится пить. Как выпьет, так заснет. И после того трое суток голова ноет, и мучает тошнота. Прапорщик Пенчо и без вина пьян. И без вина не может усидеть на месте: вечно вертится, черный, увертливый, маленький, — и швыряет словами, не договаривая.

— Приживальщик, чорт его. . . — сказал прапорщик Пенчо, когда уехал строитель, и лег на скамью, лицом в застланный дымом потолок — и сквозь дым, сквозь пьяный шум глядел в Польшу, в то лето, с которого все пошло: днем — пески, ночью — звезды. И ночью темная громада людей, коней, орудий и обозов медленно, как огромная черепаха, движется на восток. А на востоке, на западе, на севере, на юге, — везде, куда ни оборотить засыпающий взор, — полыхает пламя, жадно облизывая черное небо. И все—пески, звезды и движущаяся сквозь тьму громада — все заколдовано в огненный круг зажженных деревень. И вырывается темная громада из круга.

Давно разомкнут круг, давно вырвался полк, — а вот осело навеки в памяти и мучает и толкает. Куда — неизвестно.

— Скоро в наступление пойдем, — успокаивает подполковник Прилуцкий.

А у самого — рожа красная, шея — жирная, и не цыгарка — толстейшая цыгарища торчит из черного рогового мундштука.

— Дело ясное. Россия не может никак погибнуть. Россия, братец ты мой, весь мир победит. Как же иначе?

И тут подполковник Прилуцкий пустил из-под жирных усов столько черного дыма, что кажется, будто в пасти у него взорвался шестнадцатидюймовый снаряд. И вся изба на миг колыхнулась в дыму, а прапорщик Пенчо, чихнув, вертит головой.

— Не верю.

— Н-но!

Тут подполковничья грудь ширится под коричневым свитером. Прилуцкий затягивается цыгарищей и, выбросив в лицо прапорщику черный клуб дыма, продолжает:

— Но! Дис-цип-лина, брат! Ты с командиром так рассуждать не смей! Я тебя — под арест!

Но прапорщик Пенчо не может усидеть на месте. Немедленно, вот тут, не откладывая, нужно что-то сделать. Чтобы не было больше огненного круга перед глазами. А что сделать — неизвестно.

Есть в Вышках пруд, за избами сразу. Зима покрыла пруд ледяным кругом. И вот в центре вбил прапорщик Пенчо самолично кол. Призвал потом двух солдат, из плотников, и целых три дня удивлялись офицеры: что это прапорщик на пруду мастерит? А через три дня, когда сошлись у пруда, оказалось: хитрая игра. Азартней «шмоньки» и даже скачек. На колу, как на оси, чуть-чуть выше пруда, вращается колесо, от колеса — к берегу, к самому краю пруда — бревно, к бревну прикреплены сани. Двинуть колесо — скрипнет бревно, и полетят сани по кругу скорее скорого. Азарт.

Обновил сани сам прапорщик Пенчо. Солдат медленно кружил в центре колесо, а сани, чуть ото льда не отрываясь, взвизгнули по кругу, по краю пруда — вот-вот взлетят сразбегу на воздух.

На втором круге стали сани. Пенчо вскочил на ноги, совсем не суетливый — и глаза спокойные.

— Хорошая штука!

И подполковнику Прилуцкому:

— Пожалуйте, полковник. Испробуйте.

— Я не авиатор, — отвечал подполковник. — Я — пехотный офицер. Мне летать доктор воспретил.

Но стыдно подполковнику: будто перед всем офицерством струсил. Пустил в последний раз дым из-под усов, сдал мундштук соседу и взгромоздился на сани.

— Валяй!

А сойти с саней сам не смог: помогли офицеры.

— Чортово колесо, — сказал подполковник, отдышавшись, — будто в атаку прешь, а тебя в рожу из пулемета насквозь. А ну-ка — поглядим: есть ли еще воинский дух у русского офицера? Ложись следующий, поочереди!

Визжали сани по кругу. Крепко, грудью, жались офицеры к саням, чтобы не сорваться с круга. И никто не сорвался. Все выдержали испытание.

— Ладно, — сказал подполковник. — Выпьем сегодня.

В офицерском собрании пили. Пьяные опять пошли к пруду. И оказалось: если пьяного офицера привязать к саням, на втором круге хмель из головы выскочит. Иди и пей дальше. Хорошая игра!

Прапорщик Пенчо тоже пить стал. Теперь, чтобы не заснуть от вина, мог он кружиться на санях. Уже по четыре круга делать мог.

Когда строитель снова замотался по офицерскому собранию, подполковник Прилуцкий подманил его к себе, поставил бутылку коньяку:

— Дуй из горлышка!

Строитель жадно обнял худыми пальцами бутылку, запрокинул голову и полбутылки отхватил разом. Хотел отнять бутылку от горла, да задрожали руки, и вместе с табуретом опрокинулся строитель затылком об пол. И бутылка, выпустив коньяк на лицо, на коричневый с серебряными пуговицами китель, осколками звякнула по полу.

Подполковник Прилуцкий гоготал тяжко, как мортирная батарея:

— Го-го-го! Го-го-го!

А строитель ползал по полу, собирая ноги. Ног у него стало много, не сосчитать: уже до сотни доходит.

— Эй! Пен-чо! — сказал подполковник. — На сани его!

И строитель повис, как мокрое полотенце, на крепкой руке подполковника. Прилуцкий — впереди, за ним — Пенчо, за Пенчо — все офицеры: к пруду.

У пруда подполковник стряхнул строителя с руки.

— Привязывай!

— Господин полковник, не убивайте! Я — бедный строитель... Не нужно... Для вас же на пути работаю...

— Это ты на что намекаешь? — нахмурился подполковник. — Это ты на то намекаешь, что нам еще дальше отступать нужно? А? А впрочем, — прибавил он, — пшел к чорту. Катись на кобылке!

Согнувшись, слабый от испуга и трезвый, шагом отъезжал от Вышек на дебелой кобыле строитель. И страшен был ему белый огромный лес, и белое огромное небо и безглазая бессмысленная луна.

И пуще всего грустно ему было потому, что не пить ему больше в Вышках с офицерами.

А в Вышках со дня на день пуще пили, а напившись — к пруду: кружиться на санях навстречу морозному ветру.

Однажды хозяин собрания сказал:

— Господа офицеры! Вино кончается. На две недели еще хватит, а дальше — крышка. Сегодня строителя встретил. Он берется купить, ежели поручат. Заявится сюда — условиться.

Подполковник Прилуцкий гаркнул:

— К чорту! А вот что: в сутки все вино кончим. Азарт. В скачки пойдем: кто кого перепьет? А кто всех перепьет — тому отпуск устрою. Идет?

С вечера началось. На пруду, у чортова колеса, поставили дневального. И при собрании полувзвод дежурил. Свалится офицер, и волокут его за ноги к пруду, там покрутят на санях — и хмель из головы долой. Встанет офицер:

— Спасибо, братцы.

А солдаты:

— Рады стараться, ваш-всокродь.

А офицер опять в собрание пить, но уже не уехать

ему в отпуск: вышел из строя. Пьет офицер, пока опять не поволокут его на сани, чтобы выкрутить из тела вино. И опять:

— Рады стараться, ваш-всокродь!

Сначала по чинам шло: валились прапорщики, за прапорщиками — подпоручики, за теми — поручики. А дальше — без чина: кто капитан, а кто прапорщик — не разобрать: все одинаково пьяны. И оказалось — крепче всех подполковник Прилуцкий и прапорщик Пенчо. К утру второго дня все еще сидели они друг против друга, будто трезвые, и стакан за стаканом гоняли в желудок вино.

Так застал их строитель, робко застрявший в дверях.

— А! Пся кревь, иди — пей.

Строитель молча опрокинул два стакана, закусил и провел, распрямившись, пальцем по желтым усам. Выпил еще и заговорил негромко:

— Все ясно. Все правильно. Все хорошо. Если только людей не обижать. Вот я, например... Я на пути работаю. Для вас же, господ офицеров, работаю, и сам я, может быть, тоже офицер.

И так как прислушивались к нему офицеры, он встал, глазки у него блеснули, и продолжал:

— Все вы тут хорошие люди. А меня вы обижаете. Зачем? Я — прекрасный человек. Я — замечательный человек. Я, например, стихи пишу и посылаю в газеты. И какой я поляк? Я русский человек. Душа у меня русская, откровенная, а вы говорите — пся кревь. С вином ко мне...

Но тут прапорщик Пенчо ткнул его легонько в грудь, и строитель опрокинулся на табурет.

— Молчи!

И когда встал прапорщик Пенчо, не шатался, но по лицу, по слишком четким движениям поняли все: пьян человек, и так пьян, что никогда больше не отрезвеет, хоть десять кругов на санях открути.

— Господа офицеры! — сказал прапорщик Пенчо. — Спасите меня. Я погибаю. Тело мое жаждет покоя, а душа — счастья.

И, покачнувшись, прапорщик Пенчо вырыгнул на стол вино.

Подполковник Прилуцкий загоготал радостно:

— Крышка тебе! Не выдержал. Раз такое делаешь, не выдержал: пьян. Я всех перепил! Я! Я в отпуск поеду! Я! Я всех перепил.

Поставил стакан и рукавом опрокинул бутылку. Из горлышка полилось красное вино.

Хозяин собрания подскочил:

— Последняя бутылка, господин полковник.

— Все равно. Я всех перепил. Я уеду в отпуск. А в отпуске, в столицах-то...

И, оглядев всех, подполковник продолжал, откинувшись на спинку стула и усмехаясь:

— А лучше так. Очередь моя по правилам — первая. Так не уеду я в отпуск. Всех перепил — могу значит, а не уеду, и вас, братцы, не выпущу. Так-то! Война! Айда, братцы, к пруду!

Пенчо схватил за шиворот строителя.

— И этого! И этого! Пусть покружится, пришивальщик!

Единственное, что видел прапорщик Пенчо, — это черный кол посредине пруда. Бесстрашно вступил в неверный круг, подошел к колу.

Офицеры с гиканьем и смехом валили на сани строителя.

— Я сам! — кричал тот. — Я храбрый человек! Я сам!

Он уже лежал на санях, а подполковник Прилуцкий, стоя на пруду, закидывал его снежками.

— Покружишься, пся кревь!

И вдруг подполковник Прилуцкий шлепнулся затылком о лед. Что-то тяжко подбило ему ноги. Не понимая, он привстал, опираясь ладонью правой руки об лед, а левой зажимая рану на темени. И тут снова по всему боку — от поясницы до шеи — тяжко хлестнуло бревно и, подкинув, швырнуло тело офицера о лед, под новый удар все быстрее заворачивающего по кругу бревна.

Плясало по льду, подскакивая и мотаясь, тело подполковника Прилуцкого. А прапорщик Пенчо стоял посредине пруда и крутил колесо.

— Крутись, чортово колесо! Круши черепа! Мели кости! Рви мясо! Полосами сдирай кожу! К чорту!

Строитель летал по кругу без дыхания, без мысли, костенеющими пальцами уцепившись за сани, прильнув к саням, но на четвертом кругу не выдержал: сорвался,

взлетел, кувыркаясь, на воздух и только раз успел взвизгнуть. Визг этот далеко слышен был по деревне и в солдатских землянках. И, взвизгнув, строитель шлепнулся сразмаху лбом о дерево и прошиб лоб до затылка.

1922

ШЕСТОЙ СТРЕЛКОВЫЙ

I

У полковника Будаковича на эфесе георгиевская лента и на левую щеку лег черно-желтый, как георгиевская лента, шрам. Шрам на щеке — от первой раны. Вторично ранен был полковник Будакович на Нареве. Он видел, как у ноги его вырастала горка песку, выбрасываемого врывшимся в землю снарядом. Потом земля крутой горой встала перед ним, небо опрокинулось, и песок с травой заскрипел между зубами.

Полковника сволокли на перевязочный пункт. Он дрожал на земле, а курица, взмахнув короткими крыльями, вскочила на живот и медленно ступала к лицу.

Полковник заплакал от обиды и жалости и потерял сознание.

Очнувшись в госпитале, сказал:

— Русская армия гибнет. Снарядов нет. Воинский дух падает. Война курицей обернулась. А и то, не уехать ли в тыл? Я и право на то имею: дважды ранен.

И, не долечив раны, возвратился в полк.

Это было давно. Тогда шестой стрелковый полк бежал из Польши. Синее пламя, очертив круг по горизонту, клонилось над халупами. Раскалившиеся патроны, забытые в халупах, посылали пули, которые пели и жалили, как пчелы. Из горящих ульев вылетали пчелы, которые пели и жалили, как пули.

Желтый дым карабкался над копнами уже собранной ржи. Белым огнем горели оскаленные зубы коней, выносящих из темноты стремительного разведчика или тяжелого артиллериста. Луч прожектора ложился на песчаные поля. Ночами звезды падали с неба.

Это было давно. А теперь отведен шестой стрелковый полк на отдых в полесскую деревушку Емелистье.

Вокруг Емелистья — ни пушек, ни пулеметов. Только топь, и на топи малорослые березы присели, как карлики, на корточки. Ползет к деревне клочковатый туман, а над туманом ползет медленное небо.

Люди в Емелистье — длинные, худые, с мягкими светложелтыми волосами.

Стрелок Федосей спросил полесского человека:

— Куда девок убрали?

Мужик не ответил ничего и покорно глядел, как веселый стрелок свернул голову куре и погубил штыком свинью. Адъютант, поручик Таульберг, проходя мимо, остановился.

— Нельзя свинью резать.

— Заведующий собранием, ваше благородие, приказал для офицерского довольствия.

Поручик Таульберг отправил стрелка на гауптвахту, но стрелок не унялся.

— Мне заведующий собранием приказал. Не моя воля.

Отбыв наказание, стрелок сказал роте:

— Дознался. Мужики-то девок своих в топь убрали. К ночи, глядите, пойду.

И ушел стрелок Федосей. Ушел и не вернулся.

А дома у каждого стрелка есть своя жена, невеста, и дети у иных есть. Но далек дом. Зажаты стрелки поротно, и офицеры гуляют по линии, не пускают домой: война.

Падалью свалится стрелок на землю и даже в смерти своей не услышит женской речи.

Вспоминая Федосея, стрелки смеялись:

— Ловчило! Один со всеми бабами в топи живет. Как турок.

И долго говорили о Федосеевой хорошей жизни и о своей плохой.

— Нет у нас ничего, как будто чужеземцы. Жены наши обижены и заброшены на произвол судьбы, а дети наши голодные сидят. На девять копеек в сутки только опилок и купите. Пойти за Федосеем!

В штабе полка про Федосея отметили: «пропал без вести», и полковник Будакович сказал:

— Дезертирство начинается. Царь и бог от русской армии отступились. Что будет?

Лучше всех в шестом стрелковом полку знает о том, что будет, заведующий оружием и хозяин офицерского собрания Гулида. Тыкает в обрывок газеты, который вечно торчит у него из грудного кармана гимнастерки:

— Вот! Бельгийский посланник! Аплодисменты! Милюков речь сказал: «победим Германию! Только темные силы. . .» Темные силы уничтожить нужно.

И держит Гулида голову набок, потому что на шее у него вечный фурункул.

А поручик Таульберг о будущем не загадывает. Он — адъютант, и у него времени и для сегодняшнего дела нехватает. Зато он лучше полковника знает все, что делается в полку. И даже то знает, что Гулида передергивает в карты.

Чуть вечер, у Гулиды в руках уже трещит колода. В банке сперва скромно — рубль. Рубль на рубль — и уже потеют дрожащие руки, багровеют лица. Проигрывают офицеры друг другу в «шмоньку» последнее. И переходит это последнее из кошелька в кошелек, пока не попадет к Гулиде. Гулида скопил уже шесть с половиной тысяч и отложил их в банк в Петрограде, чтобы купить по окончании войны дом.

Из офицерского собрания Гулида прибежал к полковнику Будаковичу, без шапки, красный, и сказал:

— В полку у нас темные силы действуют. У нас, головой ручаюсь, есть германский шпион. Пуля его не берет, а сам он — кровный немец. Солдат мучает, а свинью жалеет. Всякое слово подслушивает и даже в карты подсматривает. Чуть удача русскому человеку, так он сразу: неправильно.

Маленький и юркий, набок держа короткую голову, он убежал, чтобы наутро засветло уехать на станцию за вином и сардинками.

Поручик Таульберг, вернувшись из собрания в штаб, шагал по избе и говорил полковнику:

— Заведующий собранием — карточный шулер и вор. Он учит солдат грабить жителей. Он неправильно играет в карты. Нужно таких из армии вышвыривать.

Полковник Будакович отвечал:

— Не время теперь ссориться. Друг за друга теперь крепко держаться нужно. Падает дисциплина в армии.

II

Две двуколки притряслись к штабу полка. С передней спрыгнул Гулида, споткнулся на пороге, охнул, дернув головой, и вскочил в избу.

— Гости из Петрограда приехали. Подарки привезли. Тыл о нас помнит. И вот газетку достал. Дама стишками пишет. Кальсоны, пишет, пришлю. Шарфики и носовые платочки тоже. И подписалась полностью: Катя Труфанова. И адрес — Таврическая, 7. Красивая, должно быть, бабочка!

Тучные ноги своротили с печи тяжелое тело подпоручика Ловли, начальника связи. Золотой Георгий блеснул на груди, над Георгием — крепкая голова, поросшая золотым волосом. Полковник Будакович надел сверх свитера мундир, нацеплял георгиевское оружие. Гулида крутился по избе, подскакивая то к одному, то к другому офицеру. А от поручика Таульберга отворачивался, будто нет в избе адъютанта. Кинулся к двери.

— Вот они тут, со мной приехали, ждут.

Гости уже выкарабкались из двуколки. Один — высокий, в серебряном пальто, водил рукой по сукну, стряхивая сено. У другого на низких плечах оттопырились дугами повитые серебром узкие погоны гражданского генерала. В избе он, как осел на стул, так и остался, не сдвигая испуганного неподвижного взгляда с того места, которое подставилось глазам. Вздрогнул, когда хлопнула дверь, выпустив Таульберга из избы: много наврал гостям в дороге Гулида про войну и снаряды.

Грохотом ударило в уши короткому генералу, когда адъютант снова шагнул в избу.

— Господин полковник, приказание ваше исполнено. Стрелки ждут.

Высокий дернулся с табурета, тронув животом стол. Блестел эфесом шашки, пуговицами и пряжками, и казался перед ним полковник Будакович грязным солдатом.

— Я готов.

Медленно и тяжко поднялся короткий генерал и согнулся так, будто не вставал: так же низко висит над полом серое лицо. Губы двинулись сказать что-то, но голоса нехватило, и ноги повели дрожащее тело туда,

где прибились плечо к плечу стрелки, выстроив ряд серых, обрезанных по прямым углам фигур.

Полковник Будакович встал перед строем.

— Здорово, люди!

А люди все, как один человек, — одного от другого не отличить. Зажаты плечо к плечу в неумолимые прямоугольники, и кричат все зараз, и молчат все зараз.

Полковник Будакович глянул небрежным глазом на гостей.

— Скажете что-нибудь?

Короткий генерал попятился, зарываясь каблуками в землю. В теле — пусто и холодно. Непонимающими глазами он уставился на высокого. А тот уже вытянулся перед стрелками так, будто желал отделиться от земли или растянуться, сузившись, до неба.

«Скорей бы кончил», — думал короткий, поглядывая на ближний лес: Гулида говорил ему дорогой, что в лесу — немцы.

Вот уже рука взлетела кверху. Вот, наконец, «ура!» И Ловля двинул локтем в бок Таульбергу:

— Здорово говорит, а?

Таульберг отодвинулся.

Гость утирал гладкое лицо платком.

— Мне с солдатами говорить не впервой!

И вот уже можно уходить отсюда.

Чем ближе штаб, тем выше становился генерал. Вот он уже чуть ли не по плечо высокому. А в избе размяк, задергал короткими руками, как курица крыльями.

— Я думал... я совсем другое... ведь немцы... Теперь навсегда... Никогда не забуду...

Топорщился в слишком широкой шинели. И вот-вот взлетит, как курица, на плечо полковнику Будаковичу. Полковник брезгливо вздрогнул.

Пока высокий самодовольно докуривал трубку, Гулида толковал с фельдфебелем Троегубовым.

— Вот по этому адресу пиши: все пришлют, — Катя Труфанова.

Махнул рукой, сбивая подымающуюся к рваному козырьку костлявую руку федьдфебеля.

— Тыл о нас помнит. Все, что ни попросишь, пришлют. Все, что на душе, пиши. А подарки у меня: раздам.

III

Ушел стрелок Федосей к девкам в топь и не вернулся. Хорошо жить Федосею: он один, а девок у него много. Но Катя Труфанова одна лучше всех Федосеевских. Если бы не так, то не писали бы стрелки Кате Труфановой любовные изъяснения в стихах и прозе.

Фельдфебель Троегубов сгреб огромными, как лопата, ладонями солдатские письма — и в штаб, к поручику Таульбергу.

Тяжелая голова адъютанта нависла над бумагами.

— Только табак получили?

— Только табак, ваше благородие, так точно.

И выгребает фельдфебель на стол узенькие конверты, а на конвертах — адрес один: Петроград, Таврическая, 7. Госпоже Кате Труфановой.

Когда ушел фельдфебель, поручик Таульберг сказал полковнику Будаковичу:

— Я не могу больше. Гулида научил дезертира Федосея грабить крестьян. Гулида неправильно играет в карты. Теперь украл он солдатские подарки.

Полковник Будакович нахмурился.

— Он не украл. Он офицерам, значит, роздал.

Адъютант зашагал по избе.

— Это неправильно. Нужно у офицеров подарки отобрать. Они присланы для солдат.

У полковника Будаковича лицо потемнело в один цвет со шрамом.

— Отобрать поздно. Уважение упадет. И так дисциплина в армии падает. Нижним чинам и табаку достаточно. Вы, поручик, честный офицер, но в вас немецкая кровь, извините, говорит.

Поручик Таульберг вытянулся, взял под козырек:

— Господин полковник, прошу вас уволить меня от обязанностей адъютанта в роту. Разрешите сегодня же сдать должность поручику Ловле.

Полковник Будакович говорил Ловле вечером в офицерском собрании:

— Упрямый немец! Хочет, чтобы все гладко было. Не уговорить.

Ловля отставил стакан с вином, взглянул на полковника.

— А ведь Гулида-то что говорит: поручик Таульберг, говорит, — германский шпион. А?

К ночи полкового капельмейстера посетило вдохновение, и он написал лучшую свою вещь — вальс «Весенние цветы», написал прямо — от руки. Тут же сыграл его на трубе и заплакал от восторга. Не спал до утра и думал о том, что он — великий музыкант, и не в полку ему быть, а дирижировать симфониями в Лондоне. И посвятил вальс «Весенние цветы» Кате Труфановой.

С утра гудела музыкантская команда за деревней, разучивая вальс «Весенние цветы», сочинение Николая Дудышкина.

Ловля, встретив поручика Таульберга, сказал:

— Поручик, идемте на концерт.

На зеленую спину поручика Таульберга лег кожаный крест. С плеч прямыми желтыми линейками падают ремни к широкому поясу. У пояса — наган. Сегодня поручик Таульберг — дежурный офицер. Сам себя до сдачи должности вне очереди назначил.

Лицо у него похудело и такое черное, будто борода выросла у него на этот раз не наружу, как у всех, а внутрь, и оттуда просвечивает сквозь кожу.

Поручик Таульберг не пошел на концерт.

К вечеру толстый капельмейстер выпустил на борт офицерской шинели георгиевскую ленту. Под шинелью — солдатская медаль. Под медалью взволнованное сердце.

Стукнул палочкой по пюпитру, распростер руки, и трехмерная мелодия вальса затмила офицерские глаза слезой. Замолкла музыка.

— Здорово, — заговорил Гулида. — Прямо-таки скажу: здорово! Вы в Мариинский театр пошлите, в Петрограде — там Чайковский какой-нибудь продирижирует. Всемирная слава! Лавровый венок! На концертах-митингах исполнять будут!! Так и напишите: посвящаю Кате Труфановой. Ее-то в Петрограде всякая собака знает.

Композитор отирал бледное лицо присланным в подарок носовым платком. И чуть ли не десять раз должен

был он исполнить вальс «Весенние цветы». Его на руках пронесли офицеры в собрание: чествовать.

Крепкими бревнами обшит сарай, отведенный под офицерское собрание; на бревнах рыжий мох. Широкая печь надышала в сарай жарким воздухом. Грубо обрубленные столы вытянулись вдоль стен, отодвинувшись к середине, чтобы дать место длинным и узким скамьям. К потолку, посредине сарая, железной проволокой притянута большая керосиновая лампа.

Лампа пылает желтым цветом. Огонь отскакивает от темных бутылок, вставших на столы; только мелкие осколки сверкают в горлышках. Бьет огонь в лица офицеров и желтыми звездами горит на погонах и пуговицах. Уже говор и звон встают меж стен. Дрожат, наклоняясь, бутылки, винной влагой наливая стаканы, бокалы и рюмки. И подымаются бокалы, стаканы и рюмки во здравие Кати Труфановой и композитора Дудышкина. Не все офицеры могли подняться с мест, когда дежурный по полку, поручик Таульберг, явился с докладом. Таульберг приложил руку к козырьку и отрапортовал:

— Во время дежурства в шестом стрелковом полку никаких происшествий не случилось, кроме того, что заведующий оружием Гулида присланные солдатам подарки среди офицеров распределил.

Гулида рванулся через стол к поручику.

— Шпион! Германский шпион!

Ловля ухватил его за плечи, и в рыжих руках юлил Гулида, как бесенок, залетевший с топи. В шуме и грохоте молоденький прапорщик плакал в углу, громко, навзрыд.

— Я сюда добровольцем пошел... а тут... так...

Ловля, сдав Гулиду офицерам, утешал прапорщика. Тот плакал. Ловля махнул рукой.

— Восемь атак выдержал, а разговора с этим прапором выдержать не могу.

И вдруг яростно треснуло каменное лицо:

— Во фронт! Я старше вас чином! Приказываю вам смеяться!

И еще громче крикнул полковник Будакович:

— Смирно! Господа офицеры!

И когда застыл гул на последнем, в углу, стуке табурета, командир полка обратился к Таульбергу:

— Поручик, приказываю вам отдать шашку. Я вас арестую за неприличную клевету на господ офицеров.

А у входа в собрание стоял с винтовкой на-караул дневальный, глядел на пьяных офицеров, и в спину ему дышала сыростью и туманом топь. И светловолосый мужик выглядывал из-за плеча солдата.

IV

Окно в избе, где гауптвахта, разбито. Под окном — караульщик с простреленной головой. Убежал поручик Таульберг, а куда — об этом знает в Емелистье только тот мужик, который уперся, как длинная жердь, в угол избы и поглядывает, почесывая заросшую грязным волосом грудь, на собравшихся в штаб офицеров. Молчит мужик.

К широкой печи приплюснулось золотым Георгием вниз широкое тело подпоручика Ловли. Возле печи — стол. На столе — германская каска. В дыру, сквозь которую достигла острая сталь человеческой головы, вставлена свеча. Перед свечой — полковник Будакович. Гулида, растопырив руки, выгибался — вперед, к полковнику, а голова набок.

— Я говорил! Германский шпион! Теперь увидите: немцы тут окажутся. Господ офицеров оклеветал, солдат раззадорил — и к немцам. Вы послушайте, что солдаты говорят! Офицеры, говорят, подарки попроели! А вот газетку пожалуйте. В Петрограде-то! А?

И все ближе к черно-желтому шраму пригибался Гулида.

— Дисциплина-то, какая дисциплина, когда офицера перед солдатом поносят? Не верили? Вот вам — пожалуйте.

Полковник неподвижен, как идол. Лицо, как из дерева выкроено — грубое, и на левой щеке широкий знак: война. Дрожит свеча, воскуривает фимиам идолу.

Гулида вскочил, вытянул большие часы на тоненькой серебряной цепочке.

— На станцию завтра утром... Пойти заказать двуколку. Счастливо оставаться, господин полковник.

Выбежал из избы, свернул к солдатским землянкам и, услышав голос, притих, пригнувшись к земле.

Огромная лапа фельдфебеля Троегубова гуляла над сгрудившимися во тьме стрелками.

— Посылает нам лиса нехитрая всякой таковины. Смеется из нас. Подарки только дают и сулят малым детям. Не нужны нам ни подарки, ни ласковые слова, а нам только нужна жизнь и своя родная семейства. Какой в нас будет воинский дух, если мы обижены навсегда и лишены всей жизни!

Фельдфебель Троегубов грозит огромным кулаком.

Не разгибаясь, уполз Гулида от стрелков. Пошел к гауптвахте.

Куда немец проклятый удрал?

У себя в избе разложил полевую карту, водил пальцем.

Но деревушки Качки в полевой карте не найти. Двинется человек в деревушку — и завязнет в дороге: велика и глубока топь, а узенькая гать известна только полесским жителям. Качки стали с войны дезертировым поселком.

Длинный мужик, хозяин штабной избы, увел поручика Таульберга в Качки. Навстречу вышел стрелок Федосей и сказал:

— Здравия желаем! Нашего полку прибыло. Не кончилась война? Тут пути в мир заказаны. В миру словят нас и человеческим судом расстреляют.

И даже честь отдал. И лучшую предоставил избушку.

— Живите, ваше благородие. Тут жизнь правильная. До скончания века живите. Правильные мужики в Емелистье — нас жалеют, да и девкам женихов нужно.

Постоял у двери, пока оглядывал поручик Таульберг новое свое жилище, и всплакнул:

— Немного тут нас, бедных. Забыты мы на чужедальней стороне. Отсюда одна нам только свобода, что иди служить, кровопивцев охранять, и вся наша прямая обязанность. Эх, дойдет наша горячая молитва и чистосветлая слеза, раздерем мы их проклятую кожу и отберем невинную назад свою кровь. Эх, ваше благородие!

И пошел.

В избе с поручиком Таульбергом девка. Поручику казалось: не девка это — зверь лесной. Слова выговаривает для офицерского слуха непонятные. От шеи до колен накручено на нее грязного тряпья, какого пору-

чик Таульберг в жизнь свою не видывал. И торчат из юбки ноги толщины и крепости необыкновенной.

Мужик перекрестил свою дочь и поручика, пробубнил что-то свое и ушел.

И остался поручик Таульберг жить в лесу.

Ночь заложила глаза. В голове туман. Поручик Таульберг растянулся на печи. Утром открыл глаза: рядом лежит лесная девка и глядит на него, не мигая; глаза у нее непонятные, зеленые, как вода, покрытая плесенью. И вся она в зеленой плесени, как будто сейчас родилась из лопнувшего на трясине пузыря.

Поручик Таульберг испугался. Вскочил с печи. Замахнулся:

— Чертовка!

Девка ласково тянулась к офицеру. Поручик выбежал из избы.

Стрелок Федосей сидел недалеко на пне и глядел в топь. Не встал, увидев Таульберга. Поглядел сумрачно и сказал:

— Что офицером ходишь? Тут с погонами ходить строго воспрещается. Неча дурака валять!

Ясно поручику Таульбергу: правильные люди не должны в изгнании жить. Всех изобличить нужно. Он, поручик Таульберг, изобличит.

К ночи поручик нацепил к поясу шашку и наган, в карман сунул электрический фонарь. Обернулся к женщине:

— Сейчас вернусь.

Высунулся из двери: никого. Тихо. Огоньки в избах мигают. Покружил по поляне: кругом топь, и только узенькая гать в мир ведет. И обсели поляну, как серые карлики, березки, дышат сыростью и туманом.

Уже нога поручика ступила на гать, и сучья жестко хрустнули под ногой. Но тяжелое дыхание ударило сзади в шею, рука уцепилась за плечо.

— Ты что — шпионить сюда пришел?

Поручик Таульберг обернулся. Стрелок Федосей тяжело дышал ему в лицо, и все крепче сжимали сильные пальцы плечо.

Таульберг ухватил цепкие пальцы, отстраняя стрелка.

— Ты не имеешь права меня удерживать.

Не отстают пальцы.

— У нас жизнь правильная. А ты сюда от офицеров пришел.

И с силой сорвал стрелок с плеча поручика офицерский погон. Поручик выпрямился, вздрогнув; выхватил наган, свалил пулей стрелка Федосея, и гать захрустела под его ногой.

Федосей поднялся, шатаясь. На плече взмокло красное пятно.

— Я тебе...

Но поручик Таульберг уже ничего не слышал. Зашел далеко по гати, остановился. Никого кругом — только неподвижные, на корточках, карлики. Щелкнул электрическим фонариком; свет поборолся с туманом и устал: свернулся желтым пятном в руке — сам в себя светит.

Поручик закричал в испуге — никто не откликнулся. И опять карлики убирают из-под ног сучья, ведут в трясину, кидают к слепнущим глазам больно бьющие и царапающие сучья.

Тяжело итти ночью по топи.

Скрепился офицер. Глаза не видят ничего, но слух насторожился, и нога не теряет гати. Ничего не могут сделать карлики с человеком.

К утру выбрался поручик Таульберг из болота. Сквозь туман торчат углы емелистьевских изб.

Обрадовался офицер и побежал к деревне. Приплывают знакомые избы — одна, другая...

Поручик остановился — как он в полк теперь явится? Повернул назад. Слышит: догоняет кто-то. Оглянулся. Фельдфебель Троегубов, раскидывая руками, отмахивал по полю огромные скачки.

— Стой!

А за фельдфебелем подпрыгивает круглый стрелок и тоже попискивает тонко с каждым прыжком:

— Уй-уй! Уй-уй! Братцы вы мои!

Не убежать поручику. Остановился, глянул на сорванный погон и, чуть подбежал фельдфебель — не дал ему слова сказать: полоснул Троегубова пониже шеи шашкой.

Круглый стрелок, допрыгнув, вскинул руки, да так и остался на месте, как в землю вкопанный. Из-за изб выбежал дневальный, поглядел и понесся в штаб.

А поручик Таульберг зарылся среди карликов. Жизнь—

дремучая, как лес, и страшная, как топь. Не знают люди, как жить нужно. Все неправильно. И он, поручик Таульберг, — неправильный человек. Не стоит сорванный погон человеческой жизни.

V

Полковой капельмейстер валялся на кровати.

«Хороший вальс «Весенние цветы», — думал капельмейстер, — замечательный вальс. Что в Петрограде скажут?»

Поднялся с кровати, застегнул грязную рубаху, закрыв жирное, в складках, как у женщины, тело, натянул мундир и вышел на улицу.

Мимо проскакал на гнедой лошади полковник Будакович.

— Здравия желаем, господин полковник!

Но полковник даже не оглянулся. Промелькнули мимо глаз синие рейтузы, слившиеся с желтым седлом; отмахали тяжелые гнедые бока, туго стянутые подпругой; отщелкали звонкие копыта коня.

— Куда это он?

И двинулся капельмейстер по улице. А навстречу — подпоручик Ловля. Толкнул плечом капельмейстера и не извинился.

— Господин поручик!

— Ах, это вы?

Лицо адъютанта густо поросло рыжим волосом. Пониже подбородка, вокруг шеи, толстым слоем легла грязь. Ловля говорил капельмейстеру:

— Сегодня — вы понимаете?.. Секретная бумага из штаба дивизии... Полковник на коня и — «поручик, вечером вернусь, ставьте полк на военное положение»... Вы понимаете? Отдых — и военное положение!.. А тут еще сторожевые доносят: люди вокруг деревни ходят. Солдат убит — Троегубов, фельдфебель, с поля принесли. И со всех сторон доносят: поручик Таульберг... Вы понимаете?.. Полковник ускакал — и поручик Таульберг...

И Ловля оставил недоумевающего капельмейстера. Тот ускорил шаги. Лучше всех обо всем знает Гулида. А Гулида, наверное, в околотке.

Но у самого почти околотка, откуда-то сбоку, вывернулся круглый стрелок. Стрелок всем телом налетел на капельмейстера, чуть не сшиб с ног, откачнулся, взглянул дико и понесся вдоль изб. А в руке — винтовка.

Дрожь пошла по телу капельмейстера. Подпрыгивая, пустился он к околотку. Там Гулида, только что сорвав банк, упрятывал в кошель выигранные рубли.

Капельмейстер проговорил, задыхаясь:

— В деревне... что-то...

Врач Ширмак протянул тонкую и потную руку.

— Эге! Да вы взволнованы... Уж не сочинили ли чего-нибудь новенького?

— Да нет... Полковник ускакал — и поручик Таульберг...

В этот момент невдалеке раздался выстрел. Гулида вздрогнул и выронил кошель. Серебряные рубли рассыпались по полу. Гулида ползал, дрожащими руками подбирая рубли.

Вскочил. Круглый стрелок шагнул в избу, протянул правую руку врачу. Указательный палец на руке отстрелен.

— Немец ранил, — сказал стрелок, улыбаясь глупо.

Гулида выскочил из избы; забежал во двор; вспрыгнул на обозную кобылу; крепко сжал дрожащими икрами облезлые гнедые, в яблоках, бока; руками охватил дряблую шею кобылы и, болтая локтями, пятками и головой, подкидывая тощим задом, пронесся по деревне с криком:

— Братцы! Германский шпион предал нас! Немцев с гати навел!

Из-за изб выскакивали стрелки. Рты разинуты, в глазах туман, дула винтовок торчат в воздух, посылают пули.

Офицеры сбились в избе. Немногие выскочили на улицу. Подпоручик Ловля влез на плетень, охватив рукой дерево; набрал воздуху в легкие, чтобы крикнуть: «Смирно!» И крикнул:

— Ряды вздвой!

Схватился за голову, шлепнулся наземь и уперся широкой спиной о ломающийся плетень. А мимо проскакивали стрелки.

— Отрезали! Окружили!

Стрелки на бегу спотыкались, падали, думая, что уже они убиты, вставали и снова падали, и вновь воскресали из мертвых.

Как во время великого боя набивались стрелки в полковой околоток.

Колючая фигура врача ласково изгибалась среди раненых и контуженных.

— Ты, братец, ничего не слышишь?

— Так точно, ваше благородие, ничего не слышу.

— Ах, ты...

И колючие костяшки уже бьют по лицу.

Капельмейстер дергал врача за локоть.

— Господин врач... Меня убить могут. Я не хочу.

— Оставьте!

И врач уже разглядывал коричневый нагар на пальцевом суставе стрелка.

— Самострел!

Краска просквозила на тонкой коже докторского лица. Глаза прокалывают стрелка.

Капельмейстер прижался к стене. Никто не поймет: не тела толстого жалко. А в теле — талант, дар божий. Залетит пуля в тело, убьет талант.

Врач толкнул капельмейстера:

— Не мешайте! Прошу вас убедительнейше — уходите отсюда или...

Капельмейстер отодрал тело от стены и, подталкиваемый в бок, в спину, в живот, пробрался к двери, прыгнул с крыльца и завяз ногой в канаве.

И показалось тут капельмейстеру, что он — деревенская девка, сдуру залезшая в болото.

— Ой, тошнехонько! — завопил капельмейстер тонким голоском. — Ой, девушки! Тоню!

А уже на другом конце деревни увидели гнедого коня командира полка.

Полковник Будакович вскакал в деревню, опрокинул не успевших увернуться стрелков, остановил коня возле подпоручика Ловли.

Ловля подбежал, тяжело шевеля ногами, приложил руку к козырьку — что сказать? — и отрапортовал:

— Во время дежурства в шестом стрелковом полку никаких происшествий не случилось.

И сделал ударение на «не».

VI

Все смешалось, сплелось, перепуталось в деревне Емелистье. Нет Гулиды, чтобы разъяснить. А полковник Будакович молчит. Никого не наказал. Приказал только военными кордонами окружить деревню, никого не выпускать, никого не впускать. Одному Ловле полковник рассказал все.

Рыжая фигура подпоручика вытянулась перед ним в штабе полка. Полковник Будакович постукивал по столу пальцами, а на столе — германская каска, и в дыру, сквозь которую достигла острая сталь человеческой головы, вставлена свеча.

— Вот какое дело, — говорил полковник. — Пришло грозное время. Все зависит от плана дальнейших действий, который я составлю. Я сейчас выработаю план дальнейших действий. Нижние чины довольны?

— Так точно, господин полковник, совершенно довольны.

— А офицеры? Да отвечайте же, поручик! Что вы стоите да молчите все? Я — командир полка, а вы...

— Так точно, господин полковник, — сказал Ловля.

Рука его дрожала у козырька коричневой фуражки.

— Что «так точно»? А? Что это значит — «так точно»?

Рука задрожала сильнее.

— Никак нет, господин полковник.

Командир полка вплотную придвинулся к адъютанту, Ловля вздрогнул.

— Исполните все, — сказал Будакович. — Ничего не забыть. Слышите? Ничего не забыть. Через час в собрании быть всем господам офицерам. Я доложу о плане дальнейших действий.

Выйдя из штаба, Ловля вздохнул тяжело, снял фуражку, отер пот со лба.

В собрании офицеры разговаривали негромко. Замолкли, когда вошел Ловля. Поглядели на него в ожидании. Молодой прапорщик, выступив вперед, начал, задыхаясь слегка:

— Господин поручик... Я хотел...

Сквозь рыжий волос на лице подпоручика проступила краска.

— Что вы хотели? Если вы хотели, то вы так и говорите! Вы сегодня дежурный офицер?

— Так точно, господин поручик.

Ловля произнес важно:

— Командир полка полковник Будакович приказал господам офицерам собраться здесь через час. Командир полка полковник Будакович доложит господам офицерам план дальнейших действий. Исполнить все. Слышите? Ничего не забыть. Через час.

— Слушаю-с, господин поручик... Но...

Ловля угрожающе шагнул к прапорщику.

— Но?

— Но... господин поручик... что случилось?

— Прапорщик! Будет занесено в приказ. Непослушание. Я сказал: план дальнейших действий. Через час. Вы слышите? Ничего не забыть.

И вышел. Двинулся к солдатским землянкам. Смолк говор среди стрелков. Встали медленно, отдали честь. Ловля глядел в бородатые и безбородые лица.

— Здорово, люди! Эй, ты! Баба! Честь не умеешь отдавать! Какой роты?

Круглый стрелок улыбался.

— Ты чего улыбаешься? Под винтовку! Дисциплины не знаешь!

Когда Ловля подходил к штабу полка, его догнал дежурный офицер.

— Господин поручик, сторожевые доносят: по дороге от штаба дивизии движутся войска.

— Войска? Чтобы сейчас же все офицеры были в собрании! Или нет... Или да... Да. Я сейчас...

И побежал к полковнику Будаковичу.

Лучше всех обо всем знает Гулида. А Гулиды нет. Гулида ждал полковника Будаковича в штабе дивизии. Ведь ясно сказал полковник:

— Оповещу, офицеров выберем — и назад.

На коня — и мелькнул за поворот.

Гулида, сняв погоны, похаживал возле двуколки. К генералу заявиться неудобно — у генерала дел много. В Емелистье? Но бог его знает, что сейчас там, в Емелистье!

Стрелки, проходя мимо, не отдавали чести. Гулида оглядывался вокруг нетерпеливо, хмурился, будто ждал кого-то по делу. А полковника Будаковича все нет.

Из-за поворота показалась фигура, черная, как топь. Гулида радостно взмахнул руками:

— Господин поручик! Вы?! Вы живы! Вы, конечно, знаете? Вот! Приказ! Временное правительство! Темные силы... Темные силы все будут уничтожены! Вот!

Голова, свороченная набок, трясется. Руки гуляют вокруг поручика Таульберга, не прикасаясь: на шинели, на лице, на руках поручика — черная мокрая грязь. Сапоги — как пни — толстые, короткие. Не раз падал поручик, пробираясь сквозь топь.

— Господин поручик! Да вы же первый в полку революционер! Теперь вы командир полка! Обязательно командир полка! — И Гулида замахал руками: — И не отказывайтесь! Как же не командир! Командир! Да что тут откладывать? Идемте к генералу! Обязательно идемте!

— Да что — оставьте! — случилось? Я не...

Но Гулида уже тащил поручика Таульберга в штаб дивизии.

— Теперь все старое кончено. Новая жизнь! Вот! Прокламация, — пожалуйте! И генерал тоже... Уж если генерал — и прокламация... Идемте! А солдаты — совершенно спокойно. То есть, я вам скажу, только честь не отдают. А честь — что? Офицеру не честь нужна, а боеспособность армии. Идемте! А полковнику, как приедет, скажем: сдавайте, мол, свои обязанности более энергичному и...

И Гулида утащил поручика Таульберга в штаб дивизии.

— Важное дело! Экстренное! Из шестого стрелкового!

И думал, подталкивая Таульберга:

«Убьют стрелки шпиона немецкого! Как пить дать, убьют!»

Поручик Таульберг послан был в Емелистье с ротой и уже приближался к деревне.

А в собрании уже наклонялись офицерские головы, подставляя ухо ко рту и рот к уху соседа. Ухо ко рту, рот к уху — и уже громче говорят офицеры. Качаются ордена, стучат шашки, где-то в углу даже звякнули шпоры. И все смолкло, когда появился полковник Будакович.

Ловля крикнул:

— Смирно! Господа офицеры!

Полковник Будакович оглядел всех внимательно, прошел к скамье, уселся, вытащил из кармана бумагу. Шум затих.

— Господа офицеры, план дальнейших действий...

Тут полковник Будакович, вздрогнув сильно, сунул бумагу назад в карман, встал и вышел из собрания.

Перед собранием — стрелки. Вылезли из-за изб на улицу. Тяжело, будто из-под земли, глядели на полковника, сливались в одно дыхание, тяжелое, подземное. И дыхание все тяжелее и дружнее — вот-вот опрокинут землю и вырвутся.

Полковник Будакович взмахнул рукой:

— Господа стрелки!

Стихло дыхание.

— Господа солдаты!

Стрелки слушали. Полковник Будакович оглядел толпу молча и спросил негромко:

— Кто сказал: курица?

И прибавил:

— Курица — не птица. Прапорщик — не офицер.

Повернул круто и пошел по улице. Стрелки расступались перед ним, сливаясь за его спиной в одно дыхание, и двинулись вслед. А за спинами стрелков, с другого конца деревни, вливались солдаты из штаба дивизии. С правого фланга шагал поручик Таульберг.

Полковник, выйдя из избы, остановился. Поглядел. В лицо сыростью и туманом дышала топь. Тяжелая фигура стрелка Федосея приближалась к деревне.

Полковник обернулся, вынул шашку.

— Господа солдаты! — сказал он. — Ваша очередь спасать Россию! Господа солдаты!

Все лицо полковника подернулось тут назад, к ушам. Складки прошли от глаз и ото рта. Рот расширился, сверкнули белые острые зубы. Шашка, со свистом резнув воздух, ушла далеко в тело стоявшего впереди стрелка.

VII

Все, что шумит и гудит сейчас по деревне, — все это будет тут, на желтой нотной бумаге, которая дрожит в руках у капельмейстера. Гнилые зубы обкусывают карандаш. Китель расстегнут, ворот рубашки тоже.

Только бы не помешали. Только бы на полчаса оставили одного в избе. И будет готов русский революционный гимн. Быстрые шаги застучали к двери. Капельмейстер с досадой бросил карандаш. Подпоручик Ловля вбежал в избу. Лицо у него прыгало, и дрожащие губы мешали правильно выговаривать слова. Ловля говорил:

— Ся... сяда... ядут... Ба... Бадакович...

И полез под кровать.

Гимн будет лучше, гораздо лучше, чем вальс «Весенние цветы». И не дают капельмейстеру сочинить гимн.

Дверь с грохотом сорвалась с петель. За дверью — штык, за штыком — дуло, приклад и серая шинель солдата. За стрелками — еще стрелки.

Штык мелькнул мимо капельмейстера.

— Где адъютант?

— Там, — отвечал капельмейстер шопотом, прижимая к широкой груди нотную бумагу. — Там.

И указал под кровать. Ловля выскочил, закрыл голову руками, выставив вперед локти, и ринулся к двери. Прорвался на крыльцо, соскочил — и в сарай.

Таульберг без погон, черный, стоял на дворе. Не остановить людей. Никто не поймет его. Все неправильно.

Солдаты, топоча сапожищами, пролетали мимо Таульберга в сарай, куда забился адъютант Ловля. Таульберг услышал визг, как будто в сарае резали поросенка. Все глуше визг, и вот — поросенок зарезан. Стрелки вылезли из сарая. Таульберг, шатаясь, пошел со двора. У выхода, на гнедом коне полковника, — стрелок Федосей. Стрелки гоняются за офицерами. Один крикнул Федосею:

— Капельдудку в сарае зарезали.

— Обязательно, — отвечал Федосей.

И дернулся с лошади к Таульбергу.

— Шпион офицерский!

Таульберг вздрогнул, завидев Федосея, забежал во двор, вытягивая из тугой кобуры наган. Вытянул, оглянулся дико, приложил дуло к виску и дернул торопливо курок.

А через дрожащее еще тело, опрокидывая все на пути, вырвалась на улицу жирная масса капельмейстера. Ки-

тель клочьями болтался на плечах. Голова всклокочена. К груди капельмейстер прижимал нотную бумагу.

Остановился, взмахнул перед багровым лицом нотной бумагой.

— Господа! Не убивайте! Не о себе прошу! Погодите! Завтра убейте, через час убейте! Гимн! Русский революционный гимн! Не нужно!

Штыки окружили капельмейстера, и в истыканном остриями круге кричал капельмейстер, помахивая нотной бумагой над всклокоченной головой:

— Братцы! Не нужно. Ей-богу, не нужно! Кого убиваете? Гимн!

И разомкнулся круг.

VIII

За деревней — камень. На камне — стрелок Федосей. Туман подползает к деревне Емелистье, а над туманом ползет медленное небо.

Стрелки подбирают на улице, в избах, по дворам, везде трупы офицеров шестого стрелкового полка и складывают тут, перед стрелком Федосеем.

Убрана деревня. Лежат перед стрелком Федосеем, выставив вперед подошвы, полковник Будакович, поручик Таульберг, подпоручик Ловля и еще многие. Но Гулиды нет. Гулида не лежит перед стрелком Федосеем.

Он явился в Емелистье к вечеру, когда утихли стрелки, — заюлил, закружился:

— Ура! Новая жизнь! Я вам всем теперь такого вина достану!.. Праздник! Обязательно праздник! Капельмейстер гимн сочинит! И в Петроград пошлем: «шестой стрелковый присоединяется». Долой, мол, офицеров! Долой немцев! Да здравствуют народные вожди!

И теперь он стоит за широкой спиной стрелка Федосея.

Устали стрелки. Вышли с лопатами за деревню — рыть могилу. Но тяжко копать после дневной работы вязкую землю.

Стрелок Федосей поднялся с камня:

— В колодец их всех!

Стрелки обрадовались.

— Правильно!

И дружно приступили к работе. Один — за ноги, другой — за голову, колодец недалеко, — бух! И нет офицера. Очищается земля перед стрелком Федосеем.

Круглый стрелок указал на полковника Будаковича:

— И этого в колодец?

— В колодец, — отвечал стрелок Федосей.

И ногами вверх бултыхнулся в колодец полковник Будакович вслед за другими.

1922

КОПЫТО КОНЯ

Снаряд врылся в землю и вздохнул, чтобы, как кит, вырыгнуть к небу песок и траву, чтобы в черном дыму дрожало раскаленное железо. Земля треснула, и Мацко взлетел на воздух.

В тот момент, когда тело его отделилось от земли, он увидел себя со стороны: вот он, распластав руки, режет воздух; голова втянута в плечи, лицо напряглось, глаза выпучены, подогнутые колени защищают живот.

Мацко перекувырнулся и упал на спину. Пена, дрожа, обрывалась с тяжелой узды испуганного его коня на лицо, на гимнастерку ему и рядом — на желтую сохлую траву. И вот — неба нету, ничего нету, над лицом — поросшее длинным рыжим волосом копыто коня. Копыто медленно опускается и, конечно, размозжит череп.

Мацко зажмурил глаза и закричал так, будто ему помазали кишку иодом. Копыто тяжело опустилось ему на грудь, и Мацко явственно слышал: грудь у него хрустнула, как дерево от мороза.

Конь, перешагнув через его тело, понесся по полю, взрывая копытами землю, шарахаясь от снарядов, останавливаясь, поворачивая то назад, то вправо, то влево и безумея от страха и ярости.

Мацко, боясь дотронуться до разбитой груди, кричал.

Вестовой схватил его, приподнял и кинул в пулеметную одноколку. Возница хлестнул вожжами по дрожащим бокам лошади, и одноколка запрыгала по вспаханному полю.

Офицер кричал вознице:

— Остановись! сбрось! не могу!

Но одноколка мчалась сквозь дым и грохот, перескакивала с межи на межу, кренилась и примчала офицера в лес.

И только в лесу Мацко потерял, наконец, сознание. Очнулся на поляне под деревом и простонал:

— Доктора...

Доктор не приходил, и офицер повторил:

— Я, кажется, ясно просил доктора.

Никто не ответил.

По поляне шагал поручик Сущевский, а в стороне врастяжку лежали стрелки. Других офицеров, кроме поручика, Мацко не увидел. Вестового среди стрелков тоже не было: убит, должно быть.

Поручик Сущевский восклицал, шагая:

— Изменники! Подлецы! Сволочи!

Стрелки молчали, и глаза у них дымились злобой, как кручонки махрой.

— Поручик, — сказал Мацко, — я не могу тронуться с места...

— Хотите оставаться с ними? Я ухожу.

— Почему?

— Потому что они изменники и подлецы.

Мацко сцепил зубы и, не выпуская стона, которым наполнилось тело, встал. И когда встал, стон вырвался, но Мацко досадливо спрятал его снова глубоко в сердце.

Все тело стонало: ноги, руки и грудь. Главное—грудь. Там, наверное, ни ребер, ни ключиц — одни осколки. Осколки рвут кожу, углами торчат всюду. Все изломано и перебито. Над головой — голубой осколок неба. Деревья торчат острыми ветвями в воздух, и режут слух острые слова поручика.

— Я ухожу.

Широкую спину уходящего поручика догоняют колючие взгляды стрелков. Мацко вздрогнул: взоры стрелков уже врезываются ему в мясо, рвут.

— Поручик, я с вами!

Сущевский остановился. Он кажется большим, как гора.

— Идемте.

— Поручик, помогите, не оставляйте меня.

Одноколка стоит в стороне, уткнулась оглоблями в землю: спит.

— На одноколке бы...

Возница, тот самый, который домчал Мацко в лес, сказал злобно:

— Посмей только... Ишь, нашелся... Наше небось.

По лесу каждый шаг для Мацко — верста. Корни хватают за ноги; пни вырастают из земли; ветви рвут зеленую гимнастерку, желтые штаны, лиловую кожу на лице; воздух меж стволов оплетен паутиной. Все это для того, чтобы Мацко упал.

Мацко не падал.

Только бы не стонать. С каждым стоном из тела уходит сила. Сцепить зубы и двигать ногами вперед, вперед.

Если корень — нужно поднять ногу повыше; если пень — обойти. Какой большой и темный лес! Долго ли итти? Поручик шагал, опустив голову. Обернулся вдруг:

— Хорошо еще, что не убили и оружия не отобрали. Могли и это.

И снова пошел.

Мацко в ответ только улыбнулся, и улыбка, дергая мускулы, долго и мучительно стыла на губах, пока не слетела, наконец, со стоном.

— Вам больно?

Мацко, остановившись, кивнул головой. Поручик стоял перед ним большой и сильный, как гора. Конечно, он сейчас подымет Мацко огромными своими неизломанными руками и понесет.

Поручик Сущевский повернулся и пошел дальше. Мацко постоял, ожидая. Где же руки, которые понесут его? Нет рук.

— П...по...

Поручик исчез меж темных стволов, и тело Мацко от страха задрожало мелкой дрожью. Он заторопился, подымая ногу и перекидывая ее через корень. Зачем столько корней и пней и деревьев?

Все цепляется, рвет, душит. И осколки бьются и колют в груди.

Сжав кулаки, Мацко двинулся быстрей. Вот широкая спина Сущевского. Он стоит и ждет, развернув полевую карту.

— Вы не можете скорей? Нам далеко, версты три еще до ближайшей деревни. Там наши.

Пока он разглядывал полевую карту, Мацко не двигался, наслаждаясь тем, что он может стоять неподвижно, может быть, даже сесть. Поручик свернул полевую карту. Мацко, чтоб хоть полминуты еще не двигаться, разжал губы и пропустил вопрос:

— А... а как... зовется деревня?

— Батрашкино.

Мацко обдумывал, какой бы еще вопрос задать. Но темные волны бились в голову, шумели в ушах и застилали зрение. И упорный глаз увидел: поручик Сущевский уходит.

— А... тут... нет дороги?

Поручик, обернувшись, бросил:

— По дороге опасно. Разъезды.

Мацко, скрепившись, пробирался вслед за поручиком.

Осколки бьют в грудь — и от них эта дрожь вокруг, и наплывающая тьма, и рожи, усмехающиеся с ветвей.

Рухнула гора, и он, осколок, катится во тьму, туман и боль. Шатается и царапается все вокруг. Быстрей, быстрей, — вниз — сквозь тьму, туман и боль.

И все оборвалось вдруг, так неожиданно, что Мацко упал ничком и закричал от страха и оттого еще, что грудь его задребезжала, и по телу прошлась тысяча ножей, полосуя мясо.

Увидел на рукаве гимнастерки темнокрасный сок и стих: кровь. Значит, конец.

Но это была черника.

Мацко лежал на поляне.

Поляна обросла кустами крупной черники, и меж гроздьев черной ягоды белели, качаясь от теплого ветра, ромашки.

Поручик Сущевский опустился в траву, и черничный сок брызнул ему на китель и штаны. Он рвал чернику и горстями пихал в рот.

— Нужно итти дальше, — сказал он наконец.

Мацко лежал на животе перед ним.

— Я не могу.

— Вставайте, еще немного.

— Не могу.

— Сделайте над собой усилие.

— Не могу.

И Мацко глядел на поручика в ожидании. Конечно, он сейчас возьмет его на руки и понесет. Сущевский сказал:

— Не могу я вас нести. Я сам еле двигаюсь. Двое суток не жрал.

— Вы... еле...

— А вы что думали? Железный я, что ли?

— Врешь.

— Что врешь?

Нужно объяснить: ведь у поручика тело не изломано. Если он, Мацко, прошел столько, когда у него не грудь, а осколки, когда... Но говорить трудно. Можно только повторять бессмысленно:

— Врешь.

Поручик Сущевский ел чернику, пачкая темнокрасным соком губы.

— Встаньте или оставайтесь здесь. Подберут. Я из деревни пришлю.

— Врешь.

— Что врешь?

— Все врешь.

Поручик Сущевский вскипел вдруг.

— Я из-за тебя, сволочь этакая, сколько времени потерял! Разве без тебя так медленно шел бы? Я б давно в деревне кашу жрал.

— Врешь.

— Вот добью тебя, — так...

Поручик Сущевский повернул спину и пошел. Он — не гора: человек. И от него — тьма, туман и боль. Куда ушел. Зачем? Оба — и Мацко, и Сущевский — люди.

Мацко с трудом повернулся на левый бок и, не спуская глаз с поручика, вытянул из кобуры револьвер. Прицелился, опустил дуло и снова поднял. Дышал он тяжело и трудно.

Поручик Сущевский, пройдя поляну, у опушки, шагах в двенадцати от Мацко, остановился, будто решив что-то.

«Добьет», — подумал Мацко и спустил курок.

Сущевский охнул так, как охает, споткнувшись, полнокровный мужчина. Нога у него зацепилась за ногу, он пошатнулся, но, сжав губы, остался на ногах.

— Сволочь, — хрипнул он.

Струйка крови, смывая черный сок, потянулась из чуть раскрывшихся полных губ по толстому подбородку, к шее, за ворот кителя.

Мацко выстрелил вторично. Поручик Сущевский, качнувшись, упал на колени, руками удержался о землю. Так стоял на четвереньках и дышал громко и хрипло, как простуженная лошадь.

Мацко спускал курок уже разряженного револьвера, целя туда, где ворочалось грузное тело поручика Сущевского, и не мог остановиться.

Потом отбросил револьвер и долго полз по поляне к поручику. Тот лежал ничком, подвернув правую руку под живот. На левой руке, откинутой в раздавленную чернику, рукав зеленого кителя задрался, и на широкой полной кисти золотилась густая и мягкая шерсть.

Мацко склонился над ним. Лицо у Мацко — белое, точно тертое мелом, и на белом еще чернее кажутся проступившие на щеках, подбородке и над верхней, чуть вздернутой к носу губой волосы.

Поручик Сущевский перевернулся на спину так неожиданно, что Мацко вздрогнул, отодвигаясь. Поручик глянул на Мацко и прошелестел толстыми губами что-то неслышное. Он думал, что Мацко понял его слова:

— Сволочь, я для того остановился, чтобы взять тебя на руки и понести, сукин ты сын...

И, подумав это, поручик Сущевский умер.

Мацко от усилий и напряжения уткнулся в живот Сущевскому. Он очнулся в санитарной двуколке. Двуколка стояла на месте.

Он думал, что очнулся впервые после того, как взлетел на воздух, кинутый тяжело дышащим снарядом. Он помнил только поросшее длинным рыжим волосом копыто коня и простонал:

— Доктора...

Холщевые полотна впереди раздвинулись, пропустив с козел обросшее бородой и прыщами лицо. Вот и вся голова всунулась внутрь, и на фуражке Мацко увидел красную звезду.

Санитар поглядел на Мацко и сказал:

— Ишь, дитё несчастное.

1922

Н. Тихонов

ВИЛЛА «МЕЧТА»

Шестьдесят голых всадников проехали к морю мимо старухи. Старуха отвернулась. Гусарские фуражки были заломлены набекрень. Впереди ехал голый офицер, за ним голый трубач с трубой на перевязи.

Старуха прошла мимо пустого, брошенного отеля. Семьдесят дверей хлопали на разные голоса. В нем распоряжался ветер.

С моря нарастал шум сосен, высоких и прямых сосен лифляндского побережья. Если вслушаться в этот шум, то из-за него то приближалось, то удалялось некое бурчанье. Это разрасталась артиллерийская дуэль где-то около Шлока.

Старуха все шла. Из всех садов на нее удивленно, как на беспорядок, смотрели лошади. Во всем обширном курорте жили кавалеристы.

Старуха открыла облупленную калитку со сломанным замком и остановилась, качая головой. Широкий двор зарос маленькой мягкой травой. По клумбам сада бродили две лошади. Гусар команды связи Пантелеев, не торопясь, рубил на дрова кушетку красного дерева с истерзанным нутром, со споротой обивкой.

Увидев старуху, он прекратил свое ленивое занятие и спросил:

— Что надо, мамаша?

— Я не мамаша, — ответила старуха, нахмурившись, и надменно блеснула узкими выцветшими глазами. — Я мадам Гойер.

Она вынула из черного ридикюля вчетверо сложенную бумажку. Пантелеев долго читал ее.

В этой бумажке было написано, что штаб фронта разрешил ей, мадам Гойер, проехать в этот курорт, расположенный в двадцати километрах от передовой линии, чтобы она имела возможность осмотреть принадлежащую ей виллу «Мечта».

— Что ж, пройдемте, — сказал Пантелеев, кончив чтение, отложил топор и зашагал к дому.

Она открыла дверь в зал и отшатнулась. Синее облако махорочного дыма набежало на нее. В зале из самых разных сочетаний мебели, остатков кресел, столиков, кушеток были сооружены постели. На этих постелях лежали свободные от нарядов гусары. Все они курили. Старуха стояла, задыхаясь в дыму, и страшными глазами обводила зал.

Гусары от неожиданности сели на своих адских ложах. Как приведение из черного шелка, стояла надменная, разгневанная старуха: нехватало клюки, чтобы она застучала о пол. Да, от мебели в вилле «Мечта» осталось немного.

Десять по-разному раздетых мужчин захохотали, как один. Старуха, трясясь от негодования, ударила дверью и стала подниматься в библиотеку.

Кучи заплесневевших переплетов возвышались посреди комнаты. Полки исчезли. Крысы грызли книги. Они разбежались неохотно. Старуха энергично наклонилась и рукой в лайковой перчатке начала рыться в книгах. Она рылась долго, она не могла найти того, что хотела.

— Куда девались книги? — спросила она, закашляв.

Пантелеев подмигнул ей, как будто приглашал ее на танец.

— Господа офицеры, — сказал он, — ходили тут, почитать себе выбирали... на память... Те, что поинтересней...

Она увидела, что иные книги обожжены, как будто из них хотели складывать костер.

Пантелеев поймал ее взгляд.

— Зол наш брат, — сказал он, — вины его нет. Читать он тоже обучен, возьмется, а тут все немецкое, английское, французское. Барское все чтение. Ну, от голода, что читать нечего, и рванет...

Большая крыса вышла из угла. Старуха пошла к двери. На кухне сидел рыжий Титов, чистил картофель

и длинные, узкие коричневые ленты шелухи бросал через плечо к ее ногам. Старуха стала синей от злости. Она положила руку на дверь в комнату, где жил Курмель.

Пантелеев сказал тихо: «Не надо его тревожить», — он избегал называть старуху барыней.

— Это моя любимая комната, — сказала старуха.

Дверь открылась. Солнечный свет заливал три больших зеркала, играл на причудливых завилинах хрустальных фужеров, на китайской эмали ваз...

Курмель стащил к себе в комнату все это великолепие, но сам он был не менее великолепен. Он горел в жару. Лицо его, точно налитое клюквенным морсом, качалось над подушкой. Он тихо подвывал. На румынском фронте получил он странное ранение. Пуля пробила руку. Рану сочли легкой, но время от времени рука чернела от страшной боли. Он катался по кровати, не помня себя.

Старуха увидела под зеркалом кучу безделушек: фарфоровых мосек и слонов, чашки и мундштуки. Она потянулась за ними с жадностью, поразившей Пантелеева.

И тогда Курмель вскочил в разорванной рубахе, в синих гусарских рейтузах с желтыми леями, босиком, маленький, черноволосый, с блуждающими глазами.

— Вон! — закричал он, наступая на старуху.

Пантелеев не успел перехватить его.

Старуха сказала, почернев, смотря на него сверху вниз:

— Я в моем доме. Это все — мое. И никто не может препятствовать мне. Молчать!..

Казалось, она иссякла. Пот выступил на ее лбу, невысоком и желтом.

Курмель секунду смотрел невидящими глазами. Ураган ярости подбросил его истощенное болью тело.

— Молчать? — закричал он. — Как молчать? Да знаешь ли ты, — кричал он старухе, не помня себя, — я четыре раза был на комиссии, и меня не отпускают. У меня рука гниет заживо, а ты тут... Я три года...

Он задохся, затем прыгнул к кровати, выхватил шашку из ножен и ударил по зеркалу. Водопад сверкающих осколков упал на кровать. Он ударил с грохотом по другому. Старуха стояла, прислонившись к косяку. Курмель

прыгал между кроватью и окном и рушил все. Уже вазы, разбитые, валялись под столом, уже от божков остались толстые, с острыми краями кусочки, уже слонов и мосек обратил он в пыль, он не пощадил бы и окна, но припадок боли охватил его, как пламя. Он застонал, выронил шашку и упал головой на свернутую шинель. Шашка лежала у ног старухи.

Пантелеев тихо поднял ее, провел зачем-то по клинку рукой. На руке остался след от масла. Он вложил шашку в ножны, повернулся к женщине и взял ее за локоть. Старуха отвела его руку и вышла из комнаты.

— Защитники отечества, — сказала она ядовито посинелыми губами, — воры, пьяницы, дикари, так вы защищаете нас... Хороша армия... Это вам не пройдет, голубчик... Я буду жаловаться сегодня же, я буду жаловаться... Ваши фамилии все будут у меня в памяти... Я буду жаловаться...

Пантелеев не отвечал ей. Он шел впереди. Старуха еле поспевала за ним.

— Жаловаться, — повторяла она, как заклинание, — жаловаться...

Точно только сейчас до сознания Пантелеева дошло, что она говорит. Он взялся за ручку маленькой, узкой двери и остановился.

— Жаловаться, — грустно сказал он, — что же, можно и жаловаться. Вы еще тут не посмотрели, барыня...— Первый раз он назвал ее: «барыня».

Он открыл дверь. Они вошли. Она не могла сразу понять, в чем дело. Перед ней сияли небо и зелень, как будто она уже стояла на дворе, а не в комнате. Она видела лошадь, бродящую по саду, растоптанные клумбы, траву и не могла отдать себе отчет. Потом она поняла. Весь угол дома был оторван. Могучая рука оторвала его и превратила в мусор.

Два дня назад в курорт пришел артиллерийский обоз. Немцы узнали о нем с самой быстрой точностью, но они все же опоздали. Обоз ушел ночью, а на рассвете налетели и бомбили по всем направлениям. Одна из этих бомб оторвала угол дачи и тяжело ранила спавшего гусара Кудрина.

Врач посмотрел его и не велел трогать раненого.

Старуха обернулась на хрип. В противоположном

углу, на груде сбитых потников, с седлом под головой умирал Кудрин.

Шинель закрывала его до пояса. Руки его ползали по ее воротнику, точно искали, на месте ли петлицы. Из оскаленного рта выбегала струйка пены. Глаза его были устремлены в пролом.

Старуха с остановившимися глазами тяжело дышала.

— Жаловаться, что ж... — сказал тихо Пантелеев. — А кому мы будем жаловаться?..

Старуха села на подоконник, завороженная смертельной борьбой. Кудрин начал растягиваться. Ему нехватало дыхания. Он протянул руки назад, оперся на них, и страшный поток брани вместе с потоками крови вылетел из его горла. Пантелеев бросился к нему.

Старуха пробежала через дом и, прыгая через две ступеньки, уже бежала по саду. Она не знала, куда бежать. Она повернула в другую сторону, где был совсем разломан забор, где была площадка ветеринарного госпиталя. Старуха чуть не сбила с ног вахмистра Гладких. Он начищал сапоги до того нестерпимого блеска, когда сапоги кажутся белыми. Он шел на свидание к Марте, единственной девушке, оставшейся в курорте, за которую боролись все драгуны и гусары. Сегодня была его очередь.

Увидев старуху, он захохотал искренним смехом здорового человека.

— Эх, разобидели ее гусары, — сказал он громко. — Что значит, давно мяса не видели...

Старуха в ужасе обежала конскую тушу, оклеенную черными струями мух.

— Ишь, кокетка! — сказал вахмистр, принимаясь снова за щетку.

1954

ЛЕГКИЙ ЗАВТРАК

Ржавое утро. Хлюпающая под ногами красноватая вода болота. «Шарманщики» — стрелки и гусары-связисты — сматывают телефонную проволоку. Сизые лица неспавших людей как будто покрыты коркой от усталости.

Облака так тяжелы, что кажется — они вот-вот упадут на наши плечи. Окопы первой линии давно брошены. На второй слышны взрывы. Это подрывники кончают главнейшие блиндажи.

В который раз отдается сигнал отступления! Сколько уже проигранных сражений лежит позади! И каждый раз такое же утро в поле или в лесу, переполненное лихорадкой паники. Последние пехотинцы проходят в сторону военной дороги, единственной сносной дороги, представляющей гать из толстых бревен. Раздирая грохотом уши, мчатся орудия, двуколки, снарядные ящики.

Спешенные гусары подтягиваются к поляне со всех сторон. Коноводы начинают нервничать. Поляна уже кишит озябшими, промокшими людьми, бродящими по щиколотку в воде, но приказа «по коням» нет. Со злорадным шипеньем рвется шрапнель. На нее никто не обращает внимания: надоело. Шрапнели так однообразны, точно все время рвется одна и та же.

Задумчивый огонек пробегает по сараям, огромным сараям с сеном. Сено вспыхивает, как вата, пропитанная бензином. Мы окружены летящими в небо вспышками желтого огня. Вся поляна пылает. Сараи, как сигнальные вышки, пылают один за другим. Где-то подожжен артиллерийский склад. С тоскливым, правильным треском взрываются пулеметные ленты, взвиваются, хрустя, снаряды. Зеленые молнии пронизывают густые тучи над лесом. Все кончается. Надо уходить. Но приказа «по коням» нет.

Посредине поляны стоит наскоро сколоченный длинный стол. На пни вокруг него положены доски. На своеобразных этих скамейках сидят человек шесть. Ближе к лесу чернеет большой штабной автомобиль.

Раздувая светлые пушистые усы, полковник в расстегнутом френче моется. Вестовой льет ему на руки из котелка красноватую воду, пахнущую уксусом. Полковой поп в брезентовом дождевике озябшими толстыми пальцами тщетно чиркает спичками. Спички отсырели. Адъютант пишет на краю стола. Командиры эскадронов, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, — они не любят и не умеют ходить (то ли дело — конь), — подходят. Бинокли висят у них на груди.

Тяжелая турецкая сабля командира четвертого эскадрона прыгает по мокрой глине, как гигантский угорь.

Командир садится за стол так спокойно, будто он на даче. Эскадронные стоят перед ним, смутные, тяжелые, настороженные.

— С богом, — говорит он, по очереди пожимая им руки.

Все приходит в движение.

— По коням! . .

Долгожданный приказ исполняется с удовольствием.

Уходят первый, второй, третий эскадроны. Уходит команда связи.

Командиру подают легкий завтрак. Сараи горят из последних сил. Дым закрывает поляну. Куски его ветер несет к лесу и развешивает на сучьях. Командир ест яичницу, заткнув салфетку за воротник и разостлав ее на коленях. Поп, оглядываясь на выстрелы, курит. Шрапнели все чаще осыпают деревья.

— Оставьте мне пулеметную команду, — говорит полковник. — Пусть начинают приготовлять дорогу. Я проскочу.

Командир четвертого эскадрона идет к нам.

— Как ты думаешь, кто это на опушке? — спрашиваю я приятеля.

Приятель смотрит, сложив щитком ладонь.

— Не знаю.

— Это — немцы, — говорю я, — честное слово, немцы.

Приятель смотрит на лес, потом на завтракающего полковника. Он хмуро подмигивает мне. И тут раздается команда:

— По коням! . . Садись! . .

Когда мы сворачиваем к лесу, я оглядываюсь. По дальней опушке леса бродят одинокие черные человечки, то накапливаясь в маленькие кучки, то разбегаясь и припадая за кусты.

Черные, удушливые волны дыма идут справа. Подрывники обливают деревянную дорогу смолой, и тяжелые бревна начинают загораться.

Полковник пьет маленькими глотками вкусный сладкий чай.

— Немцы? — говорит, вопросительно скосив глаза, адъютант.

Полковник, чмокая и отдувая щеки, пожимает плечами. Может быть, и немцы.

Начальник пулеметной команды спрашивает разрешения снять пару пулеметов с вьюков для прикрытия.

— Не стоит, — говорит полковник, — сейчас тронемся.

Пулеметная команда стоит, как на плацу, ее отовсюду видно.

Первый убитый валится мягко, не выпуская из рук повода вьючной лошади. Второй как бы выпрыгивает из седла, и струя крови малиновой змеей бежит из разорванного горла. Раненые стонут, корчась в седлах.

— Снять пулеметы! Пулеметы к бою! — кричит начальник пулеметной команды, не оглядываясь на полковника.

Скрипят вьючные ремни. Льюисы стоят на земле, похожие на стрекоз с оторванными крыльями. Теперь уже простым глазом видно, что немецкие цепи идут по лесу со всех сторон. Пуля ударяет в стол. Поп бежит к автомобилю, высоко задирая рясу. Из-под рясы видны здоровенные ноги, каким позавидовал бы любой вахмистр.

Шофер выводит машину, серый от испуга. Раненые и убитые продолжают падать.

...Эскадроны отошли уже далеко. Лес сомкнулся за нами. Мы остановились на минуту. И тогда из-за поворота дороги вылетел всадник, махая обнаженной шашкой, крича:

— Все назад!.. Все назад!.. Командир в плену!..

Эскадронные поворачивают коней. С легким визгом сверкают шашки. Вся лавина четырех эскадронов устремилась обратно. Навстречу нам летела отдельными всадниками пулеметная команда. У иного по лицу текла кровь, у иного болталась рука, люди, отплевываясь, проносились мимо. Ярость охватила нас. Мы с большим удовольствием последовали бы за пулеметной командой, но это было невозможно. Мы даже не знали, что мы встретим — картечь в упор или пулеметную дробь.

Густые клубы дыма загораживали дорогу. Передние начали сдерживать лошадей. Понемногу огромная колонна, колыхаясь и звеня, перешла на рысь, потому что в облаках зловонного дыма показался огромный штабной автомобиль.

Шофер с рассеченным лбом гнал машину. Полковник стоял на подножке, держась за борт. Салфетка торчала из его кармана. Поп, навалившись на подушки, щелкал зубами. Адъютант размахивал маузером.

За автомобилем мчались растерзанные всадники пулеметной команды. Мы пропустили автомобиль и мрачно последовали за ним. Через километр у моста полковник сошел с подножки, и ему дали лошадь. Он, отфыркиваясь, вскочил в седло...

Вечером этого дня у нашего костра присел сменившийся из штаба полка Кудрин. Мы разбирали утреннее отступление.

— Сволочь-то наша, — сказал Кудрин, — осталась верна себе. За что погубил людей? Зря он придумал легкий завтрак? Не зря. У него соображения свои. Известно, какие...

Мы не отвечали ничего. Мы сидели, налитые беспомощной злобой.

Всем был давно известен порядок полковника. Надо было, чтобы в донесении стояло:

«Отступили с боем, войдя в соприкосновение с противником, отступили с потерями».

Полковник любил отступать по трупам своих людей. И в этот вечер он, дуя в свои пушистые усы и отчеканивая слова, диктовал адъютанту:

— «Пять убитых, тяжело раненых четыре, пропавших без вести три, легко раненых шесть...» — Добавьте... «разрывными пулями», — говорил он с особой выразительной удовлетворенностью.

1934

Павел Евстафьев

АФОНЬКА НАГОЙ

Все случилось внезапно.

Разве мы могли предполагать, — я, вольноопределяющийся гусарского полка, друг Афоньки, и сам Афонька, — что эти часы, много раз считанные мною позже, были началом и концом Афонькиной беды.

Мы не знали, что утром восьмого июля беда замкнулась в треугольник, в вершине которого встал несравненный скакун Афоньки — Фараон, а два угла основания заняли Афонька и полковник Кузнецов.

И уже на другой день, разорвав треугольник, беда накрыла черным своим крылом Афоньку.

Началось все с несчастной нашей скачки.

Я избрал для скачки выработанную жокеями американскую посадку на сильно укороченных стременах.

Всю ночь и утро тщательно взвешивая шансы на победу, я с замирающим сердцем остановился на многообещающих выводах этой науки высшей кавалерийской школы.

При такой посадке колени всадника подаются вперед и прижимаются к лопаткам лошади, корпус также уходит вперед, и у лошади совершенно освобождается задняя половина тела.

Это было выгодно для Колхиды, но заключало многие неудобства для меня. Сидеть в седле можно было только тогда, когда лошадь стоит или двигается шагом, но на рыси или в галопе всадник обязательно вылезает из седла и держится коленями, шлюзом и поводьями. Сесть в седло во время скачки хотя бы на мгновенье — преступление, которое может кончиться плачевно: как

бы ни был легок всадник, но спина лошади во время скачки принять толчок не может.

Я знал это и не мог сдержать частые удары изболевшегося сердца. Я смотрел на тонкие ноги Колхиды и, содрогаясь, видел, как со сломанной спиной пытается подняться с земли Фру-Фру Вронского.

— Ты не будешь жить, Павел, если... — бормотал я, укорачивая стремена, и теплая волна нежности к моей Колхиде поднималась в груди, терпким комом застревала в горле.

— Фокусы! — с непобедимой уверенностью в своем коне презрительно сказал Афонька, указывая глазами на мои стремена. — Я тебя обскакаю...

— Мы посмотрим, Афонька, — ответил я, сдерживая ярость в сердце. — Не хвались, в город едучи... — И, наклонившись, отстегнул шпоры, спрятав их в кобуру.

— Будем садиться, Афоня?

Он двумя затяжками докурил папиросу, щелчком бросил окурок в канаву, перетянул туже кушак.

— Поехала бабушка к венцу! — весело прокричал он, взял стремя, вскочил в седло. Я сел без стремени.

Перед нами стлалась гладь полированного немецкого шоссе. Его убийственная прямота была убедительна, как сверкающий палаш. По сторонам за канавами лежало пустынное зелено-желтое поле, пересеченное слева до канавы плетнем, и только вдали, за четыре версты по дороге, темнел фольварк, бросивший в небо острую иглу флагштока.

Мы разобрали поводья.

— Докуда ехать будем? — Афонька повернул ко мне победное лицо.

— До плетня доедем шагом, а от него до фольварка скакать... Идет?

— Поехали, — сказал он вдруг серьезно. — Держись, Пашка.

Мы тронули коней и шагом доехали до плетня.

— Я сосчитаю до трех, Афоня, — сказал я, останавливая лошадь и задрожав, — тогда...

— Считай, — тихо ответил Нагой.

Я медленно стал считать, подавая вперед весь корпус, и почувствовал, как заволновалась Колхида.

— Раз... Два... Три...

Дикий, пронзительный крик Афоньки оглушил меня.

Я увидел, как сбоку поднялась темная масса и на секунду застыла в воздухе.

Испуганный криком, горячий и необыкновенно нервный, Фараон прыгнул вперед и сделал «свечку». Затем все исчезло.

Колхида неслась, словно отделившись от земли, неслышно касаясь ее ногами.

Всем телом отдаваясь бешеной инерции скачки, я перестал видеть и слышать. Колени застыли в судорожном обхвате. На секунды все внимание ушло на то, чтобы не отстать телом от неуловимых движений Колхиды. Внизу, почти у самых глаз, вызывая головокружение, со стремительной быстротой, с быстротой смерча, неслась назад белая лента шоссе.

Около никого не было.

Равномерно с увеличивающейся силой свистел в уши ветер, и трепетала под щекой атласная кожа на шее Колхиды. Должно быть прошли лишь секунды, а казалось, я несусь вперед целые часы, слившись с телом лошади в одну массу.

Я не смел оглянуться. Сладкая дрожь восторга уверенности лихорадочно била тело, туманила голову.

...Внезапно неровный скок сзади тихо, настойчиво вошел в уши.

«Афонька... Справился с конем...»

Пространство таяло. Но скок сзади нарастал и, сразу надвинувшись, почувствовался спиной болезненно-остро. Тогда, в ритм движений Колхиды, я стал набирать и отдавать повод. Неуловимые кошачьи движения Колхиды участились. Буйно свистел ветер, не освежая, а заволакивая легкой серой пеленой сознание...

Вдруг справа неожиданно и страшно, наравне с моим стременем, выплыла вытянутая голова Фараона. На миг я увидел прижатые к голове уши, полуоскаленные зубы с закушенным мундштуком.

Он как будто смеялся.

И в тот же миг, поймав, когда Колхида была в сборе, я с отчаянием ударил ее хлыстом.

Голова сбоку пропала.

С каждой секундой нарастая в размерах, словно загораживая дорогу, бежал навстречу фольварк. Теперь я не мог оторвать глаз от его иглы, вонзенной в голубое небо.

«...Сейчас... Сейчас... Сейчас, милая», — шептал я Колхиде.

Но тут снова услышал я, совсем рядом, резкий шум вылетающего из ноздрей Фараона воздуха.

Ничего не сознавая, подняв хлыст, я с яростью стал сечь по голове Колхиду. Но Колхида не усилила бега,— она шла из последних сил, часто и коротко храпя.

Тогда похолодевшим сердцем я понял, что все пропало.

В следующую секунду голова Фараона сравнялась с головой Колхиды, и напряженная спина Афоньки возникла перед моими глазами.

Мы проскочили фольварк.

Разрывая рот железом, я далеко за фольварком едва остановил запененную, обезумевшую Колхиду.

Фараон все еще уносил боровшегося с ним Афоньку...

Днем в эскадроне к нам подошел вахмистр. Когда его огромная грузная фигура появилась из-за угла сарая, лицо Афоньки стало замкнутым, упрямым.

Он сказал вполголоса:

— Это к нам он, Паша. Наябедил ему шкура про гонку...

«Шкура» — унтер-офицер нашего взвода Беркетов, предмет неутолимой ненависти Афоньки — был сверхсрочной службы солдат, переведенный в полк из конного жандармского эскадрона.

Вахмистр остановился в двух шагах от нас и, широко расставив монументальные ноги, несколько скосил глаза. Как всегда, он молчал минуту, верхняя губа начинала ходить вверх и вниз (он рассматривал усы), глаза делались круглыми, пронзительными, волосатая шея наливалась кровью.

— По приказу командира, — сказал он басом, — Смирнов на два часа под шашку, а ты, молодец (это Афоньке), принимай не в очередь дежурство у Емельчука, а после поговорим. Поговорим еще... — сказал

он с ударением. И, помолчав, пробормотал: — Что наделали, а?

Мы молчали. Я смотрел на закованные в блестящую лакированную кожу огромные его ноги и думал о мертвом гвардейце-кирасире императора Вильгельма. Прекрасные рыцарские сапоги, снятые с убитого гвардейца, были предметом зависти всего эскадрона.

Медленно раскачиваясь, удалялась от нас широкая спина вахмистра, и в нежном мелодичном звоне жестоких зубчатых шпор слышал я голос кирасира.

Я взглянул на Афоньку и удивился происшедшей в нем перемене: он потемнел лицом и почти враждебно смотрел на меня. Он чуждался меня теперь, Афонька, с первого дня боевой нашей жизни деливший со мной все свои задушевные думы.

Я понял: между нами в этот день стеной встала моя привилегия — звание вольноопределяющегося — «студента», не раз спасавшее меня от серьезных наказаний. Звание это было моей защитной одеждой, Афонька же был голый, нагой.

Я вспомнил, как однажды, шутя, сказал ему:

— А ты, Афоня, из царского рода; у русского царя Ивана Грозного жена была из Нагих, бояр, — видно, родня тебе.

Но Афонька не захотел понять моей шутки.

— Нет, — сказал он задумчиво и серьезно. — Мы все Нагие, — вся деревня одной фамилии. Бедные очень. Босота несчастная. Оттого и зовут так.

Мы молча разошлись.

Я встал под шашку на «лобном» месте, в трех шагах от конца коновязи. Я думал об угрозе вахмистра и не верил в нее. Хотя «равнять» коней запрещалось — в глазах начальства люди были дешевле лошадей, не было вреда коням от скачки; на фронте затишье; около месяца мы стояли на одном месте, высылали разведки, изредка перестреливались с немцами. И кто же не знал, как Афонька берег своего коня? Даже скудную солдатскую порцию сахара он отдавал своему любимцу. Нет, дело было не в скачке: гордого, самолюбивого Афоньку не любили «аристократы» эскадрона: вахмистр, фуражир, фельдшер, Беркетов. Они рады были привязаться к случаю. По своей жандармской привычке Бер-

кетов донес на него. Но я надеялся: лихой Афонька был незаменим в разведке. «Нет, ерунда, ничего не будет. Вахмистр постращал только».

. . . . . .

Из командирского дома вышли два офицера: полковник Кузнецов и ротмистр барон Нольде. Сумасшедший полковник (говорили, что он ставил под шашку свою жену) был прикомандирован к нашему полку и, в ожидании вакансии полкового командира, командовал дивизионом. Вакансии долго не было, и все знали: лучше не попадаться ему на глаза. Офицеры прошли в эскадрон, не заметив меня. Это — удача. Сухой, высокий ротмистр, в широком английского покроя френче, старательно умерял свой длинный шаг.

. . . . . .

— Подойди сюда, мерзавец, — негромко сказал полковник, и его маленькая лопаткой бородка сладострастно задрожала.

Оправляя на ходу гимнастерку, вытянувшись, Афонька подходил ровным, как на марше, шагом. В двух шагах от полковника он остановился. С лица медленно отливала кровь, лицо становилось безжизненным — белая маска, на ней горели только глаза, острые, напряженные.

— Ближе, — сказал полковник, не повышая голоса.

Афонька шагнул, взял под козырек (пальцы у виска дрожали), стал ровно. В тот же момент голова его мотнулась от удара.

Тогда, не спуская с полковника горящих глаз, Афонька сделал невозможное в его положении нижнего чина: он резко отдернул от козырька руку и опустил ее. Он не хотел отдавать чести полковнику. Это была невиданная дерзость в императорской гвардии.

Полковник побагровел.

— Руку подними, мерзавец! Честь!

Я видел, как ротмистр, отступив на шаг в сторону, шарил рукой по кобуре револьвера.

Афонька медлил. Он порывисто дышал. Несколько секунд тянулись бесконечно долго. Но вот рука его дрогнула, мучительно-медленно стала подниматься, остановилась на полдороге, потом опять поползла кверху, и снова, как только она остановилась у виска, голова

Афоньки мотнулась от удара. Рука резко упала вдоль тела.

Меня била дрожь. Я смотрел, как конвульсивно сжимались в кулак и разжимались пальцы этой руки. Мой друг Афонька боролся с собой страшно. Он стоял у последней черты.

— Руку подними, холуй, — хрипло сказал полковник, как и я, наблюдая за рукой сумасшедшими глазами, и вдруг закричал высоко и тонко, так что лошади в эскадроне подняли торчком уши:

— Расстреляю! Ты знаешь ли, мать твою! Ты знаешь: вот ротмистр и еще один офицер, трое—три голоса — и решение: в пять минут... полевым судом... расстрелять... Руку, холуй!..

Изо рта Афоньки, пробивая дорожку по подбородку, бежала тоненькая струйка крови. Она пробивалась на шею, затекала за воротник.

— Александр Федорович... — тихо сказал ротмистр.

Полковник нервно вздрогнул плечами и, сдержав движение, круто повернувшись, пошел прочь к командирскому дому.

Не снимая руки с револьвера, ротмистр пошел вслед за ним.

Афонька остался один. Он шатался. Изуродованное его лицо было страшно синеватой бледностью. С минуту он смотрел на уходящих офицеров.

— Я не холуй, — с усилием сказал он вспухшими, разбитыми губами. — Нет... баре...

Афоньку не арестовали тотчас.

В полку был обычай — древний и тайный: уничтожать виновного руками неприятеля. Как ветхозаветный Давид послал Урия в опасное место сражения, чтобы погубить его, — в нашем полку посылали виновного в разведку. В разведке виновный всегда ехал дозорным, далеко впереди разъезда. Если было особенное счастье и он приезжал обратно невредимым, то из второй или третьей разведки уже не возвращался. Так был убит гусар первого взвода Сангайло на другой же день по прибытии бригады из Польши в Курляндию. Его пустили одного на заставу немцев. Назад прискакал его конь со сбитым на

бок седлом, а он, сожженный пулями, остался лежать у палисада фольварка.

Но беда сторожила, беда не ждала.

Вечером она снова настигла Афоньку, обрушив еще более тяжкий удар на его смятенную голову.

На вечерней уборке, когда Афонька тщательно протирал сырой суконкой спину Фараона, к нему как-то боком, виновато, подошел взводный.

Афонька сразу испуганно повернулся к нему, — он почувствовал беду. И хотя взводный заговорил о ковке тоном безразличным и небрежным, Афонька побледнел и, не отвечая, смотрел на него широко раскрытыми глазами.

— Его высокоблагородие, командир дивизиона берет Фараона под седло, — сказал, наконец, взводный. — А ты возьми заводского Текинца, — добавил он примирительно. — Конь тоже хороший, Афоня, ты не кручинься.

И все-таки этой беды Афонька не ждал.

— Что? — придушенным голосом спросил он и шагнул к взводному. Мы с Роговым схватили его за руки.

— Но... Но... Ты легче, парень, — забормотал взводный, отступая. — Смотри-ка... Можно и до командира...

Но Афонька вдруг стал жалок, — я никогда не видел его таким. Он растерянно затоптался на месте, потом бросился к Фараону.

— Не отдам коня. Мой он конь... Не отдам... Что же ты это? — заговорил он быстро, в беспамятстве.

Он обнял Фараона за шею, прижался к ней изуродованной щекой.

— Оставь, Афоня, брось. Я пойду, буду просить. Он отдаст, — бессмысленно говорил я, снимая его руки с шеи Фараона.

К моему удивлению Афонька не сопротивлялся, — он дрожал и позволил увести себя к шалашу.

— Ты ляг, Афоня. Брось. Выручим... Ну, поездит он день, два — отдаст, — говорил я, сам не веря своим словам. — Ты ляг. А Текинец тоже хороший конь...

Он лег на солому вниз лицом и замер.

За ужином я принес ему котелок с борщом, поставил рядом. Но борщ остыл нетронутым.

Афонька, не шевелясь, лежал до ночи.

Фараона увели.

На площадке перед командирским домом полковник учил его ходить испанским шагом. Когда полковник легкими ударами хлыста бил под сгибом ноги, Фараон вытягивал ее вперед и плавно ставил на землю. Потом другую. Он танцовал, как балерина. Он понимал ненужную науку. Он понимал все... Это был удивительный конь. Ослепительные качества скакунов всех пород, от арабских до английских, воплотились в его огненном теле.

В оскорбленной жизни Афоньки был он единственной радостью.

Ночью Афонька ушел из шалаша.

Я подождал, пока затихли его шаги, и тоже вышел наружу.

Эскадрон спал. На соломе, покрытой попонами, в островерхих шалашах из хвороста и прямо под высоким темным небом спали гусары. Сбоку каждого — седло со сложенными на нем накрест винтовкой и шашкой. Длинным частоколом выстроились вдоль забора пики.

Бредит во сне рослый Демидов, вытянув ноги через дорожку к коновязи. Снится ему, должно быть, деревня...

Дремлют стоя и лежат на земле лошади на свободно отпущенных во всю длину с коновязи чумбурах.

Покачиваясь на сухих стройных ногах, чутко спит кровная Колхида, моя золотистая красавица. А в конце взвода, на крылечке рабочей избы, нахохлившись ночной птицей, сидит дневальный, — тоже дремлет.

Зачаровала, усыпила всех ласковая таинственная ночь... Висит над лесом месяц. Рассматривает он древние владения грозного Ливонского ордена.

Многое изменилось... Он, вечный бледный соглядатай, помнит... Не вчера ли здесь по лесным дорогам, с надменными лицами посвятивших жизнь богу, ездили суровые монахи-меченосцы? Скрывали закованное в железо тело длинные плащи, с нашитыми на груди черными крестами. Не вчера ли стройными рядами проезжали искусные в бою шведские рейтары и словно собравшиеся на

бал пышно-нарядные польские рыцари? Не вчера ли тяжелыми сапогами топтали эти лесные дороги солдаты Шереметьева и проносилась запряженная цугом карета владетельного герцога? В золоте герба переливался тогда месяц. Давно ли было?

Неотступно крадется сбоку тень, — провожает меня к озеру, передразнивает движения. Светлая полоса бежит по дороге, — в серебряные ризы одевает деревья. Но не дошла она до мельницы — и в черной сутане фанатиком-иезуитом стоит она на пригорке. Застыли цепкие крыльяруки...

Качается и дробится в озере месяц. Лежит оно, застывшее в низких тенистых берегах.

Со всех сторон обступили его тесно деревья. Ни один звук не нарушает заколдованной ночной тишины...

У озера Афоньки не было. Где же он? Всегда он любил приходить сюда один, скрытный Афонька.

Ах, конечно, там он, где и Фараон...

Хитро присматривается месяц. Прямая и строгая бежит обратно тень.

Ломается тень по деревьям аллей. Блеснула античная колоннада баронского дома. Эскадрон.

Черная фигура прижалась к решетчатому забору у командирского дома. Там, за забором, стоят офицерские лошади.

— Афоня, что ты здесь делаешь?

— Уйди, Пашка!

Утро началось обычно. Мы встали на уборку. Седлали коней семеро. Среди них — Афонька. Они уезжали сменять заставу из гусар третьего взвода. Афонька не был назначен в заставу, — вызвался сам. Впервые уезжал без меня Афонька и со старшим смены Беркетовым... Потом уехал на проездку полковник с ротмистром. Полковник на Фараоне. А через час с заставы прискакал в эскадрон бледный, непохожий на себя Рогов. Путаясь ногами, он прошел к командиру эскадрона. И было то, чего не бывало никогда на позициях, вблизи неприятеля: труба пропела тревогу. В пешем строю бежали мы к заставе оцеплять лес.

Афонька бежал с заставы.

Вот как это случилось.

Сменив пост на заставе, Беркетов прежде всего послал на крышу халупы дозорного. Выбор пал на Афоньку. Беркетов рад был хотя бы на время избавиться от него. Рад был Афонька. Ему становилось невыносимо тяжело среди людей. Он взял у сменного дозорного бинокль и с винтовкой полез по короткой лестнице на крышу.

По привычке он осмотрелся. Сразу за заставой влево раскинулось ржаное поле; светлозеленая его полоса замыкалась вдали плотной стеной леса. За лесом были немецкие заставы. Вправо из ржи выбегала дорога в баронское имение; она разветвлялась в полуверсте от заставы, и один отросток ее уходил в дальнюю аллею парка.

У сарая гусары возились около лошадей. Не расседлывая, они ослабили у седел подпруги, освободили лошадям рты от железа, засыпали в торбы овес.

— Афоня, куда ты засунул торбу, курицын сын? — крикнул Афоньке Кириллин, оправлявший его коня. — Ищу, ищу... В шапку, что ли, сыпать овес-то?

Афонька ответил не сразу. Торба лежала под скатанной, притороченной к седлу шинелью, но не хотелось заботиться о постылом Текинце. Фараона не было — не хотелось отвечать. Тяжко... Со вчерашнего дня тяжко, невыносимо...

— Нету. Потерял как будто, — хрипло сказал он, не оборачиваясь. — Сыпь так. — И, не отвечая больше на вопросы словоохотливого Кириллина, он лег на живот, положив горячую голову на приклад винтовки. В виски стучало. «Погоди, разберемся как-нибудь», шептал он, прислушиваясь и отвечая чему-то, камнем ворочавшемуся у сердца.

Ворочалась обида...

Гусары ушли в халупу. Лошади мирно жевали овес. Припекало солнце. И небо было как синька.

...Нет, это была не обида. Обид было много. Разве Афонька считал их? В сердце ворочалась темная Афонькина жизнь. Вот она...

. . . . . .

...Отдаленный мерный топот поднял Афонькину горячую, затуманенную голову.

На дороге показались два всадника. Они ехали крупной рысью, одновременно поднимаясь над седлами.

Несмотря на то, что всадники были еще далеко, Афонька сразу признал в правой лошади Фараона. Сердце вдруг забилось неровными толчками, потом провалилось куда-то, как будто в груди образовалась пустота. Не веря себе, не желая поверить, он схватил бинокль. В стеклах у самых глаз, словно в воздухе, плыл Фараон. Ведя бинокль направо, за ходом лошади, Афонька судорожно пересохшими губами ловил воздух, в глазах темнело...

С усилием оторвав от глаз бинокль, задыхаясь, он прижался похолодевшим лбом к дереву приклада. Он боролся. Непреодолимая сила властно звала вниз, на землю. Она поставила его на колени, заставила доползти до лестницы. Раскачиваясь, как пьяный, он поднялся во весь рост и оглянулся на дорогу. Всадники приближались к повороту в боковую аллею. Тогда, чувствуя необыкновенную точность в движениях, Афонька в два прыжка сбежал по лестнице, на бегу бросился на одно колено у угла сарая и раз за разом, быстро отбрасывая от плеча винтовку, защелкал затвором.

Что было дальше — он не видел. Он не видел, как Фараон, сделав несколько неверных прыжков, грохнулся у боковой аллеи, придавив своим телом ногу полковника. Почти обезумев, ничего не сознавая, Афонька обернулся на шум сзади и в упор выстрелил в грудь подбежавшего Беркетова. Без звука, с вытянутыми вперед руками, унтер-офицер ткнулся головой к его ногам. Рядом, серой пропотевшей подкладкой кверху, упала фуражка.

Не спуская застывших глаз с кучки гусар, с винтовкой подмышкой, Афонька пятился в рожь.

Первым опомнился и выстрелил Рогов, в последний момент дернув вверх ствол винтовки. Еще минуту беспорядочно стреляли гусары, но Афонька не отвечал, как уж извивался он в волнистом море ржи, постоянно меняя направление.

Мы не нашли Афоньку. Мы не искали его. Офицеров с нами не было. Редкой цепью шли мы по лесу и молились в душе, чтобы он не попался нам навстречу.

Потом вернулись.

В двуколке в полусидячем положении застыло тело Беркетова. Голова с жесткими с проседью волосами завалилась на грудь; вислые усы стрелками ткнулись в большую черную рану с пороховым нагаром. Он был убит наповал.

Двуколка поехала с нами.

У входа в боковую аллею кучка людей столпилась около чего-то, лежащего на земле.

Я подошел.

На левом боку со стреноженными задними ногами лежал Фараон. Два гусара, навалившись на бок, прижимали его к земле; третий за ремни недоуздка сдерживал нервно вздрагивающую голову коня. Около бедра передней ноги сидел на корточках эскадронный фельдшер Гурьев и каким-то странным инструментом копался в ране. За тонкой, влажной от боли кожей Фараона, как рябь в реке, бились мелкой дрожью мускулы; из красных, неестественно расширенных ноздрей с шумом вылетал воздух, большая мутная слеза выкатилась из глаза.

Бедный конь порывисто возил по земле задними ногами, пытаясь встать, а державший за недоуздок голову гусар, отвернувшись от раны, жалко сморщив лицо, ласковым голосом уговаривал его.

Рана сначала была невелика, но фельдшер, ковыряясь в ней лопаткой, оказавшейся самодельным ножом, сделал ее ужасной. Кровавое обнаженное мясо трепетало и дымилось.

Удовлетворенно сопя сквозь рыжие усы, довольный общим вниманием, фельдшер потянулся было зачем-то к лежавшей у головы коня парусиновой сумке с красным крестом, но раздумал.

— Ничего тут теперя не поделаешь, — сказал он, для чего-то сгибая в колене раненую ногу коня. — Готов конь... Пропал конь... Теперя он — никуда. В переплет костей ударило... — И, как бы в подтверждение поставленного диагноза, он покопался кровавым пальцем в ране, отчего измученный, весь мокрый от испарины Фараон конвульсивно задергался.

— Так и доложь, — сказал фельдшер, поднимая вверх свое толстое бабье лицо с крошечным носом и обводя всех торжествующими глазами. — Стрелять надо коня.

В переплет костей ударило, — подтвердил он, с видимым удовольствием, и стал вытирать руки о гриву Фараона.

Не сказав ни слова, взводный пошел к командиру.

Мы, не шевелясь, стояли вокруг лежащего коня, только фельдшер самодовольно, с противным чмоканьем, обсасывал свои рыжие усы, да дрожала вытянутая в воздухе нога Фараона. Нестерпимо было смотреть на него, надо было уйти, но уйти я не мог.

Шпоры взводного звенели где-то близко.

— Ну? — спросил фельдшер и, зная вперед, что ему скажут, отстегнул кобуру револьвера.

Взводный издали махнул рукой.

— Подожди! — с отчаянием закричал я фельдшеру и побежал прочь, зажимая уши.

Два удара вошли в них сквозь ладони.

А вечером, в мертвой тишине, застыв в сдвоенных рядах, эскадрон слушал командира.

Командир говорил сначала тихо, потом кричал. Гибким стэком яростно хлестал он по тонкому голенищу сапога.

Эскадрон слушал. Сто двадцать человек внимательно наблюдали, как пузырилась пена на губах командира, как метался вверх и вниз стэк.

Сто двадцать простых людей знали, что тебя нет сейчас на правом фланге эскадрона, Афоня.

Но ненависть твоя уже передалась им. Они молчали. Это молчанье было глухим и тяжелым. И мог ли понять бледный, надрывающий горло крикун всю глубину этого молчания?

Июль 1934

ОТСТУПЛЕНИЕ

...По-осеннему низко и сумрачно бегут тучи. С моря гонит их ветер. Траурным флагом мечется черный дым над крышей.

А мы, голодные и грязные, не спавшие двое суток, с серыми, как пыль, лицами, сгрудились на маленьком дворе фольварка.

Второй день уходим мы лесами, дорогами, тропинками, спешиваясь и отбиваясь, — и вновь на конях, — от обнаглевшей немецкой конницы.

Второй день мнем мы высокую густую рожь, вытаптываем яровые, уходя на восток.

На всех дорогах, в полях, у своих домов молча смотрят на нас латыши и качают печальными головами.

Не любят латыши баронов. Молчаливая и упорная, вековая ненависть застыла в их угловатых крепких фигурах.

В нас они видели избавителей. Трогательно-радушно разворачивали свое добро: совали в кобуры зарезанных кур, булки, папиросы. Надеялись: не вернутся к ним бароны, легче станет жить батраку...

Победителей и избавителей видели они в нас. Бедные люди во всех видят избавителей. Так было раньше.

Затравленным волком бежит теперь эскадрон, и качают головами латыши.

Мы не смотрим на их уныло маячащие фигуры, мы отворачиваемся и все дальше уходим на восток.

Кирасиры полка королевы Луизы и померанские драгуны, словно состязаясь, кто первый затравит, многочисленными разъездами наседают на истомленный эскадрон. Они стайками кружатся около, наскакивают, жалят и, не давая отдыха, гонят его ночью и днем.

Но их не боимся мы. Дважды огрызнулся эскадрон: лихой и неутомимый Молчанов, шедший с полувзводом в арьергарде, привел из зарвавшихся разъездов двух раненых кирасиров и невредимого драгуна.

Не их боимся мы, — боимся другого, и оно пришло.

Покрываемый полосами черного дыма, как траурным флагом, и вновь отчетливо маячащий на фоне серых рваных туч, сидящий у самой трубы дозорным — закричал тревожно Бондаренко:

— Люди на дороге, ваше-скородие!.. Много... Едут... До нас едут...

И оно пришло: в этом несчастном фольварке, к вечеру второго дня, настигли нас велосипедисты и немецкая пехота, посаженная в автомобили.

А мы, кучей, без заставы стояли во дворе маленького фольварка.

Прокричал Бондаренко и уставился воспаленными глазами в лицо штабс-ротмистра Скарского. Полторы сотни глаз следят за этим лицом. Есть еще дисциплина. Но ходит по двору штабс-ротмистр, сердито топорщатся по-английски подстриженные усы, двое суток мотается он на седле вместе с эскадроном (полчаса не дадут отдохнуть, черти!), а тут еще отвечай за эскадрон (вызвали командира в штаб полка, и он временно командует). Да и сколько ложных тревог было...

— У вас все неприятель, — бормочет он.

И неизвестно кому:

— Полчаса не дадут отдохнуть, черти!

Но снова закричал Бондаренко. На каркающего ворона похож он на крыше.

— Еще люди, ваш-скородие!.. На машинах сзади... Близко...

Быстро пошел от крылечка к штабс-ротмистру поручик Полянский, — не слышно, о чем говорят они...

— По коням! Садись!

Кубарем скатился Бондаренко с крыши. Бросились от сарая смотревшие на дорогу.

Но уже запели над головами пули, — пока защищают нас от велосипедистов постройки.

Стоит на крыльце приземистый хозяин, стиснув зубы; ходят желваки на скулах. По лицу видно, как хочется сказать ему: «Да уезжайте вы скорее».

Снова команда: спешиться, передав лошадей коноводам, — командует штабс-ротмистр. Но неуверенно звучит его голос.

Да и поздно. Близко подскочили велосипедисты, как в конном строю, — в каждой тройке бросили боковые среднему велосипеды, развернулись в цепь за дорогу по полю и с колена открыли беглый огонь по фольварку. А с тыла живой петлей старается захлестнуть фольварк пехота.

Мечется над головами дым, жалобно и зловеще сверлят воздух пули.

Не все спешились, лишь половина, и многие вновь садятся, настороженным ухом поймали нотки растерянности в голосе ротмистра. Ослабела натянутая струна дисциплины.

Петлей захлестнула нас с тыла пехота. Один выход на дорогу, а там вдоль дороги густо сеют пулями велосипедисты.

— Садись! — командует снова Скарский.

Бросились к коням, но не успели сесть спешенные.

Завизжала раненая лошадь, шилом кольнула ее в ногу пуля. Сбивая строй, бросилась она со двора к выходу.

И, как по сигналу, в промежуток между сараями, опрокидывая и давя спешенных, рванулся на дорогу эскадрон.

Заметались испуганные кони без всадников и в смертной тоске закричали опрокинутые.

Лежит, закрывая локтем голову, в середине прохода Демидов. Одно и то же слово кричит:

— Братцы, братцы, братцы...

Прыгают через лежащих кони, попадают под яростный огонь велосипедистов, закидываются на дыбы и сбрасывают всадников.

За мостиком, у самой канавы, зажимая раненый бок рукой, хрипло ругаясь, старается подняться с земли и вновь падает Молчанов. Мелькнуло его рябое, бледное и потное лицо с расширенными от боли зрачками и с замазанной пылью щекой.

А по дороге на длинных кривых ногах кавалериста неумело бежит Скарский (без коня остался он, лопнула дисциплина: спасает свою единственную жизнь, — другой ведь не будет, — умчавшийся с его лошадью вестовой).

Не стало деревянной самоуверенности, — до конца съели ее пули, жалко барахтается штабс-ротмистр, и не добежать ему до поворота... Но нет, добежит, — есть ведь счастье, а может быть что другое... Видел я — перехватил несущуюся без седока лошадь Ухов и подал ее Скарскому. Ухватился за холку штабс-ротмистр и не может сесть, срывается нога со стремени, беспомощно топчется он на месте под пулями (без стремени мог садиться на ученьи).

Слез Ухов, помог сесть. И, доведя ударами коня до безумия, двумя скачками обошел нас штабс-ротмистр и скрылся за поворотом.

Ниже дорога за поворотом, над головами поют пули, но нельзя остановить скачку — на стальных конях будет догонять враг...

Как нерадивый мужик просыпает из дырявого мешка зерно, полновесным зерном — трупами — усеял до поворота дорогу эскадрон.

. . . . . .

. . . Темно совсем, а видно: как острова в море, разбросаны по небу лохматые тучи, — движущиеся острова, все еще гонит их злобный ветер.

На секунды освещает дорогу вырвавшийся из их объятий месяц, скалит он свои блестящие зубы, оскалит и скроется. А сзади, на черной дороге, — жуть. Только проедешь — и за два шага назад мрачно и загадочно. И тревожно: что поднимается там сзади и, может быть, сейчас ударит? Вот за этим поворотом?

Но лучше эта дорога, чем никакой. Измотались мы по лощинам, лесам и глухим тропинкам втроем: Ухов, я и трубач.

Иногда далеко, иногда совсем близко слышны винтовочные выстрелы и таканье пулеметов.

Устали кони, исхудали за последнюю скачку, клочьями ложится белая пена на дорогу, — но не думаем мы об отдыхе.

Ночь. Ночью нельзя останавливаться. Знаем мы: по следам по этой же дороге настигает враг. Все слышится шум и топот — обманывает усталое ухо.

Мы ушли от смерти.

Ах, сколько раз слышал я немудреные рассказы о ней здесь, на фронте, сколько раз читал о ней в книгах и не мог никогда ясно почувствовать ее. А теперь знаю, что нельзя сделать этого ни умом, ни воображением. Врут книги, и не умеет рассказать человеческий язык. О ней может рассказать только твое тело, когда оно тянется к жизни, к солнцу, тело только почувствует и расскажет, как оно не хочет умирать.

Я снова ушел от смерти. Который раз за эти дни пощадили пули? Их было много, и смерть несла каждая. И каким сразу выросшим я чувствую себя. Выросшим, постаревшим и мудрым.

Это сделала смерть. Я ее видел, я ясно почувствовал ее незабываемую остроту.

Нельзя останавливаться, а как хочется лечь на дорогу и не двигаться дальше. . . Заснуть бы, укрывшись шинелью.

*

Холодно. Рвет злобно ветер. Чаще спотыкается лошадь (никогда не спотыкалась моя прежняя золотистая красавица Колхида). Насмешливый месяц пугает ее, освещает камни у канавы, и не знаешь — камень лежит или человек. Сколько людей смотрят сейчас на этот месяц с разными думами? Дома из окна угловой комнаты смотрели и мы... Тогда он спокойно плыл над садом...

Ах, как хочется спать! Нельзя, я знаю... А дремать в седле я не умею...

— Что говоришь ты, Ухов?

— Говорю, что ушли мы теперя... Думаю, не нагонит... Вместях нам надо держаться, — трое-то отстреляемся скорей, в случае чего...

Больше уважать стал меня этот угрюмый мужик с последней моей разведки с Баховым, — все кажется мне, что приглядывается он к чему-то во мне, а может быть это смерть — мы ее вместе видели — равняет и сближает...

Оба мы защищаем родину.

Впрочем, не знаю, что защищает Ухов — все свое что-то думает он...

Спросил он меня тогда: за что воюем? И мое туманное объяснение, чувствовал я, было неубедительно.

— Что, Ухов?

— Вздохнуть надо дать коням... Слазь, Паш...

Да, давно надо. Хорошо итти пешком, — занемели в седле ноги. Иногда завидуешь пехоте: вот идут, гораздо больше устаешь на лошади, чем думают.

Конь Ухова ранен, пуля скользнула по боку и — наверное, это рикошет — отворотила целый тонкий лоскут величиною в ладонь.

Латыши дали серого полотна, он запеленал своего гнедого кругом корпуса и все же не остановил кровь — набухло к животу, и в этом месте полотно кажется черным.

Слабеет конь. Ранили его за штабс-ротмистра, спасал его Ухов у фольварка, и пришлось задержаться под пулями. Жалеет коня Ухов, все разговаривает с ним...

Спиралью завиты всегда черные усы трубача, а сейчас один ус размотался, торчит стрелкой, и похож трубач в темноте на филина, и голос как у филина:

— Вот так текали... И сколько народу кладут зря, а все эта цапля, — ходит, не слушает, когда говорят... Сам-то утек, небось. И чего ты старался-то для него, Ухов? Ужо попадет ему от командира-то за эскадрон...

И хрипит дальше, он всегда хрипит:

— Много пропало наших... Вот Демидов...

Но неприятно думать о пропавших, и сердится Ухов:

— После поговорим... Не тяни волынку. Ехать надо...

Светлеть начинает дорога.

Визгнула над головами веселая пуля. Какой-то всадник, саженях в двухстах впереди нас, согнувшись к шее лошади, в несколько прыжков скрылся за следующим поворотом. Мелькнули, как одетые в чулки, белые до колен ноги лошади.

— Да ведь это наш Бондаренко, ей-бо, его конь. Один в эскадроне с такой отметиной. Это он нас за немцев принял, сучий кот. Чуть не убил, а?

— Бондаренко, Бондаренко, он, не опамятовался, видно, еще, — подтвердил и трубач.

— Лупит же он сейчас, и душа в пятках... Вот спужал, чорт! И весь эскадрон сейчас кой-где волочится... Не соберешь. Видно, в Туккуме стретим.

Погасли последние звездочки. Много они видели за эту ночь. Опять стала серой дорога. За поворотом вьется она без конца, и не видно жилья...

Ах, как хочется спать!

В Туккуме через два дня собрался эскадрон.

Приезжали растерянные, потом развеселились.

Многие без фуражек, на головах самое неожиданное: Чернов в маленькой дамской шляпке корзиночкой, розовые выцветшие ленты закручены вокруг тульи. А Кременчук в руке на отлете держал (стыдно было ехать городом) допотопный рыжий котелок с огромными полями. Вечером он плясал гопака в котелке, надетом на затылок.

Завтра уходим дальше...

1928

Борис Лавренев

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОШИБКА

Война есть продолжение политики иными средствами.

Клаузевиц.

Дипломатия выше стратегии.

Энгельс.

1

Рейд Александрия.[1]

11 ч. 43 мин. Дежурным полицейским унтер-офицером замечен по левому борту, у иллюминаторов офицерских кают, каик с двумя феллахами, по подозрению в намерении покражи вещей через иллюминаторы посредством удочек. При обыске таковых удочек не обнаружено.

11 ч. 48 м. Сигнал адмирала: — 2Х; АМЗ; КНП; ММД; — ТРБ; ДВЖ; ИСИ; 18; 30; ХФ; ВТВ.

12 ч. 33 мин. Вызван с берега катер портовой полиции для отвода на буксире каика и сдачи феллахов в полицейский портовой пост.

12 ч. 52 мин. Арестованные сданы на катер.

---

[1] Выписка из вахтенного журнала британского крейсера «Warrior» от 29 июля 1914 г. Расшифровка сигналов по морскому сигнальному коду: 1) Всему отряду приготовиться к съемке. На походе иметь дежурные орудия заряженными, подвахтенным спать одетыми. При встрече с немецкими кораблями салют производить только в ответ на таковой с немецкой стороны. Сниматься в 18.30, выходя с рейда по ордеру. Дивизиону эсминцев выйти в походное охранение. 2) Адмирал вызывает на борт командиров всех кораблей к 16 часам.

14 ч. 40 мин. Офицеры приглашены в салон адмирала на экстренное совещание.

15 ч. 09 мин. Сигнал адмирала: КМК; УБВ; РСГ.

15 ч. 42 мин. К правому трапу подан командирский вельбот».

«Дорогая Сириль.

Пишу вам невероятно наспех: сию минуту катер свозит на берег последнюю почту. Поэтому не принимайте во внимание безобразно торопливый почерк. Мне невыносимо горько сообщать вам, что наши планы провести август вместе неожиданно и бесповоротно разрушены. И подумать только, что отпуск уже лежал у меня в кармане! Только что, сменившись с вахты, я узнал в кают-компании поразительную новость. Повидимому, война решена окончательно. Это ранило меня в сердце и одновременно наполнило гордостью и новыми надеждами. Отряду приказано немедленно выйти в море. Думаю, что уже дня через три мы гордо подымем наши славные боевые флаги и пойдем навстречу врагу. Поэтому все в восторге и поздравляют друг друга. У меня звенит в голове от трех выпитых за победу Британии бокалов шампанского. Нам предстоит важное и замечательное дело. В Средиземном море, как бельмо в нашем глазу, уже два года нахально расхаживает Сушон со своими «Гебеном» и «Бреслау.» Мы должны раскатать их в пух и прах сразу же по объявлении войны. Это обязательно. Немцам нужно показать их место. Средиземное море — британское море. Достаточно уже того, что мы любезно терпим в нем наших союзников французов. Мы все горим нетерпением встретиться с немцами и дать им хороший урок. Как ни горько мне, что мечты половить форелей в шотландских ручьях вместе с вами так внезапно рухнули, я утешаю себя мыслью, что просить вашей руки, имея лейтенантские нашивки и крест Виктории, будет солидней и шикарней. Да и дело не затянется. Будущее Германии, которое кайзер полагает на воде, окажется под водой через два-три месяца, и мы встретимся с вами. В том порукой честь королевского флота.

У нас сегодня был очень смешной случай, — дежурный поймал двух жуликов феллахов, которые хотели

удочкой вытаскать вещи из офицерских кают. Хотя они и клялись, что они только честные продавцы бананов, и, вероятно, успели выбросить удочки в воду, лейтенант Грэгсон все же приказал унтер-офицеру Доббелю дать им несколько пинков и отправить в полицию. Если даже в этот раз они и не имели намерения красть, это будет им предостережением. Феллахи все воры. Я часто думаю, как трудно нашему отечеству заботиться обо всех диких народах, населяющих наши земли, и поднимать нравственность этих несчастных.

Однако нужно кончать письмо. Утешаю себя надеждой на скорую нашу встречу. Как чудесно будет притти к вам победителем! «Гебена» мы не выпустим, за это я ручаюсь. Он хочет быть в нашем море — мы найдем ему местечко на дне. Целую ваши руки.

Ваш
Эви» [1]

Милая мама!

Не знаю, увидимся ли мы с вами когда-либо, и поэтому решил написать вам прощальное письмо. Сейчас уже ясно, что мы лезем в драку с Германией. Мне, да и всем нам, матросам, это очень мало улыбается, но ничего не сделаешь, мы «проданные». Первое, что нам предстоит, как сказал сегодня фронту командир, — найти и уничтожить немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау». Офицерам кажется это легким делом, но я знаю немецких моряков и думаю, что они будут храбро сопротивляться. У них хорошие корабли, но все же наши силы здесь настолько велики, по сравнению с ними, что бой будет жестоким избиением слабейшего. Впрочем, такова всякая драка. Возможно, что кое-кто из нас сложит голову в этом бою. Если эта участь суждена мне, я прощаюсь с вами, милая мама, и благодарю вас за вашу нежную любовь и заботы. Я знаю, что вы старались сделать для меня все, что могли, но после смерти отца вам стало очень трудно, и не ваша вина, что мне

[1] Письмо плавающего на крейсере „Warrior" гардемарина Эванса Кольвилля его невесте — мисс Сириль Уйдфайр. Кольвилль погиб в бою у Коронеля 1 ноября 1914 г. на броненосном крейсере „Monmouth".

пришлось «продаться» во флот, чтобы не быть вам обузой. Это ведь обычная участь среднего подданного нашей Англии. Она умеет заботиться о своих детях, и не дальше, как сегодня, два нищих феллаха испытали это на себе. Грязная сварливая собака, полицейский унтер-офицер Хэмпдон заподозрил двух продавцов бананов в попытке обокрасть каюты офицеров. И хотя не было никаких доказательств обвинения, все же феллахов отправили в полицию, а лейтенант Грэгсон приказал мне, когда арестованных спускали в катер, накостылять им шею. Что я мог сделать? Отказаться? Но я знал, что всегда найдутся другие, а я буду наказан. Ведь мы живем, как в сказке о взбунтовавшихся членах человеческого тела, каждый за себя, — об этом заботится радетельное начальство. И, скрепя сердце, я дал каждому феллаху по притворному лещу, а теперь мне противно смотреть на свою руку. Сейчас мы снимаемся с якоря, а если война будет объявлена, пойдем на поиски немцев. О, уж мы наверное их не упустим! Командующий в Средиземном море адмирал Мильн такой цепной дог, которому самое первое удовольствие вгрызться в чьи-нибудь икры. Прощайте, милая мама, поцелуйте сестренок Кэтти и Дору. Жалко будет, если я не доживу до замужества Доры.

Джекоб».[1]

«29 июля 1914. № 117 сс. Командующему силами Средиземного моря. С получением сего устанавливается предупредительный период. Инструкции вам известны.

Первый морской лорд
Луи Battенберг».[2]

«Рейд Валетта.

10 ч. 17 мин. Отдали якорь на внутреннем рейде. Вытравлено каната 195 ярдов.

---

[1] Письмо унтер-офицера крейсера „Warrior" Джекоба Доббеля матери.

[2] „Предупредительная" телеграмма Британского адмиралтейства всем флагманам соединений, получение которой предписывает мобилизационные меры и прием боезапаса.

10 ч. 23 мин. Вызван караул для встречи командира порта, прибывшего с визитом к командующему.

10 ч. 27 мин. Караул отпущен.

11 ч. 06 мин. Вызван караул для проводов командира порта.

11 ч. 13 мин. Караул отпущен после проводов командира порта.

11 ч. 18 мин. Приказано поставить на бакштов все моторные катера и иметь их наготове.

11 ч. 43 мин. С берега пришел катер консула».[1]

«Валетта. «Inflexible». Адмиралу Мильну. По последним сведениям «Гебен» «Бреслау» направляются погрузки угля Бриндизи или Таранто.

Б...«[2]

«Вышлите «Chatham» наблюдения районом Бриндизи — Таранто. Случае появления немцев донесите. Командиру «Chatham» дайте директиву держаться за зоной итальянских территориальных вод, чтобы не раздражать итальянцев, стороны которых возможно соблюдение нейтралитета войне.

Мильн».[3]

30 июля 1914. № 0068.
БРИТАНСКОЕ АДМИРАЛТЕЙСТВО
ПО МОРСКОМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ
ШТАБУ

Оперативная часть.
30 июля 1914 года
№ 000 000. Лондон

Директивно. С/с

Командующему силами Средиземного моря адмиралу сэру Бэрклею Мильну

Обстановка в Средиземном море на случай войны складывается следующим образом: выступление Италии против Согласия маловероятно, тем не менее признается

---

[1] Выписка из вахтенного журнала флагманского крейсера адмирала Мильна „Inflexible" от 30 июля 1914 г.

[2] Телеграмма морского агента Великобритании в Риме, коммодора Б...

[3] Радиограмма командующего силами Средиземного моря адмирала сэра Бэрклея Мильна младшему флагману, командующему отрядом броненосных крейсеров, контр-адмиралу Трубриджу.

необходимым, до окончательного выяснения ее поведения, избегать проходов итальянскими проливами и территориальными водами, равно не вступать в соприкосновение с австрийцами, позиция которых в отношении Великобритании неопределенна. Главная ваша задача с момента военных действий — помощь французам в перевозке их африканского корпуса, для чего надлежит занять прикрывающую позицию, стараясь принудить к бою всякий немецкий корабль, особенно же «Гебен», если он попытается помешать перевозке французских войск. В случае встречи с превосходными силами противника не вступать в решительный бой иначе, как совместно с французами, для чего установить контакт с адмиралом Буэ де Лаперейр. Надлежит твердо помнить основную директиву: подавить всякую попытку немецких крейсеров укрыться в австрийских портах или вырваться из ковша Средиземного моря через Гибралтар. Дивизия адмирала Сушона должна быть истреблена быстро и решительно. О начале военных действий узнаете по условной телеграмме.

Первый морской лорд
Луи Баттенберг.

Начальник Оперативной части Морского генерального штаба, капитан первого ранга, баронет
X...[1]

«Мессина, 3 июля. (От собств. корресп.) Сегодня утром вошли в гавань немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау» для погрузки угля. В виду того, что властям порта было сообщено о состоявшемся вчера объявлении войны между Францией и Германией и о нашем нейтралитете, губернатор предложил немецкому адмиралу вывести свой отряд из Мессины. Адмирал Сушон известил губернатора, что крейсера уходят вечером. В разговоре с вашим корреспондентом офицеры германских судов высказали мнение, что, в случае вступления в войну Англии, «Гебену» и «Бреслау» придется покинуть

[1] Директива Британского адмиралтейства. Доставлена из Лондона экспрессом Лондон — Рим, и из Неаполя эскадренным миноносцем „Lauforey" на Мальту. Расшифрована службой связи флагманского крейсера „Inflexible".

Средиземное море и прорываться в Атлантику или же Полу на соединение с австрийским флотом, либо искать убежища в столице Турции, с которой на днях заключен союз. Между слов можно было понять, что на прорыв в Константинополь офицеры адмирала Сушона смотрят как на совершенно безнадежную попытку, считая британские силы в Средиземном море настолько подавляющими, что немецким кораблям остается только как можно дороже продать свою жизнь. Англия никогда не допустит появления немецких судов в Константинополе, ибо это может усилить турецкий флот до опасных для русского Черноморского флота пределов. А это поведет к разрыву коммуникаций Англии с ее северным союзником, пресекая удобнейший путь питания европейского театра военных действий неисчерпаемыми людскими резервами России, русским хлебом и богатейшим и дешевым сырьем, в первую очередь, кавказской нефтью. Поэтому на пути в Турцию немецким крейсерам грозит неизбежная гибель, и офицеры решили на случай прорыва в этом направлении составить завещания».[1]

«Лондон. Адмиралтейство. Полученной директиве нет указаний дислокации флота случае направления прорыва немцев Дарданеллы — Константинополь. Прошу указаний. Полагал бы необходимым, оставив на западе легкие крейсера для поддержки линейных сил французов и в Отрантском проливе броненосный отряд Трубриджа для преграждения пути на Полу, выслать главные силы моих линейных крейсеров мысу Матапан на пересечку курса Сушона. Районах Адриатики Гибралтара считаю их присутствие лишним силу окончания концентрации французского флота.

Мильн. № 1887».[2]

2

В больших иллюминаторах адмиральского салона темноголубая вода рейда и над ней светлоголубые колючие звезды. Пятилапой золотой морской звездой плавает

---

[1] Газета „Popolo di Roma" от 13 июля 1914 г.

[2] Радиограмма адмирала Мильна в Адмиралтейство от 3 августа 1914 г.

под потолком люстра. Над пухлой спинкой кожаного кресла седая голова флагмана. Напротив, в таком же кресле, флаг-капитан, капитан первого ранга Митфорд. Щеки у флаг-капитана выбриты до такой гладкости, что в них, как в зеркальце, отражаются искорки ламп.

На столе в толстых хрустальных стаканах густой теплый чай. Аромат его крепок и сладок, кажется, что где-то в салоне поставлен букет пряно пахнущих цветов.

Флаг-капитан отхлебывает глоток и закусывает хрустящим бисквитом.

— Разрешите продолжать доклад, сэр?

Седая голова склоняется медленным кивком. Флагману Средиземного моря мучительно хочется спать. Он огромным усилием воли удерживает свинцовые веки открытыми над спящими зрачками, в которых, туманно и не доходя до сознания, отражаются полированные тиковые панели салона, гладкое лицо Митфорда и дрожащие слезки звезд в круглых просветах иллюминаторов.

Голос Митфорда сливается с ровным гудением турбодинамо глубоко под палубой адмиральского помещения, и адмирал не может отличить одного звука от другого. Он с трудом улавливает отдельные слова, которые невозможно связать, и сквозь дрему раздражается на самого себя. Раньше он мог не спать целыми сутками и сохранять ясную голову. Теперь усталость и старость совместными атаками одолевают его. О чем говорит Митфорд?

— Командир крейсера представляет это неприличное происшествие на усмотрение флагмана. Требуется ваше заключение, сэр!

— А?..

Сэр Бэрклей Мильн вскидывает голову и, собрав всю внутреннюю живучесть, отбивает наступление сна. Нужно что-то ответить Митфорду, но что? Адмирал расслышал только последние слова: «ваше заключение, сэр».

Но если от флагмана ждут заключения, оно должно быть дано — немедленное и ясное. Необходимо найти достойный выход из положения, и адмирал прибегает к уловке, не раз выручавшей его в таких случаях. Он поворачивается к флаг-капитану.

— Но ведь из доложенного вами, Митфорд, явствует, что у командира корабля уже имеется свое и опреде-

ленно выраженное мнение. Я полагаю, что можно согласиться с ним. Да, да! Я утверждаю! — с привычной уже властностью заканчивает адмирал, чувствуя, что не промахнулся и на лице Митфорда не появится та, чуть просвечивающая сквозь синеватую амальгаму живого зеркала корректная улыбка уважительной жалости к стареющему начальнику, которую адмирал иногда замечает в случае своих промахов.

— Есть, сэр!

Митфорд развинчивает «Монблан» и золотым пером пишет поперек рапорта резолюцию флагмана. Затем он откладывает рапорт налево и берется за другие бумаги. Флагман прямее усаживается в кресло. Теперь сон прогнан, адмирал может быть внимательным и точным в ответах. Ровным, без выражения, говорком Митфорд читает сводки о количестве боезапасов и топлива на складах базы. Отложенный в папку налево рапорт слегка вздрагивает уголком плотной бумаги от вздохов ветра из иллюминатора. Ветер солен, сыроват, жарок. Бумагу как будто лихорадит от сырости и тревоги за судьбу человека.

Командир крейсера «Warrior» доносит флагману, что, после выхода с Александрийского рейда и уведомления команды о возможности войны, унтер-офицер Джекоб Доббель на походе сказал в группе матросов следующие слова: «Немцы такие же люди, как и мы, англичане. Каждому народу хочется мирно трудиться и жить под солнцем. Кому нужна драка между нами и немцами? Пусть бы наши павлины и индюки воевали с феллахами, которые не могут сопротивляться. Так нет же, им хочется большой войны, чтобы нацепить на себя лишние перья, которые выщиплют для них у нас же». Слышавший это кондуктор Паркинс приказал группе разойтись, сделав одновременно замечание Доббелю о недопустимости таких разговоров накануне великих для Англии событий, и спросил: кого унтер-офицер имел в виду под названными им птицами? На это Доббель дерзким тоном ответил: «Что касается павлинов, то это офицеры от гардемарина Кольвилля до короля, а индюки — это вы и другие кондукторы и боцмана». После этого кондуктор, не вступая в пререкания с Доб-

белем, доложил вахтенному начальнику, арестовавшему унтер-офицера. Командир корабля, находя этот случай выходящим из рамки дисциплинарных проступков и свидетельствующим о преступном образе мыслей унтер-офицера Доббеля, полагает необходимым разжаловать его в матросы второго разряда, лишив наградных и нашивок за хорошую службу, и перевести на другой корабль под особое наблюдение, о чем доводит до сведения флагмана, спрашивая, находит ли адмирал меру взыскания достаточной и не считает ли необходимым, в виду наличия в словах Доббеля оскорбления величества, усилить наказание преданием суду.

Ветер из иллюминатора крепчает, бумага дрожит сильнее.

— Крейсерам ночью принять полный боезапас, — говорит адмирал Мильн, прослушав сводку, и глаза его блестят уже по-молодому цепко и искристо, — погрузку производить, не вывешивая красных огней, чтобы на берегу не знали. Шпионаж здесь поставлен отлично. Что еще?

И голос у адмирала уже не вялый и сонливый, а отрывистый, лающий. Он отвечает характеристике, данной командующему унтер-офицером Доббелем. Мысленно адмирал Мильн уже видит в темноте силуэты немецких кораблей, в которые он готов вцепиться, как остервеневший дог, сокрушительными клыками тринадцатидюймовых снарядов.

— Еще, сэр, русский морской агент в Италии, барон Врангель, случайно находившийся в Мессине, персонально сообщает адмиралу Трубриджу, что адмирал Сушон, видимо, окончательно принял решение итти в Константинополь. Он сообщает о времени выхода «Гебена» и «Бреслау» из Мессины.

Адмирал Мильн поднимается, и Митфорд повторяет это движение.

— Вопрос для меня ясен. У него только два выхода. Либо он собирается итти в Полу на присоединение к австрийцам, либо это начало прорыва на Дарданеллы. Дайте радио Трубриджу продолжать наблюдение в Отрантском заливе. Мы останемся здесь с «Weymouth», «Hussard» и миноносцами. «Indomitable» и «Indefatigable», пусть пройдут к W до острова Галита, на случай, если

бы немцы все же свернули к Гибралтару, что я лично считаю исключенным. Их ход позволяет нам в любой момент вызвать их к нам. По получении ответа на мой запрос Адмиралтейству, мы пойдем к мысу Матапан, и там Сушон найдет свою могилу. Обоим линейным крейсерам выйти к двум часам. Все! Прикажите разбудить меня в десять. Спокойной ночи!

Флагман уходит в спальню. Митфорд несколько минут чертит пером по блокноту, фиксируя приказания адмирала.

Потом он выходит, идет по верхней палубе. Шаги его в мягких туфлях на тросовой подметке бесшумны. Он шагает с привычной осторожностью, чтобы не наступить на раскинутые в жарком и душном сне тела матросов. Взбирается по узким трапам на ходовой мостик и передает блокнот вахтенному начальнику. Приказы адмирала переписываются в шифровальный журнал. Митфорд, обменявшись несколькими словами с вахтенным начальником, спускается вниз — соснуть.

Бледные искры летят с высоты мачт в темноголубую ночь к светлоголубым звездам, стрекоча сверчками, — работает искровая. Желтой капелькой дрожит на клотике фок-мачты огонь лампочки, мигая коротко-длинно. Рука сигнальщика танцует на рычаге ключа, посылая позывные «Indomitable». Вахтенный начальник выходит из рубки, подходит к обвесу и долго смотрит вниз на фосфоресцирующую воду. Под его ногами, подрагивая пульсом машин, дышит железное тело корабля. К борту черной тенью подходит баржа. На нее перебрасывают мостик. Начинают грузить боезапас средней артиллерии. По мостикам движется беспрерывная цепочка людей, гнущихся под тяжестью стальных остромордых болванок. По палубе, до люков бомбовых погребов, постлана полоса мягкого мата. Игольчатые лучинки потайных фонарей на поясах боцманов цепляются за длинный ворс мата. Огромный корабль беззвучно жрет начиненную притаившимся огнем и громом пищу. Вахтенный начальник не может оторвать глаз от зеленоватого света, пронизывающего воду. Эта прозрачная и мерцающая зелень похожа на зрачки его жены. Она сейчас спит в маленькой спальне, на твердой земле, и зрачки ее скрыты под теплыми веками.

— Джэн!

Имя вырывается у вахтенного начальника непроизвольно. Звук его нежен и долог. Сигнальщик, не сводящий глаз с офицера, срывается с места и кидается в рубку. Секунду спустя он подает лейтенанту плотный томик.

— Что? — спрашивает лейтенант, очнувшись и смотря на матроса непонимающим взглядом.

— Вы приказали, сэр, флотский справочник, Джэн, и я...

Лейтенант приходит в ярость. Он отталкивает книгу и металлически сухо кидает матросу:

— Вы болван, Лоренс! И потом, сколько раз вам повторять, что на посту нельзя прислоняться к штангам. Возьмите один наряд вне очереди и пять суток без берега. Это научит вас дисциплине.

Капитан Митфорд, по дороге в свою каюту, заходит на минутку в кают-компанию выпить содовой воды со льдом. Ночь слишком жарка и томительна. В кают-компании уже пусто. Офицеры разошлись, и лишь в углу на диване белеет лейтенант Грэн, наклонив голову над книжкой. При входе Митфорда он вскакивает. Флаг-капитан делает ладонью жест сверху вниз, и Грэн опускается на диван.

— Почему не спите? — Митфорд медленными глотками пьет поданный вестовым бокал пузырящейся ледяной жидкости.

— Не могу спать в этом проклятом климате, сэр. Я с севера Ирландии. От этой жары у меня лопается череп, сэр. Я просился о переводе на север, — мне отказали. Я рассчитывал, что осенью получу капитан-лейтенанта и уйду в отставку, но теперь... — Грэн безнадежно пожимает плечами.

— Все же вам лучше вздремнуть. Нам предстоит большая гонка.

— За «Гебеном»? Я думаю, сэр, что это не потребует больших усилий. У немца плохо с котлами. Текут трубы.

— Они перебрали их, когда стояли на ремонте в Поле. — Митфорд ставит на стол пустой бокал.

— Знаю, сэр. Они переменили около четырех тысяч трубок, но результаты невелики. Когда мы ремонтировали дейдвуд в Дураццо, мне пришлось однажды вы-

пивать с инженерами доков, и австрияки рассказывали об этом деле. Флагманский механик Сушона жаловался им, что, несмотря на все усилия, он может надежно держать долгое время ход не более пятнадцати узлов. Только на полчаса у него хватает сил добиться двадцати одного узла, а наши линейные, несмотря на обрастание, способны часов шесть держать двадцатитрехузловой. Немцам некуда податься, старик поймает их, как крыс. Куда только они пойдут? На запад или на восток? Впрочем, тонуть одинаково паршиво на всех румбах. А мы их потопим, не будь я ирландец!

— Да, мы должны опередить всех. А все же советую вам пойти к врачу и попросить веронала. У вас покойницкий вид.

Митфорд уходит. Лейтенант Грэн захлопывает книгу и подходит к стенному термометру. Термометр показывает сорок три выше нуля. Китель и брюки офицера пропитаны липкой, жаркой и тяжелой сыростью. Грэн вздрагивает и с ненавистью смотрит на термометр. Понурившись, идет к врачу за вероналом.

3

«Сегодня на рассвете перед портом появился с норда германский линейный крейсер «Гебен», который, спустив русский военный флаг, под которым приближался, поднял германский и без предупреждения открыл огонь по городу и гавани залпами тяжелой артиллерии. Всего выпущено пятнадцать залпов. Повреждения незначительны. Жертвы есть среди мирного населения. Войска не пострадали, так как посадка частей девятнадцатого корпуса на транспорты еще не начиналась. Наши батареи отвечали. Транспорты целы.

Военный губернатор колонель-командан
Мишле».[1]

«Открытое море.

9 ч. 34 мин. Сигнальщиками доложено о появлении в вестовой части горизонта двух дымов.

---

[1] Радиограмма военного губернатора города Филиппвилля (французская Африка, Алжир) в Главный штаб, в Париж, от 4 августа 1914 г.

9 ч. 39 мин. Опознаны «Гебен» и «Бреслау». Сигнал с «Indomitable» — ДКА-ЛЖЕ-ЦББ.

9 ч. 43 мин. «Гебен» ворочает влево. Сигнал с «Indomitable» — 4Л. Скорость «Гебена» 18 узлов. Дистанция 47 кабельтовых.

10 ч. 15 мин. «Гебен» положил руля вправо, избегая сближения. Пробили боевую тревогу. Разошлись контркурсами на дистанции 40 кабельтовых. Башни на «Гебене», как и у нас, в диаметральной плоскости по-походному. Салюта не было.

10 ч. 21 мин. Сигнал с «Indomitable» — 016-ААМ-ДРК-УЛТ-ЗЛМ.

10 ч. 33 мин. После поворота «Бреслау» полным ходом бросился на норд. Все время слышны его вызовы радиостанции в Кальяри. Он развил ход до 28 узлов. «Гебен» сильно дымит. Его ход 19 узлов. У нас шесть котлов в резерве.

10 ч. 41 мин. Ввиду порчи передатчика на «Indomitable» приказано передать радио флагману о встрече, запросив инструкции о положении с войной и разрешения боя».[1]

«Открытое море.

14 ч. 15 мин. Англичане продолжают держаться справа сзади. По приказанию адмирала ход увеличен до двадцати двух узлов. В топках жгут дерево и доски. Англичане легко держат ход.

14 ч. 45 мин. Англичане начинают отставать.

15 ч. 30 мин. Англичане скрылись из видимости, кроме легкого крейсера «Дэблин».[2]

«4 августа 1914 года.

На рассвете у африканского берега мы разделились. «Бреслау» полным ходом ушел на Бону, мы на Филипп-

---

[1] Вахтенный журнал линейного крейсера „Indefatigable" от 4 августа 1914 г. Расшифровка сигналов: 1) Строй пеленга, курс NO 75°. Ход 20 узлов. 2) Поворот все вдруг 16 румбов. Разойтись в линию фронта, следуя за противником и держа его впереди на скулах.

[2] Выписка из вахтенного журнала линейного крейсера „Гебен" от 4 августа 1914 г.

вилль. До порта, по приказу адмирала, шли под русским флагом, чтобы не быть опознанными торговыми судами. По выходе к Филиппвиллю подняли германский флаг и открыли огонь башенной артиллерией главного калибра. Впервые в жизни мне пришлось стрелять не по щиту, а по настоящей боевой цели. Это было восхитительное ощущение. Сердце билось, как бешеное, и пальцы прыгали на рычагах приборов. Каждый залп отдавался во всем теле судорожной дрожью. Горло пересохло так, что я приказал рассыльному принести мне в боевую рубку бутылку Виши, ибо потерял голос. Снаряды падали и рвались отлично. Французы, видимо, были застигнуты врасплох, так как только после одиннадцатого залпа с берега ответили гаубичные батареи на больших недолетах. Стрельбу вели на постоянном курсовом, на сближении. Дистанция последовательно от 59 до 40 кабельтовых. Выпущено 150 одиннадцатидюймовых. В порту ясно были видны три пожара. После пятнадцатого залпа отошли на норд-вест и, повернув, взяли курс на Мессину. Около восьми встретились в море с линейными крейсерами англичан. Разошлись на 40 кабельтовых, без салюта. Чорт бы побрал Англию, она ведет себя, как панельная шлюха, выжидая, кто больше даст за ее гнилое мясо. Мне неимоверно хотелось влепить парочку залпов в эти напыщенные, как британская леди, корабли. После расхождения адмирал Сушон приказал «Бреслау» уходить на север, а «Гебену» дать максимальный ход. Наш славный корабль старался изо всех сил и дымил, как самовар, но не мог натянуть больше двадцати одного с половиной узла. Англичане легко держались за нами и, вероятно, без особых усилий могли набавить еще узла три. Если эта старая островная кокотка объявит нам войну, наша участь будет печальна, но все же мы постараемся перед смертью заставить хоть один их крейсер наглотаться соленой воды. Идя за нами, англичане вызывали на помощь другие корабли, вследствие чего кольцо все время смыкалось. Неожиданно, около 15 часов, англичане вдруг начали отставать, что показалось мне чрезвычайно странным, принимая во внимание легкость, с которой они держались на наших плечах. Не могу подумать, чтоб у них так быстро скисли механизмы. Скорее это хитрость или трусость. Только «Дэблин» еще

держался на горизонте до 21 часу, после чего и он исчез. Мы вздохнули свободно и наконец могли отпустить от орудий изнемогшую команду, простоявшую на страшном зное девять часов. Один комендор скончался в башне от паралича сердца».[1]

4

Мятой и имбирем
Пахнет весенний луг,
В воздухе золотом
Носится майский жук.
Мэджи! Веселый май —
Наша пора любви,
Ручки свои мне дай,
Милым меня зови!

Это опять улыбается улетевшая юность. Это лужайка в закатном солнце. Мэджи стоит на скамейке в легком платьице. Она отмахивается руками, она хохочет и кричит: «Нет, нет! Чур, тут не трогать! Скамья — это мое «табу», Бэрклей!» Но Мэджи такая легонькая, ее совсем не трудно снять со скамьи, поставить на траву и поцеловать в детские припухлые губы с солоноватым привкусом.

Ручки свои мне дай,
Милым меня зови!

Какая нежная, трогательная старинная песенка! Мы умели петь в доброй старой Англии. А теперь песни стали грубыми и нескромными, а музыка — сплошные барабаны. Тук... тук... тук...

Чья это щучья морда с выпяченными зубами просовывается сквозь зеленый плюш газона? Брр! Какая мерзость! Подите прочь, сударыня!

Сэр Бэрклей Мильн открывает глаза. Они еще размягчены пережитой памятью молодого счастья. Но щучья морда продолжает кривляться из полированной рамки. Кто это? Да! Ведь это последний портрет Мэджи, присланный в прошлом году из Англии с приказом: повесить над койкой. Господи! Неужели у этой старой крысы

[1] Страница из дневника старшего артиллериста линейного крейсера „Гебен", капитана второго ранга Теодора фон Шт...

были когда-нибудь стройные девичьи ножки, и губы имели солоноватый привкус счастья?

Адмирал приподнялся на койке, морщась.

Тук... тук... Это не музыка. Это стучит вестовой.

— Да! Слышу... Который час, вестовой?

Но вместо вестового из-за двери неожиданно слышен голос Митфорда.

— Это я, сэр... Десять пятнадцать. Есть две радиограммы, сэр. Одна от командира «Indomitable». Вторая — экстренная — из Адмиралтейства.

Адмирал спешно натянул брюки и пижаму.

— Войдите, Митфорд.

Кивнув флаг-капитану, адмирал вытер лицо пушистым полотенцем, смоченным в лавандовой воде. Мельком взглянул в зеркало. Лицо было румяное, почти без морщин. Во всяком случае, он больше походил на молодого Бэрклея, чем леди Мильн на юную Мэджи. Чорт возьми, какой непрочный товар — женщины!

Он пробежал радио «Indomitable», сладко щурясь.

— Так... Отлично! Вцепились и пусть держатся. Объявление войны последует, вероятно, не позже полудня, и мы утопим, наконец, эту бронированную проказу. А что во второй?

Митфорд молча подал бланк. Адмирал высоко поднял левую бровь и сверкнул глазом на флаг-капитана.

— Почему не в расшифрованном виде?

— Прошу прощения, сэр. Видимо, телеграмма чрезвычайно важного и секретного характера. Она зашифрована вашим личным флагманским шифром.

— Что? — адмирал попятился.

Личные флагманские шифры существовали, это было ему известно. В сейфе его салона лежал пакет с ключом этого шифра. Но за долголетнее флагманство на разных соединениях он никогда не пользовался этим загадочным шифром и никогда не слыхал, чтоб им пользовались другие флагмана. По всей видимости, действительно случилось что-то из ряда вон выходящее. Адмирал взял бланк. Вены на его высохшей кисти надулись темными валиками.

— Ступайте, Митфорд. Я позову вас, когда разберу это... эту... — флагман запутался в определяющем «это» термине.

Он расправил бланк на доске стола. Аккуратным частокольчиком бежали цифры:

1479, 9335, 1021, 8815, 3124, 4545, 7126, 7298, 1 19° О Т. 7179, 5547, 1793, 3561, 5711, Трубридж, 9297, 0516, 9112, Форейн Оффис, 1214, 3299, 1875, 9357, 1541, Тюркей, 1977, 7454, 1127, 9889, 1716, 2444, 1251, 5190, 0041, 5562, 6084...

Щелкнув замком, сэр Бэрклей Мильн открыл сейф и вынул пакет с ключом. Сухо прошуршав, разорвался подклеенный батистом бристоль, осыпав сухую кровь сургуча. Адмирал вынул таблицу ключа и сел за стол. Пальцы его медленно водили карандашом, седая голова гнулась над бумагой, а плечи подымались углами, по мере того как из-под серого жальца графита вытекали слова. Карандаш сломался. Адмирал нервно швырнул его и схватил другой.

Когда последнее слово легло на бумагу, флагман Средиземного моря тяжело поднялся, оперся на стол, поглядел вокруг и, оттолкнувшись, неверными шагами подошел к зеркалу. Несколько секунд он смотрел в стекло, не узнавая себя. Лицо у него стало зеленовато-землистым, призрачным. Потом долго накоплявшаяся у сердца медленная старческая кровь хлынула в щеки, залив их мутно-багровым цветом. Адмирал отшатнулся от зеркала, отошел на середину салона и там медленно поковырял носком туфли ворс ковра. Смотря на ковровый узор, произнес сдавленным хрипом:

— Это безумие! Чудовищно!

Он оглянулся, как будто испугавшись своего голоса. Нагнулся над текстом и еще раз беззвучно прочел его, шевеля увядшими губами. Потом вздохнул и зажег свечу. Взял со стола запись и уже уверенными пальцами поднес к огню. Забегали синие дымные змейки. Бумага скорежилась, лопнула, пошла вихрастыми черными клочьями. Адмирал аккуратно собрал их, бросил в чашку умывальника и открыл кран. Блестящая пленка воды, сбежав по голубому фаянсу, смыла и унесла пепел. Адмирал отошел от умывальника и нажал кнопку одной из пяти звонковых груш, свисавших с люстры. В дверь втиснулся вестовой.

— Капитана Митфорда!

— Есть, сэр! Капитана Митфорда!

Вестовой лихо повернулся вокруг оси и вылетел.

Флагман дважды прошелся из угла в угол, остановился посреди каюты и, бережно поднеся руки к голове, как будто она была стеклянная и он боялся разбить ее, сжал пальцами скулы. Опустил руки и быстро подошел к столу. Карандаш снова зачиркал по бумаге. Заслышав отворяющуюся дверь, адмирал, не обернувшись, бросил придавленным, удивившим флаг-капитана голосом:

— Минутку, Митфорд! Сейчас же сдадите это связисту.

5

Командир «Indomitable» стоял у узкой щели боевой рубки, уткнувшись лбом в окуляры стереотрубы. Рога трубы медленно ползли вбок, следуя склонению низкого, закутанного дымом силуэта на лиловой черте горизонта. Рядом с командиром, тоскуя и нервничая, топтался старший артиллерист корабля.

— Ход у него все время падает... Чорт! Неужели мы так и не дождемся известия о начале военных действий? Противно чувствовать себя лисой, которой запрещено рвать курицу.

Он нагнулся к переговорной трубке.

— На дальномере!.. Дать дистанцию до противника!

— Шестьдесят три, пять, — глухо заурчало из трубы.

— Вот видите, опять нагоняем. Нужно оттянуть. Я хочу расчехвостить его с девяноста пяти кабельтовых на предельной дальности его артиллерии. Он не сможет даже поцарапать нас.

Хлопнула броневая дверь. Запыхавшийся рассыльный подал командиру листок.

— Из радиорубки, сэр. От адмирала.

Командир выхватил листок. Он и артиллерист взглянули друг на друга жадными, настороженными глазами, и артиллерист нажал кнопку. Ток ринулся в башни и казематы, призывая к вниманию.

— Ну? — спросил артиллерист, заметив нервную спазму мускула на щеке командира.

— Ничего не понимаю, — командир протянул радиограмму, — читайте сами.

Артиллерист поднес листок к щели рубки:

«Командиру «Indomitable» В виду неясности до сего времени наших отношений с Германией, предписываю: преследование адмирала Сушона прекратить. Но, дабы ввести немцев в заблуждение о нашей способности держать ход, что считаю крайне важным для возможных будущих операций, преследование прекращайте не сразу, а постепенным уменьшением количества оборотов, чтобы у Сушона создалось впечатление медленного отставания преследующего. По выходе из видимости противника ворочать на W и держаться, крейсируя на траверзе Бизерты, наблюдая за путями на Гибралтар.

Мильн».

Артиллерист вскинул светлые глаза на командира:

— Что за белиберда? Вы понимаете что-нибудь?

— Не больше, чем вы.

— Неслыханный вздор! Каким образом Сушон может поверить в такую небылицу, что мы отстаем из-за невозможности держать ход, после того как в течение семи часов он убеждался в обратном и видел, что, не вводя в действие всех котлов, мы обжимаем его, как хотим? Ведь, прости господи, мы же имеем дело с отличным моряком, а не с учительницей школы для раскаявшихся девок. Кого может ввести в заблуждение такой лошадиный анекдот? Тут что-то неладно! Спятил старик, что ли?

— Тише, Викли, — вполголоса сказал командир, — не забывайте, что здесь сигнальщики. Я обязан заботиться о том, чтобы их мнения об умственных способностях флагмана не совпадали с вашими, иначе они начнут делать ненужные умозаключения обо всех нас, а это поведет ко многим неприятностям.

Командир снял телефонную трубку:

— Старшего механика! Это вы, Холден? Потрудитесь через пять минут начать сбавлять обороты. Да! Я, кажется, говорю по-английски — сбавлять обороты. На десять оборотов меньше через каждые пять минут. Что? Вы слышали приказание? Ну и хватит!

— Хорошо! — артиллерист сжал кулаки, не отрывая завистливого взгляда от дымной проекции немецкого крейсера. — Я не возражаю против всякой там высокой стратегической кулинарии, которой заняты наверху. Но

скажите мне, ради какого Вельзевула мы должны ворочать на W, когда детям ясно, что Сушон идет на О, в Мессину, и возвращаться нам в лапы ему не придет в голову, если его голова не в таком же состоянии, как у наших Ансонов.

Командир покусал черенок трубки, высосал из него плотное облако дыма и раздумчиво заметил:

— Я не имею права критиковать старших, но мне думается, что на этот раз там происходит крупная стратегическая ошибка. Это все злосчастный принцип сосредоточения оперативного руководства на берегу. Флот плавает в море, на кораблях сидят флагмана, а боевые приказы даются из лондонской канцелярии. Луи Баттенберг ужасный диктатор и на полногтя не желает поступиться своим адмиралтейским абсолютизмом. Он исходит из истины, что корабли слишком дорогое имущество для боя. Это психология фабриканта фарфоровых статуэток, а не флотоводца. Я подозреваю, что, если даже мы и вступим в войну, наши морские операции будут заключаться в моральном давлении на противника списками эскадр и личного состава, без применения их в бою. «Fleet in being» — вот принцип Луи Баттенберга, Фишера и всей нашей морской стратегии.

— Дьявол унес бы их вместе с этой стратегией! — буркнул артиллерист. — У меня пушки, и, если во время войны эти пушки будут стрелять тоже только морально, мне остается повеситься на гафеле взамен британского флага. — Он повернулся к артиллерийским кондукторам и рявкнул в бешенстве: — Накрыть приборы чехлами! По башням отбой!

«Indomitable» замедлял ход. Стремительный гул винтов, ослабевая, переходил в замедленное дрожание.

Далекий «Гебен» скрывался за горизонтом. Над ним были видны теперь только верхние башни, мостики, широко расставленные трубы и мачты.

6

«Warrior» и «Gloucester» встретились в море, у входа в Отрантский пролив. С «Warrior», застопорившего машины, просемафорили на «Gloucester»: «По приказанию флагмана примите штрафованного матроса».

Море дышало крупной и неровной зыбью. Для Джекоба Доббеля сочли ненужным посылать крупную посуду — спустили четверку. Четверку метало, как волейбольный мяч, и ей едва удалось оторваться от крейсера. Высокий вал вскинул ее почти до уровня верхней палубы, и гребцы, напрягая все силы, предотвратили удар о выступ каземата. Следующая волна далеко откинула четверку от борта. К «Gloucester» она подошла, на треть наполненная водой. С крейсера болтался поданный на выстреле штормтрап.

Доббель, держа подмышкой сундучок с имуществом, судорожно цепляясь правой рукой за узлы, поднялся на борт, пробалансировав над густозеленым бурлящим кипятком. Вступив на палубу, он отряхнулся от воды, как выкупавшийся пес, и огляделся. Невдалеке торчал вахтенный офицер.

Поставив сундучок на палубу, Доббель подошел к нему и подал пакет.

— Матрос Доббель. Прибыл на корабль его величества «Gloucester».

Вахтенный офицер оглядел Джекоба Доббеля с головы до ног с такой гримасой, как будто смотрел на омерзительно грязный и дурно пахнущий предмет, хотя Доббель был в одежде первого срока, только вымоченной морем.

— К старшему офицеру, — процедил вахтенный начальник сквозь зубы и отвернулся.

Джекоб поднял сундучок и отправился на поиски старшего офицера. Он прошел крестный путь под нахальными взглядами кондукторов и боцманов, ненавидяще-брезгливыми — офицеров и тайно сочувственными — матросов. Старший офицер ходил по юту и рыжими зрачками сеттера изучал медный диск кормового шпиля. Диск горел медью, как солнце, но старший офицер не доверялся этому блеску, памятуя, что и на солнце могут быть пятна.

Доббель повторил ритуал, от постановки на палубу сундучка до рапорта и вручения пакета.

Старший офицер вскрыл пакет и, как собака, обнюхал бумагу.

— Вы думаете, матрос Доббель, мне приятно возить-

ся с такой вонючей падалью, как вы и вам подобные?— ласково спросил он, положив бумагу в карман.

Матрос Доббель промолчал. Да старший и не ждал ответа.

— Специальность?

— Дальномерный унтер-офицер, сэр!

— Что? Вы, кажется, продолжаете воображать себя унтер-офицером? Я вас отучу от чинов! Ваше счастье, что в Александрии нам пришлось оставить в госпитале сигнальщика, не то похлебали бы вы у меня горячей беды в кочегарке. Марш в кубрик, и запомните мою фамилию. Меня зовут Мак-Стайр, и я умею делать из плохих матросов пуддинги, посыпать изюмом и запекать в топке. Слышали?

— Так точно, сэр!

— Вон!

Джекоб Доббель мгновенно исчез с палубы. Было похоже, что его вместе с сундучком смыла и унесла грузная волна, хлестнувшая в обрез юта и бросившая на палубу снежный ком пены, с веселым журчаньем ринувшейся в шпигаты.

7

«Моя верная Грета!

Я чувствую каждую минуту моим любящим сердцем, как ты тоскуешь обо мне. Я вижу, как ты подходишь к своему туалету и твои голубые глаза наполняются слезами. Осуши их, Грета! Германская женщина должна подражать в бодрости женщинам наших древних сказаний. Я еще жив и здоров, хотя не знаю, что будет со мной через несколько часов. Сейчас мы догружаем последнюю тонну угля в Мессине. Итальянские власти изо всех сил старались помешать этому (хорошего союзника имел наш обожаемый кайзер в этих макаронниках!), но благодаря заранее заготовленным транспортам и содействию агента господина Стиннеса, отдавшего нам уголь, закупленный англичанами, мы снабдились на большой поход. Адмирал Сушон — величайший герой. На требование итальянского коменданта выйти из порта по истечении двадцатичетырехчасового срока он ответил этому

надутому олуху, что считает срок не с момента прихода в порт, а с момента выдачи морским министром разрешения на погрузку, и что двадцатичетырехчасовой срок не вытекает из норм международного права, а является частной точкой зрения англичан, для культурных наций необязательной. Итальянец съел эту пилюлю с кислой рожей. Адмирал решил прорываться на Константинополь, хотя сегодня утром из Берлина пришла телеграмма кайзера, предоставляющая свободу выбора между Полой, Гибралтаром и Стамбулом. Но адмирал, как настоящий германец, выбрал самый опасный путь — в Стамбул. Он не только прекрасный флотоводец, но и блестящий политик. Он сказал офицерам: «Лишь бы нам, господа, добраться до Константинополя, а там я ручаюсь, что под жерлами наших пушек Высокая Порта будет маршировать под немецкие марши». Через час мы покидаем Мессину. Если только нам удастся прорваться, это будет гениально. Но, по правде сказать, я мало верю в успех нашего геройского, но рискованного предприятия. Англичане повсюду на нашем пути. По донесениям агентуры, сегодня утром видели «Gloucester» у входа в Мессинский пролив с юга. Очевидно, он стережет наш выход. Линейные крейсера хотя и отстали от нас вчера, но, вероятно, также находятся поблизости и готовы обрушить удар. Мы слишком ценная добыча, и британцы не так глупы, чтобы ею не воспользоваться. Им выгодно разгромить нас и произвести во всем мире огромный моральный эффект не в нашу пользу. Поэтому мы готовимся к великому подвигу и к славной гибели во славу нашего отечества и кайзера. Я крепко обнимаю тебя, Грета, и прошу поцеловать нашу невинную малютку Минну. Как бы я хотел еще раз ее увидеть! Если меня не станет, ты расскажешь ей, что ее отец умер за отечество, с именем бога и императора на устах. Прощай, Грета!

Эгон.

P. S. Все же, на случай благополучного исхода нашего предприятия, прошу тебя сейчас же по получении письма выслать в адрес нашего посольства в Константинополе три дюжины отложных воротничков моего фасона (ты знаешь, какого), а также голубой гарусный

коврик под ноги, тот, который ты вышивала перед нашей свадьбой. С наступлением холодного времени он мне пригодится».[1]

„ЗАВЕЩАНИЕ

Августа 5-го дня 1914 года. Германского военного флота линейный крейсер «Гебен».

Находясь в здравом уме и твердой памяти, я, минный механик линейного крейсера «Гебен», капитан-лейтенант Рудольф фон Денке, завещаю моей жене Шарлотте фон Денке и моему сыну Вольфу-Эйтелю все мое имущество, выражающееся в восьмидесяти двух гектарах земли с садом и усадьбой «Розенкрейцер», близ Веймара, принадлежащее мне по праву наследования и закрепленное соответствующими документами у нотариуса Гашке в Веймаре, а также состоящее в обстановке моей квартиры в Веймаре, Лессингштрассе, 111/7. В случае выхода моей жены замуж до совершеннолетия сына распоряжение имуществом в пользу моего сына переходит к моему брату, подполковнику шестого гусарского его величества короля прусского полка, Вильфриду фон Денке.

Капитан-лейтенант
Рудольф фон Денке.

Свидетели:

Корабельный пастор
Иероним Шванц

Имп. и корол. генер. консул
в Мессине советник
Альберт Лосс».

«Луиза!

Опять ты будешь ругаться, что письмо в свинском виде, но, честное слово, я не хочу оскорблять твою аккуратность. Я просто грязен, как сто свиней, и не имею

[1] Письмо штурмана линейного крейсера «Гебен» Эгона Пф... жене, от 5 августа 1914 г., переданное в Германию через Швейцарию с дипломатическими вализами германского посольства в Италии, как и следующее завещание.

времени отмыться. Мы целые сутки грузили уголь, и эта каторжная погрузка вымотала из меня все кишки.

Наш сумасшедший адмирал решил переть напролом к туркам. Конечно, по дороге нас слопают англичане, и за адмиральское геройство, как и всегда, мы поплатимся нашими матросскими шкурами. Хорошо, что в Средиземном море нет крокодилов и я не доставлю такой гадине удовольствия полакомиться рагу из электрика Баумана.

Если я действительно сдохну, тебе будет трудно, я знаю, но посоветовать что-либо утешительное не могу. Пожалуй, выходи тогда замуж за Гельмута. Он честный и непьющий парень и социал-демократ. К тому же хороший слесарь. По правде сказать, я предпочел бы, чтобы ты оставалась моей женой, уж очень ты ладная баба, но я понимаю, что женщине в двадцать шесть лет хранить верность скелету, да еще плавающему в море, — трудно и скучно. Продай какому-нибудь идиоту-коллекционеру из филистеров шелковые ширмы, которые я привез из Китая. Говорят, дураки платят за них хорошие деньги, и Гельмут сможет взять тебя с приданым. Я шучу, а на сердце скверно, ведь я люблю тебя, женка. Чорт бы подрал бога, кайзера и адмиралов с их собачьей грызней и этой проклятой войной! Пусть бы сворачивали скулы друг другу, а нас, матросов, оставили бы в покое.

Кончаю, нужно сдавать письмо. Вместо подписи отштемпелевываю тебе на память мой большой палец, вымазанный кардифом.

Вот — полюбуйся (отпечаток пальца)». [1]

8

Командующему силами Средиземного моря адмиралу Мильну. Командующему отрядом броненосных крейсеров контр-адмиралу Трубриджу. На траверзе Таормины.

---

[1] Письмо электрика Баумана с линейного крейсера «Гебен». Передано, чтобы избежать цензуры, матросу немецкого угольщика «Грета Мейер». Вручено адресатке лишь через три недели, когда мобилизованный экипаж „Греты Мейер" прибыл в Германию через Швейцарию.

18 ч. 10 мин. 6 августа 1914 г. Встретил «Гебена», «Бреслау», выходящих Мессинского пролива курсом S. Мое место: φ 38°45′ N, λ 15°33′O. Пропустив противника с левого борта вперед, на дистанции девяносто кабельтовых, следую за ним. Жду приказаний и присылки поддержки невозможностью самостоятельно вступить бой. Прошу сообщить, объявлена ли война, могу ли открывать огонь случае сближения немцами дистанцию боя?

Келли».[1]

«Командующему силами Средиземного моря. На борту «Defence». Отрантский пролив. 6 ч. 30 мин. 5 августа 1914 г. Доношу, что в 6 ч. 10 мин. принято радио Адмиралтейства об объявлении нами войны Австрии. В виду этого прошу директив дальнейшей дислокации. Полагаю необходимым оставаться проливе, считаясь возможностью выхода австрийских сил из Полы навстречу «Гебену». Ожидании ваших приказаний прекратил движение к югу, держусь на месте.

Трубридж».[2]

«Лондон. Адмиралтейство. Адмирал Трубридж срочно донес мне о получении радио, извещающего об объявлении нами войны Австрии. В виду непринятия этого радио мною прошу подтверждений и разъяснения положения, так как случае военных действий с Австрией необходимо держать отряд Трубриджа в северном секторе Адриатики для наблюдения за австрийцами и удержания их от намерения выйти на помощь Сушону.

Мильн».

«Война объявлена. Продолжайте держаться за противником, не вступая бой, вне пределов досягаемости. Дальнейшие директивы получите.

Мильн».[3]

---

[1] Радиограмма командира легкого крейсера «Gloucester», коммэндера Келли.

[2] Радиограмма командующего броненосным отрядом, контр-адмирала Трубриджа.

[3] Радиограмма адмирала Мильна командиру «Gloucester», коммэндеру Келли.

«На борту «Inflexible». 19 ч. 09 мин. 6 августа 1914 г. Командующему броненосным отрядом, контрадмиралу Трубриджу. Нахожусь линейными крейсерами миноносцами тридцати пяти милях севернее Мариттимо. Связи запрещением Адмиралтейства пользоваться итальянскими территориальными водами, пройти Мессинским проливом не считаю возможным. Огибаю Сицилию с веста. Думаю пройти к весту до траверза Бизерты, имея основание полагать демонстративном движении Сушона Константинополю обман и возможный поворот Гибралтар. Объявлении войны Австрии мне неизвестно. Срочно запросил у Адмиралтейства директив и разъяснений. Наблюдайте за австрийцами, не исключен вариант прорыва Полу.

Мильн».

«На борту «Defence». 21 ч. 18 мин. 6 августа 1914 г. Настаиваю разрешении спуститься к S. Со стороны австрийцев никаких признаков военных действий не замечаю, вследствие чего отход к северу полагаю излишним и вредным для операций против «Гебена». Окончательном решении Сушона следовать Дарданеллы нет никаких сомнений. «Gloucester» все время доносит курсе противника. Считаю возможным перехватить принудить к бою ночью, когда силы моего отряда будут уравновешены немецкими в ночной обстановке возможностью сблизиться на дистанцию средней артиллерии. Замедление считаю тяжкой ответственностью перед родиной королем.

Трубридж».

«Флагману Средиземного моря адмиралу сэру Бэрклею Мильну. 13 ч. 10 мин. 6 августа 1914 г. Принятое Трубриджем радио Адмиралтейства о войне с Австрией передано ошибочно по небрежности чиновника канцелярии. Со стороны Австрии пока никакой угрозы нет. Отрядом Трубриджа распоряжайтесь по своему усмотрению соответствии имеющимися у вас общими директивами.

Первый морской лорд

Луи Battенберг».

«На борту «Inflexible» 13 ч. 29 мин. 6 августа 1914 г. Адмиралу Трубриджу. (По неизвестным причинам задержана передачей, вручена адресату лишь в 3 ч. 13 мин. 7 августа.) Сообщение о войне с Австрией ошибка. Указание ответственность считаю бестактным, прошу помнить подчинении. Следовать на S разрешаю.

Мильн».

9

Командир «Gloucester», коммэндер Келли, не принадлежал к числу заметных и пользующихся блестящей репутацией офицеров британского флота. Крейсер, которым он командовал, считался кораблем с неважными традициями. Келли был на счету оригинала, чудака и «немного не в себе». Это было ясно из того, что он всерьез занимался научной деятельностью и музыкой. У него была отличная исследовательская работа «О микроскопическом строении клетки красных водорослей Саргассова моря», доставившая ему премию всемирного микробиологического конгресса, и он выступал в публичных концертах как виолончелист. С точки зрения традиций флота это был, конечно, странный офицер, и он вряд ли получил бы даже легкий крейсер, если бы не случайная протекция высокопоставленной дамы, оценившей музыкальное дарование оригинала.

Несмотря на незавидное реноме, Келли держал корабль в образцовом порядке и даже, к крайнему неудовольствию подлинных моряков, взял в 1913 году королевский приз на крейсерских стрельбах. Но высокое начальство все же не доверяло необычному командиру, играющему на струнном инструменте, и назначило к нему старшим офицером, для порядка, лейтенанта-коммэндера Мак-Стайра, самого отъявленного бурбона флота.

Кроме того на «Gloucester» было принято ссылать со всех кораблей провинившихся матросов, от которых открещивались порядочные командиры, и Келли безропотно принял эту обузу.

Отношения между командиром и старшим офицером были в высокой степени странными. Келли не замечал Мак-Стайра и никогда не разговаривал с ним иначе, как

по делам службы. Но Мак-Стайр не обижался и даже был доволен этим. Извилины его мозга были доотказа заполнены уставом корабельной службы, и ни одна посторонняя мысль уже не могла найти себе в них места.

Командир и старший офицер, стоя на противоположных крыльях ходового мостика, разглядывали в бинокли густеющую на востоке мглу, сквозь которую быстро бежали две накрытые дымом, чуть заметные черточки — немецкие крейсера. Они начали теряться из виду в наступающей ночи, но за кормой «Gloucester» медленно выползала из морских глубей неправдоподобно огромная малиновая луна, обещавшая через час прекрасную видимость. Высокий обрывистый берег Греции уже высветлялся лунными бликами.

Коммэндер Келли смотрел на берег и соображал, что для удобства дальнейшего наблюдения, чтобы иметь противника освещенным луной, нужно будет зайти между берегом и немецкими кораблями. Он отнял бинокль от глаз и позвал:

— Лейтенант Мак-Стайр!

— Есть, сэр!

— Поворот влево шесть румбов. Заходить между берегом и немцами.

На лице старшего офицера отразилось удивление, смешанное с нерешительностью. Пришедшие в движение немногочисленные мозговые извилины привели ему на память сравнительные тактические данные немецких крейсеров и своего корабля. Приказание командира положить руля, идя на сближение, походило на самоубийство. Один удачный залп одиннадцатидюймовых башен немца, и «Gloucester» разлетится на атомы со старшим офицером, командой, командиром и его виолончелью. Вот что значит иметь командиром музыканта! Мак-Стайр почувствовал неприятный холодок и осмелился сказать:

— Разрешите доложить, сэр, что на этом курсе мы попадем под продольный залп «Гебена».

Коммэндер Келли дружелюбно улыбнулся своему помощнику, и эта улыбка совершенно не гармонировала с содержанием его ответа:

— Если вам не нравится подобный оборот, Мак-

Стайр, я могу застопорить машины на две минуты, спустить двойку с суточным запасом консервов и дать вам возможность съехать на берег. До него не больше пятидесяти кабельтовых, — при энергичной гребле вам понадобится не больше двадцати часов, чтобы добраться. А я попрошу у адмирала другого старшего офицера.

Впервые Келли разговаривал со своим помощником в таком тоне. Мак-Стайр вытянулся, но попробовал обидеться.

— Я считал бы, сэр...

Но Келли не дал ему договорить.

— Когда у вас будет свободное время, возьмите в каюту счеты и считайте с утра до вечера в свое удовольствие. А сейчас — исполнять приказание, лейтенант Мак-Стайр! — и, к удивлению лейтенанта, у командира оказался железный голос.

Мак-Стайр бросился к переговорной трубке и машинному телеграфу. Людей на мостике мотнуло вправо, крейсер, кренясь, покатился влево, и за кормой вспенилась дымящаяся фосфором на сиренево-стальной воде крутая дуга поворота.

— Довести ход до двадцати двух узлов!

— Есть, сэр! — Мак-Стайр покосился на командира с опаской и злостью.

Медленно нагоняя, крейсер привел немцев на правый крамбол.

— Так держать! — бросил Келли.

— Есть так держать!

Теперь луна, уже побледневшая и засиявшая в полную силу, серебрила борты немецких кораблей и освещала облака их дыма.

— «Бреслау» ворочает влево! — крикнул сигнальщик.

Коммэндер Келли вгляделся. Четыре трубы немецкого крейсера, с кормы казавшиеся одной, теперь медленно разделялись. «Бреслау» склонялся совсем к берегу с явной целью отжать преследователя, загораживая ему путь.

— Сбавить ход до шестнадцати узлов! Привести за корму противника!

Лихорадочный озноб машин, сотрясавший мостик, утих. «Gloucester» понемногу отставал. Дым «Бреслау»

стлался теперь под самым берегом, закрывая корабль, и определить его курс было невозможно.

— Ход двадцать узлов! — скомандовал Келли.

Снова «Gloucester» стал нагонять. И сигнальщики разом подали голос:

— «Бреслау» ворочает на пересечку!

— На дальномере! Дистанцию! Правый борт, приготовиться к открытию огня! Дистанция двадцать кабельтовых!

В голубом лунном дыму крейсера пролетели друг мимо друга правыми бортами, совсем близко. Орудия правого борта ползли за движением «Бреслау», как вытянутые в ночь огромные указательные пальцы, показывающие на врага. Расстояние опять увеличилось.

— Игра в кошки-мышки, — сказал вполголоса командир «Gloucester» и сладко зевнул. — Я пойду к себе, Мак-Стайр. Запросите адмирала Трубриджа о его месте. Если у немцев появятся признаки храбрости, пошлите за мной рассыльного.

Коммэндер Келли спустился в походную командирскую рубку. На маленьком столике уютно урчал на синем пламени спирта серебряный кофейник. Китайский вентилятор-ханка гнал по рубке влажную свежесть. Было тихо и мирно, как дома. Коммэндер Келли выпил две чашки кофе, загасил спиртовку, выключил верхний свет и вынул из футляра, стоявшего в углу, виолончель. Смычок нежно припал к струнам, вызывая их на лирический разговор.

За дверью рубки на мостике, сигнальщики, повернув головы, прислушивались к размагничивающей истоме «Элегии» Масснэ.

— Играет, — сказал один не то с удивлением, не то с сочувствием.

— Самое время, — отозвался другой, — как раз ярмарка, только балагана нехватает.

10

Ночь. Тишина. Ровный и нежный гул воды за бортом. Легкий посвист ветра в штангах и сигнальных фалах. Теплый блик лампочки в нактоузе главного компаса.

Молчаливые тени сигнальщиков и дальномерщиков неподвижно стоят на постах. Тихо ступая, шагает поперек мостика вахтенный начальник.

На правом крыле мостика, на ветерке, камышевое кресло. В нем белая тень. Голова склонилась на грудь, руки вытянуты на ручках кресла. Адмирал Мильн дремлет в прохладе.

Три линейных крейсера идут средним ходом от Мальты в Кефалонии, держа курс на Санта-Маура. Курс не понятен ни командирам крейсеров, ни офицерам. Если адмирал имеет намерение перехватить противника, — давно пора ворочать на О и давать полный ход.

Вполголоса, приглушенные, но хлесткие, уже ползут к кают-компании дерзкие разговорчики насчет флагмана. Уже обмолвился кое-кто, «что старая развалина потеряла от страха соображение» и что «Адмиралтейству пора бы открыть приют для впавших в детство флотоводцев». Офицеры раздосадованы. Ускользает возможность прекрасного дела, не связанного ни с каким риском. Три линейных крейсера с тринадцатидюймовыми орудиями могут разнести «Гебен» с дистанции, на которую немец бессилен докинуть свои залпы. Операция сулит максимум достижений при минимуме неприятностей. Слава первой победы британского флота, приказы о производстве и наградах за доблестный бой, портреты участников в «Illustration». А старый растрепанный тюфяк спит на мостике и, кажется, совершенно равнодушен к морской славе и чести британских кораблей.

Рассыльный связист подымается на мостик и докладывает вахтенному начальнику о двух принятых радиограммах адмиралу.

Вахтенный начальник берет у рассыльного бланки и мгновение стоит в нерешительности возле сладко посапывающего во сне флагмана. Потом, решившись, осторожно трогает адмирала за плечо.

Мильн открывает глаза. Секунду они пусты и далеки от корабля, мостика и вахтенного. Но при взгляде на бланки наливаются лунной зеленью и жизнью.

— Свет!

Тонкий луч фотофора дрожит на бумаге.

Адмирал Трубридж запрашивает место флагмана и сообщает, что вследствие непонятного запоздания ди-

рективы о спуске к S он сомневается в возможности настигнуть «Гебен» до рассвета, пока темнота позволяет его броненосным крейсерам состязаться с немцами.

Сэр Бэрклей Мильн подымает руку и смотрит на светящийся циферблат часов. Два часа десять минут. До рассвета три часа. Нервная судорога сводит подтянутый усталостью рот адмирала. Он кладет радиограмму в карман тужурки.

— Дальше!

Вторая от Келли. Командир «Gloucester» доносит, что его место: φ 38°11′ N, λ 18°02′ O, преследование продолжается. Он просит сообщить место линейных крейсеров и предполагаемое место, где они могут нагнать «Gloucester».

— Ближе свет!

Адмирал пишет ответ. Вахтенный начальник читает из-под пальцев:

«Коммэндеру Келли. Опасаюсь за ограниченность ваших запасов топлива, полагаю в виду этого дальнейшее преследование рискованным. При недостатке топлива разрешаю преследование прекратить, отходить на Занте, где догрузиться. Имею намерение настичь противника в Архипелаге, в районе Наксос — Денуза.

Мильн».

— Отправьте сейчас же, просите срочного ответа.

— Есть, сэр!

Вахтенный начальник берет бланки и мнется, не уходя. Осторожно спрашивает:

— А по первой радиограмме ответа не будет, сэр?

Адмирал молчит. После паузы раздраженно обрывает:

— Не будет! Идите!

Вахтенный начальник отходит, вызывает рассыльного. Адмирал снова задремал. Крейсера неторопливо пожирают водную пустыню, тяжело покачиваясь на длинной волне.

Через полчаса Мильна будят вторично. Получен ответ от коммэндера Келли.

— Читайте!

Вахтенный начальник наклоняется над листком:

«Запаса топлива при экономическом ходе противника хватит вплотную до Дарданелл, вследствие чего преследование продолжаю. Сообщаю: «Гебене», видимо, авария в машине, ход упал до четырнадцати узлов. Условии быстрого подхода линейных крейсеров, считаю положение Сушона безнадежным.

Келли».

Вахтенный начальник выжидательно смотрит на флагмана и завидует Келли. Молодчага, хоть и музыкант! Висит на хвосте у немца — и только. Храбрый парень! И вдруг вздрагивает от неожиданности.

Адмирал вырывает у него радиограмму, комкает, швыряет на палубу, и офицер слышит злобный хрип старика:

— Болван! Шарманщик!

Адмирал подымается, трет замлевшие колени и идет в рубку. Второй рассыльный появляется в отверстии трапа. Поднятое лицо его залито припадочной синевой наплывающего рассвета.

— От адмирала Трубриджа, сэр.

Вахтенный начальник догоняет адмирала у двери рубки. Радиограмма Трубриджа коротка и удручающа:

«Наступлением рассвета необнаружении противника прекратил преследование невозможностью вступления бой вверенного мне отряда дневное время».

Вахтенный начальник ждет новой вспышки адмиральской ярости. Скверная история! С каких пор английские адмиралы стали бояться дневного света? Но, к изумлению офицера, адмиральские морщины разглаживаются тихой улыбкой, и вахтенный начальник слышит фразу, повергающую его в окончательное остолбенение:

— Славу богу, хоть с этим уладилось.

Адмирал скрывается в рубке. Вахтенный начальник стоит несколько секунд в столбняке, качает головой и отходит к компасу, у которого старший штурман берет пеленг на появившийся слева на горизонте парусный бриг. Вахтенный приближается вплотную к штурману, и оба офицера тихо разговаривают, опасливо оглядываясь на рубку.

11

За жалобным воплем горна возбуждающим стрекотом рассыпаются по кораблю колокола громкого боя. Стремглав несутся люди по коридорам и палубам, проваливаясь в люки и вылетая из них, как оперные дьяволы в едком дыму, застилающем крейсер.

Коммэндер Келли смотрит сквозь прорезь боевой рубки, насвистывая «Элегию» Масснэ, и наблюдает движение противника. Уже около получаса, как «Бреслау» начал маневрировать, зигзагируя вдоль генерального курса, и сейчас полным ходом идет напересечку «Gloucester». Высокий белый бурун кипит у его форштевня, штурман определяет его ход в двадцать семь узлов, максимум, что может дать немец. В бинокль Келли видит, как на корму немецкого крейсера бегут люди. Минута, и какие-то круглые предметы летят с кормового среза в кипящую струю винтов.

— Они сбрасывают мины на нашем пути, — говорит Мак-Стайр.

Стоящий у обвеса сигнальщик Доббель подымает руку к фуражке.

— Разрешите доложить, сэр! Это не мины. Они берут нас на пушку, бросая бочки.

Коммэндер Келли поворачивается и смотрит на сигнальщика.

— У вас прекрасное зрение, сигнальщик. Вы правы. Оставаться на курсе!

— Есть оставаться на курсе!

— Я вас не видел раньше, — продолжает Келли, приглядываясь к сигнальщику. — Вы недавно на корабле?

— Точно так, сэр! Я переведен позавчера с «Warrior» за служебный проступок.

— За служебный проступок? — Коммэндер Келли заинтересован. У сигнальщика хорошее, умное лицо рассудительного и дельного парня. — Что вы натворили?

— Я, сэр, неудачно выразился насчет войны, — отвечает сигнальщик, продолжая спокойно смотреть в глаза командиру; — я сказал, сэр, что война совершенно не нужна матросам.

Коммэндер Келли едва заметно улыбается.

— Вот как... Я думаю, сигнальщик, что война не нужна офицерам так же, как и матросам. Я лично пред-

почитаю мир. Но, когда начинается война, мы должны оставить наши частные мнения при себе и исполнять наш долг. Полагаю, что на моем корабле вы сможете служить именно так и станете отличным служакой.

— Постараюсь, сэр, — отвечает сигнальщик Доббель. — Хотя господин старший офицер и считает, что я вонючая падаль, которая ни на что не годится.

Командир переводит взгляд на старшего офицера. Коммэндер Келли не любит, когда матросов обзывают такими унизительными словами. Коммэндер Келли — ученый и музыкант, и вульгарная прямота дисциплинарных методов флота иногда претит его тонкой натуре. Под его взглядом рыжие зрачки сеттера мутнеют, опускаются и лейтенант Мак-Стайр, багровея, отходит в угол рубки.

— «Бреслау» замедляет ход, — как бы не замечая сцены между старшим и командиром, докладывает сигнальщик.

Немецкий крейсер явно отстает от своего мателота, стараясь этим сковать преследователя, отвлекая его внимание от линейного крейсера, продолжающего итти двадцатиузловым ходом.

Коммэндер Келли решается. Нужно вступать в бой, чтобы либо вынудить противника приблизиться под защиту «Гебена», либо заставить последнего повернуть на помощь младшему.

— Поднять стеньговые! Открыть огонь!

Старший артиллерист дает установку. Щелкают автоматы, орудия плавно идут по борту, задираясь кверху. Гнусавое блеянье ревунов обрывается в резком громе, дергающем мостик. Брызнув осколками, разлетается вдребезги колпак на лампе у штурманского столика.

Коммэндер Келли подносит бинокль к глазам. Из-за длинного и низкого корпуса «Бреслау» высокими белыми привидениями встают три пристрелочных всплеска.

— Перелет два кабельтова, — доносится в переговорную трубку.

— Два меньше, два влево, — командует артиллерист, и одновременно с новым выплеском грома вдоль немецкого крейсера пробегает соломенная молния ответного залпа. Бой начинается.

Столбы воды от немецких недолетов обрушиваются

на рубку. Это почти накрытие. После второго немецкого залпа «Gloucester» вздрагивает. С полубака в щель рубки ударяет душным и горячим газом, доносятся крики.

— Попадание в палубу, сэр, у первого орудия, — докладывает Мак-Стайр. Губы у него неудержимо прыгают, рыжие глаза с ненавистью смотрят в спину командира. Конечно, сейчас крышка! Нужно с ума сойти, чтобы ввязываться в бой на паршивой посудине с такими противниками.

— Недолет! Два накрытия! — бесстрастно хрипят с дальномера.

— Левый борт — поражение! Огонь по готовности.

Артиллерист сияет, как маленькая девочка, которой дали шоколадку. Пушки беспрерывно грохочут, сотрясая крейсер. Занятый «Бреслау», коммэндер Келли приказывает склониться на пять румбов влево, приводя противника на траверз, когда слышит взволнованный возглас сигнальщика Доббеля:

— «Гебен» ворочает на шестнадцать румбов!

Весь закутанный дымом, гигантский силуэт линейного крейсера, описав крутую кривую, несется теперь на сближение с маленьким «Gloucester». Ослепительно вспыхивает залпом весь борт немца. Шесть огромных светлозеленых столбов воды взвиваются кверху в двух кабельтовых от крейсера, и ветер доносит урчащий рев разрыва. Второй недолет — ближе, у самого борта. Взметенные падением фонтаны долго стоят в воздухе, не опадая. Мак-Стайр закрывает глаза, мысленно прощаясь с миром, в котором так приятно было жить. И сразу ободряется, услыхав команду Келли:

— Право руля! Самый полный!

«Пронесло!» — шумно вздохнув, думает Мак-Стайр. Командир уходит от обстрела. Орудия замолкают. Дрожа и шатаясь, как пьяный, крейсер рвется во всю прыть, увеличивая расстояние. Выпустив еще два залпа, «Гебен» уменьшает ход и поворачивает снова на восток. На горизонте из дымки вырезается острый обрыв мыса Матапан. «Gloucester» тоже начинает ложиться на старый курс преследования, когда на мостик вбегает мокрый и грязный старший механик.

— Авария, сэр! Лопнул центральный паропровод ле-

вой машины. Машина вышла из строя. Раньше, как через шесть часов, исправить не удастся.

«Gloucester» сразу теряет ход и уныло волочится по морю под одной машиной. Погоня дальше невозможна. Топнув ногой и жалобными глазами взглянув на уходящие немецкие корабли, коммэндер Келли упавшим голосом командует:

— Поворот шестнадцать румбов! Курс вест-норд-вест 310°! Горнист, дробь! Боевую готовность разоружить. Команде разойтись и обедать.

На стенных часах рубки тринадцать часов пятьдесят минут седьмого августа тысяча девятьсот четырнадцатого года.

12

«Берлин. Императорская главная квартира. Счастлив донести вашему величеству, что суда Средиземноморской дивизии, после беспримерного героического похода и боя с английским легким крейсером, благополучно встали на рейде Стамбула, имея на стеньгах германские флаги. Население турецкой столицы оказало морякам наших доблестных судов исключительно восторженное внимание. На всю жизнь сохраню мой китель, испачканный руками турецкого населения, несшего на руках меня и моих офицеров от пристани до султанского сераля. Команда и офицеры вели себя выше всяких похвал и, забывая нечеловеческие труды и усталость, готовы в бой по первому слову вашего величества во славу Германии. Установлена теснейшая связь с Энвер-пашой и комитетом младотурецкой партии, мечтающей о счастьи сражаться рядом с нами против общего врага.

Командующий Средиземноморской дивизией контрадмирал

Сушон.

Стамбул, 11 августа 1914 г.»[1]

«Константинополь. Адмиралу Сушону. Благодарю вас, офицеров, наших храбрых матросов и на-

---

[1] Телеграмма адмирала Сушона императору Вильгельму II.

селение Константинополя. С вашей помощью я покажу врагам, что Германия — меч в руке бога. Поздравляю крестом «Pour le Mérite» второй степени.

Вильгельм, император и король».[1]

«Командующему силами Средиземного моря. Общественное мнение взволновано слухами о прорыве «Гебена» в Дарданеллы. Не считаете ли возможным возобновить энергичное преследование и достичь уничтожения противника, по возможности до прохода пролива.

Черчилль».[2]

«Грета!

Я поражен твоим невниманием. Мы пришли в Константинополь после легендарного похода, но, явившись в посольство, я не нашел воротничков, о которых просил тебя. Ты могла бы позаботиться отправить их в день получения моего письма восточным экспрессом, и я не был бы вынужден являться к султану на прием в воротничке сомнительной новизны. Немецкая женщина должна быть внимательной к мужу, борющемуся за великое будущее Германии. Запомни это и вышли воротнички немедленно. Мы проскочили необыкновенно удачно. Англичане, хвастающие на весь мир своим флотом, вели себя, как последние дураки, и дали нам возможность улизнуть из-под их носа. Мы им еще покажем. Только один английский крейсер вел себя храбро, и я могу отозваться о нем с уважением, хотя он и враг. Остальные показали себя идиотами и трусами. Нам придется, вероятно, провести здесь долгое время. Напоминаю тебе, Грета, о долге верности своему мужу, который обязателен для каждой немки, и думаю, что ты о нем помнишь. Будь здорова, —

---

[1] Телеграмма Вильгельма II адмиралу Сушону.

[2] Поперек текста телеграммы рукой адмирала Мильна размашисто написано карандашом одно слово, позже тщательно замазанное штемпельной краской и не поддающееся прочтению. При исследовании фотоаналитическим путем удалось разобрать слово «скотина». Неизвестно, к кому оно относится. Вряд ли дисциплинированный адмирал мог так выразиться об отправителе телеграммы, морском министре Британии.

спешу на бал у визиря. Пожалуйста, не забудь о воротничках, чтобы мне не пришлось напоминать вторично, а я не люблю невнимания.

Эгон».

«Дорогой Отто!

Мы уже в Константинополе, как ты знаешь из газет. Нас здесь принимают, как героев Илиады. Я видел таких гречанок, что пальцы оближешь. Страстные, как черные пантеры. Я очень прошу тебя прислать мне профилактические пилюли доктора Геймана. Кстати, я поручаю тебе присмотреть за Гретой. Женщины так легкомысленны. Обнимаю тебя и желаю здоровья.

Эгон».[1]

13

Полубак убирали после боя. С десяток матросов столпились у рваной дыры в верхней палубе, пробитой снарядом «Бреслау». Из нее еще курился дымок, — только кончили тушение пожара в канатной камере. Матросы, переговариваясь, заглядывали в глубину пробоины.

— Ловко рвануло!

— Я стоял у орудия подающим. Всех нас шарахнуло в сторону, как будто огромной подушкой двинуло. Диксона прямо влепило мордой в затвор, зубы вдрызг посыпались, а орудийный унтер-офицер Хидди вылетел за борт. Успел ухватиться за стоечный трос, висит на одной руке и орет. Выволокли его на палубу, а он все не выпускает троса и орет. Облили ведром воды — очухался.

— Хорошо, что только эта дырка. Могло быть и больше.

— Ну и немцу здорово попало. Я сам видел, как наши залпы рвались у него на кормовой надстройке.

— А Фред сыграл в ящик!

— Ему вывернуло все кишки и раскидало по палубе, как вьюшку троса.

---

[1] Письмо штурмана линейного крейсера „Гебен" Эгона Пф... брату Отто Пф..., аптекарю в Берлине, Шарлоттенбург.

— А ну! Какого чорта здесь базар? Разойтись! Продолжать приборку!

Играя квадратными плечами, подходил коренастый боцман. Матросы нехотя стали расползаться.

— Теперь горазд орать, а во время боя в штаны клал, — сказал кто-то негромко, но внятно.

— Это еще что за скотина язык распускает! Это вы, Стокс?

— Никак нет, боцман.

— Молчать! Я отлично знаю ваш паршивый козлиный тенор. Неделю без берега!

Сигнальщик Доббель пожал плечами.

— Не думается ли вам, боцман, что людям, которые только что играли в «здравствуй-прощай» со смертью, можно дать другое поощрение?

— Что? — спросил боцман, надуваясь. — Это у кого вы брали уроки такой философии, вы, штрафованная кобыла?

— К счастью, вы несомненный мерин, и я не буду иметь от вас потомства. Это были бы отвратительные ублюдки.

Матросы покатились. Боцман надвинулся вплотную, подымая кулак, но, увидев в холодных зрачках Доббеля предостережение, сплюнул и отошел, гнусно выругавшись.

— Здорово вы его, Доббель! — маленький рябой матрос оскалил плохие зубы. — Эта зверюга только и норовит сунуть кулачищем в челюсть. Если бы они все были такие же храбрые с немцами, Германия испугалась бы и не стала воевать.

Чернобровый красивый матрос положил руку на плечо Доббеля.

— Вы все время на мостике, Доббель, и вам слышнее разговоры начальства. В чем дело? Почему, имея отличные линейные крейсера, наши адмиралы не могли прислать нам хорошую поддержку, и наш злосчастный ночной горшок должен в одиночку драться с этим немецким чудовищем?

— Всех разговоров начальства я не знаю, — ответил Джекоб Доббель, — но кое-что я слышал, а кроме того у меня есть голова на плечах. Я знаю, что Келли все время вызывал по радио поддержку и указывал адми-

ралу Мильну наш курс. Келли храбрый и порядочный парень. Но, однако, никто не пришел нам на помощь. Господа офицеры любят в мирное время втолковывать нам о счастьи отдать жизнь за отечество. Но сами они готовы на это только до первого боевого выстрела. В самом деле, пожалуй, куда приятнее плавать в мирной обстановке, избегая опасной встречи с врагом. Гораздо удобнее предоставить ее одинокой маленькой посудине, от потопления которой никому не будет убытка. Можно лихо раздуть в донесении сказку о геройской гибели самоотверженного экипажа, который, плавая в воде, пел хором «God, save the King», причем даже дисканты не фальшивили. Такими рассказами хорошо баюкать маленьких детей и матросов. Нас сознательно оставили на растерзание «Гебену». Большие корабли начальство не хочет пускать в бой. Они слишком дорогие игрушки и существуют для страха, как пугала на огороде. Маленькие же лоханки будут тонуть во славу Англии. А наша на особом положении. Во-первых, треть экипажа штрафные, от которых неплохо вообще избавиться, во-вторых, платить половинную пенсию семьям мертвецов куда выгоднее, чем полный оклад живым.

Джекоб Доббель разгорячился. Внезапно жесткой ухваткой сжали сзади его локоть, и в ухо проурчал хриплый бас:

— Отлично. Вы повторите все это непосредственно старшему офицеру, вы, пророк Иеремия. Очевидно, с вас мало того урока, который вам задали на «Warrior». Из вас вышибут эти фокусы!

Узловатая топорная боцманская ручища безжалостно сминала локоть Доббеля. Сигнальщик обвел глазами матросов. Они втянули головы в плечи и оробело молчали. Доббель грустно и ласково усмехнулся.

— Ну, что же, боцман! Пойдем на файв-о-клок к старшему. До свиданья, друзья! Думаю, что когда-нибудь мы опять встретимся. Привет!

Пять минут спустя часовые вели Джекоба Доббеля по нижнему коридору в карцер. На запястьях матроса тупо побрякивали наручники. Боцман, скалясь усмешкой на широкой морде оттенка копченой ветчины, шествовал сзади.

14

Лондон, 15 августа 1914 года.
По личному составу.

НАГРАДЫ, ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

§ 17. Награждается: Командир легкого крейсера «Gloucester», коммэндер Келли Р. Д., орденом Бани за проявленную исключительную настойчивость и доблесть в преследовании вдесятеро превосходящего силами противника и умелое проведение неравного боя, результатом которого были тяжелые повреждения германского крейсера «Бреслау».

§ 18. Назначается: Членом Комиссии по организации береговой обороны восточного побережья королевства коммэндер Келли Р. Д., с производством в капитаны первого ранга».

«...Что касается Келли, то второго такого болвана и тупицы свет не создавал. Дурак своим усердием поставил нас в почти безвыходное положение, ибо при его упорстве в погоне становилось необъяснимым, как мы утеряли противника. Впрочем, чего можно было ожидать от морского офицера, который занимается микробиологией и игрой на виолончели. Я заткнул его в Комиссию по береговой обороне. Там он, по крайней мере, будет безвреден, ибо Комиссии нечего делать. А орден и производство подсластят ему пилюлю, хотя он до сих пор не может понять своей глупости, до такой степени неповоротливы его мозги».[1]

«Лондон. 17 августа 1914 года. Мы можем с уверенностью сказать: никогда за всю вековую и славную историю королевского флота он не переживал столь постыдного (shocking) и необъяснимого эпизода. В течение многих лет путем огромных жертв, тяжело ложив-

[1] Выписка из частного письма крупного государственного деятеля Великобритании, занимавшего руководящий пост в морском ведомстве в 1914 г. Письмо доставлено автору преподавательницей астрономии в женском колледже в Дублине, мисс Лаурой П., членом Лиги друзей СССР, в ее приезд с группой туристов в Ленинград в 1932 г.

шихся на бюджет империи и кошелек британца, мы создали мощный отряд флота в Средиземном море, противопоставляя свою твердую волю попыткам других держав претендовать на господство в этих водах. В частности, ни для кого не секрет, что три наших новейших линейных крейсера были переброшены на Мальту специально для усиления наших сил, основной и первейшей задачей которых было немедленное уничтожение германской Средиземноморской дивизии в случае войны. И в результате этой гигантской деятельности мощный отряд лучших кораблей допускает «Гебена» и «Бреслау» без всяких помех, если не считать короткого и безнадежного боя доблестного «Gloucester», уйти в Дарданеллы и тем нарушить наши коммуникации с союзной Россией. Мы в праве задать вопрос: с чем мы имеем дело — с несчастной случайностью или с преступной халатностью и бездарностью морского командования? Приветствуя высокую награду, дарованную короной лихому командиру «Gloucester», мы, от имени общественного мнения Великобритании, выражаем твердую уверенность, что будет произведено тщательное расследование этого скандального случая и виновные понесут ответственность по всей строгости закона за упущение, легшее позорным пятном на имя британского моряка...» [1]

«Лондон, 23 августа. Совет лордов Адмиралтейства постановил предать суду, на основании доклада следственной комиссии, командующего отрядом броненосных крейсеров Средиземного моря контр-адмирала Трубриджа, по обвинению в том, что, по небрежению или ошибке, он прекратил 7 августа погоню за уходившим неприятелем»! [2]

«Я готов принять любой приговор, но моя совесть моряка спокойна. Я выполнил все, что надлежало выполнить в условиях, которые создались. Из предъявленных суду приказов, радиограмм, карт и штурманских прокладок курсов совершенно ясно, что мною были приняты

[1] «Морнинг-Ньюз» от 17 августа 1914 г. Передовая «Небывалый позор».

[2] «Таймс» от 23 августа 1914 г. Судебная хроника.

все меры для встречи противника и принуждения его к бою. Старший флагман, адмирал Мильн, не мог своевременно передать мне директиву в ответ на просьбу о разрешении спуститься к югу из отведенного мне диспозицией района наблюдения. В этом тоже нет вины адмирала Мильна, и это опоздание директивы приходится отнести за счет непредвиденных и непреодолимых обстоятельств (force majeur), принимая во внимание малую проверенность радио как средства связи в боевой обстановке. После получения разрешения на преследование противника я немедленно пошел за «Gloucester», но, несмотря на предельный ход, не мог выйти на видимость противника до наступления дня, после чего дальнейшее преследование становилось бессмысленным, так как, имея только артиллерию среднего калибра, не превышающую семи дюймов, я не мог рассчитывать на какой-либо успех против линейного крейсера с одиннадцатидюймовой артиллерией. В лучшем случае мой бой мог быть только демонстративным, как и бой «Gloucester». Без поддержки линейных крейсеров решительное столкновение обращалось в безумную затею, влекущую за собой напрасную гибель пяти броненосных крейсеров с четырьмя тысячами людей. Я прошу суд учесть эти обстоятельства при вынесении приговора и снять с меня позор, падающий на меня и на мое имя в потомстве...»[1]

«ПРИГОВОР ВОЕННО-МОРСКОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ БРИТАНСКОГО АДМИРАЛТЕЙСТВА

...Постановили: во имя бога и короля, младшего флагмана Средиземного моря, контр-адмирала британского королевского флота Трубриджа, 57 лет, семейного, под судом и следствием не бывшего, преданного суду по обвинению в том, что «по небрежению или ошибке он 7 августа 1914 года прекратил погоню за уходившим неприятелем», — считать в означенном небрежении или ошибке невиновным и по суду оправданным...»

---

[1] Стенограмма последнего слова контр-адмирала Трубриджа на суде.

Лорд Керзон. Я уже имел возможность изложить уважаемым джентльменам точку зрения министерства.

Лорд Сельборн *(с места)*. Известно ли министру, что военно-морской суд вынес оправдательный приговор по делу адмирала Трубриджа?

Лорд Керзон *(иронически)*. Да, такие сведения достигли министерства и соответствуют действительности.

Лорд Сельборн. Следовательно, адмирал Трубридж не виновен? Кто же тогда несет ответственность за позорный скандал? Не старший ли флагман, адмирал Мильн?

Лорд Керзон. Я полагаю, что адмирал Мильн выше подозрений.

Лорд Сельборн. Может быть, тогда это вина господа бога?

Лорд Керзон. Министерство не обращалось за разъяснениями к названному вами имени. *(Смех.)*

Лорд Сельборн. А известно ли министру, что общественное мнение Великобритании не удовлетворено подобной мягкостью в отношении преступных деяний?

Лорд Керзон. Мне это не известно. Почтенный джентльмен должен знать, что общественное мнение Великобритании — это ее суд.

Лорд Сельборн. Следовательно, виновных в этом деле вообще не имеется?

(Лорд Керзон наклоняется к скамье министров и несколько секунд разговаривает с Уинстоном Черчиллем.)

Лорд Керзон. Адмиралы выполняли точные инструкции Адмиралтейства. Я сообщаю об этом почтенному джентльмену и дополняю, что вопрос этот не подлежит никакому пересмотру.[1]

15

«Все же случай с уходом «Гебена» остается тенью в нашей морской истории. Но не следует забывать, что

[1] Стенограмма заседания Палаты общин. Запрос лорда Сельборна по делу адмирала Трубриджа.

и Нельсон в 1805 году, озабоченный утверждением своего господства в Сицилии и в восточной части Средиземного моря, выпустил Вильнева на запад точно так же, как Сушон был выпущен на восток. Неудача с «Гебеном» усугублялась еще одним обстоятельством, зная о котором своевременно, мы могли бы исправить причиненный вред: германо-турецкий союз испытывал трения... Однако редко когда мудрое решение, подобное принятому адмиралом Сушоном, более соответствовало обстоятельствам, и редко когда оно сопровождалось столь грандиозными последствиями».[1]

Лондон, 22 апреля 1922 года.

«Сэру Юлиану Корбетту, члену Имперской морской исторической комиссии.

Глубокоуважаемый сэр Юлиан!

С огромным и все возрастающим интересом прочел я первые главы вашего поистине колоссального и несравненного труда по истории наших морских операций во время большой войны.

Блеск вашего изложения, придающего самому сухому материалу увлекательность героического романа, в соединении с высокоавторитетной эрудицией ученого и знатока трактуемых вопросов, ставят ваш труд неизмеримо выше всех вышедших до сего времени материалов о великой войне, повлекшей за собой столь сложные и бедственные для Европы и всего мира последствия.

Тем необходимее, кажется мне, отметить все пробелы и недочеты, которые, совершенно естественно, имеются и в вашем безупречном исследовании и вызваны исключительно его гигантским охватом, при котором самому изощренному уму затруднительно избежать неясностей и неточностей в изложении фактов.

Я заранее прошу у вас прощения, сэр, что прихожу вам на помощь в освещении одного из кардинальнейших событий войны только через два года по выходе вашей книги; почему и мои комплименты вам являются также

---

[1] Sir Julian S. Corbett, History of the Great War Naval Operations, т. I, гл. 3, изд. РИО Военно-морских сил СССР. Перевод М. Л. Бертенсона, Ленинград, 1927.

запоздалыми, но, будучи связан словом по отношению к одному из участников события — сохранить его в полнейшей тайне до его смерти, — я не мог ранее нарушить данное обещание.

Обращаясь к вам, я считаю совершенно лишним предупреждать вас, что мое сообщение не предназначено ни для опубликования, ни даже для обсуждения в самом тесном кругу. Ваша безупречная и высокополезная отечеству деятельность моряка и историка дает мне право и основание изложить вам факты так, как они протекали в действительности, чтобы лично вы не были в заблуждении. Моя подпись, которую я прошу вас немедленно отрезать от письма и уничтожить по его прочтении, даст вам, полагаю, полную уверенность не только в правильности изложения событий, но и в добросовестности их трактовки. Я же, как всякий британский гражданин, имеющий честь, заинтересован в том, чтобы следы истины сохранились. Вполне возможно, что история событий в том виде, как они развертывались, никогда не сможет стать достоянием общественного интереса без вреда для Англии и ее морального престижа, но потомки, которые будут судить нас, должны иметь в своем распоряжении и оправдательный и обвинительный материалы.

Заканчивая этим мое предисловие, я выражаю уверенность, что вы, высокочтимый сэр Юлиан, отнесетесь со всей серьезностью к предмету этого письма, сохранив его содержание между нами двумя.

Вы трактуете в своем труде инцидент с выпуском из Средиземного моря в Константинополь крейсеров адмирала Сушона как роковую стратегическую ошибку, последовавшую в результате неясности положения первых дней мировой войны, излишней централизации управления флотом в руках Адмиралтейства, неправильной и неналаженной связи между флагманами и т. п. причин, принятых в установившейся официальной версии происшествий. Вы даже пытаетесь оправдать стратегический промах адмирала Мильна, аналогируя его с подобной внешне ошибкой Нельсона, упустившего в 1805 году французскую эскадру Вильнева из Средиземного моря в Атлантику. Но, во-первых, вы упускаете добавить, что Нельсон исправил свою ошибку, ибо, сознав, какие беды она может причинить, он с ог-

ромной энергией бросился на поиски Вильнева и, найдя, уничтожил его отряд. Во-вторых, покойный адмирал Мильн, по существу, не нуждается ни в каких оправданиях с оперативной точки зрения, ибо в ходе событий он был совершенно лишен свободы волеизъявления и выполнял чужие предначертания, намеченные злой и преступной волей людей, мнивших себя гениями мировой политики, на деле же оказавшихся самыми глупыми и подлыми персонажами нашей государственной истории. Вы, работая над вашей замечательной книгой, об этих обстоятельствах не были осведомлены.

Если бы покойный сэр Бэрклей Мильн мог руководствоваться собственными оперативными соображениями, «Гебен» и «Бреслау» покоились бы на дне Средиземного моря с первых дней августа 1914 года, и карта мира была бы сейчас иной.

Но адмирал, память и талант которого я глубоко чту, не совершил никакой стратегической ошибки, так же как и его младший флагман — Трубридж, да здесь и не могло быть стратегической ошибки, ибо боевыми действиями руководило не военное искусство, а политика и дипломатия, притом самая бездарная и бесчестная политика людей, потерявших здравый смысл и прозрение грядущего.

В этом деле проявилась вся животная и эгоистическая тупость, свойственная закоснелым мозгам деятелей нашей внешней политики. Совершилось безответственное преступление, породившее в дальнейшем события, которые угрожают нам в будущем еще более тяжелыми катастрофами и, может быть (я молю судьбу отвратить от Англии это испытание), гибелью и распадом нашей империи, судьбой Рима, некогда владевшего полумиром.

Как вы, наверное, знаете, незадолго до войны я был привлечен первым морским лордом к работе в его кабинете для выполнения чрезвычайно серьезных поручений по разработке оперативных планов. В первые дни войны, когда наше вступление в нее было еще под вопросом, [1]

---

[1] Автор письма допускает здесь передержку. Вступление Англии в мировую войну никогда не стояло под вопросом. Затяжка объявления войны была сознательной провокацией Германии на такие шаги, после которых мирный исход был невозможен, так как в Англии опасались, что, если Германия будет уверена в наличии в числе

поздно ночью на четвертое августа мне подали радиограмму адмирала Мильна, которую вы, конечно, имели в числе бывших в вашем распоряжении документов. В ней он запрашивал у Адмиралтейства недостающих в секретной инструкции директив на случай попытки прорыва Сушона в Константинополь, предлагая бросить линейные крейсера к мысу Матапан на пересечку единственного возможного, при таком обороте, курса противника. С точки зрения стратегии это было весьма разумное предложение, свидетельствующее о том, что флагман Средиземного моря был на высоте положения как флотоводец.

Я немедленно направился с радиограммой к первому лорду, будучи уверен, что просимое разрешение будет немедленно дано. Первый лорд, прочтя радиограмму, снял телефонную трубку, чтобы информировать одно высокопоставленное лицо о запросе адмирала. Из односторонних реплик первого лорда я мог заключить, что это лицо неожиданно запротестовало против просимого адмиралом разрешения и просило первого лорда ничего не предпринимать до его приезда.

Через час я был приглашен в кабинет первого лорда, где, кроме него, застал двух наших крупнейших политиков того времени, которых я, по понятным вам соображениям, буду обозначать в дальнейшем буквами Икс и Игрек, ибо подлинные их имена вам станут ясны из содержания разговора.[1]

Первый морской лорд взволнованно ходил из угла в угол и при моем появлении сказал своим гостям:

— Вы сами не понимаете, что вы хотите сделать и к чему это может повести.

Дальнейший разговор я постараюсь передать с той стенографической четкостью, с какой он врезался в мою память.

Х. Ваша светлость, вы великолепно рассуждаете как

ее противников Англии, она может отказаться от мысли начать войну. *Примеч. автора.*

[1] Чрезвычайно затруднительно расшифровать эти имена. По некоторым признакам можно было бы полагать, что автор письма имеет в виду Черчилля и Керзона, но с полной уверенностью стать на эту точку зрения нельзя, ибо мы не можем базироваться только на предположениях. *Примеч. автора.*

военный, я вас понимаю. Но есть и другие предпосылки, обязывающие к иному решению.

У. Мы не для того вязали в течение долгого периода этот сложный, опасный и дорого стоящий узел, чтобы, разделавшись с угрозой ББББ,[1] навязать себе на голову еще более мрачные осложнения.

Первый морской лорд. Проблематические осложнения, сэр! Они могут быть и не быть. А мой план уничтожает в корне вековое недоверие между двумя странами. Ваш же отрезает нас от единственной коммуникации с мощным сухопутным союзником, у которого дешевый лес, хлеб, металл и огромные человеческие резервы, каких у нас нет. Мы и сейчас сидим, как нищие, и раздумываем — можно ли нам истратить во Франции одну дивизию или две? Это в то время, когда нужно бросить сотни дивизий. Германию нужно давить на материке.

Х. Она и будет раздавлена на материке, но без таких жертв с нашей стороны.

Первый морской лорд *(раздраженно)*. Чорт возьми! Страх перед привидениями?

У. Если вы, ваша светлость, считаете Россию привидением... Вся наша политика за триста лет базировалась на немедленном отсекании русской загребущей лапы, как только она протягивалась к Босфору. Ясно же, что кто владеет проливами, тот владеет Малой Азией. Мы пошли на эту войну, чтобы ликвидировать немецкие поползновения к Багдаду. А теперь вы хотите, чтобы в самом начале войны Россия уселась своим чугунным задом на Дарданеллы, предъявляя требование на них в качестве «фактически обладающего». Если это случится, кто помешает русским, заключив с Германией сепаратное соглашение, за счет каких-нибудь прибалтийских провинций и части Польши, приносящей русскому прави-

[1] ББББ — сквозная железная дорога Берлин — Бизантиум (Константинополь) — Багдад, спроектированная немцами и грозившая английскому империализму прямым выходом германской экспансии к малоазиатским рынкам и зонам английского влияния, а также к Суэцкому каналу и Египту, что ставило под угрозу английское владычество в Египте, а отчасти и в Индии. Дорога эта, на которую немцы уже получили концессию у турок, была одной из основных причин вражды между империалистами Англии и Германии, поведшей к мировой войне. *Примеч. автора.*

тельству только неприятности, выйти из войны и бросить нас на произвол судьбы? Если она завладеет самостоятельно путями из Черного моря, мы не выбьем ее оттуда никакими усилиями. Мы можем терпеть в качестве владельца проливов только больное и слабое государство, находящееся под нашим контролем. А Россия контролировать себя не позволит!

Х. Конечно, ваша светлость! Пока проливы не у России, мы имеем козырь заставить ее быть верным союзником до конца, дразня проливами, как осла мешком сена, привязанным перед его мордой.

Первый морской лорд *(резко)*. У вас не вполне корректный язык для разговора о союзниках Британии, сэр!

Х. *(смеясь)*. Каков союзник, таков и язык. Совершенно достаточно с нас того, что мы связались с этими дикарями.

У. Я думаю, что это частный вопрос. Но наш друг вполне прав. Даже если после войны нам придется отдать проливы России, это нужно сделать так, чтобы до разрушения вселенной она чувствовала себя обязанной нам и кланялась в ноги за щедрый подарок, сделанный от доброго сердца. За него мы, конечно, вытребуем полный отказ от всякой активности в Афганистане и Персии. Мы возьмем концессии на бакинскую нефть. Нефть ведь нужна вам для флота, ваша светлость? Турбинные корабли не едят уже честного старого английского угля.

Первый морской лорд. Это выше моего понимания. На мой взгляд — это предательство.

У. Слово, утерявшее свое значение в политике, ваша светлость! Один вопрос... Вы верите, что Германия будет побеждена?

Первый морской лорд. Иначе не стоило начинать войну.

У. Тогда рассудите здраво. Пока не наступит развязка, корабли адмирала Сушона будут нашим полномочным патрулем по охране проливов от русского медведя.

Первый морской лорд. Тогда я не понимаю, зачем нам нужно было реквизировать уже достроенные турецкие дредноуты? Разве турки, обладая сильным флотом, не могли оберечь проливы от русских, соблюдая

нейтралитет? Зачем же передоверять дело смертельному врагу? Зачем закрывать себе самим пути снабжения?

У. Турецкие дредноуты нужны нам самим, и вы, ваша светлость, знаете это лучше, чем кто-либо. Пропуская же в Дарданеллы немецкие корабли, мы тем самым ослабляем германский флот на главном театре и даем туркам, без ущерба для себя, не только хорошие корабли, но и блестящий личный состав. Турки, получив свои дредноуты, погубили бы их даже в бою с более слабым русским Черноморским флотом. Турецкий флот — это смешной нонсенс. Это анекдот! Кому, как не вам, знать донесения главы нашей морской миссии в Стамбуле, адмирала Лимпуса. Он достаточно красочно описывает, как турки обращаются с кораблями. Им лень закрывать и открывать бесчисленное количество дверей и люков в непроницаемых переборках, и они снимают все двери и горловины и еще прорезают в переборках дыры для удобства сообщения. Вы с палубы можете попасть в бомбовый погреб, не открыв ни одной двери. Вы представляете себе встречу такого флота с русским, который после Цусимы научился прекрасно стрелять и маневрировать и привел в полный порядок материальную часть? Полчаса боя — и русские у Босфора. А отнять взятое с боя трудней, чем не дать непринадлежащее.

Первый морской лорд. Чорт возьми! Я умываю руки. По-моему, это глупость.

Х. Через неделю вы сознаете сами, что это единственный нормальный выход из положения. Не упрямьтесь и продиктуйте директиву Мильну.

Первый морской лорд. Диктуйте сами. Моя голова неспособна придумывать неджентльменские вещи.

У. *(усмехнувшись)*. Ваша светлость! О, романтика девятнадцатого века! Политика есть политика, ваша светлость, и только она может определять в наши дни боевые операции. Время эффектных военных жестов ради жестов прошло... *(Обращаясь к Х.)* Диктуйте, сэр!

Мне предложили сесть за пишущую машинку и продиктовали текст радиограммы, который я не забуду до гробовой доски. Я же и зашифровал ее потом флагманским шифром Мильна.

Вот она, от слова и до слова:

«Правительство предлагает ни в коем случае не вы-

водить линейные крейсера восточнее 19° восточной долготы. Имеются все данные за намерение адмирала Сушона итти в Константинополь. По особым соображениям вы не должны препятствовать выполнению этого плана, обеспечив, однако, видимость случайной неудачи преследования.

Трубриджу предложите не покидать Отрантского залива, тактическим оправданием какового распоряжения будет данная по ошибке радиограмма об объявлении войны Австрии. Форрейн Оффис считает присутствие германских судов в Турции гарантией и тормозом русских поползновений к десанту и захвату Босфора прежде времени. Поэтому принимайте бой с немцами только на направления Гибралтар — Пола, оставляя путь на восток свободным, ограничиваясь в этом направлении, как сказано, демонстрацией и показом флага. Текст шифра уничтожьте по прочтении».

— Подпишите, — сказал Х., подвигая бумагу первому морскому лорду.

— Я поставлю мою подпись последней, — сказал первый лорд с болезненной усмешкой. — Я еще не научился подписывать фальшивые кредитные билеты.

У. передернул плечами и сухо сказал:

— Как вам угодно, ваша светлость.

Я был тут же предупрежден о тайне и ответственности за нее, на что я, взволнованный и потрясенный, ответил лорду Х. очень резко, что, служа во флоте его величества двенадцать лет, я не нуждаюсь в таких предупреждениях со стороны кого бы то ни было. Мне было приказано итти шифровать телеграмму.

Выходя, я слышал, как Х. с циничным смешком сказал первому морскому лорду: «Ваша светлость, поздравляю вас с потерей невинности».

Теперь, после моего рассказа, я полагаю, вам стало ясным то, что так глухо и бегло изложено в вашем труде.

Нерешительность, сменившая первоначальную энергию адмирала Мильна, необъяснимые перерывы связи, «ошибочные» радиограммы, отказ от поддержки храброго, но совершенно не осведомленного о положении коммэндера Келли, который своим лихим преследованием вися на плечах немцев, около полутора суток спутывал все карты, так как, имея его в погоне, нельзя было удо-

влетворительно объяснить неоказание ему помощи. К счастью для авторов этого безумного плана, Келли отстал, получив тяжелое повреждение в машине, помешавшее ему продолжать гонку. Но и так он сделал превосходящее его возможности дело, за что и был убран с флота на берег, — из опасения, что такой не в меру храбрый и честный моряк может еще раз нарушить «государственные интересы».

Дальнейшее вам известно. Вы знаете, что скоро было осознано роковое значение этого преступного плана. Мы бросились исправлять сделанное и уложили в Дарданеллах семьдесят тысяч людей, цвет австралийского и новозеландского корпусов, и ряд кораблей, но, не добившись результата, ушли с позором, равного которому также не было в нашей истории. Предоставленная самой себе и отрезанная от нашего снабжения, Россия не выдержала и распавшись, родила то страшное для нас явление, которое, невзирая ни на какие преграды, расползается по всему миру, захлестывая и нас, и в первую очередь наши колонии. Почва Англии накаляется и колеблется.

И подумать только, что все эти катастрофы, все беды, обрушившиеся уже на мир и еще угрожающие ему, произведены на свет бесчестностью двух негодяев, двух самых грязных мошенников, каких знала Англия! Я смотрю на наше будущее с чрезвычайной тревогой, которую не пытаюсь даже скрывать.[1]

Совсем на днях мне пришлось прочесть несколько русских газет, в которых помещены различные статьи мистера Ленина. Меня поразила в них одна фраза о непримиримых противоречиях, раздирающих мир капитализма. Мистер Ленин говорит, что у молодой русской республики есть одно обстоятельство, облегчающее ей

---

[1] Истерика автора письма и его филиппики против бесчестности британских политиков свидетельствуют, что, при хороших намерениях, ему совершенно чуждо подлинное понимание исторических процессов. Автор не способен уяснить себе, что беды, обрушившиеся на капиталистический мир, обязаны своим происхождением не двум негодяям, а всей системе капиталистического государства, в которой честных государственных деятелей вообще быть не может, в силу присущей такому государству системы продажности и бесчестия во всех отраслях государственного аппарата. Автор, видимо, сознает уже неизбежность гибели своего класса, но еще не способен понять ее причины. *Примеч. автора.*

борьбу с наступлением международной реакции. Он утверждает, что мы бессильны раздавить коммунизм не только потому, что боимся своего пролетариата, но и потому, что мы никогда не сможем договориться об общих действиях. Если отбросить резкие и неджентльменские выражения, свойственные полемическому стилю, в которых он именует нас «международными бандитами, акулами мирового империализма, рыцарями мирового грабежа» и т. д., то приходится с горечью признать, что под коркой этих варварских ругательств скрыт вполне справедливый жестокий приговор всему нашему общественному строю.

Не дай мы распасться императорской России, опоре династических идей и консерватизма, мы не стояли бы сейчас на краю пропасти, считая с тоской минуты, которые остались нам до падения в нее, и падения безвозвратного.

Эти мысли угнетают меня в одинокие вечера размышлений, и я не вижу никакого исхода, гарантирующего не только спасение, но хотя бы отсрочку конца.

Прошу вас, сэр, принять уверение в моем искреннем почтении.

P. S. Еще раз позволю себе рассчитывать на полную тайну нашей переписки, к которой побудило меня личное уважение к вам и желание осветить вам, как ученому, один из интереснейших политических моментов истории империи». [1]

16

«...Наши долгие и дружеские беседы также были приятны мне, и я очень рад, если моими рассказами о моем личном участии в эпопее «Гебена» и «Бреслау» я мог быть вам полезен. Но я думаю, что вы преувели-

[1] Автор этого письма к создателю истории английского флота во время мировой войны — лорду Корбетту — неизвестен. Подпись его, согласно его просьбе, отрезана Корбеттом от последнего листка. Нужно думать, что расшифровка имени автора будет чрезвычайно трудна, так как Корбетт ныне умер. В списках работников кабинета первого морского лорда нет фамилии, которую можно было бы заподозрить в авторстве. Видимо, работа, веденная автором в Адмиралтействе, велась им секретно и нештатно, в дополнение к другой должности на флоте. *Примеч. автора.*

чиваете значение моих сообщений. В конце концов, я рассказал вам несколько печальных происшествий моей биографии, дал беглую и неполную характеристику командира «Gloucester», коммэндера Келли, которого я тоже знал больше понаслышке, так как служить на «Gloucester» мне пришлось всего три дня, и, наконец, указал вам на некоторых лиц, могущих пролить свет на неясные детали этой мрачной истории великобританской «честности». Если все это вам пригодилось, дорогой кэмрад, тем приятнее мне. Но после вашего последнего посещения мне вдруг захотелось дополнить мою историю о том, как я попал в Советский Союз. Она не имеет отношения к вашей теме, но эта часть моей жизни так красочна с точки зрения приключений, что я решил записать ее. Если она не пригодится вам, передайте кому-нибудь другому.

Отсидев после «Gloucester» три с половиной года в морской каторжной тюрьме, я был освобожден по амнистии в ознаменование перемирия и направлен на крейсер «Кокрэн», шедший в Архангельск, как нам объявили, для помощи законному русскому правительству в его борьбе против банд разбойников и убийц, именующих себя большевиками. Я не имел тогда понятия о России и русских делах, но у меня не было и никакого желания защищать чье бы то ни было «законное» правительство, ибо я уже убедился на личном опыте, чего стоят все эти господа. В Архангельске мы занимались обстрелом мирных рыбачьих селений, в которых якобы сидели таинственные большевики. Спустя неделю меня списали с крейсера в особый карательный отряд, где, к моему изумлению, подвизался мой «старый друг» Мак-Стайр, ходивший уже в коммэндерах. Он тоже, казалось, был поражен и не слишком доволен таким подчиненным. Через два дня мы вышли в поход на какое-то село, которое взбунтовалось против русских офицеров, представлявших там правительство севера России, и выгнало их вон. Мы захватили село без сопротивления, подвергнув его предварительному кинжальному обстрелу из пулеметов по распоряжению Мак-Стайра, хотя по нас не было сделано ни одного выстрела.

Когда мы вошли в село, по улицам валялись трупы людей, застигнутых в панике нашими пулями. Ни при

ком из них не было оружия. Я вошел в одну из маленьких изб вместе с моим соседом по шеренге, Джемом Бультоном. Стекла крошечного окна были выбиты пулями. У стола, склонясь головой на доски, сидела женщина, льняные волосы которой разметались по плечам. Из виска на стол стекала кровь, смешиваясь со сметаной, вылившейся из опрокинутого горшка. Мы с Джемом взглянули друг на друга. Я вспомнил Средиземное море. Как медленно действовали там наши адмиралы против немецких крейсеров, и какую быстроту мы развивали здесь, в расправе с безоружными крестьянами и женщинами! «Как вы думаете, Джем?» — спросил я. «Пожалуй, так же, как и вы, Джек», — ответил он. Мы вышли из избы. Мак-Стайр распоряжался, согнав к деревянной церкви пятерых жалких людей в грязных полушубках. «Это главные большевики, — сказал он с неподражаемо важной идиотской мордой, — мы сейчас расстреляем их». Он вытащил из кобуры маузер и стал размахивать им. Потом поглядел на нас и сказал: «Рядовые Бультон, Хавкинс, и вы, и вы, — тут он стал тыкать пальцем в людей, — зарядите винтовки и марш за мной. Вы тоже пойдете со мной, Доббель. Вам это будет полезно для прочистки мозга». Мы окружили бедняг, дрожавших от страха, и повели их в лес. Там, выбрав полянку, Мак-Стайр поставил их у дерева, а нам приказал выстроиться напротив. Когда он подал команду «наизготовку», я выступил из шеренги и спросил: «Разрешите узнать, сэр, за что, собственно, мы должны расстрелять этих людей и в каком уставе британскому солдату предписано заниматься такими делами?». Мак-Стайр позеленел и заорал на меня: «Молчать! Марш в строй!» Но я ответил, что не пойду в строй и не подниму винтовки, пока не получу точного ответа, и что другие тоже не хотят стрелять, пока не узнают, в чем дело. Тогда он снова полез за своим маузером. Но знаете, эти пистолеты имеют иногда скверную привычку застревать в кобуре, а у меня винтовка была наготове и заряжена. Словом, вышло так, что я прочистил ему мозги пулей раньше, чем он успел прочистить мои. Тогда я посмотрел на наших ребят и на приговоренных. Они пучили на меня глаза. Я подошел к одному из русских, очень худому и болезненному человеку, и сказал ему по-английски:

«Руку, дружище!» Он не понял слов, но понял жест. А пятью минутами позже мы все шли тайной тропкой в расположение партизанского отряда большевиков. Но остальные испугались и среди пути возвратились к отряду, и не в пору. Дураков расстреляли, как я узнал позднее.

Вот и вся моя история. Я остался навсегда в Советском Союзе. Я узнал толком, за что борются русские рабочие, и понял, что в начале войны я мало соображал и судил о политике, как глухой о соловьином пении. Компартия дала мне новую жизнь и новые мозги. Если вам понадобятся еще какие-нибудь сведения от меня, я с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю. Я хорошо усвоил русский язык, меня учила жена, которая, как вы знаете, русская. Но литературу я мало читал, так как читать мне все же еще трудновато. Я ходил часто в театр и, между прочим, видел вашу пьесу «Разлом» о восстании русских матросов и много пережил хороших чувств. Меня очень интересует ваша работа, и я очень досадую, что не могу помочь вам достать все подлинные документы, без которых, я думаю, вам будет трудно составить вашу повесть. Заходите, когда хотите, дорогой кэмрад Лавренев, я и жена всегда рады вас видеть.

С товарищеским приветом

Джекоб Доббель.

«Дорогой товарищ Доббель!

Вы чрезмерно скромничаете, называя свою помощь мне «незначительной». Она дала мне возможность узнать ряд бытовых деталей британского флота и взаимоотношений между его людьми. А ваш блестящий и полный добродушного юмора рассказ о коммэндере Келли дал исчерпывающую характеристику этого бедного неудачника флотской карьеры, излишняя и прямолинейная храбрость которого оказалась столь неудобной для руководителей извилистой британской политики.

Меня очень тронуло ваше волнение по поводу того, что мы не смогли добыть «подлинные» документы, относящиеся к моей повести. Но поверьте, я этим не слишком опечален. Для меня важно то, что могущие быть опротестованными в хронологических и текстуальных

деталях мои «документы» никем не могут быть опровергнуты в их внутренней правде, в их общем соответствии действительности. Одно — вполне историческое — заявление Керзона в ответ на запрос лорда Сельборна, что британские адмиралы, пропустив Сушона в Дарданеллы, действовали согласно директивам Адмиралтейства, является прямым признанием существования предательского в отношении союзника заговора британской дипломатии.

«Велика тайна, в которой рождается война», — писал Ленин. Я попытался путем логического сопоставления известных всему миру событий приподнять краешек этой тайны над частным эпизодом морских операций — эпизодом, повлекшим, однако, роковые последствия для всего плана капиталистической «военной забавы» тысяча девятьсот четырнадцатого года.

Этот эпизод — любопытная иллюстрация ленинской же мысли о невозможности прочного сговора в мире империалистических хищников, раздираемом противоречиями звериного эгоистического стремления к грабежу за счет других.

Этот мир обречен на гибель. Сознание гибели звучит даже в письме неизвестного автора к лорду Корбетту, пессимистически расценивающего будущее своего государства и своего класса. Это дает мне добрую надежду, что в недалеком будущем архивы капиталистического мира, хранящие огромный груз подлости, предательства и насилия, раскроют свои двери победившей революции, и мне удастся получить те подлинники документов, о недостатке которых вы жалеете. Тогда мы прочтем их вместе и вместе исправим неточности работы, в которой я, с большой признательностью, считаю вас моим другом-соавтором.

Борис Лавренев».

Севастополь.
24 июля 1934 г.

Н. Тихонов

ВОЙНА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Самые простые тела могут быть сложными.

Химия.

1. ВПЕРЕД!

— Вперед! Вперед! Скоты, вперед! Не ленись!

Лежавшие солдаты немедленно вскочили, неуклюже согнувшись, пробежали между кустами и упали. Им ничего больше не оставалось делать. Приказ надо было исполнить сейчас же. Они упали. Это называлось перебежкой.

Лейтенант Рупрехт Шрекфус, называемый друзьями просто «Руди», стоя на одном колене позади стрелковой цепи, был наполнен азартом неопытного и прирожденного воина. Руди Шрекфус мог всерьез говорить только о войне. В другое время он был просто служакой, был лейтенантом, он играл в карты, делал долги, жил не по средствам, хвастался автомобилями, которых не имел, рассказывал о своих конюшнях, которых у него никогда не было; если иной раз он загонял солдата в госпиталь, исполосовав по всем правилам, то это происходило от вспыльчивого нрава, не больше.

— В больших семьях, — говорил он в оправдание, — дети тоже иногда страдают от случайного бессердечного отношения родителей, подмастерья бьют учеников, чтобы научить их уму-разуму, а мужья — жен, чтобы

направить их на правильный путь. Все в этом мире благополучно, особенно в такой боевой летний день.

Ему нравилось сегодня все: жаркое солнце, кусты, в которых залегла его цепь, каски в защитных зеленых повязках, небо, сухие рокоты перестрелки, бутафорские удары орудий, скакавшие на горизонте ординарцы, свистки, трещетки, заменявшие пулеметы, — вся пестрая бестолочь маневров — это все-таки были только маневры, а не война, которую он обожает и которую он никогда не видел.

— Форт синих смолкает... Внимание, Руди, — закричал ему товарищ, махая биноклем.

На свете есть дисциплина и армия. Деревня сеет для нее хлеб, мастерские шьют обмундирование и обувь, заводы поставляют оружие и снаряды. Да здравствует новый шанцевый инструмент, новые матовые ремни на мундире и нововведение — колючая проволока.

Ему сигнализировали с левого фланга. Он вскочил:

— Вперед! Вперед!

Солдаты бежали, не удерживая в голове устава. Они бежали слишком открыто.

— Владек! — Руди выходит из себя. — Нагни голову, винтовку не так высоко. Славянский гусь! Познанская требуха! Владек, тебе я говорю!

Немного утомительно вести такой образ жизни несколько часов подряд, но зато форт будет сейчас взят. Если судить по упорному надсадному шуму пушек и по трещеткам, изображающим пулеметы, по густоте цепей, ползающих в траве, сзади которых ползают такие же, как Шрекфус, лейтенанты, — форт окружен.

Цепи обрастали восклицаниями. Неожиданно перед ними возникло то, к чему они стремились все утро: серая стена гласиса, бруствер, бойницы. Над всем этим серым, как макет, видением стало молчание. Неприятель расстрелял все патроны.

И тогда Руди крикнул последний раз, уже ни с кем не согласуя:

— Вперед! Штыки!

У него в голове плясала картина побоища, равного штурму Меца или Седана. Это было простительно: он не ел с утра. Мечты голодного человека, как известно, болезненно обостряются.

Сейчас его стрелки ворвутся в серое укрепление, его будет благодарить за службу господин майор Хольст, к нему навстречу выйдет комендант и отдаст саблю. Гордись, Руди! Сколько разговору! Сколько воспоминаний!

Великие германские солдаты добежали до рва, спустились в ров и остановились в недоумении.

Вместо белого флага на стене форта появились пожарные. Штурмующие растерянно переглядывались. Штурм прервался. Это комедия или это война? Почему здесь пожарные с кирпичными щеками и большими северными глазами, в которых вот-вот появится усмешка. Но нет, она не появляется. У них в руках брандспойты, направленные на победоносных солдат Руди.

— Что это значит? — закричал он в бешенстве, — что это значит?

На форту раздалась команда, и брандспойты начали извергать громадные потоки мутной воды. Водяные кулаки ударяли в каски, в лицо, в плечи, в грудь. Солдаты бросали винтовки, падали, спотыкались, фыркали, как лошади, и бежали изо рва, да, они бежали, мокрые и униженные, мутная вода била им в спину. Это было вне правил игры, это был анекдот, и о нем долго будут говорить во всех военных клубах от Рейна до Вислы. Сам Руди был мокр с ног до головы. От утреннего изящества не осталось и следа.

— Что за животное придумало пустить в дело пожарных?

— О, за это ответит комендант, даже если он сошел с ума!

— Где посредник? Куда он девался? Где же в самом деле посредник?

Форт весь, как на пожаре, сверкал пожарными касками. Брандспойты неистовствовали. Атака была явно отбита. Ни один солдат не приближался к гласису. Они толпились за сценой. Они ругались вполголоса, стреляли в воздух, обтирали винтовки и выжимали штаны. Руди почти плакал. Вода стекала за гордый воротник. Мундир был испорчен, матовые ремни поблекли. Точно Руди упал с понтонного моста в реку и его выудили багром за ногу. У него не было слов — он метался среди мрачных и мокрых стрелков.

Через кусты шел господин майор Хольст, и с ним шел посредник. Повязка на рукаве делала его почти иностранцем, он был на особом положении. Он был неуязвим и бессмертен. Посредника нельзя было ни убить, ни взять в плен. Он же на каждом шагу наносил армии громадные неприятности. Ординарец вел его лошадь в поводу — рыжего гунтера с белым пятном на лбу.

— Имею честь доложить. . . — Руди не находит голоса, он готов итти под арест сразу, он понимает, что его мокрый вид шокирует армию. Случай слишком необыкновенен. Первый раз в германской армии на императорских маневрах случается такая дикая выходка.

— Отбой!

Ворота форта раскрылись. Склонный к полноте человек с фиолетовым лицом и надутыми щеками, согнув нос, как клюв ястреба, выходит в сопровождении своего штаба. Посредник кричит ему, не скрывая злорадства:

— Отличная защита! Остроумнее не придумаешь! Благодарю вас! Вы открыли Америку.

Мокрые солдаты и офицеры толпятся сзади. За плечами коменданта выстроились пожарные каски. Люди шептались не зря. Уже комендант получил прозвище «Саксонского клоуна». Почему — не знал никто, но всем нравилось прозвище.

Фиолетовое лицо коменданта начинало ясно синеть, только глаза, расширенные волнением, смотрели твердо в лицо посредника. Может, он решился выкинуть еще какой-нибудь номер, которого не придумает никакой полевой устав.

Господин майор Хольст хочет начать говорить. Господину майору не удается начать говорить, потому что откуда-то принеслось слово, действующее как удар тока — мокрые солдаты застыли в рядах, мокрые офицеры превратились в изваяния, посредник бросил руки по швам, его лошадь перестала перебирать ногами. Форт замер. Каски пожарных перестали блестеть.

— Кайзер! Внимание! Кайзер!

Серебристая шинель плотно обтянула плечи мерно шагавшего человека. Тяжелые глаза не мигали. Бронзовое лицо, на котором щетинились плоские усы тигра с копьеобразными концами, чуть скуластое, обращало окрестности в неподвижность. Все застывало, терялось

и тянулось перед этим, идущим в звонком цокоте шпор, фантомом. Он придумал себе все: походку, биографию, Германию. Он хотел придумать судьбу. Но всякий раз, когда он заносил руку, глаза начинали мигать, и это был плохой признак. Каждый раз такое волнение имело название. Название последнего волнения было Агадир. Из-за этого маленького африканского сухого имени он мог двинуть армию, но глаза замигали.

Он не был пророком, хотя в поисках судьбы его и тянуло на восток. Его тянуло правильно. Судьба лежала на востоке. Там она имела имя, место и дату. Эта судьба называлась Сараево. И еще она называлась: эрцгерцог, но сейчас этот эрцгерцог гулял в Ишле и имел маленький насморк, только маленький насморк. Человек в серебристой шинели шел прямо к Шрекфусу, не сворачивая никуда. Собственно он шел к армии, ибо из всех причуд он любил одну игру больше всех, эта игра была армия, это была любимая игра, ради нее существовало все. Если бы ее отняли от него, ее — блестящую, муштрованную, белоштанную, сине-зелено-черно-мундирную, с громкими пушками, с храпом лошадей и вытянутыми по нитке рядами, — что бы ему осталось в жизни?

Правда, в жизни он хотел быть всем: художником, артистом, писателем, инженером, профессором, моряком, путешественником, — он рисовал картины — плохие, читал экспромтом стихи — плохие, ездил в Иерусалим — неудачно, писал статьи — неудачно, давал советы фабрикантам — легкомысленно. Он одевался в одежды разных профессий, он перепробовал все, от профессорской мантии до синего пиджака яхтсмена — и все это было не то. Серебристая шинель, высокие сапоги и стэк — сабли он не любил, он не владел правой рукой, она была как мертвая, сухая, глупая рука. Шинель, сапоги и каска — это шло к нему больше всего, и это называлось еще: война. И разве не для войны он готовил все эти живые игрушки, которые когда-нибудь двинутся, подчиняясь красным молниям штабных карандашей на картах Франции, Бельгии, Польши, Англии?

Разве не для него исползал лейтенант Руди Шрекфус все поля и кусты вокруг этого несчастного форта? Разве не для него пожарные не пожалели воды для защиты? Разве не для него сошел с ума комендант?

Кайзер приближался с огромной свитой. Золотоклетчатые мундиры гусар, черные сияния дощечек на уланских киверах, черное сукно артиллеристов, расцвеченный штандарт, монументальные адъютанты, зеленые мундиры пехоты, множество палашей и шашек и причудливых шпор сопровождало его.

Комендант форта был синь, точно его поразила молния. Он был синь весь до кончиков пальцев.

Кайзер прошелся глазами по мокрым каскам и мундирам. Посредник знал, что первый вопрос будет обращен к нему, но он ошибся.

Кайзер подошел к коменданту и остановился. Он любовался пронзительной синевой комендантского лица, он любовался верноподданным страхом боевой машины.

— Комендант, — он протрубил это слово, и бронзовые щеки его стали еще суше, — капитан.

— Отто фон-Штарке, ваше величество, — прерывающимся голосом ответил комендант.

— Ты, кажется, наколдовал здесь дождь?

Нет, Руди не хотел бы быть на месте коменданта. Проклятое сукно, если его хорошо пропитать водой, оно долго удерживает холод. Руди незаметно ёжился.

— Ваше величество, — без запинки кричал в исступлении Штарке, собрав все морщины на лбу, — как офицер резерва германской армии, я должен непрерывно совершенствоваться в способах ведения боя. Израсходовав все патроны и все меры к защите вверенного мне форта, я прибег к способу, позволившему мне отбить атаку превосходных сил противника. Принимая во внимание условность маневренного боя...

Штарке задохся. Кайзер ударил стэком по сияющему сапогу. Это был жест из его коллекции жестов, и все знали, что этот жест означает недовольство.

— Да, принимая во внимание условность маневренного боя, ты дал им холодный душ. Плохой психолог...

Комендант снова обрел голос. Он уже ревел от волнения и преданности:

— Принимая во внимание условность маневренного боя, я приказал поливать ряды атакующих струями горящего масла.

Тут наступила тишина, в этой тишине водяной анекдот перерастал в нечто большее, но было еще время ос-

тавить его анекдотом. Все зависело от положения стэка. Стэк поднялся, но не ударился о сапог, он повис в воздухе, потому что рука уперлась в бок и сложилась в кулак. Этот жест обозначал бодрое раздумье.

— Возможно ли это? — сказал кайзер. — Возможно ли жечь горящим маслом атакующие войска?

Анекдот умер. Осталось одно недоумение. Осталось ответить на безумный, собственно говоря, вопрос по всем правилам субординации, но вся свита не знала, что ответить. Кивера и каски зашептались. Анекдот возвращался снова во всей силе, теперь он делал смешным и кайзера.

И тогда кайзер, взглянув в глаза коменданту, скороговоркой сказал: «Благодарю тебя за службу» и повернулся, как на шарнирах, к свите, не успевшей даже переглянуться:

— А теперь мы разберем маневр, господа.

Сухо треснули ножки складных стульев, полевых столов и пюпитров, зашуршали карты, извлекаемые из полевых сумок и портфелей. Наступил торжественный час итога.

Штарке обтирал лоб и сгонял морщины, дрожа, как заведенный мотоцикл. Плотный и очень высокий офицер взял его за руку, приблизил тонкие бритые цинковые губы к его уху и сказал отчетливо:

— Вы изложите ваш проект точно и возможно скорее и вручите его мне. Понятно, капитан?

2. МУДРЕЦЫ

В доме профессора Бурхардта гости засиделись очень поздно. Виноват в этом был сам хозяин. Он говорил больше всех.

— Все обстоит благополучно, — между прочим, говорил он, — средняя продолжительность жизни увеличивается, число неизлечимых болезней падает, конституции государств год от году улучшаются. Все это делает закон превращения энергии, закон сосредоточения человека на пользу государства. Люди, занимающиеся сразу несколькими профессиями, ощущаются как случайности...

— Однако, — сказал влюбленный в свое дело Фольк,

историк культуры, — однако, если мы вспомним тысяча трехсотые годы, то из пяти самых великих художников: Чимабуэ, Иоанна Пизанского, Арнольфо, Андрея Пизанского и Джотто — четыре были одновременно живописцами, архитекторами, скульпторами, временами даже инженерами. Позднее живопись поглотила все. Законы Рима — Амстердама — Фьезоле, живопись, светотень и колорит, Рафаэль, Рембрандт и Фра-Анжелико охватили мир. Германские музеи приняли их в свои хранилища. Вы хотите сказать, что реализм завладел жизнью. Посмотрим же область той же живописи. Ван-Эйк был несомненно первый реалист. Конечно, не итальянцы. Итальянцы слишком много видели руин и старых статуй, чтобы быть реалистами до конца. Земля, которая под своим тонким слоем хранит то обломок барельефа, то отбитую руку, не может ощущаться до конца реально. Нидерландцам было легче. Там уверенно выставляли богатые купцы и их жены некрасивые лица и тяжелую роскошь одежд на картинах. Это, конечно, реализм. Но на тех же картинах Ван-Эйка, Петера Кристуса мы видим выпуклые зеркала, висящие на стене, в которых отражаются фигуры, удлиненные и искаженные, а у Петера Кристуса отражается даже то, чего нет на картине — отражаются улица и фигура на ней. Таким образом выход из реализма был найден четыреста лет тому назад, и вот возьмите путь от этих выпуклых зеркал до Кандинского и футуризма. Автопортрет Дюрера. Вы видите даже отражение окна в глазах, и все-таки это не реально. Если форма доведена до полной чистоты, то это уже не реально. Значит футуризм от бессилия? Может быть, и да. Я хочу сказать, что пути искусства исчерпаны, нужно начинать сначала. Великое потрясение войны может возродить германское искусство. Рост реклам и развитие промышленности вряд ли оплодотворят наших художников. Я могу учить как историк только прошлому. Правда, мы имеем еще изумительных некоторых мастеров, но это умирающее племя. Требуется свежая кровь.

Бурхардт взглянул на свои стены. С них смотрели на него зализанные портреты Лембаха, наивные аллегории Морица Швинда, тяжелобедрые валкирии Каульбаха, толстозадые кельнерши, выдаваемые Штуком за вакханок.

— Мы сами живем в могучий век, — сказал Бурхардт, — и я не жалею, что не живу во времена Джиотто или Генриха Птицелова. Если даже на целые столетия остается действующий термин — то содержание его изменяется совершенно. Читали вы послание папы римского католическим рабочим союзам? Он, конечно, против христианских союзов, где объединены католики и протестанты, и он решительно против всякой экономической борьбы. Воображаете, какая сумятица в рядах центра и какая свалка в христианских союзах, где одни спешат целовать Ватиканскую туфлю, а другие плюют на нее. Это уже не крестовые походы. Папа подчинен статистике. Статистика обняла все. Германия учитывает каждую мировую цифру и делает вывод. Я бы не сказал, что это вывод убийственный для нее. Мы можем смотреть на будущее самыми светлыми глазами.

— Простите, уважаемый профессор, — слегка покраснев, громко сказал Эрнст Астен, называемый друзьями за свою женственность просто Эрна. При его молодости бросаться в атаку на Бурхардта было почти неприлично, но пусть смотрит Алида и господа профессора, он должен напасть. — Я хочу сказать, пока массы находятся на границе нищеты, говорить об оптимизме странно. Возьмите рост самоубийств. Они не только не прекращаются, они неизменно растут. А смертность детей? В Германии есть области, где в первый год умирает около половины новорожденных.

— Я вам могу сказать, что это значит, молодой человек, — ответил Бурхардт, — не будем только горячиться. Индустриальное развитие буржуазного общества стоит в самой близкой связи с увеличением самоубийств. Рост эгоистических стремлений, страшная борьба за материальное благополучие, голод и нищета, ненасытная жажда наслаждений, пониженное чувство государственной ответственности и патриотизма, особенно среди неимущих.

— Добавьте бессилие личности в лабиринте капиталистического города, — сказал Астен, — угнетение рабочих.

— Вы слишком молоды, чтобы перебивать меня, — Бурхардт повысил голос, — все, что я перечислил, я знаю как ученый. Бессилие личности я не исследовал. Это ме-

ня не интересует. Я даже скажу вам цифры очень характерные для успокоения вспыльчивых и увлекающихся молодых людей — в Германии на сто женских самоубийств из-за любви приходится только двадцать три мужских. Почему же мне не быть оптимистом? Закон жизни отбирает сильнейших. Мы, германцы, не боимся воздействия частных фактов. Мы воспитываем свою волю не сомнительным самоистязанием славян, не арифметической истиной латинян и не спортивной мускульной логикой англичан. Вспомните французского кумира Вольтера, говорившего, что в Лондоне сто религий в одном соусе, а в Париже сто соусов и ни одной религии. У нас есть религия, у нас есть страна, у нас есть мировая задача. Что же значат частные факты? Молодой человек, — Бурхардт усмехнулся, — в европейских государствах смертная казнь, как правило, производится при помощи гильотины, так будет вам известно, молодой человек, что в Пруссии до сих пор употребляют простой топор. Простой топор. И я уважаю палача не за его искусство, а за то гражданское мужество, какое дает ему такую уверенность, что его рука не дрожит. Германский палач воспет германской поэзией, и в этом есть нечто от национального духа, как мы его понимаем. Я только объективен, как должна быть объективна наука. Последний съезд криминалистов признал смертную казнь в системе европейских законов совершенно необходимой. Наука знает только последовательность, молодой человек.

— Позвольте мне, господин профессор, — сказал юноша с квадратным лицом, иссеченным шрамами, — я слышал недавно доклад уважаемого доктора фон-Троппау о том, что Америка открыта не Колумбом, а германским выходцем Христианом Мюнстерским, отплывшим с дружиной исландских братьев Зенно из Рейкиавика задолго до Колумба. Мы сидели и слушали, потеряв головы от гордости.

— В этом нет ничего невероятного, — сказал Фольк, — если это даже и легенда, то вполне справедливая. Латинская раса в области действий всегда приходит на готовое. Возьмите хотя бы мысль Наполеона о создании по существу Карловой империи. Самая большая легенда двадцатого века — это сегодняшняя Германия. И когда

эта легенда ворвется в жизнь, это будет самое величественное зрелище века. Конечно, не надо понимать меня вульгарно. Мы не будем подражать черногорскому князьку, который, чтобы сварить себе яйцо на завтрак, поджег Европу. Нет, речь идет об обновлении мира через германскую культуру...

— Это несправедливо, уважаемый профессор, — сказал уже совершенно красный Астен: — если все народы будут так превозносить свое, то они окажутся в ловушке, ослепленные ненавистью друг к другу; к счастью, этого пока нет. Я прошу прощения, что говорю так резко.

Бурхардт ответил:

— Народы, молодой человек, ничего не значат: значат люди, стоящие во главе народов — вожди народов и избранники. А народы разны сами по себе, и мы все горды тем, что мы — германцы, а не англичане. Эти люди, пробующие выдать себя за римлян, не больше как величайшие сутяги, торгующие даже свободой. Когда в Португалии была объявлена республика, первым делом англичан, ссудивших португальскому королю пятьдесят тысяч фунтов, было вопить перед мистером Греем о вмешательстве. А их выборы в парламент? Знаменитое местечко Олд Сарум во время билля о реформах состояло из пяти лачуг. Десяток жителей посылал в парламент двух представителей, которых назначал поверенный владельца или его лакей. Было и такое доброе местечко, которое, собственно, принадлежало морю, так как море заливало его совершенно, с головой, и все-таки оно имело представителей. Хозяин берега уплывал сам-четыре на лодке, и выборы совершались. А в Буте, где на выборы, кроме шерифа и делопроизводителя, являлся один избиратель, он как презус делал перекличку, как избиратель сам откликался на нее, как население — подавал голос за себя и как регистратор — сам записывал, что выборы сделаны единогласно и что протеста никто не заявил. Менее ста лет назад процветали эти порядки. Нынешняя продажность политических партий Англии общеизвестна. Сесиль Родс купил английскую армию для завоевания Трансвааля, оплатив все издержки из своего кармана. Страна, которая тратит ежегодно на охоту за лисицами ради удовольствия и на скачки двести

пятьдесят миллионов марок, не может быть страной, которая обновит мир. Британское презрение, которое позволяет англичанам гнать в могилу целые народы, неискоренимо. Я не говорю о таких мелочах, как то, что в суде англичанин будет всегда прав против цветного; я не говорю о том, что любой английский мальчишка может в шею вытолкнуть владетельного индийского князя со всем его багажом из вагона. Я говорю о рабском труде и о систематическом голоде. За сто лет войны всего мира пожрали пять миллионов человек, за десять лет, с девяносто первого года по девятьсот первый, хроническое голодание стоило Индии девятнадцать миллионов. Вот система управления, достойная подражания.

Астен сказал на ухо Алиде:

— Мне немного страшновато от нашего уважаемого Бурхардта.

— Эрна, не кажется ли тебе, что ты ведешь себя сегодня почти смешно? Почему ты все время вскакиваешь и перебиваешь? Я не понимаю тебя. Научись воздерживаться когда-нибудь.

— Когда-нибудь научусь, — сказал Эрна, — но я не могу, я не могу, когда они так спокойны, как будто все в том, чтобы сидеть и разговаривать, и какую они накапливают ненависть!

— Перестань шептать, на нас смотрят.

Профессор Бурхардт не смотрел на них. Он внимательным глазом окинул собрание. Маститый теоретик искусств сидел, нагнувшись над машинкой для обрезывания сигар, и тщательно ее изучал. Юный корпорант с квадратным лицом смотрел глазами бульдога, готового завизжать. Молчаливый художник, не сказавший за весь вечер ни одного слова, рассматривал швиндовского рыцаря, как будто узнавал в нем знакомого и еще не решил: поклониться или оставить вопрос открытым. Две молодые женщины рассматривали альбом. Советник магистрата старательно переваривал его речь. И тогда Бурхардт заговорил снова:

— Есть народы, сохранившие в зрелом своем возрасте привычки детей, вошедшие в основной исторический их характер. Они упорно их держатся и по временам платятся за это. Таковы хотя бы японцы. Они упрямы и нелогичны, смертельно капризны и непонятны нам. Один

мой ближайший друг, профессор, недавно экзаменовал одного представителя этой нации. Молодой японец хорошо знал немецкий язык и очень плохо свой предмет. Словом, японец провалился на этом экзамене и исчез с горизонта. Прошло некоторое время, и мой друг получил следующее странное письмо от японской девушки — сестры этого студента. В письме стояло буквально следующее: «Вы опозорили нашу семью и принесли ей несчастье. Я кончаю самоубийством и жду, что вы сделаете то же самое».

Слушатели не знали, как принять это сообщение. Эрна хотел встать, но Алида остановила его. Бурхардт смотрел холодно, как всегда. Казалось, он был даже рад, вызвав некоторое замешательство и смущение среди гостей, более глубокое, чем он предполагал. Никто, кроме корпоранта, не выразил своего мнения. Корпорант дико усмехнулся и изобразил японца, скосив глаза. Бурхардт равнодушно продолжал:

— Что касается Колумба, то среди наших ученых есть люди, о коих следует говорить с непокрытой головой. Никогда еще страна не имела такого количества умных, свободных и целеустремленных голов, как сейчас. Я упомяну только моего друга профессора Фабера, работы которого в области химии можно назвать путешествием в новую Америку. Благодетели человечества — явление довольно редкое, но те изыскания, которые произвел этот человек, и те открытия, какие он уже имеет в руках, способствуют делу мирного процветания больше, чем десять Гаагских конференций. Вот пример германского ученого. Он никогда не отказывался подвергать свою жизнь опасности, если опыт приносил добрый результат. Профессор Фабер обещал зайти сегодня после научного диспута. Возможно, что позднее время...

Дверь отворилась так, как будто человек слушал речь Бурхардта и решил прервать ее самым недвусмысленным образом. В комнату вошел гость, очень мягкий, улыбающийся, осторожный и вполне светский.

— Бурхардт, твоя речь походила слегка на разогретое мороженое, — сказал он, поправляя манжеты.

Бурхардт дружески расцвел; все знали, что профессор Фабер, большой любитель острот и шуток, сам не умеет острить.

8. МОЛОДОСТЬ

Скверный аппарат превращал экран в арену действия смешных призраков. Люди на нем то становились похожими на серые макароны, то расплывались в серые блины. При каждой любовной сцене зрительницы ахали и говорили: «чудесно, чудесно», склоняясь друг к другу. Более простые щипали друг друга от восторга.

После драмы запрыгала и засияла разноцветная феерия. Толстый добродушный дровосек натыкался, возвращаясь домой, на сморщенную маленькую замерзающую старушку, лежавшую в сугробе под грудой хвороста. Дровосек звал жену, размахивая добродушными руками. Жена помогала ему привести разноцветную замерзающую старушку в разноцветный мирный их домик. Они кормили ее сытным ужином, отдавали ей свою постель и отказывались от медных денег, предлагаемых старушкой. Старушка плакала, трясла свои лохмотья и целовала им руки. Потом супруги засыпали. Приходило розовое с синим утро. Старушка, загадочно улыбаясь, подкрепившись кофеем и сдобными булками, вела супругов на снежную поляну, где цвели среди зимы необычайные цветы. По залу шли вздохи. «Это чудесно», — перекатывалось от стула к стулу. Такие цветы увидишь не в каждом цветочном магазине. Старушка благодарно набирала огромный букет невероятных цветов и дарила его супругам. Они улыбались и бежали домой, обрадованные на всю жизнь. Старушка смотрела им вслед недолго и превращалась в фею и роскошно исчезала среди громадных пышных клумб. Качались лилии. Дровосек вносил цветы в свою комнату и ставил букет на стол. Из цветов вываливались два толстых, как поросята, младенца. Супруги подымали руки к небу и благодарили судьбу. Потом шла хроника. Летел граф Цеппелин, и ломались автомобили на гонках в Реймсе. В зале вспыхнул свет. Фисгармония дребезжаще оканчивала свой каторжный урок. Многие сморкались. Многие дожевывали бутерброды и шоколадные плитки.

— Хорошенькая благодарность, — сказал Эрна, — подкидывать младенцев. Идем отсюда, Алида, ни одной минуты больше в этом жутком месте.

Они, смеясь, вышли на улицу. Они долго гуляли по

городу, не отдавая себе отчета, какими улицами они ходят, им не хотелось останавливаться.

— Смотри, какие звезды, Эрна: ведь это же Сириус, а это несомненно Орион; как жаль, что мы рождены не под ними. Если бы мы родились под этими звездами, мы не были бы такими маленькими. Мы были бы как...

— Как профессор Бурхардт, — сказал Эрна, — или как профессор Фабер со всезнающей неподвижностью. Воображаю, какую Америку он откроет и какая это будет неподвижная и, как он, убийственная страна, несомненно с мягким климатом.

— Почему мы не могли смеяться там, в кино, как все, и почему я не хотела говорить «чудесно» и почему мне на вечере у Бурхардта временами хотелось плакать? Тебе не кажется, Эрна, что случай с японским студентом был не у ближайшего друга Бурхардта, а у него самого? Ты помнишь, как он медленно, с удовольствием рассказывал о самоубийстве этой девушки? Эрна, неужели она в самом деле покончила с собой? Как ты думаешь?

Они стояли на берегу пруда в парке. Иней висел на деревьях. Пруд был покрыт тонким, как лимонная кожура, льдом. Эрна поднял маленький обледенелый камешек и пустил его рикошетом. Камешек со странным, жалобным визгом долго подпрыгивал и бежал по льду, пока не исчез в синем тумане.

— Я думаю, милая, что профессор Бурхардт все рассказывал о себе. Разве он может рассказывать о чем-нибудь другом? Но от этого не легче. Не правда ли, моя маленькая?

Они прошли вдоль пруда и остановились у незамерзшего заливчика. Утки темной стаей теснились на воде, им было холодно, они вытягивали шеи, как бы высматривая гостеприимный ночлег. Эрна подошел к самой воде и сказал маленькую речь.

— Дорогие птицы! Вы никогда не будете профессорами, и в этом ваше счастье. Уважаемые утки, вы единственные в этом городе существа, не чувствующие страшной тяжести патриотизма, кризисов и угнетения личности. Вы ничего не знаете, чудные малютки. Вы не знаете, что преданный социализму студент Эрна Астен, враг предрассудков, вчера дрался на рапирах с корпорантом новой Германии. Эрна Астен, не любящий кор-

порантов и дуэлей, и шрамов на лбу и щеках, и рассеченных носов, проколол руку своему противнику, случайным ударом, примите это к сведению, почтенные птицы. Почему же корпорант дрался со мной? Только потому, что он не вынес моего замечания, что Америка открыта не германцем. Я обмотал свое туловище и ноги толстым пеньковым канатом, в кожаном переднике, с предохранительными очками на глазах, со специальным щитом, закрывшим сердце, сердце, принадлежащее этой девушке, а подставил свой лоб и щеки ударам рапиры и остался жив, дорогие птицы. Я стою перед вами и клянусь вашим зимним оперением, что этого больше не будет.

Утки закрякали.

— Ты глупый! — сказала Алида. — Мне холодно, пойдем.

Но они ходили еще долго по аллеям и разговаривали, прежде чем у Алиды замерзли ноги, и они подошли наконец к дому Штарке.

— Что делает твой дядя теперь? — спросил Эрна, смотря на освещенные окна.

Она удивленно посмотрела на него.

— Что он делает? Одно и то же. Он тушит пожары день и ночь и ездит по всему городу. Он все-таки брандмайор.

— Кто-то мне говорил, что он изобретает нечто вроде византийского огня.

— Ах, правда, у него есть работа, которую он прячет от всех нас. Да, он что-то изобретает. Но ведь ему скучно без дела, а потом он все время повторяет, что надо работать на пользу отечества.

Она замолчала. Они стояли и никак не могли расстаться.

В доме залаяла собака.

— Это наш Бек, — сказала Алида, — прощай. Он чувствует, что я пришла.

Они поцеловались на ходу, и Алида вбежала в дом. Большой пес положил ей лапы на колени. Проходя мимо гостиной, она задержалась на минуту. В гостиной стоял ее дядя, брандмайор Отто фон-Штарке. Он стоял вытянувшись, как на параде. Перед ним, как черный столб, красовался офицер в наглухо застегнутом сюрту-

ке. Они оба скрылись за дверьми кабинета. Алида вспомнила, что портрет этого военного она видела неделю назад на странице еженедельного популярного журнала, только там он был в каске и при всех орденах.

4. ТИХИЙ РАЗГОВОР

Черты лица высокого военного, сидевшего в глубоком кресле, были как бы вырезаны из цинка. В них напрасно посторонний наблюдатель искал бы теплоты. Это отсутствие теплоты как раз и радовало Штарке. То, о чем он собирался говорить, требовало внимания и сугубого и холодного.

— Ваше превосходительство почтили меня своим личным посещением. Я готов вам рассказать все. Каким временем вы располагаете?

Генерал посмотрел на брандмайора так, точно он взвешивал рассказчика и думал по его весу определить вес рассказа. Затем он заговорил как бы сверхчеловеческим голосом, и Штарке представилось поле, уставленное колоннами войск, конями и пушками — его ноги на минуту приросли к полу, и холодок рабского преклонения пробежал по спине. Он положил сигару и слушал, не шевелясь, генеральские слова.

— Прежде всего я хочу знать, какие наблюдения привели вас к столь неожиданному выводу. Вы изложите мне весь путь ваших мыслей, не торопясь и ничего не забывая. Столь любопытный факт освежения военного оружия, само собой подлежащий строжайшей тайне, должен быть известен во всей полноте нам и никому другому... Международное положение напряжено до отказа, я говорю это вам открыто, и, может быть, этой весной, этим летом... Словом, я вас слушаю.

Штарке дал руке генерала спокойно лечь на валик кресла и встал. Генерал легким кивком головы вернул его в кресло. Штарке сел. Он много раз рассказывал о своих бесконечных пожарах и в дружеских компаниях и на официальных докладах, но сейчас речь должна была итти не о том: речь шла о будущем, бурные волны которого уже подкатывали к его ногам, пена неизвестных дней взлетала до колен. Нужно было сосредото-

читься и решиться войти в нее — это было страшнее, чем если бы он сейчас в одном сюртуке распахнул дверь и вышел на мороз и пошел бы к Большому театру покупать билет на «Зигфрида». И он распахнул дверь.

— Вашему превосходительству известно, что я всего только брандмайор, скромный защитник имущества, страж частной собственности перед лицом бессмысленной стихии, человек, который каждый день видит огонь, видит за месяц огня столько, сколько обычные люди не видят за всю жизнь. Огонь бывает разных цветов, разной силы, разного характера. Огонь — очень большой художник. Я видел, как он фантастически играет домами, обстановкой, людьми, прежде чем их уничтожить. Он выгибается и танцует, он марширует длинными желтыми рядами, он прячется, садится на корточки и ждет, он ставит западню. Я хорошо знаю лицо огня, и я всегда чувствовал в нем врага. Так, вероятно, рыбаки ощущают море. Я знаю силу, которую веду против огня. Я люблю моих бравых молодцов, взвивающихся в небо по свежесмазанной лестнице, я люблю водяные смерчи, и однажды при мне огонь по чистой случайности вылетел узким и длинным языком и свалил замертво моего лучшего штейгера, Людвига Кубиша. После него остался сын Иоганн — умный добрый мальчик. Я на всю жизнь запомнил этот десятиметровый язык огня и черный труп моего солдата. В ту ночь я не мог спать, я сидел до утра и курил. Утром весь пол был усыпан окурками сигар, но мысль, рожденная в этом дыму, была так велика, что я испугался, я прятался от нее в дыму, и утро застало меня на ногах, зеленого от изнеможения и все же радостного. Почему бы нам, сказал я себе, почему бы нам не заменить дорого стоящие артиллерийские орудия легкими брандспойтами, жгущими врага, почему нельзя заменить воду горящим маслом? Я представил наших храбрых ребят, выжигающих враждебную армию как негодную траву. Я верю в бога, ваше превосходительство, и я гордый человек. Мне не пристало быть смешным и по чину моему, и по смыслу службы, и по пониманию долга. Но если всевышний вручил мне эту мысль, если он сделал меня проводником своего дела, мог ли я отказаться от идеи, правда, вначале меня испугавшей? Вначале я отгонял ее как

искушение, как дело, которое выше моих слабых сил, но мысль крепла и росла. Я сам не подозревал, какие длинные ростки она пустила во мне. И когда на маневрах мне приказали защищать форт всеми возможными силами, я не знал, что через десять часов боя я буду во власти моей навязчивой мысли, что отдам приказ поливать наступающих водой. Я вызвал пожарных на бруствер. Я фантазировал. Я вел себя как зеленый юноша. Они меня не поняли, я уверен, они приняли меня за сумасшедшего. Вы были свидетелем, ваше превосходительство, этого боя — и вы оправдали меня.

Генерал смотрел, не отрываясь, на покрывшиеся мелким потом фиолетовые щеки Штарке. Он не двигал руками, и они лежали цинковые, холодные, серые на валиках кресла. Он чуть нахмурил брови, когда Штарке запнулся. Брандмайор продолжал:

— По вашему приказу я связался с людьми, которые мне были рекомендованы. Нет, мы не создали мира в шесть дней. Это заняло гораздо больше. Но я уже как молитву знаю закон моего аппарата. Легко воспламеняющееся масло выбрасывается под действием сжатого газа через брандспойт на глубину от двадцати до пятидесяти метров, в зависимости от силы и размера аппарата. Когда вы открываете кран шланга, масло загорается само, вырываясь большой струей, совершенно смертельной для человека. Мы жаждали начать опыты поскорей. Мы перебрали сотню сортов и комбинаций масла, сотни резервуаров, шлангов и брандспойтов. Мы давно оставили простую пожарную трубу, мы усовершенствовали образцы наших огнеметов, и тогда, к нашей великой радости, возник огнемет, страшный для врага и удобный для нашей армии. С каким трепетом мы приступили к первому опыту! Мы взяли десятки соломенных фигур, объемом в среднее человеческое тело, мы поставили их так, что они изображали атакующих. И, когда я скомандовал: «огонь!», я был близок в обмороку. Напряжение наших бессонных ночей сказалось. Мне показалось, что если я скомандую «огонь!» и огнемет откажется действовать, то эти соломенные чучела с яростным криком ворвутся в форт и передавят всех, перетопчут и будут танцовать на наших останках. И — о, чудо! — огненные струи зажгли их все. Они горели,

трещали, и смрад закрыл солнце, но он нам казался благоуханием. Я шел через скрюченные соломенные черные тела, они падали со штурмовых лестниц, они валялись во рву, я шел по ним, как жнец после убранной жатвы.

«И тогда мы повторили опыт и позвали врачей. И они смотрели во все глаза, и я задал им только один единственный вопрос: «Достаточно ли действие этого орудия, чтобы вывести из строя неприятельских солдат?»

«И один из них засмеялся, а другой сказал, что ничего более ужасного он не видел в своей жизни, — и тогда засмеялись мы все. . .»

Генерал чуть пошевелил плечами.

— Как вел себя рекомендованный вам инженер Мориц?

Штарке почувствовал неожиданную слабость. Он понял, что генерал недоволен его выспренним, слишком отвлеченным изложением и возвращает его на землю.

— Инженер Мориц, — сказал Штарке, — вел себя как примерный патриот. Он посоветовал мне употребить густое масло, синее масло — смесь каменноугольной смолы и каменного масла, так как оно дает при горении очень хорошее пламя и очень большой дым, который запугивает врага.

— При помощи какого же газа вы бросаете огненную струю?

— Мы взяли азот. Кислород разорвал у нас четыре аппарата. Он негоден. Сжатый воздух тоже не представилось возможности употребить. Наша мысль работала все больше и больше. Инженер Мориц жил в Африке. Он рассказал мне, как негры поджигают сухую траву, и пылает вся степь. Когда пожар проходит, они подбирают и едят зажаренную в огромном количестве дичину. После этого я придумал новый вариант действий с применением огнемета. Местность, по которой проходит неприятель, перед атакой поливается горючим маслом, и, когда ряды атакующих попадают на нее, мы начинаем поливать их огнем из огнеметов, и все вспыхивает, и мы делаем настоящие огненные ловушки, мы располагаем огнеметы по зигзагам, чтобы враг был охвачен со всех сторон. Трещащие, как саранча, тела неприятельских солдат — вот новая музыка боя. И, наконец, когда уда-

рит исторический час нового Седана, ваше превосходительство, мы не забудем, что у нас в тылу могут оказаться лженемцы, будут социалисты всех мастей, пацифисты и революционеры, рабочие, которые выйдут на улицу с красными тряпками, чтобы воспользоваться нашими затруднениями. Представьте себе, ваше превосходительство, какие у них будут морды, когда они увидят перед собой прекрасно начищенную сталь моих огнеметов? После команды: «готовсь» — улицы будут пусты.

В первый раз за весь вечер легкая усмешка протянулась по лицу генерала.

— Как называется общее боевое действие огнеметов в бою? — спросил он.

— Мы назвали его Фанг — Feuerangriff — огненная атака. Это хорошее слово — фанг, оно поясняет нашу мысль и служит предостережением.

— Держите ли вы дома что-либо из чертежей, относящихся к этому делу?

Штарке развел руками почти весело.

— Ни одной чертежной линейки. Все хранится, как вы приказали, в цитадели.

— Знает ли кто-либо, кроме вас, об этом? Ваша жена, племянница, прислуга?

— Знают в этом доме только двое: вы и я.

Генерал встал и прошелся по кабинету.

— Не кажется ли вам, уважаемый Штарке, — сказал он почти фамильярно, — что это один из маленьких эпизодов начала новой военной эпохи?

Штарке испытал неожиданный прилив радости. Это было не только одобрение: это была похвала, веская, как медаль. Он стоял, опираясь на стол своей фиолетовой, в буграх и жилах, рукой, и улыбался, сам того не замечая.

— Моя жизнь будет оправдана, — сказал он, как школьник, вспомнивший давно забытую пропись.

Генерал перестал ходить по кабинету. Он подошел к Штарке и, взглянув ему в самые глаза, положил руку ему на плечо и так стоял минуту. Потом он медленно снял руку, подобрал лицо, так что весь цинковый его профиль заблистал сухим жаром, и сказал:

— Верховный шеф армии интересуется вашими опытами.

Они сели снова в кресла и беседовали целый час.

В передней Штарке сам помог генералу надеть шинель. Генерал стоял как серьезный манекен, не понимающий шуток и не позволяющий себе шутить ни в каких случаях жизни. И, однако, он пошутил. Он подманил пальцем Штарке к себе и, как бы колеблясь, стараясь придать словам наибольшую невесомость, сказал почти небрежно:

— Да, между прочим, ваша племянница должна прекратить знакомство с Эрнстом Астен. Мы не хотим этой дружбы. И потом у нас есть сведения...

5. СЦЕНА У МОЛЬБЕРТА

Весенний город лежал под ним. В городе была весна. В окно с высоты пятого этажа это казалось убедительным. Там, в городе, стояли острые колокольни с добрыми колоколами, добрые полицейские, указывавшие дорогу, там жили добрые граждане, пьющие и непьющие, автомобили дружески гудели, парки предлагали прогуляться в майской зелени их аллей, множество газет регистрировали добрую жизнь, в Пруссии добрыми топорами кое-кому рубили голову...

Эрна отвернулся от окна. Комната была завалена холстами, альбомами, папками, рисунками. Краски в тюбиках, краски на палитрах, краски, раздавленные на полу, краски на неоконченных этюдах ощущались им как некое недоброе, а потому дружеское начало. Краски были неблагополучны, комната была неблагополучна, Алида была неблагополучна.

Самым неблагополучным и привлекающим глаз предметом был большой загрунтованный пустой холст, дышавший полной готовностью служить искусству, но не использованный мастером. Этот пустой холст, одинокий в своей жажде быть перевоплощенным, врезался серыми очертаниями в оживленную цветными пятнами комнату. Кроме того, он стоял на черном мольберте. Эрна смотрел на него, как на друга. Этот холст походил на его думы о будущем. Готовый характер ждал применения.

В чьих руках были кисти и краска? В чьих? Эрна погладил шершавую ткань.

— Мне странно подумать, — сказал он, — что в такой весенний вечер два человека в огромном городе не могут ускользнуть от дурного государственного глаза. Я не хочу, Алида, чтобы за мной по улицам шагал человек, который не сможет сказать ничего человеческого, если я к нему подойду и спрошу: «Кто дал вам право следить за мной?» Я боюсь, что они вокруг заболели шпиономанией. Я не уверен, что там, внизу, меня не клянет за долгое отсутствие такой машинный слуга полиции, механически переставляющий ноги и механически запоминающий мои движения. Это началось с того дня, с того вечера, когда ты устроила сцену дяде, и твое упрямство было странно наказано: я получил тень. Что они от меня хотят?

— Эрна, развеселись! Сейчас развеселись. Это чепуха. Ну, на что ты нужен государственному глазу? А может быть, ты, постоянный ниспровергатель порядка и протестант, действительно делаешь бомбы из старых консервных банок, как русские или болгары? Тогда признавайся и покажи, как это делается, и я тебе раскрашу эти банки под морские щи или под абрикосы. Ну, развеселись, посмотри, какой чудный гвардеец...

Она держала за край вытащенный из кипы рисунок, сделанный цветным карандашом. Рисунок не был кончен. Гвардеец в огромной каске рассматривал в гигантский монокль, нижний край которого поддерживался сухими бескровными губами, сидевшую на его лакированном ботфорте трехцветную козявку. Замысел был не совсем понятен.

Тут Алида, вертя рисунок, принялась хохотать.

— Я вспомнила сейчас одного такого молодого офицера со странной фамилией Шрекфус; меня познакомили с ним зимою в одном доме. Он был здесь проездом, но его родственники живут недалеко от нас. Над ним все хихикали, но осторожно, и он смутился, когда нас познакомили. Мне потом рассказали причину его смущения. Он был из числа офицеров, которых когда-то на маневрах мой дядя облил водой с ног до головы, пустив в дело по привычке пожарных вместо солдат. Ты представляешь себе таких вылощенных, самодовольных, гор-

дых воинов, мокрых как курица? Они все время говорят: «железный крест, железный солдат», но они могут заржаветь от душа моего дяди. Сознайся, что он временами не лишен иронии. Когда я представлю себе этого лейтенанта заржавленным как гвоздь, мне всегда смешно.

— Алида, ну сядь, подожди, не смейся, не смейся... ну не смейся! Мне смертельно надоела эта военщина. Я никогда не буду солдатом. Меня освободили в свое время по болезни. Обидно, когда все смеются и не боятся анекдотов, из которых любой можно премировать за идиотизм. Этот Шрекфус, вероятно, любил говорить, как наши германские казарменные мудрецы, сто раз подряд, что сначала был бог-отец, а потом ничего, а потом кавалерийский офицер, а потом ничего, а потом его лошадь, а потом ничего, а потом ничего, а потом ничего, а потом пехотный офицер. О, скудость воображения! Я ненавижу этот блеск начищенных сапог, эти звенящие шпоры, эти распяленные мундиры. Я, повидимому, прирожденный герой из серии новопридуманных конфессионлозов. Я свободен от церкви, религии и государства. Тебе запретили со мной видеться. И здесь я уверен, что это работали они; я не знаю, но здесь не обошлось без этих высокобортных сюртуков. Они все мудрят, мудрят, обманывая всю страну. Мы ничего не знаем о их настоящей политике. Ну, к чорту их! У нас есть свои дела, и тут тоже надо разобраться, Алида. Ты уедешь, тебя посылают в Померанию посмотреть гусей и дюны, которых ты не видела с детства. Большое пренебрежение, не правда ли? Мой чудный профессор язвит со мной каждый день. Он говорит шутливо, как подобает разговаривать с субъектом пониженного развития. Он говорит: «Из вас выйдет плохой ученый, плохой статистик, вы слишком много лишнего пишете на полях, вы слишком много читаете между строк. Вам нехватает хладнокровия». Да, мне нехватает хладнокровия, и, кроме того, все запуталось.

— Эрна, я сама думаю целыми днями, к чему это приведет. Я плохая художница, но я верю, что в мире свободно только искусство. Один мастер сказал, что художник должен писать не только то, что он видит перед собой, но что он видит внутри себя. Если же он

не видит ничего внутри себя, то пусть он бросит писать то, что перед ним. Иначе картины его будут напоминать ширмы, которыми скрывают больных, а иногда и мертвых. Сам же он, этот мастер, писал только чистые и холодные ландшафты. Он всюду в картинах — и в парках с видом на горы, и на берегу Северного моря, и среди поля ранним утром — помещал худенькую угловатую женскую фигуру. Она же стоит у окна его ателье, а в окно видна мачта корабля. И всегда она смотрит, только смотрит, так тихо и с таким уважением, что менять в природе нельзя ничего, и от того, пожалуй, холод, нежность и грусть от сознания своей беспомощности. Конечно, наше искусство всегда как-то женственно, но все же свободно; если бы ты был художником, ты не чувствовал бы себя таким одиноким.

— Но, милая, они заставили бы меня рисовать и генералов и то, что они хотят. Что искусство прекрасно, глубоко и, может быть, женственно — это правда, но что искусство не свободно — это тоже правда. Самое сильное рабство — ведь это и есть то рабство, когда ты живешь в нем и его не замечаешь. Тебе кажется, что искусство свободно, но ведь это тебе кажется, и это не выход. Не будем об этом говорить.

— Эрна, я не хочу потерять тебя. Я обманываю сейчас всех, начиная с дяди и кончая ближайшими друзьями. Наш Фольк, что так пышно говорит о Фра-Анжелико и о прерафаэлитах, заметил, что я изменилась, что я стала совсем другая, и он намекнул, что это твое влияние. Но изменилось и еще что-то. И не только у нас с тобой. В доме дяди никогда не было столько военных, как сейчас. Ведь не сказки он рассказывает им в самом деле?

— Пересмотрим еще раз все сначала. Я еду в Берлин, ты в Померанию, но через два месяца, когда ты вернешься, мы встретимся и тогда убежим на все лето в горы. Какая сила — горы. Какая это мощь — горы. Я не такой кровавый бунтарь, как это кажется иным. Мы убежим в горы. Ты будешь рисовать. Я буду лазить по скалам, вечером мы будем сидеть в чудесном горном кабачке, полном горцев, где висят оленьи рога, трубки и ружья, предметы, полные простоты и природной честности. Хозяйка приветствует всех входящих

своим «grüss Gott» ставит каждому пиво, приговаривая: на здоровье. Мы пойдем по снегам, по которым проходят только легкие козы, спускаясь с вершины, мы будем смотреть на громадные утесы, на ледники, мимо нас будут проноситься лавины, обдавая снежной пылью. Вся наша кровь, весь наш организм обновятся в этой изумительной ванне. Ведь здесь же можно задохнуться от отсутствия воздуха. Все пропитано тайным лихорадочным жаром. Недавно я встретил туриста, какого-то англичанина; он заблудился и спрашивал дорогу: он прекрасно говорил по-немецки, и мы разговорились. Он сказал: «Ах, какая чудная ваша страна. Мне нравится голова статуи Баварии: какая огромная, свободная от мыслей голова. . . С нее видны чудовищные горизонты. . .»

— Ты плохой германец, — сказала с досадой Алида. — Я все-таки из военной семьи, и так нельзя говорить безнаказанно. Мы все родились на этой земле и как-то это чувствуем. Ты испепеляешь все.

— Подожди, Алида, подожди, этот англичанин еще сказал: мне нравятся ваши колоссальные магазины, скупающие товары прогоревших мелких фирм, выбрасывающие на прилавок вещи, удивляющие добротностью и дешевкой. Я в восторге от вашего уменья нажить марку на марку чисто домашним путем. Он сказал: мне нравится Рейн, он действительно, как струя вина на закате, но лампасы ваших бесчисленных генералов все же еще красивее. Больше всего мне понравился один памятник в Берлине. Там сидит на коне вверху, как полагается, император, и у ног его четыре льва. И первый лев обращен к Франции, он обнимает груду трофеев и, воинственно облизываясь, глядит вдаль; второй лев самый тихий, он полузакрыл глаза, потому что смотрит на юг — Италия все еще союзница; потом лежит славянский лев, обращенный к востоку. О, мистер, какое это чудовищное зрелище! Лев яростен, как будто его укусил скорпион. Ему не сидится на месте. И четвертый лев, готовый к внезапному прыжку, — не обижайтесь, сказал он, — смотрит в нашу сторону, он встревожен. И его глаза глядят через наш Канал — на Англию.

«— Почему вам нравится это? — спросил я.

«Он пожал плечами и дружески тронул мое колено. Я не отодвинулся, мне было все равно.

«— Почему мне это нравится? Потому что по крайней мере это откровенно.

«— И вы верите, что эти львы прыгнут когда-нибудь все сразу?

«— Если захочет укротитель; а потом, не забудьте, в каждой стране есть свои львы; они пока ищут блох, но это не основное их занятие. — И он исчез в тумане, но какой туман, какой липкий туман остался после его речей! Алида, почему ты так смотришь?»

— Я не понимаю тебя, Эрна: это мог говорить иностранец, но ты... разве все так просто? ты же учил меня сам, что жизнь слагается из очень сложных частей. Я боюсь, что ты запутался. Я боюсь...

— Чего ты боишься, Алида?

Она взяла свой плащ и накинула на плечи. Она надевала шляпу.

— Я боюсь, что я много буду думать в Померании, и только тогда мне будет ясен конец. Сейчас я ничего не знаю.

— Ты не уедешь в Померанию, — сказал Эрна, побелев, как лунатик. Пустой холст насмехался над ним своей готовностью служить, но где искать? Где краски? Серый холст ничем не мог помочь. — Ты не уедешь.

— Этого ты не можешь запретить мне, — сказала она, — а потом посмотри на часы; вероятно, уже семь, скоро придет Адольф, — ему нужна мастерская, и ты торопился сегодня вечером в библиотеку.

— Алида, — сказал он, но она остановила его.

— Милый Эрна, послушай. Мне кажется, что и тебе следует отдохнуть от тяжести многих мыслей. Ты, представитель германской интеллигенции, должен взять пример воспитания воли хотя бы...

— Хотя бы с лейтенанта Шрекфуса, ты хочешь сказать? с мокрого лейтенанта Шрекфуса, который хочет казаться сухим, всегда сухим, во что бы ни стало сухим.

— Хотя бы да, — сказала Алида, покраснев. — Я думаю, что ты переутомил нервы, тебе всюду кажутся призраки. Я не верю больше и в твоих сыщиков. А теперь пусти меня.

Она молча сошла по лестнице. Когда они вышли из подъезда, человек на соседнем тротуаре неловко надвинул котелок на глаза и начал искать спички в кармане. Сигара у него действительно не курилась.

6. РАКЕТА И ПУГОВИЦА

Когда Алида проснулась, первое, что бросилось ей в глаза, была ракета, желтая ракета для тенниса, висевшая на стене перед ней, схваченная тисками. Красноватые нити жил вспыхивали на солнце. Было поздно. В саду пели птицы. Горячий воздух чуть колыхал занавеску.

В ее глазах еще стояли пейзажи Померании, хотя прошел уже месяц, как она покинула ее. По ночам ее преследовали серые дюны, с развевающимися вершинами сосен, и огромные серые волны, бежавшие на широкие, унылые отмели. Над волнами иногда проносились яхты. Вдали висел дым пароходов. И если смотреть сквозь ветви сосны в серую слюду волны, то в ней разбегалось лицо. И это лицо никак не могло собраться в единое целое, всегда отсутствовала какая-нибудь нужная деталь. И это лицо — было лицом Эрны Астена. Два моряка из яхт-клуба были по-разному похожи на него. У одного была походка, у другого — глаза и подбородок, а может, это только казалось.

Алида села на кровати, рассматривая ракету. Сон оставил ее голову и освободил глаза. «Жила-была девушка, — сказала она, — девушка портила краски и заодно жизнь близким людям. Она не умела веселиться по-настоящему, и ей нехватало характера. И так шло время, и никто не жалел девушку по-настоящему... Однако, уже поздно», — сказала она.

Летний день жил за спиной этого загородного домика, куда она так счастливо убежала от городской паники. Какая безумная паника в городе! Неужели они все-таки будут воевать? Алида закрыла снова глаза. Она увидела вечернюю теннисную площадку, белые, мягкие, упругие мячи, летящие вверх и вниз, сухого рефери на белой лесенке. Мячи летели все быстрее, люди кричали со скамеек, она отбивала мячи, не уставая бегать между меловых квадратов, перед неподвижной сеткой. Потом

подошел профессор Фабер и сказал своим веселым голосом, от которого всегда хочется съежиться:

— К вам очень пойдет костюм сестры милосердия, да, да, — это сказал он, и белые туфли его блистали, как меловая бумага.

Дядя уехал в Берлин и уже неделю не возвращался. Профессор Бурхардт пишет из Италии жене, что изучает норманские замки в Сицилии и что ему теперь ясно, что влечение германцев на юг всегда было исторической необходимостью.

Эрна Астен — почему сквозь четкую решетку ракетки она не видит его лица? Только три коротких письма за все время. Нет, она не поехала в горы. Он в горах один. Он один наедине со своими ледниками, скалами, снегами, горцами, и он пишет, что он несчастлив. Конечно, он приедет.

Она идет мыться. Дача совершенно пустынна. Проходя, она распахивает окно в столовой. Перед окном на ветке сидит лазоревка. Сад совершенно пуст. Садовник копается где-нибудь на грядах. Старуха ушла на рынок. Бека оставили в городе. Он нездоров. К нему вызывали врача. Неужели они все-таки будут сражаться? Люди рвали газеты на улице друг у друга. Газеты заполнили все. Она садится у окна, пьет молоко и ест бутерброды по-гамбургски. Ее научили в яхт-клубе: ломтик белой булки, ломтик шведского хлеба, по середине масло и сыр.

Кто-то хлопнул калиткой. Она слышит поспешные шаги по хрустящему гравию. Бешеный человек срывает дверь на балконе, так что целую вечность стоит грохот. В серой померанской волне вырастает лицо. Алида залила руки молоком. Она бежит навстречу, и в комнате, пустой и залитой летним светом комнате, стоит человек. Он весь серый, он зеленовато-сер с ног до головы, как будто он стоит в волне дыма. Почему у него зеленая каска на голове? Так это же солдат. Что случилось, если солдат ворвался, как ураган, в дом и никто не знает, что будет дальше. Она смотрит в это лицо, на котором нехватает детали. Каска падает на стул, гремя, как маскарадная ненужная чепуха. Это Эрна, но у него нет волос на голове, он наголо обрит.

— Ракетка, — говорит она, сама не зная почему: — эти партии в теннис...

— Мы начали мировую партию, — говорит Эрна. — Я думал, что я тебя не найду, никогда не найду, что я умру на дороге. Мне дали отпуск на четыре часа, а уже прошло... Мне все равно, сколько прошло. Кажется, прошло три дня, пока я тебя нашел...

И тогда они больше не находят слов. Они их и не ищут. Она бросает руки ему на плечи, и ее волосы прижимаются к незнакомой одежде, и в грудь ее врезается пуговица, толстая пуговица, огромная пуговица с золотым орлом, обшитая толстым, зеленым, проклятым сукном.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. ФАНГ

Штарке никогда, даже в детстве, не любил леса, кроме того, он ненавидел деревянные постройки еще за то, что они сгорали при пожаре очень быстро, и все его знания и усилия старого борца с огнем были напрасны. Правда, лес, в котором он сейчас находился, мало походил на обыкновенный лес.

Прежде всего, деревья не имели верхушек. Верхушки лежали на земле. Расщепленные гранатами стволы и разбитые ветви были, особенно на закате, печальны так, что при взгляде на них сжималось сердце. Они пострадали в самом деле ни за что. Местами огромные просеки образовались на месте, где плясали несколько часов подряд снаряды тяжелой артиллерии. Часть леса пошла на одежду окопов и на блиндажи. Кусты были перепутаны проволокой. Ни единая птица не пела, и не кричал ни один зверь.

Несколько тысяч людей притаились в лесу ниже поверхности земли, иные так и не подымались из своих нор. Вместо них на родину приходила узкая бумажка с кратким извещением: «На поле чести», но это было не поле, это был все же лес.

И в этом лесу стоял Штарке наедине со своей мировой идеей. Она была шире леса и выше самого высокого гренадера. Она наполняла душу Штарке особым пламенем, когда с наблюдательного пункта он смотрел в глубину леса и ждал той минуты, когда он, Штарке, станет

народным героем. Колумб, на борту своего добродушного корыта, показался бы наряду с ним простоватым мужичком, который должен был обмануть голых дикарей, тогда как перед Штарке, на расстоянии пятидесяти метров, скрывались вооруженные с ног до головы враги кайзера, и он сделает так, что они побегут, как стадо, забыв все и не рискуя сопротивляться. Америка Штарке — это путь в Париж, это конец войны, сожженной до тла. И войну сожжет он, Штарке, и никто другой.

Не так сильно ему верили в разных штабах, где сидели привыкшие ко многим головоломкам люди. Разве их чем-нибудь удивишь? А потом было столько неудачных изобретателей. Единственное оружие — честные гранаты, тысячи гранат, миллионы гранат, вот настоящие плуги, взрывающие поля войны. Нет, ему не верили до конца.

Штарке выпрямился. В темных квадратах леса сверкнули косые лучи, сошлись и снова сверкнули отдельно. Это вернулись разведчики.

В тесных впадинах перед бруствером у проволоки неслышно возились люди. Они старательно очищали узкое пространство от обломков, от груды сухих ветвей, от камней. Они сами не знали, зачем это нужно. Кроме того, их могли застрелить каждую минуту. Они привыкли за долгие месяцы войны к скотскому образу жизни — ползанью на четвереньках, лежанию часами на животе; они, как крысы, рыли землю; как собаки, прятали в нее свои припасы; как быки, бежали с красными глазами вперед, чтобы поднять на штыки все, что будет встречаться. Отупевшие от постоянной, грязной, тяжелой работы, от страха, не допускавшего других мыслей, они ползали сейчас между бруствером и проволокой и, стараясь не шуметь, работали.

— Помешает ветер, — сказал Штарке.

— Последняя сводка: сила пять метров. Это пустяки, — отвечал наблюдатель.

— Чтобы ничего не было перед бруствером, — сказал Штарке.

— Там осталось только двое убитых на проволоке, но это не помешает.

— Посмотрим ступеньки, — сказал Штарке, — никогда нельзя быть спокойным, пока не проверишь всего.

Он поймал себя на том, что волнуется больше, чем ему полагается. Они прошли по окопу и маленькими электрическими фонарями нащупали ступеньки. Ступеньки были вырезаны тщательно и плотно. По этим ступенькам должны были его огнеметчики найти дорогу к славе.

— Поправьте эту лесенку, здесь можно поскользнуться, — сказал он, и сейчас же саперы осторожно, напирая на лопаты, начали сглаживать неровности. Они обрезали торчавшие корни тесаками.

Несколько человек спрыгнули в окоп. Земля сыпалась с их грязных плеч. Они только что, ползая между проволок, очистили проходы. Шинели их, замызганные и скоробившиеся, сейчас, еще порванные о собственную проволоку, представляли целую многострадальную повесть.

Штарке не обратил на них никакого внимания. Люди в его представлении всегда были слишком мягким воском в опытных руках государства. И воску этого было много, во всяком случае достаточно.

Тут он подошел к аппаратам. Закрашенные в защитный цвет, стояли детища его сердца и ума. Он погладил их. Он вспомнил, как несколько месяцев назад случайно попал в место расквартирования пленных. Вокруг него сидели и стояли французы, русские, бельгийцы, сербы, англичане. Низкие нары не могли вместить всех, и все же им всем хотелось лежать, и они лезли как тараканы, набивая все щели, и, наконец, нары не выдержали. Постройка была возведена в безбожно короткий срок. Нары не выдержали и рухнули. Все народы Европы барахтались с ругательствами в общей куче. Они вылезали один за другим из свалки и мрачно потирали ушибленные места. Штарке равнодушно смотрел на них. Ни ругань, ни мучительные гримасы, ни стоны не могли его вывести из себя. Наконец из-под нар появился англичанин, и, когда он встал, грязный, запыленный, мятый, он оглядел всю рухнувшую постройку и сказал язвительно (он скорее выплюнул, чем сказал), подмигивая на развал: Made in Germany. Штарке погладил вторично холодную сталь аппарата.

Он не мог ответить иначе сейчас этому неожиданному воспоминанию. Что у него есть, кроме двух слов:

кайзер и аппараты? Может быть, Штарке вообще не существовал? В дымном воздухе окопа среди людей-теней стояло нечто в капитанских погонах; сосредоточенная энергия, воображение, обернувшееся предметностью, — он не замечал, как равнодушно смотрели на него из своих нор окопные люди; он видел только тьму леса, где иногда разноцветные молнии чертили один и тот же шифр: война, война, война.

Штарке и его свита осторожно курили сигары. Они прятали их, как новобранцы, в руку и закрывали рукавом. Сейчас эти сигары вошли в словарь войны, потому что при слабом свете их красновато-зеленых, раскаленных огрызков люди проверяли манометры. Коленчатые отростки азотных бутылей были серы и неподвижны и казались безобидными. Их могли найти мальчишки среди мусора и поиграть ими. Здесь они были на положении мировых статистов. Малейшая неисправность сгубила бы всю их карьеру.

— Сверим наши часы, — сказал Штарке.

Красный блеск пробежал по шести стеклам и удостоверился в одинаковом положении всех стрелок. Все стрелки, как одна, держали свой путь, но, когда Штарке пыхнул снова своей сигарой, она вырвала из ночи белое пятно, на котором стоял красный крест.

Красный крест был не при чем; он был даже не совсем приятным намеком. Человеку с таким знаком нужно было сказать что-то начальственное, чтобы он не загордился своим одиночеством и независимостью от начальства.

Сигара исчезла, прикрытая рукавом, и Штарке спросил санитарного унтер-офицера:

— Если брызги холодного масла попадут в глаза...

— Так точно, мазь от ожогов и кокаин.

Штарке стоял против огнеметчика. Сколько труда он положил на этих людей, рабочих и служащих, не подозревавших за всю свою мирную жизнь, что они понадобятся мрачному изобретательству Штарке. Сколько он положил труда, чтобы сделать из них нерассуждающих, забывших иные привычки рабов огнеметных аппаратов... Не всегда это удавалось. Высокий солдат стоял у блиндажа, вытянувшись, как будто его подвесили за воротник на крюк.

— Лейтенант, — сказал Штарке, — проверьте вооружение.

Лейтенант направил свет фонаря на посеревшее лицо с водянистыми глазами. Лицо не входило в вооружение. Оно было совершенно безоружно перед этим желтым лучом фонаря и черными руками своих повелителей. Лицо было нейтрально. И это взорвало лейтенанта. Как на аукционе, сопровождая тихое ворчание невидимыми ударами молота, лейтенант выкрикивал про себя, на самом деле он спрашивал вполголоса:

— Котелок.

Котелок висел сбоку, он показал свой выгиб и кольцо и уступил место брандспойту с рукавом.

— Мешок для инструмента на шейном ремне...

— Мешок.

— Один комплект прокладок.

— Прокладки. Так.

— Клещи для труб...

— Клещи.

— Кольт.

— Кольт.

Лейтенант перенес свет:

— Сумка на портупее. Откройте сумку.

Солдат исполнил приказание, оставаясь напряженным. Он чуть не качался от напряжения. Впрочем он мог качаться и от усталости.

— Запасная вилка зажигателя, — сказал лейтенант, — покажите зажигатель. Что вы с ним сделали? Он сырой?

Штарке вздрогнул. Солдат закачался, как будто его ударили.

— Я сидел в блиндаже, — сказал он. — В блиндаже, господин лейтенант.

— В блиндаже, будьте вы прокляты! вы сидели в воде, чорт возьми! Сейчас же перемените зажигатель. Идите сейчас же!

— Фамилия? Его фамилия? — задыхаясь, пробурчал Штарке.

Солдат обернулся:

— Ганс Немландер.

— Лейтенант, когда кончится бой — лейтенант, мы проверим всех после боя и всех таких в пехоту, обратно в пехоту, к чорту!..

Штарке вспотел при мысли, что со всеми зажигателями может произойти то же самое. Тогда он положит свое брюхо на французскую проволоку и умрет. Высочайший шеф армии интересуется этими опытами... Высочайший шеф — ради этого стоит умереть...

— А факелы...

Факелы были тут же, факелы стояли в стойке. Солома, окрутившая палки, была суха, действительно суха. Штарке смягчился. Он осматривал людей поодиночке. Все было в порядке. Порядок мог быть лучше, но тут уже ничего не поделаешь.

— Огневая струя состоит из горящего масла и горящих масляных газов... Соберите людей, — сказал Штарке.

Команды стояли на второй линии, их было совсем немного. Штарке сказал несколько слов. Собственно, говорить не стоило, но устав предписывал разговоры. Душа Штарке не имела, кроме устава, никакого символа веры.

— Солдаты, — сказал он, — бодрость, бодрость прежде всего. Вы, спортсмены войны — вы должны стать чемпионами. Бейте их в глаза, сожгите им морду, смотрите, чтобы не было протечки масла, помните команду «стой», останавливайтесь сразу, не зарывайтесь, наше дело — дело чести. Через заградительный огонь несите во что бы ни стало, во что бы то ни стало огнеметы. Вперед, вперед, вперед!

Солдаты стояли, как отобранные к закланию молодые быки. Они здоровые ребята, они пронесут огнеметы через заградительный огонь. Они спортсмены — пусть будет так, в чем дело? Этот пожилой человек мог говорить все, что приходило ему в голову. Это ведь не меняет дела. Дело состояло в том, что нужно выйти из окопа и поливать первый раз в жизни людей горящим маслом. На празднике в деревне, конечно, бывает веселее, чем здесь, но там не увидишь такого зрелища. Кроме того, за это могут дать отпуск или бело-черную ленточку. Попробуем!

Штарке ощутил прилив нежности. Он отыскивал на дне своего сурового сундука красноречия особые слова, которые, несколько заикаясь, сошли с его языка. Ему захотелось приласкать этих людей, как будто он стоял

перед пожаром, перед огнем, куда лезут его пожарные, и лучший штейгер уже погиб.

— Ребята, — сказал он, — вы получили сегодня колбасу, да, правда, хорошую колбасу, вы получили сегодня сигары и какао, вы получите завтра славу, которую еще никто не имел. Бодрость, бодрость, прокричим в душе трижды верховному шефу армии: ура.

Кричать было нельзя. Кричали ли в душе солдаты ура — Штарке не сильно беспокоило. Он верил, что они кричали. Что они съели колбасу, выпили какао и выкурили сигары — это он знал. То был особый паек для невиданной специальности.

Штарке протянул руку к каске и резко опустил ее. Ходы сообщений поглотили людей. Штарке долго курил сигару. Часы на руке выросли в огромный циферблат, качавшийся и стучавший на весь лес. Легкая перестрелка часовых проходила через него полетом одиноких ос.

Стрелка качнулась и замерла.

Пора!

Это могли сказать сотни людей одновременно. Светящийся снаряд прошел по лесу и, расхлестывая мрак синим светом, сгорал, обкуривая пространство. И сейчас же люди устремились вверх по ступенькам. Сквозь лес шли облака, через которые с белым свистом летело горящее масло. Оно горело на блиндажах, на ветвях, на столбах с проволокой, на пулеметных гнездах, оно горело на шинелях, на винтовках, на шлемах, шипя и свертываясь.

Раскаленные струи настигали врага на бегу, и уже горели мясо и кожа, и уже лопались глаза и жилы. В лесу поднялся вой, сквозь который шел Штарке, непоколебимый выходец из легендарных саг. Сага развертывалась перед ним. Его огонь сжигал все. Западня действовала. Ослепляющие струи текли безостановочно. То они взвивались вверх, то, переменив цель, сбоку ударяли по неприятелю, ночь ожила вспышками гранат и гулкими ударами, непонятными, как все в ночном бою. Западня захватила врага врасплох. Однако враг пробовал еще стрелять без прицела, с отчаяния.

Перед Штарке упал огнеметчик, сраженный, видимо, в голову, так как он поднял руки и не донес до лица.

Из пробитого пулей аппарата вытекало масло. Горящий аппарат, казалось, корчился на земле, извергая живые внутренности. Штарке нагнулся и закрыл кран. Он стал легким, как самый молодой солдат его роты.

Огонь жег лес, людей и все препятствия. Враг или умер, или выл от страха, закрыв глаза. Люди закрывают глаза, они больше всего боятся потерять глаза, они до конца хотят видеть все.

Пехота бежала рядом с огнеметчиками. Штарке соскочил в окоп. Это был французский окоп. Под бруствером и над бруствером лежали люди, но они не были людьми. Они были теми черными обугленными мешками, соломенными куклами, в какие играл Штарке, когда его огнемет переживал первые огненные дни юности.

Вокруг Штарке бесновалось масло. Казалось, оно только и ждало этой ночи, — всю свою долгую жизнь бок-о-бок с человечеством оно ждало этой ночи, чтобы прыгать, свистеть, жечь, истреблять. Надо было подавать отбой. Надо было не дать изнемочь этому могучему потоку.

Наверху над окопом появился человек, и три струи обдали его, как таракана. Он завертелся на месте, стал подпрыгивать, и пламя крутилось на нем, точно щекотало его со всех сторон. Человек скакал на одной ноге, и при свете горевшей одежды видны были его горевшие волосы и черный лоб, широко раскрытый рот, беззвучно захлебывающийся от горя. Человек пропадал. Вдруг он начал трещать как хлопушка. Огонь дошел до подсумка, который он не сумел сбросить. Подсумок вспыхнул, подсумок взорвался, пламя взметнулось к лицу человека, серому, как пемза. Взорвался второй подсумок, и человек свернулся, как бабочка, долго кружившая в ламповом стекле и, наконец, упавшая пеплом.

Гренадеры с гранатами в руках стояли у входа в блиндажи и предлагали сдаться оставшимся в живых. Бой был кончен. Аппараты гасли один за другим. Французские пушки били по окопам, и снаряды швыряли обугленные тела, ставя их на головы, перевертывая и разрывая на куски, чтобы убедиться, что действительно произошло нечто необычайное. И тогда начали приводить пленных.

Мимо Штарке прошел толстый французский сержант, кровь текла с него, как с барана. Он твердил одну и ту же фразу:

— Так воевать — это дермо, это дермо, как это называется...

Штарке остановил его и взял за руку.

— Это называется фанг, — сказал он, но француз скинул его руку и пошел вперед, обливаясь кровью, твердя все одно:

— Так воевать — это дермо, это дермо, как это называется.

2. ВОДА И ОГОНЬ

Это не было просто попойкой, собственно говоря, это была вовсе не попойка. Офицеры частей особого назначения сидели на разрушенных диванах и на уцелевших стульях. И посреди них возвышался Штарке. Он возвышался, развернув плечи, и серые брови его, и загорелые до полной багровости щеки, и неподвижность фиолетового подбородка, и тяжелые, медленные движения рук делали его похожим на нечто богоподобное. Такое богоподобное существо из военной мифологии пило большими глотками вино, потому что оно имело право пить.

Вино было завоевано, ночь была завоевана, кресло, в котором он сидел, было завоевано. Это называлось жизнью, другой не было. Стаканы стучали. Все пили, крича:

— Тысяча четыреста пленных, два полковых командира, шестьдесят восемь пулеметов!

Под лейтенантом сломался стул, но он пересел на ящик с санитарными принадлежностями. Он не упал.

— Четырнадцать орудий, склады ручных гранат!

Все топали ногами от удовольствия. Штарке разбил стакан об пол. В его глазах сиял четырехугольный огненный загон фанга. В этом слове было даже нечто восточное, китайское. Можно было изогнуть это слово в огненного дракона, испепелявшего все живое. Только этого и хотел Штарке. Но сегодня он был великодушен. Он мог делиться победой.

— Слава пехоте, — сказал он, — слава кротам, роющим вражескую землю. Слава артиллерии, кроющей их с перцем... Шеф армии...

Все вскочили и пили, стоя. По темным лицам ходило пламя керосиновых ламп и фонарей, висевших на веревках. Трехцветное пламя делало каждое лицо трехцветным: красным от загара, черным от возбуждения и пятнисто-золотым от вина. Штарке был багров, как никогда.

— Последнее донесение французов, — закричал человек с перевязанной рукой, — пресвятая дева и святая Елисавета ранены шрапнелью... Плевал я на этих баб. Пророки валяются в обломках. Да здравствует святая Берта и ее сорок два сантиметра, хлопающие их по боку. Колокола слетали к чертям. Святой Ремигий сбежал — от него не нашли следа. К чорту все соборы! Пьем за здоровье артиллерии!

— Они засовывают своих наблюдателей во все дыры. Все дороги кишат их шпионами. Они добивают раненых. Отравляют колодцы.

— Резервуар с маслом, шланг и брандспойт очищаются сырым бензолом, — сказал Штарке, — дорогу огнемету, пришли новые времена...

Денщики и вестовые, серые большие обозные лошади, убирали битую посуду с ящиков, изображавших стол.

— Прошу слова, — сказал лейтенант. Его скулы ходили от возбуждения. В клубе гольфа он считался лучшим оратором. Он был возбужден так, что мог взлететь над столом от возбуждения.

— Слово лейтенанта Геринга...

— Лейтенант Геринг...

— Пришли времена, о которых мы мечтали; играя в гольф, мы, в сущности говоря, играли все время в войну. Капитан Отто фон-Штарке, украшение германских специальных войск, начал величайший матч огненного гольфа. Подымаю тост за открытие новой эры, за французскую партию капитана Штарке.

Он шагнул и зацепил шпорой рваный ковер. Серый, как лошадь, вестовой нагнулся и освободил его ногу из западни.

Стаканы наполнялись. Трехцветные лица уже походили на флаги, раскачивающиеся на выступах балконов,

флаги, встречающие победителей. И тогда все услышали шум. Шум шел с улицы — от открытых пространств, из ночи, за разбитым домом, в котором они сидели, не снимая шинелей, обвешанные оружием. Они вышли на улицу.

Хлестал дождь. Дождь хлестал уже много часов. Они его не замечали. Отдыхающий имеет право не замечать ничего. Теперь иные из них, с радостью раскрыв рот, ловили воду, чтобы освежиться.

Перед ними шли войска. Тесными рядами, не в ногу шагали солдаты, солдаты, солдаты. Никого кроме них не было вокруг. Дождь пробил их насквозь, он стекал со лбов, он шел тоненькими струйками вдоль спины по голому телу, он забирался в вещевые мешки сквозь незаметные отверстия, он уже шипел в сапогах, он расстилал лужи перед ними, он бил по глазам. Мокрые руки держали мокрые винтовки, мокрые груди вздымались отвратительным кашлем или проклятьем.

Месиво мокрых человеческих тел, стремившихся с неотрывностью лунатиков с закрытыми глазами, спотыкавшихся, было бесконечно. Точно море вернуло всех утопленников, и они, сплоченные общей гибелью, не могли оставить друг друга. Огромные сапоги, огромные шинели, огромные каски, казалось, сами тащили легкий студень человеческих тел, вещи завладели этими людьми, их повертывал уже не голос команды, а свисток. Бинты висели на шеях, на головах, руках и ногах. Дождь размыл их и превратил кровь, вату и марлю в холодный каркас, плотный и мучительный. В рядах шли легко раненые, оставшиеся в строю. Люди сквозь зубы сплевывали кровь. Грязное бурое небо над их головой резали холодные пилы прожекторов, и тогда дождь еще сильнее набрасывался на идущих, точно находил недостаточно мокрые отряды. Люди текли безостановочным потоком, и, если смотреть им на ноги, то откуда-то со дна души подымалась тошнота.

Лейтенант Геринг, возбуждение которого требовало выхода, закричал в эту ночную, дикую армию привидений:

— Да здравствуют баденцы!

Никто не ответил, никто не оглянулся. Дождь заглушил крик. Геринг и другие кричали поочередно, как исступленные:

— Да здравствуют вюртембержцы, баварцы, саксонцы...

— Да здравствуют пруссаки, ганноверцы, гвнрдия...

Они кричали, как помешанные, в лицо проходящим, и у этих проходящих действительно было одно лицо, изможденное, серо-зеленое, мокрое лицо с глазами, ушедшими внутрь, как бы спасающимися от дождя. Возбуждение при виде этих молчаливых фигур, загромоздивших ночь, бесконечность их мрачного шествия, переливавшегося, как поток, из улицы в улицу между развалин и воронок от снарядов, доводила компанию Штарке, как игроков, только что вышедших из азартной игры и ставших свидетелями чужой азартной игры, — до неистовства.

Худощавый, дрожащий от холода офицер подошел к ним.

— Все, что осталось от Шрекфуса, — сказал он, как бы вынимая откуда-то издалека свое имя, — нет ли у вас папирос?

Шесть портсигаров щелкнули ему навстречу. Он взял папиросу и держал ее, не закуривая. Его задевали проходившие, он не обращал внимания. Он дышал, как лошадь, идущая в гору, и пальцы его дрожали. Струйки воды выбегали из рукавов шинели.

— Из всей роты осталось тридцать шесть человек, семь рядов проволоки, волчьи ямы.

Его не слушали, он говорил сам с собой, он подводил итог, не думая: проволока, проволока — по двадцать человек в каждом ряду.

Папироса вспыхнула и с шипеньем погасла. Мрак около его лица сгустился. Он бросил папиросу и пошел дальше, и ноги его тонули в грязи почти до колен.

Серые стада людей все двигались и двигались. Иных поддерживали товарищи. В интервалах хлюпали лошади. Всадники, закутанные в стального цвета плащи, старались не шевелиться, зная, что единственное сухое место в мире — это седло. Ниже седла начинался океан. Противно было касаться мокрой гривы, мокрого повода, собственных рук.

Штарке смотрел поверх их, туда, где была только тьма, которую резали белые пилы прожекторов. Перед его глазами ходили ослепительные, гибкие щупальцы

огнеметов. Вражеские пророки валяются в обломках. Вчера ликвидировали деву Марию, парижанку с черными волосами и маленьким французом на коленях.

— Огнемет, господа.

И все повиновались ему. Вся толпа пошла закоулками под дождем. Он вел ее, как хозяин ведет гостей показывать свое поместье, он шагал, как пророк по завоеванной земле — показать меч, покаравший ничтожных.

Часовые стояли размокшими грибами. Было странно, что винтовки сохранили какую-то твердость в этой жидкой, как месиво для свиней, ночи.

Дежурный с воспаленными глазами рапортовал, держа перчатку у каски. Он мог держать ее целое столетие. Штарке наслаждался этой изогнутой мощной рукой. Фонарь держал вестовой. В глубине старинного парка спали огнеметы. Он знал их наизусть.

— Огнемет № 10, — приказал Штарке, — пробное испытание.

Дождь не переставал. Казалось, что деревья выйдут из почвы и упадут на жидкие стены домов. Огнемет стоял под деревянным навесом. Он жил, как холостяк на даче, в маленьком сарае. Команда выстроилась у огнемета. Толпа офицеров переступала с ноги на ногу. Вино переставало греть. На шпорах висели комья грязи.

— К огню — готовсь! — командовал Штарке.

Люди или привидения переместились словно в балете. Бурная чернота ночи колебала пустынный парк. В такую ночь можно делать все. Человечество не имеет голоса в такую ночь. Где оно? Да есть ли оно вообще, это человечество? В тех серых толпах, переливавшихся сквозь ночь, нельзя было различить старых и молодых, умных и дураков, артистов или рабочих, все они были одинаковы. Ими правил свисток. В интервалах шли лошади. Прожектора указывали места их смерти. Никто не верил, что ночь кончится. Тьма лежала по горизонту.

— Смирно, — командовал Штарке, — огонь!

Круг дыма взлетел вверх и ушел вперед. За ним последовала трещащая, сильная, как кулак, толстая огненная жила, рассекавшая пространство. Острие этой жилы, светясь в черном дыму, как тысяча раскаленных

проволок, вонзалось в деревья, они шипели, покрываясь смертельными ожогами, кусты трещали, в ночном мраке открывалась трещина, пробитая страшной струей.

— Стой! — голос Штарке дошел до черных манекенов у аппарата. Огонь погас.

— Держатель освободи!

— Продуй.

Лейтенант Геринг, лучший оратор в клубе гольфа, больше не ощущал действия вина, но он забыл и все речи. Нервная лихорадка перебирала кости. Губы его, плотно сжатые, старались удержать стук зубов.

— Князь тьмы, — сказал кто-то за его спиной. Штарке усмехнулся. Он уже знал, что это прозвище идет за ним через штабы и обозы, через вокзалы и сборные пункты, через окопы и блиндажи, оно было, как светящийся транспарант, оно нравилось Штарке, он сделает его своим знаменем.

— Устрашая врагов, иди к победе, пусть им останутся только глаза — оплакивать свое поражение. Глаза останутся, ведь они всегда закрывают их руками, когда на них летит его пламя, пламя Штарке.

Чтобы согреться, офицеры поспешно и громко говорили:

— Да, это изобретение...

— Я бы не хотел быть французом.

— Тысяча четыреста пленных, четырнадцать орудий в пять минут.

— Нужно делать полки этих игрушек, тогда дело пойдет по-настоящему.

— А если у них?

— Что у них?

— А если и французы?...

— Они — они не успеют обернуться, как все будет кончено.

— Дежурный, — сказал Штарке, — я забыл — Ганс Немландер.

Поднятая рука в перчатке, могуче изогнутая, замечательна. Символ дисциплины и порядка. Она может висеть у каски целые столетия, но два пальца перчатки пусты.

— Так точно. Ганс Немландер не может быть откомандирован в пехоту. Он убит третьего дня.

3. КНЯЗЬ ТЬМЫ

Князь тьмы! Сколько уже недель работают его огнеметы, сколько уже цифр прибавилось в донесениях, сколько обугленных трупов, закопанных в воронках и окопах, в глубине пулеметных гнезд, среди разбитых бревен, среди лисьих нор, — но ведь это только начало. Этого мало. Мысль Штарке работает днем и ночью и только в одном направлении: чего они медлят, эти штабы? Почему они всегда, всегда тормозят, не верят, сомневаются, эти господа? Париж был бы давно в немецких руках, выход на Ламанш — тоже. Англия была бы сломлена, если бы они поторопились, но они никогда не торопятся.

Эти люди, кажется, гордятся своей медлительностью. Они как будто ждут, что у него появится соперник, человек, который отобьет его славу, его труды. На что они вообще надеются — на то, что французские заводы остановятся, на то, что Англия испугается своего будущего и пойдет на мировую? — нет, они положительно непонятны.

Мотоцикл отлетел в сторону, чтобы пропустить медленно идущий грузовик с мотками проволоки. Проволока свешивалась с него, угрожая во все стороны рыжими иглами. Они затягивают всю армию в этот колючий корсет, они роют землю днем и ночью, они выпускают тысячу снарядов, чтобы вырвать у врага несколько метров, на которых трудно дышать от пороховых газов и неубранных мертвецов. Нет, они положительно делают не то.

Майор — уже майор — Штарке приподымается в каретке. Тяжелый мотоцикл лавирует между развалин и останавливается, недовольно треща. Большой зеленый бенц со штабным значком зарылся в край воронки передними колесами и не может выбраться. Десяток солдат потеет около него. Мотоциклист останавливается — прохода нет. Штарке смотрит на вылезающих из бенца людей с ненавистью.

— Всегда поперек дороги, всегда поперек дороги...

В группе офицеров в новеньких блестящих плащах, в ослепительных гетрах, в группе этих сытых красавчиков, вырабатывавших годами решительное выражение

лица и надменность поступи, глубокомысленные морщины и снисходительную бледную улыбочку, — он видит штатских.

Они тоже таскаются на фронт. Читать лекции. Смотреть и умиляться на вшей, на солдатские бордели, на окровавленные бинты, на свежих официальных героев.

Майор Штарке лишается спокойствия, бенц кряхтит под дружным натиском серых рабов, стоящих по колено в воде и грязи. Один из штабных недовольно смотрит на часы.

— Мы опаздываем, профессор, — говорит он человеку с круглым симпатичным лицом, такому милому весельчаку, которому на фронте только и дела, что разъезжать в штабном автомобиле и завтракать в штабе. Может, это представитель нейтральной державы? Тогда его нужно облизывать со всех сторон, чтобы к нему не пристало ничего мрачного, ни одной кровавой пылинки.

Тот, кого назвали профессором, смотрит сквозь автомобильные очки зеленоватыми глазами в зеленоватое небо и пожимает плечами.

— В крайнем случае мы пересядем — мы вам сейчас устроим.

Штабной оглядывается с чрезвычайно умным видом.

— Профессор Фабер смог бы воспользоваться мотоциклом, — говорит бритый под англичанина офицер, указывая глазами на Штарке.

Штарке не слышит этой вопросительной фразы. Он презирает штатских сейчас, как никогда. Он выключает слух. Профессор подымает на лоб автомобильные очки.

— Сколько времени займет эта операция с нашим автомобилем? — спрашивает он.

— Фельдфебель, сколько времени вы будете копаться? — кричит штабной.

Лицо старого служаки сосредоточивается, точно его сейчас ударят. Он накидывается на своих серых рабов, и те бросаются из последних сил, без крика, пот выступает под перепрелыми шинелями, они существуют сейчас только для этой машины, для этой лужи, для этой группы штабных — потом им скомандуют: «вольно», потом велят разобрать винтовки.

Они выкатывают бенц на дорогу, шофер садится на свое место, и его меховые перчатки ложатся на руль.

Все в порядке. Штаб снова на колесах. Он проносится мимо Штарке. Штарке надолго запоминает профессора Фабера, забывшего опустить автомобильные очки.

4. БАЛЛОНЫ

Стрелки в узком ходе сообщения прижались к стенкам, чтобы пропустить тяжело дышавших, ежеминутно спотыкавшихся людей, тащивших непонятный груз. По-видимому, эти люди тащили свою ношу давно и держали путь к первой линии. Стрелкам сначала показалось, что несут труп, потом — что несут снаряд, и они удивились, что таким образом происходит нивесть зачем доставка снарядов в полной тьме, и каких огромных снарядов!

Люди тащили на палках загадочный металлический баллон, и мутное дыхание их с хрипом и задушенным кашлем показывало, что груз не легок.

— Что это такое, эй, товарищ? — спросили они, но тащившие мотнулись вперед и, шатаясь, исчезли в темноте. Навстречу стрелкам шла следующая пара, тащившая на палках точно такой же снаряд. За ними двигались на недалеком расстоянии еще другие. Казалось, темнота рождает этих носильщиков неизвестного по странному и причудливому капризу.

Стрелки стояли, затаив дыхание, а люди с баллонами все шли и шли мимо них. Стрелки насчитали уже двадцать четыре баллона, и шествию не предвиделось конца. Ничего подобного они не видели за всю окопную жизнь.

— Товарищи, что это за чепуха? Чем они набиты?

— Морковным мармеладом, — сказал один мрачный носильщик, отирая пот рукавом.

— Почем я знаю, мы сами не знаем, — сказал другой, повеселее, — я думаю, что мы так дотащим как раз до Парижа, если не сдохнем раньше.

— Что за часть? — спрашивали стрелки уже сорок третий баллон.

— Штрафная рота, арестанты, пулеметное мясо, — почти громко ответил остановившийся солдат, прислоняя баллон к стенке узкого хода. Стрелки тихо свистнули.

— Пулеметное мясо мы сами, — сказали они, и уже злоба начала просыпаться в них на это замогильное шествие, на дурацкую остановку, на этот узкий ход, не позволяющий разойтись, вылезать на край никому не хотелось. По небу бродили прожектора, и всякий знал, что это значит.

Товарищ солдата, назвавшего себя пулеметным мясом, тоже прислонился к стенке, несмотря на то, что к нему уже приближалась новая пара.

— Не пойду, — сказал он. За воротник ему сыпалась земля, но он испытывал громадное удовольствие отдыхать, вытянувшись, стоя после длинного перехода, где он шел, согнувшись, как обезьяна.

— Астен, не глупи, — сказал его товарищ, — подымай-ка палку, пойдем дальше, если нас затрат и мы загремим, что будет?

— А если пуля ударит в этот сволочной баллон, ты думаешь, мы уцелеем?

— А что в нем — чорт его дери, он весит, по-моему, сто фунтов; если он трахнет, тут, я думаю, будет пахнуть жареным мясом на целый километр. Идем, идем.

Они двинулись дальше в темную ночную жизнь бесконечных ходов, изломанных, нырявших то в глубину земли, то выводивших к черным постройкам, скудно освещенным, где прятались люди. Они шли дальше. Эрне временами казалось, что он спит. Он на ходу впадал в самое прозрачное забытье. Он чувствовал тяжесть груза и палку на плечах, ноги его передвигались, но тьма залезала в рот, глаза, уши и прекращала всякое человеческое движение, всякую человеческую мысль. О чем можно думать в таком мраке, задыхаясь от усталости, с исцарапанными руками, побитыми ногами, головой, переполненной усталостью?

Его запрятали в штрафную роту, сохранив за ним право открытой ненависти по отношению ко всему, что он видел. Он знал, что люди штрафной роты в глазах командования — материал, от которого нужно избавиться в первую голову, но избавиться с умом. Ночная тайна баллонов, однако, не была им угадана. Да и никто, кого он ни спрашивал, не мог сказать, в чем дело. Многие думали, что это что-нибудь взрывчатое вроде мин.

Прошедшая жизнь его осталась где-то в другом

веке, в другой стране. Грязный, всклокоченный, загнанный в черные ходы земляных лабиринтов, голодный, сравненный с животным, он не мог бы сегодня возразить профессору Бурхардту с книжной горячностью увлекающегося молодого человека. Он мог взять в свой карман кусок этой земли, искрошенный лопатами и динамитом, перемешанный с кровью и костями, и принести его в подарок профессору на его званый ужин, когда он будет доказывать, что все благополучно — конституции государств совершенствуются.

Он ударился о забытую шанцевую лопату, которая разрезала ему штаны и провела глубокую борозду ниже колена. Боль не показалась ему острой: одним шрамом больше, одним меньше, разве в этом дело?

— Алида, — сказал он почти вслух и ощутил всем существом неведомое чувство того последнего страха, от которого трезвеет голова и ноги делаются ватными. Он еще не видел ничего, а уже дыхание остановилось, и жила на виске выгнулась такой дугой, что он услышал, как она набухает кровью. Товарищ его, как будто он передал ему свое ощущение, нагнул голову и закрыл глаза, не выпуская, однако, палки. И тотчас же белое пламя выросло где-то вблизи, и дикий удар расколол ночь. Внутри белого облака прошли синие с красными полосами, и черный, чернее ночи, косой столб упал с таким скрежетом, что свело челюсти.

Они очнулись, когда их толкнули сзади: они побрели вперед и снова втянули голову, потому что чудо черного столба возникло теперь справа и один комок грязи лег поперек лица Эрны, как след мокрой линяющей черной перчатки. Эрна размазал грязь, и они пошли дальше.

Теперь остановились передние, как будто им приказали остановиться. У развороченного перехода скопилась целая вереница носильщиков. Прожектор шел на них, неумолимо разворачивая свою широкую белую пилу. Прожектор дошел до них. Люди застыли. Лица стали меловыми. Руки посинели, точно их опустили в спирт. Тусклый блеск баллонов покрылся морозной корой. Щеки у людей ввалились. Кто-то заплакал от страха. На него цыкнули. Люди стояли неподвижно. Прожектор обшаривал лица, задержался на баллонах

и резко ушел в сторону. Люди потащились дальше. Но едва они прошли несколько десятков шагов, как с веселым свистом в небо вышла ракета. Она шла, набирая высоту, все выше и выше острым рубчатым огоньком, потом остановилась, лопнула, и на белых трех нитях повисли три маленьких луны, и эти луны начали превращать ночь в день. Им это удалось на такой промежуток времени, что можно было умереть от разрыва сердца.

Луны красовались над полем мертвых, потому что люди стояли как прислоненные к стенам мертвецы. Никто не дышал. Эрна царапал землю свободной рукой, и земля была мертвая, холодная, безотрадная.

Луны погасли. Шествие все продолжалось. Мимо них протиснулся человек, глухо шептавший: «Осторожней, осторожней, шире расстояние, последние шаги, нагнитесь; передавайте назад, чтобы шли тише, как можно тише».

Ходы стали разветвляться. У каждого разветвления стояли ожидающие люди. Они указывали дорогу дальше. Как можно видеть в такой темноте — об этом никто не думал. Шли безостановочно. Нет, они уже не шли. Они перетаскивали ноги с таким трудом и с такой тяжелой озабоченностью, точно несли стеклянные вазы. Эрна был полон злобой по самые плечи. Он никогда не ощущал смерть как распыление и исчезновение всего его существа так ясно, как сейчас. Он не помнил, сделал ли он сознательно это или он действительно оступился. Баллон звякнул в полной тишине, баллон соскользнул с его палки и с ясным звоном ударился о какое-то дерево внизу. Была ли то обшивка окопа, развороченная бомбардировкой, случайное бревно — этого он никогда не узнал.

Кровь отлила от головы, потому что сейчас же, как будто рядом, началась стрельба, затем пришла очередь дежурного пулемета, рикошетирующие пули, отскакивая от невидимых щитов, фигурно отсвистывали свой конец.

Разрывные пули светились. Казалось, сейчас все покроется яростным припадком повсеместного огня, но суматоха исчезла так же внезапно, как и началась. Последние пули, кувыркаясь, зарывались в землю. Перед Эрной стоял человек, трясший его за грудь, и у самого

своего рта ощутил он холодный запах маузера. Человек кричал придушенным голосом: «Если ты, если ты еще раз уронишь баллон, я застрелю тебя на месте».

И он пошел сейчас же следом, так что его дыхание слышал Эрна так близко, точно тот сидел у него на плечах. Когда он спотыкался, дуло маузера тыкалось в его затылок. Четыре человека приняли от него баллон и унесли его так бесшумно, словно он ничего не весил. Эрна облегченно вздохнул. Офицер исчез.

Все носильщики, держась за руку, погружались в самую глубокую темноту, и это был блиндаж. Жаркое дыхание нескольких десятков людей согревало его. Эрна смутно вспоминал эскимосов, зимующих в снежных хижинах вповалку со своими собаками; это было первое воспоминание из мира книг, из мира, давно погибшего, как Атлантида. Он лег между двумя невидимыми соседями. Огни папирос забегали перед ним.

Чей-то голос возник вверху. Человек говорил с лестницы блиндажа, не заботясь, слушали его или нет. Он привык говорить в темноту простуженным, лающим голосом, не внушающим никакого доверия.

— Отдых полчаса — не курить — эй, вы там, аристократы!

Голос исчез, но огоньки остались. Люди на дне океана, считающие себя утопленниками, могут позволить себе роскошь не бояться простуженных голосов.

Эрне кто-то вложил в руку ломоть хлеба. На пальцы стекал холодный жир. Товарищ его, несший с ним баллон, сказал тихо: «Жри, я украл две банки там, на пункте. Это консервы, не бойся».

И он начал есть липкое, пахнувшее пóтом и землею волокнистое мясо. Он насыщался поспешно, оберегая каждую крошку. Сосед слева храпел. Гул сдержанного разговора шел по блиндажу. Кто-то начал кашлять, закрыв рот рукой. Было впечатление, что этого человека непрерывно бьют в спину. Сосед справа перестал жевать. Он перегнулся к Эрне:

— Ты не спишь, Астен?

— Я не сплю, Фриц. Что ты хочешь? Спасибо за консервы.

— Брось. Я узнал сейчас, в чем дело. Раздери меня гранатой, но я мало понимаю. Ты, ученый, может, объяс-

нишь. Знаешь, что в этих баллонах, говорят, что мы тащили?

— Ну? — Эрна, облизывая пальцы, равнодушно слушал шопот.

— В них газ.

— Газ? Какой газ?

— Так я тебя и спрашиваю: какой газ? Что горит на улицах, что ли?

— Вставать! — сказал простуженный голос с невидимого порога, — по одному тихо выходи. Не курить!

5. КЕНСИ

Жан Кенси был весь день в прекрасном настроении. Там, где он увидел вчера толстую крысу, там он увидел ее и сегодня. И даже крыса его развеселила.

— Тебя тоже призвали, — сказал он, не двигаясь с места, — где же твое оружие, собака?

Крыса сидела, почесываясь, толстая окопная крыса, отвратительный законченный представитель своего племени. Она показала Жану мелкие узкие зубы, покрытые какой-то плесенью.

— Ты, оказывается, умеешь и смеяться, — сказал он, — еще бы, ты живешь с нами жирно — это видно, но только это неправильно. Нам все опасности, а тебе все удовольствие. Ты жиреешь на нашей крови, как банкир на бирже, это не дело. Ты подумай об этом в свободное время, его у тебя достаточно. И устрой как-нибудь так, чтобы это поскорей кончилось.

Он неосторожно сдвинул винтовку, крыса убежала. Ее узкий кольчатый хвост минуту торчал из ямы, потом и он исчез. Кенси поглядел через бруствер. Тоскливые ряды проволочного заграждения, низкие окопы германцев, воронки, налитые водой, размытая земля, проволока и столбы с пустыми консервными банками, висящими там и тут. Скучно!

— Я так привык к этому пейзажу, как к набережной Луары. Вот только кончится война... — Он задумался.

Он разговаривал сам с собой, потому что все его товарищи спали, кроме часовых, изучавших бронированную щель в щите, заложенном мешками. Ближайший ча-

совой глядел в его сторону, делая знаки. Кенси подошел к нему. Деревенский парень не знал, стоит ли звать капрала.

— Капрал бреется, — сказал Жан, — зачем он тебе?

— Немецкий аэроплан, смотри, как он крутится, крутится, будто подбит, того и гляди сядет.

Они стали смотреть оба. Немецкий аэроплан не думал падать.

— Вон там лежит Бараге, — сказал часовой, — на той вон проволоке, уже третий день. Я хочу просить капрала пустить меня за ним.

— Зачем он тебе понадобился?

— У него в кармане кости, которыми мы играем. Скучно без них, а с ним они пропадут. И я хочу прогуляться за ними сегодня вечером. Они в таком хорошеньком стаканчике. Они наверно целы. Он прятал их во внутреннем кармане.

— Я пойду тоже с тобой. Кто-нибудь из нас донесет их благополучно. Как ты думаешь?

— Смотри-ка, что делает эта свинья!

Немецкий самолет сбросил черный столб дыма, и дым повис. Едва он достиг земли, как где-то далеко взметнулись пушки, и первые гранаты упали перед окопом, вспарывая мешки, разбивая доски, рубцуя щиты прикрытий. И это уже была бомбардировка. Капрал выскочил сам. Появился лейтенант. Пространство за бруствером с надоевшей проволокой, с опостылевшими воронками через десять минут стало неузнаваемо. Все недолеты приходились на это пространство. Черные фонтаны земли следовали один за другим так часто, точно там резвилась целая партия необыкновенных китов.

Все лежали на животе с зелеными лицами. Гранаты, как электрические плуги, взрезали землю. Так было три дня назад, так и теперь.

— Приготовиться к атаке! — говорил лейтенант, и унтера подхватывали его распоряжение. В блиндажах проверяли ручные гранаты. В пулеметных прикрытиях готовились к контратаке. Так было три дня назад, так и теперь.

Веселость Кенси не проходила, несмотря на то, что он жевал щепоть табаку, чтобы утишить зубную боль, которую вызвала у него бомбардировка. Ливень гранат

прошел. Повсюду, как после майской грозы, ходили лиловые тучи, то свертываясь, то распластываясь, залезая в воронки. Так было три дня назад, так и теперь.

За обрывками туч шел зеленовато-ржавый туман, не смешиваясь с облаками гранатного дыма. Этого не было три дня назад, этого не было никогда. Туман надвигался, как на море, ровный, спокойный, не имевший никакого желания дотянуться до неба, он скорее шел, как бы согнувшись, и в его зеленоватой мути исчезало поле сражения. Бруствера уже не было. Все бросились бежать. Никто не знал, что произошло. Кенси вскочил в блиндаж, но мысль об атаке выгнала его оттуда. Погибнуть, как крыса, разорванным ручной гранатой или получить удар по черепу — это не дело.

Он выскочил наверх. Он наступил на лежавшего капрала. Капрал лежал на животе. Он не был ранен. Он судорожно мял всем лицом землю, грязную, темную землю окопа. Капрал сошел, повидимому, с ума. Кенси бежал по окопу, и всюду в тумане лежали люди. Он наступал на них, падал, вставал и ничего не мог сообразить. Вдруг все поплыло перед глазами. Потом сознание вернулось к нему. Он задыхался. Непонятно было, от чего он задыхался. Он начал делать руками движение пловца, но плыть было некуда. Он начал кашлять, как чахоточный. Он чихал, из носа текла не то кровь, не то вода, он не смотрел, в голове стоял звон. Горло стало сжимать резиновое кольцо, сотни игл кололи небо, он вздохнул, он проглотил кусок зеленого тумана.

Набережная Луары поплыла мимо, как картинка из кино. Она была ненужна. А что было нужно? Нужно было отыскать что-то совершенно необходимое. Пересмотреть молниеносно все впечатления памяти. Звон в ушах стал непереносим. Рот был полон мокрой слизью, точно он наелся тины. Зеленые луга, деревья летели, как страницы разорванной книги, но это было все не то. Винтовка упала из его рук. Он вбежал на бруствер. В разрывы тумана он увидал громадное одиночество. Мир кончился. Всюду бегут и падают люди. Это и есть конец войны. Как странно она кончается.

Сердце останавливалось. Надо было искать скорее, скорее. Пронеслось белое здание лаборатории, кафель стен, кривое лицо налилось зеленоватой водой, но он не

сдавался. На него обрушились разноцветные пробирки, вытяжные шкапы, языки спиртовых горелок, белый балахон. Да, конечно, Жан Кенси вспомнил: он же химик.

Стоя на бруствере, шатаясь и размахивая руками, он вдыхал зеленый туман, и дневная веселость возвращалась к нему удесятеренной. Он уже не чувствовал резинового кольца на горле, он уже не знал, остались на его лице рот или глаза, но, ныряя в зеленый мрак, он кричит, — ему кажется, что он кричит, — то единственное, что нужно было крикнуть:

— Это хлор, — кричит он, — ведь это простой хлор!

И в мире наступает последняя тишина, которую разрубает черный гром. Это не граната и не взрыв сапы. Это башмаки, солдатские башмаки Жана Кенси и солдатские плечи Жана Кенси ударились о дно окопа.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. АННИ

Стая голосистых подростков ворвалась в кафе, забросав столики листами свежих газет. Они кричали со всем упоением возбужденной молодости, их глотки будущих солдат работали уже сейчас на оборону.

— Колоссальный успех!..

— Впервые в истории войн!..

— Достойный ответ врагу...

— Кровавый разгром союзного фронта! Тысячи убитых! Колоссальный успех! Смертельные газы! Впервые...

Люди бросали чашки и тарелки и хватали газеты, перегибаясь через спинки стульев, читали через плечо соседа, кричали ура, кто-то требовал гимн.

Молодая женщина, сидевшая у окна, вздрогнула при первом крике мальчишек и долго искала мелочь, чтобы расплатиться за газету. Она развернула газету и начала читать, вглядываясь в каждую букву. Никто не обращал на нее внимания. Каждый по-своему толковал известие. Да, мальчишки кричали верно. Женщина читала: после сильной бомбардировки между Лагемарком и

Биксшутом были выпущены удушливые газы. Вся позиция перешла в наши руки... Атаки были повторены двадцать четвертого и двадцать пятого апреля с большим успехом в районе к востоку от Ипра. Наши потери ничтожны.

Женщина дальше не читала. Она сложила газеты и оставила кафе. Она шла, точно сама наглоталась газа, почернев и дрожа. Прохожие уступали ей дорогу, некоторые оглядывались. «Верно, она потеряла кого-нибудь на войне, — думали они, — ну, что ж, обычное дело». Временами женщина приходила в себя и останавливалась, чтобы перевести дыхание. Потом она снова бежала и бежала неопределенно куда, казалось, гонимая преследователями, и ее действительно преследовали. Газетчики и газеты захватили улицы, это был час вечернего выпуска. Казалось, женщина страшится именно этих газет. Она сворачивала в сторону всякий раз, когда вплотную подходила к людям, остановившимся с газетой в руках. Отчаяние не сходило с ее лица. Если бы рядом была река, она, не колеблясь, перешагнула бы мостовую решетку. Никогда в жизни она не тосковала так, как в этот вечерний час. В домах зажигались огни.

У подъезда стоял под фонарем человек с газетой. Женщина кинулась через улицу; прямо перед ней явилась в воздухе гладкая конская морда и лаковая гладкость шорных дощечек. Пена висела на трензельной цепочке. Изо рта шел пар. И сейчас кто-то схватил ее сзади, повернул, и высокий человек укоризненно сказал, возвращая ее на тротуар:

— Сударыня, это неосторожно!

Она подняла голову, голос показался ей знакомым.

— О! — сказал человек уже растерянно, — Анни, Анни, что с вами, вы больны?

Анни вцепилась в его руку.

— Это очень хорошо, что это вы, Винни. Ведите меня куда-нибудь, куда-нибудь. Я схожу с ума, Винни. Если бы вы знали...

Бурхардт вел ее под руку. Он вел ее, как раненую на перевязочный пункт. Пункт был далеко. Собственно, Бурхардт вел ее к себе домой. Анни шла, смотря в сторону, кусая губы. Она села на большой бурхардтовский диван и заплакала. Бурхардт смотрел на ее энергичное

лицо, смягченное горем, и думал, что она еще красива. Долг дружбы обязывал помочь ей. Он погладил ее по плечу.

— Анни, — сказал он, — первый раз я вижу вас плачущей. Анни, успокойтесь. Неужели случилось что-нибудь с Карлом? Я принесу вам сейчас воды. Кто вас обидел?

Он принес воды, она резко отстранила воду и выпрямилась. Потом голова ее снова опустилась, и она чуть слышно сказала:

— Мне очень тяжело. Простите меня, мне слишком тяжело. Винни...

Новый поток слез хлынул ей на руки. Бурхардт ходил по комнате, мрачно смотря на женщину. Она вынула платок и запихала его в рот, ломая пальцы. Отчаяние ее достигло предела; она сидела с закрытыми глазами, платок упал.

— Уйдите, — сказала она. Бурхардт, пожав плечами, вышел из комнаты. Он знал, как можно утешать своих легкомысленных приятельниц. Он знал, как разговаривать с женами приятелей. Он умел угождать их вкусам, ничем не жертвуя. Он гордился, что имеет твердый характер. Но Анни Фабер была особым человеком. Никогда в жизни он не думал, что она будет сидеть на его диване, захлебываясь слезами, как нервная девочка, — она, холодная, умная, спокойная фрау Фабер.

Когда он услышал, что она встала с дивана, он вернулся в комнату. Анни стояла у стола.

— Нет ли у вас одеколона? — сказала она. Он принес ей флакон и полотенце. Она вытерла слезы и освежила лицо.

— Не удивляйтесь, Винни, — сказала она печальным и ясным голосом, — я не пробую улыбаться, ничего не выйдет, больше ничего не выйдет. Анни Фабер нет, как нет и Карла Фабера.

Бурхардт взял ее холодную руку и поцеловал.

— Я вас давно знаю, Анни, но я ничего не понимаю во всем, что сейчас происходит, — ничего.

Анни вернулась на диван. Она подняла с пола платок и разглаживала его.

— Вы читали вечерний выпуск? — спросила она, глядя в упор. Его поразила огромность ее глаз.

— А, — сказал он, — газы... Вы, конечно, хотите сказать о газовых атаках. Это, должно быть, забавное зрелище, Анни...

— Забавное зрелище?! Вы сошли с ума! Вы ничего не знаете. Один человек сделал это. Мировой ученый, ваш друг, Карл Фабер, по доброй воле стал убийцей.

Она говорила, и плечи ее сводила судорога.

— Говорите все, — попросил он, — все, Анни, вам будет легче...

— Винни, вы знаете Карла. Не было человека, преданного науке больше, чем он. Я — химик, я была его помощницей. И не было человека счастливее меня, Винни. Меня упрекали за серьезность, за постоянную серьезность, но я умела смеяться и веселиться. Мы знали, что в жизни выше всего наука, и, когда я влезала в свой лабораторный халат, я становилась иной, Винни.

«Это были счастливые времена. Карл был окружен прекрасными помощницами. Его открытия известны всему миру. И недавно я узнала, что часть лаборатории давно стала тайной, закрытой для других лаборантов, охраняемой, как крепость. И в лаборатории появились военные. Они приходили как к себе. Я думала, что они производят случайные опыты, и я спросила Карла, что происходит. И он смутился, мой честный Карл стал путаться, стал лгать мне и объяснять так, что мне стало ясно: дело идет о серьезной и громадной вещи, не будет же сам Карл заниматься случайными вопросами. Я сказала ему все, что думала. Я сказала, что люди вдвоем проводят жизнь, делят все пополам, или же они исчезают в разные стороны. Так у нас было до сих пор. Что поделать, у меня такой характер, Винни. И он открыл мне то, что я подозревала. Я не имею права говорить вам это, Винни, вы должны забыть то, что я вам говорю, — если об этом узнают другие, вам будут большие неприятности, — но я не могу, не могу не говорить.

«Я узнала, что он разработал применение отравляющих газов в боевой обстановке. Я похолодела в ту минуту. Вы не химик, вы не можете себе представить ужас и мерзость этого дела. Никогда в мире ни один химик не решался на это. Я узнала, что дело зашло да-

леко, так далеко, что, как пишут сейчас там в газетах, достигнуты большие успехи. . .»

Анни говорила хриплым от слез и усталости голосом.

— Я умоляла его отказаться от мысли участвовать в этом деле. Солдат против солдата — честная битва, судьба которой решается искусством оружия, равным соревнованием сил, личной храбростью, я не знаю, или намеренное страшное нападение на людей, ничем не защищенных. Он говорил мне, что англичане применили газ в снарядах, что нужно ответить им для спасения родины. Я не верю, об этом кричали бы наши газеты. Я не спала ночи с того дня, но я верила, что Карл в последнюю минуту откажется, найдет в себе мужество не стать палачом тысяч, легким палачом, Винни, человеком, сидящим далеко от всякого риска и хладнокровно, как крыс, умерщвляющим себе подобных. Для этого ли он прошел такой блестящий, такой изумительный путь ученого, чтобы завалить его трупами, бесконечными трупами, потому что, знаете, Винни, — такое оружие нельзя безнаказанно вынести на свет. В этом его проклятие. Оно сильнее всего существующего в мире оружия. Никакая граната не сравнится с газом. И у газов есть неисчислимый запас смертоносных комбинаций. Химики всех стран, из патриотизма или из чувства самосохранения, начнут такую же работу. Винни, что будет с человечеством? Человек, изобревший пулемет, — ангел по сравнению с Карлом. Он дал слово, что он не будет участвовать в этом деле, и я жила три дня, как будто я только что вышла за него замуж, счистливая, такая счастливая, что вся моя лаборатория шутила надо мной, не понимая, в чем дело.

«И потом он уехал. . . Он уехал, как он сказал, в научную командировку. И он не вернулся до сих пор. Прошло много времени, и его все нет. Он присылает записки, что командировка скоро кончится. Где он, я не знаю. И вдруг по секрету мне сообщили, задолго до печати, о газовой атаке.

«Мне рассказали подробности, от которых, Винни, у меня волосы стали дыбом. Я не могла есть, у меня пропал сон, я не могу больше ходить в лабораторию, я не могу видеть эти стены, я не могу смотреть в глаза людям, я не могу больше видеть Карла, а без

него я не смогу жить, Винни. Вот и все. Это так просто. Он нарушил слово, данное мне. Значит, он сделал выбор. Значит, все кончено. Зачем мне его объяснения? Я знаю, что он все объяснит. Он умный — умнее его мало людей на свете. Я ждала газет, но газеты молчали. И сегодня вечерний выпуск подтвердил все, все, и то, что я не ожидала — что это только начало ужасов, только первые опыты, но не последние».

— Анни, я ваш старый друг, — сказал Бурхардт, — мы живем в тяжелое время. Многое не под силу нам. Мы сгибаемся под тяжестью войны, но, Анни, вы не правы; некоторая мечтательность в вашем характере, удивительное сочетание ума и женственности...

— Не фальшивьте, Винни, не пробуйте меня утешать, я не хочу двигаться на каких-то духовных костылях. Ведь, вы подумайте, Винни, пока мы здесь сидим, он там убивает новые тысячи, он душит их, как душат бандиты, хватая за горло, потому что хлор, которым он душит, парализует дыхание.

— Анни, а если вы ошибаетесь, — сказал Бурхардт, — а если это все-таки не он? А если он спокойно сидит где-нибудь в лаборатории и вовсе не думает ни о каких убийствах? Где у вас доказательства?

Анни нахмурилась. Она глядела на Бурхардта почти враждебно.

— Где доказательства? — щеки ее сморщились, она дурнела на глазах, — доказательства? доказательства я получу сегодня же.

Она встала.

— Я не отпущу вас, — закричал Бурхардт, — преступление отпускать вас в таком состоянии. Вы не доберетесь до дому. Вы попадете под автомобиль. Вы не смотрите, куда идете. Я силой задержу вас, но не отпущу. Карл не простит мне, если я отпущу вас сегодня.

— Я не девочка, и смена впечатлений уже не играет роли. Я понимаю вас, Винни. Конечно, незачем возлагать на вас ответственность за сегодняшний день. Вы были старым и добрым другом. Спасибо вам! Я уже спокойна. Если хотите, можете проводить меня домой. Я устала действительно и хочу отдохнуть. Простите меня за слезы. Я сама не знала, что могу так плакать...

Бурхардт проводил ее домой. Он шел и говорил

о незначительных вещах и незначительных людях, чтобы развлечь ее. Ему показалось, что это удалось. Они спокойно вошли в квартиру Фабера, и она позвонила и велела дать чай. Потом она ушла и переоделась. Они пили чай, и она больше ни одного слова не сказала о происшедшем.

Уходя, он попросил позволения позвонить ей утром по телефону.

— Звоните, — сказала она, и они простились, как будто ничего не было.

Она стояла у окна и смотрела, как он шел по улице. Когда он завернул за угол, она поспешно собралась и вышла на улицу. Она остановила авто и сказала шоферу:

— Королевский институт.

Тяжелое здание каждым освещенным окном посылало ей вызов. Первый раз она удивилась сухости воздуха и ослепительному равнодушию коридоров. Прежде она этого не замечала. Фогель стоял перед ней, как всегда растягивая рот в улыбке почтительной и удивленной.

— Уважаемая фрау профессор, — начал он, но она остановила его, и Фогель померк; он убрал улыбку и насторожился. Пухлые руки его забарабанили по столу.

— Фрау Анни, давненько вы не были у нас, разрешите предложить вам стул.

Анни не села, она стояла перед Фогелем. Она была выше Фогеля, не намного, но все-таки выше, его глаза были под ее глазами. Она смотрела на него сверху вниз. Это было естественно, но немного обидно.

— Фогель, скажите мне, где находится профессор Фабер?

Фогель изобразил изумление. Он тряхнул головой, и глаза его подпрыгнули.

— Профессор Фабер находится в лаборатории в Майнце. Разве вам это неизвестно, фрау Анни?

Анни села на стул. Рука ее прошла по столу и нашла руку Фогеля. Фогель сел по другую сторону стола. Анни сжала его руку.

— Вам известно, Фогель, куда он отправился из Майнца?

Рука Фогеля подалась назад. Анни задержала ее на столе.

— Он поедет в Леверкузен и Херхст.

— Вы сочиняете на ходу, Фогель, или вы так хорошо выучили инструкцию?

Фогель убрал руку со стола, он даже убрал ее в карман. Он смотрел растерянно.

— Фогель, — сказала простым и тихим голосом Анни. — Милый Фогель, я знаю, что вы меня не сильно любите, но сегодня я буду вам говорить только неприятности — что делать: скажите мне, где находится мой муж, профессор Карл Фабер. Обойдитесь только без уверток, без вашей постоянной дипломатии, Фогель. Я прошу вас.

Фогель молчал. Он покраснел и начал жевать губы. Анни смотрела ему в глаза. Фогель молчал.

— Фогель, я спрашиваю вас, будьте раз в жизни мужчиной. Неужели у вас душа вытяжного шкапа, где проходят аккуратные воздушные вихри, и только?

Фогель молчал. Он выпятил нижнюю губу и был похож на рассерженного бульдога.

— Фогель, я отвечу за вас. Я знаю, где находится он. Я все знаю. Вы читаете газеты, Фогель? — я боюсь, что нет...

Фогель испугался, испуг прошел тенью по его лицу.

— Я уже три дня не видел газет. Я уже два дня не выходил из Института, я питался бутербродами. Сейчас такая горячка. Я буду благодарен, если вы скажете мне, что в газетах, фрау Анни...

Анни сказала медленно, как стих:

— В газете напечатано, что профессор Фабер находится не в Майнце, дорогой Фогель, и не в Леверкузене и не в Херхсте — вы ошиблись сегодня, — он находится в Бельгии, между Лангемарком и Биксшутом, восточнее Ипра, вот где находится мой муж, правда это, Фогель?

Фогель смотрел страдающими глазами.

— Правда это, Фогель? Зачем же вы скрыли от меня?

Фогель скрипнул зубами и закрыл глаза.

— Так, Фогель, и он проводит там газовые атаки. Газовые атаки, Фогель, имеют большой успех, это вы должны знать, вам это интересно знать. Вы имеете долю

в этом успехе. Отныне ядовитые газы крещены вашим именем. Требуйте прибавки жалованья и железный крест. Вы заслужили. Правда, ведь, Фогель?

Фогель стоял с закрытыми глазами. Анни перевела дыхание.

— Больше мне ничего от вас не нужно. Покойной ночи, Фогель! Можете не провожать. Прощайте и не очень сердитесь на меня. Передайте мой привет профессору Фаберу, когда он вернется из Майнца.

Фогель стоял, опираясь на стол пухлыми пальцами, и рот его кривился. Анни вышла из Института. Холодный ветер тряс весенние ветви. Вся ночь была в ее распоряжении.

Она шла ровным, медленным шагом, глубоко дыша. «Я прогуливаюсь как на большом тюремном дворе», — подумала она и не могла понять, откуда взялась эта странная мысль. Дома она обошла все комнаты. Мебель стояла тихая, строгая. Она упрекала Анни в легкомыслии: все уже спят, не к чему бродить по комнатам.

— В самом деле не к чему, — сказала Анни. Она отступала из комнаты в комнату и задержалась в кабинете. Она зажгла маленькую лампу с зеленым абажуром. Профессор Фабер смотрел на нее со стола. Она положила портрет стеклом на стол, она держала на нем руку, точно искала пульс, но рамка была металлическая, холодная, сухая.

Она прошла в спальню и села на кровать. Садясь, она толкнула ночной столик. С него со стуком упал причудливый флакон. Она не подняла его. Светлая лужа блестела на паркете. Пробка флакона разбилась вместе с горлышком. Слишком тонкий флакон, надо будет покупать флаконы из толстого стекла. Завтра прислуга будет ворчать на непорядок. Она всегда ворчит на Анни. Она не ворчит только на Фабера.

Анни разделась. Она стояла у шкапа, забыв, зачем она раскрыла его. Потом она отыскала белый халат, рабочий белый халат и запахнула его решительно. Не зажигая света, она прошла в рабочую комнату. Эта комната была маленькой лабораторией. Шкапы с приборами, шкапы с книгами, шкапы, загроможденные одними стеклянными предметами. Она заперла дверь. Свет проникал

со двора, желтый, мягкий, ничуть не страшный. «Почему иные боятся лунных ночей?»

Все в этой комнате известно наизусть. Даже в темных углах можно не зажигать света. Вещь, которую она держала в руках, не походила на разбитый флакон и даже вовсе не походила на флакон. Анни села на окно. Видны были небо и деревья. Последний раз на земле под окном был сад. Она открыла форточку, села удобнее, закрыла глаза и запрокинула голову. Наступила тишина. Очень долгая ночь была в распоряжении фрау Анни.

2. СКОРОСТЬ

За толстыми зеркальными окнами купе специального поезда летела ночная Германия. Поезд не уменьшал хода, встречая вагоны с солдатскими эшелонами, товарные составы, груженные снарядами, маленькие станции с заспанными дежурными, громадные города, огнедышащие вулканы заводов, горы каменного угля, крестьянские тележки, застрявшие у шлагбаумов, освещенные вокзалы, виадуки, эстакады, насыпи, одиноких пешеходов, бродяг или дезертиров в темных полях. Поезд был специального назначения, и люди в купе были специальные. Профессор Фабер сидел, расстегнув жилет и сменив ботинки на мягкие туфли. Против него помещался человек гигантского телосложения, точно на него пошел материал, которого в природе больше не встретишь. На короткой шее была помещена плотная, круглая, как бочка, голова. Обручи удалось замаскировать. Вернее, они вросли в мясо. Руками шире лопат он сгребал воздух, когда говорил, и гнал его на собеседника. Поэтому он старался двигать ими как можно медленнее. Золотые зубы, блестевшие из-под коротко подстриженных усов, походили на червонцы, обрубленные по краям. Большой бриллиант смотрел из галстука.

Фамилия человека была велика, как он сам. Он даже не назвал ее. Она действительно была бы слишком громоздка для узкого ночного купе. Все равно, профессор Фабер знал, с кем говорит, и говорил резко, но с уважением. Пассажир продолжал начатый разговор, не обращая внимания ни на скорость поезда, ни на позднее

время, ни на случайное место. И то, и другое, и третье были для него вполне обычными.

— Я следую иногда заповедям, написанным не святыми людьми. Товар святых людей сейчас мной не воспринимается всерьез. Один великий муж выразил мою мысль следующими словами, с которыми я глубоко согласен: империя есть вопрос желудка. Мировая империя есть вопрос мирового желудка. Сегодня желудку прописана диэта. Кровяное лечение, но этого мало. Если вы не хотите революции, вы должны стать империалистом. Мы уже империалисты, и это пол-успеха. Я настаиваю на том, что мы должны кончить войну как можно скорее. Положение еще не катастрофическое, солдаты еще сражаются, заводчики получают хорошие прибыли, рабочие еще молчат, но генералы должны поспешить с победой, и вот почему. Как поделят мир державы — неизвестно, а как он поделен капиталистами — мы немного знаем. И Международный пороховой и динамитный трест, и Международный рельсовый картель, и Международная компания морской торговли, и Международный цинковый комбинат, и Всеобщая электрическая компания, и Мировой нефтяной трест, и десятки других мировых соединений жили до войны как самостоятельные державы, поделив между собою страны и зоны влияний. Теперь это равновесие нарушено. Иные договоры временно приостановлены, иные лопнули. Если вы разбираетесь немного в нашем деле, то вы знаете, что такое «Общество Мать», это мировое объединение, основное предприятие, если им не затронуты некоторые малые страны, или если оно ищет новых путей, то оно позволяет вырастать обществам-дочерям, с тем, чтобы их основной капитал не превышал акционерного капитала «Общества Матери». Ясно вам, что будет или не будет военная победа, капиталы перегруппируются заново вне патриотической зависимости. Если вам скучно, я могу говорить о женщинах. Я могу даже познакомить с некоторыми, и вы не будете раскаиваться...

Фабер сказал:

— Продолжайте, я вам тоже кое-что расскажу.

— Хорошо, я продолжаю. Я не настоящий немец. Я космополит, но все мои корни здесь, в Германии, и рубить сразмаху такое крупное дерево не в моих прави-

лах. Люди моего характера — космополиты. Мы сильнее дипломатов и генералов; если мы захотим, самая могучая армия останется безоружной. С толкователями общественных систем, с философами и социалистами у нас небольшой конфликт, ибо мы просто иначе понимаем назначение вещей во вселенной, чем они. Кроме того в нашем деле понятие нейтральность — вполне условно. Я допускаю сейчас, что Крупп поставляет Франции снаряды или динамит Англии. Я знаю, что британский флот снабжается оптическими приборами германских фирм Цейсс и Герц, что колючая проволока для верденских фортов доставлена через швейцарскую границу фирмой «Магдебургер Драт унд Кабельверке». Когда есть избыток, это не так страшно. Гораздо обиднее, что ваш большой океанский тоннаж, застрявший в Америке, едва не был превращен в вспомогательные крейсера. Это значит не понимать положения. Это уже ошибка.

«Военные затруднения Франции сейчас очень велики, финансовые дела Англии в большом беспорядке. Самый удобный удар можно нанести сейчас. Переход огромных колониальных владений в руки Германии, изменение финансового и торгового лица Европы даст нам возможность в случае полного невероятного разгрома захватить в свои руки то основное, что сделает Германию единственной страной-матерью, переведя все остальные страны на положение дочерних. Повторяю, в случае полнейшего краха Антанты, с такими людьми, как Захаров и Армстронг в Англии или Шнейдер во Франции, договориться будет не так трудно. Денежный рынок сейчас не в очень блестящем положении, и желание мира отодвигается только ростом вооружений, то есть возникновением новой колоссальной отрасли на свежем месте. Уверяю вас, что и на Бэренштрассе вздохнут спокойнее, узнав о скором конце войны, чем о бесконечной войне, хотя бы и с военными трофеями. Я был в Роттердаме и Копенгагене, и с хлопком плохо. И очень плохо с резиной. Есть проект доставлять каучук из Америки на подводных лодках, но это слишком пахнет романтикой. Я слыхал про ваши опыты с удушливыми газами. Это замечательно только в том случае,

если мы оправдаем их применение быстрым приближением к победе. Так ли я говорю?»

— Вы говорите совершенно верно, — отвечал Фабер, — они там наверху, я не буду называть их, делают ошибку за ошибкой. И, когда я говорю, что надо делать, — они усмехаются почтительно и отвечают, что у меня не военный мозг. Да, у меня мозг ученого, я не знаю, что больше весит. Хотя, впрочем, я знаю. Наши враги ближе к истине, чем наши полководцы. Они говорят: в жилах войны течет расплавленный уголь, уголь — вот первый маршал сражения. Он сгибает, он формует, он начиняет орудия. Уголь — это пароходы, уголь — это поезда. Что такое пулеметы и пушки? Это уголь. Снаряды — это уголь, они выделываются из угля, они начиняются углем. Боевая сила их, сидящая внутри — это уголь. Война это поединок между вестфальским углекопом и углекопом Кардифа. Уголь—это смерть и жизнь. Уголь — это победа. Они учитывают силу, действующую сегодня, но они пока не знают силы, которую вызвал я: газ против угля, газ против их мускульного напряжения, газ против лихорадки голого патриотизма, газ против потных мясников, любящих рукопашную, газ — демократическая смерть без всякого пафоса. Газ — это победа. И эти идиоты не понимают, что если бы они поверили мне до конца, наша гвардия уже грузилась бы в портах Ламанша, чтобы завтра быть в Дувре. Вместо этого они занимаются кустарничеством. Я не отрицаю личной храбрости. Эмден, Кенигсберг, Мове — чудные приключения для юношества, или бессмертные крейсера-призраки, сегодня здесь, завтра там, сегодня они бьют неприятеля у берегов Перу, а завтра их топят у Фальклендов. Одной телеграммой больше. Налеты на курорты Англии с разбиванием черепиц и взрывом купален — это пикник с дешевой выпивкой и битьем стаканов. Цеппелины над Лондоном и Парижем — только рекламы войны, не больше. Какие-то потные изобретатели сидят и придумывают вариации мин, блиндажей, маскировок; один человек додумался поливать горящим маслом окопы, я видел его мельком на фронте, мне его показали. Тупое лицо, низкий лоб, усы лавочника, вы понимаете — жарить французов в масле и подавать на стол высшего командования, блестящая идея, рожденная

в голове провинциала. С таким же успехом можно из лейки поливать Иэллоустоунский парк. И они помешаны на каких-то кустарных вымыслах, точно война будет длиться тридцать лет. Я положил предел этому, когда сказал им: поверьте в меня, поверьте в газ. Англия имеет тонну хлора в день, наши заводы дают нам сорок тонн в день; они не поверили, и когда шесть тысяч человек легло сразу, они с недоумением заняли окопы, они не понимали, что это поворот, что это открытие оружия, равного которому нет. Так когда-то тупые рыцари, по которым били из пушек, никак не хотели расстаться со своими латами. Я с трудом добился, чте теперь по всему фронту они применяют газ. Они не спешат, когда нужно спешить. Нужно спешить, потому что, к сожалению, я в мире не один. Химики еще существуют. Мои друзья в Англии и Франции с удовольствием примут вызов. Мы должны работать ночь и день. Мы должны заготовить оборону против неприятельского газа. Началось состязание гончих, и у нас сейчас преимущество в беге, но скоро его не будет. Мы будем итти голова в голову. И тогда на каждый газ мы должны отвечать сверхгазом, на каждый противогаз — сверхпротивогазом. Маска войны будет меняться ежемесячно. Но вы, может быть, не совсем представляете, что такое газ. Газ можно пускать облаками, волнами, газовыми завесами. Можно наливать его в снаряды, можно начинять мины, можно превратить каждую развалину, каждый окоп, лес или улицу в газовую западню, можно заставить людей плакать или смеяться, можно заставить их чесаться, как обезьяна, реветь, как буйволы, извиваться, как змеи. Им будет казаться, что они вдыхают озон, — но это будет дымовая завеса из желтого фосфора; они войдут в сады, где воздух пахнет весенним соком, а это будет этиловый эфир бромуксусной кислоты. Хлористый нитробензол покажется им ароматом забытой родины, покоя и уюта; целый город будет пахнуть геранью, фиалкой и мятой, и весь гарнизон его будут составлять мертвецы. Мы образуем химические садоводства. Я не безумец. У меня не военный мозг — они правы. Я ученый, которому надоело наблюдать доисторическую свалку, где бьют острым по тупым головам. Но я твержу только одно: надо торопиться. Пока

враг говорит: главное — уголь, — мы можем жить. Если завтра он скажет: главное — газ, — вы понимаете, что последует? А они перебрасывают, перебрасывают, перебрасывают тысячи людей с запада на восток, с востока на запад, как будто дело только в том, чтобы непрерывно гонять эти тысячи, как крыс из норы в нору.

— Все, что вы сказали, очень серьезно, — сказал гигант, — но ведь вы перевертываете все мировое военное производство. Знает ли мир, кому он обязан этим?..

— Он, конечно, не должен знать. Я псевдоним. Нет никакого профессора Фабера, есть наука, предпринявшая маленький опыт, выйдя за стены лаборатории. На Ипре меня называли человеком в зеленых очках — и этого достаточно. Правда, любителя горящего масла зовут Князем тьмы, и это верно: бутафория всегда имела соответствующее имя.

— Вы едете сейчас в Берлин? — спросил гигант.

— Нет, я еду домой. Я немного устал и немного соскучился по своей лаборатории, по жене и друзьям. Фронт довольно грязен. Я вчера нашел у себя вошь. Я выкинул белье и принял горячую ванну.

3. ХИТЧЕНС

Лейтенант Хитченс еще раз перечитал письмо. Все встало, как в тумане. «Вавилония», двенадцать тысяч тонн грузов и металла, продырявленного, обволоченного паром, шипящего, погружающегося в воду, и вместе с ним — это очень трудно представить — уходит под воду, задыхается среди обломков единственная нужная ему женщина. Артиллерийский лейтенант кричал на свой взвод влево от Хитченса. Что же, лейтенанту пожаловаться лейтенанту? В этом чудном мире остались только офицеры и солдаты, других человекоподобных не наблюдается. «Очень хорошо, лейтенант Хитченс», — сказал он себе, и глаза его осоловели, как после трех ночей пьянства.

И в тот же день бежала его рота. Она покинула окопы, принимая туман за волну газа. И, когда он по-

смотрел на туман, у него закружилась голова, но он сдержался и вернул роту, он позвонил на соседний участок и на батарею. Дело было плохо, соседний участок не пил, не ел и не спал. Люди готовились или умереть, или бежать, скорее — последнее. Не обнаруживалось никакого присутствия духа. Офицеры кричали на батарею, чтобы она открывала огонь. Батарея стояла далеко и чувствовала себя в сравнительной безопасности, но ясно было, что орудия будут брошены при первой панике.

Ужас витал над всем фронтом. Вспышки случайных выстрелов принимались за начало огнеметной атаки. Всякий дым и туман — за волну газа. Огненный и воздушный призраки парили на легких крыльях над всеми окопами.

Хитченс сидел на совещании офицеров батальона, и все лица походили на вопросительные знаки. Командир батальона был в дивизии, и в дивизии сидели не люди, а какие-то смятенные и подавленные существа с нашивками и ленточками.

— Приняты самые энергичные меры, — сказал командир батальона, стараясь не усмехнуться.

— Приняты меры, а чем можно затыкать рот и нос, если завтра они снова выпустят газ?

— Мокрой марлей из индивидуального пакета.

— Индивидуальные пакеты неприкосновенны.

— Мокрые носки полезны не менее.

— Умирают все сразу или на другой день?

— Индивидуальность обеспечена, дорогой мой!

— Танцовать на празднествах по случаю окончания войны можно в черных очках и на костылях, украшенных Юнион Джеком и орденом Подвязки.

— Вавилония погибла, — сказал Хитченс. В его глазах стоял серый туман, который его рота приняла за газ — серое море, перископ в волнах и женщина с американской открытки.

Лейтенант Хитченс постарел за один день на десять лет. Может быть, потому, что он каждый час готовился к смерти и все не мог решить: нужна она ему еще или нет. Потом он долгие часы проводил перед изломанным баллоном, исковерканным пулями и ударами штурмовых лопат.

Полковник застал его за этим занятием и удивился углубленному взгляду своего офицера.

— Вы выглядите страшно умным, Хитченс, — сказал он, — над чем это вы философствуете?

Тут полковник наклонился и узнал остатки германского огнемета, отбитого недавно.

Хитченс ползал перед ним, как бы совершая обряд поклонения испорченному куску металла.

— Я хочу им вернуть обратно все, — сказал он, — и хороший огонь и хороший газ, но этому надо поучиться. Кое-что я уже сообразил.

— Похвальное дело, — сказал полковник, и на четвертый день Хитченс ехал в Лондон по серому морю, где сквозь туман за пароходом шел узкий столбик перископа. В каюте Хитченс вскакивал каждый час и непременно хотел разрядить кольт в темную дверь каюты, откуда его поливали горящим маслом и он осязал запах паленых волос. В багаже его качался германский огнемет и докладная записка о возможности создания аппарата, подобного огнемету, но выбрасывающему не масло, а газ. Газ нужно было найти, ибо фронт сходил с ума от страха и никто не мог поручиться ни за что. Он соскочил с койки еще раз и увидел женщину, лежавшую на дне моря, она пришла и стояла в дорожном костюме на пороге. Это была просто его знакомая, не имевшая ничего общего с пассажиркой «Вавилонии», и, однако, он направил на нее кольт, но выстрела не последовало. Кольт был не заряжен. Женщина подошла к нему, и, так как она была только что на фронте, она знала многое: она знала, как легко там потерять равновесие и все, что с ним связано.

И тогда он бессвязно и в первый раз после получения письма рассказал ей о том, чем была для него женщина, не доехавшая до Англии, и он захотел выйти на палубу подышать свежим воздухом. Но его спутница запретила ему это. Она нежно обняла его и усадила на место. Ей было сказано, что за ними идет подводная лодка, и увидят ли они Англию на рассвете — неизвестно.

Они долго говорили о разном и так устали, что заснули сидя, прислонившись спинами к вздрагивающим стенкам каюты.

Женщина проснулась первая. Серое море было видно отчетливо в иллюминатор. Чемодан Хитченса был раскрыт, и вещи в нем находились в диком беспорядке. Ей захотелось сложить их поудобнее. Первыми под руку попались газеты, привлекшие ее внимание. Это были германские газеты, захваченные Хитченсом из штаба дивизии, так как там приводились некоторые подробности газовых и огнеметных атак в сообщениях специальных корреспондентов с фронта. Женщина равнодушно скользила по узким столбцам и готическим строкам — она свободно читала по-немецки. Она задумалась и вертела газету из стороны в сторону.

«Вести из Сербии, — прочла она заголовок статьи, — с санитарным отрядом от Белграда до Ниша». В Сербии был ее знакомый офицер, и она прочитала внимательно несколько строк: «Ужасный тиф свирепствует на нашем пути. Мы страдаем от него не менее голодного и раздетого противника, бегущего в безумии поражения к морю через снежные горы. Вчера заболела тифом старшая сестра Алида фон Штарке, и мы оставили ее в Кралевце, в десяти милях.»

Женщина вспомнила, что ее знакомый не имеет никакого отношения к германским санитарным отрядам в Сербии, и бросила газету. Хитченс спал с крепко сжатым ртом, постаревший и серый, как море. Ему снился огнемет. Женщина вздохнула. Пароход входил в гавань.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Кровью были покрыты столбы, поддерживавшие соломенный навес, кровь стояла лужами на земле, кровь пропитывала кучу брошенных бинтов, солому, грязные доски, на которых лежали раненые, кровь стекала по рукам работавших с засученными рукавами людей, кровь можно было набирать в стаканы, кружки, бутылки. Кровью залитые винтовки и палки были сложены в углу, кровь стояла в пустых носилках, кровь выбивалась из каждого человека, который стоял, лежал или полусидел под двумя яркими лампами. Кровавые следы шли от навеса в разные стороны. Крови было столько, что ее уже не замечали. Перевязочный пункт был первым

пунктом раскрепощения от войны. Тут можно было реветь, вопить, кусать пальцы, ругаться, проклинать, не боясь окрика начальства.

Доктор, как могучий борец, бросался на каждого раненого и клал его на лопатки. Его помощники сортировали людей, как товар. Налево контуженные трясли деревянными головами, не произнося ни слова. Направо умирающие широко раскрывали глаза и ударяли руками по земле, стараясь удержаться за что-нибудь перед той пропастью, в которую они падали.

Доктор мял, тискал, резал, рвал мясо; он не нуждался ни в спирте, ни в морфии, чтобы держать свои нервы в порядке. Храп мотоцикла дошел до его ушей, но не сказал ничего нового.

Освещенный луной солдат тянулся перед ним, расставив ноги шире, чем полагается человеку, просто стоящему во весь рост. Короткий кашель, похожий на кашель курильщика, непрерывно вылетал из его рта. Он сказал только одно слово, которого никто не понял.

— Раххаза, — сказал он. Зеленой бронзой сверкав шее лицо солдата стало чернеть, как ламповое стекло покрывающееся копотью. Он упал навзничь. Санитар нагнулся к нему, поднялся, позвал товарища, и они вдвоем отнесли его направо. Голова индуса легла на грудь его ночному попутчику в самом длинном из путешествий.

— Третий случай, — сказал санитар, и к нему подошли двое. Они опустились на колени перед индусом, направили на него электрическую лампочку и вынули записные книжки. Они ощупали набухшие подкожные вены шеи; открытый рот был переполнен слизью, пенистой и зеленоватой. Они ворочали покойника, сняли мундир и пояс, вытянули руки, синие, худые; щеки и нос стали тоже синими и худыми. Они записывали в книжку все подробности.

— Обрати внимание, — сказал один, — гиперемия слизистых оболочек... цианоз губ. Я видел его вчера. Он вез донесение и был живехонек. Они умирают не сразу. Что ты думаешь? Я думаю, это новый газ.

— Помнишь, утренний жаловался на глаза. Он ослеп за обедом и пролил суп на колени. И умер слепым, а перед тем он пел.

— Я больше не могу, я не могу! — закричал человек, лежавший в самом темном углу. — Провалитесь вы с вашим сволочным пунктом...

— Следующий! — кричал доктор. Он жевал резину. Он не нуждался в спирте или кокаине.

Прислонившись к без памяти лежавшему товарищу, человек кричал в темноту, как будто он стоял на кафедре баптистов и приносил покаяние:

— Я был медиком, я был вивисектором, я брал собак, брил их, распластывал их, растягивал на станках, я заживо резал их.

— Замолчи, пустите ему пулю в лоб. Пусть он замолчит.

— Я копался в их внутренностях, я морил их голодом.

— Послушайте. Эй, вы, возьмите себя в руки. Чортов медик, чем хвастается!

— Я вливал в желудок острые кислоты, кипяток, яды. Я пропускал через них электрический ток...

Глухая брань и стоны приветствовали речь бывшего медика.

— Я обливал их керосином и сжигал. Прижигал глаза уксусной кислотой...

— Довольно, остановите этого человека!

— Доктор, заткните ему глотку сапогом!

— Я давал им рвотные. Я накладывал лигатуру на пищевод. Я сам сейчас, как эта собака, и все вернулось ко мне. Мы все...

Чудовищный кашель бросил оратора на пол, и тогда врач положил скальпель и подошел к нему в сопровождении тех двух с записной книжкой.

— Я боюсь, что это четвертый, — сказал державший наготове карандаш.

Оратор лежал, раскрыв рот, и красно-бурые глаза его смотрели в солому, свешивающуюся с потолка, как бы боясь, что крыша упадет на его голову. Пена окутывала губы.

И тогда фонарь осветил человека с перевязанной рукой и прокушенной губой. Губу прокусил сам человек. Он окаменел и придерживал бинты на левой руке своей здоровой правой.

— Как дела, Хитченс? — сказал врач. — Что вас принесло снова из Англии?

— Мне нехватало одной детали, и вот я достал ее и заодно заработал на этом огнемете. О, я вам скажу — это не так слабо.

Зубы его снова впились в нижнюю губу.

— Чем вам помочь, Хитченс? Надеюсь, вы не наглотались газа? Начните вы мне тут чихать и вытягивать ноги. Хотите морфия?

Человек покачал головой отрицательно. Зубы медленно разомкнулись.

— Я не хочу. Я хотел бы знать. О! — он снова схватился за руку, — я бы хотел знать имя человека, который пустил огнемет на пользу человечества. О!

— Вы остались шутником, Хитченс, — сказал доктор. — Бодритесь, бодритесь. Я отправлю вас перед рассветом. Сейчас дорога под обстрелом. Я тоже дорого бы дал, чтобы узнать, от чего умирают они. Третьего дня у меня был бенефис. Люди отправлялись на тот свет из самых разных мест: один падал с ложкой в зубах во время обеда, один ослеп, как только лег на кровать, несколько человек кашляли до тех пор, пока не показались желчь и кровь, а потом они умерли; один свалился на допросе в штабе. Скоро кровавый лазарет отойдет, повидимому, в область предания. Люди будут умирать прилично — не загрязняя обстановки, можно будет здесь поставить бархатные диваны. Это все результат нового германского газа, Хитченс. Одно могу сказать: новинки приходят к нам без опозданий. Один офицер рассказывал мне, что он шел с батареей и дышал чудным утренним воздухом. Ба! Его точно стукнули по голове — глаза стали краснеть, и к вечеру он ослеп. Через две недели к нему вернулось зрение, но сердце стало никуда негодно. Он попал — они называют такие места карманами — в сгущенное маленькое облако застоявшегося газа. Ну, крепитесь. Так не хотите морфия? . .

Шатающийся человек с пеной на губах держал доктора за рукав.

— Так, — сказал доктор, — а вот и номер пятый. Ральдон, дайте ему стул. Пускай он умрет с комфортом.

5. SMOKING-ROOM

Комната была полна дыму, но это не был острый дым сражений, это не был газ. Это был дым сигар, папирос, сигарет и трубок. Комната служила smoking-room'ом, курилкой. Молодые люди, сравнительно молодые люди, сидели в креслах, на плетеных стульях, иные прямо на столах. Каждого входившего встречали возгласами дружескими, насмешливыми, иногда почти школьническими; со всех фронтов вернувшиеся химики и физики, потевшие в лабораториях Газовой службы, чтившие богами таких людей, как лорд Рейлей, Вильям Рамсей, полковник Гаррисон, Оливер Лодж, — взапуски рассуждали о своих достижениях, о неудачах и превратностях войны.

— Кто видел последний раз Этвуда? — спросил темнолицый химик.

— Этвуд убит четыре месяца назад; ему оторвало голову, его схоронили без головы; мы нигде не могли найти ее, — ответили из клуба дыма, висевшего над диваном. — Я был ранен в том же бою в ногу. Три недели в Мюлльбанке, месяц отдыха — и потом я здесь.

Разговор шел по комнате, как целая толпа смерчей, очень легко переходивших с места на место и по временам выраставших до потолка.

— Старик Дьюар прямо сказал тогда же, что это хлор; так это и оказалось.

— Кто бы мог подумать, что индиго сыграет такую роль?

— Мы перетряхнули тысячи красящих веществ. Мы пробовали опыты с азотноватым ангидридом. Купер получил воспаление легких и сошел с этого дела. Медные опилки, облитые азотной кислотой, заменяют самый лучший сквозник. Но потом мы перешли на бром, иодистый бензол, метиловый эфир.

— Мы работаем как на гонках. Если я отдыхаю или курю больше часа, это уже преступление. Конечно, наша работа — вопрос жизни. Мы следим за всем, что делается на фронте, как сыщики, — за случайным облаком газа, за неожиданным газовым снарядом. Мы роемся в дымящемся навозе войны, чтобы собрать самые горячие испражнения. Я думаю, нас мобилизовали не менее двух тысяч, и все еще мало.

— Я уже забыл, какого цвета волосы у девушек. Я воняю, как труп, валявшийся в хлоре неделю. Я потерял вкус к жизни.

— Где будет ближайшее наступление? — мечтательно спросил самый юный и сам ответил, не дожидаясь отклика: — Я думаю, если проследить разрывы последних новых газовых гранат и отложить от этого места триста километров к западу или востоку, это будет не сильной ошибкой.

Некоторые засмеялись.

— Мы до сих пор, однако, не удосуживаемся спросить: в чем дело?

Химик из Харборо подпрыгнул на стуле:

— Дело в снарядах! Наш старичок как-то сказал, что Германия — это опера вроде Вагнера, где борются злые и добрые духи, — я сам слышал это своими ушами в Бангоре, — и что вот он верил, что добрые духи вырвут душу Германии из плена — и ничего не вышло. Душа нырнула, как он сказал, в море крови, и мы имеем дело с военной кастой, а потому ливень снарядов, сорок дней и сорок ночей, дождь из гранат, которые разрешено нам начинять, чем мы найдем нужным.

— Старичок — это, конечно, Ллойд Джордж.

— Ну, кто же иной будет пускать в ход Вагнера?

— Ллойд Джордж, — протянул неуверенным голосом австралийский физик, — некоронованный король Англии, диктатор типа Дракона. У него в характере есть нечто от Кромвеля, недаром он индепендент, и от Нокса есть тоже кое-что — он лучший смазчик колес британской государственной машины.

— Надо было предупредить германцев, надо было нам начать первым эту химическую войну. А теперь приходится гоняться за каждым их снарядом, чтобы вынюхать дальнейшее. Хотя я не знаю, что лучше — сидеть в окопе или каждый день иметь дело с фосгеном наедине. Сколько уже наших отправилось отдыхать до самого страшного суда.

— Я потерял руку, будучи только в Дублине. Я обязан любезности сэра Роджера Кэсмента. Говорят, его расстреляли на носилках, он не мог стать на ноги, он был ранен.

— Ничего подобного. Он говорил три часа в свою

защиту, и все-таки его повесили. Но кого-то действительно расстреляли на носилках.

— Мой друг ирландец, я не знаю, где он теперь, так часто в свое время повторял мне молитву фениев, что я запомнил ее целиком:

О, Туль, услышь нас!
О, Туль, спаси нас!
От английской цивилизации,
От британского закона и порядка,
От англо-саксонского лицемерия и свободы!

Вокруг зааплодировали и засмеялись.

От владычества Британии,
От раздвоенного копыта.

— Подумаешь! — сказали в углу.

От необходимости ежегодного восстания.
От военного постоя.
Довольно! Довольно!
От мнимых судов.
От всех других вещей чисто английских...

Поднялся легкий свист. Кто-то насмешливо продекламировал:

Британия, Британия...
О, если б только знать она могла,
Как за ее коварство все народы
Ее клеймят...
... Не она ли
Суровый сторож мрачной их тюрьмы...

— Кто это? — спросило несколько голосов, — немецкая стряпня?

— Это только Байрон. Правда, он ощущается как архаизм. Мы знали войну, власть, ответственность, мы отвечаем за свои годы и за свои дела.

Человек в крагах резко встал.

— Ирландия в союзе с Германией — это предательство. Двух мнений быть не может. Завтра они подымут Индию, как подняли старого дурака Девета в Африке. Мы ставим вопрос ясно и отвечаем ясно. Каждая нация имеет миссию. Миссия англичан — сплотить всемирную империю, которая создается силой, а не руками, затянутыми в лайковые перчатки. Освободимся от школьного

вздора и поймем следующее: если все нации так или иначе начинают грабежом, то это значит, что пираты являются лучшими созидателями империи.

«К счастью, кровь, порождающая пиратов, еще не иссякла у нас. Когда это случится, Британия и Большая Великобритания перестанут существовать. При создании и защите империи не может быть понятий: справедливо или преступно. Есть лишь одно право — право более сильного и более способного. Сильный должен господствовать, не справляясь, желает ли этого слабый или нет. Народы попадают в тигель войны, и на адамантовой наковальне судьбы боевой молот сплющивает их в форму, намеченную господом.

«В конце концов наш Юнион Джек недаром служит нашему богу. Святой Георг, разве это не первый Томми Аткинс, а святой Стефан разве не первый Джек Тар? В настоящей войне, как никогда, мы ощущаем не военное искусство маневров и ударов, а выносливость наций, длительность сопротивлений. И разве генералы не зависят сейчас от того, что скажем мы, — мы, сидящие в лаборатории, чтобы получить противогазы для защиты и газы для нападения? Ллойд Джордж говорит о ливне снарядов. Кто даст им начинку? Мы — и никто другой».

— Это ужасно, — воскликнул бледнощекий, с зарубцованным легким. — Это ужасно, что это выпало на нашу долю. В конце концов эти газы открыты давно, и ученые даже не думали предлагать их для цели уничтожения. Еще Байер, Каро, Лаут, Витти в восьмидесятых годах знали прекрасно их свойства, и, будь они живы, они, я уверен, заколебались бы.

— Ты не прав, — сказал потерявший руку в Ирландии, — нам привили бешенство. Нами овладела злоба, такой злобы в мире еще не было, та злоба, которую не остановить, потому что мы стоим на рубеже отчаяния и поражения. Кто знает силу будущих германских атак? Если б вопрос войны решали одни рабочие или социалисты всех стран, или одни ученые, они, может быть, решили бы его иначе. Но у нас отнято право иного выхода. Возьми Хитченса. Когда он изобрел свой изумительный газомет, давший чудесные результаты? Не тогда, когда он тихо сидел в окопе и изредка стрелял, а тогда, когда любимейший человек погиб от германской под-

водной лодки и он нашел в себе дикую злобу, такую ясную, что в ней, как в озере, прочел о возможной гибели всей страны, и начал мстить тем же оружием. Так обстоит дело.

— Может быть, так, но посмотри, Ванцент, сколько наших товарищей осталось во Франции. Я подсчитывал. До сих пор не вернулось четырнадцать. Четырнадцать молодых талантливых людей разорваны, как плюшевые игрушки, и мы даже не знаем, кто ими играл. Их больше нет. Мы никогда не найдем их могил. И может настать такой год, такой день, когда мы будем жалеть об этом. Думать о войне как об ошибке.

— Кто же не согласен, что нам навязали войну?

— Это говорит сэр Эдвард Грей.

— Это ясно каждому.

— Мне это не ясно.

— Когда ты понюхаешь нового фосгена или дефинил-хлорарсина, ты будешь думать иначе.

— Прекратите глупый разговор! Идет полковник Гаррисон. Он не должен слышать подобные слова. Это оскорбило бы его.

6. СЕРБИЯ

В окне лежало сербское небо, лохматые горы, лохматые, как собаки, стаями бегавшие по городку.

— Это та, что отстала от отряда Штралля? — спросил доктор, откладывая бритву и макая край полотенца в горячую воду.

— Да, после нее остались вещи, немного белья, два платья, костюм для верховой езды. Много вещей она раздала в Нише, альбом рисунков.

— Покажите...

Доктор Кранц небрежно перелистывал альбом. Мыльная пена упала с кисточки на страницу; он стер ее пальцем и вытер палец о край куртки. Резким движением он захлопнул альбом.

— Модное направление, — сказал он, — но придется отослать родственникам. Что еще?

— Молитвенник. Одеколон. Как ни странно, две пачки табаку, «Тоннель» Келлермана и Гамсун.

— Одеколон я возьму. Нет смысла пересылать. Табак можете взять вы, я не курю, книги сожгите, вещи продезинфицируйте. . .

— Еще осталось письмо. . .

— Письмо? кому оно адресовано?

— Адреса нет вовсе. Чистый конверт.

— Прекрасно, — равнодушно сказал Кранц и взглянул в низкое окно. В окне лежало сербское небо, лохматые горы, лохматые, как собаки, стаями бегавшие по городку. В окне лежало одиночество. Доктор взял письмо. Он начал вслух:

«Милый Эрна!

«Жила-была девушка. Эта девушка любила на свете. . .»

Он остановился.

— Я думаю, дальше можно не читать?

— Я думаю то же.

Кранц сложил письмо и взглянул на спиртовку. Она горела насмешливым лиловым пламенем. Он протянул письмо углом, и пламя легко взбежало как по уступу. Пепел упал. Доктор взглянул в зеркало и спросил:

— Что еще?

— Больше ничего, господин доктор.

— Вы можете итти, Франц. Да, кстати, у этой девушки было много любовников?

— Простите, господин доктор. . .

— Я спрашиваю, как вы думаете?

— Я думаю, много.

— Я тоже так думаю. Ну, идите, Франц, можете взять табак!

7. ПЯТНО

Когда профессор Фабер переступал порог своего института, весь остальной мир переставал существовать для него. Пусть цели, для которых он приходил в институт, имели прямое продолжение в том отрезанном глухими стенами мире — здесь они превращались в призраки и подчинялись законам таинственных процессов,

повелителем коих был только он и его ассистенты. Анни... но Анни больше нет. Анни умерла, а друзья, любовницы, — страшно сказать, само государство, — все исчезало из головы Фабера, когда он надевал толстый халат, бесшумные туфли и резиновые перчатки.

Дом походил на монастырь монахов особого ордена. Там замурованными сидели в отдельных кельях подвижники в ненарушимой тишине и сосредоточенности. Иногда эта тишина нарушалась, как будто в монастырь врывался через вентилятор вытяжных шкапов дьявол. Так однажды утром грохот потряс весь дом. Стекла осыпались, как прелые листья, реактивы смешались, иные исследователи слетели с табуретов, и одна стена дала трещину.

В дальней темной занавешанной комнате плавал красно-бурый туман.

Ничего нельзя было рассмотреть. Ни газеты, ни особо любопытные всезнайки не узнали, что случилось в этой занавешанной, теплой и страшной комнате. Туман удалили, и на полу остался чернее головешки профессор Вестер. Он был правой рукой Фабера. Комнату привели в порядок, и новый человек сел в нее продолжать труд покойного, но Фабер весь день, куда бы ни смотрел, нагревали ли серу в колбах Вюрца, — он видел на краю трубки, приводящей хлор, на горлах реторт, на стекле промывной склянки, на ребре капельной воронки, на ртутном столбике термометра — неуловимое для других черное пятно. Оно преследовало его несколько дней подряд. Пятно не могло называться угрызениями совести. Пятно не относилось к разряду предчувствий. Фабер был свободен от предрассудков. Но, когда он обнаружил пятно на кончике своей папиросы, — он задумался. Может быть, он переутомился?

Он прошелся по всем лабораториям. В нижнем этаже сидели ассистенты, работавшие над новыми видами боевых газовых соединений. Вытяжные шкапы переносили испарения газов в верхний этаж, где сидели ассистенты, работавшие над новыми видами противогазов против новооткрытых в нижнем этаже боевых газовых соединений. Эта встречная система представляла несомненное и совершенное удобство. Этого достигли не сразу.

Вихри вытяжных шкапов, шороховатое беспокойство

столов, промасленных асбеститом, теплый покой ртутных ламп, холодные аппараты Гемпсона для сжижения воздуха, легкое потрескивание масляных насосов, зоркие глаза сотрудников, обращенные, как стрелы компаса, в одном направлении, — несколько ослабили черную точку, сделав ее чуть заметной, сероватой, но завтра она могла снова вырасти. Профессор Фабер не мог связать свою ответственную жизнь с ничтожным значком, заимствованным из пунктира.

Тогда он начал придираться. Газ, вода, электричество — триединство лабораторного равновесия — были в порядке. Газ бежал по трубам и горел в высоких, тонких столбиках на зависть огнепоклоннику, вода действовала в насосах, шумела в раковинах и веселилась, а электричество горело день и ночь.

Тогда он перешел на вещи местного значения. Два стола пустовали. Они имели обыкновенный будничный вид, но, как к анчару, к ним нельзя было приблизиться безнаказанно. На них был пролит иприт, он впитался в дерево, он поселился в столах и угрожал. Столы стояли, залитые хлорною известью, и в них медленно умирала невидимая и острая опасность.

К этим столам можно было придраться. Можно было придраться к тому, что ассистент Фогель ходит с бинтом на руке, пораженный хлористым мышьяком, что сдохли два кролика, предназначенные для ипритного испытания, — но серая точка тускнела все больше и не исчезала.

Тогда Фабер сел и начал просматривать записи последних испытаний. Он знал их, он уже просмотрел результаты, но мысль его витала над этими длинными тетрадками, исписанными формулами, непонятными простым людям.

И тогда, — как будто из мира, от которого он был отделен стенами, волей характера и любовью к своему делу, только к своему делу, — из мира государства, друзей, любовниц, — Анни больше не было — пришла мысль, в центре которой было серое пятно. Если б его институт погиб, — все равно как: от бомбы неприятельского летчика, от бешенства новооткрытого газа, как погиб профессор Вестер, от измены или недоброжелательства, от молнии, от пожара, от чистой случайно-

сти, — с чем бы отошел от его развалин профессор Фабер к людям, не имеющим к нему никакого отношения?

И тогда он понял, почему ему легко слышать о тысячах ежедневно уничтожаемых им людей. Он согласился бы жить в дружбе с обезьянами и кошками, но не с людьми. Профессор Фабер — один из немногих, имеющих право на одиночество в мире. И он еще понял, что лжет в каждом публичном выступлении, в статьях, речах и разговорах. Его равнодушие иногда выступает с особой силой, и, когда профессор Бурхардт спросил его: «Кто будет отвечать за эту войну?» — он сказал с яростью: «Отвечать будет побежденный».

Он не поменялся бы ни с одним славнейшим полководцем, писателем или инженером. Через головы всех фронтов он ведет свою особую громадную и смертельную борьбу — он уважает только тех немногих, равных ему мировых химиков, что в такой же тишине вражеских лабораторий парируют его удары среди таких же смертельных столов, залитых ипритом, среди обожженных ассистентов, среди взрывов окиси какодила и фосгена.

Он выделяет из всех писателей Флобера, за то, что тот сказал: «Миром должны управлять ученые мандарины, это — единственная справедливая власть». За эту фразу Фабер прощает ему его французское происхождение и то, что он так много занимался в своих романах женщинами. Они этого не стоят. Они или скучны или распутны. Они не имеют ничего общего с высоким одиночеством науки. Анни была исключением. Анни больше нет. Об этом не стоит вспоминать.

Так думал профессор Фабер, но серое пятно не исчезало. Оно стояло, как глаз невидимого наблюдателя, неотступно. Тогда он позвал Фогеля и прошел с ним в маленький рабочий кабинет, где у них бывали совещания, где распутывались маленькие недоразумения, где он принимал представителей штаба, где профессор Вестер шутил последний раз перед смертью. Фабер взглянул на собеседника. Серая точка тускнела посреди его лба, над которым начиналась лысина, щедро освещенная электрическим солнцем.

Был один ученый, маленький заштатный ученый, ненужный ученый, плохой ученый, отказавшийся работать

в его институте по производству ядовитых газов. Он был идиот или социалист. Он мог бы сидеть за это в крепости, в мире ничего бы не изменилось, в науке — тоже.

И Фабер усмехнулся. Серое пятно походило на этого ученого, на волчок, детский волчок, пущенный под ноги взрослому человеку. Раздавить его ничего не стоило, но волчок был слишком мал и гибок. Бегать за ним взрослому человеку было стыдно. Ассистент смотрел глазами кролика, влезающего в иприт.

— Синильная кислота не годится, Фогель, знаете вы это, в том виде, как она сейчас. Процент смертности ничтожен. Мы зря распыляем по полям драгоценный материал. Концентрация, которую мы даем, не убивает человека, она отправляет его не в могилу, а только в санаторий. В этом вся разница.

Фогель подтянулся. Послушный и внимательный Фогель мог вникать только в природу научного факта, а не в результат человеческих переживаний. Его не интересовало, что лучше: могила или санаторий. Отравляющее вещество не действовало как нужно, и в этом повинен он — Фогель. Но он решился сопротивляться.

— Камера наполнена должной концентрацией. Я проверял на кроликах и кошках.

— Что получилось? — спросил Фабер.

— Они сдохли, — сказал громко Фогель, — при впрыскивании смерть тоже немедленна.

— Сколько времени мы можем вести эти опыты до результата?

— Мы получаем сведения с фронта каждую неделю. Если у нас сегодня пятнадцатое и первая партия пробных пройдет в район, где предполагается атака...

— Вы ставите опыт в зависимость от вкусов штаба. Значит, пройдет вечность.

— Господин профессор, иного способа...

— Иной способ есть...

Фогель смотрел в угол, легкая дрожь прошла по его ноге. Подобная мысль — просто глупость. Фабер сегодня шутит неудачнее обычного.

Телефон зазвонил. Фогель взял трубку, потом прикрыл ее ладонью и сказал:

— Вас хочет видеть по неотложному частному делу майор фон-Штарке.

— Кто это, Фогель?

— Кажется, это изобретатель огнемета.

— А! Поджариватель французов! Дежурный повар кухни его величества. Скажите ему, Фогель, что профессор Фабер уехал на фронт!

— Хорошо... Вы слушаете? Профессор Фабер уехал на фронт. Что? У вас есть сведения? Сведения неправильны. Да... Да... Не знаю. Пожалуйста.

— Господин профессор, я знаю способ, но это не имеет отношения к делу.

— Ваш способ?..

— Войти в камеру человеку.

— Совершенно верно!

Трубка телефона осталась висеть на шнурке. Фогель забыл ее повесить на крючок.

8. КАМЕРА

— Господин профессор, вы слушаете меня?

— Да, Фогель.

Длинный коридор, выложенный белыми плитами, уходил в бесконечность.

— Войти в камеру нельзя человеку.

— Почему, Фогель?

Фогель вспотел. Он почти бежал по коридору, и потом он был ниже Фабера. Ему приходилось, говоря, приподыматься на носках.

— Человек в камере умрет. Концентрация смертельна...

— А я говорю: нет, Фогель... И я это докажу!

Фогель в первый раз за долгую институтскую практику смотрит растерянно на стены. Стены гладки и казенно сочувствуют ему. Он приподымается на носках, его кадык вылезает из воротничка. Фогель становится уродом с большой головой и туловищем ящерицы.

— Можно военнопленного, господин профессор.

Фабер останавливается внезапно.

— Вы, кажется, сказали: военнопленного?

— Я сказал: человека, которому нечего терять. При-

говоренного или сумасшедшего, калеку... Когда жизнь в тягость...

Они продолжали быстро преодолевать коридор за коридором.

— Мне нечего терять, — говорит Фабер, — а потом вы меня знаете. Фогель, что такое синильная кислота?

«Ага, профессор Фабер опять хочет шутить». Ну, что же, Фогель вынимает руки из карманов, как ученик на уроке.

— Синильная кислота. Синильной кислотой всегда называли водный раствор цианистого водорода... Цианистые соли дают...

— Благодарю вас, Фогель. Теперь сосчитайте до ста, и вы успокоитесь окончательно. Мы пришли.

Что хотел доказать профессор Фабер, входя в камеру, наполненную парами синильной кислоты в концентрации неизвестной, но, по Фогелю, достаточной для того, чтобы убивать наповал все живое, что соприкоснется с ней? Но так думал Фогель. Профессор Фабер ничего не хотел доказать. Он хотел освободиться от маленького серого пятна, неотступно стоявшего перед ним, освободиться от какой бы то ни было ответственности. Русские, например, в таком случае брали наган, вкладывали одну пулю и перекатывали барабан, потом брали дуло в рот и нажимали спуск. Если выстрела не следовало, человек вставал с места, слегка качаясь, и долго помнил металлический вкус во рту.

Японцы, например, в таком случае снимали с себя оружие и лишнюю одежду и с голыми руками, далеко впереди наступающих, лезли на утесистые форты Порт-Артура.

Профессор Фабер стоял в камере, наполненной парами синильной кислоты. Он знал, как придет смерть, если он не ошибся. Она придавит центры продолговатого мозга, тело перестанет выкачивать кислород из крови, он будет раскачиваться, зевая, ноги отнимутся, дыхание умрет раньше, чем остановится сердце. В страшном омуте крови, которая станет алой, как киноварь, сердце будет биться, когда горло схватит последняя судорога.

И труп профессора Фабера будет покрыт пятнами светлокрасного цвета, как выходная одежда клоуна. Бедный Фабер! Смерть могла бы трагичнее украсить

труп такой огромной важности, а она его сравняет с любым ландштурмистом.

Он стоял, потеряв представление о времени. Время исчезло, когда он перешагнул порог, который переходили только кролики, собаки и кошки.

Он ждал конца. Он ждал смертельного подергивания мускулов, как облегчения. Он не слышал сердца, он искал одышки, как первого предвестника гибели. Большой шум тяжелой волны прошел по его сознанию. Профессору Фаберу осталось жить несколько секунд. Они тянулись так, что можно было пережить всю мировую историю, добраться до великой войны, отыскать институт, уединенную, глухую комнату и вывести Фабера из забытья.

Говорят, были случаи, когда отравленные могли перейти двор, обнять жену и сесть в трамвай, чтобы умереть на людях. Но ведь он, Фабер, говорил, что синильная кислота, которую предлагает Фогель, посылает только в санаторий.

Он почувствовал, как ногти в сжатых кулаках впиваются в ладони, как дрожит ухо, как высох желудок и болтается подобно кожаному ведру, опущенному на веревке внутрь Фабера, как конец этой веревки пухнет во рту. Язык рос, и шершавость его занимала весь рот. На ногах жилы рисовались Фаберу переплетением синих шнурков. Его короткие усы, широкие и плоские, стали влажными. Ощущения проходили сквозь него, как пешеходы, возвращающиеся искать забытые вещи в гостиницу, где они когда-то останавливались. Они перерывали его и причиняли боль совсем не там, где он ждал ее.

Неужели эти секунды еще не кончились? Или вот это и называется смертью? Тогда, значит, почерневший Вестер мог еще в уме проверить смертельную ошибку, начертив мысленно маленькую формулу, когда уже его труп выносили из красно-бурого тумана. Ведь сердце и мозг живут после прекращения дыхания. Он вспоминал формулы синильной кислоты как заклинание: треххлористый мышьяк не дает ей разложиться. Глухой шум прошел под потолком, как будто ветер срывал палатку. Хлороформ не дает ей разложиться. Шум повторился. В комнате начинается ураган. Четыреххлористое олово, олово уменьшает летучесть. Ураган бросил Фабера к

стене. Сердце не билось. Язык стал уменьшаться. Колени сгибались, точно на них висел груз. В ушах звенело. На единый миг профессор Фабер потерял сознание. Он нашел себя у стены, липкой, как патока. Нет, липкой была не стена, липкой была рука. Серо-зеленые молнии пронизывали воздух. Как лгут писатели и художники, рисуя смерть в виде законченной фигуры, в плане точных движений. Ничего точного — мрак, расслабленность, тихое и медленное угасание сознания. Его качнуло. Он протянул руку, руку кто-то задержал и рванул вперед. Фабер раскрыл глаза. Перед ним стоял Фогель. На его широком лбу, над которым высилась начинавшаяся лысина, играло электричество. Никакое серое пятно не нарушало мощной белизны фогелевского лба.

Фогель тащил его по коридору, издавая тихие восклицания. Фогель веселился, как медведь, обсасывающий лапу. Он втащил его в комнату, положил на диван, сел напротив, загородив спиной раскрытую аптечку с приготовленными пузырьками, пакетами и склянками. Только ножницы и бинты не успел он загородить, и это было первое, что увидел Фабер по возвращении с того света.

Фабер пил горячую воду с коньяком; он сидел, расстегнув воротник, пиджак и брюки: наступая на шнурки от расшнурованных ботинок Фабера, над ним хлопотал Фогель.

Маленький чайник весело кипел. Фогель взял коньяк, хотел прибавить Фаберу в кипяток, остановился и печально сказал:

— Вы опозорили меня на всю жизнь!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1. МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Железный крест, чин майора, «мертвая голова» на левом рукаве — знак бессмертного пионера, тяжелый титул Князя тьмы и ясное убеждение: его огнемет не оправдал себя. Он не сожжет войну. К такому выводу приходишь на четвертый год. Сколько напрасных ожиданий! Огнемет означает все, что угодно: высокий дух,

храбрость, мужество, презрение к смерти, но еще не конечную победу. Лучше бы не приезжать с фронта до конца войны! До конца войны... а когда ей конец?

Как фельдмаршал Шлиффен, умирая, в предсмертном бреду повторял: «укрепляйте правый фланг!», так он мог, умирая, кричать: «огнеметы, только огнеметы!» — но все было решено по-другому. Другой счастливец, если его можно назвать счастливцем, пожал его лавры, если это можно назвать лаврами, и этого человека звали — профессор Фабер. Раз — это было давно — Штарке пошел к нему, чтобы лицом к лицу проверить силу своего противника, и Фабер не захотел его видеть. Тогда он засел за новый проект, простой, увлекательный и полезный. Проект обсуждался в бесчисленных отделах штаба, и, когда он получил ответ, кровь застучала в старом сердце Штарке.

Они отвергли его блестящий новый проект. Видите ли, у них, во всей Германии, нехватит масла на это, самолеты — не такое всемогущее оружие, как он думает. Поливать неприятеля горящим маслом с самолетов — это сложная фантазия. А разве огнемет не был фантазией, буйный рост которой вызвал он, Штарке?

— У нас нет запасов материалов, — говорил ему болтун, любовавшийся звуками собственного голоса. — Вы не знаете, сколько германская армия жжет, например, хлопка. Ежедневно она сжигает его больше тысячи тонн. Вы только подумайте: тридцать выстрелов из двенадцатисантиметровой пушки поглощают четыреста фунтов хлопка. Шестьсот тонн мышьяка идет у нас ежемесячно на тот миллион снарядов, который мы выпускаем на фронт. Нельзя же переменить всю систему пушек и винтовок. Снаряды поддаются изменению легче всего, и то со стороны внутреннего состава. Ваш огнемет хорош при позиционной местной войне, при ударных актах, но ждать большего от него не приходится, тем более что он не поражает неожиданностью.

— Вы, — говорил этот злобный и завистливый человек, — вы тратите очень много материала. Вы загоняете сто литров масла в один большой аппарат Грофа, вы делаете из среднего Векса восемнадцать выстрелов, действующих на двадцать пять метров. Куда это годится? Я был на вершине Эпарж, — вы знаете ее, помните, ка-

кие бетонные пулеметные гнезда и блиндажи стояли там, — я долго не был в тех краях, в прошлом месяце я попал туда. Вершины нет, она сравнена с землей, клочья проволоки, углы бетона, бетонная крупа и щебень, и кости в любом количестве. Это сделали минометы и моторы Хитченса. Вот это работа! Три тысячи минометов стреляют сразу. Он довел их до совершенства. Мина заряжается газом, от одного вдыхания человек умирает. Это — первое, а второе в том, что газовые волны и снаряды заменили все. Каждый день, каждый час мы несем ужасные потери. Люди слепнут, и глохнут, и умирают, нигде не чувствуя себя в безопасности. На десять километров в глубину идут газовые волны. И мы отвечаем тем же. Газ за газ. В самом глубоком тылу деревья выжжены, трава выжжена; вокруг — пустыня и бойня.

— А знаете вы, — сказал Штарке, — что профессор Фабер отказался меня принять, когда я к нему пришел? Правда, это было давно.

— Я не знаю причины его отказа, но знаю, что это единственный человек, за которым вся армия повторяет одно слово: газ, газ, газ. От него, как быки под ножом, валятся целые дивизии. Люди спят в противогазах. Колокола звонят газовую тревогу по четыре раза в день. Простите меня, я должен прервать разговор, меня ждут.

И он ушел, самодовольный и спокойный штабист. Штарке вернулся домой. Штарке долго стоял в раздумьи, спиной к окну. Широкая спина непонятна, как запертая дверь. Седая голова его неподвижна. Так будет стоять на памятнике Штарке. Так будет он изображен в мраморе или в бронзе.

Штарке глядит каменными глазами на пепельницу. Пепельница сделана из осколков английского снаряда. Очень прочная пепельница. Очень спокойная пепельница. Она никогда не задает вопросов. Она никогда не отвечает на них.

2. БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

— Вы знаете, я как-то сказал одному офицеру, что вы единственный человек, за которым вся армия повторяет одно ваше слово: газ, газ, газ. Артиллеристы прошли настоящую химическую науку. И так просто, не

правда ли? Неподвижный заградительный огонь — желтый крест, горчичный газ. Зеленый крест — фосген. Синий крест — мышьяк. Только от постоянного напряжения, от острого возбуждения у людей появилась усталость. Западный фронт стал пугалом. Люди говорят, что там целым остаться нельзя. Или будешь ранен, или отравлен, или убит. Правда, можно сдаваться в плен, но это не всегда успеешь чисто технически. Из полков при переводе с восточного фронта отмечено дезертирство. Бегут главным образом эльзасцы и поляки. Общая усталость налицо...

Фабер сидел со штабистом в комнате совещаний. Они пили кофе с английскими трофейными сухарями. День был почти зимний. На улице было холодно и скользко. В комнате нагревалась электрическая печь, и штабной офицер сидел, положив нога на ногу, обыкновенный и развязный, как всегда, хотя они говорили о вещах важнейшего значения. Правда, великие события не считаются ни с местом, ни с погодой. Раз пришло их время, их ничто не задержит, а штабные во все времена и у всех народов будут одинаковы. Их авторитет непоколебим.

— Что такое усталость? — сказал Фабер. — Это просто самоотравление организма особым ядом, получающимся при распаде белкового вещества. Усталость можно прививать, как оспу. Усталость меня не беспокоит. Меня беспокоят противогазы. Я пробовал недавно новую кожаную маску, все три образца...

Штабист отставил чашку. Воспоминание о собственном пребывании на фронте живо встало в его голове. Фабер свистнул. Было удивительно, что такой большой человек свистит, как мальчишка.

— Если англичане начнут стрелять Синим крестом — усталость исчезнет. Противогазы пропускают Синий крест.

Офицер побледнел. Фабер отставил свою чашку и продолжал:

— Если англичане введут в дело мышьяковистые соединения, нам придется приблизить наш противогаз к английскому. Англичане применяют фильтры из шерсти и ваты против наших цветных крестов, но противогаз такого типа давит на горло и вызывает скорое удушье.

Мы возьмем другой тип противогаза. Это будет большая коробка, висящая на груди, с резиновой трубкой. Резины у нас нет. Мы пускаем в ход кожу. Но приготовление из кожи трубок довольно сложно. А нам нужны миллионы трубок. Что же делать? Я наводил справку. Запасы резины ничтожны. Как проходит сейчас линия фронта?

— В общих чертах фронт идет от Арраса на Лафер — Реймс — Верден. К сожалению, мы давно потеряли Суассон. Линия Зигфрида трещит. Вся надежда на позиции Кримгильды и Хундинга. Битва не ослабевает.

— Я сомневаюсь еще в одном пункте, — Фабер говорил спокойно, как на лекции. — Попробуйте проверить запасы гельбоина, этих коробок с хлорной известью, которые мы применяем против горчичного газа. Какое наличие гельбоина находится на снабжении армии? У меня есть подозрение, что нехватает и его. Я даже знаю, что некоторые армии заменяют его марганцево-кислым калием, но это нельзя оставить так.

Штабист встал.

— Я уезжаю завтра. Ваш доклад я передам сейчас же лично. Вы будете уведомлены через три дня. Вы получите копию справки.

Фабер позвонил Фогелю. Фогель пришел, как всегда, сияя начинающейся лысиной. Она увеличивалась с каждым днем, но сам Фогель не терял ни в блеске ни в объеме.

Через три дня Фаберу доставили телеграмму, уже расшифрованную и совершенно секретную, и он читал ее очень долго, не отвечая ни на какие покашливания Фогеля.

Фабер спрятал телеграмму в карман, через несколько минут вынул ее, погладил переносье и тогда взглянул на Фогеля.

— Простите, Фогель, вы что-то сказали мне?

— Я не говорил ничего, господин профессор.

Фабер протянул ему телеграмму, и Фогель удивился, что Фабер читал десять минут три коротких строки: «сообщаю, что в третьей, первой, седьмой, семнадцатой и шестой армиях вся хлорная известь роздана в войска. Запасов ее больше нет».

Фогель прочел телеграмму вполголоса.

Профессор смотрел на Фогеля так же пронзительно, как всегда, но с тем оттенком хищности, за которым всегда знал Фогель, профессор будет или злиться или неудачно шутить. И он был прав.

— Фогель, какую страну выбираете вы, когда уезжаете отдыхать? Или нет — какая страна влечет вас к себе больше всех других?

— Меня влечет Сиам, — сказал Фогель: — белые слоны, баядерки и тигры. — Он шел навстречу шутке.

— Вы можете складывать чемоданы и уезжать в Сиам, Фогель, на белом слоне с баядеркой мчаться за тигром. Это будет спокойнее...

Шутка не вышла, как всегда. Фогель даже не улыбнулся.

3. ШРЕКФУС ВЫХОДИТ СУХИМ

Руди Шрекфус вел незавидную жизнь заводного насекомого. Он ползал по дымным полям, по переходам разбитых окопов, но самое худшее — были воронки от снарядов. Он ненавидел их больше всего. Он два дня жил в воронке, окруженный тяжелыми облаками дыма и молниями разрывов. Он менял противогазы, оружие, он терял товарищей, но главное — он ползал, как заводной жук. Временами он командовал, свистел, стрелял, толкал упавших концом маузера, но ему не часто даже разрешалось подыматься на ноги.

Временами перед ним проносились видения: зеленые поля, громадное голубое небо, широкая белая дорога, он вступает в войну, идет по дороге веселый, как молодой бог, никакая опасность не страшна ему, он не наклоняет голову под пулями, а визжащий хоровод снарядов только подымает его на торжественную уверенность. Потом он стал наклонять голову, как новобранец, потом он стал прятаться за выступы, искать прикрытий. Сейчас он только заводной жук, ползающий в гремящей трухе, в сухой размолотой крупе, в которую превратилось все вокруг. Он спит теперь, не думая, что его возьмут в плен, что взрыв сапы смешает его с землей, что газ обволокет его спящего; он спит крепко от великой усталости.

Когда он просыпается, он не находит перемен. Только газы меняют вид и окраску. Он видит отравленных людей с лиловой кожей, серебряными лицами, с красными, как роза, пятнами на руках и на лице; вой раненых идет от воронок, как будто воют испорченные вентиляторы. Так проходят шесть или восемь дней. Потом его отводят на отдых в тыл, в разрушенные деревни, на новые позиции, и он валяется в чьей-то разбитой постели и ест, не думая о еде.

Потом он снова ползет по дымному полю. Он даже не знает, какой пейзаж вокруг. Ему кажется, что перед ним все время подымаются в воздух тяжелые стены и непрерывно обрушиваются, так что земля гудит часами.

У него выросла зеленая морда хамелеона. Противогаз стал постоянным проклятием. Все кричат о газовой дисциплине. Как заводной жук, ползет Шрекфус между проволочных стен, отупело смотря в плавающие дымы, за которыми идут враги.

Небо раскрывается неожиданно. Оно полно гудением. Гудят десятки аэропланов. Они идут с такой скоростью, точно их зарядили на другой планете и они должны пробить землю, пройти ее насквозь. Крылья их видны все ближе. Шрекфус падает лицом в землю. Аэропланы сбрасывают стрелы. Стрелы тупо стучат по шлемам, по щитам орудий, вонзаются в доски и мягко пронизывают человека. Аэропланы поливают пулеметными лейками лиловые клумбы дыма. Они забрасывают бомбами, лопающимися с захлебывающимся чавканьем — они проходят, на смену им является новый заградительный огонь.

Шрекфусу становится дьявольски скучно среди этих дней и ночей, превращенных в мясные лавки, где валяются неубранные туши, а мясники всегда пьяны от усталости и запаха крови, среди холмов, похожих на помойные ямы, где гниют на солнце отбросы необыкновенных размеров, среди животных с тупыми мордами и людей в зеленых масках с застылыми, рыбьими глазами, среди этих куч угля, золы, пепла и костей, на которых развеваются в дыму отсыревшие тряпки, называемые знаменами.

Потом к нему приходит отчаяние, он не может стрелять, от страшного нервного напряжения у него

пропадает голос. Когда он смотрит, он видит на земле красные или зеленые большие пятна. Но это как раз не относится к его болезненному состоянию. Это пятна пристрелочных снарядов. Пушки работают, обливаясь потом. От всей страны останутся, как на луне, пустые воронки. Хорошенький пейзаж для будущего поколения! Но Шрекфус не хочет отдавать врагу и эти воронки, которые он так ненавидит. Его тошнит всякий раз, когда он сползает, сползает по гнилым стенкам воронки все ниже и ниже, и земля осыпается, и в ушах звенит, а на краю воронки стоит краснобурый туман, от которого кровь бросается в голову и дрожат ноги.

На шестой или на восьмой день он лежит на отдыхе, и далеко впереди его свиваются и развиваются волны дымовых завес. И вдруг начинают стрелять рядом, и отдельные выстрелы страшнее, куда страшнее многоголосого рева битвы. Что случилось? Шрекфус вылезает на дорогу, закрыв рукой глаза от солнца. Кругом прячутся люди, неодетые, растерянные, отдыхающие люди тыла, в которых не имеют права стрелять — они отдыхают, они вышли из битвы, они хотят дышать чистым воздухом и ходить на двух ногах.

И тогда он видит танк. Черная, ребристая, тихо гудящая машина вертится и время от времени окутывается дымом. Она стреляет на выбор. Белые вспышки разрывных пуль ударяются в ее бока. Но почему этот безумный танк один? Где же другие? Его водитель сошел с ума, зайдя так далеко, потерял представление о направлении. Он тоже зарвался от дикой усталости. Танк повертывается в сторону Шрекфуса. Танк стоит между сломанных кустов, как бы пофыркивая. Его обстреливают, как слона на облаве. Ему нехватает только хобота.

Шрекфус бросается на землю, потому что танк послал белое облако в его сторону. Где-то за домами взлетает земля и трещат крыши. Шрекфусом овладевает ярость. Он готов бежать к этой черной башне, бить ее кулаками, царапать ее ногтями, плевать на нее. Он видит на крыше танка бидоны, ряды привязанных бидонов. Танк собрался в далекую прогулку, если везет с собою такой запас бензина. Шрекфус выхватывает у соседнего солдата винтовку. Он кричит: «Пуль, зажигательных пуль!»

Зажигательных пуль ни у кого нет. Тогда он кричит снова: «Бейте по бидонам, бейте по бензину!»

Открывается нестерпимая стрельба. Шрекфус в бинокль видит, как пробиваются бидоны, как бензин стекает по плечам чудовища, он, наверное, просачивается внутрь, что делается там с людьми? Танк начинает вертеться. Бензин уже льется ручейками. И тогда приносят зажигательные пули.

Над танком вспыхивает сизое пламя, легкое и прозрачное. Танк бросается вперед и останавливается, врезавшись в кучу кирпича. Взрывается большой бидон. Пламя без искр растекается по черным бокам машины. Люди стреляют без перерыва. Из танка на землю соскакивают три человека. Они поднимают вверх руки. По их лицам течет бензин, их щеки багровы и полосаты от копоти и грязи, от удушливых испарений, губы потрескались. На них грязная, потная одежда. Повидимому, впереди офицер. Он мало что понимает, он едва стоит на ногах. Если б он мог говорить, он сказал бы, что есть предел человеческой выносливости. Перенапряженный металл лопается, как графит. Сколько часов провели они в ползающей коробке в температуре печки, не смея высунуть голову?

Со штыками наперевес к ним бегут люди. Если им не помешать, они убьют этих трех, отнявших у них право на заслуженный краткий отдых. Танкисты стоят, шатаясь, с поднятыми руками. Шрекфус врывается в толпу, окружившую их.

— Назад! — кричит он. — Тихо, ребята, назад!

Кое-кто пробует залезть внутрь танка, и все же кто-то ударяет прикладом и валит на землю одного из танкистов, самого маленького. Тогда командир танка говорит: «Пить!»

И Шрекфус видит, что он ранен. Рука его замотана бинтом. И потом он видит, что часы у пленного на руке остановились.

Не зная почему, он говорит вслух: «Четверть шестого».

Офицер проводит рукою по волосам и снимает пенку какой-то копоти.

— Пить! — повторяет он и добавляет: — и спать.

4. КАЖЕТСЯ — ДА!

Это было поистине владычество газов. Как из злополучной бутылки арабской сказки однажды возник демон с отвратительным лицом и всемогущей силой, так из вытяжных шкапов фаберовской лаборатории вырвались видения, служившие армиям его страны и вдруг обратившиеся с неслыханной силой против них.

Это действовали вещества удушающие, вещества ядовитые, вещества слезоточивые, вещества раздражающие, вещества нарывные. Упорство их превосходило упорство самого лучшего борца. Горчичный газ ручьями тек по улицам городов, хлорное олово мутными языками дымовых завес окутывало горизонт, этиловый эфир сопровождал осколки ручных гранат, хлорпикрин врывался вместе с окопными минами в проломы блиндажей, хлор вызывал молниеносное воспаление легких.

Газы подобно винограду проходили мрачные давильни и в жидком, сгущенном виде заполняли снаряды: иногда погибали не только те, против кого они были назначены, а и те, кто их приготовлял.

Газы, разъедавшие сталь и железо, впитывавшиеся в дерево, в кожу, в ткани, сохранявшие ядовитость неделями, заставляли людей судорожно держаться за непрочную маску противогаза и ждать часами смерти, с глазами, застывшими от ужаса, и расширенным сердцем. Тогда приходил дифенилхлорарсин в виде смерча тончайших песчинок, легко пробегавших через черные поры угольной коробки. Людей начинало тошнить, нос и горло разрывало адское чиханье — люди срывали противогаз, и их встречал слабый чесночный запах иприта или мрачное дыхание фосгена.

В белом, зеленом, красно-буром, черном, синем и желтом дыму сто тридцать пять дней непрерывно сражалось шесть миллионов человек. Песчаные холмы пустыни песчаная буря передвигает с места на место. Эта битва далеко превзошла песчаную бурю. Она изменила всю природу, самый состав земли, она изменила даже полет птиц, птицы удалились в сторону, оставив вековой путь, а земля, избитая, смешанная с трупами, окровавленная, пустая, отказывалась что-либо родить.

Стороны сражались уже в неравных условиях. И од-

на сторона, медленно разламываясь на части, начала отступление. Над ней взвились тысячи аэропланов с боевыми кличками всех систем. Это шли Нюпоры, Виккерсы, Хавеланды, Бристоли, Кертиссы, Спады, чтобы добивать сверху отходящего, судорожно обороняющегося врага.

Уже зима заметала мелкой, холодной, липкой крупой поля сражения, уже тридцать дивизий готовились ударить по свежей дороге на Майнц, уже двенадцать союзных армий, имея за плечами миллионный резерв, готовились послать впереди себя невиданной силы газовый поток на последние позиции немцев, когда в туманный вечер, далеко от фронта, в городке, куда слабо доходил голос великой канонады — седой человек, зеленый от усталости, сказал, опираясь на карту, другому измотанному человеку со свинцовым лицом:

— Кажется, мы проиграли войну?

И человек со свинцовым лицом ответил:

— Кажется — да.

Седьмого ноября в восемь часов вечера грязные, замерзшие часовые в двух километрах северо-восточнее Ла-Капель, в районе сторожевого охранения тридцать первого корпуса первой французской армии, увидели белый флаг парламентеров.

Они приказали автомобилю остановиться.

5. НОЯБРЬ

Тяжелые сапоги, подбитые гвоздями, топтали нетерпеливо свежевыпавший снег. Плечи, иные с сорванными погонами, все гуще заполняли переулок. Перед железной дверью в низкой ограде стоял раскрасневшийся человек, бесплодно махавший руками. Каждое его слово вызывало недовольство.

— Товарищи, я повторяю: здесь ничего нет. Здесь склад. Боевой склад запасов: дисциплина, товарищи...

Это было нехорошее слово. Это слово только что рухнуло, как будто последняя граната, кончавшая войну там, на Маасе, ударила именно в это слово.

— Видали мы дисциплину, довольно!

— Кому бережешь добро?

— Мы не ели второй день. Все бегут в разные стороны. Транспорт развалился.

— Там на складе хлеб и консервы!

— Что с ним разговаривать...

— Вперед, товарищи, мы уже громили склады, мы знаем, что там бывает.

— Не все жрать кайзеру!..

— Он уже в Голландии. Не беспокойся, ему тепло.

— А ну, вперед!

Человека в дверях оттерли. Густые удары прикладов раскачивали дверь. Потом появился ключ, дверь распахнулась. Толпа, — именно это была освобожденная от дисциплины, от казарм, от войны, возбужденная. свободная толпа, вооруженная винтовками, тесаками, карабинами, маузерами, ручными гранатами, — растекалась по двору. Двор был большой. Он походил скорей на плац.

В загородках, под навесом стояли серые баки, непонятные банки, жестяные бутыли, серые аппараты, высокие, изящные, с прорезиненными рукавами. Этих баков были десятки, они стояли, как необычные животные в стойлах, опустив хоботы к земле. Ничего съестного на этом дворе не было. В огражденных пространствах нельзя было найти ни зерна. Толпа топталась, оглушительно ругаясь. Эрна Астен, худой, в черной шинели, обвешанный гранатами, выбежал на середину мощеного двора.

— Товарищи! — закричал он. — Нас обманывали все эти годы. Нам привили бешенство. Нас старались уничтожать всеми способами. Здесь нет хлеба, да, его здесь действительно нет. Но здесь есть кое-что другое. Знаете ли вы, что это за вещи? Это огнеметы и газометы, резервные огнеметы, те самые, из которых нас жгли, как собак; англичане скопировали свои вот с этих молодцов. Но эти молодцы начали раньше. Товарищи, у меня с ними особые счеты. Назад, товарищи, берегись!

Он взмахнул гранатой, сорванной с пояса. Люди бросились к двери на улицу, припали за камнями, иные плашмя ринулись на землю. Фронтовой опыт каждому подсказывал, что делать. Красное пламя осветило двор, и звон ломающихся баллонов переносился из угла в угол. Эрна бросил вторую гранату. Кто-то пустил через камен-

ный забор еще несколько штук. Гранаты рвались, разбивая пустые резервуары на куски.

Дым крутился волчками. Пахло горячим железом. Иные перегородки загорелись. Огонь подымался все выше, освещая изломанную груду огнеметов.

Люди ушли. Двор опустел. Одинокое пламя подымалось из-за деревьев, и тогда на двор пришел Штарке. Освещенная пламенем пожара, на гладких камнях двора перед ним лежала забытая бескозырка. На нее падал снег.

Штарке обвел пустыми глазами разгромленные баллоны.

Они умирали, одинокие, покинутые, с пробитыми боками, с оторванными шлангами, с выбитым дном. Все равно, через день здесь будут французы.

Кто-то тронул его за рукав. Он брезгливо оглянулся. Мимо него прошел солдат с обнаженной бритой головой, лихорадочным лицом, небритый, без погон.

— Папаша, — сказал он, не обращая внимания на Штарке, — дай-ка пройти! — вдруг он увидел, что перед ним офицер. Он посмотрел пристально, как бы напрягая зрение, и вдруг решительно отвернулся, оглядел двор, нашел бескозырку, поднял ее, нахлобучил на голову и ушел с расстегнутым воротом, глотая снег раскрытым ртом, как астматик.

— Вшивая сволочь! — сказал Штарке.

6. ПОБЕДИТЕЛИ

Когда был низвергнут Наполеон и заключен Венский мир, все танцовали. Как сообщают историки, император танцовал, короли танцовали, Меттерних танцовал, лорд Кэстльри танцовал. Только князь Талейран не танцовал, и то потому, что был хром.

В большой комнате, о которой идет речь, в комнате теплой и уединенной, с исторической мебелью красного дерева и золотыми украшениями, с историческими воспоминаниями разных цветов, только двое пробовали танцовать довольно оживленный танец, страшный танец. Они бегали вокруг красноногого стола, мимо шкапов, удивленно взиравших на них, они бегали, два тяжелых,

плотных, невысоких человека, и с индюшечьей горячностью рокотали.

— Поймите, маршал, — рокотал человек в сюртуке: — война кончена, кончена. Вы поедете в Спа, к немцам, на перемирие...

Маршал махал руками.

— Я не поеду в Спа. Сколько раз вам говорить?! Я не хочу мира. Пусть едет кто хочет. Война не кончена. Кто вам сказал, что война кончена? Это все интриги. Они украли у меня победу. Когда я держу для удара сто дивизий, когда я должен перейти Рейн, войти в Берлин, перекинуться в Польшу, немедленно уничтожить большевиков, это гнездо, откуда воняет на всю Европу, прогнать немцев из России, Румынии, — вместо того, чтобы сражаться, они посылают парламентеров; это — шулерство, а вы говорите: поезжайте в Спа. Я не хочу слушать, мне противно.

— Маршал, если мы последуем за вами, мы ввергнем Европу в новую войну, в хаос, в ужас. Война кончена. Все хотят отдыха. Отныне мы — люди в сюртуках — будем стоять на страже справедливости. Маршал, все получат по справедливости. Самый паршивый крестьянин, у которого боши отняли одну корову, получит две. Мы заставим их застроить все дома, разрушенные ими, по тем планам, по которым они были построены впервые. Мы пустим их голыми, мы оставим им воздух... Но война все-таки кончена. Весь этот гром пушек — со вчерашнего дня уже история. Вы поедете в Спа, вы повезете наши письменные условия.

— Я не почтовый ящик — возить ваши условия...

— Маршал, вы не истеричная женщина. Я помню, что говорю с героем Франции. Вы жертвовали жизнью там, на фронте, а разве мы в тылу мало работали? Я сам отлично помню, как я прикалывал орденские ленточки на грудь рабочим, ослепшим от иприта... Да, да.

— А! Вы прикалывали ленточки, а я, сколько лет я портил себе кровь, дрожал каждую битву, каждый час, не мог спать, не мог есть неделями, а когда шесть дивизий повернули на Париж штыки, где были бы вы, если бы не я? И вы хотите, чтобы я поехал к немцам... Я не могу их видеть, я могу только уничтожать. Понимаете — уничтожать.

— Я понимаю ваши чувства, маршал, но война кончена. Мы не одни. Союзники считают войну конченной. Пушки должны замолчать. Им разрешается только последний салют в честь мира, который мы сумеем заключить. Сегодня день чуда: бумажный франк сравнялся с золотым франком. Мы, государственные люди, кое-что понимаем в этом, но ехать в Спа должны вы. Победителю принадлежит честь принять шпагу от побежденных. Вы поедете в Спа, вы сядете за стол с немецкими уполномоченными...

— Я сяду, да, я сяду, но они не сядут. Я буду их держать стоя, стоя, с вытянутыми по швам руками. Я буду говорить, а они будут слушать и молчать, ни одного слова, я не позволю им ни одного слова. И потом я велю адъютанту дать им перо, чтоб они подписали мои условия без промедления.

— Совершенно верно. Они будут стоять, они будут молчать. Делайте с ними, что хотите, но вы сейчас же поедете в Спа. Мы умоляем вас, маршал. Страна этого никогда не забудет. А они пусть стоят, пусть часами стоят. Это уже неважно. Самое главное — война выиграна, и мы победили. Ну, что же, маршал?

— Чорт с вами! Я еду в Спа.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1. ОКОРОК

Это было поистине сказочное окно. Желтые овалы сыров источали нежные прозрачные слезы; колбасы, декорированные зеленью, лежали в серебряной кожуре, заманчиво изгибая жирные туловища; сосиски висели гирляндами; икра, черная и красная, переливалась в боченках, обложенных льдом; на льду лежали изображавшие осень желтые и красные листья; столбы масла образовывали арку, из которой ползли огромные омары с шершавыми клешнями, полными мягкого розового мяса; утки, гуси, куры, паштеты, страсбургские пироги, пикули, грибы, лимоны толпились вокруг, но президентом этой гастрономической республики, конечно, являлся окорок. Окорок превосходил воображение самой мечтательной

хозяйки. Окорок укладывал на лопатки гастронома. Именно окорок останавливал прохожих. Он занимал центральное место. Оно принадлежало ему по праву.

Обтянутая тонкой, покрытой крапинками сала, коричневой, мягкой, великолепной кожей, обвитая белоснежным бархатным узким кольцом жира, лежала влажная, просящаяся в рот, розовая, как фламинго, единственная в мире ветчина.

Белые жилки, точно нарисованные лучшим мастером, бесподобно подчеркивали свежесть и очарование розового мяса. Казалось, от него исходит обольщающий жар и благоухание и проходит сквозь толстое зеркальное стекло и, попадая в нос прохожим, поворачивает их немедленно лицом к окну. И действительно, редкий пешеход не останавливается, невольно любуясь соблазнительным зрелищем. И уже действительно редкий пешеход открывал дверь и входил в магазин, потому что цена этого мяса была равна его великолепию.

Уже несколько времени, не сводя глаз с окорока, стоял человек в узком пальто и фетровой шляпе, надвинутой на глаза. Он смотрел только на окорок. Зрители сменялись у окна и шли дальше, а он стоял и смотрел. Он даже высовывал по временам кончик языка, проводил по сухим губам, он делал даже какие-то движения рукой и перебирал ногами, точно начинал танцовать чарльстон в честь этого удивительного окорока, но язык прятался, руки падали в карманы, ноги успокаивались, подходили новые люди поглядеть, а он все смотрел не отрываясь.

Иногда он делал попытку удалиться, но невидимая сила возвращала его на прежнее место. Тогда он вынимал папиросу. Долго закуривал ее, как бы ища мысленно выход из положения, но папироса подходила к концу, дым таял, а окорок оставался. Тогда он начинал незаметно облизывать губы и сверкать глазами. Минутами он несомненно забывал, что он открыт глазу постороннего наблюдения.

Он поймал на себе удивленный злой взгляд и посмотрел на очередного незнакомца с нескрываемой враждебностью. По лицу незнакомца, закутавшего шею пестрым шарфом, по его вызывающим глазам и костюму

рабочего он понял, что человек этот подметил его болезненный интерес к окороку и готов издеваться.

С человеком, кутающим шею шарфом такого безумного цвета, он не хотел иметь ничего общего. Он отвернулся и вынул папиросы. Человек подошел и стал вплотную. И когда, он, дымя папиросой, снова вперил взгляд в окорок, человек в шарфе сказал:

— Смотри — не смотри, глазами сыт не будешь!

Человек в фетровой шляпе повернулся и, как ему ни было досадно, оставил окно и медленно отошел, засунув руки в карманы.

— Руки в карманах разрешается держать сколько угодно, — сказал ему вслед рабочий.

Человек в фетровой шляпе вернулся. Разве он не волен стоять и смотреть? За это не сажают в тюрьму и не берут денег. И он встал рядом с рабочим, и глаза его снова заискрились. Рабочий смотрел на окорок, и розовое мясо стояло перед ним каждой белой жилкой, каждой каплей жира. Он плюнул.

— Вот это и есть кризис. Это не для тебя и не для меня, товарищ! Для кого же это?

Человек в фетровой шляпе решил, что это уже слишком. Он окончательно оставил окно и ушел быстро, чтобы уже не возвращаться больше. Человек в шарфе отошел на три шага и начал рыться в карманах. Желудок его был пуст, как бутылка, в которой гуляет ветер. Наконец, он нашел, что искал. Это была гайка, давно вышедшая из работы, со стертыми краями, но тяжелая на вес. Он прикинул ее тяжесть для проверки, отошел к мостовой и оглянулся. Поток автомобилей только что пропустил пешеходов и продолжал шуршать по асфальту. Гайка ударила с пронзительным коротким визгом в средину зеркального стекла. Человек, может быть, на фронте был когда-то гренадером. Уверенность, с какой он метнул гайку, изобличала опытную руку, помнившую вещи потяжелее гайки. Стекло не разлетелось. Оно покрылось громадным сиянием трещин, каждый рубец которых сверкал в свете разноцветных лампочек очень самостоятельно. Над окороком встало сияние бесчисленных трещин.

Приказчики стояли на улице перед окном и махали руками в блестящих нарукавниках. В белоснежных

халатах они напоминали заклинателей, от которых сбежал дух. Никто не знал, как это случилось.

— Прошлую неделю было то же самое.

— В северном районе они разгромили лавку три дня тому назад.

— Нужно принимать меры.

Сквозь толпу плыло лакированное кепи полицейского.

Человек в шарфе был уже далеко. Он шел быстро и не оглядывался. Ему начали попадаться навстречу лакированные кепи все чаще и чаще. Иногда они стояли кучками и совещались. Впереди, видимо, происходило не совсем обыкновенное. За углом на маленькой площади человек в шарфе остановился. Площадь была захвачена демонстрацией. Человек вгляделся в ряды. Это были птицы его полета. Это шли безработные, подняв плакаты, которые он оставил без внимания. Не в первый раз он видел их и очень хорошо знал, что там пишется. Он еще знал, как трещат палки плакатов, когда их ломают полицейские, он даже знал, какой след оставляет резиновая палка на плечах и на спине. Полицейские сжали демонстрантов с боков. Демонстранты двигались тихо и мрачно, точно копили силу. На всех лицах недоедание поставило свой штамп. И в белизне электрического света иные закрывали глаза от слабости. Полицейские шли по сторонам, как конвоиры, точно они взяли в плен враждебную армию и отводили ее за проволоку в глубокий тыл. Прохожие останавливались немногие. Они уже привыкли. Иные женщины в рядах вели за руку детей. В середине процессии кто-то закричал, нельзя было разобрать, что крикнули. Потом возникло некоторое движение, точно в толпу упал камень и все спрашивали друг друга, куда он упал. Потом раздалось несколько голосов, люди пели хриплыми, но уверенными голосами. Человек в шарфе слушал ухмыляясь. Словно его радовали:

In der Welt muss das Proletärheer
dienen nur dem Profit...

— Как будто так и есть, — сказал человек. Полицейские подняли и опустили палки. Песню подхватили с края. Она шла над толпой, повергая плакаты в некую дрожь. Плакаты бледнели перед словами песни, ударявшими на них сверху:

Doch in unserer UdSSR
klingt uns ein neues Lied,
klingt von unserer gewaltigen Kraft,
der sozialistischen Planwirtschaft.

Внезапно передние ряды прорвали полицейскую цепь. Поднялся крик. Толпа напоминала крутую кашу, в которой мешают ложкой, не очень стесняясь. Среди крика и беспорядочного шума несколько здоровых глоток продолжали вести огненную линию песни:

Von unserem Willen zum Sieg!
zum Sieg!..

Передние ряды прорвались в ту улицу, в какую хотели. Лакированные кепи перегруппировывались. Плакаты качались уже как знамена. Можно было уже драться за эти палки и за эту материю, отстаивая их неприкосновенность.

— Они будут стрелять! — закричала женщина.

— Ну, ну, — сказал человек в шарфе, — это они умеют.

Mögen die Kapitalisten auch schrein,
das soll unsre Parole sein
in der Sowjetrepublik...

Пел уже один голос, и едва он кончил, как десятки голосов подхватили и понесли припев:

Ran! ran! alle Mann ran!
mit dem Traktor, ran mit Rahn und Krahn!
ran! ran! alle Mann ran!
an dem Fünfjahresplan! [1]

Свистки пронеслись по улице с быстротой пули. Плакаты заколебались и пошли книзу. Полицейские ринулись в толпу.

Человек в шарфе с криком «*Ran! ran! alle Mann*

---

[1] Во всем мире пролетарская армия должна служить только наживе, но в нашем СССР звучит нам новая песня, звучит о нашей мощной силе социалистического планового хозяйства, о нашей воле к победе! Пускай кричат капиталисты, наш пароль должен быть в Советской республике: вперед, вперед, все вперед с тракторами, с дорогами, с подъемными кранами вперед, вперед, все вперед, к пятилетнему плану.

ran!..» сшиб ближайший лакированный блеск, и свалка охватила всю площадь.

Из окон смотрели люди. Магазины закрывались с неслыханной быстротой.

Резиновые палки работали по спинам. Сухо трещали ломающиеся палки плакатов. Прохожие, стиснутые на углу, прятались в проезды. Широкоплечий старик с лиловыми щеками презрительно постукивал палкой о тротуар.

— Ты слыхал эту песню? — сказал он. — Да, в наше время Германия была другая.

— У нас, Отто, — отвечал высокой, с бакенбардами, старик, — ты забыл, была Германия порядка. Давай, однако, попробуем пробраться. Мы опоздаем на наше собрание. Не ждать же, когда это кончится?

— Это кончится скорее, чем ты думаешь. Пусть только наш старик наверху сообразит кое-что.

2. ИОГАНН КУБИШ

Отто фон-Штарке, опираясь на свою черную палку, поздно возвращался домой. С ним это случалось не так часто, но сегодня был изумительный вечер, вечер воспоминаний, собрание его ближайших друзей — ветеранов войны.

Шестнадцать лет назад они вошли в расцвете своих сил в огненное море, и оно выбросило их на пустынный берег, обожженных, изуродованных, обиженных, озлобленных калек. Конечно, можно спрятать мертвецов, одних просто в землю, других в пышные мавзолеи; конечно, можно убрать с улицы инвалидов, засунуть их в мастерские, в углы, где никакая сила не отыщет; конечно, можно писать мемуары, доказывая, что ты не побежден, что это ошибка, что, если бы не взбунтовался флот, не разложился бы тыл, где пакостили шкурники штатские и социалисты, не вмешалась бы некстати Америка, — все было бы иначе. Но куда спрятать эти массы на улицах, этих голодных рабочих, вылезших из всех ям, из всех шахт, подвалов, заводов, вопящих день и ночь о своей нужде, куда спрятать нищету, которая с каждого угла косит огромные глаза и тянет худую, как плеть,

руку. Вечер был, правда, полон славных воспоминаний. Портреты вождей великих армий слушали достойные речи, даже тосты напоминали лучшие времена империи, но узкие, как гроб, комнаты майора Штарке вмещали только вчерашнюю Германию, Германию, о которой не хотели слышать эти толпы, певшие дикие песни о варварской стране, висящей где-то на краю света.

Это непонятно ему больше всего. Как можно не чувствовать себя немцем, прежде всего немцем, а они прежде всего горланят о братстве с трудящимися, как они говорят, всех стран.

Так рассуждая и стуча палкой, Штарке шел по бульвару к своей тихой квартире на далекой улице. Пенсионеру войны не так-то легко жить в эти сумбурные времена. Правда, кое-что есть у него в банке, но Штарке никогда не был нищим.

На скамейке налево под деревом несомненно спал человек. Штарке задержался перед скамейкой. Он стоял над спящим и смотрел. Что он хотел прочитать в усталом и диком лице? Закрытые глаза походили на провалы, в которые можно положить по музейному талеру, и талеры утонут во мраке этих провалов. Что говорил ему шарф, закутавший худую шею и заправленный под изношенный, застегнутый на громадную пуговицу пиджак? что ему могли рассказать стоптанные сапоги этого человека? может быть, он нашел их на помойке? Нехватало еще, чтобы он перевязал их веревкой, но, кажется, это ему придется сделать в ближайшие дни.

Спящий даже не замечал, что свет фонаря падает ему прямо на лицо. Но спать он мог, не боясь за карманы, так как они были освобождены от таких мелочей жизни, как деньги.

Штарке вздохнул и прижал набалдашник своей палки ко лбу. Так он стоял, изучая спящего и обдумывая нивесть что. Одна рука лежавшего была засунута в карман, другая свалилась со скамейки, и рукав задран был выше локтя. Штарке оглянулся вокруг. Все было тихо. Он нагнулся к руке. Около локтя был шрам, точно два крючка запущены были в мясо и протащены с силой вниз, образуя на руке рисунок наподобие буйволовых рогов. Шрам был лиловый, старый, кожа около него

дряблая и серая. Фонарь светил над спящим, как на сцене.

Штарке дотронулся палкой до спящего. Тот не просыпался. Штарке ударил его легко по плечу палкой. Спящий сел сразу и открыл глаза; глаза ничего не видели. Он протирал их добрую минуту, затем спустил ноги свои со скамейки, поправил фуражку и плюнул.

— А я уже думал, это шупо,[1] — сказал он.

Штарке отступил на шаг.

— Какого дьявола вы вошли без стука в мою спальню, дядя?

— Я разбудил вас, — не обращая внимания на его слова, сказал Штарке, — чтобы спросить — как вы относитесь к тому, чтобы переночевать под крышей?

— Это надо подумать, — сказал, вздохнув, человек, перематывая шарф, — я не рождественский мальчик, чтобы меня подбирали под елкой.

— Я вам предлагаю самым серьезным образом ночлег и ужин.

Человек встал и расправил руки со страшным хрипением. Он откашлялся, снова сел и смотрел на Штарке, как бы сомневаясь в его существовании.

— Кого ты хочешь починить, старик? — спросил он. — Ты, может, по части мальчиков, так я стар и у меня кулаки еще действуют.

— Я не понимаю вашего грубого языка. Я последний раз предлагаю вам ужин и ночлег. За ужином мы поговорим.

— Ты хочешь дать мне пожрать, — сказал человек, — если не далеко, то пойдем. А ты не боишься итти со мной?

— Я старый солдат, — сказал Штарке.

— Здорово холодно, — пробормотал человек в шарфе, — надеюсь, у тебя есть чем погреться?

Штарке не ответил. Он шел, стуча палкой, и рядом с ним шагал высокий человек, засунув руки в карманы.

Они вошли в квартиру Штарке. Штарке принес холодного мяса, картофельный салат и чай. Неполная бутылка красного вина появилась на столе. Человек в шарфе не ждал приглашений. Вареное мясо ныряло в его горло,

---

[1] Шупо — презрительная кличка германских полицейских.

как будто падало в бочку. Съев весь салат, он отер хлебом тарелку и все это запил вином. От чая он отказался. Он сидел, смотря на Штарке, совершенно не рассматривая комнаты. Он смотрел на Штарке, точно ждал, что тот сейчас начнет показывать фокусы.

Штарке ждал, что его гость поблагодарит за ужин. Гость не сказал ничего. Он вытер пальцы о штаны и зевнул. Потом стал чистить зубы концом спички. Штарке открыл ящик сигар и протянул гостю. Человек снял шарф, положил его себе на колени, так что концы его свесились на пол. Он закурил сигару, и глаза его пропали в синем дыму. Он полоскал рот сигарным дымом. Тогда Штарке сказал спокойно, переходя на «ты»:

— А теперь, Иоганн Кубиш, ты расскажешь мне, как ты дошел до той скамейки, с которой я тебя поднял сегодня...

Человек положил сигару в тарелку и нехорошо засмеялся.

— Вот не думал, что я буду ужинать в полицейском бюро.

— Здесь не полицейское бюро, — отвечал раздраженный его смехом Штарке, — но если посмотришь на меня повнимательнее, то вспомнишь тоже что-нибудь более приятное, чем сегодняшняя ночь. Я — Штарке, брандмайор когда-то, а ты сын моего штейгера Людвига Кубиша, погибшего в огне. Я тебя носил на руках, когда ты не умел еще ползать. Когда же ты вырос, ты упал с большой раздвижной лестницы, на которую любил лазить. У тебя на всю жизнь остался тот шрам, что находится ниже локтя на правой руке. Так ли это?

— Если бы ты не сказал мне все сразу сейчас, я тебя принял бы за чревовещателя или как там называют тех, что угадывают на расстоянии. Да, я и есть Иоганн Кубиш — это так и есть. Кое-где имеются даже и документы.

— Ты был, кажется, на войне?

— Еще бы, кто не был на ней? Вся армия состояла из нас; только в начале, когда были победы, начальники не считали нас за людей, а за механизмы вроде пушек. Вставай, копай, стреляй, ложись. Не смей думать. Вставай, копай, ложись. Люди явились потом, в восемнадцатом. Ты, наверно, никогда не думал, что у твоих солдат

в голове ящик, в котором лежит кое-что человеческое. Нам вообще не везло. Моему поколению особенно. Мне с детства уже было плохо. Сначала лестница, ушиб головы и прочее. Потом брюшной тиф; доктора сказали: не перегружайте его верхний этаж, не обременяйте его знаниями, он не выдержит, и меня отдали в слесарную мастерскую. Ну, на фронте нанюхался я разного газа — по-моему, его выдумывали, как номера в цирке, каждую неделю новый — обливали меня всякой пакостью, раз даже я из миномета получил в спину банку с австралийской обезьяной. ...

Он затянулся сигарой, посмотрел на Штарке и покачал головой:

— Никогда бы не узнал! Ты так изменился, дяденька, что в жизни не узнать тебя. Постарел ты. Видно, война не в красоту всем.

— Говори только о себе и не называй меня дяденькой.

— Можно и о себе. Но на войне я узнал, что к чему. Меня просветили в лоск. А потом в революцию кое-кто со мной поработал.

— Хороши были твои учителя. Кто же это тебя просвещал?

— Первым моим учителем был кузнец — Петр Брайэр — хороший кузнец, замечательный кузнец, всякому дай бог таким быть, он мне объяснил разницу между хозяином и рабочим, между государством и революцией, между трудом и эксплоатацией. Научные слова все.

— Надеюсь, на него нашлась хорошая веревка, на твоего кузнеца?

Кубиш закашлялся. Он слишком много захватил зараз сигарного дыма. Он сидел почти развалясь, и шарф трепался у него на коленях.

— Брайэр сейчас коммунист. Вторым моим учителем был слесарь Томбе, убит в последний день войны, такая досада, а это был герой, он о фитиль гранаты зажигал папиросы, прежде чем бросать гранату. Он мог двоих столкнуть лбами как орехи. Третий был славный парень. Погиб в революцию в Баварии — Пауль Зальт. Мне рассказывали, как он погиб. Он вышел из Совета народных комиссаров весь увешанный бомбами, поскользнулся на лестнице, упал, и бомбы все взорвались. Грохот был такой, что магазины закрылись во всем квартале. Вот они

и учили меня уму-разуму. Был еще один, Эрнст Астен, из штрафной роты студент, бунтовал в роте, с ним я дольше всех оставался. Пришли мы в Берлин и заняли рейхстаг. Грязные, сам знаешь, с фронта. Нас так и называли «вшивый отряд». Ну, вшей у нас было достаточно.

Штарке остановил его. Лиловые щеки его надулись, глаза забегали по потолку. Штарке вспоминал.

— Астен, Астен, Эрнст Астен — я помню, как это было. Да, это был любовник моей племянницы. Мы принимали его за английского шпиона, который через Алиду добирался до моего огнемета. Его раз видели в разговоре на улице с одним англичанином, причастным к разведке, да, его мы упрятали в штрафную роту. Я хорошо это помню, да, да. Где же он теперь?

— Мы с ним были спартаковцами, дрались на баррикадах, а сейчас он в тюрьме, он избил какого-то майора, — чорт его знает, с дурацкой какой-то фамилией, Шранк... Шрунк... Шрекфус, кажется, — при исполнении обязанностей. Ну, его и припаяли.

— Что же ты думаешь делать, несчастный человек?

— Неизвестно, кто несчастнее. Я равнодушен к богатству, а те, кто неравнодушны, скоро будут раскаиваться. Как кто-то однажды сказал в воскресной школе: богатство вроде морской воды — чем больше пьешь, тем больше хочется. А меня гонят отовсюду, не дают мне работы за политику, хотя, говорят, сейчас даже инженеры без работы. Один мой приятель думал, думал и махнул в Советский Союз к большевикам. Ничего, пишет, хорошие ребята.

Штарке встал и прошелся по комнате. Кубиш теперь только начал осматриваться, но довольно равнодушно.

— Кубиш, — сказал Штарке, — рабочие должны работать, правители должны править. Ум государственный, торговый, военный и ум мастерового — разные вещи. Смотри на меня, Кубиш, я прожил честную жизнь и живу в достатке, и могу смотреть в глаза людям и не спать, как собака, где придется. И мне никто не грозит тюрьмой. Неужели у тебя при виде моей тихой и скромной квартиры нет никакого желания, тайной мысли хотя бы, иметь такой же спокойный угол? Неужели тебя не

берет зависть, что я сплю на чистой теплой постели, в хорошем доме, где тепло и уютно?

Кубиш свистнул.

— Дядя! да меня не берет никакая зависть. Мы все скоро будем спать на теплой постели и в теплом доме.

— Кто это — мы?

— Да мы все, кто спит на скамейках, в ночлежках, в старых трубах, в подвалах, рвань всякая, те, что не жрут по три дня.

— Что же это за чудо снится тебе, Иоганн Кубиш?

— Да какое же чудо? Просто это будет революция. Не та, в которой мы подкачали, а настоящая наша, красная революция. Ведь не может же так продолжаться без конца? Я тоже грамотный и с коммунистами я терся достаточно, и газеты кое-когда читаю, и знаю, что нас, безработных, в Германии сейчас миллионов шесть, а богатство у нас самое замечательное. Говорят, мы должны союзникам каждый по две тысячи долларов. Ну, уж если меня оценили в такую сумму, могу ли я пропасть? Ясно — никогда. Работы нам не дают. Есть даже поговорка, что в Германии каждую минуту вылезает из материнской утробы один шупо и два безработных. Но все же два безработных как-нибудь одолеют одного шупо.

Штарке сел, скрестив на груди руки.

— Так, Иоганн Кубиш, я слушаю внимательно все, что ты мне говоришь. Значит, старая Германия, старая родина — ничто для тебя?

— Вроде картинки, — сказал Кубиш, беря вторую сигару. — В детстве такие книжки нам выдавали в школе, но мы не читали, там было все про одно — и флаг был один и тот же, и орел один и тот же. Красная Германия — это еще куда ни шло. Иоганн Кубиш постарается что-нибудь сделать для нее, а старая Германия — это вроде окорока. Я сегодня видел замечательный окорок. Купить его нельзя, денег нет, кризис. Нужно на автомобиле ехать за тем окороком.

Штарке озабоченно морщил лоб. Он тер своей теплою ладонью колено и смотрел в пустую тарелку из-под салата, будто хотел в ней прочесть будущее Германии.

— Ты забыл одно, Кубиш, что у правительства есть сила, для того чтобы раздавить таких, как ты.

— Ты, может, намекаешь на газы... И танки там. Но мы видели это на фронте. В конце этой улицы есть фабрика Курца. Там башня такая большая. Ходят слухи, что в ней выделывают новейший ядовитый газ. Ну, на всех газа нехватит. На фронте меня тоже душили, но, однако, я жив. Конечно, мы поубавим людей в Германии, кое-кого сократить придется. Это наверняка. Должен же кто-нибудь отвечать за то, что Кубиш валялся, как пес, целые годы в грязи и целые годы, всю жизнь его швыряли сапогами в задницу то туда, то сюда. Нам дают жрать теплые помои, а сами едят окорока. Я этот окорок долго буду помнить. Ну, ничего, я им расквасил окно хорошей гайкой.

Штарке резко поднялся со стула, Кубиш встал тоже и начал заматывать шарф вокруг шеи.

— Значит, ты красный, ненавидящий государственный порядок, порядочное общество, не верящий ни во что святое...

— Как будто так оно и есть, — сказал Кубиш, продолжая заматывать шарф.

— Как же ты пришел ко мне и ел мой хлеб?

— Хлеб не твой, дядя. Что значит твой хлеб? Хлеб во всем мире только и есть, что трудовой. Его пек рабочий. Разве ты сам пек его? Ты здесь ни одной вещи не сделал сам, не так ли?

— Ты величайший мерзавец, — сказал Штарке, — и с меня довольно. Надеюсь, ты не претендуешь на ночлег в этом доме после всего сказанного.

— Я так и знал, — сказал Кубиш, — что ты меня выставишь. Смешно было бы, если бы ты уступил мне свою постель.

Штарке стоял уже в передней.

Кубиш взял третью сигару и ушел, не закрыв дверь и не оборачиваясь.

3. ПРОФЕССОР ФАБЕР ПОЖИМАЕТ ПЛЕЧАМИ

Профессор Фабер сидел у японского экрана, и ворох газет валялся у его ног. Большой синевато-серый дог лениво зевал в углу. На столе стояла карточка Ирмы в весеннем костюме, в шляпе, похожей на авиаторский шлем.

Фотография была снята в Италии, на озере Гарди, среди тихих садов и тихих вод.

Тоненькая горничная, похожая на кинематографическую статистку, держит серебряный поднос, на подносе лежит карточка. Ирма рассеянно читает: Отто фон Штарке, майор в отставке.

Она пожимает плечами:

— Кто этот Штарке, ты не знаешь, Карл?

— Первый раз в жизни слышу эту фамилию.

— Он хочет видеть вас, господин профессор, — говорит горничная.

— Проводите его в кабинет, я сейчас выйду.

Фабер, ступая по газетам, гладит дога между ушей, прячет очки в футляр и идет в кабинет. Они сидят, и в комнате постепенно начинает чувствоваться настороженность.

Штарке кладет лиловую подагрическую свою руку на колено и начинает кашлять; откашлявшись, он трогает себя за грудь, за то место, где видна бело-черная ленточка. Это должно придать ему храбрости.

— Меня зовут Отто фон Штарке. Сейчас я старик. В свои зрелые годы до войны я изобрел огнемет. Я усовершенствовал его во время войны и причинил врагу много бед. Меня называли Князем тьмы. Я думал, что мой огнемет решит войну, но тут появились вы. Вы, человек, открывший человечеству, что такое боевой газ. Вы создали газовую войну и победили меня. Вы, смею сказать, как художник, наполненный научной силой, как хотели раскрашивали лицо войны, а я остался синицей, которая не зажгла моря. Но море войны имеет свои приливы и отливы. Прилив погубил меня и вас. Он погубил Германию. Я пришел к вам не затем, чтобы сказать только это. Вы — человек, который не раз еще придет на помощь своей стране.

Фабер прерывает его:

— Не забудьте, мой друг, что существует сто семьдесят первая статья Версальского договора. Производство газов этой статьей запрещается в Германии навсегда. Мы применяем химические гранаты, и то самые добродушные, при разгоне рабочих манифестаций. И только. И только.

Штарке сжимает подагрические кулаки.

— Господин профессор, договоры пишутся людьми. Договоры уничтожаются людьми. Что мы видим сейчас в Германии? Хаос и канун революции. Я старый солдат, я знаю войну и то, что за ней последовало. Я понимаю многое с полуслова. Я пришел, чтобы спросить у вас: скажите, господин профессор, ведь, это еще не все...

Фабер надувает щеки.

— Что вы хотите сказать: «это еще не все»? Что вы подразумеваете, говоря: «это еще не все»?

— Я подразумеваю ваш ответ. Я повторяю: я завидовал вам, были минуты, когда я ненавидел вас, вы отняли у меня славу, но ваша победа была так велика, что побежденный стал почитать вас, гордиться вами, — скажу так: старая Германия, которая бьется во мне, спрашивает вас — воскреснет она или нет?

— Господин майор! Один раз я вышел из своей лаборатории, чтобы доказать людям настоящую мощь науки. Судя по вашим словам, я доказал. Придет ли другой такой момент — я не знаю, я тоже не молод.

— Господин профессор, я не верю вам. Башня завода Курца — это же сегодняшний день.

Фабер откидывается на спинку кресла. Он недоволен.

— Господин профессор думает, что он вне политики. Но его наука служила на германской службе, она способствовала победам германских армий. Вы не докажете мне, что вы не германец. Я только хочу знать, какой вы германец: германец третьей империи или, страшно сказать, смешно сказать — Советской Германии? Или вы умываете руки?

Фабер пожимает плечами.

— Вы отказываетесь отвечать? Тогда все же скажите, кому же угрожает башня завода Курца?

Фабер вторично пожимает плечами.

— Она угрожает людям ограниченного ума!

4. БОГАТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

— Мне сказали, что вы очень больны, что вам трудно разговаривать. Я не позволю себе утомлять вас. Но я искал вас так долго по всей стране, что сегодня не могу уйти, не высказав того, зачем я здесь.

Он говорил с явным акцентом. Серый костюм, серые волосы, серое лицо с узкими губами и серые глаза прекрасно маскировали его. Нельзя было отгадать ни его профессии, ни его намерений. Серую перчатку с левой руки он не снял, он положил руку в карман вместе с перчаткой. Штарке плотно был вбит в мягкое высокое кресло. Он не сказал ни слова. Он только кивнул головой, и незнакомец сел.

— Мое имя не играет никакой роли. Оно ничего не откроет. Если я скажу, что когда-то меня звали Хитченсом, а потом Стоком, а потом Лавуа, а потом Катарини, а потом опять Хитченсом, то я переверну только несколько страниц моей биографии. Достаточно вам знать, что я искал именно вас.

Незнакомец наклонился и долго рассматривал темную, тяжелую фигуру Штарке, точно замурованную в кресле.

— Так это и есть Князь тьмы? Так вот он какой! знаменитый Князь тьмы, которому я подарил свою левую руку, — он вынул руку из кармана и ударил ладонью по столу. Легкий звон протеза был заглушен серым сукном.

— В тысяча девятьсот пятнадцатом году ваш огнемет, и удушливые газы нагнали на нас такую панику, что люди обезумели от страха. Вы не воспользовались вашими неожиданными возможностями и дали остыть нашим головам от страха. Я никогда не занимался в упор военным ремеслом. С того дня, когда я узнал ваш огнемет, в меня вселился дух войны. Злоба поддерживала меня, как пробковый пояс утопающего. Я утопал в трудностях, но все же мои первые изобретения имели успех — смешно сказать, я закапывал в землю бидоны из-под керосина и стрелял бидонами из-под воды, начиненными газом. С тех пор я работал как одержимый. Я не буду говорить о том, что вы прекрасно знаете. Огнеметы и газометы Хитченса доставили вам не мало горьких минут. Когда я в начале работы учился на опыте фронта, меня угостили из вашего огнемета сравнительно любезно — я отделался одной рукой. Я дал себе тогда слово узнать имя человека, которому я обязан тем, что заразился лихорадкой войны, бешеной лихорадкой, грызущей меня целые годы. Я узнал сначала, что вас зовут Князь тьмы, но это было поэтическое определение, не более.

Затем я узнал, что вас зовут Отто фон Штарке, и я сказал себе: я отыщу этого человека, не для того, чтобы оскорбить его, не для того, чтобы убить, а для того чтобы сказать, что он герой.

Штарке молчал.

— Я потерял любовницу, война стала моей любовницей, я — спортсмен — лишился всех игр, без руки нет спортсмена, война стала моим спортом. Я — доктор философии — сейчас, когда философия умерла, наслаждаюсь философией войны. Наше время — время непрерывных боевых столкновений. Я скажу вам, что десять лет, прошедших после войны во Франции, я редко выходил из боя, а если выходил, то шел в лабораторию, чтобы оттуда снова вернуться в бой. Где я воевал? Возьмите войны последних лет, и вы увидите, что их не так мало. Но все эти войны — сон в летнюю ночь перед той новой войной, которая охватит мир. Пушечное мясо подросло во всех странах для новой игры. Капиталисты и ученые пойдут на войну, одни — боясь смертельного роста пролетариата, другие — из разных смешанных чувств. Профсоюзные чиновники демократии разведут соус пропаганды. Война разрешит все кризисы, убьет безработицу, война потребует железо и сталь, медь и уголь, нефть и азот, бумагу и кожу, консервы и масло, животных и людей, готовых на все.

Штарке молчал.

— Мы пустим дым, разноцветный дым окутает землю фантастическими одеждами. И в этом дыму произойдут величайшие столкновения, кровь храбрецов снова оживит золотые жилы мировой жизни и даст небывалый расцвет победителям, будут пущены газы, превращающие целые армии в сборище хохочущих уродов, они будут хохотать часами, и никакое искусство в мире не даст зрелища трагичнее и совершеннее этого. Мы пустим машины, переходящие любое препятствие, машины-амфибии, летящие под облаками, ныряющие на дно моря, выходящие на берег и штурмующие города. Машины без руководителей, управляемые на расстоянии. Но, воюя, мы не будем забывать, что сегодняшний враг — завтрашний покупатель, мы не будем забывать этого.

«Наши ядовитые газы проникнут через любую маску, неподдающиеся никакому тушению фосфорные бомбы

сожгут мясо до костей, мы зальем, если будет нужно, горящим фосфором города и дороги, отравим водопроводы и колодцы, пулеметный дождь будет итти под небом, затемненным тысячами самолетов, поддержанных дальнобойной артиллерией».

Штарке молчал.

— Если бы вы знали, сколько людей в мире жаждут новой мировой войны. Увеличивающаяся энергия правящих классов ищет выхода, расточительная энергия молодежи, не знающей, что такое война, полна книжных воспоминаний и рассказов из недавнего прошлого. Даже женщины мечтают о войне, — женщины любят кровь, и кровавые рассказы боевого офицера всегда будут волновать их сердца. Но я бы зря сидел в темном окопе, ожидая случайной пули снайпера или куска допотопной мины, если бы не люди, двигавшие военную мысль. Я был у профессора Фабера, чтобы принести ему благодарность за изобретение, перевернувшее историю человечества, но он не понял меня или не хотел понять. Вы же старый солдат, простой и крепкий воин, мой учитель в огнеметном деле, и я рад, что вижу вас, отысканного с таким трудом.

Штарке молчал.

— С кем мы будем воевать, спросите вы? Где плацдарм, достойный такой великой партии? Я вам скажу: весь мир, где есть пролетариат. Не тот, который работает на нас, не тот, который будет есть соус нашей пропаганды, не тот, который мы купим, не тот, который струсит и будет нейтрально грузить военные грузы, — а тот пролетариат, который вооружен ненавистью к нам и смотрит только в одну сторону с ожиданием: в сторону Советской России. Мир знал войны с драконом, с полумесяцем, со львами и орлами империи, теперь он будет воевать с серпом и молотом. Всюду, где появятся эти знаки, будет бой; всякий человек, подымающий руку за них, — наш враг. Вот почему наш великий поход должен объединить воинов всего мира. Мы научились многому за эти годы. Оказалось, что мы еще молоды, что кровь пиратов, как говорит мой друг, не иссякла еще в наших жилах, а империи не строят в белых перчатках. Ваша страна накануне революции, мы придем к вам на помощь. Вам надо сказать одно, милый сэр Отто — что

мы больше с вами не враги. Мы кровные друзья, породнившиеся в битвах, обновивших цивилизацию.

Штарке молчал.

— Я сказал вам, зачем я приехал. Я приветствую вас от всей души. Мир нуждается снова в сильных и крепких душой и телом людях. Я, как ваш Носке, готов повторить: «я горжусь, что меня называют: кровавая собака Носке» — я был бы рад услышать от вас, что вы скажете: «я горжусь, что меня называют Князем тьмы».

Штарке молчал.

— В Лондоне я был недавно на банкете, где великий германец, генерал Леттов-Форбек, защитник восточной Африки, и великий англичанин, генерал Смутс, покоритель восточной Африки, люди, сражавшиеся годы друг с другом, пожали братски руки и заключили союз. Этого я хочу и от вас. Я прошу разрешения пожать вашу славную руку от всего сердца.

Гость встал и подошел к Штарке. Лицо Штарке налилось кровью. Лоб был темнее старой бронзы. Но он оставался неподвижным в своем, похожем на стоячий гроб, кресле. Гость закусил тонкие губы и наклонился к самому его лицу. Потом он перевел глаза на руки Штарке и тронул их своей правой рукой. Он вздрогнул и отодвинулся от кресла.

— Паралич! — не скрывая ужаса, сказал он. — Проклятие, отчего меня не предупредили! Какое несчастье, сэр. Это невозможно, я не верю, как же быть? Но это несомненно паралич, да, — сказал он, снова наклоняясь к Штарке: — вы меня слышали?

Штарке утвердительно кивнул головой.

— И все-таки это паралич?

Штарке кивнул головой.

Англичанин оперся о стол, и протез звонко и досадливо хрустнул на всю комнату.

5. ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ СЕГОДНЯ?

Профессор Фабер прошелся по комнате, легкий, как юноша.

— Что же мы делали сегодня, милая Ирма?

Ирма, свежая и веселая, стояла перед ним, она знала,

что он любуется ею, что каждое ее движение доставляет ему радость, что иначе не может быть.

— Сегодня мы слушали честного доброго Бетховена, — сказала она, — мне надоели джазы. Завтра Кэтти уезжает в Меран, и я буду ее провожать. Какие новости у тебя, мой милый?

— Я встретил Бурхардта. Я давно не видел его. Он все тот же. Он сходит с ума в своем фашистском рвении. Они в начале будущего года будут праздновать шестидесятилетие Германской империи.

Ирма сложила молитвенно руки перед японским экраном, точно просила вышитого павлина полетать.

— Германской империи... Разве такая существует?

Фабер улыбнулся и потрепал ее по щеке.

— Поговори с ним. Он знает только, что будут праздновать первый Версаль, Версаль семьдесят первого года, будут палить из пушек и говорить речи, он разнесет Францию и Россию, так как традиции не умирают, а в воздухе пахнет третьей империей, будут носить кринолины...

— Вот неожиданность! — воскликнула Ирма, вынимая надушенные папиросы, но относились ли слова ее к сообщению Фабера или к вошедшему Фогелю, который раскланивался еще с порога, осталось неизвестным.

Фогель приближался несколько танцующим шагом, и его лицо дипломата переменило ряд выражений, пока он дошел до японского экрана.

— Профессор Фогель, — сказал Фабер, — очень рад вас видеть. Садитесь. Где вы пропадали?

— Я был в Майнце и Леверкузене, заезжал в Херхст — все в порядке, только, — он поглядел на Ирму таинственно, — ходят слухи о башне завода Курца, следует кое-что там перепланировать.

— Слухами у нас мостят улицы, — сказал Фабер. Шутки не выходили у него всю жизнь. Фогель смотрел на него преданными и глубокими глазами. Дог подошел и положил острообразную морду ему на колени. Дог любил дипломатов, они имели особый запах, они пахли не так, как все люди.

— Я зашел по делу, профессор, — сказал Фогель, — опять эти большевики...

— Фогель, вы настолько стали фашистом, что твер-

дите слово «большевики» при всех случаях жизни. Большевизм — не более как якобинство, помноженное на чартизм и разбавленное немецко-еврейской философией. Для варварских народов — это ключ к культуре, для нас это, повидимому, огненные слова на стене и постоянная пища для газет. Но их ученые — вполне знающие люди. Я встречал некоторых. Они отличные ученые. Что вы хотите сказать, Фогель?

— Вот за тем я и пришел к вам, господин профессор. Не далее как три дня назад в газетах помещено сообщение из Москвы, что там казнено снова несколько десятков так называемых вредителей и среди них есть ученые.

— Милый Фогель, нельзя расстреливать науку, вся европейская культура держится учеными. Расстреливать их могут только дикари.

— Увы, это так. Они расстреливают своих ученых, как простых сапожников.

— Милая Ирма, ты представляешь, когда у нас ЧЕКА возьмет всех и придет убивать меня и Фогеля, что ты будешь делать? Тебя они пощадят, ты красива, ты будешь комиссаром...

— Карл, — воскликнула Ирма, — я не люблю твоих шуток, ты это знаешь, а потом я не верю, что нас будут убивать; ты что-нибудь придумаешь — и все изменится, как в ту войну.

Фабер поправил очки. В очках он походил на китайца.

— Мы с Фогелем улетим на луну... Так в чем же дело, Фогель?

Фогель пошел к двери и взял оставленный им при входе на стуле красный портфель. Он осторожно вынул большой лист толстой бумаги, сложенный вчетверо, и развернул его перед Фабером.

— Это протест против расстрела, — сказал он, — во имя гуманности мы должны протестовать. Я собираю подписи немецких ученых, и кое-кто уже есть.

Фабер читал подписи. Он нахмурился, прочтя текст.

— Несколько десятков человек, — ты подумай, дитя мое Ирма, подумай, — убить несколько десятков человек — это нужно иметь душу дьявола. Они действительно упорны, как кремень. Это люди однобоких мыслей.

История знает примеры дикого упорства. Вспомним хотя бы Гамбетту. В юности отец отправил его к тетке в глушь. Он пишет отцу: «Возьми меня отсюда, я не хочу здесь жить». Отец пишет ему, чтобы он молчал и оставался. Он отвечает: «Возьми меня — или я выколю себе глаз». Отец пишет: не дури и оставайся. Он отвечает: «Я выколол себе один глаз и выколю другой, если ты не возьмешь меня отсюда». Его взяли экстренно. Россия — это сплошные Гамбетты, и одного глаза у них уже, повидимому, нет. Дайте же, Фогель, я подпишу. Мне даже нравится это упрямство примитивного ума. Но Европа должна иметь свою долю влияния, иначе эта орда обрушится на нас, а мне, по правде говоря, жаль моих лабораторий. Я провел в них всю жизнь. У вас есть перо? Так. Спасибо, Фогель. Это высохнет сейчас.

С. Розенфельд

ОКОПЫ

В жизни нашего полка многое изменилось.

Мы узнали — правда, с опозданием на несколько дней — о том, что Германия и Австрия объявили России войну. Известие это не произвело на нас особенно сильного впечатления. Мы находились за десять тысяч верст от театра войны, и нам такая далекая переброска войск казалась немыслимой. Офицеры объяснили нам, что Германия и Австрия так ничтожны по силам сравнительно с Россией, Францией, Бельгией и Англией, что война должна закончиться в два-три месяца. О том, чтобы дальневосточные войска были отправлены на фронт, даже думать не стоит. Пока мы соберемся и доедем, пройдет два-три месяца, а к тому времени, конечно, войне конец.

Стали готовиться к возвращению на зимние квартиры. Дисциплина как-то сразу заметно понизилась. Занятия сократились, офицеры являлись редко, низшее начальство успокоилось. Но часть канцелярская, в отношении всяких приказов, распоряжений, предупреждений и объявлений, начала работать с большой интенсивностью.

Как только перешли на зимние квартиры, стало известно, что есть приказ о выступлении Первого сибирского стрелкового корпуса на театр военных действий. Из отдельных приказов по полку, из хозяйственных распоряжений, из частных бесед с офицерами мы узнали, что в августе корпус должен быть уже погружен.

Понемногу занятия прекратились совсем. Часть дня была посвящена хозяйственным делам. Сдавали ротное хозяйство в цейхгаузы, оружие — в ружейные мастерские для поверки, получали обмундирование, упаковывали в тюки и ящики имущество, предназначенное для похода.

Остальная часть дня оставалась для личных дел стрелков. И хотя отпуск со двора был строго воспрещен, солдаты толпами шли на барахолку. У всех солдат были сундуки с хозяйством, с запасом белья, обмундирования, подушками, одеялами и другим добром. Надо было или сдать это на хранение, или продать, так как с собой, конечно, этого нельзя было брать в поход. За исключением немногих наивных солдат, уверенных, что полк скоро вернется на старые квартиры, и потому сдававших сундуки с добром в цейхгаузы, все продавали свои вещи и тратили деньги на ханжу. А когда распродали свое добро, стали красть соседское и тащить, что попадет под руку. Уперли и мою пуховую подушку.

Казармы опустели. Часть казенной обстановки была вынесена в цейхгаузы, сундуки солдат также исчезли.

И только видны были группы иногда трезвых, изредка пьяных, а чаще здорово хвативших стрелков, бредущих по казарме и по двору, беседующих, поющих и просто орущих благим матом.

Полк продолжал готовиться к походу.

В полку было около двух тысяч человек, и пополнение, которое мы должны были получить в дороге, давало еще одну тысячу. Хозяйство нашего полка было огромное. Во всех дворах стояли сотни двуколок — продовольственных, фуражных, патронных, санитарных, обмундировочных, канцелярских и прочих. Стояли сотни лошадей — ломовых для обоза и строевых для офицеров. Длинной шеренгой вытянулись походные кухни и двуконные подводы. Подводы и двуколки были наполнены продовольствием, фуражом, обмундированием, патронами, лазаретным имуществом и другим хозяйством и закрыты натянутыми брезентами. Все это находилось в распоряжении начальника хозяйственной части и командира нестроевой роты и распределялось по обозам первого и второго разрядов.

И таких полков, с такими громоздким и неуклюжим хозяйством, с колоссальным мертвым и живым инвентарем, двигалось со всех сторон России на фронт огромное количество. Одна только Сибирь посылала несколько корпусов по восемь полков, кроме артиллерии, кавалерии, саперов и казаков. Какое огромное количество поездов требовалось, если один только полк заполнял

несколько составов! И какие огромные расстояния надо было покрыть!

Тюрин получил письмо из деревни. Он долго искал меня, доверяя только мне. Найдя, увел меня в сад, где я прочел ему письмо:

«Здравствуй милай Колинка дарагой сыночик отписываем тебе сниским паклоном родительское благословение и бапка анисья тоже а вчерась нашева степу забрали в небенизацию сним в город поехала катя провожать забрали тихона никандрова ванюшку дяди Ефрема и кольку ребово а што сказывают вашу армею не возмут упаси тебе господи сыночка нашаво и льготу не дают всех сынов угоняют дома аднех бап аставляют работу некаму справлять только плачим за тебя и степушку все немцы окоячные денег два рубли посылаем и молимся господу богу за детак наших а яще ниско кланица бапка анисья старая все хворает под сердце подпирает намедни кума приходила плакала нету вести от петра отпиши ты нам не велик труд отписать спаси тебе матерь божия царица небесная а еще ниско тебе кланяемся дарагой сыночек наш николай петрович стем до свиданья с любовью твое родители».

Когда я кончил, Тюрин горько заплакал и сквозь слезы пытался по складам разобрать каракули родительского письма, но, ничего не добившись, заставил меня снова прочесть ему письмо.

Таких писем я читал каждый день несколько штук. Скоро начнут приходить письма из дальних мест, с Украины и из центральных губерний.

Мне надо на них отвечать, а это тяжкий труд.

Ротный командир штабс-капитан Чайка готовился к отъезду и разрушал свой домашний уют. Мебель частично оставлял у знакомых, частично в цейхгаузах. Одну собаку подарил, другую брал с собой, двустволки и картины упаковал в ящики и сдал в цейхауз. Мне он заказал с полдесятка прощальных стихотворений на злободневные темы, которые я срочно приготовил ему.

За несколько дней до отъезда начальник гарнизона, в связи с бесшабашным пьянством, скандалами, драками

с вышибалами у китайских домиков, шумными очередями у японских домиков, нападениями на китайских торговцев и прочими пьяными историями, самым строжайшим образом запретил отпуска в город. Разрешали отпуск только по личным запискам ротного командира, по служебным делам. По городу бродили конные казачьи патрули, арестовывая и доставляя солдат в комендатуру.

Настал наконец день отправки. С утра на станцию двинулись длинной вереницей бесконечные обозы — двуколки, подводы, походные кухни, возы с прессованным сеном, лошади и скот. На улице — оживление, шум, грохот обоза, пыль, ржанье лошадей, мычанье скота.

Наш батальон выстраивается. Нагружены мы до предела. Кроме обычной амуниции, состоящей из скатанной шинели через грудь, винтовки, лопатки, двух патронных сумок, фляжки с водой, котелка и большого вещевого мешка, у нас еще в руках пакеты и мешки с остатками нашего хозяйства. Набитый вещевой мешок не мог вместить всего, что нужно было захватить с собой. Надо было взять запас белья, полотенце, мыло, ложку, кружку, чай, сахар и прочую мелочь, без которой и дня не обойтись. У солдат был неуклюжий, небоевой вид навьюченных ослов, неповоротливых и малоподвижных.

Раздаются последние для нас на этом дворе слова команды:

— В порядке номеров — рассчитайсь!

— Первый, второй, третий, четвертый!.. сто двадцать первый!

Нас сто двадцать один человек в роте. Фельдфебель проверяет по алфавитному списку:

— Аверьянов!

— Я!

— Аникин!

— Я!

— Архипов, Былин, Белов...

— Я! Я! Я!..

Все налицо.

— Смирно! На плечо! Направо! Ряды вздвой! Шагом марш!

Наш батальон присоединяется к остальным. Впереди полка оркестр. Но перед отправкой опять молебствие

«о даровании победы православному христолюбивому воинству».

Нагруженные, навьюченные, отяжелевшие, мы стоим и ждем с нетерпением конца молебствия.

И вот длинной колонной, поднимая пыль, растянулся полк на пути к станции.

На станции полно народу. Солдат никто не провожает, у них нет здесь родных и близких. Но у всех офицеров, фельдфебелей, сверхсрочно служащих здесь семьи, и все они провожают близких.

Шум, крик, толкотня, плач, смех.

На путях длинные составы. В вагонах с обеих сторон по два этажа нар и места для винтовок. В каждом составе вагоны второго класса для офицеров.

Мы занимаем свои вагоны. Сразу становится тесно и душно, несмотря на открытые двери. Вагон полон. Винтовки, скатки, мешки, пакеты заполняют все. Сразу запахло казармой, запахом серого сукна, кожи, ржаного хлеба.

Былин устраивается хозяйственно:

— От туточки в головах мешок, скажем. От туточки повисим котилок. Хай болтается.

Родин сердится:

— Ишь хозяин — хату соби строит! Будто женывся, та новым мистом обзаводится.

— Ну, а як ж? Може нам два месяца жить здесь. Обзаведешься!

Я выскочил из вагона. Успею еще насидеться в нем. Денщики Чайки вносят в его вагон походную кровать и меховой походный мешок для сна.

Вдруг появляется моя приятельница — японка. За ней тащат корзину со сладкими булками и пирожными. Она угощает всю роту.

Чайке, фельдфебелю и мне она принесла торты.

Я отхожу с ней в сторону. Мне неловко. На нас обращают внимание. Солдаты подсмеиваются. Но она не уходит, пока поезд не отправляется.

Ее губы пытаются улыбнуться, глаза застилаются слезой, подбородок по-детски смешно прыгает...

— Ваниська... Твоя уеззай?.. Твоя моя забудь? Да?.. Забудь? Моя глаза твоя не видай? Никогда не видай?

Я смотрю на бегущие по щекам слезы, на дрожащий подбородок и думаю о том, что никогда больше не увижу этого милого лица. Но я никогда не забуду привязанности нежной женщины с густыми черными волосами и золотистыми огоньками черных глаз...

На всю жизнь сохраню я в памяти своей маленькую фигурку и этот последний горячий лепет...

Наконец, последний приказ — горнисты играют сбор. Фельдфебеля кричат:

— Садись! В вагоны! По местам!

Паровоз гудит, дергает, вагоны скрипят, и поезд медленно отходит. Солдаты орут ура, с перрона машут шапками и платками. Многие бегут за вагонами.

Станция медленно уплывает назад и исчезает...

Нет больше Никольска...

Нет казарм, строя, учения; нет китайского базара, нет японской кондитерской...

Утром, на большой станции, остановка.

Мы выползаем из вагона. У круглой водокачки из длинной загнутой вниз трубы хлещет громадная струя воды. Никак не умыться. Подставляешь ладони, а вода разлетается брызгами во все стороны, обливая всех. Намокшие и плохо умытые, мы бежим с чайниками и котелками к кипятильнику. У вагонов толпы китайцев продают белые сайки. Высокими, пронзительными голосами они орут:

— Сааа-ика! Сааа-ика! Халоса саааика!!

Былин весел и жизнерадостен, как жеребенок. Он орет, поет, хохочет. Яркое солнечное утро, холодная вода, молодость, природный оптимизм будоражат его и веселят.

Он завел беседу с китайцем:

— Ходя, ты какой губернии?

— Олеха, семяшка, яблоки.

— А какого уезда?

— Копейка два штука.

— А какой волости?

— Сама сволоца... Зачем лугаеса? Да?..

Былин хохочет.

К нашему вагону подходит фельдфебель:

— Здравствуй, Расхвéль!

— Здравья желаю, господин фельдфебель!

— Ну, как ехать? Ничего?.. На следующей станции явиться к ротному. Спрашивал тебя.

— Слушаю!

Чайка накупил кучу красивых почтовых открыток и просит писать ему дорожные стихи.

— Вот, пожалуйста, по поводу белых гвоздик... Это очень красиво, не так ли?.. И рисунок удачный. Потом... Помните, вы составили список нот, которые я выписал из Москвы? Там была «Элегия» Рахманинова... Однажды вечером она мне играла ее... Вот, пожалуйста, если можно...

Чайка чуть-чуть краснел, чувствуя некоторую неловкость, но отказаться от стихов не мог. Тем более, что и прервать внезапно посылку стихов нельзя было...

Я изготовлял стихи в популярно-лирическом стиле, близком к жанру любовного романса. Это было несложно и больше всего удовлетворяло его и, очевидно, его подругу.

Мою попытку устранить элемент сантиментальности, освежить и осовременить форму стиха он мягко и вежливо отверг.

На остановке я принес ему стихи:

Этот нежный пучок белоснежных гвоздик
Мне напомнил о счастьи разбитом...
Я с трудом заглушал сердца горестный крик,
Терпким ядом разлуки облитый...

Пусть тебе он напомнит о радостных днях
Наших первых и нежных свиданий...
О счастливых, далеких, ушедших часах
Лучезарных, как сон, ожиданий...

Этим стихотворением он заполнил открытку с гвоздиками.

Другое он приготовил к отправке на следующий день:

Я сегодня весь день вспоминаю с тоскою
Тихий вечер, тебя и рояль у окна.
Ты аккорды элегии нежной рукою
В мое сердце впервые влила...

Я люблю эти звуки осенней печали,
Их глубокую скорбь по ушедшей весне;

Их тоску по мечте, по неведомой дали,
По всему, что бывает лишь в сладостном сне.

Я нашел свою душу в аккордах мятежных
И тщету светозарных порывов моих;
Я в них повесть нашел о страданьях безбрежных,
И о многом, него не расскажет мой стих...

Здорово завинтил! Чего не сделаешь для хорошего человека! А главное — чтоб заказчик был доволен.

А вот Харбин. Кажется, совсем недавно я проезжал мимо по дороге в Никольск! Мелькали город за городом, станция за станцией. А теперь все опять, только в обратную сторону. Как будто пьяный механик пустил ленту не с того конца.

Солдаты, высунувшись, смотрят на высокие здания домов, на куполы церквей и хором орут:

— А церквей-то, церквей, ах, твою... А б..... то, боже мой!

Эту коллективную полковую остроту, пущенную с чьей-то легкой руки, сделали обязательной и, приближаясь к какому-нибудь городу, неукоснительно повторяли.

Насколько Былин весел и радостен, настолько Тюрин печален и угрюм. Он целыми днями сидит или лежит в своем углу, благо его оставили в покое. Только Былин беззлобно его задевает и тормошит, не давая ему, как он объясняет, «с тоски удавиться».

— Тюрин, а Тюрин! Да тебе я, пузатая кобыла, говорю или нет? Тюрин!.. Да отвечай же!

— Ну, чего тебе?

— Знаешь ты, куда едешь? А? На войну! Воевать будешь. Ружейный прием помнишь? На ру-ку! Коли! Раз-два! Прямо в пузо немцу! Потом другого, третьего! Крест получишь — домой героем приедешь!

Взводный отзывается:

— Эта баба пока повернется, сама на штык напорется, вся вода из него вытечет. Сразу худой станет!

Родин относится к событиям спокойней:

— Зря катаемся. Пока доедем, война кончится. Погуляем и обратно поедем. А в военное время день за

два считается, — приедем, а там и домой! Вот и вся война! Спасибо немцам!

Кто-то отвечает:

— Таким дуракам, как ты, — всегда первая пуля... Домой! Вот дурак!

— А што думаешь? Разве немец противу нас может долго устоять? Наших понапрут, откуда хочешь. С России, с Дальнего Востока, с Сибири, с Туркестану, с Кавказу...

— Ну да, ты скажешь, с Кавказу! А турки хрен собачий? Еще туды подмогу посылать надо.

— Зачем посылать? Турок флотом угробить можно...

— Не, брат, Россию никто победить не может!

На больших перегонах Былин возмущается:

— Що це за вагоны, до витру нимае куда сбегать. Жди, пока вин встанэ... А мени, може, зараз треба!

— Зараз... чушка полтавская! Натрескается сала, аж выпирает, а потом, как пушка, бухает...

Мы приближаемся к огромному селу. Нет, это городок! Солдаты у окон и дверей. Опять старая острота с незначительной вариацией:

— А церковь-то одна только.

Заблестела река. Это Баляга или Макырта. Мы подъезжаем к Петровскому заводу, Верхнеудинского округа, Забайкальской области. Сюда были сосланы некоторые декабристы, и жители показывают на горе в лесу их могилы. Покосившиеся и позеленевшие, покрытые мхом камни со стершимися от времени надписями.

На всех путях длинные составы, наполненные солдатами. На дороге образовалась значительная пробка. Сотни эшелонов сбились на ближайших станциях. Мы простоим здесь три дня. Благо торопиться некуда.

Так ехали мы уже много дней и много ночей.

Наконец, засинел Байкал.

Едем вдоль берега. Поезд влетает в длинные, темные туннели и вновь вылетает на солнечный простор Байкала.

Огромное озеро, точно море, без берегов, и, точно на море, синие волны с белыми гребешками, и над волнами детский плач белых чаек.

Многие окончательно загрустили в ожидании свидания с родными. Теперь почти на каждой большой стан-

ции, когда подходил эшелон, стояли толпы крестьян и ожидали своих сыновей.

Нашего Тюрина родители с трудом разыскали. Они поджидали эшелон четыре дня, а когда поезд пришел, чуть-чуть не прозевали сына. Встреча была тяжелая. Мать Тюрина, еще не старая женщина, вцепилась руками в сына и, рыдая навзрыд, причитая и истерически всхлипывая, кричала:

— Куда вы дите мое забираете?! Куда?... Оставьте вы Коленьку моего... Оставьте!..

Отец стоял молча и мял фуражку. Он низко опустил голову, и слезы длинной ниткой текли по щекам и бороде...

Подошел Чайка:

— Ладно, ладно, матушка, не плачь! Привезем тебе сына обратно.

Мать не отпускала Тюрина и, гладя руками его мокрое от слез лицо, кричала:

— Ребенок мой маленький!.. Куда тебя берут от меня?

Потом она передала ему образ от бабки Анисьи, долго крестила его и просила Чайку:

— Ваша милость, сберегите Коленьку, пожалейте, ваша милость, спрячьте вы его там...

Когда поезд отходил, она пробежала немного рядом с вагоном, потом упала ничком и, подняв лицо, кричала:

— Дите мое, дите мое!..

На следующий день, на большой оживленной станции, у вагонов тринадцатой роты появились родители унтер-офицера Никитина, обвиненного в убийстве фельдфебеля. Они ничего не подозревали. Когда им рассказали о сыне, отец, седой старик, досиня побледнел, долго ничего не мог говорить и шевелил посиневшими губами. Мать, очевидно глухая, вопросительно смотрела на старика, ничего не понимая. Долго они так стояли, пока старик с трудом проговорил:

— Адресок, ребятки, можно? Где его найти?

Ему объяснили. Они постояли, потом ушли и, снова вернувшись, стояли до отхода поезда.

Понял ли старик, что грозит его сыну?..

В Самаре мы получили пополнение из запасных. Ка-

кая ирония судьбы: большинство запасных — немецкие колонисты.

Они плохо говорят по-русски. Они с головы до ног подлинные немцы. И вот едут воевать с немцами.

В последние дни нас гонят с непривычной скоростью.

— Затирает, видно, без нас...

— Должно, туговато дело. Больно заторопились.

— А говорили: покелева доедем, и войне конец!

— Погоди, миляга, прежде нам с тобой конец, а потом и ей конец!

— И куда это столь народу гонят — и понять невозможно! По многу тысяч, по многу полков, батарей, эскадронов... Поди, и в штабах сосчитать не смогут.

— Война людей глотает, как огонь сухой лес.

— Это верно...

— Ну, да хрен с им! Помирать один раз.

На станциях стоят скорые и курьерские поезда, пропуская нас вперед. Станции замелькали с необычайной быстротой. Полустанки, разъезды, села, деревни, небольшие городишки зарябили в глазах, беспрерывно сменяя друг друга.

Куда нас гонят с такой неожиданной поспешностью? Что случилось? Куда девались российские части? Неужели положение так катастрофично, что вся надежда только на сибирские корпуса?

Один за другим проносятся не только маленькие географические точки. Летят сотни верст, и, точно маленькие деревушки, один за другим вырастают и быстро остаются позади бесчисленные города...

После Самары, как в прочитанной книге, или фантастической панораме, промелькнули, играя куполами церквей, каланчами, тюрьмами, казармами, крупные, в изобилии разбросанные по стране многолюдные города: Пенза, Ряжск, Тула, Калуга, Смоленск, Минск, Седлец...

Почему-то мы неожиданно оказались в Брест-Литовске, и вот, наконец, скоро Варшава.

На какой-то станции мы стоим несколько часов. Затем приходит телеграфный приказ: полку выгружаться и походным порядком срочно выступить в Варшаву.

До Варшавы сорок верст.

Тридцать шесть суток мы ехали от Никольск-Уссурийска.

Выгружаемся из вагона. Надеваем шинели и всю амуницию. Все неудобно, неладно, непригнанно. Ружье непривычно тяжело.

Полк выстроился на шоссе, и голова его уже скрылась в лесу. Позади нас тянется длинный обоз. Ротные на лошадях. Чайка, плотный и широкий, раскачивается на рыжей английской кобыле.

Мы идем почти без остановки. Час марша, пять минут отдыха. Только к вечеру мы делаем длительный привал. После теплого дня наступил прохладный вечер. С полей потянуло запахом скошенного сена, потом запахло яблоками. Мелькнули огни фольварка, окруженного большим фруктовым садом.

Глубокой ночью мы входим по шоссе на широкие мощеные улицы большого города. Трамвайные пути прорезают мостовую. Многоэтажные дома сжимают улицы. Блестят огромные зеркальные стекла магазинов.

Это — Варшава.

Ночью мы вышли из Варшавы, оставив позади себя огромный, ярко освещенный, блестящий и шумный город, в котором не было никаких признаков близких военных действий.

Многоэтажные дома с сверкающими зеркальными окнами и широкими подъездами; золоченые буквы кричащих вывесок; тысячи огней магазинов, кафе, кино, баров и театров; шумные толпы на тротуарах центральных улиц, звон переполненных трамваев, фабричные трубы и нищенские дома предместий, — все позади.

Мы медленно движемся, подолгу стоим и опять идем, усталые от многочасовой ходьбы и двух бессонных ночей.

К рассвету мы в восьми верстах от Варшавы.

Спокойно, как на тактических занятиях, нам приказывают рассыпаться в цепь вдоль низкой насыпи узкоколейной железной дороги.

Стоит великолепный осенний день, прохладный и свежий. Золотое солнце, играя в миллионах росинок, ослепительно сверкает. От глубоко вспаханной земли, чер-

ной и влажной, идет ни с чем несравнимый, крепкий и острый запах.

Наш батальон на правом фланге. Шестнадцатая рота крайняя. Я лежу рядом с Былиным, Родиным и Чайкой.

Против нас, в полуверсте, параллельно железной дороге, тянется редкий лес.

Внезапно, как страшный удар по голове, в лесу раздается ружейный залп...

И сразу второй, третий.

В нашей цепи слышатся крики и стоны. Кто-то кричит:

— Ой, убили, убили, спасите!..

И дальше по всей линии несется:

— Ой, ой, ой! А-а-а...

Чайка кричит, как на учении:

— Прицел тысяча триста, шеренгой, рота — пли!

Раздается, сухой, неровный рассыпчатый треск.

— Стрельба пачками, рота — пли!

Из леса слышна частая ружейная стрельба.

Мы видим, как по лесу перебегают, почти не сгибаясь, прячась за деревьями, немецкие цепи. В нескольких местах к самому краю леса подкатывают пулеметы и открывают сильный огонь. Над нами, совсем низко, вдоль цепи, летит аэроплан, обстреливая цепь...

Откуда все это взялось? Что это значит? Мы не думали об этом... Мы не могли предположить, что Варшава — огромная, богатая, блестящая Варшава, столица Польши, центр крупнейшего военного округа, важнейший стратегический пункт — открыта неприятелю, оголена и брошена...

Мы думали, что неприятель далеко, за сотни верст отсюда, где-то у своих границ...

Чайка кричит, надрываясь:

— Передать батальонному по цепи: неприятель обходит, фланг оголен!..

Появляются санитары с носилками. Уносят раненых. Санитары кричат:

— Перевязочный пункт в деревне!

И вдруг крик по цепи:

— Отступить за кирпичный завод!

Мы поднимаемся и бежим назад. У прикрытия остается несколько фигур.

Это убитые.

Нагруженные всей амуницией, своим нерастерянным еще хозяйством и запасом продовольствия, мы бежим медленно. Полы длинных шинелей болтаются, мешая шагу.

Ротный пятнадцатой роты бежит рядом со мной и кричит вперед:

— Рассыпься, сволочь, рассыпься!.. Сбились, как бараны! Мишень устроили! Рассыпься!..

Но люди не слышат. Густой толпой, сплошной подвижной серой массой они устремляются к зданию завода. Внезапно толпа шарахается и рассыпается в стороны. Немецкие пулеметы взяли верный прицел, подрезая толпу, как ножом, оставляя на черной земле большие серые пятна солдатских шинелей...

Мы ползем медленно, волоча мешки по земле. Котелки и фляжки цепляются и мешают. К рукам и к винтовкам прилипают комья сырой земли.

За кирпичной стеной спокойнее. Стрельба утихла. Полк медленно собирается. Все ищут свои роты.

От пережитого у большинства ослабли кишечники.

Появился батальонный командир. Он обращается к батальону, отрывисто лая:

— Братцы! Поздравляю вас... с боевым крещением... желаю вам быть... храбрыми и верными слугами царю и отечеству... Мы отступили потому, что... не подоспели еще артиллерия и казаки... К ночи... они прибудут.

Но, очевидно, его кишечник не крепче других, и он быстро скрывается, исчезнув за какой-то стеной.

Подсчитывают солдат...

В нашей роте нехватает десяти человек.

Вечером мы узнаем, что ранено шестеро, убито четверо.

Среди них Тюрин.

Пуля попала в темя и вышла над затылком. В руках у него зажата винтовка с неиспользованными патронами...

Мы движемся уже много часов. Часто останавливаемся, подолгу стоим на месте, садимся и ложимся прямо на землю, засыпаем и снова движемся, с трудом поднимаясь. В суставах бедер и колен как будто насыпан песок, сухо и неприятно.

Рядом со мной качается в седле Чайка на тонкой рыжей кобыле. Кожа нового английского седла скрипит, как баржа на реке, уютно и монотонно.

Чайка теперь капитан. Он засиделся в штабс-капитанах и рад производству, нагнавшему его в дороге.

Он дремлет в седле и, просыпаясь, окликает меня. Он что-то говорит, но совсем неслышно, и, очевидно, опять засыпает.

Мне вспоминается Тюрин. Мерещатся его окровавленная голова и тяжелое, неподвижное тело, вдавившееся в полотно носилок...

В памяти выплывает далекая сибирская станция.

Я вижу мокрое от слез лицо его матери и слышу ее голос: «Дите мое, дите мое...»

Но Тюрина больше нет. Его тело лежит в братской могиле, наскоро вырытой и гостеприимно вместившей пятьдесят солдат нашего полка...

Еще утром, за час до боя, он наливал мне в чашку из своего котелка кипяток и говорил:

— Хлябай, парень, хлябай горяченького.

Медленно светает. Позади нас появляются багряные полоски, и под ними небо из темносинего становится зеленовато-голубым и прозрачным. Впереди небо совсем еще черное, и крупные звезды медленно тускнеют.

Мы идем на запад.

Неожиданно впереди, слева от колонны, шагах в пятистах от нас, вздымается огромный столб пыли, огня и черного дыма. Над дымом загремело, как в грозу. Колонна шарахается вправо от дороги. Полк останавливается. Проходят две, три минуты. Высоко в воздухе проносится тяжелое жужжание, будто летит гигантская пчела, и в тот же миг раздается грохот, разрывающий уши и ударяющий в голову. Справа от нас взлетает высокая огненно-черная башня и, рассыпавшись, падает каскадом, превратившись в мелкие куски земли и пыли...

Полк бросается обратно на дорогу.

Мимо нас мчатся конные ординарцы, разведчики и адъютанты.

Немцы нащупывают колонну; еще два-три выстрела — и мы будем под огнем тяжелых орудий. Но мы стоим спокойно, неподвижно. Вдруг вся рота, как по команде,

пригибается: над нами с визгом и воем разрезает воздух «чемодан» и далеко позади нас врывается в колонну...

Мы видим опять черный столб и взлетающие в воздух камни, комья земли, винтовки, лопатки... Когда дым и пыль рассеиваются, мы подбегаем к месту взрыва и видим посреди дороги глубокую, большую воронку.

Мы стоим здесь много часов.

Нам объясняют, что немцы, не встречая препятствий, подходили к Варшаве. Теперь, напоровшись на сибирские войска, отступают. Тяжелой артиллерией они хотят нас задержать, но мы их скоро нагоним...

Былин говорит:

— Спасибо батьке твоему! «Скоро нагоним...» А на який бис его нагонять, вин же стрелять будет? Хай идэ до дому.

К вечеру мы выходим на дорогу.

Мы снова движемся в темноте, не видя ничего ни справа, ни слева. Мы почти не разговариваем. Мы устали. В душе нет ни жалости, ни испуга, ни сострадания. Хочется спать, только спать. Глаза слипаются, веки тяжелеют, зевота сводит челюсти. Пусть будет, что будет, только бы уснуть. Спать, спать...

Нет конца дороге. Мы проходим десятки верст. Затекают руки от винтовки. Ноги натерты до крови и волдырей.

На рассвете мы входим в старый, высокий и густой лес.

Пахнет сыростью, прелыми листьями, мхом и запахом увяданья осеннего леса. При каждом порыве ветра скрипят и качаются высокие деревья и осыпаются крупные золотисто-розовые листья. Они долго кружатся в воздухе и медленно падают на землю...

Лес скоро кончается. Голова колонны уже вышла в открытое поле. Мы слышим шум далекой ружейной и пулеметной стрельбы.

Полк останавливается.

Нам приказывают рассыпаться по лесу цепями в несколько рядов и продвигаться вперед. Мы ступаем по мягкому мху, прыгаем через пни и сваленные деревья, тыкаемся в обнаженные корни и стараемся не потерять друг друга.

Частая стрельба слышна совсем близко. Мы выходим

из лесу и видим далеко впереди согнутые фигуры перебегающих цепями в несколько рядов солдат. Проходим еще с полверсты и останавливаемся. Впереди нас никого нет, — цепи передвинулись куда-то вправо. Нам приказывают окопаться. Положив винтовки, сняв вещевые мешки, мы спешно роем окопы по начертанным на земле линиям. Острые лопатки врезаются во влажную землю и выбрасывают вперед крупные комья. Позади окопов режут четырехугольные куски дерна для маскировки насыпи. Мы скоро устаем и обливаемся потом, но нас подгоняют, и мы не останавливаемся, пока не кончаем работы.

Окопы готовы.

Мы уже два дня не ели горячего, так как кухни не поспевают за нами. И сейчас кухонь не видно. Солдаты бегут в лес, раскладывают костры и готовят в котелках чай. Первым возвращается Былин с котелком, наполненным горячим чаем. Его давнишняя мечта наконец принимает реальные формы, — он становится постепенно денщиком. Старый денщик Чайки совсем не приспособлен к походным условиям. Былин же, примчавшись с котелком, немедленно доставляет его ротному, разыскивает старого денщика, достает мешок с продовольствием и не отходит от Чайки, пока тот не заявляет, что совершенно сыт.

Не все пьют чай. Многие сразу ложатся на землю и в тот же миг засыпают крепким сном.

Но долго спать не приходится. К вечеру нас поднимают, и мы опять движемся длинными цепями вперед. Мы шопотом окликаем друг друга, теряем свою цепь, падаем, ныряя то одной, то другой ногой в глубоко взрытую землю.

В воздухе что-то шипит, и при взлете осветительной ракеты мы видим огромную площадь земли и наши неровные, разорванные цепи.

За первой ракетой взлетают другие. Поле освещено, как днем. Мы быстро ложимся. Мы попадаем под бешеный ружейный и пулеметный огонь. Слышен тонкий свист пролетающих пуль: фьють, фьють... Мы инстинктивно ложимся плашмя, стараясь врыть голову в землю...

Кто-то кричит вблизи пронзительным голосом:

— Санитара, санитара, ранили!

И потом долго, до хрипоты, все тише и тише:

— Ах, ах, возьмите, возьмите...

Из-за шума стрельбы его уже совсем не слышно. Стрельба не стихает. Ракеты беспрерывно освещают поле. Длинный и широкий луч прожектора перескакивает с места на место и щупает каждый уголок. Я рою впереди себя землю и делаю прикрытие для головы. Стрельба и крики продолжаются.

Кто-то надрывается справа:

— Передай по цепи — отступить в свои окопы.

Я передаю влево, стараясь перекричать шум:

— Отступить в окопы!..

При вспышке ракеты я вижу ползущие назад фигуры. Все поле живет и движется.

Ползти по вспаханному полю трудно. Я забрасываю каждую минуту мешок на спину, но он упорно сползает на бок. Колени наступают на шинель, не давая двинуться. Мешает винтовка. Руки устают и слабеют...

Мы добираемся до своих окопов. Роты смешались. Слышны окрики:

— Пятнадцатая! Где пятнадцатая? Здесь какая? Какой батальон? Где перевязочный пункт?

Стрельба утихает. Только лучи прожекторов бороздят поле, и вспыхивают в разных местах ракеты.

На поле осталось много убитых и раненых. Оттуда доносятся крики.

Наконец, группами появляются санитары. Раненых проносят мимо нас, и крики их слышны пока они не скрываются в лесу, где расположен перевязочный пункт.

Я нахожу свою роту. Кроме оставшихся на поле, многие попали в другие роты. Чайка, Гончаров, Былин, Родин, Василенко — здесь. Я сажусь в окопе отдохнуть и засыпаю. Но спать не дают. Кто-то упал на меня и больно ушиб голову. Я просыпаюсь. Сразу не могу понять, где я. Впереди черные влажные стены окопа, в нос бьет сырость и холод погреба.

И только над головой, в темносинем бархате, мерцают золотые точки.

Я сижу в окопе и не могу оторвать глаз от темного простора неба и блеска далеких звезд...

Какой покой, какой бесконечный покой!..

Утром снова вылезаем из окопов и, как вчера, длин-

ными цепями движемся вперед. Проходим по тем местам, где вчера ночью наступали. По всему полю нарыты крохотные прикрытия, спешно под огнем возведенные голыми руками. Мы доходим до неприятельских окопов. Бруствер окопа замаскирован дерном, ветками и листьями; даже на близком расстоянии он сливается с зеленью поля. Взбираемся на возвышение и перескакиваем через окопы. Тихо. Никого нет.

Нас удивляют неприятельские окопы. Они укреплены досками, балками и свеженапиленными деревьями. Во многих местах навесы, глубокие ниши для патронов, ходы сообщений. А ведь останавливались немцы только на несколько часов, чтобы задержать наше преследование. И ушли-то они, видно, совсем спокойно. Ничто не брошено, не оставлено, не забыто. Только пустые консервные коробки валяются кругом.

Былин недоумевает:

— Може, тутечки нечиста сила вчера стреляла? Як вони, бисовы дити, шпарыли, а сегодня як будто никого ни було. Аж уси гильзы подобрали. Ну, и народ!

Василенко в восторге от окопов:

— Быдто хату строили, ей-бо! И крышу и ступеньки, и нужнык... Тилько окон не мае. Дюже грамотный народ, ученые, собаки!

Мы идем дальше. Неприятель, очевидно, далеко, и мы выходим опять на дорогу, растянувшись бесконечной лентой.

Мы голодны. Нас совсем не кормят. Наши собственные запасы съедены. Достать новые негде. А кухни где-то болтаются, и мы третий день не получаем горячей пищи. Что это? предательство? или беспечность делового начальства?

Позади нас огромный, богатый, нетронутый войною город. Тысячи продовольственных магазинов и складов, ненарушенный еще интендантский аппарат, штабы, пункты, управления; позади нас — по закону в тридцати верстах — обоз второго разряда, и в пяти—первого. Дороги еще не разрушены, мосты не взорваны, пути неприятелем не заняты, а кухни добраться до своих частей не могут.

На горизонте вырастают трубы с вьющимся дымом. Нас радуют и волнуют человеческие жилища. Может быть мы отдохнем и насытимся.

Входим в местечко Бяла. Маленькие, грязные домики крыты серой соломой или камышом. В окнах, вместо стекол, торчат грязные подушки и тряпки. Покосившиеся углы и стены подперты досками и, кажется, вот-вот обвалятся.

По улицам бегают босые, несмотря на холод, ребята с торчащими сзади из штанишек грязными рубашонками. Из домов выглядывают старики и женщины. Дальше, к середине местечка, дома побольше, с деревянными позеленевшими крышами, с крылечками и стеклами в окнах. Но на всем печать убожества, нищеты, нужды, тяжелые слезы непролазного горя, забитости и приниженности. На лицах женщин испуг, тревога и беспокойное ожидание непоправимого несчастья.

Солдаты разбегаются по местечку в поисках съедобного. Но лавки уже опустошены и закрыты. Бегают по домам, достают молоко, булки, масло и колбасу. Воруют кур и уток, которых жители тщетно прячут — от солдатского глаза ничто не укроется.

Былин раздобыл гуся, уверяя, что купил за восемь гривен, и немедленно зажарил его, удивляя Чайку поварским искусством. Мне он сознается, что гуся спер, когда хозяйка отказалась его продать. Но я думаю, что он и не пытался его купить.

Мы сыты сегодня и бродим по местечку, слоняясь от скуки и безделья. Жители нас боятся и загоняют в сараи и хлева птицу и поросят.

Былин поставил себе цель: украсть пару поросят и зажарить их впрок на черный день. Таких запасливых, как он, вероятно, в полку немало.

За мной весь день по пятам бродит запасный Иоганн Кайзер, самарский колонист, бритый, сухощавый и крепкий. Во рту у него вонючая обкусанная трубка; зубы у него крепкие, короткие и желтые, и говорит он низким однотонным басом.

По-русски он изъясняется ужасно, так же, как я по-немецки, и это служит основой нашей дружбы. У него жена и трое детей. Его два брата тоже призваны. И во всех трех семьях не осталось ни одного мужчины. Уехали они все почти одновременно, в разгар полевых работ. Это его больше всего беспокоит. Работников теперь не

найти, а дети маленькие. И умереть страшно только потому, что останутся маленькие дети.

Былин и другие солдаты, ворующие гусей, внушают ему отвращение. Его хозяйское сердце деревенского собственника негодует.

— Как можно, — говорит Кайзер, — ведь хозяину с трудом дается каждая копейка. А он сразу гуся украл.

— Что же делать, Иоганн, он кушать хотел.

— Он получил сегодня обед из походной кухни.

— Ничего не поделаешь — здесь война.

— На войне тоже можно быть честным.

Колонист упрям. Его не переубедить. Я спрашиваю его:

— Сознайся, Иоганн, ты хотел бы, чтобы немцы победили?

— Нет, зачем... Одно добро... Я хочу, чтобы кончилась война.

— Я понимаю. Но немцы ведь — свои! А русские — чужие?

— Знаешь... Я тебе сказку скажу. Поспорили телега и сани: кто лучше. Сани говорят: я лучше, а телега говорит: нет, я лучше. Пошли они к лошади. Спрашивают: «Скажи, лошадь, кто лучше — сани или телега?» Лошадь жует сено, думает и говорит: «Знаешь, что. Оба вы — сволочи. Тебя надо таскать... и тебя надо таскать». Вот. Понял? Хорошая сказка...

— Ай, хороша сказка! Вот хороша!

Артамонов, обычно серьезный и невеселый, улыбается.

— Ну, спасибо, Кайзер, удружил! И ты, говорит, сволочь и ты сволочь... Обоих, говорит, вас таскать надо... А хорошо бы им, Кайзер, обоим по шеям надавать! А?.. На кой вы ляд нужны! Сами на себя работать будем. К чортовой матери таких хозяев — сами себе хозяева...

Вечером я лежу рядом с Кайзером поперек широкой перины, брошенной на пол. Хозяин, старик-еврей, с длинной желтовато-седой патриаршей бородой, рассказывает о внуке:

— Он учился в духовной школе, в ешиботе... Он так умен, так глубоко постиг тайны Талмуда и Раше. Он их толкует, как глубокий мудрец... В двадцать два года он знает больше, чем другие раввины на старости. Его хвалил сам виленский раввин. О нем мечтал, как о муже

своей дочери, варшавский богач и хасид Давид Перельман... А теперь его взяли в солдаты и отправили в Киев, а оттуда на австрийский фронт. Но всевышний его не оставит... Он будет всегда с ним...

Старик еще что-то говорит хрипловатым голосом, но я уже слов его не слышу и блаженно засыпаю.

Нас поднимают на рассвете, и мы выходим из местечка, приютившего и накормившего нас.

Блестят стекла окон при розовом свете восхода, мелькают крыши и серые дымки из труб.

Бяла исчезает за мягким горизонтом.

Мы проходим за день мимо многих деревень, фольварков и местечек. Мы идем по пятам немцев. Куда бы мы ни пришли, нам говорят, что «они» несколько часов тому назад ушли. Везде следы их пребывания: пустые консервные коробки и картонки из-под почтовых посылок.

Я захожу с Кайзером в халупу. Мы просим продать нам яйца.

— Ниц нима, ниц. Всишки прокляты пруссаки злопали.

— Да мы заплатим, вот деньги, не бойтесь.

— Ниц нима, всишки злопали, и курки, и гнезы, и яйки...

В одной халупе, где нас с Чайкой хозяйка уверила, что у нее «ниц нима», ночью, под кроватью, на которой мы спали, разодрались спрятанные там куры, подняв бешеное кудахтанье. Хозяйка перепугалась, но Чайка только хохотал до слез.

Минуя деревню, в которой мы узнали, что немцы только что ушли, полк выходит в поле, сразу рассыпаясь в цепи.

Впереди, параллельно нашим цепям, тянется линия невысоких холмов. Мы приближаемся к ним. Нам приказывают дойти до вершины холмов и оттуда броситься в атаку, пока немцы не успели окопаться.

Мы ползем по склонам холмов.

Добравшись до края, мы поднимаемся, но сразу падаем назад, отброшенные сумасшедшим огнем пулеметов. Они стоят открыто, прямо против нас, и осыпают тучей пуль, зловеще татакая.

Мы немного отходим, чтобы укрыться от огня. Раненые, громко крича и охая, скатываются к основанию холма.

Сзади подходят новые цепи, и мы снова начинаем ползти вверх.

Снова сплошной огонь пулеметов и ружейных залпов отбрасывает нас.

Как только нас отбрасывают, стрельба прекращается. Это создает впечатление спокойствия и уверенности неприятеля.

К нашей роте подвозят два пулемета, за одним из которых начальник команды. Он решительно выкатывает их на возвышение и открывает огонь. Мы лежим у края, беспорядочно стреляя. Немцы отвечают. Завязывается перестрелка.

Внезапно над немецкими цепями разрывается шрапнель. За ней вторая.

Наша батарея, установленная позади нас в деревне, нащупав немцев и пристрелявшись, открывает ураганный огонь... Мы видим, как беспрерывно разрывается шрапнель, как немцы под каждым белым дымком рассыпаются и убегают.

Раздаются крики офицеров:

— Вперед, в атаку! Ура!

Впереди нашей роты появляется штабс-капитан Воздвиженский. В левой руке его револьвер, в правой — обнаженная шашка. Он кричит:

— За мной, за мной! Ура!

Мы поднимаемся и бежим. Немецкий огонь заметно ослабевает. Мы скатываемся с холмов разорванными цепями, местами сбиваясь в кучу, местами оголяя большие пространства. Все поле усеяно бегущими фигурами... Мы держим ружья наперевес... По всему полю несется:

— А-а-а-а...

Немцы убегают. Мы уже занимаем их позиции, но боимся бежать дальше, опасаясь собственного артиллерийского огня. Однако огонь хорошо корректируется и удачно бьет по убегающим.

Мы пробегаем мимо раненых немцев... Их много... Слышен крик лежащих один возле другого раненых... Но мы бежим, не останавливаясь. Разрывы уже далеко впереди нас.

По всему полю разбросаны оставленные пулеметы, ружья, шашки, каски и патроны... И снова тела убитых и тяжело раненых.

Мы приближаемся к толпе немцев, заметно отставших от своих. Наши, на ходу, открывают по ним огонь. Неожиданно они останавливаются и, бросая винтовки, поднимают руки вверх. Мы подбегаем к ним, окружаем, и несколько наших отводят их в тыл.

Впереди виден лес. Туда укрываются отступившие. Над лесом разрывается наша шрапнель. Забежавшие вперед ведут большую толпу пленных.

Мы устали. Мы больше не можем бежать. Понемногу останавливаемся. Потом идем обратно. Появляются санитары, они подбирают раненых пленных.

Мимо нас пробегают вперед резервные цепи.

Кто-то близко хрипит слабеющим голосом. Я вижу бородатое лицо, землистое и бледное, и покрытые пылью стекла очков. Немец, широко раскрывая рот, с трудом глотает воздух и напряженным пронзительным шопотом хрипит:

— Kamerad... Hilfe... Hilfe... Kamerad... Jch sterbe...

Я снимаю с него очки. Голубые глаза мутны, как у пьяного.

Я даю ему воды из фляжки. Он жадно глотает, захлебывается и издает горлом странные звуки. Я расстегиваю его куртку, разодранную на животе. Все белье в крови. В животе у него небольшая рана, осколок, очевидно, внутри. Хочу бежать за санитарами, но он молит не оставлять его. Я беру его бинт и закрываю рану. Кричу санитарам, они приходят и уносят его. На носилках он теряет сознание.

Немного дальше стонет немец с раздробленной и окровавленной кистью руки. Из колена течет кровь и превращается в липкую темнокоричневую грязь...

Убитые лежат в разных позах: навзничь, ничком, на боку, скорчившись, разбросав руки, без рук, в грязи и крови.

В том месте, где мы раньше видели большую группу раненых, лежит несколько убитых. У одного из них оторвана левая нога выше колена; край шинели раскрывает искромсанную ногу, превращенную в кусок окровавлен-

ного мяса... Раненый пытался куда-то ползти и оставил длинную полосу темной крови. Лицо его совершенно желтое, и губы синие.

В двух шагах от него, разбросав руки и ноги, лежит животом вниз солдат. Голова его раскололась пополам, как разрезанный надвое арбуз. Рядом с тыльной частью головы, держащейся на туловище, лицо держится только на коже и лежит, как крышка открытой коробки, поставленной вверх дном... Из коробки вывалились мозг и глаза.

Мне нехорошо. Горло сдавливают спазмы. К сердцу подкатывает холодок. Я не могу больше видеть разорванные животы, вывалившиеся внутренности, оторванные ноги и головы. Я не могу видеть кровь.

Напряженные и притупившиеся нервы устают и сразу ослабевают до крайности. Но некуда спрятать глаза, некуда бежать, негде укрыться. Куда ни повернешься, везде развороченные тела, корчащиеся фигуры, стоны и кровь...

Я бегу к нашему перевязочному пункту и прошу у фельдшера Глазунова глоток коньяку. Он наливает мне полстакана, и я залпом его выпиваю.

Через минуту тепло проходит по всему моему телу, голова кружится. Кровь и развороченные тела не пугают.

Я помогаю фельдшеру разрезать шинели, держать раненых во время перевязки и укладывать на двуколки. Мои руки в густой крови, шинель в красных пятнах...

В лесу, куда укрылись немцы, много убитых. Под ними на земле следы засохшей крови. Ногти их пальцев впились в землю, и скрюченные руки застыли... Позы конвульсивно изогнутых тел и искаженных лиц говорят о медлительности агонии.

Наши солдаты снимают с убитых сапоги и шлемы.

Я натыкаюсь на труп совсем юного немца.

Рядом с раскрытым ранцем валяется маленький голубой конверт.

Я долго не могу оторваться от тонкой фигуры и милого лица убитого. Куртка на груди изорвана и залита кровью. Руки разбросаны в стороны, и кисти сжаты в кулаки. Лицо повернуто в сторону и беспомощно смотрит на меня. Мертвое и застывшее, с незакрытыми

голубыми глазами, оно сохраняет нежность овала, мягкость линий и детскую чистоту белой кожи.

Я поднимаю голубой конверт, вынимаю из него маленький листок папетри.

„Мой милый Альфи, еще не увяли цветы, которые ты мне принес перед отъездом, еще звучит в моих ушах твой ласковый голос, и я вижу совсем ясно твои глаза, такие родные и близкие и такие грустные перед прощанием, — а ты уже так далеко, так страшно далеко...

Сегодня день моего рождения. Я ждала твоего письма, но не дождалась. Ты помнишь этот день в прошлом году?.. Я не пошла в школу, и мы весь день провели вместе. Думали ли мы тогда, что судьба нас так скоро разлучит, что тебя отнимут у меня...

Кому нужна эта война? Кому?

Мой милый, любимый Альфи, я верю, я горячо верю, что скоро этот кошмар окончится и ты вернешься невредимый домой. Тогда мы будем всегда вместе, и нашего счастья никто у нас не отнимет.

Правда, милый?

Пиши мне чаще, как ты обещал. Когда долго нет от тебя писем, невольно всякие ужасы лезут в голову, и сердце охватывает тяжкая тревога.

Твоя мать так редко пишет тебе, потому что у нее опять болят глаза и дрожат руки. Она много плачет и молится. Она говорит, что вымолит тебя у бога, что он не отнимет у нее ее единственное в целом мире счастье!..

Да, мой дорогой Альфи, ты — наше единственное в целом мире счастье!..

Будь здоров и невредим. Да хранит тебя бог. Целую твои глаза.

Твоя Марта".

Но бог не услышал их молитвы.

Он не сохранил бедного мальчика ни для матери, ни для Марты. Раскаленный кусок свинца из русской винтовки отыскал юное сердце, и окоченевшее тело его лежит на промерзшей вражеской земле.

Прекрасные черты покрываются уже тенями тления, и темные пятна наплывают на лицо.

Мы уже много недель в окопах.

Против нас в полуверсте немцы. Каждый день на рассвете бомбардировка. Сначала с небольшими промежутками, редкие одиночные выстрелы. Потом беглый огонь, час, другой. И небольшая передышка. И снова то же. За несколько дней не трудно было пристреляться, и снаряды безошибочно разрываются над линией окопов. Мы настроили блиндажи, тратя все свободное время на укрепление и прикрытие навесов.

Когда близко разрывается снаряд, слышно, как ударяются осколки о крышу блиндажа. Когда тяжелый снаряд разрывается в самом окопе, взлетает крыша, разворачивается и обваливается окоп, десятки людей превращаются в кровавую мешанину.

За четыре недели мы потеряли сто человек. Пополнений пока нет. Наша рота стала совсем маленькой. В других ротах то же самое.

Батарея расположилась недалеко позади нас. Восемь орудий, отвечая немцам, производят такой гром, что сотрясают воздух, рвут уши, бьют по черепу...

По ночам на горизонте за линией неприятельских окопов полыхает багровое зарево пожаров, зажженных нашей артиллерией. Горят деревни, озаряя кровавым светом полнеба. К утру зарево бледнеет и сменяется клубами черного дыма.

Последние дни идут беспрерывные дожди. В поле вокруг окопов черная, глубокая, липкая грязь. Вода затекает в окопы, и мы с трудом спасаемся от нее, наложив под ноги доски, ветки и кирпичи, натасканные из соседней сгоревшей деревни.

Входить в окопы и вылезать оттуда трудно, так как края совсем размокли и превратились в черное месиво. К нашим шинелям, рукам и сапогам прилипает грязь. Лица у нас серые, кожа жирная и липкая.

Из окопов мы видим черную грязь поля, и над нами серое, сплошь затянутое тучами, зловещее небо. В стороне, на месте недавно еще богатой деревни, длинный ряд обнаженных печей и труб, груды обгоревших развалин...

От подземной норы, от невылазной грязи, от серо-коричневого неба и дождя, от бессонных ночей и голода, от вечно висящей над головой смерти — мрачная тоска не покидает нас.

Мы устали... Мы страшно устали, но нам невозможно отдохнуть. Мы хотим спать, голова кружится, глаза закрываются, веки тяжелеют, наливаясь свинцом. Ноги от слабости подкашиваются, но спать невозможно, лечь негде, некуда приклонить голову, не к чему прислониться...

Мы голодны. Наши желудки давно пусты, наши организмы ослабели. Но есть нечего. Кухни не могут пробраться по глубокой густой грязи; попытка пронести пищу в ведрах кончилась гибелью носивших.

Мы хотим работать, мы томимся от безнадежного безделья, но делать нечего, и мы часами ловим вшей, пускаем их гулять по ладошке, рассматриваем их, сравнивая с чужими, и, наконец, бьем, придавливая ногтем к осколку кирпича...

Былин рассказывает, какое замечательное сало в его губернии:

— Белое, белое... вершка на полтора толщиной... В рот положишь, як масло тает... А то можно кусочками его накрошить, с луком поджарить; оно на сковородке шипит, а зарумянится, надо яйцами облить... Э, и вкусно, ребята!..

Гончаров сердится:

— Брось ты, чортов хохол! И без тебя горько! Аж слюнки потекли.

Но ему некуда скрыться от разговоров о еде. Колонисты оскорблены.

— Нет... Это есть неправда... Наш свинина лучше. Наш свинина, как сметана, можно мазать на булка... Это есть шпик, немецкий шпик...

— Ось погоди, немцы из тебя сделают шпик!

Другой колонист вспоминает домашнюю ливерную колбасу и паштет из потрохов:

— Окорок и колбаса в труба надо вешать. Там шесть недель должна висеть, коптиться, а паштет и ливерная надо сейчас кушать... Надо на теплый хлеб мазать... Немножко горчица мазать...

Гончаров вне себя:

— Довольно, колбасники проклятые! Что вы душу мотаете?

— Господину фельдфебелю, конешное дело, обидно, — говорит Родин. — В Никольске недавно еще рюмочку выпьют и колбаской закусют или огурчиком хрустнут... Хорошо... Потом еще разок. От бы, ребята, сейчас стопочку смирновки!

— Ага, верно. А потом жменю кислой капустки и копчену грудинку.

— Не-е. Сейчас бы перво-наперво чашку горячих щей... Да... Да пожирнее. Апосля — мясца кусок, с жирком и, значит, горчичкой смазать или хренцем... Апосля этого чайку, чашечек пару, и на боковую... Поспать бы. Э-эх... На печку бы, да под тулуп...

Запасный, из крестьян Олонецкой губернии, не выдерживает:

— Верно, ребята, ничего лучше чайку не быват. Хорошо к яму баранков горячих али, скажем, пирожка с тварожком. Э-эх, бывало, раньше в праздник десяткам их жрешь, горя не знаешь, ей-бо. А все мало было, зря бога гневали, истинный хрест...

— Брось, зверь олонецкий, божиться — все равно врешь. Видать по тебе, и в праздники, поди, мяса не жрал. Бедный ваш край, а ты «пирожка с тварожком»...

— Не, правда, вот те истинный хрест! По нашим мястам народ богато живет, ей-бо. Быват — по шесть, по восемь коров, да столько ж лошадей, а быват и больше.

Немцы не уступают.

— Наший колоний еще Екатерина Великий даваль. Наший колоний есть колонисты семьдесят десятин есть. Нас есть колонист Иоганн Гретц, он имеет восемьдесят пять десятин. Одна пшеница пятьдесят десятин, кукуруза и овес; есть много картофель и много арбузов. Он имеет двенадцать лошадей и двенадцать коров и много свиней, а птицу так много — считать нельзя. Нас много такой колонист.

— Известно, немчура, не пьют, не гуляют, только рубли собирают.

Сибиряки — тобольские и томские — не верят в такие богатства.

— У нас коровенка-другая, и обчелся. Земли — на семью три-четыре десятины. Бедно у нас живут.

— Не у вас одних так живут, — говорит Артамонов. — Вся Россия нищая. Я много по ней мотался. Куда ни ткнись — везде нищета, убожество... Избенка без окон, без печей, крыша дырявая, в доме ни коровенки, ни хлеба — ничего.

— И у нас такой уезд. В деревне один, другой хорошо живут. Остальные только маются...

Артамонов снова, как когда-то в этапе, оброс большой темной бородой. Лицо его пожелтело, и характерные его складки, протянувшиеся от носа к углам губ, стали резче и глубже.

— Нищета была и будет. И ежели войну Россия выиграет, народ богаче не станет. Ежели землю у немцев и оттяпаем, все едино народу она не попадет... Все господа разберут.

— А за што ж воюем? — спрашивает кто-то из запасных.

— То-то и оно, что ни за что... Ты пораскидай мозгой, пошевели ей маненько... Авось догадаешься...

— Уж догадались... Ни за што воюем... Оттого и скучаем... А ежели б за свое дело, за свой дом, за свою землю — не так бы мы повоевали!..

— Правильно.

Артамонов осторожен. До слуха ротного и батальонного доходили его разговоры, и фельдфебель не раз ему говорил:

— Смотри, Артамонов, держи язык за зубами! Больно разговорчив стал. Смотри, говорю!..

Пронин, болтаясь в обозе, по-старому узнает все новости не только в полковом штабе, но и в штабе дивизии и корпуса. Изредка попадая к нам, он в беседе со мной торопится высыпать все, что знает.

— Начальник штаба корпуса приказ отдал... Мол, во всех частях имеются злонамеренные люди, ведущие вредные и опасные разговоры... Всем командирам частей иметь строгое наблюдение за подозрительными нижними чинами... В случае обнаружения преступников, немедленно арестовывать и доставлять в штаб...

И, затянувшись козьей ножкой, шопотом прибавляет:

— Наш батальонный поручил фельдфебелю следить за Артамоновым...

И теперь, взглянув на меня, Артамонов вспоминает

мои предупреждения. Он медленно достает кисет и молчит.

Потом, не выдержав, тихо говорит, адресуясь куда-то в пространство:

— Ладно... Погодите... Заговорят... Не один, не два, не тыща... Все заговорят... Да так, что рта уж им не закроешь... Нет!

Он молчит с минуту, раздраженно лохматит бороду, потом, будто сердясь на слушателей, прибавляет:

— Да к словам еще кое-чего прибавят... покрепче слов... Тогда наслушаетесь!..

Разговор постепенно увядает. Мы все одинаковым жестом залезаем за пазуху и неистово скребем грудь и подмышки. Но это нисколько не помогает. Вшей развелось безнадежно много. Раздеться и почистить белье невозможно — очень холодно.

Мы идем много часов по разрытой снарядами дороге.

Проходим сожженные огнем артиллерии деревни... Только печи с торчащими трубами и груды обгорелого мусора. Двумя длинными шеренгами тянутся они от края до края. И ничего больше. Ни единого человека. Ни лая собак.

Сгорело все, что может сжечь огонь. И упрямо торчат длинные трубы, как протянутые к небу руки.

Мы проходим одну за другой деревни, и все они похожи одна на другую. Будто мы ходили-ходили и незаметно вернулись к той же сожженной деревне.

Опять только трубы, насколько видит глаз.

Будто стояли шеренги солдат, и с них сняли обмундирование, содрали кожу и мышцы, скальпировали черепа и оставили ряды скелетов.

Над пепелищами вьется еще тонкий серый дымок, напоминая о недавней жизни, о только что ушедших отсюда людях.

На полях встречаем толпы крестьян. Они останавливаются и дают нам дорогу. Дети, закутанные в кучи тряпок, сидят на грудах утвари в наполненных телегах. У ребят синие от холода личики, сморщенные красные носики и глаза, опухшие от слез. В телеги набросаны, как попало, корыта, ухваты, горшки, подушки. За подводами, равнодушно пережевывая жвачку, стоят привязанные худые коровы.

Женщины плачут, неслышно всхлипывая, вытирая кулаками грязные лица.

Навстречу нам движутся новые толпы беженцев-крестьян. На женщинах остатки когда-то ярких национальных одежд. Красные платки на головах, завязанные высоко, как чалма, коричневые сермяги с вышивкой на воротнике и рукавах. Скрипят несмазанные телеги, мычат голодные коровы, стучит и дребезжит убогий скарб.

Куда они идут?

Кругом на сотни верст все сожжено, залито кровью и затоптано тяжелыми солдатскими сапогами двух великих враждующих армий.

Солдаты, равнодушные ко всему, ничему не удивляющиеся, ожесточенные, бездушные и апатичные, глубоко сочувствуют крестьянам.

— Ну, чем воны виноваты? Воюют немцы с русскими, а поляки причем? Та еще мужики... Деревни посжигали, народ прогнали, а куды воны пойдут? Чего жрать будут?

Кайзер печалится о хозяйстве:

— Сколько добра погубили!.. Землю затоптали, посевы погубили, лошадей забрали, коров поубивали... Теперь долго ничего не будет.

Попыхивает выгоревшая трубка, вьется вонючий дымок над ней, и Кайзер, сплевывая сквозь желтые зубы, продолжает:

— Сломать легко, сломать просто. А строить надо много, много лет; что в день сломаешь — годы надо строить... А мужику прямо смерть. Где он потом возьмет и дом, и корову, и лошадь, и плуг, и семена? Пропадет мужик совсем.

Кто-то говорит:

— Мужику всегда плохо. Ему первому попадает. Работает от петухов до ночи. Спину ломает всю жизнь. Сердце надрывает, а все равно ни к чему. Картошки нехватает, хлеб с квасом жрет. А горе хлебает первый... Неурожай — мужику горе. Пожар — вся деревня горит. Война — одних только мужиков в солдаты гонят. А кого не возьмут, то так с земли сгонят, и дом сожгут и всего изничтожат. Мужику нет спасения...

Былин замечает:

— Да, брат, паны дерутся, а у холопов чубы болят.

— От бы панам чубы надрать, може холопам легше станет...

Артамонов, загребая свернутой козьей ножкой махорку из кисета, как всегда думая какую-то долгую, постоянную думу, медленно, с длинными паузами говорит:

— Я все думаю... За что воюем? Кто нас обидел? Тебя, меня, его... Сердит ты на немца? Нет. И я нет. И никто здесь на него не сердит. За что? Тут мужик — и там мужики. Тут мастеровые — и там мастеровые. И воевать нам не за что, нету нашего интересу в этой драке... Тут интересы господские, хозяйские, не нашего брата... Иной раз думаешь, думаешь и эдакое придумаешь... Эх, сукины дети, собрать бы здесь побольше народу, да пойти в Питер, да спросить там начальство: «какой такой важный интерес может быть, чтоб такая тьма народу за его пропадала? Кто надумал воевать? Покажите-ка...» Да взять их и при всем народе засечь розгами, чтобы другим неповадно было. И всех, кто там за войну — сюда послать: пускай повоюют, а мы поглядим. И немцам скажем — пусть то же сделают.

Былин весело хохочет.

— Правильно: вы повоюйте, а мы поглядим.

Кто-то робко возражает:

— Да кто-то воевать должен. На то и солдаты, чтобы на войну шли... Ежели армия родину защищать не станет, так кто же?

— А кто нападал на твою родину?

— Немцы. Известно кто...

— А ты сам видал? Ну, расскажи, как дело было? Кто на кого, да за што нападал?... Ну, говори...

— Этого нам знать не полагается... Наше дело маленькое... Это дело начальства.

Арматонов крепко рассердился и даже сплюнул злобно.

— Тьфу, сукин ты сын, холуй господский! «Дело начальства». А твое дело — за начальство помирать? И ничего больше?

— Присягу давали...

— «Присягу давали». Холуй — холуем и помрешь... А за что помрешь? За чьи интересы? За свои, что ли?

— Мы за Россию...

Кто-то говорит:

— У евонного батьки сорок десятин.

— Оно и видать... Заметно, чью сторону тянет.

— Есть почище хозяева... Которые по десять тысяч десятин...

— По десять?

— Да... И по двадцать бывает... Таких помещиков много. И больше бывает. У одного только царя миллион десятин да сотни поместьев, да десятки дворцов.

— Миллион?

— Да... Да у монастырей миллионы десятин.

— Миллионы?

— А-а... То-то и оно.

Скрывается последняя телега. Пестрая, рваная толпа, подводы, лошади, коровы, скарб, плач детей и женщин — все исчезает позади...

Ударили неожиданные морозы. Пока мы идем, ноги согреваются, останавливаемся — ноги быстро стынут. Мы все еще в фуражках. Где-то в обозе второго разряда болтаются наши сибирские полушубки, папахи и варежки. Они согревают обоз, а мы здесь замерзаем. Солдаты ругаются:

— Ну, и сволочь Горпыченко, маринует зимнее обмундирование.

— А причем Горпыченко? Всему полку не дают, значит, начальство не приказало.

— Боятся, что нам ходить тяжело будет, взопреем.

— А верно, ходить тяжело будет.

— Зато тепло.

Мы уже давно непохожи на тех подтянутых, крепко подпоясанных солдат, вид которых обожали полковой и батальонный командиры.

Всевозможными хитростями мы раздобываем разные тряпки, обрывки материи, старые шапки и напяливаем на себя. Я купил у беженца большую облезшую барашковую шапку и натянул на голову, закрыв уши. Воротник шинели поставлен и обвязан полотенцем вместо шарфа. Былин обвязал длинной портянкой голову, как деревенские бабы платком, и сверху надел фуражку. Сапоги обмотал пестрыми лоскутьями из рваных матрацов. Василенко снял с мертвого немца шлем и хорошо себя в нем чувствует. Родин, очевидно, украл башлык и совсем благодушествует. Запасливый и хозяйственный Кайзер

сложил в узкую полоску кусок фланели и обвязал уши, засунув узлы под фуражку. Кто-то из запасных, найдя большой клок рваного одеяла с вылезающей ватой, набрасывает его себе на плечи...

В стороне от дороги сгоревшее местечко. Посреди его — развалины кирпичного здания. В разных местах остатки кирпичных домов: остальные домишки, беспорядочно разбросанные по всей площади, сгорели дотла и маячат бело-красными полуразрушенными трубами.

Солдаты делятся впечатлениями.

— Здорово расколошматили! Ничего не оставили. Вдребезги.

— А зачем по штатским стреляют? Ведь никого они не трогают. Тут бабы ходят, детишки играют, зачем в них стреляют?

— Жили себе люди, трудились, кусок хлеба ели, никому не мешали, вдруг приходят: бах, бах, бах, и кончено...

— Господи, сколько горя от войны! И кто ее выдумал? Кому она нужна? Кому от нее радость?

— Може, кому и есть радость, може, кому и нужна...

Это говорит новый в нашей роте запасной Кузнецов. Он городской, работал упаковщиком на складе. Сероглазый блондин, среднего роста, худощавый, он разговорчив и боек.

— Вот кончится война, считать начнут, сколько убитых, раненых. А разве можно сосчитать? Никак невозможно. Одних наших, поди-ка сосчитай! Наши и здесь, и в Австрии, и в Румынии, и на Кавказе. А во флоте сколько народу! И каждый день бьют, бьют, бьют... Из пушек, из пулеметов, с аэропланов, шашками, винтовками... Эх, сколько убитых, раненых, пропащих... Не, не сосчитать вовек, ни за что не сосчитать. Разве за прошлые войны сосчитаны покойники?.. А которые нас сюда послали, тех немного... Их против нашего брата совсем немного. Они, небось, в городе сидят, в каменных домах прячутся... За их воюем... Их интерес защищаем, а больше ничей. Наше дело маленькое...

— То-то же что маленькое... Погоди, авось раскухаемся, может, умней станем. Тогда будет не маленькое...

Он, видимо, не знает цифр. Ему, очевидно, незнакома статистика. Он ничего не слыхал о военных отчетах.

Иначе ему, может быть, было бы известно, что с начала Азиатско-Европейского периода истории на войне погибло свыше миллиарда двухсот миллионов человек.

Миллиард двести миллионов!

Это — почти население всего земного шара.

Если бы он знал статистику войн, он припомнил бы, что, например, десять лет «завоеваний» Наполеона обошлись Франции в два миллиона жертв, а всему остальному миру — в восемь миллионов.

Десять миллионов человек — за десять лет!

Эти цифры не касаются прочих жертв войны — калек, слепцов, сирот, вдов, навеки брошенных отцов и матерей.

Любая дата из мировой военной хроники, любой крупный эпизод войны связан с огромными цифрами человеческих жертв.

В бою под Аустерлицом, в так называемой «битве трех императоров» за один день погибло тридцать пять тысяч человек! Под Бородино за двенадцать часов не стало свыше восьмидесяти тысяч солдат! На поле битвы под Ватерлоо, после восьмичасового сражения осталось пятьдесят две тысячи убитых и раненых! Знаменитая Плевна обошлась Румынии, Турции и России в сто тысяч жертв! В бою под Шахе русские и японские войска потеряли семьдесят пять тысяч бойцов!

И будущие историки в будущие годы хладнокровно запишут:

«В боях под Варшавой погибло тридцать тысяч солдат».

«В сражении под Стрыковом потери составляли пятьдесят тысяч воинов».

«В Мазурских болотах русские потеряли полностью два корпуса».

«На русском фронте легло два миллиона бойцов».

К этим сухим, холодным цифрам быстро привыкнут.

Их не понимают, не чувствуют. Сидя дома, падают в обморок от вида крови на порезанном пальце, корчатся при виде раздавленной трамваем кошки, но спокойно

запивают глотками горячего чая свежий отчет генерального штаба о последних боях, в которых погибли десятки тысяч солдат.

А старые отчеты о давно прошедших «военных действиях» читаются как интересный роман.

Кенигсберг, Варшава, Брест! Марна, Вогезы, Аррас!

Какие цифры человеческих жертв проставит история против этих географических точек!

Какой страшный миллионный итог вырастет к последнему дню этой всесветной бойни!

Ведь каждый день, каждую ночь бьют, бьют, бьют... Из пушек, из пулеметов, с аэропланов... Винтовками, шашками, штыками... На всех фронтах, у всех народов...

Мы входим в лес.

В огромных воронках между деревьями жгут костры. Мы сидим вокруг и греем ноги. В большой воронке, кроме нашей компании, сидят батальонный, ротный, телефонист с аппаратом и два офицера. Аппарат каждые несколько минут пищит, и телефонист вяло отвечает: «слушаю». Потом сам вызывает и так же монотонно говорит: «поверка линии».

Батальонный жалуется на боли в боках.

— Должно быть, почки. Я давно уже страдаю, но надо терпеть. Служба — не шутка. Особенно на войне. Бог даст, одержим полную победу над врагом, кончим войну, тогда отдохнем. Его величество никого не забудет, он всем воздаст по заслугам...

Чайка, чтобы остановить поток патриотического красноречия батальонного, рассказывает фронтовой анекдот.

— У нас в роте новый солдат, еврейчик из запасных. Услышав первый раз стрельбу из немецких окопов, он выскочил из блиндажа и закричал не своим голосом, грозя кулаками в сторону немцев: «Что вы делаете? Вы с ума сошли? Здесь же живые люди сидят!..» Еле втащили его обратно в окопы.

Слушатели смеются. Батальонный тоже хохочет.

— Ха-ха... «Здесь же живые люди сидят...» А что же, в мертвых стрелять? Ха-ха, вот чудак!

Анекдот понравился. Офицеры рассказывают свои, но все уже дремлют. Василенко положил свою голову

на мое плечо и сладко похрапывает. Чайке это понравилось, и он ложится, кладя голову на мои колени. Батальонный дремлет, медленно нагибаясь вперед, и вдруг, резко вздрагивая, выравнивается, смотрит непонимающими, испуганными глазами и снова засыпает... Ноги у костра быстро согреваются, но всему телу холодно. Оставаясь неподвижными, мы быстро мерзнем и дрожим, но, скованные дремотой, не решаемся подняться.

Сидеть или лежать спокойно невозможно. Вши ползают по телу. Они не дают ни минуты покоя.

Не хочется будить Чайку и Василенко, но я больше не могу сидеть неподвижно. Им тоже зуд не дает уснуть, и они скоро вскакивают и яростно чешут пятерней тело.

Я вспоминаю недавно прочитанную статью о вшах и вслух восстанавливаю ее.

— Платяная вошь дает в две недели пять тысяч молодых вшей. Вошь на теле человека пьет кровь три раза в день. Вошь причиняет зуд ползанием и укусом... Головная вошь откладывает гниды на волосах хозяина, платяная на швах и в складках белья. Вши относятся к разряду бескрылых. У них три пары ног. У них сильно развиты мышцы, особенно груди и ног. Молодые вылупляются из гнид совершенно похожими на родителей. Через восемнадцать дней они уже сами способны размножаться. Напившись крови тифозного и укусив потом здорового, вошь вносит инфекцию в кровь...

Чайка в отчаянии.

— Боже, какие ужасы вы рассказываете, оставьте — это хуже чемоданов!

Я спрашиваю его:

— А что вас больше угнетает? То, что они относятся к семейству бескрылых, или то, что у них, как у спортсменов, сильно развиты мышцы ног и груди? Меня, например, умиляет, что они вылупливаются совершенно похожими на родителей... Люблю фамильное сходство.

Офицеры из другого батальона говорят мне:

— Вам нельзя читать научные статьи: вы сами с ума сойдете и других сведете.

— Никак нет... Но поймите, если вшей у меня хотя бы только пять тысяч, и у них развиты мышцы ног... и каждая напьется моей крови три раза в сутки...

Чайка начинает сердиться:

— Довольно. Прошу вас прекратить.

— Слушаю... Но, если бы и им приказать не кусаться...

С ними ничего нельзя сделать. Их бьют. Швы обжигают на огне — не помогает. Порошок, присланный из дому, только окрашивает их в зеленый цвет. Они ползут по белью, неся на спине зеленую краску.

Разговор о вшах прекращается.

Приходит телефонограмма:

«...полку на рассвете выступить по направлению к Стрыкову и во что бы то ни стало войти в соприкосновение с неприятелем...»

Очень приятно. Слова какие милые: «Войти в соприкосновение...» Войдем. Чего уж! Возражать не приходится.

Я себя начинаю чувствовать старым, прокопченным в пороховом дыму, ворчуном гвардейцем. Этаким седоусым наполеоновским гренадером. Ведь я один из немногих старых кадровых солдат. Большинство — запасные и новобранцы.

Поднимаюсь и брожу от костра к костру. Солдаты спят на земле. Они ворочаются во сне, чешутся и снова ложатся. Некоторые, несмотря на мороз, раздеваются, снимают рубаху, достают вшей и бросают в огонь...

И вот снова длинной походной колонной мы тянемся по шоссе. Еще совсем темно. Где-то недалеко по дорогам, идущим параллельно с нашей, так же движутся колонны. Слышен шум обозов и артиллерии, топот копыт, лязгание железа и ржание лошадей. Мы дрожим от холода, кутаемся и ляскаем зубами. Холодно. Все тело ощущает только страшный, пронизывающий холод и леденящую стужу.

Над нами серебряной пудрой рассыпался далекий млечный путь. С высоты спокойно смотрят сине-золотые звезды, как смотрели вчера, как смотрели на прошлой неделе, как смотрели тысячи лет назад.

И мысль поневоле уносится к ушедшим векам. Звезды так же тихо и ясно, как сейчас, смотрели на землю с высоты своего невозмутимого покоя, так же, как

сейчас, ласково и чуть-чуть иронически подмигивали друг другу, будто показывая на то, что творится внизу.

И так же, как и теперь, на земле передвигались полчища людей нищих, голодных, обманутых, неизвестно куда и зачем бредущих. Полчища двигались, ведомые своими властителями, топтали хлеб чужих народов, разоряли целые страны и царства, сжигали города и крепости, уничтожали племена и армии.

Скрипели колеса бесконечных обозов, плелись огромные стада навьюченных животных, двигались табуны лошадей и мулов, тянулись толпы рабов и пленников.

Вся земля изрезана дорогами, и по всем дорогам во все века тащились огромные орды завоевателей и убийц.

История земли — история войн!

Персы, греки, римляне! Гунны, скифы, монголы! Александр Македонский, Дарий, Ксеркс! Аттила, Чингис-хан, Тамерлан, Наполеон!

Они вели свои полчища, как другие завоеватели ведут сейчас свои армии — за новыми землями, за новым золотом, за новыми рабами.

С Востока на Север — с Севера на Восток! С Юга на Запад — с Запада на Юг!

По всем дорогам мира, во все давние и недавние века, бороздили пути исполинские армии — римские легионы, варварские полчища, татарские орды.

Как сейчас, скрипели колеса, ржали лошади, стонали раненые, проклинали умирающие. Как сейчас, стучали копыта, горели костры, лязгало железо.

Прошли тысячелетия. Мир изменился. Изменился человек. Люди изучили звезды, недра, моря — люди сделали величайшие открытия, покорили природу, написали миллионы томов великих творений, создали совершенные образцы высочайших искусств...

И вот, как тысячелетия назад, в той же черной мгле, под теми же звездами, по тем же путям бредут полчища нищих, голодных, обманутых людей, тоскливо бряцают оружием и ищут в темноте такие же полчища таких же нищих, голодных, обманутых братьев, чтобы в равнодушной беззлобной резне предать врага и себя бессмысленному уничтожению.

Века ничего не изменили.

Мы те же древние монголы, мы гунны, мы татары.

Низкорослые, приземистые, скуластые, с узкими щелками раскосых глаз, мы тяжко шагаем по старым путям, как встарь шагали воины за Хромым Тимуром, Аттилой или Мамаем.

Начинается серый рассвет.

Мы встречаем огромную толпу беженцев-евреев. Они покинули окрестные местечки и идут в неизвестность, так же как встреченные раньше польские крестьяне.

Подвод совсем мало. В толпе беженцев они желтеют одинокими пятнами, нагруженные убогим хламом. Их тянут маленькие, облезшие, костлявые клячи, едва переставляя ноги.

На руках у женщин, в грудах тряпья — младенцы. Уставшие их носить женщины тяжело дышат и идут, странно откинувшись назад, нелепо выпятив животы. Много беременных. Женщины и девушки закутаны в платки, шали и одеяла.

Старики в позеленевших от времени шубах, рваных, заплатанных, с рыжими собачьими воротниками, переставляют ноги с тяжелым трудом, опираясь на палки. Несчастье лежит безмерным грузом на их согбенных спинах. Нищета, голод и бездомность наложили печать скорби на изрезанные морщинами лица. Глаза бледных седобородых стариков, как глаза библейских пророков, полны горькой тоски...

Свое нищенское имущество, связанное в узлы, люди тащат на себе десятки верст. У них нет ни лошадей, ни коров, ни даже собак.

Над жалкой рваной толпой беженцев повисли непоправимое бедствие и обреченность.

Медленно проплывают загнанные испуганные глаза, бледные лица, согбенные фигуры.

Через несколько часов мы проходим мимо брошенных местечек. Домишки стоят печальные, молчаливые, осиротевшие. Мертвая тишина зловеще нависла над брошенным человеческим станом.

Наши дозоры, идущие впереди частей, исчезли. С ними нет связи. Разведка давно донесла, что неприятель близко, но точных сведений нет. Движемся совсем медленно. Высылаются новые дозоры. Чайка поясняет, что

в случае, если неприятель занимает заранее укрепленную позицию, не трудно собрать разведке точные сведения о нем. Тогда можно подойти походным порядком только до дистанции действительного ружейного огня. Здесь надо быстро окопаться, создав исходное положение для атаки.

По уставу это выходит очень хорошо.

А сейчас вот — дозоры пропали, разведка не точная. И вдруг — треск ружейного залпа... Потом беспорядочный и частый огонь винтовок...

— Рассыпаться в цепи! Тринадцатая и четырнадцатая роты — вправо, пятнадцатая и шестнадцатая — влево от дороги. Ок-ааа-пываайсь!..

Мы бежим стремглав по замерзшей, неровной бугорчатой земле. Падаем и хватаемся за лопаты, топоры и кирки. Пули долетают до нас. Мы окапываемся с огромным трудом, боясь поднять голову. Невозможно в таком положении сильно взмахнуть руками для удара лопатой.

Земля замерзла на несколько вершков. При каждом ударе железа о мерзлую землю мелкие, твердые, как уголь, острые кусочки земли отлетают вверх и в стороны, ударяясь в лицо и руки, причиняя боль, как будто иголки вонзаются в тело... От земли идет холод. Ветер задувает под шинель и в рукава, леденя тело. Пули свистят чаще. Мы с отчаянием бьем землю, упорно выдалбливая небольшие кусочки.

Мы не делаем сплошных окопов. Каждый вырывает себе круглую дыру и вползает в нее. Сидя в них, роем их глубже и шире книзу. Там мы сидим, скорчившись, и закрываем голову лопаткой, когда нас осыпают шрапнелью.

Но не у всех лопатки; у многих топорики и кирки...

Где-то недалеко позади нас устроилась наша горная батарея. Она стреляет по немецким окопам, и каждый выстрел маленького орудия производит странный звук:

— Пау.

Как будто женский голос пронзительно кричит, вырываясь изо рта вместе с огнем:

— Пау! Па-у! Пау-у!..

Снаряды задевают верхушки деревьев в лесу, или это только кажется, но в лесу шумят при выстрелах

деревья, шелестит засохшая листва и гулко, далеко, раскатисто раздается эхо.

— Ау-у! ау-у, ау-у.

По моей лопатке ударило что-то твердое — вероятно осколок.

Слышен крик:

— Передать по цепи — батальонный командир ранен. Батальонным назначается капитан Чайка.

Позже, когда огонь немного стихает, я выползаю из своей дыры. Меня зовут к новому батальонному командиру. Чайка сидит позади батальона в блиндаже. Он рассказывает, что Ляхецкий ранен осколком или пулей в обе щеки насквозь.

В блиндаже сыро и холодно, но над головой прочный навес. Рядом с Чайкой — телефонист. Когда наступают сумерки, Былин бежит из окопов в одиноко стоящую недалеко халупу. Он разводит огонь в плите. Из трубы халупы валит дым. В окне светится огонек. Бегу туда погреться. Скоро халупа наполняется солдатами. На плите десятки котелков. На топливо ломают мебель, кровати и шкафы.

Недалеко с грохотом разрывается снаряд. Я кричу Былину:

— Нащупывают халупу. Бежим.

— Ось погоди, сейчас вскипит вода, тогда пойдем.

— Батальонный приказал сейчас же уйти из халупы.

Я бегу. Остальные за мной. Былин тащит чайник с кипятком.

Добегаем до окопов и слышим новый грохот. У халупы взрывается еще снаряд. Потом третий, и халупа вдруг вспыхивает, как порох. Проходят одна-две минуты, изба полыхает, как огромный костер. Половина неба охвачена багровым заревом.

У Чайки разыгрывается старый ревматизм. Кисти рук и пальцы болят и не сгибаются. На суставах уродливые узлы. Он не находит места для рук и не может их согреть. От боли он не может заснуть. Задремав на минуту, он тихо стонет, что-то бормочет и скоро просыпается. Его лихорадит.

Я раскуриваю свою трубку и даю ему погреть руки. При свете вспыхнувшей спички вижу пожелтевшее лицо Чайки и уставшие, горящие больным огнем глаза.

Чайка говорит возбужденно, отрывистыми фразами:

— Лежишь в этой черной яме и не веришь, что есть другая жизнь... Что есть тепло, покой, уют... Что больному человеку можно лечь в постель, согреться и уснуть... Я уже не верю, что где-то есть море, цветы, милые девушки, хорошие книги...

Да, это правда. Минуты такого отчаяния охватывают и меня.

Я — грязный, вшивый, голодный, ничтожный... Как я могу, копаясь, как червь, много месяцев в земле, верить в жизнь, в счастье, в покой! Я даже не верю в то, что это было...

Голубое небо, горячее солнце, аромат цветущего поля — нет, это фантазия, поэтическая выдумка, чепуха.

Есть только окопы, замерзшие ямы, в которых сидят миллионы с этой и миллионы с той стороны...

Телефонист сонным голосом монотонно повторяет:

— Поверка линии...

Где-то вспыхивают осветительные ракеты, и крохотный отсвет падает на короткий миг в блиндаж.

Пищит аппарат.

Телефонограмма:

«...предпринять ночную атаку ровно в двенадцать часов. Цепями пройти возможное расстояние без шума. Будучи открытыми, броситься в атаку и выбить неприятеля из окопов...»

Как в этой дикой темноте итти в атаку? Мы ничего не увидим. Мы столкнемся со своими и перебьем друг друга. Там проволочные заграждения. По дороге ямы, бугры, кочки.

Батальонный приказывает мне созвать ротных, фельдфебелей и взводных. Я брожу в темноте среди окопов и тихо окликаю:

— Какая рота? Ротного, фельдфебеля и взводных срочно к батальонному. Какая рота? К батальонному.

Чайка недолго объясняет боевую задачу. Потом заканчивает:

— К двенадцати быть готовыми.

Все расходятся. Мы поглядываем на часы. Одиннадцать... Одиннадцать с четвертью... Одиннадцать с половиной... Как долго тянется время!..

Без четверти двенадцать Чайка выходит из блин-

дажа. Солдаты вылезают из окопов. Курить нельзя. Разговаривать — шопотом. Котелки подвязать.

Мы дрожим от холода. Стучат зубы.

Кто-то нас опередил. Далеко слева, а потом ближе и ближе слышно «ура». Вслед за этим немцы открывают огонь и освещают внезапно все поле. Нас открыли слишком рано.

Звеньями и в одиночку мы перебегаем под огнем и лучами прожекторов. Справа и слева по всему полю слышно далекое и совсем близкое тысячеголосое, слитное: «уа-а... уа-а... уа-а...»

Наша артиллерия открывает бешеный огонь по немецким резервам. Из неприятельских окопов льется ружейный и пулеметный дождь. Пулеметы злобно, яростно и настойчиво выстукивают сумасшедшую чечетку. Свист пуль слышен со всех сторон и где-то высоко над головой. Поле местами утопает в полной темноте, местами ярко освещается...

Сзади слышатся крики:

— Ребята! С богом! В атаку! Ура-а-а-а! Братцы, вперед, в атаку, урра-а-а!..

Цепи поднимаются и бегут, спотыкаясь и падая и снова поднимаясь.

— Уа-а-а-а, уа-а-а-а, а-а-а, а-а-а...

Пулеметов, кажется, тысячи. Они заглушают все остальное.

Наши цепи редеют.

Мы добегаем до проволочных заграждений, бросаем на них принесенные с собой доски и по ним пытаемся бежать. Немцы забрасывают нас ручными гранатами. Наши крики смешиваются с шумом в их окопах. В темноте ничего не видно.

— Сдавайся, сволочь, сдавайся! — кричит Гончаров.

Он рядом со мной. Я вижу блеск его шашки и слышу хруст и мокрое шлепанье...

Мы перебежали окопы и бьем штыками по головам сидящих в окопах. Наших, очевидно, здесь много. Слышны русская бессвязная речь и брань. Кто-то еще и еще лезет через заграждения. Подоспели, очевидно, резервы.

— Вылезай, сволочь, вылезай! Бросай винтовки!

Вспыхивают фонарики и спички, освещая окровавленные головы и лица пленных. Одни вылезают сами, дру-

гих вытаскивают. Их собирают группами и окружают. Мы натыкаемся на брошенный пулемет. В темноте отступающих не преследуют. Только артиллерия упорно посылает вдогонку с нескольких позиций тысячи снарядов.

Мы то и дело натыкаемся друг на друга и на немцев. Их речь и крики смешиваются с нашими. Кроме меня и Гончарова, как будто никого из нашей роты нет. Я выкрикиваю фамилии — никто не откликается. Спотыкаемся о брошенные винтовки, патронные ящики и мертвые тела. Падаем в ходы сообщения и ямы. Крики раненых становятся громче и слышны чаще.

На горизонте показывается огромная красная луна. Темнота чуть-чуть рассеивается. В коричневом тумане пленных выводят за окопы и заграждения. Их строят в колонну и гонят в пункт.

Санитарные команды подбирают раненых и убитых. Ими усеяно все поле. Луна поднимается выше, становится бледнее и освещает зеленым светом толпу пленных, наших санитаров и лежащие на земле тела.

Рядом со мной четыре солдата несут за руки и за ноги убитого офицера. Пустые ножны болтаются на портупее. Фуражки на голове нет. Блестят стекла очков. Подхожу ближе, зажигаю фонарик и узнаю капитана Воздвиженского. Половина лица, борода и вся шинель в крови. В горле огромная развороченная рана. На ней сгустки крови и пузырьки пены. Вся шинель в дырах и порезах. Солдаты его роты рассказывают, что он добежал одним из первых до заграждений, перескочил через них и был поднят немцами на штыки. Один штык с такой силой был вбит в его грудь, что немец не мог его вытащить и бросил винтовку... Воздвиженский лежал с воткнутым в грудь штыком. Винтовка от тяжести приклада пригнулась к ногам.

Утром возле новых окопов я нахожу Василенко. Он лежит на спине. Кто-то накрест сложил его руки. Лицо синее и маленькое, будто он за ночь похудел. Нос и подбородок заострились. Весь он тоненький и молодой, как мальчик. Глаза полуоткрытые, лукаво улыбающиеся.

Разыскиваю земляков Василенки, Родина и Былина. Родин идет посмотреть убитого. Былин спокоен.

— Уси там будем. Нема здесь умных. Вон твоего Кайзера сразу и в ноги и в пузо хлопнули.

— Где Кайзер?

— Увезли. Я бачил, як его в линейку клали.

Значит, и Кайзера больше нет. Я уже привык к его крепкому характеру, желтым зубам, вонючей трубке и прочным хозяйственным мыслям. Вернется ли он в свой дом? Или его дом и хозяйство так и останутся без работника, и трое детей — без отца! Он так много об этом говорил и так этого боялся...

Наша рота стоит на охране переправы через реку. Остальные роты нашего батальона поблизости, также на охране. Мы расположились в небольшом, но красивом и благоустроенном фольварке. Жители его покинули, но все в доме хранит следы недавнего благополучия и уюта. В двухэтажной квартире прекрасная мебель, ковры, картины и книги. На огромном письменном столе в кабинете — книги, тетради, рукописи. Здесь, вероятно, жил ученый, писатель или журналист. На круглом столе возле большого кожаного дивана иностранные журналы.

Во всех комнатах обилие диванов, подушек и гобеленов, шкафчиков, полочек, этажерок, статуэток и настольных ламп.

Но все шкафы, комоды, столы уже разворочены, ящики вытащены. На полу валяются ворохи белья, бумаг, писем, фотографий и всякой мелочи. Все портьеры сняты, изрезаны и пошли на портянки.

Солдат вытаскивает из комода светлого дерева ящики, бросает их на пол и крушит сапогом. Потом он рубит дерево на мелкие куски и подкладывает в камин. Сухое дерево трещит и вмиг поглощается пламенем.

Я кричу ему:

— Что ты делаешь?! Ведь на дворе дров сколько хочешь!

— А хрен с ними. Стану я на двор бегать. И здесь хорошо.

Перед огромным трюмо карельской березы собирается толпа солдат. Парень, взяв винтовку за ствол, сразмаху ударяет прикладом по зеркалу. С треском и звоном сыплются осколки. Их разбивают на более мелкие куски и разбирают. Потом рубят раму, и дерево подбрасывают в горящий камин...

Во дворе, в погребе, в боченках и больших глиняных сосудах — квашеная капуста, огурцы и яблоки. Мы с наслаждением и жадностью объедаемся, снисходительно одобряя домашнюю засолку.

Былин поглощен кулинарными заботами. Он, конечно, раздобыл где-то гуся и, обещав Чайке «царскую трапезу», возится на кухне, восторгаясь комфортом, белыми изразцами, усовершенствованной плитой и духовой с вертелами. К гусю он готовит чудовищный гарнир из капусты и яблок.

Былин сердится на солдат, мешающих ему своими котелками распространиться по всей плите.

— Та ну вас к бису! С вами греха не оберешься. Хиба ж тут мисто для мужицких казанков? Тут тольки панам рябчиков жарить...

Молодому новобранцу он поручает месить тесто из найденной в кладовой белой муки.

— Оце ж будут пироги с яблоками!

Он чувствует себя здесь хозяином. С полок летят на плиту и столы медные кастрюли, жаровни, сковородки... Он солит, перчит, пробует, прищелкивает языком, щурит глаза и облизывает пальцы.

Сытые и довольные, валяются солдаты в натопленных комнатах на коврах, диванах и кроватях. С большого дивана в кабинете содрана кожа, и на серой обшивке спят, свернувшись, три солдата...

Их не может разбудить даже рояль, стонущий под ударами увесистых и мозолистых кулаков. Эти звуки не пробуждают от сна даже спящего на рояле, недавно прибывшего в нашу роту солдата.

В угловой комнате, оклеенной белыми обоями и обстановленной белой детской мебелью, спорят солдаты. Кто-то нашел висящую на стене стеклянную кружку с длинной резиновой трубкой и черным каучуковым наконечником. Один доказывает, что это просто детская игрушка, изображающая пожарную команду. Но старый бородатый запасный, знающий «все на свете», считающий себя самым умным и опытным, сердито возражает:

— Игрушка... Хороша игрушка. Что ты знаешь? Дурак серый. Это для бар. Ему в эту кружку чаю или вина нальют, на стенку ее повесют, а барин, знай, лежи да потягивай... Не хочет пить, горячий, скажем, или

наклюкался вдоволь, он крантик закроет. Опять захочет — крантик откроет. А потом опять спит. Вот какая у бар жисть! А ты — игрушка...

Я объясняю им, что это за штука, и над многознающим бородачом дружно и долго смеются.

В соседней комнате у горящего камина сидит в кресле солдат, переодевшийся в свежее, найденное в комоде белье. На нем дамская кружевная сорочка и такие же панталоны... С открытой волосатой грудью и лохматыми руками, он развалился в кресле, вытянув огромные босые ноги, и курит трубку с махоркой, сочно сплевывая на ковер...

Вид его нелеп, возле собралась компания и до слез хохочет. Но солдат ничуть не смущается. С плеча его сваливается бретелька, и он кокетливо, захватив ее одним пальцем, укладывает на место...

Вечером сытые и выспавшиеся солдаты благодушествует и подтрунивают друг над другом.

— Хорошо поляки живут. Умный народ, деловой...

— Да, уж деловой. У нас в полку был один. На посту у порохового погреба полкового козла убил. Его спрашивают: «Как это случилось?» — а он докладывает: «Сто́ю, сто́ю... Слухаю, кто-то шумит. Кто идет? Молчит. Кто идет? Молчит. Я взял ружье, затвор откренджил, патрон запшенджил и выстренджил. Смо́трю — полковой козел».

Солдаты смеются. Их покоряет красота «польского» языка.

— А вот Былин — хохол-мазныца. Хохол, как в полк придет, так учебную команду спрашивает: в шкуры ихнего брата тянет. Все шкуры — хохлы.

— Верно кажинный народ свое спрашивает. Кацап, как в полк придет: «а где кухня?» Ему бы гречневой каши да буханок аржаного... А еврей перво-наперво спрашивает: «ай, ай, а где здесь, панове, гошпиталь?»

— Да уж ты, скопской, молчи. Знаем мы вашего брата, неправославного. У нас в полку перед присягой командир полка командует: «Становись каждая вера отдельно». Значит: православные — отдельно, которые католики отдельно, которые татары — отдельно, опять же евреи — отдельно. Все стали по местам. Только одна компания стоит — не двигается с места. Командир спра-

шивает: «Вы кто же, не православные»? — «Никак нет, не православные». — «Кто же вы? — «Скопские, ваше высокоблагородие...»

Этот старый солдатский анекдот многим давно известен, но каждый раз он производит должное впечатление.

Из штаба привозят почту.

Фельдфебель стоит посреди комнаты, окруженный ротой, и непривычно тихо выкликает фамилии. Называя отсутствующих, он сам отвечает: «нету».

— Романюк. Получай. Ольхов. Получай. Василенко. Нету... Тюрин. Нету... Кайзер. Нету... Фролов. Нету...

В руках фельдфебеля остается пачка писем. Он ее перекладывает из руки в руку и не знает, куда девать...

Я получаю сразу три письма. Одно из дому от родителей, а два от братьев — с турецкого и австрийского фронтов. Письмо из дому полно тревоги за всех троих. Родители, стараясь скрыть волнение, спотыкаются о каждое слово, невольно высказывая свои переживания.

Старший брат отслужил три года в Кубинском полку в Сарыкамыше и, кончая службу, попал на фронт.

Сейчас в горах сорокоградусные морозы. Нет продовольствия и связи. Орудия, снаряды, пулеметы, патроны люди тащат на своих плечах по крутым, скользким, занесенным снегом горам. Лошади по узким тропинкам пройти не могут. Люди отмораживают себе руки, ноги и носы.

Младший брат — музыкант. Ученик консерватории. Скрипач. Его письмо из лазарета. У него ампутирована левая рука...

Слезы застилают мне глаза. Я не могу сдержаться — и долго против воли плачу...

В кабинете я нахожу большую карту Польши.

Так вот какой огромный кусок Польши мы исходили. Треть страны: Варшавскую, Петроковскую, Радомскую и Калишскую губернии.

Вот кружок и точка. Это Варшава. От точки разбегаются длинные нити.

Высокие дома, трамваи, кафе, нарядная толпа, блеск, движение, нищета предместий, мост через Вислу... Потом шоссе. Темнота. Дождь. Поле. Ночь в деревне. Утро. Узкоколейка.

И первый бой.

Вот еще кружочки — Тарчин, Гройцы.

Вот на этом шоссе тяжелые снаряды из-за нераспорядительности офицеров, не сумевших отвести части с дороги, вырывали из наших колонн солдат, превращая их в кровавую кашу... Вот здесь, за лесом, как колосья серпом, резали наши ряды немецкие пулеметы... Вот здесь мы вбивали наши штыки и отточенные лопатки в головы, животы и груди немцев... Вот здесь казаки «лихим ударом» врезались в толпу отступающей немецкой пехоты и искромсали людей, завалив поле изуродованными телами...

Вот Бяла, Рава. Небольшой отдых. И опять бои по дороге к Уязду.

Вот Велюнский уезд Калишской губернии. Здесь близко граница. Мы переходим Варту по зыбкому понтонному мосту. Мост дрожит, качается, залит водой, прогибается, уходя на вершок в воду. На этом пути — пустынные и сожженные деревни, толпы беженцев, встречи с неприятелем. Вот Пабияницы. Восемнадцать верст от Лодзи. Рядом с маленькими местечковыми домишками, убогими лачугами и нищетой — огромные каменные и кирпичные корпуса шерстяных, трикотажных и бумаготкацких фабрик и особняки фабрикантов. Трамвайный путь в Лодзь уже разрушен.

Лодзь в мертвой петле. Петля стягивается. Мы отходим на Брезины.

И еще кружочек — это Стрыков.

Стрыков... В памяти загорается все, что недавно пережито. Рытье окопов под огнем, мороз, замерзшие руки, ночная атака. Ракеты, ура, фельдфебель, дождь огня, гибель Воздвиженского, синее лицо Василенки, ранение Кайзера, и смерть, смерть...

Наш отдых в уютном фольварке окончился.

Снова походной колонной кружим по дороге, как всегда, не зная куда и зачем.

На полях нет снега. Только местами у бугорков, у взрытых комьев белеют наметенные кучи серебристой пудры. Леса оголены. Дороги усеяны желтой, сухой ли-

ствой. Выплывают длинные полосы хвойных лесов, зеленых с желтеющими верхушками. Днем иногда показывается солнце, согревая и оживляя все вокруг. Чувствуется близость весны.

Я думаю о том, как тяжело и тоскливо станет, если убьют последних старых товарищей по роте: Былина, Родина, Нищенка. И без Чайки и Гончарова мне рота тоже представляется чужой и далекой.

Я ловлю себя на том, что где-то далеко в глубине души я не верю в собственную гибель. Я не подумал, что Чайке и Былину, может быть, придется грустить обо мне...

И сейчас же в мозгу проносятся картины моей гибели... Пуля пробивает мне сердце. Я без мучений умираю. Сразу, без мысли, без боли. Нет... Скорее меня разорвет снаряд. Я услышу тяжелый вой в воздухе, и в тот же миг — страшный удар, от которого лопаются барабанные перепонки... Я взлетаю на воздух легко, как мяч... И падаю камнем. У меня оторваны руки и ноги, я красный обрубок, я истекаю кровью... У меня глаза, как у того солдата на шоссе или как у того немца, после нашей атаки. Они смотрят тускло и медленно стеклянеют. Я последний раз вижу свет солнца. Хочу что-то сказать. Но в горле только хрип. И все кончено.

Да, технику умирания я знаю. Я здесь ее изучил. Умирают просто, без крика, как от разрыва сердца. И чистый, незалитый кровью труп лежит, как спящий человек. Умирают с перебитыми конечностями, оторванными челюстями. И труп похож на бесформенную массу окровавленных тряпок... Умирают медленно, хватая цепенеющими руками руки санитара. Глаза неподвижны, нос заостряется и синеет, губы сохнут, лицо сереет и покрывается холодным потом... Рот широко раскрыт, но дыхания больше нет...

Неужели и меня сбросят вместе с другими трупами в черную яму?!

Неужели я не увижу своего дома, большого города, людей, не услышу музыки?

И Петербурга... Я никогда больше не увижу этого необычайного города. Его белых ночей. Изумрудного,

голубого и прозрачного, с розовым и темным дымком, вечернего неба над Невой и взморьем, зеленого четырехугольника Летнего сада с черной решеткой ограды и убегающим от него на острова пароходиком... Не увижу, стоя на набережной возле сфинксов, оберегающих академию, или у красных стен университета, тонких контуров трех мостов через Неву, Сенатской площади, бессмертного творения Фальконета на гранитной скале, колонн Исаакия и Зимнего дворца... Не увижу гранитной ограды Невы, и полукруглых спусков к воде, и Зимней канавки, и сырой свежести островов... И тихой июньской ночью я не буду ходить по пустынной набережной, смотреть на черные силуэты фабричных труб, тонкий шпиц Петропавловской крепости, белую колоннаду Адмиралтейства и неясные очертания домов...

Нет, я ничего больше не увижу. И мечты не спасут. Разве мечты спасают? Разве Василенко не мечтал о солнечной весне, о ласковой земле, о больших желтых подсолнухах, о кавунах, о песнях дивчин летней ночью?...

Нет, я погибну. И в помраченном сознании в последний раз вспыхнет все, что я так любил и о чем мечтал.

Все останется так, как было... Только мое изуродованное тело будет разлагаться, окруженное такими же гниющими трупами погибших рядом со мной ни в чем неповинных людей...

Мы пришли в еврейское местечко. Оно похоже на десятки других в Польше. Деревянные домишки, серые и покосившиеся, дряхлые и пропахшие нищетой. Древние старики в длинных до полу пальто, седобородые и сгорбленные, желтые старушки в париках и с платками на голове, бледные девушки и кучи грязных детей. Но сегодня все местечко смертельно напугано слухами: из всех местечек, по приказу верховного главнокомандующего, высылают все еврейское население «в виду близости фронта и возможности содействия неприятелю»...

По всем дорогам гонят десятки тысяч людей к железнодорожным станциям, где их грузят, как скот, в товарные вагоны и отправляют в тыл в черту оседлости.

Значит, на фронте плохие дела. Значит, опять неудачи командования заставляют выдумывать оправдательные причины поражений. Опять, как в японскую войну, виноваты евреи. Благо, евреев здесь действительно много. Кто-то настойчиво и упрямо сеет среди солдат подозрение и ненависть к польскому и еврейскому населению страны.

Из штабов и канцелярий хитро сплетенными нитями тянутся слухи о шпионаже и предательстве. Анекдотические сюжеты специально придуманных рассказов поражают своим убогим однообразием и глупостью. Даже наивные, готовно доверяющие всякой чепухе солдаты скептически ухмыляются.

— Эту брехню мы уж который месяц слышим... Явреи да явреи... Они и на той стороне проживают, однако ничего, немцы самосильно прут да прут...

Только офицеры охотно и подолгу рассказывают о евреях и поляках. Поручик седьмой роты, показывая на группу евреев, говорит:

— Они пустили вниз по Висле бутылку, а в бутылке план наших расположений...

Кто-то из солдат не выдерживает:

— Ваша благородие, долго бутылка проплывет!

— Когда бы ни дошла, а она свое дело сделает.

— Тут, ваше благородие, брехни много...

— Ты глупостей не болтай, в штабе лучше тебя знают!

— Оно конешно, а только много зря треплются.

— Вчера мельницу подожгли, сигнал немцу подавали...

— Ваше благородие, это артиллерия зажгла...

— Ты, дурак, не спорь! В штабе лучше знают!

— Дык ведь при нас дело было, ваше благородие!..

— Пшел вон, болван!

Солдат, усмехаясь, отходит.

Офицер долго еще рассказывает о шпионаже.

— У панов в фольварках прямые телефоны к немцам... Что ни пан, то шпион... Евреи сигнализируют специальными фонарями... Мошки и Хаимы перебегают к неприятелю запросто...

У Чайки сердито хмурятся брови. Он долго сдерживается, потом, как бы невзначай, бросает:

— Господин поручик, а сколько у вас евреев в роте?

— Трое...

— И все трое, если не ошибаюсь, георгиевские кавалеры?

— Да... но ведь это другое дело... Это евреи наши, мы их знаем...

— То-то и оно, господин поручик! Своих вы знаете, а прочих нет. Зачем же, не зная, обвинять целый народ?..

— Помилуйте, об этом в штабе говорят.

— В штабе много глупостей говорят.

Чайка впервые так резко говорит при солдатах о командовании. Он уводит в сторону офицеров и там долго сердито что-то говорит. Издали мы слышим отдельные фразы.

— Снарядов нет!.. Понимаете?.. Совсем нет!.. Немцы нас разносят в пух и прах, а нам нечем отвечать!.. Их артиллерия засыпает нас огнем, а мы из винтовочек постреливаем!.. В седьмой батарее десять дней сидят без единого патрона, а штабы евреями занимаются!..

Чайке кто-то отвечает, но он еще больше сердится. На бледном лице его появляются розовые пятна, большие темные глаза загораются новым огнем. Он почти кричит:

— Ложь! Надо воевать, а не мирных жителей на деревьях развешивать! Надо подвозить снаряды и продовольствие, а не бросать тысячу вагонов на вывозку евреев.

Солдаты довольны Чайкой.

— Правильный офицер. Золотые слова говорит.

— А насчет антилерии — он верно сказал. Вчера с батареи зарядные ящики в парк ездили... так люди сказывали, каждый день ездиют, да все без толку, все обратно порожняком гоняют... Нет, говорят, снарядов... Будьте здоровы.

— А пока постреляйте, мол, аржаным!..

— Оттого на евреев и валят, чтобы, значит, мы на начальство сердиты не были, а на «шпионов». Так вернее.

В двух верстах от местечка, в богатом имении расположился штаб дивизии.

Мы на охране штаба.

В глубине большого сада, окруженного кирпичной стеной, в богатом доме звонят телефоны, бегают телефонисты, ординарцы, вестовые, денщики. Сверкают погоны, блестят аксельбанты, звякают шпоры, покрикивают адъютанты.

Приезжают и уезжают конные ординарцы. Шумят мотоциклы, команды связи разматывают катушки, натягивают провода. Стоят выстроившиеся в ряд двуколки, повозки, экипажи.

У дверей комнат, в коридорах вокруг дома и у ворот — часовые.

У ворот — толпа солдат. Мы слышим раздирающий женский крик. Женщины — молодая и старая — с растрепавшимися волосами, неодетые и взлохмаченные, жестикулируя, истерически кричат. Их голоса пронзительны, и слова неясны. Женщины кричат наперебой, и дети заглушают их своим плачем. Они хотят пройти в штаб, но их не пускают часовые. Старая женщина падает на колени и пытается поцеловать руку часового, но он ее отталкивает.

Мне с трудом удается узнать от них, в чем дело. Мужа старухи и мужа ее дочери ночью арестовали по приказу из штаба. Их сосед, поляк, донес, что они шпионы. Он же объяснил женщинам, что их мужей повесят. . .

Я их успокаиваю, объясняю, что не могут повесить людей по одному только доносу. Их освободят или будут судить и оправдают. Но женщины не слушают и в отчаянии рвут на себе волосы. У них уже нет слез, голоса охрипли, глаза горят мольбой и безумием. . .

Обещаю им узнать о мужьях и ухожу в штаб.

Но узнать что-либо трудно. Я могу расспрашивать только солдат. Постепенно удается узнать от сменившихся утром караулов, что ночью судили двух евреев и осудили к повешенью. Единственное основание к обвинению — донос соседа, заявившего, что старик и его зять переходили неоднократно к неприятелю. Напрасно несчастные умоляли допросить кого угодно из населения и местечковых властей, чтобы убедиться, что они ни на один день не отлучались из дому.

Полевой суд не допрашивает свидетелей.

Арестованных на рассвете повесили...

В глубине сада, далеко за домом, где аллеи и дорожки упираются в кирпичный забор, на старом, наклонившемся дереве первым казнили молодого. Старик видел, как снимали тело зятя, и ждал своей очереди.

Я хочу солгать женщинам, сказать, что их мужей отправили в Варшаву.

Медленно, нерешительно иду к воротам поместья. Обдумываю, как изложить спокойней и правдоподобней рассказ о Варшаве. Но, приближаясь к выходу, слышу, как женщины кричат истошным голосом и, упав на землю, бьются об нее головой... Дети, уцепившись за женщин, громко плачут...

Кто-то из солдат сказал им правду...

Мы снова приближаемся к фронту. Ночью слышна далекая канонада и полыхает зарево пожара. Днем по дорогам тянутся бесчисленные части, орудия, обозы, санитарные линейки.

В потухших и равнодушных глазах солдат — покорность и обреченность. Обросшие, грязные и лохматые, не видя неделями человеческого жилья, копошась в земле, мы начинаем походить на пещерных людей. Наши немытые месяцами лица, покрытые толстым слоем грязи, жира и пота, небритые много недель щеки и подбородки и посеревшие от грязи папахи — делают нас похожими на человекоподобных животных.

Мы плохо реагируем на окружающее, окончательно теряя способность мыслить. Наша дикая жизнь кажется нам естественной и понятной, будто другой не может быть.

Проходят недели, месяцы...

Мы не знаем ни чисел, ни дней...

Нас ничто не волнует, не тревожит, не пугает. Души опустошены, разорены и сожжены, как деревенские халупы после артиллерийского огня. Нет надежд, нет веры, нет желаний, нет жалости... Мы движемся апатично, вяло, бездумно и сонно. Чужие страдания, кровь и чужая гибель нас не беспокоят, как не пугает постоянная угроза собственной смерти.

Мы встречаем странную группу из трех человек. К обеим рукам солдата, чуть повыше кистей, крепко привязаны веревки, концы которых держат двое солдат, идущих по сторонам. У солдата нет винтовки и амуниции, нет пояса и вещевого мешка. Его тащат за веревки, как упрямого быка на убой. Солдату лет тридцать пять. На бледном, серо-землистом лице, покрытом грязью, торчит, как кустарник, жесткая щетина бороды и усов. Глаза, серые и неподвижные, глядят куда-то далеко вперед. Его губы и нос морщатся, складываясь в гримасу, будто для плача. Подбородок трясется, хотя челюсти конвульсивно сжаты. Он пытается для чего-то поднять руки, но бессильно опускает их, вскрикивая от боли, причиняемой веревками... Он боится итти вперед, пространство внушает ему ужас. Но его тащат веревками, впивающимися в его тело, и он идет, обессиленный, истерзанный, съедаемый жестоким страхом. Больной мозг горит безумием. И там, впереди, ему мерещатся гром орудий и стоны людей, воткнутые в горло штыки и расколотые пополам черепа, все, что он видел вчера наяву...

Он ушел, но перед моими глазами долго движется странная фигура в рваной шинели и с веревками на руках, и качается серое, обросшее, безумное лицо с широко раскрытыми глазами.

Дорога хранит следы недавних боев. Слева и справа разрушенные окопы, остатки проволочных заграждений, огромные воронки, брошенные двуколки, трупы лошадей... Местами окопы разворочены и образовали воронку с центром на дне окопа. По полю разбросаны осколки, головки и иногда почти целые стаканы снарядов. У окопов патронные гильзы, ломаные немецкие винтовки.

До сих пор не перевелись у нас охотники добывать «трофеи». Тащат винтовки, штыки, шашки, каски. Зачем — непонятно. Своего добра хватит — не утащить. Маленькие кавалерийские винтовки попадаются редко. Берут большие. Тащат с собой день, другой, потом бросают. Потом, натыкаясь на новые, опять волокут. И сейчас так. Мы идем к линии огня, но многие бегают к старым окопам, долго там рыщут и находят всякую дрянь...

В стороне от дороги, среди редкого леса, небольшая поляна покрыта толстым слоем сухих желтых листьев. На краю поляны тянется длинный, свеженасыпанный холм, местами покрытый нарезанной зеленью елки... Посреди холма врыт большой деревянный крест. Под крестом вдавлена в землю белая доска с простой, от руки, надписью, расползшейся синими потеками по разводам дерева.

Под крестом похоронено сто сорок два человека...

Вокруг большой могилы разбросано много маленьких холмов. Некоторые без крестов, на некоторых тоненький крест из двух очищенных веток, связанных веревочкой.

Над поляной тишина. Тихо качаются деревья. Мягко шуршат листья под ногами солдат.

За лесом, вдоль узкой канавки, бегущей рядом с белыми березами, лежит длинная, прямая, как в строю, шеренга мертвых солдат в новых шинелях, одинаковых серых барашковых шапках, целых сапогах. Они принадлежали какой-нибудь вновь сформированной и заново экипированной части.

И шапки, и лица, и шинели, и руки, и сапоги покрыты синевато-серебристым инеем, и все похожи друг на друга...

Перебитые, очевидно, пулеметным или ружейным огнем, они не изуродованы, и на них почти нет крови и грязи. Лица все, как выкрашенные одной краской, голубовато-сиреневые. У крайнего бородатого солдата раскрыт рот, оскалены зубы и полуоткрыты глаза. Он согнул в коленях ноги, и ступни стоят на земле. Лежащий рядом с ним повернул к нему лицо и смотрит открытыми глазами прямо перед собой, как будто пристально вглядывается в товарища...

Третий от края лежит, задрав ногу высоко вверх... Нога нелепо торчит, вытянутая, как винтовка.

Дальше лежат два солдата, повернув лица друг к другу, как будто ведя беззвучную беседу.

Вот еще один, молодой и безусый. Полуобернувшись к рядом лежащему, он согнул в локте руку, и кисть приходится на уровне лица соседа. Он касается пальцами его подбородка.

На краю шеренги бородатый солдат поднял вверх длинную руку с огромным сжатым кулаком.

Кто-то пробует согнуть его руку, но она сухо трещит и не сгибается.

Любители новых сапог пытаются снимать их с мертвых, но сапоги как будто склеились с промороженными мышцами и не сдвигаются с места.

На привале мы встречаем большую толпу пленных. Многие успели обменять свои хорошие сапоги и теплые вещи на хлеб и табак. У них уже нет вещевых мешков, белья и того солдатского хозяйства, которое аккуратно содержит в вещевом мешке немецкий солдат. Многие легко ранены. У них перевязаны головы, руки, лица.

Они хотят курить и с жадностью смотрят на наших, закуривающих папиросу или трубку. Некоторые решаются просить и получают окурок, едва держащийся во рту. Но им не дают затянуться больше одного раза — товарищи вырывают из рук жалкий огрызок. Пленные не ели со вчерашнего дня, но, мучимые голодом, они все же мечтают о табаке больше, чем о хлебе. Двое совсем молодых ребят, в неуклюже сидящих куртках, трогательно льнут друг к другу. Это, очевидно, давние товарищи, и в плену, на чужбине, они боятся отойти один от другого. Они держатся в стороне и робко, почти по-детски, глядят на нас. Я отдаю им свой хлеб. Они нерешительно берут его, краснеют и долго благодарят... Совсем ребята. Они из одного города и из одной школы. Их пугает плен. Они слыхали, что казаки, сопровождая пленных, по дороге их убивают. Они знают, что казаки вырезают полосы кожи из спины немцев. У одного из ребят прыгает подбородок, он готов заплакать. Нас окружают другие пленные и наши солдаты. Я объясняю пленным, что теперь их уже не тронут, что русские не злы и не жестоки.

Невысокий худой немец долго меня благодарит и жмет мне руку за щепотку табаку. Он баварец, слесарь; отец его также слесарь, работает на заводе. Немец говорит:

— Ни вам, ни немецким рабочим война эта не нужна. Это тяжелый урок. Он научит нас...

Он говорит много, но я, хотя не все понимаю, перевожу нашим, округляя фразы отсебятиной, чтоб не ударить лицом в грязь.

Кто-то из наших говорит:

— А и здорово шпаришь ты по-немецки. Прямо не спотыкнешьси. И где ты только научилси?

Артамонов, узнав, что именно говорит пленный баварец, не отходит от него. Он и меня не отпускает, заставляя переводить с немецкого. Держа меня за обшлаг, он настойчиво диктует:

— Слышь, скажи ему... Скажи, что, мол, верно это, правильно... И мы, мол, так понимаем: ни им, ни нам войны, дескать, не надо... Это Питер с Берлином, дескать, воюют, а народу, что русскому, что немецкому, вроде как на чужом пиру похмелье... Ну, шпарь...

Я протестую:

— Что ты, Артамонов, да мне сроду таких слов не перевести! Где мне!

— Ладно, ладно, шпарь, милый! На то и образованный. Дела делать не умеете, это верно, а уж поговорить — это вы мастера. Шпарь, дружище!

Артамонов настойчив и властен. Я перевожу, как умею. Баварец, очевидно, хорошо понимает. Он радостно хлопает меня и Артамонова по ладошкам и медленно, с расстановкой, чтобы было понятно, говорит:

— Да, да... Нас бросили в чужую драку, нас впутали в чужое дело... Но, к сожалению, далеко не все еще это поняли... У людей головы затуманены словами «нация», «долг»... Если война хоть немного еще затянется, это поймут все... Это поймут, это обязательно все поймут... И тогда — горе тем, кто это затеял...

Я перевожу, стараясь ничего не пропустить. Артамонов напряженно слушает, глядя то на меня, то на немца. В его темных, глубоко сидящих глазах загорелись зеленые огоньки, он долго держит руку немца в своей и молча смотрит в его глаза, потом новым каким-то голосом, тихо, почти шопотом, говорит:

— Камрад... Гут... Хорошо... Понимаешь?

И, повернувшись ко мне, прибавляет:

— Скажи ему: верно, дескать, скоро все поймут... Тогда, мол, повоюем, с кем надо...

Артамонов раздает свою махорку пленным и не отходит от баварца ни на шаг.

Былин рад за немцев.

— Трохи подзаложили нашего хлебца. Веселей стали, а то вот-вот ноги протянут.

— Эх, братцы, самое вкусное — это хлеб! Вкуснее хлеба ничего нет.

Кто-то не согласен:

— Видать, ты ничего вкусного не едал. Едало больно худое.

— Да худое, не худое, а жрал не хуже тебя. Тоже богатый нашелся!

Их кто-то примиряет:

— Вкусного на свете много. А только, девствительно, как пузо хорошенько подведет, так верно, что ржаной хлебушко скусней медового пряничка...

К нам подходят из других батальонов.

— Здорово, ребята, как жуете?

— Жуем, коли чего наскребем. А не наскребем, то так проживем...

— Видать, сегодня наскребли. Аж немцев маленько подкрепили!

— А што — немцы. Таки-ж, как другие. С глазам, с рукам, с ногам.

— Верно... А не повидамши их, думаешь: хуже чертей. Может, с хвостам, с рогам... Вот они какие смирные, воды не замутят.

— Смирные... А почнут шпарить с пушек аль с пулеметов, тогда будут смирные...

— Прикажут — почнут. И тебе прикажут — стрельнешь. По своей охоте пошел ты на фронт? Не по своей... И они не по своей...

— Конешно, никто по своей воле не пойдет... Дураков таких оченно мало. Всех заставляют. И наших, и немцев, и хранцузов, и других...

— А не пошли бы все... И войне бы конец... Ведь не за свое дело воюют...

— Да... Попробуй не пойти...

— А што!.. Может, кому и надоест ходить. Походют и перестанут...

— Прикажут...

— А может и приказу не послушают...

Потом разговор опять заходит о пленных:

— Ведь вот же тоже в Христа они веруют. Крест целуют, знамение крестное на грудь кладут. И поп-то ихний в бой их ведет с распятием. Господне благословение на ихнее оружие призывает.

— А што, братцы, и богу-то, выходит, нелегко?! Все его просют. И русские, скажем, и хранцузы, и немцы, и турки. Помоги да помоги... А што ему делать? Одному поможешь — другому худо. Другому поможешь — этому худо... Вот незадача.

— Ну, он никому и не помогает. Деритесь, мол, как хотите. Ну вас всех к хрену...

— Это верно. Он один, а народу много. И все таперича молются и плачут... И солдаты, и ихние женки, и матери, и дети, и попы, — все молются. Кто за здравие, кто за упокой... Такой до неба вой доходит — спасения нет...

— Нехай, кому треба, по шапке даст, и война тоды кончится...

— Может, и даст... А не он, так другие дадут...

Немцев гонят дальше. Их поднимают, считают и окружают редким кольцом конвоиров. Мы по-приятельски прощаемся с ними и угощаем перед уходом табаком. Они поднимают воротники и втягивают головы в плечи. Им предстоит долгий, тяжелый путь в глубину страны, в Сибирь, в даль и неизвестность.

Артамонов долго смотрит им вслед, напряженно думая, будто стараясь что-то припомнить. Потом, обернувшись ко мне, говорит:

— Видел?... Похожи они на врагов? А?

И, будто сам с собой разговаривая, отвечает:

— Точно такие же, как мы... Только что в другой форме и по-иному говорят. Те же мужики, те же мастеровые... Ничего им от нас не надо. И их силой сюда погнали, и мы противу воли мытаримся здесь...

И, взглянув в сторону фронта, он прибавляет:

— Эх!.. соединиться бы нам с ними... И вместе бы ударить по башкам тех, кто послал нас сюда. Тогда бы всяким войнам конец...

Мы совсем близко к линиям окопов. Ветром доносит шум ружейной стрельбы. Близость огня и новых боев незаметно наполняет нас тревогой. Я думаю о том, что нет храбрости и нет трусости. Есть более крепкие и менее крепкие нервы. Но и те и другие становятся одинаковыми после нескольких боев. Наступает равнодушие, и приходит инстинктивный фатализм. Храбрецы те, кто сознанием или инстинктом постигли случайность всех со-

бытий на войне. Только вначале мы пугались каждого свиста пули, гула снаряда, шума мотора или грома разрыва. Мы падали камнем и лежали часами, врывшись носом в землю, или лежали на дне окопа, прикрываясь лопаткой. Потом мы поняли, что хотя беречься, где можно, надо, но все зависит от случайности, от тысячи случайностей...

Сколько людей уходило невредимыми из десятков боев, из-под страшного огня, из жестоких атак, а потом сидящего в резерве настигала неизвестно откуда залетевшая пуля и укладывала на месте.

В нашей роте однажды после кровавой атаки, при полной тишине и отсутствии неприятеля, во время чистки винтовок земляк земляка по неосторожности убил наповал...

Под Стрыковым, когда мы окопались под огнем, нам было вдруг приказано передвинуться влево. Мы, ругаясь и проклиная все на свете, передвинулись. А через час, в том месте, где я раньше сидел, разорвался снаряд, разворотивший на три сажени окопы и превративший пять человек в рваные куски мяса...

Храбрыми мы считаем тех, кто спокойно идет на смерть, кто отдает сознательно свою жизнь. Я таких не вижу. Люди идут, потому что другого выхода нет. Исключение — такие, как капитан Воздвиженский. Их мозг затуманен фанатическим патриотизмом, воинским уставом, собственными интересами.

Подлинная храбрость присуща только тем, кто страстно верит в свое дело, кто идет на смерть с глубоким сознанием великой правды, за которую он борется, кто отдает жизнь за подлинную свою родину, за свою землю, за свое счастье.

Но таких здесь нет.

И кресты получают невольные храбрецы, идущие на риск по необходимости и случайно возвращающиеся.

Поручик тринадцатой роты, собиравший добровольную команду для разведки, позвал и меня. Я пошел, потому что мне было все равно. Я не хотел умирать и не собирался жертвовать своей жизнью. Но сидеть в окопе и ползти темной ночью по полю — одинаково опасно. И я пошел. Крест, который я получил за эту разведку,— награда за то, что я случайно не погиб...

Навстречу нам движется длинная вереница двуколок и линеек. С позиций везут раненых. Многие без сознания. При каждом толчке двуколки подпрыгивают, и раненые громко стонут. Им предстоит проехать много верст до железнодорожной станции. Дорога мучительна. Для тяжко раненых — она гибельна. На многих повязки промокли и горят огромными кровавыми пятнами. В одной линейке раненый в бреду сорвал повязку. Линейку останавливают, и фельдшер здесь же с большим трудом накладывает повязку.

Мы узнаем, что сегодня немцы дважды атаковали наши позиции. Атаки отбиты, но потери огромны. Ждут новой атаки.

Мы сегодня сменим разбитые и усталые части. Нам никогда не уйти из заколдованного круга смерти и крови... Ожидание боя всегда страшнее самого боя, и мы думаем с тоской — скорей, скорей бы все это сделалось, скорей бы все это окончилось.

Нас отводят в сторону от дороги. Мы стоим между деревьями и смотрим на проходящие по дороге части пехоты и артиллерии. По левой стороне дороги с грохотом летит батарея. В орудия запряжены по три пары лошадей. Лохматые сибирские малорослые лошади устали покрыты пóтом и пеной. Над лошадьми подымается пар.

А рядом торопливо движется пехота. У них одинаковы только шинели и винтовки. Все остальное у солдат разнообразно и разноцветно. Шапки черные и серые, папахи лохматые — высокие и маленькие, ватные кепи с большими наушниками, просто шарфы и тряпки через картуз. На ногах обмотки, валенки, сапоги и рыжие ботинки.

Лица однообразнее шапок. Они сливаются издали в одинаковые желтые маски, на которых темнеют пятна носов и ртов. Как будто это не люди.

Нет людей. Есть усовершенствованные автоматы. Надавят кнопку — автоматы стреляют; надавят другую — автоматы бегут, кричат «ура», вкалывают штыки в неприятельские автоматы; ослабнет пружина — автомат бежит назад; разорвется над ним снаряд или настигнет пуля — автомат портится, ломается, разлетается в куски и выходит из строя.

Если бы только в этом автомате не было живых, трепещущих человеческих мышц, горячей крови, сложного мозга, пульсирующего сердца... Если бы только этот автомат не боялся смерти, не жаждал жизни, солнца, любви, не стремился бы к теплу и уюту, не мечтал бы о счастьи... Если бы только этот одушевленный автомат не был бы никем любим, если бы никто по нем не тосковал, если бы только он не был ничьим отцом, мужем, братом, сыном... Если бы он не был ни для кого «единственным в мире счастьем»...

Части беспрерывным потоком текут к окопам. Артиллерия, патроны, двуколки, кухни, санитарные линейки. Потом снова пехота...

Нас поднимают. Мы идем не по дороге, не к окопам, а лесом, отдаляясь от дороги. Нас куда-то перебрасывают. Куда? Лучше или хуже? Что можно знать? Ничего. Везде хорошо. Мы идем тропинками, между пней и коряг. Остро пахнет хвоей. Перепрыгивая через канавки и пни, спотыкаемся о коряги. Лошадей ведут под уздцы.

Чайка, плотный и отяжелевший, переваливается с ноги на ногу. Ревматизм его измучил. Он кряхтит, с трудом перелезая через мелкие препятствия.

Голова колонны задерживается. Полк останавливается. Передние батальоны рассеиваются по лесу. Долго стоим на месте, потом врассыпную направляемся туда, где остановился первый батальон. Издали видны брустверы окопов. Наши солдаты окружают их. В окопе сидят солдаты. Головы их упираются в брустверы. Некоторые сидят внутри окопов, и видны только шапки. У окопов лежат в одиночку и группами несколько десятков солдат.

Мы расспрашиваем стоящих у окопов:

— В чем дело?

— Да, видишь, целый батальон четвертого полка перебили с тылу...

— Как с тылу?

— Да так. Должно — карту перепутали... Спиной к неприятелю окопались. Разведку вперед послали. С тылу заставы не поставили, или немцы ее перебили... Ну, сзади тихонько подошли, вплотную подползли, да вдруг из пулеметов да из винтовок, чуть не в упор, по спинам да по затылкам, как двинули...

— Ну?

— Ну, что? Ясное дело... Почти весь батальон перебили. Остальных в плен увели... Поди, погляди! Вон в том конце батальонный сидит. Как сидел, так и остался. Только с дырой в голове...

Кто-то замечает:

— Должно, и раньше с дырой был. Целый батальон сгубил. Карту перепутал... Вниз головой ее, что ли держал...

— А кто знать может? Может, ее в штабе спутали, или неприятель зашел в тыл.

— Ежели с пути собьешься, то и карта ни хрена не поможет. Мы с поручиком Покровским в разведку шли. Днем дело было. Идем лесом. Идем, значит, тихо, спокойно. Никаких происшествиев. Только вдруг позади нас, далеко, слышим, — пулеметы и винтовки шпарят. Как так? Што за стрельба? Ведь сзади наши части. И никакого там неприятеля нет. С кем перестрелка? Я говорю: «Ваше благородие, это, — говорю, — мы закрутились, назад идем, наши впереди». А он: «Что ты, — говорит,— путаешь? Неприятель впереди», и смотрит на компас, на солнце, на карту... Я кричу — позади, а он кричит — впереди. Пошли назад. Только мы шагов сто прошли смотрим — между деревьями немчура шмыг, шмыг... Мы давай бежать. Бежим, в печенках колет, аж сердце разрывается... Потом, слава богу, видим — наш полк. Пошли шагом. А я кричу поручику: «Эх, ваше благородие, не гляди, — говорю, — никогда на компас. Што оно, — говорю, — такое — компас? Стрелка, как душа неприкаянная, во все стороны болтается... Што она, — говорю, — знает... Куда ни поверни, а она поболтается, поболтается, а потом, как пьяница на кабак, все в одну сторону глядит...»

У боковой стенки крайнего окопа, приткнувшись, сидит без шапки подполковник с крупной, круглой, стриженой головой. Сзади, над затылком, черное пятнышко с запекшейся кровью. Лицо прижато к передней стенке окопа.

На дне окопа сидит на корточках солдат. Наши солдаты его вытаскивают. По всей линии окопов лежат и сидят мертвые солдаты.

Среди убитых много совсем молодых, очевидно, недавно присланных новобранцев. У них безбородые и безусые лица, тонкие шеи и гладкая кожа.

Нам приказывают рыть могилы. На полянах намечают места, и мы начинаем в трех пунктах копать ямы. Потом приказ отменяют. Нет времени. Нужно к сроку притти к назначенному месту. Мы собираем тела в одно место и кладем их в ряды. Уже выложены семь рядов по пятьдесят человек, но в окопах и возле них лежат еще не подобранные. В стороне от больших рядов лежат четыре офицера: подполковник, поручик и два прапорщика...

Полк собирается, стягивается и двигается дальше.

Заходит солнце, и лес окрашивается в яркокрасный, багряный цвет. Стволы деревьев и зелень объяты ярким пламенем сверкающего золота. Затем опускаются синие сумерки, сразу превращаясь в черную тьму.

По лесу идем в густой темноте гуськом, держа один другого за шинель. Таких цепей справа и слева много. Говорят, что неприятель близко, слева от нас. Надо пройти бесшумно. Мы идем почти в полной тишине. Разговоры умолкли, котелки подвязаны, винтовки на ремне. Погасли огоньки папирос. Все цепи вдруг останавливаются.

По рядам проносятся шопот и шиканье:

— Тише... тише... шшш... шшш...

В наступившей тишине ясно слышно глухое движение обоза на мощеной дороге. Потом доносятся топот многочисленных шагов и обрывки немецкой речи. Отдельные слова долетают совершенно ясно.

Мы боимся шелохнуться или произнести даже шопотом пару слов. Движение на шоссе продолжается долго. Нервное напряжение проходит. Мы быстро привыкаем к близости неприятеля и стоим спокойно, будто уступаем дорогу нашим частям. Стоя у деревьев, многие дремлют. Ноги затекают, но мы неподвижны.

Постепенно голоса затихают, топот больше не доносится, и слышно только далекое ржание лошадей. Понемногу стихают и эти звуки.

Стоим еще некоторое время и идем дальше. Даже серая шинель Родина, которую я держу за хлястик, сливается с темнотой ночи. Мы спотыкаемся, натыкаемся

на соседей, налетаем на деревья и ругаем друг друга.

Это странное движение вперед в непроницаемом мраке, с широко раскрытыми, ничего не видящими глазами, мучительно утомляет.

И вдруг удар, падение, сумасшедшая боль в ноге. Я влетаю в маленькую яму. Одна нога остается наверху, другая, неся на себе всю тяжесть тела, падает на дно. Ступня подворачивается, и я всем весом обрушиваюсь на нее. Острая боль доходит до сердца и сжимает его, обливая ледяным холодом...

Цепь сразу обрывается и движется дальше без меня. Я что-то кричу. Но меня не видят. Люди боятся потерять друг друга и не останавливаются. Я не могу встать. Страшная боль не дает шевельнуться. Чтобы подняться, надо упереться больной ногой. Напрягая все силы, отложив в сторону винтовку, упираюсь обеими руками и вылезаю, но итти дальше не могу. Цепи проходят мимо меня. Это уже чужие роты. Я никого не знаю. На фамилии никто не откликается. Но итти надо. Понемногу, опираясь на винтовку и волоча за собой ногу, я, с трудом перетаскивая ее через коряги, плетусь за цепями.

Всю ночь до утра мы идем лесом. Потом, пройдя несколько верст полем, входим в деревню. Нахожу свой батальон. В большой халупе собрались все старые знакомые: Былин, Родин, Артамонов, Гончаров, Чайка. Несколько человек пытаются снять сапог с моей больной ноги, но это причиняет мне только жестокую боль. Приходится сапог разрезать от верхнего края голенища до задника.

Ступня совершенно потеряла свою форму. Она превратилась в распухшую массу с синей, натянутой и блестящей кожей. Опухоль, начинаясь у пальцев, кончалась выше щиколотки.

Мы не успеваем полежать и получаса, как нас поднимает тревога:

— Поднимайсь, стройсь!

Это невозможно. Люди не могут подняться. Мы много суток не знаем отдыха. Мы десятки часов шли без передышки. Ночь напролет мы боролись с темнотой, тяжелой дорогой, канавами и пнями. У нас разбиты ноги и болит все тело. Мы голодны. Нам нужен отдых.

— Поднимайсь! Становись!

Я кладу свой разрезанный сапог в вещевой мешок, ногу обматываю тряпками и веревками и, опираясь обеими руками на винтовку, выхожу. Чайка посылает Былина к врачу с запиской. Просит взять меня в линейку или двуколку. Но мест нет. Класть некуда. Все забито больными и ранеными.

Полк движется дальше.

Лица землисто-серые от усталости и грязи. Тусклые и безжизненные глаза ушли глубоко в орбиты. Губы потемнели. Ноги едва передвигаются.

Иду, тяжело ступая, медленно опуская больную ногу и тяжело дыша. Тряпки на ноге лохматятся, разматываются, и я часто останавливаюсь, чтобы их завязать. Чтобы не отстать от своей части, напрягаю последние силы, но скоро окончательно устаю и сажусь на землю.

За полком тянутся кухни, двуколки, лазарет. Знакомый фельдшер устраивает меня на двуколке. Здесь сидят еще двое больных. Втроем тесно и неудобно. Нас трясет и швыряет.

Проезжаем мимо железнодорожной станции. Станционные постройки разрушены, деревья у садика расщеплены и свалены. Телеграфные столбы наклонились и опутаны оборванной проволокой. Платформа разбита и завалена кирпичом, камнем и штукатуркой. На путях — искромсанные остатки товарных вагонов, валяются груды обломков, обгорелых шпал и изогнутых рельсов...

В стороне от станции стоит несколько санитарных линеек. Всех больных и раненых перегружают в линейки. Меня также отправляют. Я и рад уйти в лазарет, и жаль мне своих приятелей. Фельдшер сердится:

— Ложись, ложись скорей! Держи ногу выше! У тебя такое растяжение сухожилий — дай бог через пару недель подняться. Хорошо еще будет, если кость не треснула.

После двухдневного пребывания в полевом госпитале я попадаю в запасный, находящийся в маленьком городишке и помещающийся в здании гимназии. Запах разлагающегося мяса, гноя, экскрементов, мочи, застоявшейся крови и желудочных газов схватывает за горло...

Хромая, бегу назад в коридор и почти скатываюсь

с лестницы. Во дворе легко и свободно дышится. Нет, я не вернусь в палаты!

Прибегает сестра. Она сердито кричит:

— Ты с ума сошел! Куда ты убежал?

— Сестрица, не пойду туда. Там, действительно, с ума сойти можно. Там невыносимая вонь. Не могу... Меня тошнит...

— Вы вольноопределяющийся?

— Так точно...

— Идемте, я вас устрою в чистой палате.

Я иду за ней. Как бы мне не влипнуть в неприятность. Зачем я согласился быть вольноопределяющимся?

Но это меня спасает. Возле перевязочной — крохотная комнатка. В ней койка, заваленная бельем, ватой и марлей. Эту комнату освобождают и предоставляют мне. Комнатка на отшибе. Я здесь один. Меня стригут, ведут в ванную, и через час я лежу в чистом белье, на свежей постели.

Спасибо сестре! Она — хороший человек. И уважает вольноопределяющихся. Однако санитарка, которая мыла меня в ванне, смотрит на это иначе. Хрипловатым контральто она ворчит:

— Да уж ладно! Чиво говорить. К кому добрая, а к кому и нет. Тожи андил небесный!

Мне строго велено лежать спокойно и не сходить с постели, но через несколько дней я понемногу начинаю сползать. Иду, опираясь на костыль, в соседнюю палату.

Удушливый запах иодоформа и карболки смешался с терпким запахом грязного белья, прокисшего пота, нечистого тела и гнилой соломы матрацев.

У самой двери лежит проснувшийся только что после хлороформа. Его рвет остатками пищи, потом желчью и кровью. Запах кислой отрыжки и рвоты заполняет весь угол. К нему невозможно подойти и помочь ему. Синее лицо и почерневшие губы покрыты потом. Мучительные позывы к рвоте сводят лицо его и шею судорогой. Веки закрытых глаз зловеще чернеют, как дыры черепных глазниц... Глаза, виски и щеки глубоко провалились, и подбородок острым концом торчит вперед... Слабым голосом он натужно и напряженно стонет.

Меня кто-то окликает из угла большой палаты:

— Кацо, иды ко мнэ!

На постели, ровно вытянув ноги, лежит неподвижно молодой брюнет. Его бледность оттеняется жгучей чернотой растительности и глаз. Он быстро и нетерпеливо расспрашивает меня обо всем, что касается меня, и, боясь, что я скоро уйду, просит:

— Садысь, давай мне твой кастыл!

Он тяжело ранен в ногу, потерял много крови и смертельно боится ампутации. Он жалуется, как ребенок, наивно и трогательно:

— Как я буду без нога? Нельзя жить без нога...

Но ему не дают много говорить — его зовут на перевязку. Он пугается и начинает громко плакать.

— Сестрыса дорогой, не нада... не нада, сестрыса...

Сестра его убеждает, что сегодня не будет так больно, как вчера; что перевязывать надо обязательно каждый день, иначе начнется гангрена, и надо будет ампутировать ногу.

Это его пугает. Он умолкает. Его укладывают на носилки и уносят в перевязочную.

Сквозь открытую дверь перевязочной виден стол, на котором лежит Коридзе. С его ноги снимают промокшие бинты с розово-желтыми пятнами сукровицы. Только передняя часть его ноги сохранила кожу. Вся мякоть ноги от пятки до подколенной ямки вырвана, и на костях висят лохмотья мышц, покрытых гноем и сгустками крови. Эта штука не похожа на человеческую ногу. Это обглоданная собаками, еще горячая, дымящаяся кость.

Сестра подносит к ноге намотанную на палочку вату с перекисью водорода, и Коридзе кричит:

— Сестрыса, се-стры-са, не на-да, не на-а-а-да!

Его вопли несутся по всему коридору и доходят до палат. Сестра быстро и ловко проводит квачем по ране. Рана покрывается беловатой пеной и мелкими пузырьками. Края смазываются иодом, и на ногу накладывается гора марли. Потом долго бинтуют широкими бинтами.

В госпитале всего три врача.

После утреннего обхода они работают в операционной много часов подряд. В дни доставок новых партий раненых они оперируют с утра до позднего вечера и в экстренных случаях по ночам. Перевязки, даже самые тяжелые, сложные и опасные, делают сестры без врачей.

Старший врач со дня окончания университета до на-

чала войны был в Петербурге санитарным врачом. И хирургический нож он в последний раз держал в руках на втором курсе медицинского факультета, когда он кромсал трупы под опытным руководством авторитетного сторожа при анатомическом театре.

С тех пор, надо думать, он забыл даже элементарную анатомию, не то что хирургию. А теперь он главный врач хирургического госпиталя и делает сложнейшие операции в области брюшины, дыхательных органов и мозга...

Его помощник — венеролог. Нет оснований сомневаться в том, что он удачно промыл протарголом много пораженных гонококками каналов. Вероятно и то, что он не однажды вколол в вену острую иглу шприца, наполненного неосальварсаном. Но менее вероятно, что это его достаточно подготовило к операциям удаления осколков шрапнели из легкого, к лечению простреленной почки или восстановлению челюсти.

Третий врач, гладенький и вылощенный юноша, сынок петербургского папаши, только что досрочно вылупившийся из университета. Он должен работать под руководством опытных врачей.

А опытные врачи — узкие специалисты, модные штучки больших городов. Это не те провинциальные земские врачи, которые лечат туберкулез, оперируют аппендицит, трепанируют череп и принимают ребят...

И вот, волею судеб, санитарный врач, венеролог и петербургский франт — во главе хирургического госпиталя, пропускающего десятки тысяч раненых.

Оттого ежедневно ампутируют здесь десятки рук и ног. Оттого ежедневно под ножом врача умирают многие, смерть которых вызвана только оплошностью хирурга. Оттого погибают от удушия хлороформом, истекают кровью, умирают от сепсиса...

Я стою у двери, стараясь увидеть операцию. Из комнаты несется густой сладкий запах хлороформа и тяжелый — гноя и крови. Вокруг операционного стола — все врачи и несколько сестер. Главный врач стоит спиной ко мне. Он долго и настойчиво что-то делает, будто месит рукой. Потом он отходит от стола. Весь халат спереди залит кровью. Засученные рукава до локтя оголяют руки, наполовину покрытые липкой кровью. Боль-

ной лежит на левом боку. На спине под правой лопаткой зияет огромная, больше кулака, глубокая рана, сочащаяся кровью. Сквозь рану темнеет легкое. По спине сбегает красная струя. Врач с бледным, вспотевшим лицом возвращается и всовывает всю кисть руки в рану, пытаясь достать из легкого осколок снаряда. Он ворочает кисть руки, как ворочают в пустом кармане, стараясь найти монету. Операция тянется долго и тяжело, но безуспешно...

Внезапно молодой врач, дающий хлороформ, бросает маску, операцию прекращают. Начинается суматоха, возня, беготня... Рану быстро тампонируют и перевязывают. Больного тормошат, поворачивают со стороны на сторону, его язык держат щипцами, в рот ему что-то вливают и кричат прямо в ухо, вдалбливая громкие звуки. Затем его укладывают на носилки. Его голова беспомощно болтается, руки висят, как тряпки. В палате еще долго над ним возятся.

На его место кладут другого. Операции продолжаются...

Все дни я брожу по палатам. В одной из них лежат больные столбняком. Их несколько человек. Самый страшный из них — Лихачев. На его истории болезни написано: «тетанус».

Больной лежит на постели, конвульсивно согнутый дугой, опираясь только пятками, затылком или головой, как борец на «мосту». Голова его запрокинута назад. Челюсти судорожно сжаты. Хождение по коридору, стук шагов, хлопанье дверей вызывают судороги всего тела, причиняющие невыносимую боль в мышцах.

От бацилл, врывающихся вместе с комьями земли при ранении осколком, развивается тяжкая болезнь. Она сводит мышцы тела жестокой судорогой, и тело постепенно каменеет. Яд, вырабатываемый бациллами тетануса, схож с ядом стрихнина.

Сестра с трудом кормит Лихачева. Столовой ложкой она раздвигает его челюсти и вливает в рот молоко. Но молоко булькает во рту, не проходя дальше.

С больного сваливается одеяло. Я вижу судорожно втянутый живот, похожий на живот борзой.

Он с трудом дышит. Температура доходит до сорока двух. У него начинаются судороги дыхательных путей.

Ноги и руки вытягиваются, как палки. Воздух со свистом выходит через нос. И больше не входит... Спазма сжала горло и не отпускает его. Долго еще его тело остается судорожно сжатым и жестким.

В один из вечеров, после операций, врачи отдыхают в комнате сестер. Главный врач, сидя на диване с папироской в зубах и окружая себя облаком дыма, подсчитывает количество ампутированных за неделю рук и ног: семьдесят пять рук... сорок ног... Семьдесят пять и сорок...

Многие из них умерли. Остальные отправлены в тыл. Причины ампутации делятся почти поровну — раздробление костей и гангрена.

Врачи и сестры смертельно устали. Они садятся на диван и стулья, будто падают, и долго остаются неподвижны.

Один венеролог не сдает. Он обожает анекдоты. Он может их слушать и рассказывать без конца. При этом он сам громко и заразительно хохочет, смакуя отдельные словечки и удачные фразы. Героями рассказов он делает себя и своих знакомых.

Офицеры не видят живого солдата-еврея. Он рядом с ними, в каждой роте, в каждом взводе. Он сидит рядом в окопах, такой же грязный, обросший, вшивый, голодный. Он несет сквозь всю войну все ее тяготы, он абсолютно слился со всей остальной массой, и солдаты его не ощущают чужим. Но в каждом офицерском анекдоте по старой, славной традиции фигурирует только еврей:

— У нас тут в пятой палате Каплан лежит. Ранен пулей. Входное отверстие со стороны спины. Я его спрашиваю: «Что ж ты, Каплан, струсил, зачем бежал от немца? Ну, сознайся, — ведь ты трус». А он отвечает: «Ах, ваше благородие, лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником».

Для анекдота доктор поэтически извратил факт: Каплан был ранен не только в спину, но и в живот. Он был не только ранен, но и контужен. Это тот самый Каплан, который в первом же бою повел свой взвод в атаку, который за блестящую разведку получил Георгия, который был отмечен всем полком как образец храброго солдата.

Сестры смеются. Одна из них — единственная в компании краснощекая и цветущая, совсем малявинская баба, только слегка смягченная и облагороженная белой косынкой. Крикунья и хохотунья, она, как настоящая общинная сестра, заворачивает такие словечки и фразы, что даже врачи смущаются... Круто посолив и поперчив каждое словечко, она рассказывает, как у них в общине сестры наказывали подругу за опоздания на дежурство.

Венеролог опять рассказывает:

— Я в дивизионном госпитале работал. Работали сутки напролет. Кромсали, как попало. Ампутировали налево и направо. Раненых класть некуда. Лежат на полу, на столах, в коридорах, во дворе... Умирают пачками. А тут является ксендз утешать солдат-католиков. Подходит к одному, к другому, пробормочет что-то, даст распятие поцеловать и дальше идет. В одной палате, в углу, на полу, лежит тяжело раненый еврей Свирский. Перепутал, что ли, ксендз, или фамилия его сбила с толку, но он подходит к Свирскому и протягивает ему распятие. Свирский не движется. Ксендз спрашивает, протягивая распятие ближе: «Знаешь ли ты, сын мой, что это?» А Свирский этак печально улыбается и говорит, глядя на меня: «Хорошенькое дело... У меня пуля в животе, а он мне шарады задает...»

Юный доктор, шлифуя розовые ногти кусочком замши, рассказывает:

— Один солдатик, еврей, приносит после боя неприятельское знамя. Ему дают за это Георгия. После следующего боя — он опять тащит знамя. Ему опять Георгия. Так он четыре знамени притащил и все четыре Георгия получил. Восхищенный полковой командир спрашивает: «Ну скажи ты мне, Абрамович, как ты умудряешься доставать столько знамен?» А солдатик отвечает: «Видите, ваше высокоблагородие, у меня двоюродный брат в германской армии служит — так мы с ним меняемся...»

В компании хохот.

Этот анекдот, построенный на совершенно невероятном эпизоде, рассказывается уже сотни лет и основан на том, что евреи, будучи рассеяны по всему земному шару, служат в разных армиях.

Смех прерывает дежурная сестра. Прибыла новая партия раненых.

Их вносят на носилках одного за другим в приемный покой и оттуда разносят по палатам. Многих нужно срочно оперировать. Многие без сознания. Раны у доставленных покрыты бинтами, намотанными горой. Бинты промокают, и сквозь них сочится кровь.

В палатах больше нет мест, и раненых кладут в коридорах на пол. Пленные оставлены напоследок. К ним не подходят. Раненые заполняют все лестницы, коридоры и двор.

Простреленные груди, развороченные животы, проколотые горла, оторванные челюсти, раздробленные кости, разбитые черепа, выбитые глаза и тяжелые контузии всего организма...

Из всех палат несутся стон, крик и плач. Больные в бреду разговаривают и ругаются.

Пленные просят воды. Приношу кувшин с водой и кружку. Они жадно пьют и просят еще.

Красивый светлорусый немец тихим, едва слышным голосом зовет сестру. Он повернул лицо, бледное, с огромными серыми глазами, и смотрит на сестру:

— Schwester, ich kann nicht Urin lassen.

Голос его так слаб, что едва слышно. Я передаю его слова сестре. Сестра пробегает дальше:

— Ладно, потом катетер принесу.

У одного немца лица совсем не видно. Оно все забинтовано. Сквозь оставленные в бинте дырочки темнеют глаза. У него оторвана челюсть. Как он будет жить? Как будет есть и говорить?

Издали он похож на снежную бабу, одетую в солдатский мундир.

В операционной и перевязочной работа не прекращается всю ночь.

Уже наступает рассвет. Нежный рассвет теплого, почти летнего дня. В палатах и коридорах серый сумрак. Тихо спускаюсь во двор. Глаза воспалены. Я устал от бессонной ночи, духоты, вони, иодоформа.

Как прекрасно во дворе и в саду! Свежая светлая зелень сада, покрытая еще ночной росой, блестит и розовеет, озаренная яркокрасным солнцем.

От сада несет спасительной свежестью цветов и

влажной земли. Воробьи подняли ребячий шум и гомон, тучами перелетая с места на место.

Как хорошо! Жадно и глубоко втягиваю прохладный, насыщенный весенней радостью воздух.

Солнце поднимается выше, зелень становится светлей, и воздух насыщается теплом. Сижу на скамье, согреваемый солнцем, убаюканный радостью весеннего утра, шелестом листвы и птичьей музыкой...

Как хорошо!

Но надо вернуться в палату. Сегодня ухожу из госпиталя обратно на фронт.

Я прощаюсь со своими новыми знакомыми.

Многих уже нет. Одни умерли, других отправили дальше. Коридзе умер. Раненый осколком под лопатку— умер. Молодой солдатик, раненый в грудь, три дня назад диктовавший мне письмо к матери, — умер. Еще многие умерли... Вчера, третьего дня говорили, диктовали письма, плакали, мечтали о доме. Сегодня их нет...

В палате тихо. Я сижу на койке Каплана, о котором так весело рассказывал венеролог. Каплан ранен не только в спину, но и в живот. По его иссиня-желтому, ввалившемуся у висков, под скулами и у глаз лицу проходят черные тени близкой смерти. Серые губы пересохли. Тонкий нос обострился и пожелтел. Каплан часто и поверхностно дышит, полуоткрыв неподвижный рот... Холодными и влажными руками он держит мою руку.

Лицо его морщится в гримасу плача, но мышцы полупарализованы и непослушны. Плакать он уже не может... Только две маленькие капельки выжимаются в углах его глаз.

На соседней койке — гангрена легких. И при каждом выдохе из груди больного вырывается струя невыносимой вони, отравляющей всю палату. Вблизи сидеть совсем невозможно.

Глаза раненого закрыты. Грудь часто поднимается. На шее бьется синяя жилка. Лицо застыло.

На последней койке контуженный. Он крепко привязан простынями к ножкам койки, но под простынями тело ходит волнами от внутренних судорог. Тело содрогается, у живота вздымается гора и откатывается к груди, как будто внутри движется что-то живое, не находя себе выхода...

Нас, несколько человек, отправляют в штаб корпуса. Я хочу попасть в свой полк. Утром мы строимся во дворе госпиталя, нам вручают документы, и мы уходим. Сестры нас провожают до ворот.

Я опять в своем полку.

В шестнадцатой роте ничего не изменилось. Те же люди, те же рваные шинели, обросшие грязные лица, усталые глаза. Чайка заметно обрюзг, пожелтел, посерел. Он уже подполковник, но его это не радует. А давно ли он мечтал дослужиться до штаб-офицерского чина и выйти в отставку, чтобы заняться живописью? На гладких защитных погонах проведены химическим карандашом две полоски и нарисованы три звездочки.

Наша армия отступает. За последние месяцы отданы большие и малые города, целые уезды и губернии. Атаки немцев обрушиваются с неслыханной силой и жестокостью. На маленькие участки нагоняют сотни пулеметов, орудий, танков, аэропланов.

Мы чувствуем превосходство неприятеля.

Солдаты никогда не знают, что делается за пределами их роты. Они не имеют представления не только о том, что творится на фронте, но даже в пределах бригады и полка. Часто свою неудачу принимают за победу, и наоборот.

Но теперь все знают, что армии отступают.

Солдаты уже научились ненавидеть тыл и тыловое начальство.

— Воевать посылают, а обуть не во что. Сами-то, небось, сапоги с гармошкой носят. А тута на сырой земли босиком сиди.

— И зачем только воюем? Все равно толку никакого... Не устоять нам теперь против немца, ни за что не устоять. Он прет самосильно, а у нас — снарядов нет, сапог нет, жратвы нет... одним словом — ни хрена нет.

— Ну и отступаем понемногу. Все назад и назад. Так, гляди, и до дому докатимся.

— Докатишься, пожалуй. До могилы. А ежели домой — не иначе как обрубком.

— Раньше с голоду подохнешь, или вши заедят...

— А то лихорадка затрясет.

— Одним словом — выбирай, что те больше по ндраву.

— Немцы не зря прут самосильно. У них морды — што у твово кабана. В вещевых мешках и сыр, и колбаса, и щиколад.

— И што за народ такой — хрен его знает! Сами такие умные, или начальство ученое, или царь вроде Наполеона? Один ведь — противу всего света.

— Ну, не один. Им австрияк помогает. Опять же — турок...

— Ну, турок... Так только, меж ногами путается. Какой из его вояка! Лахудра... У его нос длинный — сует куда не надо.

— Сует, не сует, а немцу от него помощь большая. Сколь народу на тот фронт напихано. А могли бы сюда послать.

— А кухни-то, пока што, не едут. Опять жрать не привезут.

— Который день на одном аржаном сидим. Сволочь поганая, сука нестроевая, где они с кухнями путаются!?

— Надо до батальонного итти. Пускай звонит в штаб — почему народ не кормят. Голодный не навоюешься...

— Не накормят, сами пойдем кухни искать. Пущай пока штаб здеся повоюет...

— Пойдешь, пожалуй. Сдохнешь тут, а никуда не пойдешь.

Былин, веселый, живой Былин, крепко сдал. Постарел, увял, оброс и как-то обмяк, опустился. Он мне рассказывает, как доставили сюда подарки.

— Я здесь вспоминал тебя. Вот бы тебе побалакать с ими. Таки дамочки — абрикосы... Приперли нам махорки, подметок, белья и теплых подштанников... «На што, — говорю, — милые дамочки, нам подштанники?.. Дюже, — говорю, — в их жарко убегать будет, потому, — говорю, — лето на дворе...» А вона говорит: «Звините, милый солдатик, мы, — говорит, — еще зимой их готовили, да не успели; вы, — говорит, — солдатик, их спрячьте до той зимы...» Видишь, куда загибает, — до той зимы. У ней глаза не вылазят. Она до зимы ждать может. Ну, махорку-то мы скурили, а подметок прибивать некому, бо уси сапожники в тылу на оборону рабо-

тают, туг никого немае... А так — барыньки, действительно, ласковы, румяны — черешни, ей-бо! От бы хоть разок такой попользоваться.

Наши окопы беспрерывно укрепляются. Нам помогают саперы. Подвозят лес, колючую проволоку, роют ходы сообщения, делают блиндажи для пулеметов. Позади наших окопов роют резервные.

Пока здесь тихо, солдаты хозяйничают в соседних деревнях. Воруют кур, уток, поросят. Днем сидят раздевшись и греют спины, сушат портянки, штопают шаровары и ведут бесконечные разговоры.

— Не иначе — скоро мир. Немец не идет, может, кумекают — воевать или мириться.

— Немцы первые миру не попросют, немцы гордые...

— А чего он просить станет? Он сколько земли себе откромсал и дальше прет... Народ одетый, обутый и сытый. Не наш брат.

— Ну, и наш царь просить не станет.

— Стало быть, мира не будет... Так и будем воевать, пока не перебьют.

— Эх, ребята! Вдруг — манихфест. Кончена война. Айда, ребята, домой... А за то, что воевали, кровь свою проливали, кажинному солдату три десятины земли и лесу на постройку...

— Дадут, пожалуй, держи карман шире. Три аршина землицы дадут и лесу на гроб... А то и без лесу обойдешься, так полежишь, не барин...

— А сейчас бы домой в самый раз поспеть. У нас только-только теперь сеять. У нас долго зима держится.

— А у нас, в Херсонской, скоро поспеет пшеница. В июле уже снимают.

— А тут, гляди, вспахать успели, может, и посеяли, да всю и затоптали...

— Тут много добра зря погубили.

Я лежу у бруствера, греясь на солнце, и слушаю разговор, не видя лиц беседующих. Среди солдат много новых.

У нас крепкие окопы, построенные по всем правилам саперного искусства. Здесь, видно, решено оказать неприятелю решительное сопротивление. Если он здесь нас сломит, его не удержать никакими силами.

В окопах глубокие ниши для патронов, для бочек

с питьевой водой. Над окопами крепкие навесы. Внутри окопов стоки для дождевой воды. Дальше, по ходу сообщения, клозеты и еще дальше кухни в земле. Впереди — широкая полоса проволочных заграждений. Таких основательных окопов мы еще никогда не строили.

Но как мы будем воевать — неизвестно. Отсутствие снарядов стало притчей во языцех. Сколько бы ни стреляла по нас неприятельская артиллерия — наша почти не отвечает. Батареи вымаливают у парков снаряды как милостыню, но получают их не больше десятка в день. И никто не знает — когда прибудет пополнение.

Не только солдаты, но, кажется, все офицеры последними словами ругают штабное начальство. Досужие артиллеристы приходят к нам в часть, подолгу засиживаются и жалуются на свою судьбу.

Капитан Касимов из ближайшей батареи подружился с Чайкой и каждый день изливает перед ним свою душу. Меня он не стесняется.

— О чем же там прохвосты думают?.. Скажите, пожалуйста! Чем, сукины сыны, заняты?.. Неужели такая огромная страна как наша Россия — не в силах снабдить свою армию боевыми припасами? Зачем же нас сюда послали? Зачем морят голодом, нуждой, вшами? Зачем заставляют воевать?

Он странно выражает свой протест вопросами, будто ожидая «оттуда» немедленного ответа, точного разъяснения. И, не дождавшись, он снова спрашивает:

— Или в самом деле там сидят только изменники, взяточники, воры?..

Я передаю его слова Артамонову. Он по обыкновению долго молчит, медленно достает свой кисет, медленно сворачивает козью ножку и, только закурив, отвечает:

— А он, стало быть, еще сомневается... «Неужели?», «может ли быть?»... Дурак он, интеллигент, вроде тебя... Кабы не были они воры, разве сидел бы здесь народ разутый, убогий, голодный?.. Разве дрался б против пушек штыками?.. Весь их механизм воровской, весь наскрозь, от низу до верху! Этим и живут.

Ночью слышим далекий грохот орудий. И далеко, слева от нас, на черном горизонте вспыхивает зарницами багровое зарево. Оно то вдруг становится золотисто-

ярким и огромным, будто придвигается к нам, то спадает, темнеет и уходит вдаль...

Весь следующий день орудийный гул слышен все ближе и ближе, и небо за далеким хребтом холмов затянуто черным туманом.

Проходит еще день. Гул орудий приближается. Ночью зарево появляется справа от нас. Нам кажется, что нас сжимают огненным кольцом, что нас охватывают гигантской петлей и нам уже не уйти из чудовищных лап. Завеса огня и черного тумана стеной стоит перед глазами; гул и грохот орудий, как далекие раскаты грома, перекатываются по небу.

Мы, как звери, изощренные чутьем, животным инстинктом чувствуем опасность.

На рассвете нового дня, когда мы спали, завернувшись в шинели, с грохотом, с воем, свистом и гулом в пятистах шагах от роты разорвался огромный снаряд.

Земля под ногами дрожит, и нас будто подбрасывает. Все сразу вскакиваем и долго слышим гул в воздухе, как после удара гигантского колокола.

Впереди, на пустом пространстве, еще не рассеялась огромная туча дыма и пыли. Она медленно отделяется от земли и, разрываясь на клочья, расплывается по сторонам.

Медлительно проходят минуты. Мы напряженно и неотрывно смотрим в сторону разрыва, ожидая нового удара. Моментами напряженность ожидания доходит до безумного желания — скорей бы, скорей новый удар!

На серых, истомленных лицах солдат разлита желтоватая бледность. Блестят запавшие, больные глаза.

На востоке загораются первые багровые полосы, еще омраченные сверху синевой. На маленьких голубых облаках появляются снизу золотистые барашки. Небо окрашивается в розовые, багряные, изумрудные, бирюзовые и синие цвета.

Левее нашей роты, против расположения соседнего батальона, не долетая до окопов, разрывается снаряд. Опять огромный столб черного дыма и земли, с красно-желтой огненной сердцевиной. Опять грохот, гром и гул и медленно расплывающееся черное облако.

Каждые несколько минут раздается оглушительный взрыв то в одном, то в другом месте, против линии на-

шего полка. Ветром доносит запах дыма и взрывчатых веществ. Снаряды разрываются уже и позади наших окопов. Мы сидим глубоко в своих норах, прижавшись к стенкам. Взрывы слышны чаще и чаще, почти один за другим. Один из них раздается совсем близко, оглушая с такой силой, будто взлетели в воздух тысячи пудов листового железа... Звук взрыва смешивается с каким-то глухим, плотным призвуком тяжелого шлепанья, будто на землю упали тяжелые мешки с песком.

За взрывом раздаются крики и стоны. Они длятся много времени и заглушаются только следующими снарядами. Потом стоны продолжаются. Мы их слышим, кажется, много часов. Под ураганным огнем тяжелых орудий раненых не подбирают, и они лежат в разворороченных окопах, полузасыпанные землей и бревнами, с оторванными конечностями, истекающие кровью. Проволочные заграждения во многих местах разворочены, спутаны и сбиты в кучу.

Вечером мы выползаем из окопов и видим позади себя горящие деревни. Все небо объято ярко багряным заревом. На фоне его вьется причудливыми фигурами черный дым над горящими халупами. Тонкие языки пламени лижут клубы дыма, вздымаясь вверх и наклоняясь, как деревья, колеблемые ветром... Видны очертания построек, освещенных пожаром и нетронутых еще огнем. Внезапно вспыхивает один угол, и через минуту постройка горит ярким костром. Горят все соседние деревни, зажженные огнем снарядов...

Мы сонными глазами смотрим на пылающий горизонт и на черные силуэты сгоревших деревень...

По линии окопов в разных местах мелькают фонари. Убирают раненых и убитых. У санитаров длинные палки с острыми наконечниками. Проходя между неподвижных тел, они тыкают палкой в тело, чтобы отличить живых...

Уснуть, уснуть, скорее уснуть!

Я влезаю в блиндаж к батальонному командиру, заворачиваюсь в шинель и прижимаюсь к стенке. Чайка говорит:

— Спите, спите, на рассвете разбудят. Спокойной ночи...

— Спокойной ночи...

От рассвета до позднего вечера мы не можем высунуть головы и сидим в полутемном окопе без движения. Навесы над окопами не сплошные, и под сильным огнем мы сбиваемся в кучу, прячась под легким прикрытием. В конце ходов сообщения имеются убежища от сильного огня, но нам не разрешают туда уйти, ожидая каждый час атаки. Да и убежища могут спасти только от шрапнели, — тяжелые снаряды их разносят, как и окопы.

Где-то недалеко позади нас расположились наши тяжелые батареи, и к грохоту немецких разрывов прибавляется гром орудийных выстрелов. Беспрерывный гул сотрясает воздух. Мы ждем как избавления ночной темноты.

Но ночью нас заставляют чинить окопы и проволочные заграждения, рыть новые ходы сообщения и хоронить мертвых.

На рассвете к огню тяжелых батарей прибавляется шрапнель. Она осыпает нас мелкими осколками и фонтаном пуль.

Немцы открывают ураганный огонь, подготовляя атаку. В окопах суматоха и паника. Ее создают недавно прибывшие запасные и ополченцы. Снаряды рвутся у самых окопов и над головой.

Аэроплан, летающий над нами, сбрасывает бомбы.

Нам приказывают не отходить от своих мест. У ног каждого из нас груды патронов и ручные гранаты.

Издали видны редкие цепи перебегающих немцев. Огонь тяжелых снарядов прекращается. Мы высовываем головы и видим разрывы наших шрапнелей над немецкими цепями, растянувшимися в несколько рядов по всему полю. Немцы приближаются, и мы открываем бешеный ружейный и пулеметный огонь. Оглушительная, резкая, сухая трескотня дробью рассыпается по полю, вздымая облака пыли.

Наш огонь подбадривает, и мы энергичней заряжаем винтовки, беспрерывно стреляя. Цепи продолжают придвигаться. Они уже ясно видны. По окопам бегут взводные, указывая прицел.

Совсем близко от меня, над нашей ротой разрывается шрапнель. На минутку оглядываюсь и схожу со ступеньки в глубину окопа. Там лежат и сидят раненые,

сбившись в кучу. Возле них возятся санитары, укладывают их на носилки. Возвращаюсь на свое место и вижу цепь, заметно придвинувшуюся к нам. У меня мелькает мысль: «Они отчаяннее других, и чорт их несет прямо на нас...» Рядом со мной надрывается пулемет.

Цепи движутся все ближе и ближе... Огонь артиллерии прекращается. И длинные изогнутые ряды, отрываясь от земли, несутся на нас... Сквозь грохот и шум стрельбы слышно: «О-о-о-о-о... О-о-о-о-о...»

С винтовками наперевес немцы бегут, широко раскрыв орущие рты.

Позади редеющих немецких цепей лежат по всему полю разбросанные тела. Из-за дальних холмов появляются новые цепи и быстро приближаются к передним. Наш огонь становится еще сильнее...

К нашему окопу приближается большая группа немцев... Мы ясно различаем их искаженные лица... Огонь нашего пулемета, винтовок и ручных гранат вырывает из их группы больше половины. Остальные бросают в нас гранаты и приближаются к самому окопу. Мы стреляем в упор, и они падают у самого бруствера. Несколько человек бросают винтовки, поднимают руки, но падают, сраженные пулями...

Новые цепи приближаются, но рассеиваются под режущим огнем.

Атака не удалась.

Немцы бегут назад. Одни бегут, даже не пригибаясь, другие ползут, немногие, бросив винтовки, ползут к нашему окопу... Два аэроплана, окруженные белыми дымками нашей шрапнели, набирают высоту и исчезают.

Все пространство впереди нас усеяно немцами. Наш огонь их преследует. Падают убитые, раненые и укрывающиеся от огня.

Убегающих преследуют разрывы шрапнели.

Поле, насколько видит глаз, от края до края засыпано тысячами людей. Поле живет, колышется, и на нем копошатся, как муравьи, кучки людей.

Потом остаются одни раненые и убитые.

Раненых, лежащих ближе к нашим окопам, подбирают наши санитары. Позже далеко от нас появляются немецкие команды, уносящие своих раненых и убитых. Беру у взводного бинокль и смотрю на работу санита-

ров. Они движутся в разные стороны с носилками в руках, возятся на земле, уходят за холмики и вновь возвращаются.

Все дни после атаки немцы беспрерывно засыпают нас снарядами. Огонь не прекращается весь день и причиняет нам жестокий урон, разрушая окопы и вырывая тысячи людей. По ночам мы вместе с саперами чиним окопы, нам посылают подкрепления, и мы снова сидим, оглушаемые взрывами и осыпаемые осколками.

Теперь уже наша артиллерия всю ночь бьет по неприятелю. Всю ночь ползают по небу щупальцы прожекторов, освещая облака и внезапно падая на землю.

Нам не уйти отсюда. Мы — безвольные жертвы чужих планов и решений. Немцы решили во что бы то ни стало «выбить» нас из окопов, сбить с наших позиций, продвинуться во что бы то ни стало вперед.

Наши решили во что бы то ни стало удержать позиции, не уступать ни пяди земли, устоять против любого натиска.

Немцам нужно сломить сопротивление, прорвать фронт, и они с варварской настойчивостью, железным натиском прут на нас, бросая полк за полком, теряя тысячи людей, расстреливая десятки тысяч снарядов...

Русским надо удержать фронт, не допустить прорыва, и мы губим полк за полком...

За восемь дней — три атаки... Подготовляя каждую длительным, упорным разрушительным огнем, засыпая нас тысячами снарядов, создавая ад вокруг окопов — немцы внезапно бросают свои цепи в атаку. Не доходя до наших окопов, разорванные цепи теряют своих людей, сраженных густой тучей ружейных и пулеметных пуль. Оставшиеся ползут назад или гибнут у самых проволочных заграждений.

Здесь за десять дней на длинном и узком пространстве погибло несчетное количество людей. Здесь изуродованы и искалечены огромные толпы, бесчисленные массы немцев и русских...

В безумной, фантастической ночной атаке немцы не доходят до наших окопов. Наши малочисленные и скверные прожекторы открывают их случайно слишком рано, и в кромешной тьме мы стреляем без цели, неизвестно куда... Не видя неприятеля, не зная, далеко ли он

или у самых окопов, напрягая зрение, мы механически стреляем в пространство и швыряем ручные гранаты. Мы стреляем долго, очень долго... Это длится, кажется, часами. Стволы винтовок накалены.

Потом прожектор освещает поле впереди нас, и мы видим много лежащих тел и уползающих людей.

Напрасно мы ждем обещанной смены. Смены нет. Нас некому сменить. И мы продолжаем сидеть в окопах.

Над нами царит странная, непривычная тишина. Канонады нет. Все кругом сожжено. Земля разворочена. Мы сидим возле окопов и лениво беседуем. Молодой вольноопределяющийся из третьего батальона, обросший и грязный, лежит на спине, заложив руки за голову.

— Неужели же никто за нас не заступится? Неужели нас весь мир забыл? Ведь есть же десятки нейтральных стран, — почему они не вмешиваются, не пытаются помирить воюющих?

Ему никто не отвечает. Он садится и опять говорит:

— Вы знаете, я вот был на юридическом факультете. Изучал право. Каких только прав нет! Право государственное, право римское, полицейское, международное, естественное и еще десятки прав... Есть и право войны. Так и называется. Право войны. Это — часть международного права. Этим правом еще с шестнадцатого столетия война рассматривается как средство восстановления нарушенных и выяснения спорных правоотношений. Иначе говоря, — это юридический процесс между государствами... И вот сумели ведь государства сговориться — что можно, чего нельзя. Даже правила ведения войны сочинили. И как объявлять войну, и как ее вести, и как можно убивать и как нельзя. И чем можно, и чем нельзя. Мол, вообще без войны никак не обойтись, это конечно, но надо ее обязательно гуманизировать... А потому — воюйте, но, пожалуйста, соблюдайте правила приличия и гуманности... Ну, стреляйте там, ну, из пушек, из пулеметов, из винтовок; колите штыками, рубите шашками, отрывайте руки, ноги, головы; разрывайте животы, вываливайте внутренности; сжигайте и разрушайте города и деревни, выгоняйте миллионы беженцев, уничтожайте миллионы людей; оставляйте де-

сятки миллионов калек и сирот, — но только, пожалуйста, делайте это как можно гуманнее... Иначе, знаете ли, вам придется за это отвечать...

Вольнопер вскакивает и, возбужденно размахивая руками, кричит:

— Но почему же не могут сговориться, что воевать совсем нельзя? Нельзя, и кончено! Сто прав всяких выдумали, почему нет простого человеческого права? Нельзя воевать, нельзя натравливать миллионы на миллионы и долгие месяцы друг друга уничтожать, грабить и жечь. Нельзя!...

Он сразу умолкает, смотрит на нас потухающими глазами и устало садится. Он вяло продолжает:

— Сколько юристов в мире! Сколько охранителей законов! Сидят они в своих кабинетах и составляют обвинительные акты или защитительные речи по поводу кражи со взломом, убийства из ревности или покушения на строй... А почему они не соберутся и не выработают закона для всех государств, запрещающего войну?

Он осматривает всех, как бы ожидая ответа, но все молчат. Немолодой солдат из вновь прибывших запасных замечает:

— Н-да... Закону, конечно, такого нету. А только его ежели и напишут, все едино толку не будет... Нет... Воевать завсегда будут... Потому — в ей, в войне то есть, кому-то есть интирес. Да... Нам это ни к чему... Н-да... И с которыми деремся, тем тоже не надо. Им тоже ни к чему... А которым надо, те дома сидят и в каретах ездиют. Н-да... А нам от этого — одна гибель.

Артамонов коротко бросает:

— Ну, нам ли, — это еще неизвестно...

Вольнопер продолжает:

— И еще знаете что? Я вот в православной семье родился. Родители религиозные. И сам я, знаете, как-то так и в церковь ходил, и говел, и крест целовал... Все, знаете, как полагается. Я, знаете, думать обо всем этом не успел. Но сейчас я думаю. Я много думаю...

Он снова вскакивает:

— Почему же высшее духовенство молчит? Ведь Христос заповедал: «не убий». Почему же духовенство благословляет войну? Почему нас батюшка ведет в бой с крестом в руке? Почему молчат патриарх православ-

ный и папа римский? Почему они не вмешиваются и не говорят: «Довольно, остановитесь! Христос запретил убивать»?

Он как-то сразу устает, увядает и, как будто поняв свою юношескую наивность, смущенный, молча садится.

Артамонов, в последнее время как-то сразу заметно постаревший, обросший мохнатой бородой, с глазами еще более впавшими и темными, лежит возле оратора животом вниз и, упершись локтями в землю, положил подбородок на ладони. Когда студент умолкает, он еще некоторое время молчит, потом садится, сердито лохматит бороду и резко бросает:

— Папа римский... Чорт крымский... И еще чего? Ведь вот — образованный, студент, ученый... «Я думаю, много думаю»... А много ль ты надумал? Только и всего, что про патриарха православного? А ведь того умная твоя голова не понимает, что в них-то все горе, в них-то весь обман...

И, неожиданно вскакивая, он с несвойственной ему горячностью, резко, сердито кричит:

— Все-то вы учили, все-то узнали, все поняли! Образованные! А почему самого главного не знаете? Или, может, врете, что не знаете? А? Я вот ничему не учился. И книг, может, с полсотни за всю жизнь прочел. И слов-то я таких не знаю, как твои — про права и прочее... А только одно я знаю: сколько времени земля существует, столько народы между собой воюют... А почему воюют? Сами они того хотят? Им она нужна? Народам то ись? А? Нет, не им нужна, а верховодам, высшей власти — императорам всяким, королям, папам римским, землевладельцам, фабрикантам, купечеству! Какую б причину ни выставляли — за Христа, за веру, за народ — все врут, все людей колпачут... За свои богатства воюют, за свою землю кровь чужую льют, за свое золото народ на бойню гонют... Все для своего брюха! Все!.. Народ как был нищий да убогий — таким и останется... Только что калек и сирот прибавится. Вот... Понял, умная твоя голова?. А когда народ сам все раскумекает, когда сам за ум хватится, да против мучителей своих обернется, тогда такой войне конец. Понял? Народам между собой ссориться незачем, им делить нечего. Всем добра хватит, только работай...

Артамонов передохнул и начал было дальше говорить, но неожиданно замолчал. Он издали увидел приближающегося фельдфебеля. Приход его не был случайным. Очевидно, кто-то успел ему шепнуть о речах Артамонова.

— Ну, что ж ты молчишь? — бросил фельдфебель. — Рассказывай дальше. Приятные речи — приятно слушать...

И, как бы продолжая свой прерванный рассказ, Артамонов снова начал.

— Я, значит, дома. Иду в хлев... Подхожу к стойлу, овса насыпаю и хочу уйтить. Только смотрю — и корова и конь пятятся из хлева, медленно эдак, до дверей и вон на двор... Я их загнать хочу обратно, значит, в хлев. Добегаю до них, смотрю — они в воздухе подымаются и летят. И так медленно ногами и хвостами помахивают. И вдруг они уже не корова и не конь, а риопланы... Поднялись повыше и оттелево бонбу — бряк вниз. Как грохнет, — я во сне думаю: убило... И проснулся. Смотрю — у нас недалеко от окопа чемодан шваркнуло... Ну, думаю, слава тебе, господи!

Ночью раскаты грома рвут небо и потрясают воздух. Золотые изломы зарниц ослепляют нас, на короткий миг освещая небо. Воздух насыщен запахом земли, ароматом далекой зелени и терпким озоном. Раскаты грома напоминают близкий разрыв тяжелого снаряда. Вспышки молнии разрезают синим золотом небо. Они, точно ракеты, освещают черное поле и мрак горизонта.

Летний ливень сплошной массой воды падает на сухую землю. Шум дождя так велик, что мы не слышим друг друга. Мы сбиваемся в кучи под навесы, но земля в навесах размывается и грязными струйками стекает вниз. Дождь косыми струями обливает нас. Мы промокаем насквозь. Вода потоками хлещет в окопы и задерживается в них, не успевая пойти по стокам. Мы стоим по щиколотки в воде и грязи.

Ливень продолжается до рассвета.

Мы во власти липкой, жидкой грязи и воды. В окопах вода, стены мокры, вылезть наружу нельзя, края обваливаются. Шинели, винтовки, вещевые мешки — все мокрое. Дует холодный ветер...

Дождь кончается.

И сразу же начинается канонада. В одну-две минуты на небольшом расстоянии разрывается несколько снарядов и падает у самых окопов.

Немцы открывают ураганный огонь из тяжелых и трехдюймовых орудий. Мы никогда не видели такого безумного количества снарядов. Мы никогда не слышали такого грома разрывов, такого пронзительного воя шрапнели, таких криков раненых.

Совсем близко возле нас разорвался снаряд. В сером полумраке рассвета вижу обвалившийся и разбросанный во все стороны бруствер, заваленный землей окоп и копошащуюся кучу людей...

Не успеваю рассмотреть, что там... Над головой раздается гром... На меня обваливается куча земли, и я падаю на дно окопа. Тяжелая двойная дверь, засыпанная землей и служившая навесом, отлетает в сторону.

Я, кажется, цел. Вылезаю из-под кучи земли и грязи.

Канонада усиливается. Окопы разворочены. По всему полю, близко к окопам, взлетают черные столбы с огненным стержнем. В воздухе висят и тают белые дымки шрапнели.

Я хватаюсь за торчащий край двери и вылезаю из окопа.

Из черных ям выскакивают солдаты и бегут, не сгибаясь, по размокшему полю. Окопы оставлены. Впереди рвется снаряд. Кусок огня, фонтан земли. Мы обегаем это место, будто здесь должен разорваться второй снаряд. Бегу вперед и в сторону, помня, что здесь где-то близко шоссе. Я не вижу никого из наших. Кругом чужие. Другие батальоны, другие полки. У маленькой рощицы артиллеристы успели запрячь лошадей в трехдюймовки, но орудия вязнут в грязи, и их невозможно вытащить. Офицер, надрываясь, зовет бегущих солдат помочь, но все бегут мимо.

Добегаем до шоссе. Отступают штаб полка и лазарет. Вскачь несутся двуколки, линейки, верховые, мчатся велосипедисты...

Немцы знают пути отступления. Их снаряды рвутся уже на шоссе. Убитых и раненых никто не подбирает. Валяются разбитые подводы, брошенные двуколки, убитые лошади. Мы бежим, не останавливаясь.

Я бегу с толпой однополчан.

Мне рассказывают, как убило Чайку...

Я не хочу верить... Когда? Где?

Когда Чайка увидел бегущий из окопов батальон, он выскочил из блиндажа, желая остановить солдат.

Но осколок шрапнели попал ему между глаз.

В двух шагах от него убит Былин.

Я механически бегу вместе с другими. В глазах серый туман. И в тумане смеющееся лицо веселого Былина, щелки его лукавых глаз:

«Та ну вас к бису, с вами тилько греха наберешься... Та ладно, уси тамочки будем...»

Проплывает лицо Чайки, его добрые, красивые глаза смотрят с ласковым упреком:

«Зачем же вы оставили меня одного?»

Мы бежим, потом идем и опять бежим... Мы пересекаем поле и приближаемся к другой дороге. Здесь та же картина. Солдаты, линейки, двуколки, верховые, мотоциклы...

Издали я узнаю огромную фигуру Артамонова. Он взвалил на плечи раненого и, согнувшись под тяжестью ноши, грузно шагает к шоссе. Заметив меня, он кричит:

— Что, антиллигент, устал?.. С ног валишься?.. Погоди, снесу этого, сдам в двуколку — за тобой приду!

Я верю ему. Он сильный, несокрушимый. Он знает какую-то правду, которой не знаю еще я, эта правда делает его крепким, уверенным.

Пробегаем мимо издыхающей лошади. Она поднимает голову. Ее красивый большой темнокарий глаз наполнен такой тоской, что я отворачиваюсь, чтобы не видеть его.

Над нами летят аэропланы и сбрасывают бомбы... По всему полю рвутся снаряды. Мы окружены огненным кольцом.

Я больше не могу бежать.

Почти падая, я сажусь в грязь на краю дороги. В ста шагах рвется снаряд... Но я не поднимаюсь...

Мне хочется прилечь...

Я ложусь и закрываю глаза...

Ю. Вебер

ПРОРЫВ

Шел 1916 год, третий год мировой войны. В Берлин, в главную квартиру германского командования, приехал главнокомандующий австро-венгерскими вооруженными силами фельдмаршал Конрад фон Гетцендорф. Был теплый майский день, когда он сидел в большом неуютном кабинете начальника германского генерального штаба Фалькенгайна. Беседа длилась уже более часа. Конрад только что объехал восточный фронт, те места, где линия австро-германских позиций находилась против русских войск. Он лично обследовал состояние австро-венгерских армий и теперь был в полной уверенности, что австрийские укрепления неприступны. Он считал вполне возможным перебросить несколько австрийских дивизий против Италии.

— Вы твердо уверены, ваше превосходительство, что вам не грозит никакой опасности со стороны русских?— спросил Фалькенгайн своим неизменно любезным, но холодным тоном.

Конрад самодовольно усмехнулся:

— Я уже сообщал вашему превосходительству, что русские не имеют в Галиции никаких шансов на успех. Они и не готовятся к активным действиям. Только для того, чтобы подвезти тяжелую артиллерию, им понадобится не менее четырех-шести недель. «Русский медведь любит спать», — заключил он, давая понять этой фразой, что никто лучше не знает характера русского народа, чем фельдмаршал Конрад.

На этом разговор двух главнокомандующих закончился. Это было 28 мая.

Ровно через неделю, 4 июня, наступил день рождения австрийского эрцгерцога Фердинанда. Еще накануне вечером австрийские офицеры решили «спрыснуть» приближение столь важного события. В благоустроенных блиндажах и землянках австрийцев было шумно и весело. Празднование затянулось далеко за полночь. Пили за здоровье «любимейшего эрцгерцога». Пили во славу «победоносного австрийского и германского оружия». Пили за прекрасных дам. А потом, разгорячившись, пили за то, чтобы накласть как следует по шее русским, которые сидят вон там, в своих окопах, на расстоянии всего пятисот метров.

И в этот момент русская артиллерия совсем неожиданно открыла ураганный огонь. На протяжении четырехсот верст, по всему юго-западному фронту русских — от реки Припяти до границ Румынии — одновременно началась мощная артиллерийская подготовка. Вслед за ней русская пехота и кавалерия пошли в атаку.

Австрийцы и германцы были ошеломлены внезапностью нападения. Никто не предполагал, что русские готовятся к наступлению. И главным «героем» этого наступления оказалась русская артиллерия, о которой так пренебрежительно отозвался фельдмаршал Конрад.

Немецкий военный корреспондент при австрийской главной квартире писал в те дни в газете «Штутгартский листок новостей»:

«Надо признать, что в последних боях русские обнаружили неожиданную мощь. В особенности следует отметить необычайную силу артиллерии... Во многих местах победа решалась неприятельской артиллерией».

На французском театре войны германцы вели ожесточенное наступление на крепость Верден — опору всего французского фронта.

В этой «верденской мясорубке» перемалывалось неслыханное количество людей и материальных средств, Франция переживала тяжелые дни.

Итальянцы терпели серьезные неудачи и под ударами австрийской армии панически отходили на последние отроги Альпийских гор.

В Северном море разыгралось крупнейшее в мировой истории морское сражение — Ютландский бой. Здесь, на тяжелых свинцовых водах у пролива Скагеррак, про-

изошло историческое единоборство английского Большого флота с германским, не давшее определенных результатов.

Румыния все еще колебалась: перейти ли ей на сторону Антанты или же сохранять попрежнему дружественный нейтралитет по отношению к Германии и ее союзникам.

Примерно в эти же дни происходило и другое важное событие, имевшее большие последствия. В небольшом городке Могилеве, известном до того лишь своей полукустарной промышленностью, — здесь выделывались хорошие голенища для сапог, — 14 апреля 1916 года под председательством Николая II состоялся военный совет русской армии.

Обсуждался вопрос чрезвычайной важности. Надо было готовиться к большому наступлению на австро-германцев. На этом настаивали союзники. Нехватало тяжелой артиллерии. Русская промышленность не могла дать тяжелые снаряды, а между тем австро-германцы чрезвычайно сильно укрепились на своих позициях. Но надо было наступать. Надо было отвлечь германские силы от Вердена, а австрийские — с итальянского фронта. После долгих колебаний совет решил, наконец, что военные действия должен начать юго-западный фронт и нанести противнику первый удар. При этом прорыв австро-германского фронта надо осуществить сразу в нескольких пунктах, чтобы неприятель не мог догадаться, где же ему наносится главный удар, и заранее подтянуть к этому месту свои резервы. Командующий юго-западным фронтом генерал Брусилов был единственным на военном совете, кто верил в успех операции и боеспособность русского солдата. Он не просил ничего, — ни лишних орудий, ни лишних снарядов, — а только разрешения наступать.

И когда председательствующий в последний раз посмотрел своими рыбьими бесцветными глазами в рот начальника штаба, руководившего прениями, и молча по его знаку утвердительно кивнул головой, совет закрылся.

Яркое апрельское солнце заливало своими теплыми лучами землю Буковины и Восточной Галиции. Оно ос-

вещало невспаханные поля, погорелые деревни и селения, темные линии русских и австро-венгерских укреплений. Легкий пар подымался от влажной почвы, еще не просохшей от весенних дождей и разлившихся многочисленных речек и ручьев. Кружил в воздухе запах прелой земли, гниющих трупов, конского навоза.

В чистом небе послышалось гудение мотора.

— Летит! — сказал один из русских солдат, присевший под козырьком траншеи.

— Наш, — ответил другой.

Самолет шел на небольшой высоте. Летчик-наблюдатель, перегнувшись через борт, внимательно смотрел вниз. Он отчетливо видел расположение своих войск. Вот светлая блестящая полоска. Это ручей Роменцы, вдоль которого тянутся передовые окопы русских. Слева вдали можно разобрать дома в деревне Доброноуц, находящейся в руках австрийцев. А на правом фланге русских позиций хорошо видно в бинокль местечко Онут, расположенное на берегу Днестра, который делает около этого места большую извилину. Здесь, на участке Онут—Доброноуц, расположен одиннадцатый армейский корпус, входящий в состав девятой армии юго-западного фронта.

Летчик-наблюдатель получил только что задание от начальника артиллерии: разведать расположение противника, попытаться обнаружить его новые батареи, новые подъездные пути, месторасположение штабов, складов и т. п.

Австрийская передовая линия шла очень близко от русских окопов — на расстоянии всего трехсот-четырехсот метров. В одном месте неприятельские позиции вдавались широким «языком» в расположение двенадцатого корпуса русских. Именно на этот «язык» и просил обратить особенное внимание начальник артиллерии.

Самолет пролетел над узлом трех лощин — хороший, знакомый ориентир на этой местности. Вот заблестели два небольших пятна — два маленьких озера. Недалеко от них видна группа строений. Это винокуренный завод. Летчик-наблюдатель стал внимательно всматриваться. Там внизу, по дороге от хутора Влайко к винокуренному заводу, он увидел движущийся предмет. Несомненно, это был автомобиль. Наблюдатель сделал знак пилоту, чтобы тот

спустился возможно ниже. Самолет сделал круг. Теперь наблюдатель увидел двух всадников, которые выехали с территории завода и неспеша направились к передовым позициям. Явилась мысль, что на заводе разместился штаб какой-то неприятельской части. Наблюдатель удовлетворенно усмехнулся и поставил на карте жирный крестик.

Самолет стал опять забирать вверх. Вот он пролетает над голой местностью, где стоят также хорошо знакомые по предыдущим полетам береза и тополь. Но почему около дерева вырос вдруг такой большой куст? В прошлый раз его не было. А вон там появился и другой куст, не отмеченный ранее на карте. Наблюдатель наклонился к фотоаппарату, укрепленному в полу фюзеляжа. Щелкнул затвор, еще и еще раз.

В этот момент в воздухе недалеко от самолета появилось небольшое белое облачко, затем другое такое же облачко возникло несколько выше, справа от самолета, третье было еще ближе. В борт стукнуло несколько раз железным пальцем. Самолет сделал крутой вираж и, повернув резко влево, пошел по направлению к деревне Доброноуц.

Пролетев мимо желтого глинистого поля, летчик взял курс несколько на запад, опять в глубь расположения противника. Вскоре показалась длинная извилистая полоска. Это была аллейная дорога, ведшая из деревни Хорошоуц к Доброноуц. Между деревьями этой дороги наблюдатель заметил какое-то движение. Казалось, что по дороге медленно ползет длинный червяк. Опять самолет пошел кругами вниз, опять щелкнул затвор фотоаппарата, фиксируя на пластинку движущуюся колонну войск.

Пилот сделал знак наблюдателю и указал ему на запад. Наблюдатель увидел в небе три быстро приближающиеся точки. Это были немецкие «фоккеры». Надо было уходить.

В начале мая в расположении войск одиннадцатого армейского корпуса появились незнакомые люди. Большинство их было одето в артиллерийскую форму. Они появлялись всюду — в передовых караулах, во всех око-

пах, в различных тыловых пунктах. Они привезли с собой карты, планы, схемы, какие-то таблицы. Они не принимали участия в той ленивой и случайной перестрелке, которая ведется обычно в периоды так называемого затишья, когда противники стоят неподвижно месяцами друг против друга, основательно окопавшись, уйдя глубоко в землю, спрятавшись в блиндажи, землянки, лисьи норы. Внимательно и подолгу рассматривали они в бинокль и трубы видимые позиции австрийцев. Все замеченное ими заносилось на карты и планы: ход сообщения, пулеметное гнездо, дерево, куст, блиндаж, какое-нибудь строение. Особо интересные участки и предметы снимались фотоаппаратами. Самым тщательным образом обшаривали эти люди весь район расположения своих войск. Изучали дороги, мосты, возвышенности, овраги.

Первые четыре дня новые люди обходили местность всей группой. Потом они разделились. Они рассеялись в местности, как бы пропали среди бугров, кустарников, лесных массивов. Но незаметная, скрытая от посторонних взоров работа продолжалась. То одного, то другого из них можно было случайно увидеть в самых неожиданных местах. Вы видели такого артиллериста то стоящим на каком-нибудь высоком холме в тылу, то сидящим на дереве у опушки леса, то лежащим на крыше домика, который каким-то образом уцелел в передовой полосе фронта.

Вот он разглядывает в бинокль район расположения противника, отмечает на своем планшете основные местные предметы. Но какие-то участки не видны артиллеристу с его пункта наблюдения. Он покрывает их на карте продольными и поперечными линиями. На планшете появляются густо заштрихованные площади неправильной формы, темные, как непроглядная ночь. На артиллерийском языке это называется «зачерчивание полей видимости». Каждое такое пятно говорит о том, что нужно искать какое-то другое место, откуда можно было бы хорошо наблюдать скрытый участок неприятельской местности, снять с этого участка покрывало невидимости.

То здесь, то там артиллеристы-разведчики вбивали в землю небольшие колышки. На колышках черной краской были нарисованы различные номера...

Если собрать воедино все, что видели артиллеристы-разведчики с различных пунктов, то получилась бы, примерно, следующая картина австро-венгерских передовых позиций, расположенных против одиннадцатого армейского корпуса. Справа, на высоте «272», было построено неприятелем сильное укрепление в виде редута — земляного сомкнутого многоугольника. Ближе к середине местность понижалась, там был виден большой овраг, названный Камчатским. Еще левее стояло одинокое грушевое дерево. Около него были ясно видны белые рогатки, поставленные перед окопами австрийцев. Здесь начинался тот самый «язык», который так интересовал начальника артиллерии. За рядами кольев с колючей проволокой внутри «языка» отчетливо виднелись конюшни и продольные и поперечные ходы сообщения между окопами.

Слева у основания «языка» выделялся серый блиндаж. Далее австро-венгерские позиции шли вновь ровной линией. В одном месте, у высоты «278», можно было различить желтые окопы, еще левее был устроен большой «еж» — бетонный блиндаж для нескольких пулеметов. Далеко на левом фланге виднелась большая возвышенность, так называемая Лысая гора — одно из сильнейших укреплений противника.

Такая картина расположения австро-венгерских позиций и предстала перед начальником артиллерии ударной группы, когда он отобразил на плане местности все свои личные наблюдения и наблюдения своих помощников.

Начальник артиллерии сидел за грубо сколоченным столом в одной из хат деревни Ржавенцы. Эта деревня находилась в трех верстах от передовых позиций. Был уже поздний вечер. Светложелтое пятно от керосиновой лампы изредка колебалось на потолке, когда в раскрытое окно задувал прохладный ветерок. Начальник артиллерии откинулся на табурете к стенке и устало закрыл глаза.

«Хорошо было французам, — думал он, — когда они били немцев в Артуа в прошлом году. У них на участке главного удара в пятнадцать километров было сосредоточено девятьсот орудий. Плотность — примерно одно орудие на каждые шестнадцать метров. У меня участок главного удара такой же, а орудий всего двести.

Плотность в четыре раза меньше. Мало, очень мало. У австрийцев наверняка больше. Но что делать! Все имеющиеся в девятой армии полевые мортиры отданы в наш корпус. И почти все тяжелые орудия. Больше никто ничего не даст».

— Ну что ж, будем изворачиваться. Попробуем сделать «внутренний заем», — произнес он вслух и вновь склонился к бумагам, разложенным на столе.

Несомненно, главный удар должен быть нанесен в то место, где позиции австро-венгерцев выдаются в виде языка. Здесь наша пехота во время атаки будет наиболее ограждена от флангового огня, так как, строго говоря, флангов здесь и нет. Начальник артиллерии провел на плане местности четыре жирных линии. Этим он разделил фронт прорыва на три участка: два второстепенных по бокам и один — главный — в середине, против самого «языка».

Начальник артиллерии углубился в математические расчеты. Исписав цифрами несколько страниц, он положил, наконец, карандаш и удовлетворенно вздохнул. Он нашел способ сделать «внутренний заем». На обоих второстепенных участках он расположит всего сорок орудий. Эта артиллерия должна только поддерживать действия средней группы и в первый период боя мешать противнику подтянуть к месту главного прорыва свои силы с соседних позиций. Против самого же «языка» надо будет сосредоточить все сто шестьдесят остальных орудий. Таким образом, на коротком участке в три километра должна действовать огромная масса артиллерии. Плотность станет очень большой: одно орудие придется на восемнадцать метров.

— Не хуже, чем у французов, — опять громко сказал начальник артиллерии.

Сидевший в углу писарь молча покосился в его сторону...

В штаб привели перебежчика. Здесь было уже много народа, когда вошел начальник артиллерии. Все разглядывали перебежчика. Он стоял посреди комнаты, худой, с петушьими ногами и безусым лицом. Он смотрел на всех испуганными глазами и, очевидно, ждал, что сейчас с ним начнут делать что-нибудь ужасное. Когда начался

допрос, перебежчик чрезвычайно обрадовался и с большой охотой отвечал на вопросы, задаваемые переводчиком.

Он кадет первой роты двадцать третьего ландштурмбатальона. Зовут его Иванóвичем: Душан Иванóвич. Его часть стоит недалеко от желтого поля. Он бежал из полевого караула. Сколько их всего — он не знает. Солдат много, есть венгерцы, австрийцы, есть и немцы. Среди офицеров много немцев.

— Спросите, где у них стоят батареи, — сказал начальник артиллерии.

У перебежчика вновь сделалось испуганное лицо. Он этого не знает. Сейчас его заподозрят, что он все скрывает. Хотя, впрочем, вспомнил. Он недавно ездил со своим командиром в штаб, на винокуренный завод, и видел, как в стороне от дороги, около пересечения двух ручьев, устанавливали орудия.

Начальник артиллерии записал что-то в своем блокноте.

— Как укреплены позиции? — спросил он у переводчика.

Перебежчик оживился. Здесь он может блеснуть своими знаниями. Им будут довольны. Его отправят в тыл... Позиция состоит из трех укрепленных линий. Вторая расположена за первой в ста шагах, а третья — в пятистах шагах. В первой линии идет сначала один окоп, а за ним, на расстоянии десяти шагов, еще окоп.

— Какой глубины окопы? — спросил начальник артиллерии.

— Полтора метра будет. Мне вот так, — и перебежчик указал до подбородка, — и еще бруствер, — и кадет провел ладонью над своей головой. — У второй линии бруствер больше метра.

«Двухярусная оборона», — записал начальник артиллерии в блокноте.

Штабной офицер продолжал допрос. Перебежчик подробно описывал позиции своих войск. Перед первой линией построены искусственные препятствия: полоса проволочных заграждений из четырех рядов кольев, затем два ряда проволоки, по которой пущен сильный ток. Далее идет полоса из девяти рядов кольев и засека из толстых срубленных деревьев. Перед засекой вырыты

окопы для полевых караулов; они защищены в свою очередь четырьмя рядами колючей проволоки. Полевые караулы имеют сообщение с первой линией по специальным ходам, прорытым под проволокой...

«... Да, придется нашим артиллеристам основательно поработать», — думал начальник артиллерии, возвращаясь домой.

По ночам работали саперные команды. Они приходили в те места, где артиллеристы-разведчики вбили свои колышки с номерами.

Они подбирались к этим местам, прорывая в земле специальные ходы. Затем рыли узкие, глубокие ямы, в которых могло укрыться несколько человек. Укрепляли их бревнами, мешками с землей, иногда настилали сверху досками и забрасывали дерном или ветками.

Все это делалось с величайшей осторожностью. Комендантские помощники следили за скрытностью работ. Было строго запрещено ходить поверх ходов, разводить огонь, сваливать материал для построек открыто в кучи. Перед восходом солнца все работы прекращались.

Через несколько дней наблюдательные пункты были готовы: целая разветвленная сеть наблюдательных пунктов, раскиданных по всей местности. Были построены основные пункты, передовые, боковые, запасные, были построены пункты для командиров батарей, дивизионов, бригад, были построены пункты для командиров артиллерийских групп, для начальника артиллерии и его помощников.

Тогда началась «охота». В построенные пункты пришли артиллеристы-наблюдатели. Вооруженные биноклями, стереотрубами, полевыми перископами, они день и ночь, час за часом, минута за минутой скрытно следили за расположением противника, стараясь «поймать» его огневые точки, наблюдательные пункты, батареи.

Наблюдательный пункт № 1 помещался на высоком холме с левого фланга наших позиций. Чтобы пробраться в этот пункт, надо было зайти обязательно с тыловой стороны холма и пройти затем почти до его вершины густым кустарником. Далее шел узкий окоп, который переходил в крытый земляной коридор. По этому кори-

дору и попадали в самый наблюдательный пункт. Наблюдатели устроились здесь даже с некоторым комфортом. В сравнительно просторной землянке, вырытой полукругом, могло поместиться человек пять. На полу была накидана солома. На отбитой от какого-то сарая широкой двери сладко спал, завернувшись в шинель, один из наблюдателей. Другой сидел на табурете и записывал что-то в полевую книжку, раскрытую на коленях.

В одной из стен землянки была прорезана узкая поперечная щель. У этой смотровой щели стоял третий наблюдатель и внимательно смотрел по сторонам. Отсюда была хорошо видна Лысая гора, деревня Хорошоуц и опушка расположенного между ними леса.

— Опять лезет! — сказал наблюдатель, стоявший у смотровой щели.

— Где? — спросил тот, кто сидел на табурете.

— На Лысой, — ответил первый.

Сидевший на табурете взглянул на часы и сделал запись в полевой книжке. Потом встал и подошел посмотреть.

Несколько дней тому назад наблюдатели обратили внимание на подозрительный бугор, который виднелся на Лысой горе немного правее установленных там рогаток. В одиннадцать часов утра стала стрелять неизвестная неприятельская батарея. Наблюдатели заметили, что, пока стреляла эта батарея, из-за бугра на Лысой горе все время высовывался офицер с биноклем. Это был неприятельский наблюдатель. Когда батарея смолкла, он исчез. В семь часов вечера из блиндажа на бугре вышел человек, стал ползать по земле, а потом скрылся за горой. Очевидно, это был телефонист, проверявший провод.

Наблюдатели все это записали в своем журнале. Они стали с удвоенным вниманием следить за бугром. На следующий день, в половине девятого утра, в блиндаж пробрался офицер. В руках он держал какую-то папку, блестевшую на солнце. Офицер этот через десять минут ушел, а еще через десять минут опять начала стрелять та же неприятельская батарея. И опять из-за бугра выглядывала фигура.

На рассвете третьего дня наблюдатели отметили, что бугор увеличился почти вдвое и от него появился

ход сообщения за гору. Было видно, как работали австрийские саперы. Они углубляли ход и выбрасывали землю.

А вот теперь опять неосторожно вылез офицер и, покопавшись немного в земле, скрылся. Наблюдатели ясно увидели в бугре щель. Вероятно, ее недостаточно хорошо сделали изнутри. Не оставалось сомнений, что противник устроил здесь постоянный наблюдательный пункт.

Все это во всех подробностях было записано в артиллерийском журнале наблюдения. Но не только это удалось заметить наблюдателям с пункта № 1. По записям в журнале начальник артиллерии видел, что в те же дни им удалось обнаружить австрийскую батарею восточнее костела в деревне Хорошоуц. Они «поймали» ее по блеску выстрелов, которые появлялись между костелом и серым дымом, когда батарея стреляла по расположению русских войск. А затем наблюдатели увидели однажды, как за костелом остановился зарядный ящик и солдаты носили патроны на батарею.

Точно так же они обнаружили и батарею в направлении на домик лесника и, видимо, штаб полка, расположенный в домике с красной крышей у южной опушки леса, там, где проходило широкое шоссе.

Так артиллеристы-наблюдатели раскрывали постепенно основные точки противника, по которым нужно будет сосредоточить огонь своих орудий. Десятки незаметных, скрытых глаз следили за каждым движением врага, за каждым его дыханием, ловили малейшую его оплошность...

Скрипели и хлопали двери. Жалобно стонали половицы под тяжестью грубых сапог. Приходили и уходили люди. Приходили связисты, и с ними нужно было разработать схему телефонных пунктов. Приходили топографы и приносили вычерченные планы неприятельских позиций. Приходили начальники ударных групп и требовали указаний, больше орудий, больше снарядов, всего больше. Приходили командиры дивизионов и батарей, и с ними нужно было ехать на дополнительную разведку. Приходили аэрофотограмметристы и приносили расшифрованные снимки, сделанные с самолетов. При-

ходили для личных докладов летчики, комендантские помощники, наблюдатели с привязных аэростатов.

Агентурная разведка доносила, что силы неприятеля, расположенные между селами Городенки и Доброноуц, включают: австрийскую пехотную дивизию, венгерский ландверный полк, две кавалерийских дивизии, группу ландштурмистов и, кроме того, венгерские гонведные части, которые надо отнести к наиболее крепким и устойчивым частям противника. Есть и отдельные части немцев; среди инструкторов много германских офицеров.

План местности, который был развернут на столе начальника артиллерии, покрывался все новыми и новыми значками. У винокуренного завода начальник артиллерии нарисовал черный квадратик, он означал штаб полка, обнаруженный летчиком. Здесь же неподалеку, на пересечении двух ручьев, он провел короткую линию, перечеркнув ее двумя поперечными черточками. Это означало неприятельскую батарею, о которой рассказывал перебежчик на допросе. Она вошла в список под № 22. Дальше в глубине была отмечена около березы с тополем батарея за № 21, та самая, которая была укрыта кустом и которую летчик заснял с воздуха. На вершине Лысой горы появился кружок с крестиком внутри. Это был неприятельский наблюдательный пункт на бугре, «пойманный» русскими наблюдателями.

Точно так же были отмечены на плане и домик с красной крышей, и батарея у костела Хорошоуц, и многие другие наблюдательные пункты и батареи, местонахождение которых раскрыли артнаблюдатели, разведчики, летчики. . .

Теперь австро-венгерские позиции предстали перед начальником артиллерии, как на ладони. Все было ясно. Все основные укрепления, все наиболее важные точки огневого сопротивления, связи и управления, все возможные подходы противника из тыла к передовой линии — все теперь сложилось в одну стройную картину. Результат целого месяца кропотливой, напряженной работы огромного количества людей самых разнообразных военных специальностей лежал теперь на столе, собранный и сконцентрированный в немногих картах, схемах и таблицах.

Оставался последний этап подготовительной работы — составление артиллерийского плана, того железного графика, по которому будут точно расписаны действия всей артиллерийской массы, начиная от целых групп и кончая отдельными батареями.

Вся артиллерия, которая была сосредоточена для прорыва главного участка — «языка», была в свою очередь разбита для удобства управления на три группы. При этом опять средняя группа была наиболее сильной. Она представляла собой как бы самое острие жала, которым должен быть нанесен смертельный укус противнику.

Каждая группа должна была проделать по шести проходов в проволочных заграждениях противника. Для этого в группах было выделено по двенадцати легких орудий. Было так же точно определено, сколько орудий в той или иной группе должно стрелять по неприятельским окопам. В средней группе еще предусматривались специальные орудия для разрушения телефонных ходов.

Помимо всего была намечена совершенно особая и самостоятельная группа артиллерии, которая должна была вести борьбу с батареями противника и обстреливать его тыл.

Если бы какой-нибудь сторонний наблюдатель зашел в середине мая к начальнику артиллерии, он бы подумал, что люди увлечены весьма интересной военной игрой. За столом сидели начальники участков, начальники групп, ближайшие помощники начальника артиллерии. Перед ними лежал план неприятельских позиций, вычерченный в большом масштабе.

— Я предлагаю, — говорил маленький толстый полковник, которому было поручено командование средней группой, — я предлагаю второму дивизиону тридцать второй бригады в начальный период боя обстреливать окопы противника. Вот эта батарея будет стрелять по белым рогаткам. Очень удобно: огонь получается совсем косоприцельным, — полковник провел пунктирную линию, которая показывала, что снаряды будут ложиться в окоп противника сбоку. — Огонь других батарей этой бригады распределяется по другую сторону «языка», — полковник ткнул пальцем в серый блиндаж и известковое пятно. — Во второй период боя этот дивизион переносит свой

огонь в тыл противника. Он захватывает своим обстрелом весь сектор от хорошоуцкого ручья до винокуренного завода, — полковник провел на плане две жирные линии, обозначавшие сектор обстрела.

Седой генерал-майор, командующий правой группой, с большой горячностью доказывал, что восемнадцать легких орудий его одиннадцатой артиллерийской бригады должны стрелять в первый период боя по хорошо укрепленному району на вершине «272», а во второй период — по району, где стоит береза с тополем, откуда, несомненно, будут подходить подкрепления противника...

Генерал чертил на плане синим карандашом и с увлечением рассказывал, как противник подходит по дороге от хутора Влайко, как его останавливает огонь одиннадцатой бригады и как противник обращается в бегство...

Вскоре план стал походить на пеструю разноцветную картину со множеством различных условных значков, крестиков, тонких и жирных линий, в сложной паутине которых сторонний наблюдатель уже ничего не мог бы понять.

Но начальник артиллерии прекрасно разбирался в этой кажущейся путанице. Для него это была стройная «схема участков обстрела» отдельными батареями. По ней он сразу видел, что огонь почти всех орудий был направлен по косой линии к неприятельским окопам, что сектора обстрелов, как и полагалось, ложились один на другой, что «пустых», непростреливаемых мест в неприятельских позициях не было. Все это было хорошо. Но надо было сделать еще очень многое. Надо было убедиться, что одни батареи не мешали другим. Надо было по возможности выполнить все пожелания пехоты о том, где именно проделывать проходы в проволоке и какие огневые точки противника следует подавить в первую очередь. Надо было согласовать действия отдельных групп и выработать план выдвижения батарей с началом атаки...

Долго продолжалась еще эта своеобразная «игра», на карту которой ставились не деньги и не мелкий азарт, а огромные человеческие усилия, тысячи людских жизней, военная слава и честь русской артиллерии.

Но где же были те батареи и орудия, огонь которых распределяли начальник артиллерии и его помощник? А их еще не было. Большинство их стояло еще в глубоком тылу, в стороне от дорог, скрытое в лесах и рощах вместе с артиллерийскими парками и обозами. Орудия были покрыты чехлами, на передках дремали дневальные и дежурные, а расседланные лошади лениво щипали молодую весеннюю травку.

Уже давно были намечены артиллерийские позиции и занесены на все карты и планы. Уже давно были оборудованы и тщательно замаскированы места для орудий, вырыты углубления для зарядных ящиков, погребки для снарядов, сделаны ровики и землянки для артиллерийской прислуги и командиров. Уже давно телефонисты соединили незаметно эти позиции проводами с наблюдательными пунктами, с местами пребывания начальников, с центральными телефонными станциями, с передовыми окопами пехотных частей. Уже много раз командиры батарей и артиллерийских дивизионов выезжали на свои позиции. Они определили с помощью угломеров и дальномерных приборов все главнейшие цели и дистанции до них. Они подсчитали затем основные исходные данные для открытия огня и даже поправки на рассеивание снарядов. А большинство артиллерийских позиций оставалось попрежнему пустыми.

Ничто не должно было выдать противнику сосредоточение войск в районе прорыва девятой армии. Пушки и гаубицы, зарядные ящики, повозки, коновязи и палатки были укрыты сверху ветками, травой, полотнищами, окрашенными под цвет и рельеф окружающей местности. Многие дороги, ведущие из тыла к передовой линии фронта, были закрыты для всякого движения с трех часов утра до девяти вечера. По другим дорогам днем разрешалось передвигаться только одиночным повозкам и небольшим командам в десять человек, — и то на дистанциях не менее двухсот шагов друг от друга. В некоторых местах были намечены вехами обходные дороги, по которым с величайшей осторожностью передвигались лишь с разрешения специально выставленных часовых.

Многие батареи, особенно тяжелые, были подвезены к фронту и поставлены на свои позиции лишь за сутки до начала боя.

Немецкие летчики, появлявшиеся над расположением русских войск, не могли заметить никаких приготовлений к крупной операции. Они видели под собой только мирную картину русского тыла, то размеренное течение военных будней, когда противник желает, по всей видимости, лишь одного: закрепить свое положение и возможно спокойнее провести время. Австро-германцы и не подозревали о той гигантской подготовительной работе, которая шла при величайшей скрытности в глубоком тылу и на передовых позициях русских, о той работе, которая накопляла на небольшом отрезке фронта огромные количества энергии, чтобы затем одним коротким ударом обрушить ее сразу на голову врага.

Немецкие летчики могли лишь увидеть кое-где нарочно плохо замаскированые батареи. Они аккуратно заносили их на карты, а австрийские артиллеристы готовились стрелять по пустым местам, где были только крупные толстые бревна на подставках, изображавшие стволы орудий.

С середины мая русская пехота начала постепенно сближаться с противником. Полковые и батальонные командиры указывали артиллерийским начальникам, какие неприятельские пулеметные гнезда и полевые караулы мешали продвижению пехоты. Когда наступала ночь, артиллеристы открывали по этим точкам огонь. Стреляли преимущественно из легких орудий, чтобы не выдать присутствия в этом районе тяжелых батарей. При этом орудия выдвигались на другие места, чтобы противник не обнаружил тех позиций, с которых эти орудия должны будут стрелять в день атаки.

А пока артиллерия ослепляла пулеметные гнезда австро-венгерцев, пока она отрезала ходы сообщений и неприятельские полевые караулы, пока она мешала встревоженному противнику вести самому огонь из орудий, бомбометов, винтовок, — в это время русская пехота лихорадочно рыла окопы на несколько шагов впереди передовой линии и ходы сообщений к ним. И когда затихала ночная тревога, когда начинал уже брезжить утренний рассвет, австро-венгерцы видели на десяток шагов ближе к себе свежевырытые окопы русских, укреплен-

ные мешками с землей и обнесенные рогатками с колючей проволокой.

Через несколько дней ночью опять делался отчаянный судорожный бросок вперед, и еще несколько драгоценных метров отвоевывалось от страшной зоны огня и смерти.

Так на всем протяжении четырехсот верст юго-западного фронта медленно подползала передовая линия русских окопов к австро-германским укреплениям. В конце мая расстояние между ними было не более двухсот шагов. Бежать такое расстояние надо всего полторы-две минуты...

3 июня, после жарких сухих дней, прошла сильная гроза. К вечеру наступила приятная прохлада. Из окна избы, где сидел маленький толстый полковник — начальник средней группы артиллерии, был виден красивый бледнорозовый закат. Но полковник не замечал его красоты. Он склонился над листом разграфленной бумаги и писал. Это был последний подготовительный приказ. Он начинался следующими словами: «Обстановка не изменилась. Атака австрийской позиции на всем фронте армии назначена на завтра. Приказываю...»

Дальше шло подробное расписание, которое указывало, что должна делать каждая батарея в первый период боя и затем, после начала пехотной атаки. Для всех батарей были указаны строгие границы на местности, в пределах которых они должны вести обстрел. Было указано время, когда можно начать пристрелку и когда вести огонь на поражение. Затем давался точный расчет по часам — с какой скоростью должно стрелять каждое орудие. И, наконец, шли распоряжения более общего порядка: о переносе огня во время атаки, о запасах гранат и шрапнелей, о батарейных наблюдательных пунктах, о телефонной связи, о выдвижении артиллерии и многом другом.

Приказ был уже давно размножен на копировальной машинке и разослан с ординарцами по всем дивизионам и батареям, а толстый полковник все еще сидел за столом и еще и еще раз проверял все возможности предстоящего боя. Все было как будто правильно. Все части огромного артиллерийского механизма были расставлены

по своим местам. У каждой своя, строго определенная задача. Действия отдельных батарей точно слажены между собой, как работа умной машины. Боевую готовность всей массы артиллерии можно было бы сейчас сравнить с туго натянутой тетивой лука: готовая лопнуть от предельного напряжения, она ждет только последнего легкого толчка, чтобы мгновенно освободить огромную накопленную энергию и со злым свистом пустить тяжелую стрелу в сердце врага. Такой толчок был дан спустя несколько часов.

Вот как это произошло.

I

Медленно поднимался бледный рассвет, предвещая начало нового дня. Исчезали постепенно причудливые ночные тени и силуэты. Все казалось каким-то серым и бесцветным. Занимался день 4 июня 1916 года. С юго-востока потянул легкий ветерок. Он едва заметно колебал травинки перед окопами австро-венгерцев, шевелил волосы у спавших солдат, тонкой струйкой тянул цыгарочный дым у задремавшего часового.

Было три часа, когда с правого фланга русских позиций показалось большое облако зеленовато-желтого цвета. Легкий ветерок двигал это облако в сторону высоты «272», где находился сильно укрепленный редут неприятеля. Облако медленно ползло по земле, окутывая рогатки и колючую проволоку, заполняя каждую ямку, каждое углубление. Бесшумно и зловеще ползло оно в утренней тишине, все ближе и ближе подбираясь к австро-венгерскому редуту. . .

Вдруг резкий звук разорвал тишину. Частые металлические удары прозвучали в воздухе. Раздались свистки. Человеческие крики. Забил надрывно колокол, рождая страх и смятение. Каждый удар колокола, казалось, кричал: «Газ! Газ! Газ!» Шум все усиливался. Видно было, как на высоте «272» забегали австрийцы и венгерцы. Началась паника.

И в этот момент русская артиллерия открыла по всему фронту огонь. Тетива была спущена.

Первый снаряд, как и было указано в артиллерийском плане, разорвался ровно в четыре часа утра. Это начала пристреливаться вторая батарея первого тяжелого диви-

зиона. Она стреляла по первой линии неприятельских окопов. Тотчас же вступила и батарея мортирного дивизиона, а за ней и другие батареи тяжелой артиллерии, стрелявшей по второй линии окопов и по тылу противника. Командиры батарей сидели в наблюдательных пунктах, выдвинутых далеко вперед, и по телефону корректировали стрельбу. Каждое орудие пристреливалось отдельно. Десять бомб или десять гранат, потом несколько выстрелов шрапнелью.

Через сорок минут орудия умолкли, но тотчас же стала пристреливаться другая группа тяжелой артиллерии. Опять на каждое орудие десять бомб или десять гранат и несколько выстрелов шрапнелью. Еще через сорок минут приступила к пристрелке третья группа — гаубиц и пушек крупного калибра. Одновременно вели пристрелку и легкие пушки, выпуская тридцать гранат по проволочным заграждениям.

В шесть часов утра все орудия одновременно перешли на поражение. Вся артиллерийская масса заработала, как точно выверенные часы.

Через каждые шесть минут бухало тяжелое орудие, посылая со зловещим свистом огромную бомбу. Так же размеренно стреляли и более легкие орудия, но промежутки между выстрелами были в два раза короче. Еще быстрее стреляли пушки по проволочным заграждениям.

Спустя час огонь усилился. Теперь каждое тяжелое орудие стреляло с правильным интервалом в две с половиной минуты, а более легкое — ровно через две.

Прошло еще сорок пять минут, и, согласно расписанию, командиры батарей опять отдали приказ повысить интенсивность огня.

Ревущий смерч огня и стали все нарастал. Колья и рогатки взлетали высоко вверх вместе с фонтанами взорванной земли. Стальная колючая проволока, которую часто не могли взять никакие ножницы, рвалась под ударами снарядов, как простая бумажная нитка. Осколочные гранаты осыпали по косой линии неприятельские окопы и ходы сообщения, выметая на своем пути все живое. Толстые своды блиндажей и убежищ трещали и обрушивались под ударами бомб и фугасных снарядов. Специально выделенные орудия бомбардировали наблюдатель-

ные пункты и батареи австро-венгерцев, их штабы и узлы телефонной связи. Стрельбу этих орудий направляли самолеты, летавшие над расположением противника, и привязные аэростаты. Оглушенный и ослепленный враг, подавленный неожиданностью нападения, отвечал вяло и беспорядочно. Падение австрийских снарядов показывало, что у противника не было определенного плана стрельбы, что он не знал, где находилось большинство русских батарей и пунктов наблюдения и связи.

Русские артиллеристы стреляли с неумолимой методичностью. Каждое орудие наводилось отдельно, получив строго определенную цель. И по этой цели оно выпускало снаряды через совершенно одинаковые промежутки времени. Полторы минуты — один снаряд. Еще полторы минуты — еще снаряд. Опять полторы минуты— опять снаряд...

Эта строгая методичность более всего угнетала австро-венгерцев. Она страшным бичом хлестала по нервам, не давая ни малейшей передышки. Человеческий организм был в состоянии невероятного напряжения. Методичность огня создавала впечатление, что этому никогда не будет конца. Австрийцы, венгерцы и немцы сидели, запертые в своих убежищах, тесно прижавшись к земляным стенкам, к полу, к своим товарищам, напрасно надеясь найти у них поддержку упавшему мужеству.

Но вот русская артиллерия вдруг перестала стрелять. Наступило полное молчание. Противник облегченно вздохнул. Ад кончился. Теперь русская пехота могла пойти в атаку. Но теперь все было не страшно после этой сумасшедшей артиллерийской подготовки. Австрийцы, венгерцы, немцы быстро наполнили свои окопы. Они ждали русскую атаку.

Но передышка продолжалась всего пятнадцать минут. С той же внезапностью, с какой был прекращен огонь, налетел новый ураган снарядов. Еще чаще стал смертоносный ритм стрельбы русской артиллерии. Оставляя груды трупов в окопах и ходах сообщения, австрийцы, венгерцы, немцы бежали обратно в свои убежища. После такой короткой передышки, как правильно рассчитали русские артиллеристы, нервы противника, в силу реакции, невероятно ослабели. Переносить размеренную бомбардировку стало еще труднее. Моральное состояние не-

приятельских войск окончательно падало. У многих начинались характерная апатия и отупение.

Около десяти часов утра артиллерийский огонь заметно ослаб и стал постепенно переходить на вторую линию австро-венгерских позиций. По всем признакам начиналась атака русской пехоты. Усталые и измученные австрийцы, венгерцы и немцы опять вылезли из своих убежищ, встали к уцелевшим пулеметам, у ружейных бойниц, под защиту траншейных козырьков.

Однако русская пехота опять не пошла в атаку. И опять через пятнадцать минут на передовую линию противника обрушилась лавина бомб и снарядов. Шрапнель производила страшные опустошения среди неприятельских солдат. В смятении и ужасе ринулись уцелевшие в живых к бетонированным укрытиям и лисьим норам.

Огонь русской артиллерии достиг небывалой силы, не теряя своей правильности. Тяжелые пушки и гаубицы стреляли через каждые две минуты. И через каждую минуту посылали легкие орудия свои гранаты. Они долбили и рвали последние препятствия в укреплениях австро-венгерцев. Русские артиллеристы — наводчики, замковые, правильные, заряжающие, ящичные — работали с неслыханным напряжением сил, чтобы поддерживать все время такой бешеный ритм стрельбы.

Неприятельские солдаты перестали уже представлять собой организованное войско. Это было сборище душевно потрясенных людей, думающих лишь о спасении.

Так продолжалось еще более часа. Затем артиллерийский огонь стал убывать и постепенно уходить вперед.

Ровно в полдень русская пехота поднялась из своих окопов и пошла в атаку. Роты и батальоны устремились в широкие проходы, которые проделала артиллерия в проволочных заграждениях. Можно было бы ожидать, что атакующих встретит сильный ружейный, пулеметный и орудийный огонь противника. Но этого не было. Неприятельские орудия, подавленные огнем русской противобатарейной группы, или молчали вовсе, или же стреляли медленно и плохо. Молчали и пулеметы в разрушенных блиндажах. А большинство защитников австро-венгерских окопов сидело в страхе в своих убежищах, боясь снова попасть под ложный перенос огня и не веря, что русская пехота действительно идет в атаку.

Русские артиллеристы, руководствуясь выработанным планом, перенесли свой огонь на те цели, которые были намечены в боевом расписании под рубрикой: «С началом движения пехоты». Они били по ходам сообщения, по второй линии неприятельских окопов, по крайним высотам—«272» и Лысой горе, по Камчатскому оврагу, лощинам, откосам холмов, — одним словом, по всем местам, где могли пойти на помощь передовой линии. Открытые же места обстреливались редким огнем, но каждую минуту, в случае появления противника, русская артиллерия готова была перейти на сильную беглую стрельбу. Это была огневая завеса. Она образовала широкую дугу, которая стальной стеной изолировала от внешнего нападения бегущую вперед русскую пехоту.

Через двадцать минут части одиннадцатой и тридцать второй русских пехотных дивизий почти беспрепятственно заняли всю первую линию окопов противника.

Австрийцы, венгерцы и немцы, окончательно деморализованные, не оказывали сопротивления. Лишь иногда раздавались одиночные выстрелы. Глубокие подземные убежища, построенные с такой тщательностью под руководством германских инструкторов, оказались ловушками. Стоило лишь одному русскому пехотинцу встать у входа в убежище с ручной гранатой, как спасения уже не было: весь гарнизон сдавался в плен.

Вскоре подоспела и русская девятнадцатая пехотная дивизия. Она спешно занялась перелицовкой взятых окопов. Солдаты переносили мешки на ту сторону, рыли бойницы, устраивали козырьки. . .

А передовые части, неудержимо стремясь вперед, пошли дальше.

Но вот со стороны хутора Влайко и деревни Доброноуц показались цепи противника, идущего в контратаку. Густые колонны свежих резервов австро-венгерцев быстро приближались. Но тут русская артиллерия открыла частый огонь из своих батарей, устраивающих огневую завесу. Вновь поднялась непреодолимая стена огня и стали, осыпая противника шрапнелью и осколочными гранатами. Австро-венгерцы дрогнули и отступили.

Еще и еще раз бросались они с отчаянием в контр-

атаку, и каждый раз огневая завеса заставляла их обращаться в бегство. Это было подобно тому, как злобно ревущие волны накидываются на гранитный берег и неизменно отступают обратно, разбитые и обессиленные.

Русская пехота под прикрытием огня артиллерии развивала свой успех. К двум часам дня была занята высота «272», а затем и другие ближайшие высоты, имевшие серьезное тактическое значение. «Языка» более не существовало. Он был сметен артиллерией и превратился в широкие ворота, через которые мощным потоком шли русские полки. Они направлялись к винокуренному заводу, к дороге, ведущей на хутор Влайко, они приближались к деревне Доброноуц, заходили в тыл Лысой горе, заняли желтое поле, переправлялись через ручьи...

Прорыв был осуществлен блестяще. Войска развивали его в обе стороны, распространяясь в тылу противника. Часть легких батарей русской артиллерии уже была взята в передки и рысью выезжала вперед. По заранее проложенным дорогам, по специальным мостикам, настланным на свои окопы, орудия ехали на новые позиции.

Теперь наступал полевой бой. Теперь нужно было отбросить всякие точные и неукоснительные расписания. Наступил момент, когда в полной мере вступали в силу творчество и инициатива младших боевых начальников...

Так работала русская артиллерия на фронте одиннадцатого армейского корпуса, который входил в состав девятой армии. Примерно так же действовала артиллерия и на других участках всего юго-западного фронта. Достаточно было умело использовать сравнительно небольшое количество артиллерии и тщательно заранее подготовить ее действия во всех деталях, чтобы затем одним коротким ударом, длившимся всего восемь часов, решить успех прорыва. Нужны были, конечно, люди, которые смогли это осуществить.

Артиллерия была той главной силой, которая обеспечила крупнейшую победу русских войск на юго-западном фронте летом 1916 года, известную в истории под названием «Брусиловского прорыва».

Австрийцы и германцы вынуждены были спешно пе-

ребросить к местам прорыва крупные резервы. Несколько германских дивизий было снято с западного театра войны. Верден был спасен. Австрийцы прекратили атаки на итальянском фронте и также потянули свои войска на русский фронт — в Галицию.

Не часто в мировой истории войны встречаются примеры подобного решительного успеха, какой выпал на долю русских войск в первые дни Брусиловского прорыва. Более двухсот тысяч пленных захватили русские только в первые три дня боя. Тридцать восемь пехотных и одиннадцать кавалерийских дивизий австро-германцев были разгромлены и бежали, оставляя на пути орудия, огневые припасы, военное имущество.

Русский солдат, как в 1914 году, вновь спас Францию. Он спас и Италию. Русский солдат решил и поведение Румынии. Тотчас же вслед за Брусиловским прорывом на юго-западном фронте Румыния объявила войну Германии и ее союзникам.

*

Лев Славин

ДЕЛО ПОД КАРТАМЫШЕВЫМ

1

Весной 1916 года Н-ская дивизия занимала позицию у Картамышева, на германском фронте.

Дивизия была из дрянных. Обмундирование на людях худое. Обижали довольствием. Каптенармусы подобрались вороватые. Часто портились винтовки из-за нехватки ружейного масла и шомпольных накладок.

В штабе дивизии этому не придавали значения. Там главное полагали в боевом духе солдата, и действительно, русские солдаты дрались стойко. Большинство же бед происходило от того, что начальник дивизии, генерал-майор Добрынин, оказался плохим командиром.

Много лет он был инспектором классов в военном училище и главными воинскими доблестями привык считать хорошую выправку и канцелярский порядок. В дивизии генерала называли «вонючий старик». Наступать он не любил так же, как и отступать, потому что это нарушало порядок. Расположение сбивалось, части перемешивались. Придя в дивизию, Добрынин досаждал солдатам дурацкими выдумками, вроде того, чтобы они на ночь раздевались и при этом подштанники выкладывали перед собой аккуратными четырехугольниками.

Окружавшие генерала штабные офицеры были подстать ему. Он и подбирал их по признаку спокойствия характера. Он терпеть не мог споров, резких действий, никакой работы для ума и воли.

Что же касается до боевых и распорядительных офицеров, рассеянных по четырем полкам дивизии, то они не

имели на штаб никакого влияния. Во всей армии существовала старинная рознь между штабными и окопными.

Отчаявшись завести в окопах школьные порядки, генерал махнул рукой на дивизию. Он не выходил из своей квартиры в бывшем поповском домике при картамышевской церкви и все писал письма влиятельным петроградским родичам, умоляя исхлопотать ему отчисление из действующей армии. И в конце концов генералу было обещано после первого же успешного дела устроить ему перевод на покойное место в солидном тыловом штабе.

Итак, остановка за малым: нужна победа. Добрынин решил двинуть дивизию в наступление. Собственно, он не имел на это права. Однако всегда можно было оправдаться, назвав атаку вылазкой. Правда и то, что никакой надобности в атаке сейчас не было. Она была генералу даже неприятна, как всякое действие, к тому же кровавое. Но дело шло к пасхе, на пасху всегда награждали орденами и производством по службе, и генерал не хотел пропустить случая.

Он заперся в кабинете и заставил себя произвести некоторые мысленные расчеты. Во всех четырех полках его дивизии было, примерно, пятнадцать тысяч человек. Для того чтобы храбрость войск выглядела высокой, следовало добиться не менее тринадцати процентов убыли состава. Если пустить половину дивизии, это дало бы около тысячи убитых и раненых.

Получив эту цифру, «вонючий старик» несколько расстроился. Тысяча смертей и калечий. Сколько вдов и сирот, какое горе для невест. Но что поделаешь? В конце концов это война. Его сосед по участку, этот пролаза генерал-майор Навроцкий, показывал пятнадцать и даже шестнадцать процентов. А ведь он пришел на фронт армейским подполковником, такое дермо. Все дело в умелой организации атаки. А генерал Деникин доходит до двадцати. Он гремел на всю армию, его дивизию называли «Железной», для солдата нет ничего страшней, чем угроза перевести его в «Железную».

При мысли о генералах-конкурентах, постоянно его обставляющих, Добрынин озлобился. Довольно, в самом деле, разыгрывать из себя институтку. Этак всю войну проканючишь в начальниках дивизии. Генерал в волне-

нии прошелся по комнате. Расчеты еще не кончены. Помимо убыли состава, следовало исчислить и количество героев. Мысленно прикинув, Добрынин решил быть щедрым. Да, здесь тоже не следует скупиться. Нужен размах. Шестьдесят. Нет — семьдесят. Нет — семьдесят пять солдатских и офицерских георгиев. Вместе с тысячью павших это прозвучит солидно.

Генерал повеселел. Он даже растрогался. Он стал думать о том, сколько радости принесут солдатам маленькие серебряные крестики. Что касается тринадцати процентов смерти, Добрынин считал их вполне обеспеченными как плохим состоянием вооружения, так и всем известной стойкостью русских солдат. И больше об этих тринадцати процентах генерал не стал думать.

В ту же ночь был подписан приказ об атаке. Она назначалась на следующий день. Приказ сообщили полковым и батальонным командирам. Младшему офицерству и солдатам решено было открыть его перед самой атакой — ввиду плохого настроения солдат. Приближалось время посевов, и люди тосковали по дому.

2

С утра шел дождь. К полудню прояснилось. Вышло бледное солнце. Пригретая земля пахнула. В воздухе, в цвете неба появилась какая-то нежность. Неужели придет весна?

Тихон Великанов, немолодой солдат из ратников, сидевший у бруствера, отколупнул кусочек земли. Он промял ее между пальцами. Она ему понравилась. Он сказал соседу:

— Богатая земля.

Сосед ответил:

— И удобрение богатое.

Ленивым жестом сосед указал вперед, в поле.

Тихон глянул в бойницу: посреди поля, на проволоке висели трупы. Нынче ночью охотники вышли, чтобы разрезать проволоку, были найдены неприятельскими прожекторами и расстреляны из пулеметов.

Тихон отвернулся. Шутка ему не понравилась.

Тихон и сам был шутником, но в другом роде — в добродушном. У него была репутация ротного бала-

гура. В каждой роте есть свой лучший танцор, лучший гармонист и лучший шутник. В окопах веселятся, как всюду. Лицо с крошечным носом и высоко поднятыми бровями содержало в себе что-то забавное. Всегда на нем была гримаса веселого удивления. Тихон умел талантливо представлять из себя дурачка. Когда он только пришел в полк, его и в самом деле считали дурачком. Но уже скоро, во время ротных занятий по штыковому бою, товарищи раскусили, что Тихон человек не очень простой.

Эти занятия происходили на плацу. Там стояли чучела, грубо воспроизводившие очертания человеческого тела. Фельдфебель Негреев вызвал Тихона.

— Смотри, Великанов, это есть твой враг. Ты должен его заколоть. Вот таким манером.

Негреев вскинул винтовку, кровожадно выкатил глаза и, сделав три чистых балетных выпада, всадил штык в чучело. Посыпались опилки. Прием длился несколько минут.

Тиша сказал:

— А враг согласится ждать, покуда я его убью? Уговор есть?

В рядах заулыбались.

Негреев крикнул:

— Не рассуждай. Коли!

Тиша кольнул.

— Сердись больше! Помни, что перед тобой твой враг. Сердись!

Фельдфебель отошел к другим солдатам.

Оставшись наедине с чучелом, Тиша взялся за дело добросовестно. Он бил чучело по соломенному пузу, колол его, рвал руками, дубасил прикладом.

Рота хохотала.

Когда фельдфебель вернулся к Тихону, на земле лежала кучка деревянного хлама и опилок — все, что осталось от прибора для обучения штыковому бою.

Тихон с достоинством доложил:

— Господин фельдфебель. Убил врага. Не встанет.

Он получил за это два наряда не в очередь и репутацию хитрейшего мужика во всей роте.

Соседом Тихона, который так дурно сострил об удобрении, был вольноопределяющийся Георгий Соломонов,

огромный, красивый детина, первый силач полка. Непонятно, что связывало двух столь разных людей. Только в окопах завязывались такие необыкновенные дружбы. Соломонов кончил два факультета — философский в Лейпциге и юридический — в Одессе. Жадность этого человека к наукам, схватчивость его ума, редкостное трудолюбие заставляли ждать от него больших дел. Все в нем было крупным. Он не успел сдать государственные экзамены, когда его призвали на войну.

Образование давало Соломонову право стать офицером. Но как еврею ему было это недоступно. Это уязвляло его гордость. Он стал совершать чудеса храбрости, надеясь таким образом заслужить чин. Слава о его подвигах дошла до штаба армии. Его наградили двумя крестами и дали ему нашивки ефрейтора. Большего он не достиг. Он озлобился. Он впал в мрачное безразличие и целые дни писал письма к жене, которую обожал.

Через несколько дней Соломонову выходил отпуск. Он решил после отпуска не возвращаться в армию, а, забравши жену, бежать за границу, но там вступить волонтером во французскую армию, чтобы никто не мог упрекнуть Соломонова в трусости. Он не сомневался, что там, где развитию его способностей не будет поставлено предела, он быстро достигнет высших степеней, доступных военному человеку. Он нашел, что именно военное дело было его истинным призванием, но не в качестве солдата, мокнущего на дне окопа, а — стратега, решающего судьбу войны. Один Тихон знал всю глубину его сумасшедшего честолюбия. Вши, сырость, жидкий суп — мелкие солдатские заботы донимали Соломонова. Но он выходил из себя, наблюдая действия штаба дивизии, такие мелкие и бескрылые.

Сейчас Соломонов сидел на дне окопа, поставив винтовку между колен и лениво переругиваясь с Тихоном. Речь шла о том, чтобы им обоим после войны зажить вместе.

— Ты переедешь в город, — говорил Соломонов своим властным, нетерпеливым голосом, — поселишься рядом со мной. Дело найдется.

Он убрал свои длинные ноги, чтобы дать пройти прапорщику Врублевскому, который мотался взад и вперед

по окопу, нервно прислушиваясь к противному вою мелкокалиберных снарядов.

Прапорщик Врублевский, новый ротный командир, только несколько дней как прибыл в окоп. Это хмурый и неразговорчивый юноша. Лицо у него маленькое, бледное. Глаза он вечно устремляет в землю, как бы впадая в задумчивость, но на самом деле избегая смотреть собеседнику в глаза. И ко всему — кислое выражение лица, словно у него всегда болит живот.

Однако все бы это ничего, если бы не его вчерашнее поведение в блиндаже.

3

Вчера немцы жарили из тяжелых орудий. Меткость у них была не очень точная, чорт его знает почему. Возможно, орудия поизносились и прицелы обманывали. Так или иначе — было больше шуму, чем дела. Все-таки с непривычки было страшновато. Тем более, что они жарили без перерыва. И некоторые снаряды разрывались в неприятной близости от блиндажа. А когда пошли в ход двадцатиодносантиметровые, стало совсем неважно. Кто-то закричал. Но это не мог быть раненый. Осколки не залетали сюда. Он закричал просто потому, что нервы не выдержали. Длинным, как бы женским криком. Все неодобрительно оглянулись. И так паршиво, а тут еще орут. Это был новобранец. Он замолчал и с виноватой улыбкой озирался на товарищей.

Другой новобранец застыл у стены, как камень. Он не движется. Он избегает шевельнуть даже пальцем, даже веком. Это было его колдовство. Он считал, что неподвижность приносит ему счастье, и потому только он остается цел.

У многих было свое колдовство. Одни что-то шептали. Другие крестились. Соломонов в опасные минуты сжимал в руке фотографию жены. Не то, чтобы он верил, что это его спасет. Это не было колдовство. Он как бы обнимал жену. Он хотел, чтобы в момент смерти жена была в его объятиях.

Простейшим колдовством было материться. После каждого разрыва однообразно и сильно материться. В это верили.

У Тихона не было колдовства. Его ясный и насмешливый ум отрицал колдовство. Тихон не показывал признаков волнения. Может быть, в душе он волновался. Но у него были свои представления о приличии. Он считал, что пожилому мужику, как он, волноваться неприлично. О, если бы он был помоложе. Он тоже позволил бы себе пару раз взвизгнуть. Это облегчает.

Сейчас он стоял спокойный и даже важный и только в очень опасные минуты слегка бледнел и тотчас озорно улыбался.

Так вело себя большинство солдат. Во-первых, они привыкли. А во-вторых, русские солдаты очень храбрые и стойкие люди. Они пережидали. Ничего не поделаешь. Когда-нибудь обстрел кончится, как кончается дождь и все на свете. Переждем.

Офицерам было легче. Они знали, что на них смотрят солдаты. Это помогало держаться. «Я их отец. Я их учитель». Здесь было немножко игры, и это подстегивало, как вино.

Увы! Прапорщик Врублевский не оказался на высоте положения. Он вздрагивал. Он не мог удержаться. Он злился на себя за это. Ему было стыдно перед солдатами. А потом он и стыдиться перестал. Он только вздрагивал, и больше ничего. Чтобы не смущать Врублевского, люди на него не смотрели. Один Соломонов бросал на прапорщика презрительные взгляды. Офицер называется! В конце концов вольноопределяющийся не выдержал и подошел к прапорщику:

— Перестаньте трястись, — прошептал он, — неловко перед солдатами.

Но Врублевского нельзя было остановить. Он ничего не слушал. Он хотел только вздрагивать и больше ничего. Он нашел свое колдовство.

Да, вчерашняя передряга не украсила прапорщика Врублевского в глазах солдат. Все же кое-чему она его научила. По крайней мере, он перестал таскать на себе все эти дурацкие побрякушки, которые молодые офицеры так любят цеплять на себя, выходя из своих трехмесячных школ прапорщиков, все эти эмалированные брелоки в виде погончиков да тупые железные кортики, производившие большое впечатление на девиц глубокого тыла.

4

Сейчас Врублевский шагает взад и вперед по окопу. Вдруг он останавливается и кричит:

— Почему вы не стреляете?

Люди молчат и насмешливо переглядываются. Никто не отвечает, потому что вопрос ни к кому определенно не обращен. А на вопросы, не обращенные ни к кому, никто отвечать не обязан. Словом, сделано по-штатски.

Прапорщик снова кричит (он, оказывается, еще и крикун?):

— Фельдфебель, почему люди не стреляют?

Встал фельдфебель Негреев, плечистый старик, полный меланхолической ласковости. Два года он проторчал в запасных полках, занимаясь ротным хозяйством и подготовкой новобранцев к войне, на которой сам никогда не был. В конце концов он попался на каких-то грязных махинациях с сахаром и был отправлен на фронт. Здесь он попробовал цукать солдат и требовал от них точного исполнения всех мелочных обрядов строевого устава. Окопники быстро отучили Негреева от тыловых замашек. Когда фельдфебель соседней роты получил при загадочных обстоятельствах пулю в затылок, Негреев, как умный человек, сделал правильный вывод из этого «несчастного случая». Это был пример мгновенного и коренного перерождения человека. Негреев сделался кротким и справедливым начальником.

Он приложил руку к козырьку и сказал извиняющимся голосом:

— Патронов нет, ваше благородие...

Люди с любопытством посмотрели на прапорщика. Они были почти благодарны ему за маленькое бесплатное развлечение, которое он доставлял им.

Прапорщик нахмурился и крикнул:

— Связист, соедини меня со штабом дивизии!

Связист склонился над своим деревянным ящиком и глухо забормотал.

Прапорщик опять завел свою мотню. Он шатался взад и вперед по всему окопу, спотыкаясь о ноги солдат.

Тихон спросил Соломонова:

— Почему он все ходит?

Соломонов пожал плечами:

— Нервничает человек. Из дрейфунов.

И он опять вернулся к своей любимой теме о том, как они заживут вместе после войны.

— А что я буду делать в городе? — сказал Тиша. — Мне в городе делать нечего. Я — человек деревенский.

— Ну, так знаешь что? — сказал Соломонов. — Я поселюсь в деревне.

— А что ты будешь делать в деревне?

Соломонов решительно не знал, что он будет делать в деревне.

Тиша положил руку на колено Соломонову и заглянул в его строгие голубые глаза.

— Это мы сейчас с тобой из одного котелка хлебаем, — сказал он, — а вернемся по домам, забудем друг друга, как не видали. Там мы с тобой, брат, в разных дивизиях состоим.

Помолчав немного, он добавил:

— А все же я буду вспоминать тебя, Егор.

Но Соломонов заупрямился. Он ни за что не хотел согласиться с тем, что после войны он и Тихон расстанутся.

Тиша вздохнул и поднялся. Он взял котелок и сказал, что идет за обедом.

— Нынче моя очередь, — сказал он и ушел.

Рановато еще было итти за обедом, но Тихону надоело слушать фантазии Соломонова.

«Добрый малый, — думал он, пробираясь в ходах сообщения, — за товарища отдаст жизнь, но малохольный, как все они».

Под словом они Тиша разумел городских господ, непростых. Тиша не отрицал за ними некоторых достоинств — ума, образованности, деликатности, но при всем том считал, что все они страдают странным пороком чудачества, что делало их в глазах Тиши существами неполноценными, глуповатыми, как бы совсем не людьми. Самый темный и нищий деревенский парень обладал в глазах Тиши перед любым из них преимуществом здравомыслия. Взять вот Соломонова... Тиша любил его. Два года они не расставались, пили из одной баклаги, спали под одной шинелью, в атаках держались всегда рядом, штык к штыку, и не раз спасали друг другу жизнь. Иногда Тиша забывал, что Соломонов не де-

ревенский. Его простые повадки, физическая сила, здравость его суждений делали Соломонова в глазах Тиши совсем своим. Но изредка — и всякий раз непонятно почему — в глазах Соломонова вдруг вспыхивал безумный огонь непрактичности, он лез на рожон, дерзил начальству или вдруг вскакивал на бруствер и сидел там под дождем неприятельских пуль, или впадал в надменную молчаливость, которая длилась по нескольку дней, или ни с того ни с сего отдавал свои новые английские сапоги какому-то незнакомому солдату из чужой роты в обмен на его драные ботинки.

«Эх, — думал Тиша, подходя к укрытию, где стояли походные кухни, — если бы он не был барин, какой бы это был человек!»

5

Связист поднял голову над своим ящичком и сказал голосом, полным ложной грусти:

— Штаб не отвечает, ваше благородие. Должно быть, повреждение линии.

— Ищи штаб! — закричал Врублевский.

Соломонов искоса посмотрел на прапорщика. Взгляд этот взорвал Врублевского. Он подбежал к Соломонову. (Официально говоря, Соломонов не смеялся. Черты его были неподвижны. И все же где-то в глубине его худого красивого лица сквозила насмешка, чорт его знает в чем: может быть, в некоторой прищуренности глаз или в легкой дрожи ноздрей.

— Вольноопределяющийся Соломонов,—крикнул прапорщик, — извольте не смеяться!

Соломонов встал. Он приложил руку к козырьку и в упор смотрел на Врублевского.

Врублевский был в исступлении. Дрожащей рукой он копошился в кобуре. Казалось, сейчас произойдет что-то ужасное. Но под спокойным, чуть презрительным взглядом Соломонова он все более охладевал и в конце концов сказал плачущим голосом:

— Вы думаете, что если вы кончили университет, то вы умнее всех?

Солдаты переглянулись. Всем стало неловко. Нет, опять сделано по-штатски.

В это время связист радостно воскликнул:

— Есть штаб, ваше благородие.

Врублевский схватил трубку.

— Пароль Иркутск... Да... У телефона командир шестнадцатой роты двести восемьдесят первого, прапорщик Врублевский. У нас нет патронов... Пришлите нам патронов... Да что вы, оглохли?.. Вам русским языком говорят: нет патронов... Ну вас к чорту! Поставьте к телефону кого-нибудь потолковей... Что?.. Извините, господин капитан, я не знал, что это вы. Но все равно, это не меняет дела, у нас нет патронов... Что?... Почему не нужны?.. Ничего не понимаю...

И, отдав связисту трубку, прапорщик мрачно уставился в землю. Скучное лицо его стало еще скучнее.

Соломонов все понял. И когда Тихон вернулся с обедом, вольноопределяющийся сообщил ему:

— Будет атака.

Тихон не поверил.

— Разведки не было, — сказал он, — проволока не сбита.

Они принялись за суп. В нем оказалось необычно много мяса.

— Двойной рацион, — сказал Соломонов, — перед атакой.

Но Тихон не хотел соглашаться. Обилие мяса привело его в благодушное настроение. Все рисовалось ему в хорошем свете. Он болтал:

— Надо иметь понятие, дружок. Почему атаки не будет? Потому что у нас такой силы нет. На все надо иметь понятие.

Соломонов плюнул. Его раздражало это упрямство.

После обеда фельдфебель Негреев крикнул:

— Выходи получать водку.

Тиша смущенно отвернулся. Но Соломонов схватил его за плечи и повернул к себе.

— Будешь спорить? — сказал он. — Эх ты, Ванька безголовый!

И тут же подумал: «Какого чорта я, собственно говоря, радуюсь? Еще недостает, чтобы перед самым отпуском меня ухлопали...»

Тиша молча копался в вещевом мешке. Ему было досадно, что он оказался неправ. О самой атаке Тиша не

думал. Немало их было на его двухлетнем солдатском веку. Ничего, сходило до сих пор. Он достал из мешка баклагу и побежал в блиндаж.

Соломонов разлегся на земле. Подложив под голову могучие руки, он мечтал. Он не пил и не курил. Не путался с женщинами в прифронтовых городках. Не дулся в карты с офицерами, как другие вольноопределяющиеся. Теперь, когда храбрость его больше не имела цели, вся сила его характера уходила в мечты.

«Да, я вижу тебя. Совершенно ясно. Боже, какие добрые и красивые глаза. Ни одна фотография не похожа на тебя, потому что у тебя очень подвижное лицо. Подойди ближе. Еще ближе. Твои волосы щекочут мой висок. Это лучше всего. Приложи свою щеку к моей. Так. Она холодней, чем моя. Ты всегда была чуть прохладней меня. Мы видим одно. Как хорошо. Ты гладишь меня по голове. Еще. Еще. Отодвинься, я не вижу тебя, оттого что ты близко. Теперь вижу. Нет, и по отдельности все в тебе хорошо. Вот это. И это. И это...»

6

Тем временем Тихон прибежал в блиндаж. Там было полно солдат. Теснота страшная, все сбились в кучу, но каждый знал, за кем стоит. В дальнем углу горела свечка, неясно освещая мокрые стены. Испарения, махорочный дым, запах немытых тел — не продохнуть.

— А что, братцы, — испуганно спросил Тиша, — еще не кончилась водка?

И он принялся протискиваться в толпу.

Высокий солдат с грубым лицом, на котором вовсе не росли волосы, схватил Тишу за плечо:

— Куда лезешь? Становись, как люди, в затылок.

— Не бойся, Мишутка, — пробормотал Тиша, все протискиваясь, — я вперед тебя не пойду, мне только посмотреть.

Благодаря своей юркости он скоро достиг передних рядов и здесь остановился, внимательно и беспокойно глядя перед собой.

На ящиках из-под галет стояла четвертная бутыль. Несколько пустых валялось рядом на земле. Каптенармус Назаркин — из бывших лавочников — отмеривал

солдатам по полстакана водки. Некоторые сливали ее в манерку, но большинство тут же выпивали и, крякнув, пробирались к выходу.

Бутыль была очень грязна, и в тусклом свете невозможно было разглядеть уровень жидкости. По этому поводу среди солдат царило большое волнение.

— Нехватит. Вот увидишь, нехватит.

— Нет, нынче, я слышал, много запасено.

— Пускай они отдадут мне долг за прошлые разы.

— Слышь, Назаркин, отдашь?

— Может, тебе, — сказал каптенармус, не поднимая лица, чистого, с подкрученными маленькими усиками, — может, тебе шампанским отдать?

В толпе засмеялись.

— Нет, каптер, — сказал Тихон ласково, — ты так не говори, водки должно хватить, она отпущена по ведомости.

Но каптенармус последний раз нагнул бутыль и крикнул.

— Баста. Вся. Расходись. ребята!

— Ну вот... — сказал кто-то и вздохнул.

— Опрокинь бутыль, — крикнули в толпе.

Назаркин пожал плечами.

— Ей-богу, какой народ подозрительный...

Он опрокинул бутыль вниз горлом да еще встряхнул ее. Она была пуста.

— Постой! Погоди! — крикнул Тихон.

Он выхватил бутыль из рук каптенармуса и внимательно осмотрел ее со стороны дна. Даже пальцем ощупал.

— Ага, — сказал он удовлетворенно, словно нашел то, что искал.

Солдаты окружили Тихона.

— А что ты там видишь, земляк?

— А вот что.

Тиша показал: посреди дна была вырезана аккуратная дырочка.

Солдаты удивленно молчали.

— А теперь гляньте сюда.

В ящике, на котором стояла бутыль, тоже была дырочка.

Тиша приподнял ящик. Под ним оказался бидон, полный водкой. Она натекала сюда через оба эти отверстия.

— Вот она где, — сказал кто-то с бесконечным удивлением.

Все молчали, пораженные. Назаркин испуганно озирался.

— Видали, — сказал Тиша своим ласковым голосом, — видали, братцы, как мужиков облапошивают?

Тут всех прорвало. Солдаты закричали враз, перебивая друг друга и напирая на каптенармуса:

— К командиру его!

— Зачем к командиру? Сами решим.

— Он, небось, с командиром в доле.

— Одна шайка!

— Последнее отымают, водку.

— Они эту водку немцам продают.

— Продают нас, братцы!

В задних рядах бушевал Мишутка. Он никак не мог пробраться вперед.

— Пусти меня, — кричал он, — я его прикладом.

— Иш ты, умный какой, «пусти его». Я сам его прикладом.

Назаркин упал на колени. Он прикрыл свое чистое лицо руками, защищая его от ударов.

Поднявшись на носки, Мишутка вопил сзади:

— Сапогами его, сапогами ворюгу!

И вдруг бабье лицо его сморщилось, он заплакал.

— Чего ты ревешь, дура? — изумился кто-то.

— Обидно, — сказал Мишутка, нисколько не стыдясь своих слез и размазывая их по щекам грязной варежкой. — Помирать идем, а тебя свои же грабят.

И, снова приподнявшись на носки, он заорал страшным голосом:

— Бей его! Насмерть бей!

Сгрудившись над каптенармусом, солдаты били его, кто кулаком, кто шомполом. Не устояв на коленях, Назаркин упал навзничь. Он уже не кричал и не шевелился.

— Кончен... — сказал кто-то.

В блиндаже стало тихо. Все бросились к выходу. Не глядя друг на друга, солдаты разбегались по ротам.

Каптенармус застонал и поднял окровавленную голову. Блиндаж был пуст. Держась за стенку, каптенар-

мус поднялся и заковылял в угол. Здесь стоял забытый всеми бидон с водкой. Назаркин взял его, сунул под полу изодранной шинели и, хромая, вышел.

Кое-как доплелся он до хода сообщения. Здесь ждал его взволнованный Негреев. Каптенармус отдал ему бидон и упал. Фельдфебель вызвал санитаров с носилками и велел отнести Назаркина в лазарет.

7

Когда солдаты вернулись в окоп и, взявши винтовки, стали у бруствера, прапорщик Врублевский произнес краткую речь. Маленькое лицо его сложилось в значительную гримасу. Он помахивал рукой в слишком длинном рукаве.

— Ребята! — сказал он. — Мы пойдем сейчас в атаку. Помните, что смерть на поле брани почетна! Да, чорт возьми! Враг не должен увидеть ваших спин. Нет, будьте к нему все время лицом. Немец не выносит русских лиц. Он бежит от них, как чорт от крестного знамения. Ну, а если кто поведет себя недостойно, уж не посетуйте, ребята, уж с таким я управлюсь по-свойски. Я горяч.

Соломонов нашел эту речь глупой и развязной. Однако в ней не было признаков трусости. Вольноопределяющийся с неудовольствием признал это.

Действительно, Врублевский был до странности спокоен. Воображение у него было вялое, и, не ходивши никогда в атаку, он не представлял себе, что она такое. Другое дело — орудийный обстрел, грохот, разрывы. А сейчас так тихо. И эта тишина, предшествующая атаке, успокаивала Врублевского.

Напротив, солдаты были до крайности возбуждены. История с кражей водки раздражила их. Туманные угрозы прапорщика озлобили их еще больше. Оглядываясь, Тиша видел повсюду недобрые, угрюмые лица. Некоторые отставляли винтовки, словно не предстояла атака. Мишутка, напротив, положил винтовку на колено и смотрел на прапорщика с угрожающей пристальностью.

Все это взволновало Тишу. Ему захотелось развеселить ребят. Как признанный весельчак роты, он считал

себя обязанным сделать это. К тому же, он просто не выносил угрюмых лиц. Как нарочно, в голову не приходило ничего забавного. Однако времени не было. Еще ничего не придумав, надеясь, что вдохновение вывезет, он крикнул смелым голосом:

— Ваше благородие!

Врублевский остановился.

— Ваше благородие, я не могу пойти в атаку. Уж вы без меня как-нибудь.

Все насторожились. У Тиши было то уморительно-серьезное выражение лица, которое предвещало веселую шутку. Некоторые начали улыбаться: что-то наш Тиша отколет?

— Что ты врешь? — сказал прапорщик.

Тиша задрал ногу и отчаянно вертел ею:

— Смотрите, ваше благородие, мы к немцам в гости собираемся, а у меня сапоги не чищены. Неудобно как-то, — все-таки иностранцы. Пожалуй, не пустят к себе.

Солдаты смеялись. Нелепое предположение это рассмешило их. Посыпались шуточки. Никто уж не смотрел на Врублевского. Все подобрели. Огромный Мишутка хохотал до слез.

Прапорщик покраснел. Ему показалось, что смеются над ним. Он почувствовал себя униженным и злобно смотрел на Тихона. Чорт возьми, это не вольноопределяющийся, этого мужичонка он сотрет в порошок.

— Послушай, ты... — сказал он.

Кто-то коснулся его руки и шепнул: «Оставьте его». Прапорщик обернулся. Это был Соломонов. Опять этот тип. Нет, это уж слишком!

— Ага, ты поддерживаешь его, — сказал прапорщик.

— Неужели вы не понимаете, — попрежнему тихо сказал Соломонов, — что он сейчас спас вам жизнь?

Врублевский выругался. Он был так разозлен, что не почувствовал обычной робости перед Соломоновым.

— Я... — сказал он срывающимся от ненависти голосом, — я вас обоих сейчас арестую.

Соломонов оглянулся и, убедившись, что никто на них не смотрит, сказал тихо, но явственно:

— Дурак.

Потом он вернулся на свое место под стенкой окопа и, опершись на винтовку, невозмутимо уставился в даль.

Кругом шумели и смеялись солдаты, они окружали Тишу, который продолжал потешать их.

Прапорщик чуть не заплакал от ярости. «Что это такое? В конце концов я здесь начальник... Я имею право застрелить солдата за неповиновение...»

Но тут в соседнем окопе раздался длинный пронзительный свист. Потом — крики «ура» и топот. Там пошли в атаку.

Солдаты приумолкли и сделались серьезными. Они затягивали потуже пояса, осматривали штыки, некоторые крестились, другие почему-то прокашливались, как перед речью, третьи, полураскрыв рот и не дыша, ждали сигнала.

Врублевский выхватил свисток и поднес его к губам. И тут он почувствовал, что свистнуть он не может: ему вдруг сделалось страшно.

Топот бегущих ног, крики «ура», выстрелы, неясный и грозный гул атаки, доносящийся сверху, с поля, — все это потрясло прапорщика. Он держал свисток у губ и не мог дунуть в него. У него нехватало сил для этого ничтожного движения ртом. Солдаты оглядывались на прапорщика. Ожидание становилось невыносимым. Тиша повторял про себя, сам того не замечая:

— Ну... Ну... Ну...

А Врублевский все не свистел. Тогда, не в силах больше терпеть, Тиша выхватил у Врублевского свисток и сам засвистел. Потом он крикнул «Ура!» и, держа в одной руке винтовку, а в другой маленький грязный мешочек, с которым никогда не расставался, выскочил на бруствер и побежал вперед.

Солдаты повалили за ним.

Рядом с Тишей бежал Соломонов длинным легким шагом стайера. Они всегда держались вместе.

Справа и слева по всему пространству кочковатого поля бежали солдаты.

Далеко впереди заблестело множество тусклых бликов. Это играло солнце на стальных касках немцев, выбежавших навстречу.

Соломонов повернул голову, ища прапорщика. Его нигде не было. Соломонов остановился. Потом он повернулся и пошел обратно. Не заметив этого, Тиша продолжал бежать вперед.

Скоро Соломонов дошел до окопа и заглянул внутрь. Так и есть. Прапорщик Врублевский сидел на дне окопа, закрыв голову руками.

Соломонов спрыгнул в окоп.

Он тронул прапорщика за плечо.

— Идите, — сказал Соломонов тихо.

— Я не могу, — сказал Врублевский, не поднимая лица, — мне плохо.

— Идите, — повторил Соломонов и, схватив прапорщика за ворот, вытащил его наверх.

Врублевский неловко побежал вперед. Он жмурился. Дрожащей рукой он пытался и не мог расстегнуть кобуру. Он не догадался подоткнуть шинель и путался в ее длинных полах. Часто он останавливался.

— Нет, ты пойдешь! — кричал Соломонов и тумаками гнал его вперед.

8

Солдаты пробежали порядочное расстояние, когда Тихон заметил, что Соломонова рядом с ним нет. Он остановился и беспокойно поглядел вокруг себя. И вдруг увидел.

Соломонов бежал. Но не обычным своим длинным и легким атлетическим шагом, а как-то неловко, качаясь и загребая руками. На ходу он отирал кровь с лица. Потом он упал.

Тиша подбежал к нему и опустился на колени. Их цепь ушла вперед. Они были одни на широкой ржавой полосе земли. Садилось солнце. Земля дышала сырой весенней ласковостью. Издалека доносились крики, там столкнулись стороны.

Тиша вынул индивидуальный пакет и разорвал его. Ватой он отер кровь, которая беспрерывно заливала лицо Соломонова. Под его густыми спутанными волосами Тиша нащупал рану, круглую и такую маленькую, словно ее сделала не ружейная пуля. Тиша стал бинтовать всю голову сплошь ловкими движениями старого солдата, который не раз оказывал эту услугу товарищам. Но вдруг, не кончив бинтовать, он поспешно выпростал руку Соломонова из-под шинели и нащупал пульс.

— Егор, — забормотал он, — что же ты, а? Егорушка!

Вольноопределяющийся молчал. Его большое тело не шевелилось. Из разжатого кулака вывалилась фотография. На ней была изображена молодая женщина с веселым и милым лицом. Соломонов умер, как хотел: сжимая в объятьях жену.

Тиша не поднимался с колен. Ему было так горько, как никогда в жизни. Много народу помирает на фронте, но всегда кажется, что любимый человек бессмертен. От земли шла пронзительная тревожная нежность. Вокруг свистали пули. Тиша не замечал их. Потом он очнулся и вскочил. Им овладел припадок неудержимого гнева, который иногда охватывает солдат на фронте. Он посмотрел вокруг себя бешеными глазами. Он хотел мстить, и при том немедленно. Кому? Он не знал.

Цепь стрелков возвращалась. Немцы сильно нажимали. Атака была произведена без подготовки, и теперь оказалось, что немцев на этом участке много больше, чем русских. Уже в нескольких местах наши цепи были прорваны.

Когда Тиша увидел совсем близко от себя угольно-серые нерусские шинели, он отцепил от пояса шанцевую лопату и бросился на немцев. Как многие старые солдаты, он предпочитал биться лопатой, она не застревала в теле, как штык.

Тихона окружили три немецких солдата. Не в добрую минуту попались они ему под-руку. Двоих он уложил мгновенно. Третий бежал. Тихон догнал его и рассек ему голову.

Отовсюду набегали немцы. Но Тихон был уже не один, на выручку прибежали товарищи. Бились так тесно, что стрелять невозможно было. Иногда нехватало места для замаха руки.

Постепенно здесь образовался центр боя. Он рос во все стороны. Все больше людей всасывалось в этот водоворот убийств. Яростный натиск русских, как электрический ток, от Тиши через соседей по цепям передался на линию боя: уже угадывалась победа. В рукопашной схватке дерутся скорее нервами, чем оружием: кто дольше устоит перед желанием убежать назад.

Немцы не выдержали первыми. Их толпы дрогнули, попятились. Скорей назад, в окопы, под прикрытие бруст-

веров. Русские хлынули вслед за немцами с силой воздуха, втянутого разреженным пространством. Вся эта куча людей, сшибая и падая, катилась по полю. Одни искали спасения в бегстве, другие — в победе.

Немцы попрыгали в окопы. Русские было устремились за ними. Но из окопа заговорил пулемет. Передние ряды русских были скошены. Задние бросились на землю. Подняться невозможно было, смертоносный дождь хлестал низко над землей.

Тогда из задних рядов ползком начал пробираться вперед Тихон. Он расталкивал лежащих, бормоча:

— Отодвинься, милый, дайте-ка пройти, братцы.

Выбравшись вперед, он развязал свой неразлучный мешочек. Там лежала краюха хлеба, несколько серых солдатских конвертов, ружейная отвертка, портрет красавицы, вырванный из журнала «Солнце России», а под всем этим — маленькие ручные гранаты, известные под названием «лимонок». Давно уже не снабжали ими солдат, но запасливый Тиша сберег несколько от лучших времен.

Изловчившись, он швырнул гранату в окоп. Сейчас же — другую и третью. Из земли вырвались дым и пламя. Пулемет умолк. Русские вскочили и бросились в окоп.

9

Тихон вбежал в немецкий блиндаж.

— Сдавайсь! — крикнул он, замахиваясь последней лимонкой.

Немецкий офицер, стоявший в углу, выстрелил из парабеллума. Тишу ожгло где-то недалеко от подбородка. Он швырнул гранату и выскочил вон. Офицер бросился плашмя на землю. Дым и грохот заполнили подземелье.

Тиша вернулся в блиндаж. Офицер стоял, подняв руки и дрожа. Вбежало несколько солдат.

— Смотрите, какую птицу поймал: чур, моя! — сказал Тиша.

— Птица жирная, — сказал Мишутка, — тебе за нее крест выйдет.

Тиша качнул головой. Он давно хотел получить крест. Мишутка оглядывал блиндаж. Хоть и поковеркан-

ный гранатой, он имел вид чистый и благоустроенный. По углам койки с опрятными одеялами, с потолка свисала керосиновая лампа, даже граммофон стоял на столе.

— Самостоятельно живут люди, — сказал Мишутка с уважением, — красивше, чем у нас в деревне.

В блиндаж вбежал Врублевский. У него был растерянный вид.

— Чьи вы, чьи вы? — беспорядочно спрашивал он, размахивая наганом.

— Да мы ваши, — грубо сказал Мишутка, — не узнаете? Наган-то примите.

Врублевский вздрогнул и успокоился.

— А это кто? — сказал он. — Офицер?

Он подошел к офицеру, откозырнул и сказал на ломаном немецком языке.

— Ире вафен.

Офицер отдал ему револьвер.

— Коммен, — сказал прапорщик.

Оба они пошли к выходу.

— Ваше благородие, — крикнул Тиша, — пленный-то мой.

— Молчи, дурак, — сказал Врублевский и вышел вместе с немцем.

Солдаты переглянулись.

— Да ты не огорчайся, Тихон, — сказал Мишутка, — тебе и без того крест выйдет за сегодняшнюю атаку.

И он ободряюще хлопнул Тихона по плечу.

Тихон болезненно вскрикнул и опустился на землю. Бледность покрыла его лицо. Сквозь рубашку на плече проступило кровавое пятно. Он был ранен, но, разгоряченный боем, только сейчас почувствовал рану.

Товарищи положили Тишу на шинель и вынесли наружу.

Бой кончился. Немцы укрылись в третью и четвертую линию окопов. Русские оттянули войска назад. Не было смысла оставаться, так как завоеванная позиция не имела связи с соседними частями и опасным мешком выпирала из линии фронта.

Все же генерал Добрынин был доволен результатом боя. Как-никак, это была победа с трофеями и пленными. На обратном пути русские попали под сильный

огонь артиллерии и потеряли много убитых и раненых, что еще больше сообщило действиям с нашей стороны характер крупного и успешного дела.

Особенно доволен был генерал тем переломом в атаке, который произошел после того, как обезумевший от горя Тиша бросился в бой. В своем рапорте генерал представил этот момент как придуманную им тонкую стратегическую хитрость.

«Ложным отступлением, — доносил он в штаб армии, — мы выманили противника из его хорошо укрепленных позиций и внезапной диверсией с обоих флангов опрокинули и смяли его...»

Кроме того, генерал представил к награждению многих офицеров, особо отмечая случаи выдающейся храбрости, вроде подвига прапорщика Врублевского, собственноручно захватившего в плен командира неприятельской роты.

Что касается солдат, то здесь генерал для простоты приказал наградить крестами всех раненых. Однако оказалось, что раненых много больше, чем крестов. Тогда, стремясь к беспристрастию, генерал приказал наградить каждого третьего раненого, следуя тому порядку, в котором они лежали в лазаретах.

Для этой цели был отряжен капитан Бровцев из штаба дивизии. Капитан отправился в лазарет в сопровождении солдата, который нес большой ящик с крестами.

10

Тишу положили в крайней палате полевого госпиталя.

Сестра милосердия перебинтовала ему плечо. Пуля прошла навылет, не задев кости. О такой ране можно было только мечтать. Близость женщины волновала Тишу. Он старался не смотреть на сестру. Она оправила на нем одеяло и посоветовала заснуть.

— Ты один у нас легкий, — сказала она, — вся палата тяжелая. Каждый день помирают.

Она села у окна и принялась вязать. Сумеречный свет смягчал ее грубые, немолодые черты.

Тиша улегся поудобней. Он вспомнил о Соломонове, но без горечи. Тише было хорошо сейчас. Покой, чисто-

та, безопасность, сытый ужин, близкая награда. Это было почти совершенное счастье.

Для полноты его нехватало только табаку. У кого бы попросить? Все спят. Тиша посмотрел на соседнюю койку.

Там лежал человек с забинтованной головой. Тиша заглянул ему в лицо. Черные усики, закрытые глаза. «Где ж это я видел его?» — подумал Тиша. Нога человека тоже перевязана. Видно, она в лубке.

Тише сделалось стыдно за свою легкую рану. Он завернулся с головой в одеяло и тотчас крепко заснул.

Утром его снова перевязали. В палате было скучно. Тяжело раненые не разговаривали. Они или стонали, или забывались в полусне, или им было вообще не до разговоров. Сосед Тихона все время спал.

Тише очень хотелось курить. Кроме того, ему нужно было оправиться. Он стеснялся сестры и не пользовался судном. Она разрешила ему выйти. Он накинул шинель и вышел во двор.

Шел дождь, от немощеной земли подымалась свежесть. Приятно было вдохнуть воздух, не пропитанный иодоформом. В клозете Тиша достал у солдат табаку. Вновь прибывшие рассказали ему новости: началась переброска частей на юго-западный фронт, летом, говорят, будут давать отпуска на полевые работы, «вонючий старик» переведен с повышением в Петроград, прапорщик Врублевский тоже куда-то отчислился по собственной просьбе.

В общем, Тиша провел здесь уютные полчаса, никуда не спеша, медлительно облегчаясь, покуривая и болтая о том, о сем.

Капитан Бровцев тем временем быстро продвигался сквозь палаты, раздавая кресты каждому третьему. Поручение это было ему неприятно, и он спешил поскорей закончить его.

Войдя в последнюю палату, капитан отсчитал третью от дверей койку и остановился возле нее.

— Тут никого нет, ваше благородие, — сказал солдат, сопровождавший капитана.

— Он вышел по нужде, — сказала сестра, — он сейчас придет.

— В конце концов это все равно, — сказал капитан, — они все герои.

Он перешел к соседней койке. Солдат растолкал Тишиного соседа. Тот проснулся и, увидев офицера, встал, морщась от боли в поврежденной ноге.

— Фамилия? — сказал капитан. — Какой части?

— Двести восемьдесят первого стрелкового полка, шестнадцатой роты, рядовой Назаркин, ваше благородие, — сказал солдат.

В палату вошел Тиша. Удивленный, он остановился. Да, это был их каптенармус. Здорово ж они тогда его помяли.

— Доблестный солдат Назаркин, — забормотал капитан формулу награждения, — твой геройский подвиг известен всей армии, благодарное отечество восхищается тобой, поздравляю тебя с награждением почетной боевой наградой, георгиевским крестом четвертой степени...

Солдат пришпилил к груди каптенармуса серебряный крестик.

— Ваше благородие! — крикнул Тиша, — нельзя его награждать. Это мы его сами покалечили. Он водку казенную крадет.

Капитан с недоумением оглянулся.

— Послушайте, сестра, — сказал он, — что он там такое плетет?

— Бредит, ваше благородие, — быстро сказал Назаркин, — его бы убрать отсюда. Просто нет сил выдержать. Тронулся, должно быть.

В сильном возбуждении Тиша подбежал к каптенармусу. От волнения Тиша не мог связно говорить. У него вырывались отдельные слова. Он махал руками и пытался сорвать крест с груди Назаркина.

По знаку капитана два санитара схватили Тишу за руки.

Привлеченный шумом, в палату вошел врач. Это был студент третьего курса, недавно мобилизованный ввиду нехватки врачей.

— Сумасшедший? — спросил его капитан.

Юный врач посмотрел на Тишу, который бился в руках санитаров.

— Да, — сказал он, стараясь говорить уверенным голосом, — довольно типичный случай психотической ре-

акции, возникшей, повидимому, экзогенным путем. Я бы его изолировал.

— Перевести в психиатрическое отделение, — распорядился капитан, — проверить, не симулянт ли.

Тишу потащили в нервную палату. Еще некоторое время он бушевал, а потом присмирел и сделался грустным.

Вскоре его перевели на испытание в тыловой сумасшедший дом. Здесь было много солдат, кормили хорошо, работы никакой. Когда в палату входил офицер, солдаты громко ругали его по матери и швыряли в него сапогами. Как сумасшедшим, им все сходило.

Комиссия врачей признала Тихона совершенно нормальным и постановила предать его суду за попытку симуляции психического заболевания.

Военно-полевой суд приговорил Тишу к смертной казни. Наказание было заменено отправкой на фронт.

Тиша вернулся в окопы родного двести восемьдесят первого полка. Снова начал он ходить в разведки, дрался в атаках и лежал, зарывшись в землю, во время орудийных обстрелов.

В минуты затишья он с удовольствием рассказывал солдатам о своем пребывании в сумасшедшем доме, которое он считал одним из лучших периодов в своей жизни.

А. Ульянский

КРИВЫМ ПУТЕМ

I

День первого мая девятьсот семнадцатого года для Альфонса Вейнерта, силезского крестьянина, ознаменовался волнениями. В этот день из Берлина пришла открытка с точным обозначением вокзала и поезда, к которому его сын Адальберт должен был явиться, чтобы отправиться с батальоном на фронт. Это значило, что все хлопоты, предпринятые для оставления его в тылу, неоднократные поездки к окружному начальству, несколько докторских свидетельств, удостоверявших наличие у Адальберта наследственного порока сердца, и даже глубокий порез пальца, полученный — возможно, не намеренно — при разборе жнейки, все это оказалось недостаточным, чтобы задержать его отправку и на один день.

Другим событием в этот день было появление во дворе Вейнерта фельдфебеля из инспекции военнопленных, приведшего с собой какого-то хилого, малосимпатичного, чернявого русского пленного и предъявившего бумажку, по которой новый пленный должен был оставаться в хозяйстве Альфонса, а взамен его фельдфебель уводил одного из пятерых русских, работавших у Вейнерта уже второй год. Альфонс должен был сам решить: кем из пятерых он согласен пожертвовать, и эти размышления и споры с фельдфебелем заняли несколько часов и стоили ему волнений.

Трое из пленных — крестьяне-пермяки, косари и силачи — были с самого начала исключены из обмена.

Четвертый, кавказец, не косил, но годился на многое и, между прочим, чтобы стоять у мотора во время молотьбы и подливать бензол. Пятый, тоже кавказец, был хорош как кучер при выездах в коляске: нигде в округе Альфонс не встречал кучера, который сидел бы так прямо и с такой истуканской неподвижностью. Альфонс все-таки, в конце концов, решил пожертвовать приятным полезному и согласился выдать пятого, который был вызван с работы и без особых разговоров уведен фельдфебелем со двора.

Новый пленный во время переговоров стоял в стороне, с утомленным и безучастным лицом, хотя Альфонс не однажды вперял в него негодующий взор, оценивая его силу и годность к работе. Хуже всего была отметка в его бумаге, что за ним уже числится один неудачный побег с работы, в то время как из пленных Альфонса еще ни один не бегал, и новый пленный мог испортить остальных. Замечание фельдфебеля, что едва ли он решится бежать еще раз, ибо достаточно проучен и за первую попытку, совершенно не успокоило Альфонса. Оставшись, после ухода фельдфебеля, наедине с новым пленным, он еще раз с негодованием оглядел его, придумывая, на какую бы работу его послать.

— Кюе путцен! — вскричал он, багровея, ибо из осмотра лишний раз убедился, что новый пленный ничего не стоит и годится разве в стойла чистить коров. — Кюе путцен!

— Кюе путцен! — в восторге подхватили дворовые ребятишки, следившие за этой сценой через окна и не удержавшиеся от удовольствия передразнить громовые интонации Альфонса.

Они обступили нового пленного любопытной, но дружелюбной толпой, провели его в коровник, где более полусотни коров томились на цепях, дали штригель и щетку и поставили на место, объявив, что они дадут ему знать, когда Альфонс или Марта покажутся вблизи, а до той поры он может не надсаживаться.

Альфонс, проводив нового пленного глазами, расстроенный вернулся в дом, собираясь отдохнуть. Он был тучен, всякие волнения были для него гибельны, неудачный обмен рабов надолго разбередил его. Он хотел прилечь, но еще одна неожиданность помешала ему. Это

был Гуго Шуберт, пришедший наниматься в работники и терпеливо ждавший, пока Альфонс покончит с более важными посетителями.

Гуго Шуберт провел десять лет в чужих краях, состарился и теперь вернулся в Козельберг, чтобы жить на родине. Альфонс не сразу узнал его. Когда-то Гуго считался красавцем и задирой, — об этом сохранились воспоминания, — однако странствия и жизнь на чужбине сильно изменили его: сейчас это был высокий, сутулый человек, с сединой в волосах и следами сифилиса на лице, смирившийся перед жизнью, в присутствии Альфонса не надевавший шапки и почтительно моргавший вывороченными веками.

Гуго Шуберт явился кстати: во время войны взрослые работники всегда были кстати, особенно весной, и Альфонс с места дал понять, что возьмет его. В сущности Гуго делал Альфонсу честь тем, что явился именно к нему, ибо его так же легко взяли бы и у Криштофа и у Гауке. Подумав, можно было догадаться и о причинах этой чести: не было ли это желанием работать в одном дворе с Каролиной, той самой Каролиной, из-за которой он когда-то и отправился странствовать и которая два последние года вдовела?

Эта мысль нашла себе подтверждение, когда речь зашла о помещении для Гуго. Комната рядом с конюшней, где ночевали Шульц, Корль и другие одинокие работники Вейнерта, на ближайшее время удовлетворяла Гуго, но в дальнейшем он рассчитывал получить отдельную квартиру. Альфонс не стал особенно расспрашивать, зачем ему нужна отдельная квартира, и сказал, что квартира найдется. На этом разговор с Гуго кончился, он взял по обычаю от Альфонса два старых серебряных талера как знак найма. С завтрашнего дня он должен был начать работать.

Альфонс Вейнерт жил по часам. Он не признавал летнего перевода стрелки на час вперед, и все его рабочие также были обязаны не признавать его. До шести утра и между двенадцатью и часом пленные могли сидеть на кухне, пить сахариновое кофе или обедать, и Альфонс не требовал, чтобы они в это время интересовались чем-либо происходившим снаружи. Но ровно без двух минут в шесть и без двух минут в час он

выбегал на середину двора и выкрикивал расписание предстоящих работ: кто на какое поле пойдет, какую лошадь запряжет, какие вилы и из какого сарая возьмет. Расписания были сложны, как диспозиция перед боем, и произносились громовым голосом, который раскатами отдавался в многочисленных, перенумерованных, пустых перед жатвой сараях.

Это было что-то вроде ежедневного богослужения, ибо не только пленные, но и немцы-работники плохо понимали его отрывистый крик, и дело шло без запинки главным образом потому, что люди, работавшие на его полях, знали, чего можно ожидать на каждый день, и понимали все с полуслова.

Ровно в шесть и ровно в час начиналось движение пеших рабочих в поле, за ними выезжали конные. Сам Альфонс скрывался в дом, чтобы окончить еду, а затем выходил в поле смотреть, как выполняются его приказания. Он наблюдал, распоряжался, взбадривал работников, уличал их в нерадивости, очень редко высказывал им свое удовольствие. У него была привычка появляться внезапно в самых неподходящих местах. Говорили, что прежде от него нигде не было спасения, но с годами тучность и одышка умерили его рвение. Случаи нерадивости и глупости слишком волновали его, и на многое он теперь сознательно закрывал глаза, уходя из неприятного места с багровым лицом, хватаясь за сердце, но не говоря ни слова.

2

Нового пленного звали Костей. Товарищи также называли его «сержантом», ибо на войне Костя был унтер-офицером, но употребляли этот термин скорее в ироническом смысле. Он представлял собой яркий пример беспомощности городского человека в деревенском быту. То, что ему поручалось, он старался выполнить, не любил стоять без дела и потел больше всех во дворе, но каждый пустяк ему давался с трудом. Альфонс полагал, что он просто глуп, и приближался к нему со страхом, всегда ожидая от него поводов для волнений.

Среди лошадей Альфонса имелись два молодых шиммеля, коричневых, совершенно одинаковых, отличав-

шихся только тем, что один из них был чуть-чуть побольше другого. Любой мальчишка во дворе Вейнерта с первого взгляда различил бы, какая именно из них побольше и какая поменьше, только не Костя, который, если ему случалось получить от Альфонса приказание: «запрячь маленькую» — попадал в затруднительное и смешное положение. Он шел в конюшню, по дороге проклиная себя за то, что никак не может запомнить: справа или слева стоит маленькая? Он подходил к лошадям и, напрягая всю свою зоркость, оглядывал их сзади и сбоку. Он убеждался через момент, что лошадь справа была заметно меньше левой, и уверенно брался за правую цепь. Но, прежде чем вывести лошадь, он хотел еще раз убедиться в своей правоте, заходил с другого бока, снова оглядывал лошадей, — и его уверенность исчезала. Странным образом ему начинало казаться, что лошади совершенно одинаковы, вернее даже — левая лошадь не больше, а меньше правой. Он падал духом, привязывал правую лошадь на место, топтался в стойле, звонил кольцами и симулировал какую-то деятельность.

— Где вы, Костиа? — рычал со двора Альфонс. — Или лошади съели вас? Поторапливайтесь, выводите маленькую.

— Ее надо почистить, — кричал Костя в отчаянии и, чтобы протянуть время, хватался за щетку.

— Мой бог! — удивлялся Альфонс, появляясь в дверях. — Зачем вам чистить левую лошадь, если запрягать надо правую?

Или: Костя маленьким плужком на смирнейшем Фрице опахивал бурак, а Альфонс стоял рядом и изнурял его поучениями. Среди бурака местами торчали стебли красного мака, и требовалось смотреть, чтобы плужок, ерзая, не срезал маков, которые у Альфонса были на счету.

— Следите за тремя вещами, Костиа, — однотонно повторял Альфонс: — чтобы лошадь шла по самой середине борозды, чтобы она не наступала на растения, чтобы она не забрасывала их землей. Это так просто, Костиа. Всего три вещи, за которыми надо следить: чтобы лошадь шла по самой середине борозды, чтобы она не наступала на растения, чтобы...

Однако поучение, повторенное с десяток раз, приводило как раз к противоположному результату, и Костя, вначале пускавший лошадь довольно прямо и удачно обходивший опасные места, кончал тем, что загонял плуг вкось и сбивал маки самым бессмысленным образом. Альфонс хватался за сердце, поворачивался и без слов отходил.

Был также случай с картошкой, который плохо повлиял на репутацию Кости. Картошка в огороде при доме была посажена гораздо раньше, чем на поле, и уже успела высоко прорасти к тому дню, когда на поле лунки только заваливали землей. И когда на следующий день Альфонс сказал Косте полоть картошку, он никак не мог предполагать, что Костя пойдет не на огород, а именно в поле, и будет там бродить вдоль черных гряд, вытаскивая случайные травинки. Застав его за этим занятием, Альфонс серьезно усомнился в его умственных способностях. Даже собственные товарищи Кости, другие русские пленные, знавшие, что Костя не дурак, но, как городской человек, до войны служивший на телеграфе, мало что понимает в крестьянстве, — даже они, узнав о случае с картошкой, посмотрели на Костю по-новому. Они и прежде по разным поводам подтрунивали над ним и уже привыкли к тому, что по утрам он никогда не помнил, где с вечера оставил вилы, но идея полоть картошку на другой день после посадки была чересчур глупой даже для бывшего телеграфиста.

— Вот что, сержант, — оценив положение, сказал Косте пермяк Никита: — если останешься у Альфонса до осени, много горя примешь...

— Рад бы не оставаться, — отвечал Костя уклончиво, — да ведь меня не спросят...

Жест выражал покорность судьбе, но в глазах товарищам почудилась неискренность. Они знали, что за Костей числится побег, знали также, что человек, бежавший один раз, не остановится и перед новой попыткой, и едва ли могло быть, чтобы Костя не думал об этом.

— Держись около нас, — сказал ему другой русский, Игнат. — Там, где трое работают, четвертый может крутиться...

Это звучало как обещание дружеской поддержки, обещание, и без того ежедневно десятки раз выполняв-

шееся на деле, — и в то же время обидно обнажало действительную сущность отношений — они работают, он крутится.

Его только интересовало, куда в их расчетах девался еще один пленный, кавказец Гурген, который при молотьбе становился к мотору: работал ли он или тоже крутился?

Мнение Альфонса на этот счет также было совершенно определенное.

— Я кормлю пятерых, а работают у меня трое, — воскликнул он однажды, беседуя с фельдфебелем, вновь посетившим его. — Четвертый бывает полезен. Но пятый... Ради бога, за какие преступления вы посадили мне на шею этого пятого?

Итак, как ни старался Костя, то, что он делал на дворе Вейнерта, ни на чьем языке не называлось работой. Поняв это, Костя осел. Он потел попрежнему, но только чаще стал посматривать на горы вдали, за которыми была Австрия, первый этап всех побегов из этой части Германии.

Чаще всего Альфонс посылал Костю работать вместе с женщинами — полоть пшеницу или на картошку и бурак. С женщинами Костя чувствовал себя уверенно: они знали, когда надо поработать и когда можно присесть, знали, с какой стороны следует ожидать Альфонса и на какое количество работы он в праве рассчитывать.

Из женщин самая немолодая звалась Аннемари. У нее была крошечная фигура и ревматические ноги, и, когда в подоткнутой юбке, не сгибая колен, она шла по полю, она была похожа на блеклую фарфоровую пастушку, подвигавшуюся голландским шагом на невидимых коньках. Ей было пятьдесят шесть лет, но и в пятьдесят шесть лет она все еще краснела при упоминании о том, что у нее есть дочь, ибо родила ее лет тридцать назад, не будучи замужем. Дочь жила через несколько станций от Козельберга, и у нее давно уже были свои дети. Аннемари навещала их, но свои поездки обставляла тайной. Семейству ее дочери отдавалась и бо́льшая часть хлеба, который она зарабатывала у Альфонса. Сама она жила впроголодь. Костя видел, как однажды она подняла с земли сальную бумажку от бутерброда.

— От нее пахнет мясом... — говорила она, блаженно принюхиваясь. — Какая прелесть...

Аннемари знала историю каждого двора в Козельберге и могла бы многое рассказать, если б была в состоянии доводить свои истории до конца. Из ее рассказов ничего не выходило, потому что обычно одни ее истории на середине перекрещивались с другими историями и одни и те же имена начинали играть роль в событиях противоположного характера.

Когда Аннемари начинала путать, другая женщина, беленькая Каролина, которая по годам могла бы быть ее дочерью, резко поправляла ее. Казалось, путаница в рассказах Аннемари причиняла Каролине физическую боль, и чем дальше заходила путаница, тем больше страдания было на ее лице. И Аннемари, робевшая от окриков, привыкла, рассказывая что-нибудь, глядеть ей в лицо, и, в зависимости от его выражения, рассказ ее то шел бойко, то с заминками, то обрывался совсем. Без одобрения Каролины то, что рассказывала Аннемари, было недействительно.

Точно так же, если во время работы Аннемари говорила, что пора присесть отдохнуть, это еще не значило, что все действительно последуют ее приглашению и сядут; требовалось узнать, что думает Каролина, и, если Каролина находила, что отдыхать рано, работа продолжалась. Если же сама Каролина говорила, что пора отдохнуть, никаких одобрений ни с чьей стороны больше не требовалось.

Каролина в тридцать пять лет была не лишена приятности. Спереди у нее нехватало зуба, и это портило ее общий облик маленькой белой мыши. Сохранившаяся у здешних женщин манера подпоясываться двумя ремнями — одним повыше, другим пониже талии — также не шла ей, ибо собственно талии у нее уже не было. Остроконечная соломенная шляпа с козырьком для глаз, надеваемая для работы, была ей не по фигуре велика. Зато синие глаза, глядевшие из-под козырька, привлекали печалью и задумчивостью и делали ее существом более поэтическим, чем остальные женщины.

Возможно, именно ее грустные глаза понравились Игнату, одному из русских пленных, или же его привлекала в ней ее вдовья степенность. Он выделял ее

среди других женщин. Он ничего не имел против, когда стряпка Хедвиг сошлась с Никитой, его однодеревенцем, не обратил внимания, когда работницей-полькой завладел кавказец, но показывал зубы, если видел чьи-либо поползновения в сторону Каролины.

Костя однажды на себе испытал, что значит, когда Игнат начинает злиться. Костя знал немного по-немецки и однажды завел с Каролиной разговор, невинный, но которого Игнат не понимал. И вот неожиданно на него обрушилось столько окриков по работе, столько обидной правды, такая злоба была во взгляде Игната, что Костя опешил. Товарищи объяснили ему, в чем было дело.

Повидимому, Игнат не признавал легких отношений и любви на время и с места стал смотреть на Каролину как на свою жену. Сам он, в его теперешнем положении, был парией, бесправным существом, которое ежедневно под конвоем приводилось на работу, а вечером тем же порядком уводилось в казарму на ночлег. Цена ему была кроме харчей, — двадцать пять пфеннигов, или двенадцать с половиной копеек в день. Он был обязан молчать, во всем зависел от конвойного, носил платье с арестантскими вырезами и номером на груди, был придатком к паре собственных рук, которые в сущности и обозначались его именем и фамилией. Но впоследствии, с окончания войны, эти самые руки должны были открыть ему дорогу куда угодно, и он только не знал, повезет ли он Каролину с собой в Россию или останется с ней в Германии.

Странная была эта любовь, где любовники уже второй год объяснялись взглядами и жестами или же словами будничными и самыми грубыми, — ибо грубые слова — первое, что постигается в чужом языке, — где все разговоры происходили на людях во время работы, а для встреч наедине оставались минуты во время обеденного перерыва, если путь в комнату Каролины был свободен.

Разговор с Каролиной, из-за которого чуть не пострадал Костя, а также другие его разговоры с женщинами объяснили ему, в чем собственно заключалась грусть, так таинственно отражавшаяся в ее синих глазах. Каролина грустила, что осталась одна, с семилетним Фри-

цем. Она чувствовала себя беспомощной в настоящем, ее беспокоило будущее. В плохую погоду она говорила, что наверное прежде в такой день ей незачем было бы выходить в поле, что работал бы муж, а для нее нашлась бы работа и дома. Каждую пятницу она по утрам вспоминала, что замужние работницы в эти дни не выходили в поле: по пятницам до обеда им полагалось печь хлеб в альфонсовой печи, ибо паек у Альфонса они получали мукой, а не готовыми караваями, как одинокие работники. Ей не полагалось ни болеть, ни лениться, она должна была каждый день итти, куда скажет Альфонс, между тем она была хрупка, и сил у нее становилось все меньше.

Игнат, с его привязанностью, был ей дорог, — но все, что касалось Игната, ей представлялось фантастическим: на что можно положиться, когда человек даже не может рассказать словами, чего он хочет, и только показывает рукой, что когда-то они вместе куда-то уедут? Между тем Каролина никогда в жизни не выезжала из Козельберга, даже на ярмарку в окружной город ходила не каждый год, и широкий жест Игната не умещался в ее голове.

Кроме того, ее беспокоил Гуго. Она знала, что он не спроста поступил работником к Альфонсу, догадывалась о его планах и страшилась их. Они казались ей невозможными, но она чувствовала себя беспомощной против них.

Если Каролина, с ее грустью, напоминала безобидную беленькую мышку, то ее сестру Берту, жену коровника Винтера, также нередко выходившую в поле, скорей можно было бы сравнить с матерой серой крысой, разгуливающей на задних лапах. У ней были крысьи глаза и крысьи повадки. Во дворе Альфонса она была главным вредителем его добра. Разнюхивать, похищать, урывать что-либо из его богатств, по мелочам перетаскивать в свою нору — было ее ежедневной потребностью, хотя бы это была лишь связка мелких полешек из его сарая, мерка картошки из погреба или огурец с его гряды. Огурец прятался в карман, по карманам же распихивалась картошка, поленья укладывались в сноп соломы и на глазах Альфонса перетаскивались через двор в коровник, откуда затем переходили по назначению.

Более серьезные дела начинались, если ее ставили к веялке. Тогда вместо полешек в снопы увязывались узкие мешочки с зерном, и дело грозило бы тюрьмой, если б сноп по дороге через двор развязался. Говорили, что операции Берты с зерном в предыдущий год приняли широкие размеры, один из пленных, обмененный кавказец, тот самый, который умел править лошадьми, сидя как палка, был ее помощником. Рассказывали даже о целой подводе с зерном, ловко среди дня вывезенной на мельницу. Гурген, товарищ обмененного, намекал, что когда-нибудь, уезжая в Россию, он расскажет обо всем Альфонсу. До тех пор Берта могла быть покойной. Никто из работников не путался в ее дела.

Среди двора у Альфонса стояла башня для птиц: внизу жили куры и утки, вверху голуби. Сам Альфонс лишь в редких случаях ел своих кур; он считал, что они ему не по средствам, для него резали голубей. Между тем, пересчитывая кур, он убеждался, что число их убывает. Это было делом рук Берты, которая находила, что ей альфонсовы куры как раз по средствам, и между двумя похищениями не делала больших промежутков. Альфонс догадывался о причинах убыли, наливался кровью, но не подымал шума, избегая волнений. Десятые, двенадцатые доли похищенного расходились по рукам, — Берта знала, куда и что рассовать, — все делались ее соучастниками и помалкивали.

В практике Берты были также случаи откровенного озорства. Она не только срывала огурец с гряды, но и вырывала с корнем побеги, доводя до слез Марту, жену Альфонса, которая никак не могла понять такой дикости.

Даже сам коровник Винтер, ее муж, невозмутимо наблюдавший за всеми ее делами, сделал ей по этому поводу замечание.

— Пустяки, — ответила Берта, — Альфонс не обеднеет. У него много...

И засмеялась вынужденным, полузадушенным смехом, не давая мужу продолжать.

Шутливые отговорки и вынужденный смех часто были ее единственной защитой, если против нее выдвигались обвинения.

— Ты плохая женщина, — кричала ей однажды в ссоре какая-то работница. — Ты портишь двор. Ты хуже всех...

— Неужели хуже меня нет?—отшучивалась Берта.— Бедная я грешница...

Костю она также не оставила без внимания и попыталась приручить его к себе.

— Костя, — подошла она к нему однажды, — я заметила: ты ходишь в амбар за овсом для лошадей. Альфонс дает тебе ключи?

— Да, — ответил Костя, удивляясь теме разговора,— я иногда хожу в амбар...

— В амбаре у Альфонса много зерна, не правда ли?

— Да, — подтвердил Костя, — там много всякого зерна.

— А не мог ли бы ты, Костя, прихватить немного зерна для меня? Какую-нибудь горсть пшеницы или ячменя? Я бы сварила кофе. Я бы угостила и тебя, Костя.

— Во что же я его возьму? — уклончиво сказал Костя: разговор тяготил его, но оборвать его он не мог, чтобы не обидеть Берту. — Мне не во что взять зерно.

— А в карманы, милейший Костя, в карманы. Горсть утром, две горсти вечером, — ведь в конце концов из этого должно что-нибудь получиться?

Костя кивнул головой и промолчал, но ни разу ничего ей не принес. Зато он заметил, что если за овсом ходил Пауль, пятнадцатилетний сын Берты и ее даровитый ученик, он спускался оттуда с оттопыренными карманами и красным лицом. Пауль не был косым, но в этот момент глаза у него смотрели косо. По инстинкту, он шел прямо на Альфонса, чуть не задевая его. Альфонс сторонился, чувствовал неладное, багровел, но молчал.

3

К Паулю Костя питал симпатию. Сам он на работе потел и передвигал ноги, но, если б было можно, он всегда бы сидел. В сущности, с первого же своего трудового движения утром он уже чувствовал себя усталым и не без зависти наблюдал Пауля, который работал весело и как бы мимоходом.

Если им случалось вдвоем чистить конюшню, Костя влачил свою тачку с медленностью раба на древних пирамидах. Он надсаживался, когда она катилась вниз, таща его за собой, и обыкновенно она опрокидывалась не там, где он хотел. То же самое у Пауля выходило много веселее: он сраската вгонял тачку вверх, а затем пускал ее лететь по доскам, куда ей заблагорассудится, и, однако, навоз у него разлетался пластами, не оставляя горбов и не портя общей картины навозной кучи.

Так же легко Пауль обращался с лошадьми, и, если ему требовалось заставить лошадь переступить на другое место, он тыкал ее чем попало в бок, даже не отклонясь, на случай если бы она его ударила. Костя, который на задние ноги лошади всегда смотрел со страхом и никогда бы не решился ее ударить, в такие моменты наблюдал Пауля с искренней завистью.

Если Альфонс посылал их вдвоем на лошади на последний участок, по дороге между ними бывали ссоры. Костя, всегда усталый и думающий о покое, любил тихую езду, чтобы можно было сидеть, свесив ноги через решетку, и, прищурив глаза, смотреть, как синеет овес на холме, или как солнце пробивается сквозь сосны на далеких Судетах. Между тем на Пауля простор действовал возбуждающе, и он начинал горланить и гнать лошадь, не разбирая дороги. Костя, потревоженный в мечтаниях, сердился, пробовал его утихомирить, пытался отобрать у него вожжи. Это не всегда удавалось. Мир наступал после того, как Костя вынимал табак. Табак соблазнял Пауля, а взяв что-либо у человека, он уже не мог быть с ним грубым.

Пауль был покладист, но держал тон наравне с кем угодно. Столкновения с ним и для взрослых не всегда кончались удачно, ибо там, где он не мог взять силой, он отбегал и издали забрасывал противника грязью и чем попало, обещая в будущем разделаться с ним как следует. А человек со следами свежего конского помета на лице всегда имел глупый вид, как бы силен и грозен он ни был.

От матери он перенял любовь к похищениям: он не только отряхивал яблони в чужих садах или на дорогах — что по немецким понятиям не пустячное преступление — или присваивал себе что ему нравилось из иму-

щества товарищей, но не забывал и городских магазинов, где он бывал редко, но откуда уходил, обязательно унося какую-либо добавочную ценность, неоплаченную им и часто совсем ему ненужную. Костя видел, как однажды, в придачу к конверту, за который он заплатил, он унес бесплатно книжку, оказавшуюся «Афоризмами» Шопенгауэра. Книжка, не говоря о содержании, поставила его втупик тем, что была новая и неразрезанная.

— Как мне быть? — спросил он Костю, с удивлением разглядывая книжку, которая перелистывалась сразу по шестнадцать страниц. — Я не могу ее читать, если листы слеплены вместе...

И после раздумья, с подъемом, свидетельствовавшим, что он дошел до решения собственным умом, он сказал:

— Я их разрежу...

От отца, старого солдафона Винтера, он перенял некоторые солдатские замашки: здороваясь, он умел раскатываться навстречу как бы с почтением и, застопорив, протягивал руку, сплевывая в то же время на сторону. От отца же к нему перешло уменье ругаться и забрасывать противника прозвищами, иногда совершенно непонятными: проклятый жаворонок, милостивый государь, кисточка, свинячий ежик...

На слова он был скор, но были вещи, перед которыми он робел: перед плакатом у кино, изображавшим необыкновенных людей, перед машинистом на паровозе, орудовавшим сложной махиной, перед музыкантами за то, что они умели играть на трубах.

Сам он очень неплохо играл на губной гармонике. У него были верный тон и простая манера. Но странно, если его просили сыграть, этот малозастенчивый юноша робел и отнекивался.

— Я не умею, — говорил он, краснея и стараясь удрать, — я совершенно не умею...

Если Пауль и его легкость в работе внушали Косте зависть, то был во дворе Альфонса человек, который работал с еще большей надсадой, чем он, — хромой Корль. Разница была та, что Костя, несмотря на неохоту, все-таки крутился. Корль же не находил этого нужным. В поле, если его туда посылали, он занимался тем, что стоял на одном месте, поджав хромую ногу и наблюдая, в какую сторону пошел Альфонс. Если поблизо-

сти оказывались русские пленные, не любившие работать за других, они сердито окликали его, и Корль принимался работать, а потом жаловался Паулю, что русские злые, нехорошие люди.

Недостаток внимания к его хромой ноге обижал его. Он жестами ссылался на нее, он взывал к милосердию и справедливости, но встречал равнодушие и подозрения в симуляции. Хромота не мешала ему таскать тяжелые мешки, — это занятие он любил и, подставляя плечо, в ответ на неизбежное напутствие Альфонса, чтобы он не разбил мешка на лестнице, обиженно кричал:

— Я ношу полтора центнера вверх...

Это были редкие моменты, когда в нем просыпалась гордость человека, который что-то может. Обычно он отлынивал как мог, и работать с ним в паре, не поссорившись, было невозможно.

Однажды Костя и Корль прочищали борозды на картошке. Костя вел лошадь по борозде, Корль держался за плуг и через каждые две борозды бросал поручни и садился отдыхать.

— Ну, ну, Корль, вставай, — взбадривал его Костя, потому что без понуждения Корль не встал бы никогда. — Мы еще ничего не сделали...

— Нога, — кратко говорил Корль, кивая на хромую ногу, и, считая вопрос исчерпанным, продолжал сидеть.

— Альфонс подымет крик, когда придет, — настаивал Костя. — Вставай, вставай.

— О ком он заботится? — удивлялся Корль. — Об Альфонсе. Поверь, у Альфонса и так хватит...

Он непрочь был поболтать на эту тему. Он показал на альфонсовы поля и на дом в отдалении, а затем перевел палец на себя: на свою грязную рубаху и заскорузлые ноги в сбитых опорках. Он предлагал Косте дискуссию по вопросу о богатстве и бедности, но Костя знал только, что если заданная работа не будет сделана, то вечером можно ждать разговора с конвойным.

— Все это прекрасно, — говорил Костя, не вдаваясь в подробности. — Но нечего сидеть по полчаса. Это не работа...

Он повел лошадь в борозду, в уверенности, что Корль не посмеет бросить плуг без управления и встанет, но Корль посмел и остался сидеть. Он с любопыт-

ством посмотрел Косте вслед и ухмыльнулся, когда плуг с первых же шагов въехал на гряду и срезал растение. Костя был вынужден бросить лошадь.

— Да встанешь ли ты, дохлая скотина? — в бешенстве подбежал он к Корлю и протянул руку к его шее.— Вставай сейчас же!

Он побаивался получить сдачи, ибо Корль был не слаб. К его удивлению, Корль съежился, ожидая удара, а, получив по шее, заморгал глазами и сказал, что пожалуется конвойному.

— Пленный не смеет бить немца, — сказал он жалобно. — Это запрещено...

Из двух с половиной караваев, получаемых им по пятницам от Марты, Корль один продавал куда-то в город. С понедельника у него не оставалось хлеба, и до пятницы он должен был терпеть.

Жизнь его от понедельника до пятницы была мучительна. По утрам он выходил на работу, похлебав голого кофе, наесться он мог только картошкой за обедом, и дело осложнялось тем, что он никогда не знал, сколько ему оставалось ждать до обеда, ибо был единственным работником Альфонса, не имевшим часов.

Часы для работников Альфонса были необходимой принадлежностью. У Кости они лежали в кармане штанов на цепочке и вынимались незаметным жестом, даже на глазах Альфонса. Часы Игната, серебряные, с крышечкой, были запрятаны подальше и вынимались реже. У Аннемари они были в кожаном браслетике, и, чтобы посмотреть на них, требовалось только выгнуть пухлую ручку, на что в присутствии Альфонса она не решалась. Часы Каролины, с несколькими крышечками и заводившиеся ключиком, вынимались в редких случаях. Зато ее сын, синеглазый Фриц, обладатель большого никелевого хронометра, также во время жатвы выходивший на работу, то и дело смотрел на часы и, пробегая по полю, радостно объявлял:

— Через тридцать пять минут феспер.[1]

А во время перерыва не менее радостно:

— Через десять минут вставать...

Течение времени само по себе забавляло его.

---

[1] Полдник.

Корль, голодный и мучимый неизвестностью, носился по полю, мотаясь на сиденьи какой-нибудь усовершенствованной сеноворошилки.

— Ви шпэт? [1] — спрашивал он умоляюще, проезжая мимо кого-либо из работников, и, склоняясь с тычка, внимал.

Было в обычае обманывать его. Ему говорили время на полтора часа назад, он с ужасом отскакивал и влекся дальше, и только потом, сопоставив разные признаки, догадывался, что его надули.

— Ви шпэт? — спрашивал он, склоняясь в другом месте, всем своим видом говоря, что дело идет о крайности.

Тут ему называли время на час вперед. Корль радовался, но потом соображал, что и этого также не могло быть. Он переставал верить кому бы то ни было, влачился взад и вперед в самом плачевном состоянии и, только увидев, что работавшие на лошадях один за другим поворачивают ко двору, догадывался, что наступило одиннадцать часов, час кормежки лошадей у Вейнерта. Почувствовав твердую почву, Корль приободрялся, чтобы снова затем огорчиться при мысли, что до обеда все-таки оставался целый час.

Корль был также единственный во дворе Вейнерта, кто страдал от вшей. Он стыдился их и не чесался на глазах у других, зато постоянно шевелил плечами, дергался лицом, ежился и всегда имел вид человека, прислушивающегося к себе и ожидающего нападения откуда-то изнутри. Он зарабатывал гроши, — немногим больше пленных, — и рубаху получал раз в год в виде рождественского подарка от Альфонса. Та рубаха, которую «малютка Христос» принес ему в прошлую зиму, была плохого качества и давно загнила, и нередко после работы, замученный вшами, он снимал ее и отдыхал, надевая пиджак на голое тело. В такие минуты он выглядел как пытаемый, на полтора часа снятый с дыбы.

Русские пленные наблюдали его не без сострадания, видя у него знакомые признаки уныния, когда вошь окончательно обседает человека.

— Корль, — говорили они, — ходи веселей: веселого человека вошь не так кусает...

[1] Сколько времени?

Корль до слез обижался, слыша такие советы, и укреплялся во мнении, что русские нехорошие люди, но когда, в придачу к советам, русские подарили ему чистую смену белья, он не знал, что ему думать. На некоторое время русский подарок помог ему, но затем началось старое.

Старик Шульц, также работавший у Вейнерта, был существом побольше карлика, но поменьше всякого даже и очень низкорослого человека. Он был обладателем большой губной гармоники с колокольчиками и черного осеннего пальто. Имущество это он, свернув, носил с собой на работу в поле, повидимому опасаясь домаворов. Над ним смеялись и считали его чудаком, хотя на самом деле это была молчаливая демонстрация, которой он хотел привлечь общее внимание к случаям пропажи хлеба из его сундука. В краже хлеба он подозревал Корля, и не без основания, но объяснять это на словах не мог или потерял охоту, и только иногда неразборчиво ворчал, фыркал и шевелил выпяченными скулами.

Он был медлителен, и если случалось, что один из снопов, которые он перетаскивал из сарая в коровник, по дороге падал на землю и развязывался, он останавливался в замешательстве:

— Один развязался... — вздыхал он, созерцая лежавший сноп. — Да, да, вот он лежит...

Он мог поступить двояко: положить на землю то, что оставалось в руках, связать развязавшееся и отнести все сразу, или же оставить развязавшийся сноп лежать, отнести, что оставалось, и потом вернуться. Он делал движения, показывавшие, что он думает предпринять то одно, то другое.

— Иезус, Иезус, — вздыхал он, окончательно запутавшись. — Тьфу! — плевал он вдруг с отвращением, сложив губы по-лягушачьи.

Привычка неожиданно и обильно плеваться также была его особенностью. Ему случалось помянуть имя божие и притти в мирное настроение, и вдруг начать плеваться самым исступленным образом как раз тогда, когда слушатель этого не ожидал.

Он курил дважды в день, сейчас же после обеда и ужина, — и весь двор знал об этом. Костя однажды предложил ему своего табаку. Шульц, удивившись, на-

бил трубку, закурил, помолчал, а затем поднял на Костю растроганные глаза, зашевелил скулами и совершенно раздельно произнес несколько слов благодарности и дружелюбия. Оказалось, что он отлично умел говорить, но в обстановке двора Вейнерта, среди постоянных насмешек, почти отвык от этого.

Сам Альфонс Вейнерт был невысокий мужчина, с воловьей шеей и пухлыми пальцами, которые он пускал в ход лишь для того, чтобы набивать и выколачивать трубку и открывать и закрывать амбары. Тяжелая работа была ему запрещена, но он говорил, что, если бы был в состоянии, он показал бы рабочим, как надо работать. Сейчас он мог только ходить и смотреть, и даже свое любимое занятие — проверку мышеловок в амбарах и на полях — он должен был передать другим, Паулю и кавказцу Гургену, ибо сам не мог нагибаться.

Он редко выходил за пределы своих владений, так как не имел в этом надобности: все, что ему требовалось, было у него под рукой. Он с гордостью говорил, что ему не нужно ничего чужого, но что и своего он не намерен уступать никому ни крохи.

Он крепко держался этого правила, и бедняки, являвшиеся к нему с реквизиционными ордерами на ничтожные доли картофеля для посева, получали его лишь после длительного и крикливого предисловия. Альфонс говорил, а они молчали и, только выйдя за ворота, позволяли себе сказать что-нибудь по адресу богача, который не понимает, что люди кругом мрут с голода.

Кругом разливалась бедность. Нищие, которых прежде не было в этих местах, все чаще стали заглядывать на кухню с жалким видом и молитвой бедных на устах. Объявление, что хозяин дома — член союза по борьбе с нищенством, прибитое на воротах, не помогало. Людей, пренебрегших объявлением на воротах, встречала еще приколотая к двери квитанция об уплате взноса за текущий месяц, но и она мало кого останавливала.

Альфонс любил свои поля. Ничего другого он не хотел знать. От работников он также требовал только работы, и в остальном они не интересовали его. Их нерадивость он считал неизбежным злом и вносил в свои расчеты как необходимую поправку. Он давал им пищу и пфенниги, не мешал им изредка менять солому на на-

рах, требуя лишь, чтобы изношенная солома была представлена назад в хозяйство; раз в год они получали от него рождественский подарок, и он считал свои расчеты с ними поконченными.

Бессловесные твари внушали ему больше сочувствия, и если случалось, что ветер подымался в то время, как на его полях рассевалась известка, и едкая пыль набивалась лошадям в глаза, он подходил и, мучаясь, вытирал им углы глаз первым, что попадалось ему под руку, хотя бы это был совершенно чистый носовой платок, но не обращал никакого внимания на пленных, у которых лица также были вздуты от извести и которым также нечем было вытереться.

4

Гуго работал и гнул свою линию. Первое время люди избегали смотреть в его безносое лицо, и их взгляды мимо его глаз, их невольное движение задержать дыхание при разговоре с ним он принимал с светлым смирением. Затем его отношения с людьми стали увереннее, к нему привыкли, и он первый доверчиво улыбался другим. Он как бы говорил: «Я смирился, я не обижусь, если вы оттолкнете меня, но ведь и я тоже, как все люди, имею право жить и дышать».

Он умел работать и работал по специальным заданиям Альфонса. Родные поля, которых он так давно не видал, умиляли его, и нередко он оглядывался кругом просветленно и с удовлетворением, как человек, попавший наконец на свое место.

— Пусть говорят, что угодно, про чужие края, — сказал он однажды Косте, с которым нередко вступал в разговоры мимоходом. — Для меня на свете нет края лучше, чем Козельберг...

Костя, на которого Козельберг наводил тоску, не мог разделить его восторгов и вежливо промолчал. Но Гуго сделал жест, что понимает его.

— У каждого человека есть свой Козельберг, — пояснил он свою мысль. — Есть и у тебя, Костя. Когда-нибудь ты это поймешь...

Вид человека, отделенного от своего Козельберга тысячами верст, внушал ему сострадание.

— Я понимаю тебя, Костя, — сказал он, дружески взяв его локоть: — один, вдали от своих, во вражеской стране... Я понимаю тебя...

Костина неумелость пробуждала в нем желание поучать его. Он делал это осторожно, не очень выставляя свое превосходство и выбирая примеры, на которых, быть может, учили его самого.

— Как ты думаешь, Костя, — спросил он его однажды, глядя с холма на козельбергские поля, — какой ширины вот этот черный кусок?

Он показал на длинную полосу между картошкой и ячменем и хитро посмотрел на Костю.

— Десять или двенадцать метров, — ответил Костя, смерив кусок на-глаз.

И хотя на самом деле это было так, Гуго покачал головой и тихонько улыбнулся, ибо дело было не в метрах.

— Ты городской человек, Костя, — сказал он снисходительно. — Ты думаешь: достаточно перейти через поле, и вот ты на другой стороне. Ты думаешь — вот его ширина. И так думают все, кто никогда не пахал. Но пахарь знает, что поле состоит из борозд, и надо пройти все борозды вдоль одна за другой, и только тогда ты придешь на другую сторону. Вот какая его ширина... Так-то, Костя, — сказал он потом, сам умиленный своей мудростью, и бодро взялся за плуг, чтобы измерить этим способом ширину будущего ржаного поля.

Бодрость и уверенность заметно преобладали в его настроениях, и ясная улыбка все чаще появлялась на его лице.

Ему редко случалось работать вблизи Каролины, еще реже приходилось с ней говорить. И тем не менее все знали, что его дело начато и с каждым днем подвигается вперед. За него работала Берта. Она мимоходом забегала к нему в конюшню и охотно выслушивала его честные доводы, а потом шла к сестре, заводила разговор, намекала отдаленно, подходила ближе, ставила вопросы ребром и, выслушав отказ, смеялась полузадушенным смехом, говоря, что, конечно, Каролина еще подумает, прежде чем ответить окончательно. И, обхаживая сестру, она больше, чем когда-нибудь, была похожа на толстую серую крысу, разгуливающую на задних лапках, вынюхивающую, выжидающую.

Доводы в пользу брака с Гуго появлялись у ней при всяких случаях. Если кому-нибудь случалось быть в церкви, и он в разговоре упоминал об этом, она говорила:

— Обрати внимание, Каролина: до войны в нашей церкви пел прекрасный хор из мужских и женских голосов, мужчин и женщин было поровну. А теперь: кроме женщин, поет один учитель, да и тот только подтягивает. Во всей деревне нет мужчин, милая моя. Бедным девушкам не за кого будет выходить замуж...

По пятницам, выходя после обеда в поле, она рассказывала об утренней суете у хлебной печи:

— Было превесело. Ригерша пекла черный, а белую муку ухлопала на печенье, чтобы послать мужу на фронт — такие нежности. Я на этот раз попробовала полубелый с тонкой корочкой. Прямо ужас смотреть, сколько ячменя подсевает Марта в хлеб для работников... Если бы ты пекла сама для себя, ты бы сразу заметила разницу...

Если Каролина выходила на работу, перемогая слабость, Берта не упускала случая заметить:

— Тебе только тридцать пять, а ты уже падаешь с ног. Я с ужасом думаю, что останется от тебя к сорока годам, если так пойдет дальше.

Каролина молчала. Ей нечего было возражать сестре, перед которой она была так же бессловесна, как Аннемари перед ней самой. И все-таки брак с нелюбимым клейменым человеком казался ей слишком обидным жребием, чтобы подчиниться ему без сопротивления.

Гуго ничего не требовал. Он поверял Берте свои планы и ждал. Казалось, он понимал, что он не в праве чего-либо требовать. И даже, если он замечал, что в дверь Каролины прошел Игнат, он молчал. В таких случаях он уходил к себе в конюшню и там, прячась от людей, плакал. Это были покорные слезы нищеты, у которой другие, шутя, отнимают последнее.

Берта однажды застала его в конюшне в таком состоянии и затем сейчас же прошла к Каролине для решительного разговора. Нравственное негодование придавало ее доводам особенный вес. Положение и на этот раз осталось невыясненным, но, хотя еще ничего не было решено между Гуго и Каролиной, дверь Каролины от-

ныне была заперта для Игната. Берта настояла на этом: раз Каролина еще не ответила Гуго окончательно, раз она еще думает, она не должна испытывать его терпение.

И кроткий взгляд Гуго после этого случая стал еще светлее, в то время как Игнат задумался и насторожился.

Сущность дела была ему понятна, но подробности, ежедневно усложнявшиеся, ускользали от него. Чтобы их понять, было мало одних жестов, требовались слова.

Одно он понимал ясно: его здесь не только ставили на одну доску с осколком человека, каким был Гуго, но этот осколок все заметнее перевешивал его. Осколок чувствовал себя привольно на козельбергской земле, он ходил по тропам, протоптанным с детства, в то время как его водили по этим тропам под конвоем. Он был здесь случайным человеком, пленным с номером и жестянкой, и, что бы он ни делал, в этих местах он всегда стоил бы дешевле любого безносого немца.

Обидно было, что в деле, касающемся его, его не спрашивали. Приходила Берта, улыбалась Каролине с выжидающим видом и шла дальше. Каролина подымала голову, глядя вслед шагавшему за плугом Гуго, и тяжелая задумчивость надолго искривляла ее лицо. Аннемари робко сидела рядом, не решаясь прервать молчание. Что-то совершалось на его глазах, история подвигалась вперед, а он ничего не знал.

Иногда в разговорах работников он слышал имя Каролины и слова, которых он не понимал, а все, чего он не понимал, он истолковывал в обидном для себя смысле. Шульц и Корль, казалось ему, знали обо всем больше, чем он. Даже Костя, болтавший с немцами, казалось, что-то скрывал и издевался, и неожиданно во время работы Игната прорывало, и он начинал по разным поводам одергивать Костю, глядя на него со злобой, а Костино молчание и осторожность только делали его вдвойне подозрительным.

Был даже случай, когда Игнат пустил в ход руки, за шиворот вытащил Костю из-под стенки ржи, с межи, куда тот пошел по нужде. Костя был не первый, кто ходил туда, и было странно, что Игнат, прежде не обращавший на это внимания, вдруг так рассердился.

— Я отучу тебя гадить по межам, — кричал он. — Нашел темное место. Ты думаешь, рожь тут вечно стоять будет? Когда я буду косить, а ты за мной с горстями побежишь, — ты же в кучу носом уткнешься... Ты у меня ее руками уберешь...

Злоба Игната шла кривым путем, — ближайший товарищ не мог бы его понять. Она не затронула ни Гуго, ни Берты, но от нее несколько дней терпел Костя, от нее же пострадал юный Пауль, который как будто чересчур много знал, — из столкновения с Паулем Игнат сам вышел потрепанным и с забрызганным грязью лицом, — а затем она обрушилась на самого Альфонса Вейнерта. Альфонс не имел отношения к делу, но он был хозяин и немец, высшая точка здешних мест, и гнев Игната не мог миновать его.

Дни перед сенокосом были для пленных днями годовщины: их пригнали к Альфонсу перед сенокосом два года назад, и Альфонс не забывал отмечать эти дни маленькими подарками. В прошлом году каждый из пленных получил по пачке сигарет, в этом году было дано по две пачки. А после подарков произносилась речь о переходе на долгий летний день и о прибавке платы: двадцать пять пфеннигов не годились для четырнадцатичасового дня и сразу превращались в пятьдесят, в шестьдесят пфеннигов. Бумаги и никеля у Альфонса хватало, а пленные, у которых деньги уходили на табак и очко, видели в прибавке порядок и справедливость и уже два раза — вскоре по приезде и в прошлом году — выслушивали Альфонсову речь с одобрением.

Эта речь была как бы добавочным молебном к его обычным непонятным богослужениям, ибо Альфонс, как всегда, говорил без переводчика, отрывистым криком, и главным пунктом речи была цифра, выведенная пальцем на стене. Дойдя до цифры, Альфонс дружески улыбался, делал разрешительный жест и удалялся в уверенности, что вопрос улажен к общему удовольствию.

В этом году он произносил свою речь в третий раз, и, однако, несмотря на то, что на этот раз он назначил не шестьдесят, а восемьдесят пфеннигов, он заметил, что его речь производит на пленных неодинаковое впечатление. Никита и Матвей, стоя по-солдатски, мирно внима-

ли ему, но Игнат глядел хмуро и недружелюбно. Костя, которого прибавка не касалась, был безучастен, Гурген, как не косивший, также смотрел на дело со стороны: он выполнял разные особые поручения и не любил смешивать себя с остальными пленными.

— Ахциг пфенниг! — подчеркнул Альфонс и, показав на стене цифру, ждал в ответ обычного одобрения и был удивлен, когда Игнат хрипло крикнул:

— Не желаю.

Альфонс не знал русского языка и не привык, чтобы пленные возражали ему с такими интонациями, как Игнат. Он покраснел, но не потерял благосклонного вида. Он дал себе труд подумать: чем мог быть недоволен Игнат, — и решил, что его не удовлетворяет плата. В этом пункте он не упирался.

— За хорошую работу в сенокос, — сказал он, легко выходя из положения, — мне не жаль и марки в день.

Он начертил на стене «100» и улыбнулся, считая вопрос исчерпанным.

Он посмотрел на Игната дружелюбно, но Игнат еще злее и с явным вызовом ответил:

— Не желаю...

Альфонс смутился. Дело выходило из обычных рамок, и в первый раз за два года ему понадобился переводчик, чтобы понять, чего хочет пленный. Казалось даже, что собственные товарищи Игната его не понимают и оглядываются на него с недоумением. Альфонс подозвал работницу-польку. Марта, следившая издали за происходящим, подошла ближе и стала рядом с мужем с негодующим лицом.

— Я не могу дать больше марки, —сказал Альфонс срывающимся голосом, — я связан соглашением всех хозяев деревни, у которых работают пленные...

Полька перевела его слова, и пленные ее поняли, и все-таки Игнат еще раз с надсадой прокричал:

— Не желаю.

— Он не желает, — повторила по-немецки полька, сама удивленная.

— Чего же, в таком случае, он желает? — спросил Альфонс, багровея и хватаясь за сердце.

Он подождал, но и с помощью переводчика ему не

удалось добиться ответа на этот вопрос, ибо и сам Игнат не знал, чего он хочет, и продолжал твердить одно:

— Не желаю...

Но тон у него стал скучным и жалобным.

Дело принимало затяжной оборот. Никита и Матвей неодобрительно молчали, Костя не шевелился. Гурген морщился, словно совестясь мужичьей невежливости своего товарища, и, так как из амбара неожиданно выскочила мышь, он по привычке наклонился, поймал ее, ударил о стену и оглянулся на Альфонса, ожидая одобрения.

Игнат был одинок и никем не понят.

— Я знаю, чего он желает, — негодующим тоном вступилась Марта. — Он желает, чтобы мы позвали конвойного. Он этого добьется.

Корль, посланный ею, заковылял в дом, где как раз сидел конвойный, который обедал и ужинал по очереди во всех дворах, в которых работали пленные, и в этот день был нахлебником Альфонса. Он не замедлил притти и, выслушав Марту, тотчас же загорелся негодованием. Он поднял приклад, чтобы на месте проучить Игната, но Марта, жалея Альфонса, попросила его не делать этого на его глазах. Затем Игнат, подталкиваемый сзади и зло оглядываясь, исчез со двора, чтобы в карцере обдумать, чего он, собственно, желает от Альфонса, а Альфонс, красный, теребя пухлыми пальцами воротник, который вдруг стал ему узок, ушел в дом. Марта шла рядом, готовая поддержать его, если с ним что-нибудь случится, но ее помощь оказалась ненужной. Дело его было не так плохо: он твердо держался на ногах, хотя после неудачной речи ему требовалось немного полежать.

5

Начался сенокос, и случай с Игнатом скоро был забыт. Игнат работал как обыкновенно. Нового в нем был лишь взгляд исподлобья, которым он встречал Альфонса, и новый жест: невзирая на присутствие Альфонса, он вынимал часы и смотрел на время. Этот жест, от которого Альфонс менялся в лице, держался у него несколь-

ко дней, а затем исчез так же, как и взгляд исподлобья. Игнат снова смотрел на Альфонса просто в глаза, но отмалчивался и мрачнел, встречаясь с Мартой. Потом исчезло и это.

Некогда было вдаваться в тонкости. Подходила жатва, и первая же добавочная творожная шаньга, вынесенная в полдник для косцов, польстила его косцовской гордости, и, забыв о всяких счетах, пошел он вровень с Никитой и Матвеем обивать Альфонсовы поля, работал до дрожи в подмышках, перемогался и не подавал вида и, казалось, уставал меньше, чем Костя, все дело которого было бегать за косцом и тупым серпом сгребать скошенное со стенки, откладывая горсти для снопов. С чистым сердцем работал Игнат и, даже когда Альфонс не совсем уверенным голосом позвал косцов притти и в воскресенье, легко согласился, хотя по инструкции мог бы на этот раз с полным правом сказать: «Не желаю».

— Игнат отбесился, — заключила о нем Марта и при встрече улыбалась ему добродушно: взгляд у нее на людей был как на скотов, которых нечего корить тем, что они тоже иногда начинают брыкаться и мычать: стоит их постегать веревкой, и с ними снова можно ладить.

К Косте, который на косьбе потел и представлял жалкое зрелище, Игнат относился сочувственно, давал отдохнуть, где мог, и только покосился, когда дело по очереди дошло до межи на ржаном поле с обнажившейся на ней кучкой старого человечьего помета.

Свезли рожь, принялись за пшеницу. Три косца переходили с участка на участок. Костя бегал за Игнатом, Гурген возил снопы. На Гургена косцы поглядывали косо: он был силен и мог бы нести тяготу наравне с ними, они считали, что работали на него, между тем как с них уже было достаточно и Костиной доли, которую тоже как бы несли они. Но если Косте его слабость прощалась, а сам он был почтителен и признавал косцовское превосходство, то с Гургеном, посматривавшим на них свысока, бывали ссоры. Намеки на дармоедство обижали Гургена, он говорил, что, если бы Альфонс назначил его косить, он стал бы косить, он даже просил об этом Альфонса, который ответил, что не находит это

нужным. И хотя дело, таким образом, не зависело от Гургена, обвинения в захребетничестве остались и портили ему кровь. Он платил косцам взглядами свысока и тайным недружелюбием.

— Альфонс рад, что нашел дураков... — сказал он однажды Косте, кивая на косцов. — У него в сарае есть жнейка. Он ее бережет. Зачем ее портить, зачем гонять лошадей, когда есть три болвана, которые будут потеть с утра до ночи? Пусть стараются: и машина цела, и соломы больше.

То же самое, но в совершенно другом тоне, он повторил в лицо косцам, он как бы изобличал перед ними Альфонсову скупость, но даже голого упоминания о совершенно исправной жнейке, которая стоит в сарае в то время, когда три косца выбиваются из сил, было достаточно, чтобы началась ссора, во время которой Никита даже поднял над головой Гургена косу.

— Чтобы попугать, — минуту спустя сказал он Косте, встревоженному таким оборотом дела. — От него вредный дух.

Между тем Гурген с тех пор стал серьезно опасаться за свою жизнь.

Игнат отбесился, вошел в норму, все с ним, казалось, обстояло благополучно, и все-таки в праздники, сидя в казарме под замком, он не скрывал тоски и, не садясь за очко, валялся на нарах, глядя мимо людей, как больной. Или развязывал сумку, разворачивал старую посылку из России — пермские сухари с черемухой, перекладывал их, отделял целое от крошева, крошево съедал, остальное завязывал. Над сумкой подолгу задумывался, грустил. Утешало его, в конце концов, то же очко и в самом вечеру надрывное фальцетное пение:

Ехали солдаты
Со службы домой...
На плечах погоны,
На грудях кресты...

Игнат думал о доме. Не представлял себе иного возвращения домой, как в погонах и с крестами. Не допускал, чтобы с погонами и крестами когда-либо что-либо случилось. И хотя в команду дважды в неделю приходила из Берлина газета для пленных на русском языке,

где в это время как раз сообщалось, что низложенного царя перевезли в Тобольск и что Керенский, подготавливающий наступление, издал приказ об аресте государственного преступника Ленина, — читали эту газету из команды один-двое, да и те считали, что это пишется немцами нарочно. Летом было не до газет, нехватало времени и на очко.

На пшенице с Игнатом пошло хуже: он заболел, испортил нутро, не мог есть.

По утрам, выезжая за клевером, он бросал косу, валился лицом в землю, отлеживался. Никита и Матвей набивали фуру без него. На пшенице становился в ряд, входил понемногу в работу, в перерывах снова валясь лицом вниз. Однако конвойному о болезни не заявлял: совестно было бросать товарищей, и, кроме того, болезни без температуры в тридцать восемь градусов все равно не признавались.

И точно так же, как Игнат, в перерывах валялась на земле работница-полька, вязавшая снопы. Она пила отраву для выкидыша, ничего не добилась, болела и очень мучилась. Ее страдания были сильны, но еще сильнее была магнетическая сила Альфонсовых глаз, поддерживавшая ее на работе на ногах.

Ее будущий ребенок кое-кого заинтересовал. Знающие люди считали его отцом Гургена, но, так как и Корль тоже поглядывал на польку со вниманием, было удобно свалить все дело на него. Люди при встречах подмигивали Корлю, поздравляли его, льстиво удивлялись:

— Корль-папа!..

К общему удивлению, Корль принимал поздравления почти всерьез. Повидимому, он значил в этом деле больше, чем предполагалось. В другое время в этой истории разобрались бы как следует и, может быть, посмеялись бы, но теперь некогда было заниматься этим.

Почти без внимания оставлен был также и один необычный разговор между Гуго и Корлем в конюшне, где Корль после работы сидел без рубашки, отдыхая от вшей. В конюшне только что побывала Берта, и после разговора с ней Гуго был в повышенном и самом светлом настроении. Он говорил Корлю о радостях семейной жизни и, восхваляя их, не избег хвастливости, точно самому ему эти радости уже были знакомы. Он давал понять, что

сам он как бы уже стоит на другом берегу, и покровительственно спрашивал Корля: почему бы и ему не вступить на этот путь?

Корль слушал его, склонив голову.

— У меня нет денег, — вскричал он вдруг жалобно, точно его тащили куда-то на аркане и он боялся не устоять. — У меня нет денег...

Во дворе Вейнерта появился новый персонаж — стройная некрасивая девушка, в городском платье и с бегающими глазами — племянница коровника Винтера, приехавшая из Берлина. Ее костюм и ее бездеятельность во дворе, где все крутились в работе, бросались в глаза. Предполагалось, что она приехала из Берлина подкормиться, но многие также интересовались, чем она занимается в Берлине. Когда об этом спрашивали Винтера, он не отвечал на вопрос прямо и усмехался, если собеседник сам начинал называть какие-либо профессии.

— Я слышал, — спрашивал его кто-нибудь, — она была продавщицей в табачной лавочке?

— Ну, что вы! — весело улыбался Винтер. — Она только хотела поступить в табачную лавочку...

— Значит, в кондитерской? — поправлялся собеседник, смущенный хитрым выражением его глаз. — Мне что-то говорили, но я спутал...

— Какая там кондитерская! — отмахивался Винтер еще веселее.

Он глазами подсказывал какое-то решение, но собеседник, имея в виду, что говорит с родным дядей о профессии его племянницы, делал вид, что не понимает его, и в замешательстве продолжал называть профессии одну за другой, в надежде, что Винтер остановится на какой-нибудь, кивнет головой и прекратит истязание.

Но Винтер не думал кивать головой и, когда находил, что достаточно помучил неосторожного вопрошателя, весело объявлял:

— Не угадали. Прямо удивительно, что вы не могли догадаться. Она — самая обыкновенная берлинская...

Он называл уличную профессию и с барабанной простотой хохотал собеседнику в лицо.

— Мы выписали ее, чтобы она помогла Берте во время свадьбы: некому печь штрицеля...

— Значит, свадьба — решенное дело? — спрашивал

собеседник, радуясь, что вылез из неловкого положения. — Каролину можно поздравить?

— А с чем поздравлять? — снова ошарашивал его Винтер. — Гуго — славный парень, но у него в одном месте нехватает пустяка...

Он показывал себе на нос и весело смеялся.

Между тем в церкви уже было первое оглашение. Спрашивали: не имеется ли у кого возражений против брака Гуго Шуберта с вдовой Каролиной Кристен? — ни у кого никаких... конечно, кроме как у самой Каролины...

Гуго был торжествен и молчалив. Он работал теперь на ячмене. Альфонс извлек, наконец, жнейку из сарая и посадил на нее не кого-нибудь, а именно Гуго. Это был знак доверия, возвышавший его над теми, кто только вязал снопы или накладывал их на возы, — а этим делом теперь занимались пленные, — и в его взгляде, когда он проезжал мимо них, вместо обычной кротости, они замечали независимость и благосклонную важность.

Этот оттенок не шел к облику Гуго, делал его незнакомым, и снова, как в первые дни, стал бросаться в глаза недостаток его лица, к которому уже успели привыкнуть. И, посмотрев ему однажды вслед, Игнат вдруг затосковал и сказал дрогнувшим голосом:

— Он душной...

Так за обедом он говорил, если в супе попадалось гнилое мясо, которого он не переносил, оставляя на тарелке даже то, что его соседи, подумав, съедали. С тошнотной гримасой он проводил взглядом Гуго и задумался, бледный, что-то перед собой видя, подавленный жалостью.

У Кости было одно лагерное воспоминание, которое ожило в этот момент, так выразительно было лицо Игната. Он вспомнил бараки и проволоку, и окна госпиталя, к которым в сумерки пробирались за остатками голодные пленные из штрафного барака. Они стучат в окна и вынимают из-под курток мисочки. Окон много, и некоторые из них открываются, выставляются руки с баками, и содержимое их выливается в подставленные миски. Под окном венерической палаты также стоит человек с миской и, не отрываясь, следит за струйкой супа, льющейся сверху. Главное, что его интересует: густо или жидко,

много или мало? Когда перестает капать, он впервые взглядывает наверх, на того, от кого получает дары: за стеклом, закрывая окно, безносый человек улыбается ему степенно, с сознанием совершенного доброго дела. У человека внизу миска в руках вздрагивает, он отворачивает лицо от окна в ужасе, делает движение вылить суп на землю. Потом он взглядывает вверх еще раз, поникает головой, приставляет миску к губам. Слезы стекают у него по щекам, пока он пьет из нее.

Много чужого народа перебывало во время жатвы на Альфонсовых полях. Когда последний сноп на участке укладывался на воз и пленные еще раз граблями обходили поле, — начиналось шествие собирателей колосьев. Горожане в крахмальном белье и женщины в шляпах, старухи и дети, — все, кому позволяло время, были рады добыть себе этим путем лишний кусок хлеба. Им предоставлялось то немногое, что оставалось после граблей работников, и если кто-нибудь, по неопытности, являлся с мешком в надежде на большую добычу, над ним смеялись и заставляли бросить мешок на меже. Они шли шеренгой на несколько шагов друг от друга и складывали поднятые колосья в букетики, отлично умещавшиеся в левой руке. Толщина букетика зависела от остроты зрения, от уменья быстро нагибаться, но еще больше от работников, которые могли оставить больше и могли огрести поле начисто.

Альфонс не любил, когда приходили люди из города. Когда косили луг вблизи дороги, редкий из пешеходов проходил мимо, не попросив у него клочка сена для своего кролика. Альфонс не отказывал, но обилие просьб и необходимость выслушивать благодарности утомляли его. Люди из города были вежливы и за каждый клок сена благодарили, по крайней мере, трижды, причем благодарности выкладывались не сразу, а с промежутками, заполнявшимися еще каким-либо незначащим разговором.

Кроме того, у Марты, происходившей из города, оставалось там немало родни, которую Альфонс тяготился поддерживать, и теперь они являлись на поле и становились в шеренгу среди чужих людей, чтобы хоть этим путем получить то, на что они рассчитывали. Собственный дядя Марты, отставной аптекарь, грузный старик

в сюртуке, сопя, шел среди других и, по неуменью сгибаться, добывал лишь самые скудные букетики. Альфонс видел во всем этом скрытый протест и бежал от родни в дом.

Полуслепая босая женщина шла в одиночестве по полю. Она отставала от других, и ей приходилось бегать после всех по уже обшаренным местам. В одном углу она наткнулась на пленных, которые как раз подгребли туда заметную груду колосьев. Игнат кивнул ей на колосья и сделал поощрительный жест:

— Бери...

Женщина остановилась перед колосьями, как перед большим искушением. Она оглянулась на других людей, которые ушли далеко, посмотрела в направлении Альфонсова дома.

— Если Альфонс увидит, — сказала она, разгоревшись, но томимая нерешительностью, — мне нельзя будет притти сюда в следующий раз...

Она почти решилась протянуть к колосьям руку, но чьи-то шаги, послышавшиеся с верхней дороги, спугнули ее. Шаги были легкие и торопливые и не могли принадлежать Альфонсу, но женщина сейчас же отошла от искушения и больше не подходила.

Пешеход был Фриц, сын Каролины. Он шел из города и нес в руках крошечный аптечный пакетик. Его хронометр был с ним, и первым делом он объявил пленным точное время, а потом показал, что у него в пакетике.

— Шафран для желтых штрицелей...

Он не забыл рассказать, что, кроме желтых штрицелей, будут еще штрицеля с яблоками, для чего они с Паулем уполномочены сделать геройскую вылазку в Альфонсов сад сегодня вечером, и убежал, вспомнив, что его ждут дома...

6

Пакетик шафрана свидетельствовал, что история Каролины и Гуго подходит к концу. Игнат посмотрел на него с любопытством не большим, чем у остальных, и ничего не сказал. Казалось, он равнодушно принял пакетик к сведению. Костя так и понял его и был удив-

лен, когда в тот же вечер Игнат завел с ним необычный разговор.

Вечером, по пути с поля, Костя остановился закурить, а Игнат, проходя мимо, шепнул ему несколько слов и глазами дал понять, что он может сейчас не отвечать. Ближайшие люди были за ними на много шагов, никто не помешал бы Игнату остановиться и как следует поговорить с Костей, и если все-таки он выбрал для разговора тюремную манеру, — шопот на ходу, неподвижное лицо и острый взгляд, — так только потому, что о некоторых вещах полагалось говорить именно этим способом.

Иначе беседа их была бы подозрительной. О чем, с точки зрения Альфонса, могли совещаться друг с другом двое пленных, тайно от товарищей и с взволнованными лицами? О совместном побеге, ни о чем больше, особенно, если учесть, что для разговора уединились: Костя, уже бывавший в бегах, и Игнат, не так давно обнаруживший, что жизнь в Козельберге была для него совсем не так приятна, как думал Альфонс.

И Альфонс и Марта, не говоря уже о конвойном, всегда подозревали у пленных желание бежать, другие, как Винтер или Пауль, легко допускали у них эту склонность, да и остальные во дворе, не исключая Шульца и Аннемари, имели о ней понятие.

Летом был случай, когда вблизи Козельберга патруль поймал неведомого русского пленного. Его провели через деревню, чтобы до распоряжения запереть в карцер при команде, и многие его видели и интересовались им.

Правда, Косте долго пришлось объяснять Каролине, что это был за человек, чего он хотел и каким образом случилось, что, работая где-то в Оппау, за сто верст от Козельберга, он однажды в арестантском платье и с куском хлеба в кармане нырнул в кусты и через три недели в полумертвом состоянии вынырнул в трубе под козельбергским мостом. Пришлось несколько раз повторить ей всю историю сначала, прежде чем она что-нибудь поняла: путешествия, столь легкомысленные и несчастные, были выше ее разумения.

Тем не менее после случая с беглым все во дворе Вейнерта знали уже, что пленные имеют свойство убе-

гать, а дворовые мальчишки, присутствовавшие на облаве, были непрочь отличиться при их поимке.

Разговор Игната и Кости был именно о побеге. Игнат без предисловий предлагал себя Косте в товарищи, повидимому, не сомневаясь, что у Кости уже имеется план. Тон у него был почтительный, точно он признавал старшинство Кости в этом деле и отдавал себя в его распоряжение.

Было хорошо, что Косте не требовалось отвечать на это предложение сразу, потому что первым его чувством было удивление, неприятное и ошарашивающее: он скрывал свои мысли от всех, в разговорах с кем бы то ни было старательно обходил тему о побегах, при других не позволял себе смотреть на горы, чтобы чем-нибудь не выдать себя, — и тем не менее его намерения были всем понятны, и к нему обращались с такой уверенностью, точно он расклеивал объявления о том, что собирается бежать и приглашает желающих.

Гораздо сильнее, однако, была в нем радость, явившаяся в следующий момент. У Кости в Козельберге было две жизни: одна — видимая, покорная, для Альфонса и товарищей, другая — тайная, проходившая в мыслях о побеге и в вечном разладе с собой. Опыт первого побега был ему памятен, опыт второго, в случае новой поимки, должен был быть во много раз печальнее. Он уже не раз назначал себе сроки для решительных действий, которые затем откладывались, и уже давно презирал себя за свою нерешительность. Временами ему казалось, что он уже никогда не отважится бежать, и дни таких сомнений были несчастнейшими днями его жизни. Чужая рука ставила его на ноги. Он не входил в подробности, почему именно Игнату захотелось вдруг в Россию; он чувствовал только, что он заряжен достаточно и что вместе с ним попытка во всяком случае будет сделана.

План был устроен прочно. Вся Германия для пленного представляла одну большую тюрьму, где сорок восемь миллионов человек сторожили его. Часть пленных сидела в лагерях за проволокой, и первый шаг к свободе для них был труднее, чем для пленных, работавших по деревням и выходивших в поле без конвоя; но со второго шага их положение делалось одинаковым,

ибо по какой бы дороге они ни пошли, в какую бы яму ни спрятались, первая же пара из сорока восьми миллионов пар глаз, заметившая их, означала для них конец путешествия. Прекрасно поставленная телефонная служба немедленно приходила в движение, район оцеплялся, беглый выползал на свет.

Пленный мог ходить по ночам, когда из сорока восьми миллионов сторожей бо́льшая часть спала. Но и тогда дороги и мосты были не для него, он шел в стороне, полями, по компасу, переходил реки вброд или на чужих лодках, обходил всякое человечье жилье. Каторжник, бежавший с Сахалина, был по сравнению с ним в более выгодных условиях. Ночные переходы подвигали его вперед на ничтожную величину. Иногда вся его энергия за ночь уходила на то, чтобы выждать момент и незаметно пробежать через железнодорожный путь. Днем он отсиживался во ржи, в ельнике, в трубах под мостами, там, где заставал его рассвет. Он должен был уметь переносить жажду и предрассветный холод и не делать никаких попыток вылезать днем из своего убежища.

В побег он уходил с запасом сухарей, которого хватало на некоторое время, а затем ему оставалось поддерживать себя картошкой, накопанной ночью и испеченной на костре в лесном овраге, пшеницей, оставленной на ночь в ящике сеялки, яблоками с деревьев на шоссе, редко — кражами из кладовых.

Только люди с сильным духом и крепким телом могли долго выдержать эту мучительную и скучную жизнь. Более податливые, слабея, переставали соблюдать осторожность с той строгостью, какая требовалась, и неизбежно попадались.

Такова была проза побега, которая, однако, хоть и в очень редких случаях, приводила побег к удачному концу. Люди, которым медлительная проза была не по нраву, создавали себе более скорые, но гораздо менее надежные планы. Им казалось, что достаточно подучить немецкий язык, одеться как все немцы и, избавившись от первого преследования, итти, не скрываясь, разыгрывая из себя одного из толпы. В такие планы, как самая привлекательная их часть, входили разные приключения: путешествия на крыше экспрессов, случайные встречи с красивыми женщинами, влюблявшимися в беглецов и

дававшими им приют, бумажники с огромными суммами, найденные на дороге, ночлеги в избушках лесника, у которых сыновья как раз оказывались в русском плену и которые поэтому не только не делали пленным зла, но и проливали вместе с ними слезы...

Люди, обладавшие воображением и уставшие от пресной жизни в плену, охотно создавали себе такие планы, которые на поверку ничего не стоили.

Научиться кое-как говорить по-немецки было нетрудно, но это только вело к тому, что человек, преувеличивая свои знания, пускался в разговоры, между тем малейшая ошибка в первой же фразе, какое-нибудь неправильно поставленное на слове ударение выдавали его.

Достать штатский костюм также было возможно, хотя и не легко, но к этому костюму требовалось уменье его носить и соответствующая ему физиономия. Пленному негде было упражняться в искусстве носить костюмы, ибо обычно он ходил в платье с арестантскими вырезами, штатский костюм, сохраняемый втайне, он впервые надевал где-нибудь в канаве, за минуту перед побегом, и, уже пустившись в путь, наспех оглядывал себя в новом обличьи. И тут оказывалось, что костюм на нем трещит, что из узких брюк выпирают ржавые голенища, что грудь без запонки стоит дыбом, а галстук завязан беспомощно, подстать унылому выражению его потной, волосатой, мало европейской физиономии. Сотни мелочей, которых невозможно было предусмотреть, вопияли о нем и без задержки приводили его к жандарму.

Что касается путешествий на крыше экспрессов, неизменно оказывалось, что на станциях слишком много электричества и лучше туда не ходить; бумажников с деньгами также нигде не валялось, красивые женщины цепенели, завидев беглого, и делали ему разве ту любезность, что не вмешивались в погоню лично, а наводили на его след мальчишек. Лесники же считали пленных божьим наказанием, ибо от оставляемых ими костров происходили лесные пожары, и относились к ним без пощады.

Пленный мог считать побег оконченным, только когда он переступал голландскую или швейцарскую гра-

ницу, или же когда он переходил русский фронт с немецкой стороны, — из сотен и тысяч беглых это удавалось единицам, остальные попадались снова.

Безразлично, где их ловили: за пять километров от места побега или за сотни километров: внутри Германии, в Австро-Венгрии, в Польше, или за тысячу километров: в оккупированной Сербии и Румынии, в Албании, Турции, — все это были страны или занятые немецкими войсками, или находившиеся в союзе с Германией, и как бы далеко они ни отстояли от места побега, беглого после поимки неукоснительно отправляли назад в это самое место. Там велся счет его преступлениям, там ему на опыте доказывали, как бесцельно было его желание выбраться из немецкой мышеловки, а так как побеги отсчитывались на его ребрах, то после второго и третьего возвращения в те же самые лапы беглый начинал задумываться и кончал покорностью.

Был способ защиты — путать фамилии и места приписки, но он годился для немногих, более опытных, и требовал выдержки, ибо каждое показание должно было быть подтверждено телеграфными справками из картотеки того лагеря, на который делалась ссылка.

Рядовой беглый с этим способом попадал в тиски. На первом допросе он придумывал себе какую-нибудь фамилию, соображая довольно быстро, но все-таки секундой дольше, чем было бы нужно, чтобы вспомнить свою настоящую фамилию. Немец-писарь замечал это и охотно шел ему навстречу. Он сам запутывал дело. Если ему называли фамилию Овчаров, он, как бы не расслышав, переспрашивал: «Гончаров?» Он превращал Пестова в Толстого, Попова в Петрова, — и беглый охотно подтверждал это, думая, что теперь он уже запутал немца окончательно. То же самое с именем и отчеством, номером полка и местом приписки. Он уходил с допроса, довольный результатом, и без страха вступал в голодный беглый барак, полагая, что пробудет в нем недолго.

Между тем протокол с его показаниями, как явно фальшивый, никуда не отсылался. На втором допросе, через две недели, беглому сообщали, что, по справке, в указанном лагере пленного с фамилией Гончаров в списках не имеется, и еще раз предлагали назвать себя. Он

снова придумывал себе фамилию, которая записывалась с той же готовностью, а беглый возвращался в барак встревоженный, ибо дело затягивалось. Еще через две недели его вызывали снова. Если у него хватало сил, он продолжал комедию, но обыкновенно к тому времени голод делал его покладистым, и он называл свое настоящее имя. В тот же день телеграфная справка подтверждала все им сказанное, и его отправляли к месту приписки для отбывания наказания.

В шестнадцатом году был слух, что беглых, пойманных в Австрии, не возвращают в Германию и оставляют в австрийских лагерях. Вопрос о том, «выдает» или не «выдает» Австрия, интересовал многих, но пленным, работавшим маленькими командами в глухих деревнях, негде было его проверить.

7

Первый побег Кости был совершен по способу фантазеров. Он продолжался шесть с половиной часов, да и те почти целиком ушли на сон и сиденье в лесу, — иначе его продолжительность была бы гораздо короче. Костя впоследствии стыдился этой своей попытки и рассматривал ее как черновую работу для будущего настоящего побега, но в свое время верил и в экспрессы, и в красивых женщин, в лесников, в свой немецкий язык и особенно в фиолетовую, крашеную химическим карандашом блузу, которая должна была превратить его в немца. Он навсегда отказался от этой шаткой программы в тот момент, когда часовой на опушке леса взял его на мушку; отказался, чтобы немедленно же уверовать в другую программу, в которой не было никаких переодеваний и все было рассчитано на выдержку и кротовью медленность.

В то время он работал в другой местности, в обстановке такой же, как у Альфонса, так же потел и смотрел на горы, и однажды, решившись, вылез из канавы, одетый в фиолетовую блузу и фиолетовые штаны поверх казенного платья. Костюмчик был покрашен в спешке, тайком от всех, окраска легла пятнами, и, когда Костя впервые при ярком свете увидел себя в нем, он

чуть не полез обратно в канаву: костюмчик годился явно для маскарада.

— Если бы вы хотели, чтобы вас поймали как можно скорее, — впоследствии иронизировал над ним на допросе лейтенант, — вы бы не могли придумать костюма более подходящего... Разве если бы вы накинули сверху красный плащ и несли бы в руках по свежему подсолнечнику.

Костя не полез в канаву, потому что первый шаг стоил ему больших волнений и было бы обиднее всего, если бы он не кончился ничем. Кроме того, при путешествиях на крышах экспрессов, — главное, к чему он примеривался, — цвет костюма имел мало значения, и, не оглядываясь, с взрывом энергии он двинулся вперед по давно намеченному направлению, к лесу за холмом. Он шел через поля, пустые в обеденный час, взволнованный, высоко поднимая колени и слегка пригибаясь к земле, как солдат под выстрелами.

Он сам замечал странность своей походки, но ничего не мог с нею поделать. Обычная походка, размеренная, вялая, с оглядкой на конвойного, была для плена; он два года шагал только таким образом и теперь был рад вспомнить, что можно ходить иначе: неровно, с бьющимся сердцем, с опасностью за спиной и неизвестностью впереди.

Впервые после двух лет он почувствовал, как бьется его сердце, и обрадовался, ибо всегда думал, что настоящая жизнь — это тогда, когда у человека бьется сердце. Он наслаждался каждым своим шагом, он не узнавал полей: так странно они изменились, потому что изменился он сам. Он был готов к необыкновенному: может быть, через минуту начнутся все те необыкновенные события, о которых он мечтал два года, — сейчас он принял бы их как нечто само собой разумеющееся.

Потом он посмотрел на часы и пришел в себя: он был в пути всего десять минут и, в сущности, еще никуда не ушел.

Он нарочно выбрал для бегства час, когда на полях не бывает людей. Но это не значило, что он стал бы прятаться, если бы кто-нибудь попался ему навстречу: он полагал, что сумеет обойтись с кем угодно как немец с немцем: «Гуте таг. Ви гейт'с? Ганц гут. Данк

шен»[1] — такова была его программа, и, несмотря на первое тяжелое впечатление от фиолетового костюмчика, он не намерен был отступать от нее.

В конце концов люди здесь вежливы, и штатский человек не станет требовать документов у другого штатского человека. А если кто-нибудь полюбопытствует спросить: «Откуда вы?» — всегда можно ответить с полной готовностью: «Я — Адольф Лайер из Вейденау, кафе у вокзала, к вашим услугам...» Или: «Я — Эмиль Штейнер из Лаугница, москательная Бадера, Ринг 28».

Десятки фамилий и адресов были заготовлены у Кости для этого случая.

В одном месте, пересекая вспаханное поле, он наткнулся на человека, который стоял, засунув руки в карманы, и в глубокой задумчивости разглядывал развороченную землю. Когда Костя поравнялся с ним, он поднял на него глаза. У него был неприятный рыбий взгляд.

— Таг, — сказал Костя и мотнул головой, как и полагается немцу приветствовать немца на узком месте.

— Тааг? — удивленно ответил человек.

Взгляд его мгновенно оживился. Веселая догадка мелькнула в его тяжелых глазах, и почти сейчас же он повернулся и пошел прочь, в направлении крыш, показавшихся за склоном.

Костя встревожился: какие такие спешные дела вдруг нашлись у него? Ведь он стоял на месте и никуда не торопился. Не пришло ли ему в голову, что человек, прошедший мимо, есть не то лицо, каким хочет казаться, и не побежал ли он за жандармом?

Костя смерил расстояние до леса и успокоился. На ближайшее время человек с неприятным взглядом не мог быть ему опасен. Лес должен был защитить его. Этот лес был единственным укромным местом на открытой равнине: русские беглые пленные и собственные немецкие дезертиры при своих продвижениях к австрийской границе неизбежно попадали туда и жили там от облавы до облавы, и, конечно, донесение еще об одном подозрительном человеке, скрывавшемся в лесу, не удивило бы жандарма и не заставило бы его лететь на поимку немедленно.

---

[1] Здравствуйте. Как дела? Очень хорошо. Спасибо.

В лесу Костя отошел подальше от опушки и спрятался в ельнике. При его приближении какой-то другой беглый, ломая сучья, бросился от него в гущу: лес был достаточно населен, хотя его жители не могли видеть друг друга из-за густоты ельника. Костя не стал окликать товарища, и, так как до наступления темноты никаких подвигов от него не требовалось, в программе дня наступил пробел, который хорошо было заполнить отдыхом и сном, что Костя и сделал.

Он провел восхитительный день, спал и просыпался под пенье птиц, ходил между деревьями вправо и влево, наслаждаясь уже тем, что сам выбирает себе направление. Он чувствовал себя в лесу как горожанин, которого смущает, что он вошел куда-то, не постучавшись и не спросив, можно ли войти. Но птицы, хозяева леса, повидимому ничего не имели против него, они пели и перелетали с места на место, точно его и не было рядом, и понемногу он освоился. Ему совестно было рвать цветы, чтобы понюхать их, он ложился на землю и однажды, принюхиваясь, сделал открытие: земля тоже пахла, она благоухала гнилью рождения, свежестью новой силы,— почему он раньше не замечал этого: ведь он ежедневно топтался по земле, оскорбляя ее своей работой.

Он устал в конце концов от всего прекрасного, что он испытал в этот день, лег снова и уснул и, проснувшись, со вкусом съел ломоть хлеба, запрятанный во внутренний карман военнопленных штанов. Он съел без остатка, потому что ломоть был невелик, и кроме того не было смысла сберегать крохи, — стоило только дождаться темноты и выйти на дорогу, и должны были начаться по порядку все те приключения, которых он ждал и в которых пища подразумевалась сама собой.

В сумерках, свежий и мечтательный, он вышел на опушку. Сучья трещали у него под ногами. Он морщился и ступал, едва прикасаясь к земле, но, так как они продолжали трещать, он бросил осторожность: в конце концов, он — немец в штатском костюме и имеет право ходить по лесу, не заботясь о том, трещат у него под ногой сучья или нет.

Он даже позволил себе остановиться на опушке и полюбоваться красками горизонта. Он нашел их великолепными. Он подумал, что еще вчера такой же закат

не произвел бы на него впечатления, — мир изменился, потому что изменился он сам.

— Да, да... — сказал он вслух. — Это оттого, что я не в плену...

И неожиданно какая-то тень прошла по багровому фону, закат продолжал гореть, но уже словно в отдалении, потом он снова придвинулся и снова отдалился, он задвигался в Костиных глазах, потому что его ухо в это самое время уловило рядом чьи-то шаги. Он оглянулся, и закат сразу исчез из его головы.

Отделившись от большого дерева, к нему приближался серый человек, с винтовкой на ремне, в черной каске, и знаками звал его подойти. Он подождал и взял винтовку на прицел, но, когда Костя подошел к нему ближе, опустил винтовку.

— Я — Эмиль Лаугниц из Хачкау... — сказал Костя твердо. — Я иду домой.

— Из Хачкау? — повторил солдат, удивленно разглядывая Костино одеяние. — Из Хачкау? — повторил он еще раз с усмешкой. — Милый друг, Хачкау — это только пишется на картах, но люди, которые живут в Хачкау, говорят, что они из Гочка. В Гочка люди говорят по-своему, милый друг...

— Это одно и то же... — возразил Костя с остатками нахальства, но взглянув туда, куда смотрел солдат, — на желтый военнопленный лампас, выбившийся из-под фиолетовой штанины, — смутился и замолчал.

— Удрал? — спросил солдат кратко.

— Удрал... — ответил Костя, поняв, что путешествие кончено.

Солдат не был рассержен. Казалось, ему надоело ловить пленных. Он отступил на шаг и поднял над Костиной головой приклад, но не ударил; замахнулся на него штыком, но не уколол. Он толкнул его кулаком в спину и велел итти впереди себя.

— Благодари бога, — сказал он по дороге, — что ты попался мне. Я добрый человек. Если бы тебя поймал Кнаус, он бы убил тебя...

— За что бы он убил меня? — спросил Костя, не совсем веря. — Он имел бы право, если бы я сопротивлялся...

— Я не знаю, за что бы он убил тебя, — ответил солдат раздумчиво, — но это было бы так...

— Твоя душа, — продолжал он потом, — конечно, пошла бы на небо. Но сам бы ты валялся и гнил, как собака...

Костя молча шел впереди.

— Нам нужен человек, который бы вымыл нам пол в сторожке. Пока я извещу твоего конвойного и он приедет за тобой, ты отлично успеешь сделать это.

Костя не возражал.

— Кто твой конвойный?

— Бивальд из Либенау... — ответил Костя, впервые поняв, что означает для него встреча при подобных обстоятельствах с Бивальдом из Либенау.

— Бивальд из Либенау? — переспросил солдат не без сочувствия. — Не завидую тебе. Я знаю этого Бивальда и знаю, какой у него кулак. Я совершенно не завидую тебе...

Костя, холодея, вошел в сторожку.

8

Для воскресных дней у Корля имелся чистый пиджак и крахмальная рубашка. Надев их, он возвышался в собственном мнении и, проходя мимо пленных, поглядывал на них снисходительно. Но пленные, видя Корля в воскресном наряде, думали не о его великолепии, а о том, что под крахмальной рубашкой его едят те же вши, что и в будни.

Наступил день, когда Корлю оказалось мало его пиджака, ему понадобилось быть еще великолепнее, чем в обычные праздники, и он забегал по деревне, разыскивая цилиндр. Он легко нашел его, ибо в деревне цилиндры были не редкость, но оказалось, что к цилиндру требуется соответствующий костюм. Пиджак не подходил к цилиндру, а требовался сюртук или черный ульстер поверх пиджака. Кроме того, цилиндры и ульстеры были обязательны лишь на похоронах для приглашенных нести гроб, они надлежали событиям скорее печальным, а на свадьбах можно было обойтись и без них.

Таким образом, Корль присутствовал на свадьбе без цилиндра.

Это была странная свадьба, ибо невеста, одеваясь к выходу в церковь, еще не знала окончательно, пойдет ли она туда, а жених сидел на своем сундуке в комнате при конюшне, одетый, опустив голову. Между тем мебель из комнаты Каролины, под руководством Берты, перетаскивалась в новую квартиру Гуго; Фриц и мальчишки с увлечением носили через двор стулья и цветы, берлинская приезжая орудовала на кухне.

Молодые пошли в церковь пешком. Альфонс не отказал бы дать им для этого случая коляску, но им не хотелось привлекать внимание. Потом в мезонине, в новой квартире Гуго, происходило пиршество. Пленные в это время сидели в казарме и играли в очко, а вечером, придя ужинать, каждый нашел около своей тарелки по маленькому штрицелю.

Берлинская племянница, относившая на блюде штрицеля Альфонсу и Марте, остановилась около пленных на минуту и приняла от них благодарность, совершенно искреннюю, ибо штрицели всеми, не исключая Игната, были съедены немедленно и с удовольствием.

Конвойный поднялся к молодым наверх и через некоторое время спустился веселый, с блестящими глазами. За ним скатился с лестницы Корль: он был пьян и, споткнувшись, вылетел во двор плашмя. Пленные засмеялись, а Корль, вскочив на ноги, захотел драться. Возможно, ему вспомнилась затрещина, когда-то полученная от Кости, потому что он остановился именно перед ним, размахивая руками.

— Тише, Корль, — сказал конвойный, оттаскивая его, и в виде особого аргумента добавил, показывая на Костю: — Костя — сержант.

— Сержант он или нет, — крикнул Корль, — он пленный, и я ему дам по морде...

— Предоставь это мне, — тонко улыбнулся конвойный, — когда я найду нужным. Штатские люди тут не при чем...

На следующий день все работали как обычно. Каролина в поле не вышла. Гуго пахал озимое. Корль мыкался с бороной, томясь по точному времени. Пауль, работавший с Костей, вспоминал вчерашний пир и напевал услышанные вчера мотивы. По какому-то случаю он дал

подзатыльник Фрицу, вертевшемуся тут же; Фриц захныкал и сказал, что он пожалуется папе.

— Фриш папа,[1] — передразнил его Пауль и с гримасой взглянул в сторону Гуго.

Гуго работал с напором. Ему не терпелось. Получасовой отдых на завтрак казался ему слишком длинным, и он раньше времени взялся за работу. Ему подвернулся Костя, и он дружески пожал его локоть и поблагодарил, точно Костя поздравил его.

— Конечно, — сказал он, улыбаясь каким-то своим мыслям, — свадьба обошлась мне недешево. Но ведь это — раз в жизни. Теперь — фесте шпарен...[2]

Он посмотрел вперед, полный решимости, и вложил эту решимость в жест, с которым двинул вперед лошадь и взялся за плуг.

9

Лучшее время для побега было уже упущено. Поля опустели, между тем высокая рожь, если войти в нее, не оставляла следа, была надежным убежищем для беглых на день. На полях Альфонса косцы не раз натыкались на притоптанные круглые места и каждый раз весело взглядывали друг на друга:

— Здесь сидел наш...

Нескошенные овсы еще синели местами, но они были слабой защитой для беглых. Зато картошка, поспевшая к тому времени и невыкопанная, спасала их от голодной смерти. Если пропустить еще две-три недели, на полях остались бы только бурак и пшеница в ящиках сеялок, кроме того из-за холодов побеги в это время делались мучительными, нельзя было пускаться в путь без шинели, которая до зимы висела у конвойного под замком.

В кухне у Марты на стене висел календарь. Костя завел моду, проходя мимо, останавливаться, перебирать листики, щурить глаза и со скучающим видом отходить. Игнат следил за ним, зная, что он это делает не спроста, точно так же, как не спроста в казарме иногда выни-

---

[1] Свежий папа.
[2] Строгая экономия.

мает ученическую тетрадку, купленную в деревенской лавочке и случайно оказавшуюся с картой Германии на обложке, и будто в ней что-то считает. Этим его маневрам Игнат придавал большое значение. С Костей, от которого он ждал знака, он был почтителен: в нем просыпался в таких случаях рядовой, обращавшийся по службе к унтер-офицеру. Костя скупо цедил слова, хмурился, давал знак ждать.

Однажды, ложась спать, Костя около параши сказал Игнату:

— Семнадцатого заход солнца в восемь двадцать одну...

— Через пять дней... — подсчитал Игнат.

— Семнадцатого луна — меньше четверти...

Объяснять дальше не требовалось. Если семнадцатого, как и во все последние дни, пленных поведут на ночлег к восьми часам, то, проскочив во время ужина через задние ворота в поле, уже пустое в это время, можно было отбежать до картошки и спрятаться в грядах. Поиски во дворе и беготня за конвойным заняли бы с четверть часа, а затем из-за темноты поиски должны были бы прекратиться. За ночь же беглецы успели бы отойти настолько далеко, что, даже в случае поимки на следующее утро, их отправили бы не прямо во двор Вейнерта, а через этапы в лагерь на расследование. Это спасало бы их от первой мести конвойного, которая рецидивисту Косте была особенно страшна.

Семнадцатое засело в голове. За пять дней, что остались до семнадцатого, в трубу под мостом полегоньку переносилось снаряжение: вторые куртки, мешок с сухарями на неделю, соли для картошки на месяц, табак, спички. Туда же с особенными предосторожностями была запрятана тетрадка с картой Германии на обложке: казалось, без этой тетрадки ничего не выйдет.

Компаса не было. У одного из команды болтался на жилете брелочный компас, но он был ненадежен до такой степени, что конвойный не мешал носить его открыто и иронически поглядывал на пленного, который как будто связывал с этой штучкой какие-то надежды. Побег без компаса казался Косте несолидным делом, но в этом пункте Игнат не беспокоился и дал ему понять, что с компасом он устроится.

К удивлению Кости, Игнат лазил под мост на глазах Никиты и других. Гурген при этом усмехался и смотрел в сторону. Между тем Костя знал, что у него был доверительный договор с конвойным по поводу поднятой над его головой косы: Гурген серьезно опасался за свою жизнь и хотел, чтобы в случае чего убийца был известен. Кроме того, совсем недавно он получил от конвойного лишнюю пару сапог, в то время как у иных не было и одной годной пары, — такие любезности делались недаром, и было только неясно: надувал ли Гурген конвойного или же думал работать для него всерьез?

Семнадцатого Игнат вышел на работу в плюшевом жилете, который раньше надевал только по праздникам, и одно это должно было уже обратить на него внимание. Лицо его также бросалось в глаза. Оно было торжественное и с надрывом, как у тоскующих, загулявших бородачей, перед тем как им разойтись на весь размах.

Еще хуже, что он не мог обойтись без прощаний: в обед он заблаговременно попрощался с Никитой, своим однодеревенцем, которому изложил свое завещание и поклонился в ноги, а потом с Каролиной и Гуго, очень удивленными его внезапным визитом, во время которого он успел выложить перед Гуго подарок — безопасную бритву, пожать его руку, погладить Фрица, посмотреть на Каролину и быстро уйти, вогнав их в слезы, но никому ничего не объяснив.

Костя со страхом следил за его подвигами, о которых узнавал из третьих рук, — до такой степени дело пошло вширь. Он ругал себя за то, что связался с человеком, обставлявшим свой побег так торжественно, и считал дело погибшим. Не лучше ли было с утра сказать Игнату, что побег не состоится?

Семнадцатого Игнат, остановившись перед Костей, вынул из жилета часы, открыл крышку и с значительным видом поднял циферблат к его лицу. Стрелки показывали время на несколько часов назад.

— В чем дело? — спросил Костя, не понимая.

— Я их остановил... — ответил Игнат и замолчал, считая, что сказал достаточно и Костя сам догадается.

Но Костя не догадался.

— Для чего?

— Мои стоят, твои ходят, — неужели не понимаешь?

Костя смутился. Он слышал когда-то, что действительно двое часов, остановившиеся и идущие, могут заменить компас, если только знать, как ими пользоваться, но подробностей он не знал.

— Это очень трудно... — сказал он уклончиво. — Толку не добьешься, а только запутаешься...

— Значит, не можешь? — спросил Игнат, очень удивленный.

— Не берусь... — решительно ответил Костя.

— Как же так? — не понимал Игнат. — На фронте наши разведчики так делали. Я на тебя надеялся...

Костя промолчал. Случай с часами сильно уронил его в мнении Игната, зато и сам он сильно разочаровался в Игнате после его земных поклонов. Он хотел сказать, что побег откладывается, но не решился.

Семнадцатого к работнице Ригер приехал с фронта муж — седой тыловой ландштурмист. С утра он сводил счеты с Бертой и другими, кто обижал его жену в его отсутствие. В работничьем доме стоял крик: вопил пофронтовому Ригер, Берта защищалась и визгом, и возгласами, и специальным грудным смехом, Винтер хохотал как посторонний зритель и подзуживал спорящих. К полудню Ригер почистился и пошел в город регистрироваться в гарнизонном бюро.

У Альфонса с обеда молотили. Альфонс послал Пауля наверх сбрасывать снопы, а сам с часами в руках считал, сколько снопов в среднем проходит в минуту,— темп не удовлетворял его. Его раздражал также Костя, придумавший себе облегчение: чтобы не поднимать с земли полных мешков, он предпочитал пробегаться дважды с более легким грузом.

Альфонс начал ему что-то говорить, хотел переставить людей у машины, но неожиданно был позван Мартой в дом. Марта заглянула в сарай и показала с порога конверт:

— От Адальберта...

— Сейчас... — отозвался Альфонс недовольно и продолжал распоряжаться, но, странная вещь, чуть не впервые за два года никто не мог понять, чего он хочет. Он шевелил губами, он показывал рукой, кому куда стать, он смотрел на людей умоляюще, но может быть потому, что ничего, кроме хрипа, из его глотки не выхо-

дило, все делалось не так, как он хотел, и, сбившись с тона, он перестал хрипеть и ушел.

В его отсутствие Никита стал задавать в барабан с прохладой, чтобы дать вздохнуть Косте. Альфонс вернулся не скоро; он вышел из дома с обвисшим лицом, постоял во дворе, прислушался к звуку молотилки — барабан скрежетал впустую, но стоило ему подойти к сараю, и он опять стал давиться полной дачей: разница была очевидна, он мог бы что-нибудь сказать, но промолчал. Он снова вынул часы, чтобы проследить темп, и, не досчитав, бросил. Казалось, он не хотел ни ссориться, ни говорить.

— Продолжайте, продолжайте... — устало сказал он и прислонился к стенке снопов.

Костя, которому он перед уходом начал что-то говорить насчет его манеры носить мешки, ожидал от него продолжения и взглянул на него с вопросом, но даже и Костю на этот раз Альфонс решил одобрить, чтобы отвязаться от него.

— Я понимаю вас, Костя, — сказал он, тяжело двигая языком, — отнести два раза по полмешка, — это то же самое, что отнести один раз целый мешок. Это — тоже система. Таблица умножения за вас, Костя...

И, не кончив, он прислонился к снопам и закрыл глаза. Ноги не держали его. Рукой он шарил около воротника. У него начался припадок удушья. Пауль побежал в дом за Мартой, которая явилась сейчас же с искаженным тревогой лицом.

— Тебе надо прилечь. Идем со мной.

— Пустяки...— сопротивлялся Альфонс.— Мне надо быть здесь.

Гурген сделал жест, чтобы остановить мотор, но Альфонс знаком велел продолжать работу. Припадок у него прошел, но лицо было красно, и ворот растерзан.

— Тебе нельзя дышать этим воздухом,— настаивала Марта. — Идем.

Оба стояли сбоку машины, мешая пленным работать, подгребальщики задевали их граблями, и, словно почувствовав себя лишними, они вышли наружу и подруку двинулись к дому.

Молотилка скрежетала им вслед.

В вечерний перерыв, когда Игнат, в плюшевом жи-

лете и чистой рубахе, лежал на снопах, было самое время объявить ему, что побег не может состояться и как раз из-за жилета, который ему хочется унести с собой, и из-за рубахи, так некстати чистой. Но, когда он увидел светлое и прощальное выражение, с каким Игнат смотрел вокруг, он отошел от него, ничего не сказав. Люди с таким выражением уже неспособны ни на какие отсрочки. Он чувствовал себя на поводу у Игната, и ему оставалось только ждать вечера.

Из города вернулся ландштурмист Ригер. Он был пьян и шел по прямой, улыбаясь встречным. В городе, проходя мимо редакции газеты, он видел плакат с последними известиями. Он помахал пленным рукой и ласково объявил:

— Руссише оффензиве ист дурхгеброхен. Руссланд вюншт фриден...[1]

Никто не понял его, и только Костя переспросил:

— Оффензива? Какая оффензива?

Ригер пожал плечами. Он сам не очень твердо знал, где происходило дело. Он посмотрел вверх, словно восстанавливая в памяти слова на плакате, и еще ласковее повторил:

— Руссише оффензиве ист дурхгеброхен...

Затем он взял под козырек и проследовал к себе.

В перерыв, выдавая пленным по ломтю хлеба с творогом, Марта в раздумьи сказала Косте:

— Вы берете хлеб с таким видом, точно вы несчастнейший человек в свете, и, конечно, думаете, как от нас убежать... Между тем вы совсем не так несчастны.

Костя насторожился: не было ли странно, что она заговорила о побеге именно сегодня? Не очевидно ли, что последняя курица во дворе Вейнерта уже осведомлена об этом предприятии?

Но оказалось, что предисловие понадобилось Марте, чтобы перейти к вещам, более для нее интересным.

— Есть люди, которым приходится гораздо хуже. Наш Адальберт, — вы его застали, когда приехали к нам, — он сейчас в окопах. И вот что он пишет: «Французы от нас не дальше, чем от крыльца до большой липы. Они работают огнеметами...»

---

[1] Русское наступление прервано. Россия хочет мира.

Она посмотрела на огромную липу сейчас же за оградой и улыбнулась искаженной улыбкой.

— Так было четыре дня назад. Кто знает, где он сейчас? Огнеметы — ужасная вещь...

Она еще раз взглянула на липу, задумалась и потеряла интерес к разговору с Костей. Костя подождал и повернулся к выходу. В другое время он посочувствовал бы Марте, сейчас он был доволен. Болезнь Альфонса, письмо Адальберта, пьяный Ригер и прочие необыкновенные вещи, случившиеся за день, — все это были плюсы, облегчавшие побег и уравновешивавшие минусы от неосторожного поведения Игната.

Конвойный ужинал в этот вечер в другом хозяйстве, через много дворов от Альфонса, и это также было огромным плюсом. Пленных в казарму должен был вести кто-нибудь из работников—Корль или Пауль. Зато очень большим минусом была погода: вечер, как и день, был жаркий, безветреный. В такую погоду люди не торопятся уходить с полей, а часовые не прячутся в караулки и не подымают у шинелей воротников.

В семь пятнадцать Костя сказал Игнату, что бежать в такую погоду бессмысленно. Игнат взглянул на него с негодованием и твердо ответил:

— Если ты трусишь, я и один уйду...

И Костя и обиделся и обрадовался в одно время.

В семь тридцать сели за стол. Все обстояло как всегда, и только необычная ласковость во взглядах товарищей угнетала Костю, напоминая, что побег без полной тайны — треснувшее дело. Даже Гурген смотрел светлее обыкновенного и, повидимому, сочувствовал без фальши. Откуда-то не в очередь появился на столе большой японский огурец, нарезанный и с уксусом, — дар стряпки пленным, и это событие, до тех пор не случавшееся, свидетельствовало, что и стряпка через Никиту была посвящена в дело.

Без четверти восемь Игнат, прожевывая огурец, встал и толкнул Костю локтем. Он вышел словно за делом во двор и не спеша прошагал к калитке на полевую дорогу.

Костя шел в нескольких шагах, морщась и до слез благодарный Игнату за то, что он все-таки встал без четверти восемь.

Семьдесят шагов до калитки еще не решали дела. До калитки можно было спиной и походкой изображать, что идешь, не торопясь, по своему делу. За калиткой дело менялось. За калиткой Игнат побежал: задыхаясь, оглядываясь на Костю, на ходу накрещивая себя по плюшевому жилету. Под мостом оба с разных концов слазили в трубу и вылезли оттуда потолстевшие, в двух куртках, с мешком.

От моста пришлось взять вправо мимо картофельного поля, ибо по левой дороге двигались какие-то тени. Некогда было особенно разглядывать, что это были за тени; надо было дать им отойти, а самим с угла залечь под зелень в картофельные гряды.

Одна из теней, самая маленькая и согнутая, — Шульц, возвращавшийся с картошки, — не останавливаясь, плелась вперед и исчезла. Темный силуэт у тени через плечо был несомненно знаменитым осенним пальто, спасаемым от воров. Две другие тени — Аннемари и Каролина — остановились и осмотрелись. Аннемари, встретив непонятных прохожих, не могла итти дальше, не выяснив, что это были за люди.

— Это Руди с кирпичного завода, — предположила она, радуясь быстроте своей догадки, — он сменился в семь и заходил к Криштофу за картошкой...

Каролина молчала.

— А второй, — продолжала Аннемари, — конечно, Кристен Франц. Руди и Франц друзья, и у Франца есть черная куртка.

— Ах, нет, — возразила Каролина резко и с неудовольствием, как всегда, когда Аннемари начинала путать. — Руди Рихтер и выше и толще. Он самый высокий мужчина в Козельберге...

— Ну, значит, это Барфус Пауль, — сказала Аннемари, все еще весело, но уже с меньшей уверенностью, — а с ним младший сын, тот, что вернулся с войны...

— И не Барфус также, — еще резче оборвала ее Каролина, — Фриц Барфус вернулся с войны на деревяжке. А эти двое шагали обеими ногами...

— Тогда, может быть, это братья Бишоф? — в третий раз предположила Аннемари, но тон ее из утверждающего стал вопросительным. — Они приехали в отпуск?

— Мой бог! — громко и страдальчески вскричала Каролина. — Неужели ты забыла, что оба Бишофа уже два года, как убиты на войне?

— Ах, да, — испуганно вздохнула Аннемари. — Я совсем забыла...

Она сказала еще что-то, тихо и с переходами голоса, как бы оправдываясь, и смолкла совсем. Больше она не решалась ничего предполагать.

Тени постояли еще минуту и двинулись дальше.

— Знаешь, кто это? — вдруг из отдаления послышался голос Каролины, подстегнутый болью, звонкий голос, совершенно не похожий на тот профессорский тон, каким Каролина только что говорила с Аннемари. — Знаешь?

— Кто? — басом спросила Аннемари, снова по-детски любопытная. — Ну, говори.

— Это...

Слов не было слышно, но тонкий сдавленный плач, донесшийся издалека, тоскливый плач по утраченном навсегда, вдруг потрясший Каролину, показал, что она правильно разгадала, кто были необычные пешеходы, по крайней мере, кто был один из них.

Этот плач слышался некоторое время, потом смолк и он.

10

В восемь двадцать девять на средней полевой дороге показался зеленый огонек: конвойный на велосипеде объезжал владения Альфонса Вейнерта, повидимому, для очистки совести, ибо сумрак становился черным. У оврага дорога кончалась; огонек сделал круг и повернул назад.

— Завтра приведут собаку... — неожиданно решил Костя, хотя мысль о собаке до тех пор не приходила ему в голову.

— А если еще сегодня ночью? — подхватил Игнат, сразу уверовав в собаку.

Собака была враг гораздо более опасный, чем плывущий в темноте огонек, чем завтрашняя облава молодежи. В казарме оставались вещи с их запахом: солома на нарах, попоны, мешки с брошенной мелочью, — никто не предупредил товарищей, что вещи надо перепутать,

спрыснуть дезинфекцией, пересыпать паприкой, а сами они едва ли догадаются.

— Догадаются, — сказал Игнат с полной уверенностью. — Ты нашей команды не знаешь...

Были и другие доводы, утешительные для беглецов:

— Собаку Альфонсу пришлось бы выписывать из города за свой счет...

Кроме того:

— Альфонсу сейчас не до собак...

И главное:

— Если всех беглых пленных немцы будут ловить с собаками, то в Германии нехватит собак.

И все-таки, если при всех неудобствах ночного передвижения — без дороги, с оглядками и заметанием следов, с длительными пережиданиями в канавах и редкими вылазками на перекрестки для чтения надписей на столбах — они в первую же ночь откачнулись от Козельберга на шесть километров, — этому немало помог призрак полицейской собаки, от которой они не ждали спасения.

С рассветом они залегли в яму на холме, откуда горы на горизонте были попрежнему далеки, но куда достигал гудок кирпичного завода близ Козельберга. Сам Козельберг лежал в отдалении внизу, и отчетливо была видна большая липа, о которой писал Адальберт.

Они провели мучительный день в ожидании собаки, а к ночи собака погнала их дальше. Она преследовала их еще несколько дней, но так же безрезультатно, и понемногу они перестали ее бояться. Вероятнее всего, никакой собаки и не было, а был всего лишь телефонный звонок от конвойного по начальству и на границу, где чья-нибудь скучающая рука приписала к огромному списку беглых пленных еще две фамилии с отметкой, что, в случае поимки русских с такими-то фамилиями, их следует направить в Козельберг, в команду с таким-то номером.

Гроза и дождь на шестой день побега помогли им перейти австрийскую границу. Многие беглые благословили эту прекрасную ночь, когда у часовых затылки и уши были запрятаны в воротники, когда штыки за их спинами наводили ужас на них самих, ибо могли привлечь молнию, когда они обходили свои участки, под-

хлестываемые дождем, с единственной мыслью поскорее смениться и без желания хвататься за винтовку даже и при достаточно подозрительном шорохе.

В Судетах, далеко за пограничными столбами, весь следующий день отдыхали. Лесные места, мало людей; приятно, проснувшись после тревожной ночи, полежать на солнце под кустом дикой малины, срывая ягоды губами. Приятно сознавать, что собаке нет хода через границу. Еще веселее представлять себе, как с каждым днем вытягиваются лица в Козельберге, — сведений о поимке беглых с такими-то фамилиями не поступает и не поступает... Совсем весело от уверенности, что таких сведений туда уже и не поступит: Козельбергу — точка...

После приятного дня наступила ночь, и ночью Судеты показали, что для побегов они малоподходящее место. Дороги в горах круговые, по спирали — кольцо спирали во много верст, а на самом деле служит для того, чтобы поднять телегу с грузом на десять сажен. Можно наплевать на дороги и всю ночь продираться сквозь ельник с направлением как будто на восток, чтобы утром притти к тем же самым местам, откуда вечером вышли, и даже найти след от своего вчерашнего костра. А если такая история повторится не раз и не два, лучшие друзья посмотрят друг на друга с разочарованием и заведут каждый свои особые мысли.

Призрак собаки исчез, но вскоре исчезли и сухари, до конца съеденные. Картофельные участки попадались редко и то лишь у избушек лесников, от малины и грибов тошнило. Падала дисциплина: на рассвете, чтобы выдержать стужу, уже требовалось жечь костер, без чего прежде обходились.

Днем Костя, с выросшей бородой, разглядывал карту:

— Здесь Австрия входит в Германию острым углом. Мы пересекли одну сторону угла, но стоит нам чересчур углубиться в том же направлении, и мы снова вылезем в Германию...

Он подвигал карту Игнату, словно оправдываясь и прося его убедиться, но Игнат смотрел строптиво:

— Кто его знает.

Костина карта уже не вызывала в нем почтения.

— Где фронт? — спрашивал он кратко.

Костя показывал. До фронта спичка укладывалась три раза.

— А сколько мы прошли?

— Кусочек — чуть побольше спичечной головки.

Игнат откидывался, возмущенный и с удивлением.

— Когда же мы придем?

— Видишь ли, Игнат, — осторожно начинал Костя:— добраться до фронта в один прием нам едва ли удастся. Но есть другой способ: мы отойдем подальше в Австрию, нас арестуют и отправят в австрийский лагерь, а оттуда на работу — куда-нибудь в Галицию — и вот уже мы ближе к России. Снова побег, снова арест — новый лагерь, еще ближе к России, и наконец...

Игнату такая бухгалтерия не нравилась.

— Если нельзя на фронт, чего было трепаться?..

Он не верил взятому Костей направлению. Несколько раз он говорил о каких-то высоких трубах, идущих сплошь на десятки верст, о воздушных вагонетках на столбах из железной паутины, об огромных зданиях из стекла, которые он видел по дороге в плен, через верхнее окошко запертого товарного вагона, и которые желал увидеть на обратном пути. Судя по лагерю, куда его привезли, он говорил о трубах Силезского горного округа. Костя уверял его, что сейчас они взяли на юг и трубы остались в стороне, но Игнат снова и снова возвращался к ним.

Его сведения из географии были очень спутанные. Однажды в Судетах, выйдя в темноте на берег горного озера, он серьезно спросил Костю, не Черное ли это море и не попали ли они случайно в Турцию. Между тем, был всего десятый день побега, из которых последние четыре они топтались на месте.

В Судетах Костя оказался во всем виноват. Он не умел делать компас из двоих часов, и из-за этого дело гибло. На досуге он пробовал своим умом догадаться, в чем тут был секрет, брал у Игната часы и подолгу вертел их в руках. Игнат иронически наблюдал его. Совсем другое лицо было у него теперь, не такое, как в первые дни, когда подкидывал он Косте лучшие сухари или когда ночью на перекрестках подставлял спину, чтобы Костя прочел надпись на столбе.

Костя теперь долбил одно: надо держаться на вос-

ток. Но где он, этот восток, когда ночью плутаешь среди деревьев, не видя звезд. Косте казалось, что Игнат, живший в пермских лесах, должен лучше его находить направление. Об уменьи Игната ходить по лесам у него было преувеличенное представление, такое же, как у Игната о его карте и его немецком языке.

— Игнат, — спрашивал Костя с надеждой, — где восток?

Игнат долго соображал и показывал в какую-нибудь сторону.

— Игнат, — спрашивал Костя через некоторое время, снова запутавшись, — где восток?

Игнат показывал, но уже соображал гораздо меньше.

В дальнейшем промежутки между вопросами и ответами делались все короче, в жесте были досада и небрежность, и как-то раз Костя заметил, что Игнат с одного места показывал в разных направлениях. Так мог делать только человек, разуверившийся в побеге, смеявшийся над товарищем и таивший свои особые мысли.

Однажды ночью, в самое горячее время, они сидели без толку над обрывом, утомясь скитаниями по местам, на которых уже они были.

— Нам надо вниз... — вдруг сказал Игнат, как командир, показывая на чащу ельника, покрывавшую обрыв. — Вставай...

— Зачем нам вниз? — удивился Костя. — Мы там были вчера. Мы ходим вокруг одной и той же горы.

— Все равно, — настаивал Игнат. — Итти так итти. Нечего сидеть.

— Но зачем через чащу, когда есть тропа? — сопротивлялся Костя.

— Как знаешь, — крикнул Игнат, задыхаясь.

Он ринулся вниз сквозь дебри, сопя, работая руками. Костя невольно двинулся за ним, попадая под удары раздвигаемых им ветвей. Он считал, что в Игнате говорила потребность преодолевать препятствия, что-нибудь делать, чем-нибудь утолить бушевавшее в нем раздражение человека, готовившегося к подвигам, но попавшего в нудную заводиловку. Он считал это признаком еще сохранившейся в нем энергии и был рад этому, ибо сам от голода давно предпочитал сидеть на одном месте и мрачно размышлять.

Но вдруг он заметил, что Игнат словно меняет след, он зарывается в кусты все дальше в сторону, иногда затихает, и тогда кусты перестают шуметь, — было похоже, что он попросту хочет убежать от Кости, как от досадного, потерявшего кредит командира.

— Игнат, — окликнул Костя тихо. — Игнат!

Никто не отвечал ему, и почти сейчас же, через несколько шагов, он наткнулся на Игната, который должен был слышать его зов, но не отозвался.

— Я здесь... — выдохнул Игнат, глядя мимо Кости. — Я здесь. Чего тебе?..

Место, куда они пришли, было, как и говорил Костя, одним из поворотов круговой дороги, по которой они плутали уже несколько дней.

Днем, в прикрытии, устав от дум в одиночку, разговаривали. Игнат все чаще вспоминал о Козельберге: как они там без них? Выкопали ли картошку? И кто теперь отгребает у машины? И кому в эту зиму Альфонс поручит делать грабли, которые в прошлую зиму делал Игнат? К этим вещам у него был интерес и теплота, и было видно, что Козельберг повернулся к нему другой стороной.

— Из-за чего я от них бежал? — задал Игнат сам себе вопрос и, подумав, ответил: — Из-за конвойного... Хозяева его кормят, и пленный у него всегда виноват...

Костя не поверил, чтобы все дело было у него в конвойном, но промолчал.

— Впрочем, — перебил сам себя Игнат, — конвойному иначе нельзя. Не будет потрафлять, его из деревни выживут, на фронт отправят... Альфонс — вот кто главный командир. Гордец, пленных за людей не считает... Блошивую солому назад требует... За два года работы — двадцать папирос... — Впрочем, — продолжал он размышление, — не в Альфонсе дело. Он хозяин, ему нельзя распускаться. Марта — вот главная язва. Ведь это она конвойного на меня натравила.

Еще дальше нашлось оправдание и для Марты. Костя ждал, когда дело перейдет к свадьбе Гуго и Каролины, которую он для Игната считал главным поводом к побегу, — но или он в Игнате ничего не понимал, или Игнат не хотел быть с ним искренним, — о них он промолчал.

Одно было несомненным: Козельберг снова стал для Игната местом, о котором было приятно вспоминать. А когда человек в побеге начинает смотреть не вперед, а назад, это означает, что к такому человеку бесполезно обращаться с вопросами, где восток и где запад, ибо ему это уже безразлично, и все его мысли, вольно или невольно, клонятся к тому, чтобы быть арестованным.

Ночью добыли картошку и в яме в лесу разложили костер. Стало уютно, но между делом Игнат сказал, будто в эту ночь, плутая, они переступили какие-то камни, похожие на пограничные, — в свое время он не придавал этому значения, а сейчас вспомнил.

Костя взволновался. Последнее его утешение — уверенность, что он находится в Австрии, а не в Германии, — заколебалось.

— Туши костер, — сказал он резко. — Опасно...

— Это зачем? — недружелюбно ответил Игнат, заслоняя собой костер.

Костя отступил.

— Ты точно помнишь, что это были камни? — спросил он еще раз.

— Как будто... Да и не все ли равно: Австрия или Германия? — тяжело засмеялся он потом. — Сдаваться надо, сержант, вот что... Не вышло наше дело...

— Игнат, — выдвинул Костя последний довод, — ты бежишь в первый раз, тебе простят. А мне за второй побег, если я к немцам попаду, знаешь, что будет?

— Вот и выходит, — ответил Игнат, — что у нас с вами шкура трещит по-разному. Если вам наш костер не нравится, можете себе отойти и прятаться, как хотите. А мне — наплевать. Я желаю у костра сидеть...

— Прощай, — сказал Костя, вставая, взбешенный, но довольный тем, что дело наконец пришло в ясность. — Будешь в Козельберге, кланяйся Альфонсу.

Он рванул котомку и пошел в темноту.

— Стой, — переждав момент, вскочил Игнат. — Так нельзя... Надо по-хорошему...

— Я не виноват, что так вышло, — сказал он, когда Костя снова подошел к огню и остановился, не кладя мешка на землю. — Мы вместе пошли на это дело, мы столько времени были товарищами. Скажи, что мы расходимся по-хорошему.

— Конечно, — сказал Костя, тяготясь объяснением,— ты не виноват в том, что мне нельзя сдаваться...

Он торопился уйти. Он словно боялся, что Игнат вдруг раздумает и снова захочет честно продолжать побег, и тогда он не будет знать, что ему ответить.

— Подожди, — остановил его Игнат.

Он развязал котомку, достал пачку табаку, отсыпал немного в табачницу, остальное протянул Косте.

— Это тебе...

Он выгреб из золы картошку, бо́льшую часть отделил Косте, ему же отдал спички, всю соль, снял с себя какую-то добавочную споротую где-то подкладку, которую носил от холода.

— Мне уже не надо. Если ночью меня не загребут, сам завтра на дорогу выйду...

На прощанье они поцеловались. Они перестали быть ярмом друг для друга, и опять в их отношениях появилась прежняя сердечность.

— Что же, — сказал Игнат раздумчиво, на самый конец, — у тебя карта. Может, ты с ней чего и добьешься.

И снова почтенье к карте было в его голосе.

Отойдя, Костя долго разглядывал костер. У огня, успокоенно потягиваясь, заложив руки под голову, лежал Игнат и смотрел вверх: в такой позе перед побегом он лежал на снопах, и, может быть, та же ясность и решимость были теперь в его душе, как и тогда, когда он твердо знал, что ему предстоит делать.

Костя мыкался еще три дня: по карте — все еще в пределах спичечной головки. Главной его заботой было найти пограничные столбы, которые будто бы они во второй раз перешли с Игнатом, узнать, в Австрии ли он или в Германии.

Ночные переходы попрежнему никуда не подвигали, он стал похаживать днем, — подготовляя себе этим провал, — мерз на рассветах, отсыпался на солнце в полдень.

Солнца было мало, из ям и из прикрытий тело тянулось к теплу, осторожность забывалась, и однажды он проснулся не сам, не от того, что выспался, и не от начавшегося дождя, — его разбудило чужое и неласковое прикосновение.

Открыв глаза, он прежде всего увидел палку, пахучую, свежевырезанную, концом которой кто-то шевелил его локоть. Выше палки была корзина с грибами, а еще выше востренькое бородатое лицо. Человек был очень мал ростом и носил драное платье. Он ничего не говорил, он смотрел на Костю с угрожающим лицом.

— В чем дело? — сказал Костя, вставая, с независимым видом. — Вы штатский человек, какое вам дело? Идите своей дорогой...

Но человек застучал палкой о землю, поставил корзину под дерево и схватил Костю за руку.

— Я никому не делал вреда, — сказал Костя тоном убеждения. — Не мешайте мне итти, куда я иду...

Человек задвигал губами, коротко промычал и, дернувшись, потащил Костю за собой. У него была цепкая рука. Костя, упираясь, продолжал говорить. Он перешел к просьбам, он простым и ясным образом доказывал ему, что он не злодей, а пленный, и идет домой в Россию, и что только человек без сердца может ему в этом помешать. Он обращался к его жалости, но человек тряс головой все яростнее и, выбрасывая слюни, мычал. Наконец, Костя понял, почему он не отвечает ему: он был глух и нем, — можно было до вечера распинаться перед ним, и он все равно не понял бы ни звука. У Кости опустились руки, и он молча пошел впереди человека, который одной рукой держал его за плечо, а другой держал наготове палку.

По одну сторону дороги был редкий сосновый лес, по другую — поле с работающими на нем людьми. Костя посматривал в сторону леса, и человечек, заметив это, снова замычал и застучал палкой, а затем, забежав вперед Кости, повернулся к нему с улыбающимся и хитрым лицом и начал что-то показывать на пальцах.

Повидимому, от мер устрашения он решил перейти к мерам убеждения. Он показал на лес вдали, помотал пальцами у себя под носом и сморщился, точно от дурного запаха.

Это могло означать:

— Не ходи в лес: там плохо пахнет...

И Костя, ошарашенный его преувеличенной мимикой, так и понял его, и с удивлением посмотрел на лес, соображая, что бы там могло плохо пахнуть.

Человечек еще раз показал на лес, сделал зловещее лицо, схватил себя сзади за шею и кляцнул зубами.

Это означало:

— Не ходи туда: там тебя схватят за шею...

Затем он повернулся в другую сторону, где за полем были видны яркие черепичные кровли, и изобразил на лице восхищение. Все в этой стороне было прекрасно. Он показал, будто что-то ест и что-то пьет, и перевел палец на Костю, давая понять, что пить и есть дадут Косте. Он несколько раз ткнул Костю пальцем в грудь, чтобы у него не оставалось сомнений.

Его резкая и страстная мимика в первые минуты действовала на Костю подавляюще, невозможно было оторвать взгляда от его лица, но очень скоро Костя привык к нему и стал соображать. Кем, собственно, был этот человечек, явившийся мычащим препятствием на его пути: каким-нибудь десятым помощником лесника, вооруженным только палкой? Не позорно ли сдаваться глухонемому? Не лучше ли показать ему кулак и броситься от него в сторону, в тот самый лес, в котором плохо пахнет? Если люди, работающие на поле, не захотят бросать работу, дело может выгореть.

Толкнув человечка в грудь, он бросился через жнивье к лесу. К его удивлению, человечек, пронзительно промычав, побежал не за ним, а в противоположную сторону, к людям на поле, дико размахивая палкой. Люди на поле, повидимому, привычные к подобным делам, сейчас же отозвались и бросились вдогонку. Костя, задохнувшись, остановился: нельзя было рассчитывать уйти от стольких преследователей. В деревню он вошел со связанными руками, под конвоем того же человечка и под наблюдением издали всех остальных.

Деревня называлась Вейсбах. Это он прочел на столбе. Там было еще написано, сколько в ней было жителей, но ничего не говорилось, в Австрии она или в Германии. Люди говорили по-немецки. Костя, мучаясь неизвестностью, шагал вдол домов.

Седой военный, в белых штанах, черном мундире и с галуном на кепи, шел ему навстречу. Это был несомненный австрияк, сельский жандарм, принявший Костю в свое ведение. Он был дружелюбен, с первого же слова вспомнил, что человек, столько дней проведший без кро-

ва, должен хотеть есть, и повел его к старшине, который и должен был придать его дружелюбию вещественное оформление и накормить Костю хлебом и кофе.

Затем на голову Кости одна за другой обрушилось несколько радостей.

По дороге в арестный дом жандарм сказал ему:

— Если вы хотели в Германию, вы не добежали совсем пустяка: граница — вон там...

Он показал как раз на лес, в котором плохо пахло и куда, по счастью, не добежал Костя.

— Но раз вы в Австрии, — продолжал он, — вы в Австрии и останетесь. По новому указу Австрия не выдает пленных...

К ночи Костя был доставлен в уездную тюрьму. Там уже несколько дней сидел Игнат, дожидаясь отправки внутрь Австрии.

Ник. Брыкин

МАЛИНОВЫЕ ЮНКЕРА

ОСОБЫЕ ПОЛКИ

В полки особого назначения попадали только стройные, рослые, грамотные и красивые солдаты.

Отбирались они так.

Солдат гоняли в баню, выдавали новое обмундирование и, основательно помуштровав, выстраивали на пыльном плацу.

Курносых, раскаряк в этот день наряжали на кухню чистить картошку. Они могли испортить настроение бригадному генералу.

Окруженный всегда с иголочки разодетыми адъютантами, надменными и высокомерными штабными офицерами, генерал, не торопясь, шел по фронту, внимательно всматриваясь в каждого солдата.

Солдаты не дышали. Им было приказано замереть, превратиться в истуканов, что каждый по мере своих сил и способностей и делал.

Пройдя несколько шагов, генерал вдруг останавливался. Он впивался в лицо, рассматривал солдатский нос, глаза, затем взгляд его превосходительства незаметно опускался на плечи, грудь, живот.

И если солдат имел стройную фигуру, длинные, как у журавля, ноги, привлекательное лицо, правильной формы голову и если он к тому же держал колесом грудь, генерал улыбался. Солдат осчастливлен: его повезут во Францию, он удостоится чести значиться в списках особых полков, со всеми вытекающими отсюда «заманчивыми» последствиями.

Выбрав отвечавшего всем требованиям солдата, генерал делал знак «пальчиком»: «Иди-ка сюда, голубчик!»

Счастливец вылетал, расталкивая товарищей, из строя и, высоко задирая ноги, шел к бригадному. Дойдя до генерала, он зверски ударял каблуками и, став во фронт, замирал. Генерал еще раз, точно барышник, осматривал солдата, щупал грудные мышцы и мягко, с легкой усмешкой говорил:

— Пройдись-ка, голубчик. Не хромой ли ты?..

Солдат рубил тяжелыми, точно колоды, сапогами плац, поднимая тучи пыли.

— Кру-гом! — внезапно подавал команду бригадный.

Ротные нас предупреждали об этой хитрости бригадного — ловить неожиданной командой солдата. Мы держали, что называется, ушки на макушке. Шли и все время ждали команды, — дескать, не проведешь.

Солдат молодцевато с довольным выражением на лице, — мол, не удалось его превосходительству подловить нашего брата, — ловко поворачивался и еще отчаяннее рубил ногами по всем правилам строевого искусства, размахивая руками, навстречу генералу. Сейчас должна последовать команда «стой» (вторая хитрость бригадного), и надо во-время молодецки остановиться, замереть.

— Стой!

Солдат озверело отстукивал каблуками и замирал.

— От ста отнять семнадцать, сколько будет, голубчик? — спрашивал бригадный.

— Восемьдесят три, ваше высокопревосходительство.

— Сколько? — делая вид, что не расслышал, прикладывая руку к уху, переспрашивал довольный генерал.

— Восемьдесят три, ваше высокопревосходительство, — отчеканивал солдат.

— Как, как? — сразу оживлялся генерал. — Что ты, братец, сказал?

— Восемьдесят три, ваше высокопревосходительство.

Генерал начинал отечески журить солдата за ошибку, поучать, а заодно показывать молодым офицерам блестящее знание устава: дескать, смотрите, молокососы, генерал — а как вызубрил устав.

Но история с титулом повторялась каждый раз, когда приезжал генерал. Солдат отлично знал, как нужно ти-

туловать генерал-майора, но, желая доставить бригадному приятное, офицеры полка приказывали нам ошибаться. Ну, мы и ошибались, величали бригадного генерала «ваше высокопревосходительство», а не просто «ваше превосходительство».

Задав солдату еще несколько вопросов: «Как называется столица нашей союзницы — Франции?», «Какой главный город Англии?», «Кто, кроме Германии, враг русского народа?» — генерал, довольный смышленостью солдата, трепал его по плечу и благодарил за службу.

Затем следовал деловой вопрос:

— Как фамилия, голубчик?

— Иванов, ваше превосходительство.

— Молодец, Иванов, молодец. За богом молитва, за царем служба не пропадет. Верю, не ударишь лицом в грязь.

— Рад стараться, ваше превосходительство.

— Грамотен?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Женат?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Дети есть?

— Не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал делал изумленное лицо:

— А как же это так, голубчик? Кто же должен знать? Я? Я тоже не знаю.

— Два года дома не были мы, ваше высокопревосходительство.

Генерал несколько секунд безмолвно смотрел на солдата, как бы говоря: «Что же это ты, голубчик, так опростоволосился», затем весело и заразительно смеялся. Он любил этот старый тупой военный анекдот, который ему, видимо, никогда не надоедал, любил он и солдат, знавших, как нужно отвечать.

Но вот интермедия кончилась. Генерал еще раз осматривал солдата и, посоветовавшись с окружающими его офицерами, кивал головой:

— Налево, голубчик. Послужи царю-батюшке и родине на чужой земле.

Солдат бессмысленно пучил глаза, молодецки поворачивался и, озверело топая коваными тяжелыми сапогами, шел в сторону от строя, где уже толпились отобранные генералом кандидаты в особые полки.

Мне очень хотелось побывать в заморских странах, посмотреть на иных людей, на иные земли и города. А больше всего хотелось побывать на Эйфелевой башне. Солдаты говорили, что башня в сто раз выше Ивана Великого.

И еще в ротах говорили, что ежели забраться на самую ее макушку, то можно увидеть весь мир, всю матушку Россию.

С Эйфелевой башни я рассчитывал увидеть и свое село Даратники, большой пруд, в котором водилось много карасей, и покосившуюся избушку матери, а может быть увидеть даже и свою мать...

В запасных частях обмундирование выдавали, не считаясь с ростом и телосложением. В особых полках все обстояло иначе. Там с каждого «француза» сначала снимали мерку и только после этого заказывали обмундирование. Гимнастерки и брюки шились из тонкого чистого сукна. Шинели офицерские.

Но особенное восхищение вызывали погоны «французов». Малиновые, с небольшими белыми кантиками и красными римскими цифрами на полях, обозначавшие номер части, они, словно терпкое вино, кружили нам головы.

С завистью глядели мы на солдат особых полков. Счастливцы! Им разрешалось ходить по солнечной стороне (нижним чинам в царское время запрещалось в городах ходить по солнечной стороне), а тульские девушки (четвертая особая дивизия стояла около Тулы) были без ума от особцев. На нас же они и глядеть не хотели.

Это здорово донимало нас. Постепенно зависть перешла в ненависть. Мы потихоньку поколачивали малиновых юнкеров. Не оставались в долгу и особцы. Между солдатами запасных полков и особыми полками шла негласная война. Мы лупили друг друга где придется и как придется. Начальство не слишком взыскивало с нас за это и ничего не предпринимало к прекращению междоусобицы. А под конец дело дошло до того, что «французы» в одиночку боялись показаться на улицу.

К чему грех таить? Сейчас об этом можно сказать. Я крыл на чем свет стоит малиновых юнкеров, издевался над ними, не один раз участвовал в побоищах, а самому

мне очень хотелось попасть в особые полки. Я мечтал о той счастливой минуте, когда я, разодетый юнкер, пойду по солнечной стороне города. В моих ушах уже звенели восхищенные голоса тульских дульциней:

— Кто этот красавец? Как фамилия этого красивого мальчика? Как он хорош...

В деревне у меня осталась подруга. Расставаясь с ней, я поклялся ей, как это водится в таких случаях, быть верным до гроба. Бог мой, как бы она была поражена, увидев меня в такой роскошной форме.

В общем все говорило за то, что мое место только в особых полках. Но я не вышел ростом. А туда отбирали только жердяев. И придумал я великую хитрость.

В день смотра обвязал я грудь длинным домотканным полотенцем, напялил на себя две нижние рубахи и подбил к сапогам толстые деревянные каблуки.

Но зря я выпячивал грудь колесом, зря «ел», больше чем следует, глазами начальство. Бригадный даже не посмотрел на меня. Но я решил итти напролом: была — не была.

Когда счастливцы проходили мимо роты, я выскочил из строя и, нарушая все воинские правила, пристал к последнему солдату и, задрав голову, зашагал, каждую минуту ожидая, что вот-вот начальство вытащит меня из рядов и отправит на гауптвахту. Но все мои страхи и опасения оказались напрасны. Взводный, переписывая нас, со вздохом сказал:

— Неужели тебе, Глебов, на Западный фронт хочется ехать? Дурак, родная земля мягче. Да и теплее.

— Брат там у меня, господин взводный... С братом давно не виделся, — соврал я взводному.

— Брат, говоришь, там. Это — другое дело. Это — другое дело, — и взводный внес мое имя в списки 16-го особого полка, в роту связи, — там, мол, и такой «орел» сойдет.

Вечером он вызвал меня к себе в палатку, дал полтинник и, не глядя на меня, буркнул:

— Принеси бутылку вина, фунт колбасы, две булки, банку ваксы, десяток малосольных огурцов и полтора рубля сдачи.

Я негромко — как и подобает нижнему чину — рассмеялся. Шутник этот господин взводный! Но, взглянув

на побуревшего взводного, я понял, что он и не думал шутить.

— Ну! шагом марш! Да побыстрее! — скомандовал взводный.

— Господин взводный... На полтинник нельзя столько купить...

— Мало? Ты что думаешь, взводный — неграмотный, считать не умеет? Раз говорю — хватит, значит хватит! — угрожающе наступая на меня, закричал взводный.

Кровь прилила к моей голове. За дурака, что ли, меня принимает он? Не помня себя, я крикнул:

— Господин взводный, как же на полтинник все это купить?

— А вот как! — подскочив ко мне, ударил взводный меня по лицу и вытолкал из палатки.

— Ты что? Летать учишься? — обступили меня товарищи.

— Да, вот, — говорю, — взводный полтинник дал, а купить велел на два рубля товаров... Да еще полтора рубля сдачи ему неси...

— Ну, и что ж такое? Иди и покупай.

— На полтинник?

— Эх ты, деревня-матушка. А еще в Москве жил... Спасибо говори, что дешево отделался... Вчера взводный псковскому четвертак дал, товара на пять рублей приказал купить, да еще сдачи семь рублей доставить.

И, посмеявшись над моей темнотой, они посоветовали отправляться в лавку.

— Беги, беги скорее, чубук ты этакий! Сколько велено вина купить? Бутылку? А ты две купи да сдачу удвой, тогда, может, простит он тебя. А так сгниешь, чубук ты зеленый, на кухне за картошкой.

Но мне так и не удалось откупиться. Произошло ли это оттого, что я порцию вина удвоил, а сдачу оставил прежнюю, — не знаю, но только на следующий же день взводный к чему-то придрался на учении и поставил меня на два часа с полной боевой выкладкой под винтовку. А затем пошло и пошло. То стою под винтовкой, то чищу на кухне картофель, то освежаю ротные уборные, то мою посуду, а затем снова под винтовку.

Так продолжалось две недели. Наконец мне это надоело. Надоело стоять под ружьем, чистить картошку,

освежать солдатские отхожие места. Я решил жаловаться. Иначе, чего доброго, взводный сгноит меня на кухне. И жаловаться я решил прямо командиру полка.

Командир полка, полковник Караганов, звал солдат братцами, детьми, и я решил обратиться к нему как к отцу родному, рассказать ему о бесчеловечном обращении взводного.

Несколько дней сочинял я заявление, в котором решил не скрывать и не утаивать все свои мучения. Не позабыл сообщить командиру и о случае с полтинником.

Но как передать заявление? Итти в штаб — боязно. Да меня туда просто не пустили бы. Не придумав ничего лучшего, я решил передать жалобу через денщика командира.

Выслушав мою просьбу, он оглядел меня с ног до головы и, презрительно усмехнувшись, протянул:

— Эх ты, деревня!

И пошел прочь. Что он хотел этим сказать — не знаю.

«Ну, хорошо, — подумал я, — не хочешь помочь мне, так я и без тебя все устрою». Набравшись храбрости, я дошел до командирского особняка. В садике играли две девочки, нарядные, похожие на грациозных кукол. Это были дети командира полка.

Когда одна из девочек подошла к решетке, я попросил ее передать письмо отцу и, обрадованный своей находчивостью, побежал в казармы.

— Глебов, ты где, стервец, был? — встретил меня взводный.

— В лавочку ходил, господин взводный, — скрывая свою веселость, ответил я.

— Разрешение у отделенного командира на отлучку просил?

— Никак нет, господин взводный.

— Три наряда вне очереди на кухню получи. Отлучишься еще без разрешения — на губу сядешь.

Я слушал взводного и торжествовал. Недолго вам теперь, господин взводный, осталось мучить меня.

В тот же день вечером меня вызвали к командиру роты. Во взводе всполошились: зачем бы мог Глебов понадобиться угрюмому капитану Мельникову?

Но я не унывал. На расспросы товарищей отвечал,

что не знаю, а сам при этом хитро и многозначительно улыбался.

— Ваше высокоблагородие (особые полки по титулованию были приравнены к гвардейским частям), рядовой Глебов явился, — молодецки хлопнув каблуками, представился я ротному.

Капитан Мельников сумрачно посмотрел на меня и сухо спросил:

— Рядовой Глебов, устав воинской службы проходил?

— Так точно, проходил, ваше высокоблагородие.

— Так вот, за нарушение устава отправляйся на тридцать суток на гауптвахту.

Ошеломленный, стоял я перед ротным, ничего не соображая. Когда я нарушил устав? Где? Час от часу не легче. Неужели взводный снова наябедничал?

— Можешь итти, — так же сухо буркнул ротный.

Обескураженный свалившимся на меня новым несчастьем, я понуро поплелся к выходу.

— Отставить! — загремел капитан. — Ты как, подлец, пошел? Устава не знаешь?

Пришлось вернуться, вытянуть руки по швам, стать в струнку перед капитаном, сделать поворот и, четко отбивая шаг, выйти.

В этот же день меня под усиленным конвоем отвели на гауптвахту в одиночную камеру.

Все это так меня потрясло, что временами казалось, будто все это происходит во сне. Я сидел на гауптвахте, не зная, за что сижу. Я никого не оскорбил, ничего не украл, ничего не сделал плохого.

И все же я не терял надежды. У командира полка много дел, он еще не прочел моего заявления. Но настанет день, когда он его прочтет, расследует мое дело, вызовет меня к себе, внимательно выслушает и достойно накажет взводного.

Так прошло тридцать дней.

В день освобождения меня под конвоем доставили в казармы и сдали взводному.

— Ну, господин кляузник, будешь в другой раз на меня командиру полка жаловаться?.. Сволочь! Прими три наряда вне очереди на кухню да сапоги мне вычисти!..

Вечером, рассказав все товарищам по взводу, я узнал причину моего наказания.

— Одно слово — деревня ты, Глебов, — говорили мне товарищи. — Ну кто же подает жалобу командиру полка? Эх, ты, чубук, чубук! Устав забыл! Кто допекал тебя? Взводный. Ему нужно было и жаловаться...

Только теперь мне стало ясно, что нет в царской армии правды, а нам, солдатам, нечего ждать от офицера справедливости...

Пусть теперь меня взводный хоть до смерти замучает нарядами, — я все равно уже никому не пожалуюсь. Не у кого искать правды, некому и жаловаться.

Горькие мечты о чудесных заморских странах, о больших веселых городах, об Эйфелевой башне — все, все было испоганено. Я жалел, что попал в особые полки, хотя нас хорошо кормили, одевали во все суконное и звали малиновыми юнкерами, но здорово донимали муштрой.

С зари до темной ночи мы только и делали, что учились ходить сначала повзводно, затем поротно, потом побатальонно, а в заключение нас учили маршировать целой дивизией. Это было какое-то умопомешательство. От криков «ура» мы совсем охрипли. От топота ног тысяч солдат гудела земля и дрожали стекла в бараках.

Временами казалось, что если так будет продолжаться и впредь, мы по колени сносим ноги.

КРЕСТЫ

Перед отправкой за границу бригадный снова навестил нас. Полк выстроили, как это водится в таких случаях, на лагерном плацу. Саперы приволокли огромный сосновый столб и поставили его посреди плаца «на попа».

Старые, видавшие виды солдаты ломали головы, чтобы все это значило. Может быть, лазить на столб заставят? Солдат — лицо подчиненное: что прикажут, то и будешь делать.

Бригадный генерал, покручивая тонкие усики, важно прохаживался по плацу. Его превосходительство об-

думывал речь. Наконец, генерал одернул китель, вскинул бабьими плечами и, приподнявшись на носки, звонко крикнул:

— Братцы, перед нами столб. Обыкновенный... — (Наклон головы в сторону командира полка). — Какой столб, полковник?

— Сосновый, ваше превосходительство!

— ...сосновый столб. Но представьте, что это не сосновый столб, а наш враг, немец. Его императорское величество государь император приказал нам с вами этот еловый столб сбить. А что требуется для того, чтобы этот столб сбить? — Генерал прошелся вокруг столба. — Для этого нужно посильнее грохнуть по столбу. Собрать всю русскую силу-матушку, получше приноровиться и грохнуть. Да так грохнуть, чтобы у столба, то бишь у немца, искры из глаз посыпались. — Генерал, довольный удачными сравнениями, прошелся по фронту. — Теперь возникает другой вопрос: а откуда лучше ударить по столбу? Я не знаю, откуда, — кокетничал генерал, пожав плечами.

На плацу было так тихо, что слышно было, как ветер перекатывал по земле прошлогодние высохшие листья.

Затем тысячи глоток дружно выдохнули:

— Где прикажут, ваше превосходительство.

Генерал расцвел:

— Так, так, правильно, молодцы. Солдат так и должен отвечать. Солдат должен выполнять только то, что ему прикажут. А думать за него будут его командиры... Так вот, государь император и наши доблестные союзники нашли, что лучше всего и удобнее всего по этому столбу, то есть по врагу, грохнуть с Западного фронта. Теперь ясно, братцы, почему государь император отправляет вас за границу?

Командир полка, полковник Караганов, свирепо взмахнул руками. Со стороны можно было подумать, что командиру полка стало душно и он ловит воздух. Командир подал команду кричать «ура». Солдаты дружно рявкнули, как будто бы теперь, после такого исчерпывающего доклада, им стало все понятно. А на самом деле мы так ничего и не поняли.

Бригадный поблагодарил за службу, приказал прокричать еще троекратное «ура» в честь государя императора, затем, лукаво щуря глаза, погрозил:

— Смотрите, братцы, не подкачайте. Во Франции вы должны показать себя. И так показать, чтобы любая француженка, взглянув на вас, таких орлов... гм... гм... подумала. Поняли меня?

— Так точно, ваше превосходительство, — заржал полк.

Через три месяца нас, одетых в тщательно подогнанные гимнастерки, брюки, хромовые сапоги и легкие шинели офицерского сукна с малиновыми погонами, повезли в Архангельск на пароходы.

Не доезжая сотни километров до Архангельска, дивизию неожиданно повернули обратно.

Первая бригада, погруженная на пароходы, была потоплена немецкими подводными лодками. Напуганное начальство погнало нас под Ригу.

Там 4-ю особую дивизию бросили в наступление на знаменитую «Пулеметную горку». Горка была сильно укреплена, имела восемнадцать рядов проволочных заграждений, по которым был пропущен электрический ток, и несколько рядов окопов. Военные авторитеты считали ее северным Верденом.

Командующий 12-й армией, генерал Радко-Дмитриев, решил взять горку. Наступление было назначено на 25 декабря 1916 года. Генерал хотел преподнести царю сюрприз к счастливому 1917 году.

Взять «Пулеметную горку» было решено ночью, внезапным штыковым ударом, без единого артиллерийского выстрела.

Когда храброму, но бестолковому генералу Радко-Дмитриеву сообщили, что «Пулеметная горка» сильно укреплена, имеет восемнадцать рядов проволочных заграждений, десятки пулеметов, что укрепленный район залит бетоном и железом, генерал ответил:

— Это пустяки. Плохо вы, господа, знаете русского солдата. Мы бедны артиллерией, еще хуже у нас обстоит дело со снарядами. А пукать так, чтобы спугнуть немцев, я не намерен. Горку нужно взять внезапно, атаковать по-суворовски... Остальное, господа, доделает русский штык-молодец.

Стоял тринадцатиградусный мороз. С моря дул злой, острый ветер, он обжигал лицо, леденил дыхание, и руки примерзали к заиндевевшим винтовкам.

Запорошенные снегом, сгорбившиеся, пробирались мы цепочкой, толкая друг друга, по ломаным ходам сообщения на позиции. Кругом все было подернуто инеем. Забеленные ходы сообщения, белые деревья, кустарники и заиндевевшие солдаты. Среди этой мертвой белизны молча пробиравшиеся солдаты походили на мертвецов.

Морозную тишину ночи нарушали лишь стуки котелков, тяжелые хрипы людей, да приглушенные окрики офицеров.

Мы шли около получаса по ходам сообщения, а нам казалось, что им не будет конца, снежный марш будет длиться вечно.

То и дело из густой растянувшейся на многие километры живой цепи кто-нибудь выпадал. Замерзающий солдат, точно скошенный, бесшумно валился на землю. Цепь останавливалась. К упавшему подходил офицер, и если солдат еще дышал, его оттаскивали куда-нибудь в нишу, где и оставляли до прихода санитаров, а если он был мертв, его выбрасывали на край хода сообщения, чтобы не мешал. Пробка рассасывалась, и снова приглушенный стук котелков, вздохи, причитания давали знать, что снежный марш продолжается.

А солдаты все шли и шли. Казалось, мы обречены на это вечное движение по глубоким ходам сообщения.

Но, оказывается, бывают концы и ходам сообщения. Наш ночной марш как-то внезапно оборвался. Мы вышли в просторные, с надежными деревянными козырьками окопы, доотказа набитые солдатами.

Приглушенная команда «стой». Рота остановилась. Нам было приказано подтянуться к левой стенке окопа, чтобы дать дорогу соседней части.

Выполняя команду, я вместе с другими подался назад.

— Тише ты, земляк, нос отдавишь, — и кто-то толкнул меня в спину.

Оказывается, позади нас были люди. Запорошенные снегом, они слились с левой стенкой окопа.

— Плотнее прижимайтесь, плотнее, — неслось по окопу.

Мы еще подались назад и убедились, что сзади нас, вдоль окопа, может быть на многие версты стоят с винтовками за плечами солдаты.

А из ходов сообщения, точно из пропасти, звякая котелками, шли все новые и новые взводы, роты и батальоны.

Войдя в окоп, они выстраивались. Глухая команда. И новая партия людей, матерясь и наступая на окоченевшие ноги, жалась к нам.

Скоро в окопе не было ни одного свободного уголка. Солдаты сидели в нишах, прильнув к бойницам, грудились у пулеметных гнезд и стояли в ходах сообщений. Прошло несколько минут. Снег забелил серые папахи солдат, подравнял провалы, и после этого даже искушенный человек не мог бы сразу догадаться, что пред ним не изрезанная кочками и буграми равнина, а забитый людьми окоп.

Временами кто-нибудь из солдат, не выдержав холода, внезапно оседал. На месте упавшего образовывался небольшой провал, затем люди снова смыкались.

Я стоял, не шевелясь, затерявшись в этом людском море, и молил бога или чорта, всех, кого придется, чтобы они надоумили немцев открыть по окопам артиллерийскую стрельбу и тем прекратить наши мучения...

Казалось, что еще час такого стояния, и мы сойдем с ума и, не ожидая приказа о выступлении, выскочим из окопов и полезем на «Пулеметную горку».

Внезапно какая-то теплота охватила меня. Я долго не мог понять, что все это значит, кто меня так подогревает. А затем я увидел залитые солнцем зеленые поля, лес, свое родное село, старушку-мать.

Я шел с матерью по густой луговой траве и что-то рассказывал ей. И вдруг увидел березку — тоненькую, тоненькую, дрожащую всеми своими молодыми листьями. И очень ясно услышал звонкое ее дыхание.

— Иди, отдохни, — сказала мать.

И я пошел, но не успел я сделать и шага, как кто-то схватил меня за руку.

— Выходи, выходи в атаку, в атаку... — неслось по окопу.

Солдаты, карабкаясь по навесу, бревнам, лезли из окопов.

Что же это такое?.. Началось. А где же артиллерия? Почему молчат наши пушки?

Приглушенный свист пронесся по окопу.

— За мной! — услышал я голос взводного.

Сотни людей нашей роты оторвались от оставшихся позади нас солдат. Подался и я вместе с ними.

Стоявшая в окопах позади нас цепь отделилась и торопливо полезла вслед за нами из окопа.

По ходам сообщения текли все новые и новые цепи особцев. Они без суеты, спокойно занимали окоп и ждали команды, чтобы ринуться вслед за нами.

Очутившись за бруствером окопа, я, по примеру других, кувырнулся сразу на снег. И, прежде чем ползти к «Пулеметной горке», огляделся.

Все кругом было черно. А там, дальше, в сотне шагов от окопов сверкал, цвел, переливался всеми цветами радуги колкий снег.

Но вот застывшая чернота пришла в движение и поползла к немецким окопам. Десятки тысяч бойцов, выбравшись из окопов, залегли, скрыв от моих глаз снег.

«Пулеметная горка» была утыкана редкими деревцами и походила на огромный пасхальный кулич.

— Передайте по цепи, сейчас будет атака... передайте по цепи, сейчас будет атака... — зашипело вокруг меня. Это по цепям передавалось приказание командира полка.

Не успел я передать первое приказание, как уже по цепи катилось другое:

— Приготовиться. «Ура» не кричать. Приготовиться. «Ура» не кричать...

И немного погодя:

— Вставай! Поднимайся! Живее! — снова затряслось вокруг меня.

Я бросился вместе с солдатами особой дивизии к «Пулеметной горке». Кругом меня все бежало. Бежали люди, бежали кусты, деревья, даже кочки, казалось, не отставали от нас.

Но почему же молчит горка? Спят немцы, что ли? Пусть бы они подольше молчали...

Страшный взрыв потряс все кругом. Молчаливая горка вдруг вздрогнула и выбросила в нашу сторону столбы огня, дыма. Горка колотилась словно припадоч-

ная. От свиста пуль, от выстрелов звенело в ушах, а мы все молча бежали вперед, к дымившейся горке.

Было так холодно, что мои руки примерзли к заиндевевшей винтовке. Тогда я взял винтовку подмышку, засунул руки в рукава и побежал за товарищами к проволочным заграждениям, к горке, которую в этот момент вряд ли кто-нибудь стал бы сравнивать с пасхальным куличом или тем более с просфорой. Теперь она показалась зловеще большой.

Одна мысль владела в этот момент мною: только бы уцелеть, только бы добежать до горки, только бы остаться целым. Только бы жить, жить, жить...

Вокруг меня падали товарищи. Бежит, бежит боец, а потом вдруг, словно озоруя, возьмет и сделает коленце. Другие падали, не сгибая колен. Третьи, прежде чем упасть, вертелись волчком.

Но больше всего падало с поклонами. Бежит, бежит боец и вдруг низко, низко, до земли, поклонится немецким окопам.

Вместо упавших сейчас же вырастали новые солдаты. Пробежав несколько шагов, эти другие, во всем копируя товарищей, тоже падали. Мы наскочили на что-то холодное и острое. Немецкая колючая проволока. Но что с ней делать?

— Ножницами, ножницами. Режьте, сукины дети, ножницами... — услышал я.

У каждого из нас висели ножницы у пояса, но, добежав до проволоки, мы не знали, что с ней делать.

— Ну, что стоите? Режьте!

Бросив винтовку, я стал резать проволоку и обрадовался. Закоченевшие руки вдруг так ловко заработали, будто не было мороза и холода.

И уже не мороз донекал нас, а жара. Хотелось сбросить шинель, фуражку и остаться в одной гимнастерке.

Скоро широкий проход, похожий на ворота, открылся перед нами. Мы хлынули в него с криками «ура». Но, пробежав несколько шагов, натолкнулись на новый ряд проволочных заграждений. Тут мы вспомнили, что вокруг «Пулеметной горки» восемнадцать рядов проволочных заграждений. Через некоторые из них пропущен электрический ток. Значит, нам еще изрядно придется

поработать ножницами, прежде чем мы доберемся до окопов, цементных бойниц, бетонных блиндажей и спрятанных в горе пулеметных гнезд.

— Братцы, братцы, еще один рядик, один... Прогрызем его, и горка наша. Покажем немцам кузькину мать...

Кто этот смешной златоуст?

Разгоряченные солдаты, которым надоело возиться с проволокой, снимали шинели, бросали их на заграждения и лезли к горке.

Сбросив шинель, я тоже полез вперед.

26 декабря 1916 года командующий 12-й армией генерал Радко-Дмитриев верноподданнейше доносил царю:

«Ваше величество, «Пулеметная горка» снова стала русской».

Северный Верден пал, но от 4-й особой дивизии осталось не больше двух полков.

Пятнадцать тысяч убитых так густо устлали подступы к горке, что из-за серых шинелей, как и во время ночной атаки, не видно было снега.

Две недели полковые и дивизионные обозы возили трупы бездыханных красавцев, от одного взгляда которых, по мнению генералов, прекрасные француженки должны были бы таять, как брошенный в огонь воск.

Убитых хоронили в сорока (по количеству рот) братских могилах.

Вырыв огромные продолговатые ямы, саперы клали солдат рядами, лицом вниз. Выложив ряд, они засыпали мертвецов известью, накладывали хвою и уже только после этого тянули в холодную хижину новых мертвецов.

От сильных холодов земля промерзла на полтора метра. Заступы, ломы, топоры гнулись, тупились, землю взрывали динамитом. Вот почему саперы скупились на могилы, которые было трудно рыть. Вместо двух-трех рядов саперы ухитрялись в каждой могиле выкладывать по пять-шесть и даже по семь рядов. Когда закончили укладку последнего ряда, саперы облили покойников карболовым раствором и, засыпав землей, трамбовали землю ногами, приминали мертвецов. Затем возвели ог-

ромные земляные холмы и поставили сорок сосновых, наскоро обстроганных крестов.

К тысяче кладбищ, рассыпанных по всему огромному фронту, прибавилось еще одно.

Саперы наплели из хвои венки и повесили их на крестах.

От нашей роты осталось только семь человек. После боя мы толкались, точно ошалелые, по вражеским окопам.

В немецких блиндажах и землянках от прежних хозяев осталось много вещей: сумки и бритвенные приборы, красивые перочинные ножи и тарелки, фляги и граммофоны, шахматы и карты, но ни один солдат не притронулся к ним.

Мы все еще никак не могли поверить, что мы — хозяева «Пулеметной горки», хозяева всех этих немудреных солдатских вещей.

Мы с интересом рассматривали висевшие в блиндажах, землянках фотографические карточки отцов, матерей, братьев, невест, жен и детей прежних хозяев.

Сейчас, в наступившей тишине, нам было стыдно и больно перед родными убитых нами немцев. Во имя чего мы отняли у них мужей, возлюбленных и братьев?

Командир роты, занятый приведением в порядок захваченных окопов, приемкой имущества, не успел исключить из списков роты выбывших, и кашевары заложили в обе кухни по полному списку—на триста шестьдесят семь человек.

Но нас осталось только семь человек.

По случаю блестящей победы над врагом кашевары заложили в котлы больше чем следует мяса, не поскупились на сало, а на второе изготовили рисовую кашу с изюмом. Но ни один из нас даже не притронулся к еде.

Кашевары расхваливали свое варево, уверяли нас, что такие обеды не часто ест даже сам царь. Все было напрасно. Нам было не до еды.

То же самое произошло и с ужином. Обиженный кашевар пошел жаловаться на притворщиков к ротному.

Взбешенный капитан Мельников вбежал в землянку, где мы временно обосновались.

— Вы почему отказываетесь от обеда?

Но что могли мы ответить ротному? Капитан повторил вопрос. Промолчали мы и на этот раз.

— Не варите больше обеда. У господ солдат пропал аппетит, — буркнул он кашеварам и вышел.

— Офицер, а дурак, — проговорил кто-то тихо.

До вечера мы находились в каком-то мрачном оцепенении.

Скоро нас отвели в тыл. Всю ночь глядел я на оставшихся в живых товарищей и не мог уснуть. А потом взялся за перо. До самого утра торопливо записывал я свои переживания под «Пулеметной горкой».

Утром я прочел свои записки товарищам по роте. Должно быть, атака на проволочные заграждения была мною очень правдиво описана. Кто-то сзади меня всхлипнул; я оглянулся и увидел затуманенные слезами воспаленные глаза.

Потом мы стали писать письма родным убитых.

Солдаты перед боем обменивались адресами родных. Убьют меня — товарищ должен написать об этом родным. Убьют его — я должен сообщить тяжелую весть.

Целый день сочиняли мы скорбные письма, стараясь как можно деликатнее и нежнее уведомить родных.

Дорогие родители.

В первых строках этого письма мы, солдаты четвертой роты 16-го особого полка 4-й особой дивизии, сообщаем, что ваш сын, Петр Андреев, от роду девятнадцати лет, с которым мы находились в одном взводе, пал в ночь на 26 декабря 1916 года смертью храбрых во время штыковой атаки.

Перед смертью он нам ничего не наказывал, так как шел в первом взводе. Но, по рассказам товарищей, он храбро бился с врагами, заколол двух немцев и был убит, вбегая во вражеский окоп.

Сообщая вам эту печальную весть, мы просим вас не унывать. Война — такое дело, что это с каждым может случиться.

Засим до свиданья. Остаемся верные вашему покойному сыну товарищи по роте.

Дальше шли подписи.

На третий день после взятия «Пулеметной горки» разгромленную 4-ю особую дивизию отвели в глубокий тыл на отдых.

Мы думали, что дивизию расформируют, жалкие остатки полков, батальонов, рот, команд рассуют, как это обычно делается в таких случаях, по другим частям 12-й армии Северного фронта. Тем более, что сделать это было нетрудно. От восемнадцати тысяч бойцов в строю осталось не больше двух тысяч. В 16-м особом полку, где я находился, от пяти тысяч в строю осталось только триста сорок бойцов.

Имелись роты, боевой состав которых не превышал пяти-семи человек. В 11-й роте, например, остались только кашевары, денщики и чудом уцелевший телефонист. Распихать эти жалкие остатки по другим частям было делом легким.

Так думали солдаты. Но иначе смотрело начальство. Оно не собиралось расформировывать дивизию. Дивизия должна жить. Жить на страх врагам.

До взятия «Пулеметной горки» дивизия называлась в приказах просто «особой стрелковой», после взятия горки ее уже величали «доблестной», «непобедимой», «геройской».

Начальник дивизии был награжден георгиевским крестом и произведен в генерал-лейтенанты. Командир нашего полка получил золотое оружие. В дивизии не было офицера, который не получил бы награды или повышения.

Вскоре начало прибывать из особых запасных батальонов пополнение для дивизии. Бравые маршевые роты вливались в потрепанные полки. Мы не успели как следует очухаться, как дивизия полностью была укомплектована. И ничто не говорило о тяжелой трагедии, которую только что пережили полки.

Дивизия усиленно готовилась к отъезду за границу. Сейчас туда отправлялась не какая-нибудь рядовая, не нюхавшая пороху воинская часть, а закаленная в боях, с боевыми простреленными, овеянными пороховым дымом знаменами, геройская дивизия.

Но на этот раз отъезд уже не радовал нас, «старых

особцев». «Пулеметная горка» охладила наш пыл, отбила охоту к заграничным «путешествиям». Радовались одни лишь новички, или цыплята, как в шутку звали мы их.

15 февраля 1917 года дивизия получила приказ сменить на позиции латышские полки. Это озадачило нас. Вместо отдыха нас снова гонят в окопы. Особенно негодовали новички.

Вскоре стали известны причины, заставившие командование армии отдать этот приказ. Решено было познакомить молодых, не обстрелянных бойцов с боевой, окопной жизнью. Восемьдесят процентов состава дивизии нюхало порох только на учебной стрельбе.

Но «понюхать» пороху на этот раз так и не довелось. На позиции мы пробыли не больше недели, а затем дивизия неожиданно получила приказ грузиться в эшелоны.

Приунывшие солдаты снова воспрянули духом.

Каждый тайно надеялся, что пока доедем до Архангельска, погрузимся на пароходы, проедем моря, океаны, да по приезде проживем на отдыхе два месяца, — там, глядишь, и замирение наступит. И домой можно будет ехать. Не век же будем воевать.

Так мечтали мы с затаенной тревогой.

До станции наш полк шел сорок километров походным порядком по скверной дороге. Пришлось итти по колено в снегу, и мы здорово измотались. Добравшись до вагонов, затопили печи, поужинали и, завалившись на новенькие сосновые нары, крепко уснули.

Утро огорчило нас. За всю февральскую вьюжную ночь эшелоны 16-го особого полка не продвинулись ни на один километр.

Почему нас не отправляют? Мы кинулись к взводному, но он знал не больше нашего. Не мог ничего сказать и фельдфебель. Офицеры еще не выходили из классного вагона. Жандармы в длинных серых шинелях стыли на своих постах.

К нашему вагону подошел железнодорожный рабочий. Я спросил его:

— Скоро будете отправлять нас? Долго еще будете солдат морозить в этой дыре?

Рабочий огляделся по сторонам. Около вагона толпились одни солдаты.

— А куда отправляют вас? В Питере который день заваруха идет... В царя бомбу бросили...

— Кто бомбу бросил? Какая заваруха? — окружив рабочего, наседали солдаты.

Рабочий начал объяснять. В это время из офицерского вагона выскочил дежурный по эшелону капитан Мельников. Рабочий нырнул под вагон.

— В чем дело? Что тут такое случилось? Кто разрешил из вагонов вылезать? Марш по местам! Не было приказа из вагонов выходить! Взводный! Где взводный?

Вечером дивизия получила приказ снова выступить на позиции. Догадкам, предположениям не было конца. Что за чертовщина? Ехали во Францию, а тут, вместо заграницы, опять вшей в окопах корми. Уж не собираются ли бросить дивизию в новое наступление?

И вот снова, увязая по колено в снегу, полки дивизии двинулись по лесным дорогам на позиции.

Ни разговора, ни смеха, как это всегда бывает в походах.

Озлобленные, сбитые с толку солдаты шли молча.

На первом большом привале мы спросили у ротного:

— Ваше высокоблагородие, как же с Европой? Отложили, что ли, поездку?

— Все, все, ребятки, скоро узнаете, — ответил ротный и отошел, давая понять, что разговор на эту тему он вести больше не намерен.

А потом нам объявили, что немцы, собрав на Рижском фронте большие силы, готовятся к наступлению.

— Набьем немцам морду и за границу поедем, — так закончил информацию командир роты.

«Только кто кому набьет-то, — думали мы, слушая ротного. — Значит, опять заваруха. Нет, не доедет дивизия до Парижа. Значит, прощай, Эйфелева башня, прощай, прекрасные француженки. Эх, Париж, Париж...»

Мы были так расстроены, что даже не поинтересовались, кого сменяет наша дивизия. А не все ли равно, кого. И только на второй день узнали, что сменили мы прославленную Тульскую дивизию, дравшуюся у Мазурских озер во время первого русского наступления в Восточной Пруссии.

Я сначала не поверил. Тульскую? Путают что-нибудь ребята. В Тульской дивизии пулеметчиком служил мой отец.

Отца я не видел с самого начала войны. Почему-то мне казалось, что Тульская дивизия находится в Галиции. Но, оказывается, мы служили в одной армии и даже в одном корпусе. Я узнал об этом, когда уже было, как говорят, слишком поздно.

Но какой полк сменили мы? Я навел справки, и лучше бы не делал этого: действительно, наш 16-й особый полк сменил ту часть, в которой служил отец.

Путаясь ночью по ходам сообщения, мы разошлись с отцом, чтобы уже больше никогда не встретиться.

Я дошел, шатаясь, до выступа, где хранились патроны, сел на ящик, и слезы брызнули из моих глаз.

Я вспомнил свою мать, нашу большую нищую семью и трижды раненого отца, с которым, как мне казалось, я не встретился по собственному легкомыслию.

— Что с тобой? Что ревешь, как белуга? Весь окоп затопил. Смотри, как поднялась вода. Сырость зачем разводишь? Нам и так мокрицы проходу не дают... — шутили товарищи.

Я рассказал им о своем горе. Все как-то сразу притихли.

— Да. Сменить полк, мимо отца пройти и не поздороваться — это... тяжело... — сказали товарищи с глубоким сочувствием и оставили меня одного.

Так сидел я около часа. А потом встал и пошел по окопу осматривать пулеметные гнезда, не оставил ли отец после себя какой-нибудь отметки.

В окопах мы любили вырезать на деревянных накатах, досках свои фамилии, адреса. А некоторые вырезали стихи, а то просто какое-нибудь хлесткое словцо.

И еще отец любил плести корзинки. Это была его страсть.

Я внимательно осматривал пулеметные гнезда, бойницы, не теряя надежды найти вырезанную фамилию или сплетенную корзинку. Ведь в окопах у солдат много свободного времени, которое чем-то нужно заполнить.

Но среди сотен вырезанных фамилий и имен не было фамилии моего отца. Уж не убили ли его? Но я гнал эти черные мысли.

В тот же день я написал отцу письмо. По моим расчетам, Тульская дивизия не могла далеко уйти от фронта. Она находится где-нибудь около Риги, и я быстро получу ответ. Так думал я, отсылая письмо.

Но зря тешил я себя несбыточными надеждами. Ответа на письмо я так и не получил. Я решил, что отец убит. Но он был жив.

Изрешеченный пулями, контуженный, отец вернулся домой. В январе 1918 года он поступил добровольцем в Переяславский полк Красной гвардии, с которым участвовал в подавлении ярославского мятежа, где и был ранен в четвертый раз.

Телеграмму о его смерти в лазарете я получил в Великих Луках. Но я не мог выехать. Ехать нужно было неделю (поезда шли по сто километров в сутки). Города нуждались в хлебе, кулачество поднимало голову. И мне, вместо Переяславля, пришлось выехать в один из районов с продотрядом.

И только много лет спустя мне удалось побывать на могиле отца. Это произошло летом 1928 года.

Жаворонки кувыркались в бирюзовом небе, славословя бездумной трелью ладный июльский день.

Я стоял около поросшего густой сочной травой осевшего могильного холмика и думал о превратностях человеческой судьбы.

Немецкие пули изрядно искромсали отца, но не пощадила пуля белогвардейца.

Простым сердцем батрака-крестьянина он понял, на чьей стороне правда, и без колебания, мучительных раздумий отдал за нее свою жизнь.

В ОКОПАХ

Солдатам надоела чечевица. Несколько недель нас только и кормили ею. Не зная, как избавиться от нее, солдаты роты связи залили варевом ход сообщения в землянку командира полка.

Утром командир полка увидел, что все кругом залито «рыбьими глазками». Рассвирепевший полковник Караганов приказал разыскать виновников и примерно наказать их.

Виновников чечевичного бунта искали три дня, допрашивали солдат, но так и не нашли.

Я описал этот случай в веселом фельетоне (тогда я еще не знал этого слова). Друзья покатывались со смеху, когда я читал им чечевичную историю.

В ту же ночь фельетон был подброшен к землянке Караганова. Взвод замер, ожидая, что будет дальше. Ждать пришлось недолго. На следующий день всех нас позвали к ротному и велели каждому солдату написать на чистом листе бумаги свое имя, отчество и фамилию, а также кто где родился. Командир полка хотел по почерку обнаружить автора фельетона.

В тот же вечер я снял висевшую на проволоке коптилку (лампы были только в офицерских землянках), достал тетради, куда я записывал свои мысли и наблюдения, и сел за новое сочинение, в котором хотел еще раз высмеять командира полка, вздумавшего таким оригинальным способом найти автора фельетона.

Человек двадцать солдат, откинув шинели, полулежали на нарах и с жаром обсуждали, что им делать с только что пойманной упитанной вошью, снятой с шеи взводного, весельчака, в прошлом циркового клоуна, Ступина — по паспорту, а по сцене — «мистера Бэдби». Одни предлагали без всякого суда и следствия насекомое сварить, другие требовали предать полевому суду.

Блиндаж освещался опущенным в консервную банку поплавком. Бледножелтый огонек нещадно чадил, дрожал, вьющиеся струйки копоти расплывались по потолку.

Ступин важно сидел около столба и спрашивал:

— Ну, так как же, христовы воины? Судить будем вошь или удавим без суда и следствия?

Серая, с черной полоской вошь, перебирая лапками, ползла по его ладони. Но каждый раз, как только она доходила до ската, Ступин соломинкой водворял ее на прежнее место.

— Судить, судить ее, стерву!

Чабан, блошиный палач, намылив нитку, с серьезным видом отыскивал в потолке гвоздик, чтобы устроить виселицу. Нары вздрагивали от смеха.

Прежде чем удавить вошь, Чабан велел взводу креститься, а сам, натирая привязанную к потолку нитку, важно басил:

— По указу его императорского величества, царя польского, великого князя финляндского и прочая и прочая...

И, внезапно замолчав, пригнулся к нарам. Послышались чьи-то торопливые шаги. Притих и взвод. Степан Елка, ротный сказочник и балясник, нежным тенорком выводил:

— ...В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том, в котором мы с вами живем... жил-был... ко-о-ро-о-ль...

Спрятав тетради, я беспокойно затеребил фитиль коптилки. Кого нелегкая несет в такую поздноту в блиндаж?

Вбегает, весь запорошенный снегом, Павел Ушаков, петербургский рабочий, по профессии жестяник, мой большой приятель.

Небрежно бросив винтовку в угол, он сунулся к нарам и, тяжело дыша, крикнул:

— Ребята! «Ура» кричите! Революция в Петрограде. Царя нет... Войне конец.

Он так шумно выражал свою радость, так прыгал, что погасил коптилку.

В наступившей темноте снова раздались его слова:

— Революция в Петрограде. Царя сбросили. Какого вы дьявола? Тут такие события, а вы...

Кто-то зажег коптилку. Ушаков, словно ища у кого-нибудь поддержки, забегал глазами по блиндажу. Но куда он ни смотрел, всюду видел он опущенные головы.

Взвод молчал. Оглушенный принесенными Ушаковым вестями, он не знал, верить им или нет.

С нар робко долетело:

— Кто тебе, Ушаков, это сказал? Узнает взводный, на брусья поставит... Казнить могут за такие слова... Отпетый ты человек, Ушаков.

— Немцы сказали. Это только мы, дураки, ничего не знаем. Скрывает начальство от нас революцию. Помните на станции, что железнодорожник говорил. Оттого и в окопы послали нас. Войне конец... — твердил Ушаков.

Минут через пять с нар раздался голос. Ябедник и старообрядец Сумахин спросил:

— А как немцы сказали тебе, Ушаков, о революции? Пришли к тебе и сказали, что, дескать, так и так, гос-

подин русский солдат? Шутишь ты, Ушаков, больно нескладно.

— Прокламацию на заставу подбросили.

— Их и социалисты подбрасывают, — не унимался Сумахин.

— Да слезайте вы скорее с нар, — крикнул кто-то.

— Ну вот, давно бы так, — проговорил Ушаков, вынув из кармана подброшенную немецкую прокламацию, и стал читать. Я поднял коптилку.

СОЛДАТЫ!
В ПЕТРОГРАДЕ РЕВОЛЮЦИЯ!

А вы все еще не замечаете, что вас обманывают. А вы все еще не замечаете, что англичане вгоняют ваше отечество в бедствие.

Англичане обманули вашего царя, чтобы с его помощью овладеть миром.

Англичане заставили вашего, богом вам данного, царя отказаться от престола.

Ваш враг — Англия!»

Солдаты стояли, окружив Ушакова, не зная, что сказать. Революция! Царя сбросили! Такие события происходят не часто.

Сумахин, видимо все еще не доверяя Ушакову, протискался вперед, взял листовку и, разглядывая ее как денежный знак на огонь коптилки, протянул:

— Дела! В России революция, а англичан кроют. Дураки, поссорить немец хочет нас с союзниками...

— Одна шайка-лейка — англичане, французы, немцы, — бросил Ушаков и, не договорив, обернулся.

В дверях землянки стоял ротный. Его приход явился для нас полной неожиданностью.

— Ушаков! Дайте сюда листовку.

Ушаков молча подал ротному немецкую прокламацию. Мельников аккуратно сложил листок, положил его в карман и, окинув глазами взвод, резко, тоном, не допускающим возражения, проговорил:

— Англичане — наши союзники, наши друзья, наши братья. Они дерутся за то же, что и мы, русские. Они дают нам вооружение. Ушаков, сколько в начале формирования дивизии было в полку пулеметов?

— Четыре, ваше высокоблагородие.

— Так. А сейчас?

— Двадцать восемь, ваше высокоблагородие.

— Иванов! Как работала до этой зимы наша артиллерия? Ты — старый солдат, знаешь.

— А худо, ваше высокоблагородие. Выпустят батарейцы снаряд, а потом чай идут пить...

— Как наша артиллерия работает сейчас?

— Сейчас мы немцев снарядами, точно горохом, засыпаем.

Капитан Мельников так же резко продолжал:

— Так знайте, снаряды, пулеметы, винтовки, автомобили, гранаты — все дает нам Англия. Этой зимы немцы не выдержат. В Германии голод. Своими прокламациями они хотят подорвать наш дух. Никакой революции в Петрограде нет. Советую вам меньше доверять немцам, а больше доверять нам, вашим командирам, таким же, как вы, русским. А где взводный? Почему я не вижу взводного?

Взводный каждую ночь уходил к фельдфебелю играть в карты. Мы не стали скрывать, где он. Ступин молодецки доложил:

— Господин взводный, ваше высокоблагородие, у господина фельдфебеля в карты дуются. Они кажинную ночь туда уходят.

— Безобразие! Сейчас же найти его.

Минут через десять взводный, уже навытяжку, стоял перед ротным. Мы думали, что Мельников основательно взгреет его, но вопреки нашим ожиданиям, он, что-то буркнув, вышел из блиндажа.

До 10 марта скрывали от нас революцию. Царя давно не было, а на поверках и молитвах мы попрежнему все еще тянули «Боже, царя храни». Пели, правда, нескладно, раз от разу все хуже, но пели.

А под конец командир полка, желая показать немцам, что их прокламации не оказали на здоровый русский дух никакого влияния, заставил нас в окопах петь «Боже, царя храни».

Не остались в долгу и немцы. Они выставили в окопах огромные белые щиты, на которых аршинными буквами поздравляли нас с революцией, свободой.

Обозленные офицеры приказывали сбивать щиты. Мы били по ним из ружей и пулеметов.

На место сбитых щитов немцы ставили новые, но с еще более хлесткими надписями.

Мы ждали писем. В письмах родные не стали бы от нас скрывать правду. Но в полк не приходило ни одного письма. Тысячи писем, в которых родные уведомляли нас о революции, полк получил только в конце марта, когда уже многих не было в живых.

Мы с Ушаковым выбрались из окопов, держа путь на Ригу. В Ригу мы шли как уполномоченные роты связи 16-го особого полка, чтобы узнать, что делается в городе. И еще мы шли, чтобы сказать новой власти, что фронтовое начальство скрывает от нас революцию, заставляет петь царский гимн, заставляет воевать, когда, может быть, ничего этого уже не нужно делать.

Командование армии, оберегая фронт от революции, выставило на всех перекрестках дорог посты. Пришлось итти лесом, обходить патрули и дозоры.

Через два дня мы были в Риге.

Мы увидели толпы ликующего народа. И флаги, флаги, знамена, гирлянды, красные банты, музыка и речи без конца...

Вот идут с огромными красными лентами через плечо, с бантами на груди розовощекие демонстранты в цилиндрах и котелках.

Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод томил...

— Кто это такие?

— Купцы, — Ушаков зло выругался.

— Сукины дети! В цепях их держали! Если бы вас в цепях держали, то животы не были бы такие толстые.

Людские потоки увлекли и нас с Ушаковым. И мы нацепили на грудь по огромному красному банту и влились в какую-то демонстрацию.

Ушаков пробрался на одну из трибун и закричал:

— Товарищи, вы тут революцию празднуете, а в окопах все еще старый режим сидит. Не знают там, что здесь революция. Прячет начальство от фронтовиков революцию. Мы, представители шестнадцатого особого

полка, требуем прекратить обман. Где тут у вас комитет, революционная власть? Чего она смотрит?

Нас качали, а потом повезли в какой-то комитет, где представили члену Государственной думы Родичеву.

Вечером на двух автомобилях мы выехали в расположение 16-го особого полка объявлять о революции. С нами ехал Родичев, два каких-то подпоручика и несколько студентов.

НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ ПОИСКИ РАЗВЕДЧИКОВ

Весна 1917 года выдалась солнечной и ветреной. Земля покрылась веселыми побегами трав.

На полях и дорогах цвели колокольчики, ромашка, иван-чай, ландыши и анютины глазки.

И только колючая проволока, десятками рядов избороздившая землю, да поваленные снарядами могучие деревья напоминали о фронте.

О войне кричали лишь надоедливые сводки «от Штаба верховного главнокомандующего». Раз в неделю штаб верховного главнокомандующего в сводках сообщал: «На Северном фронте поиски разведчиков». Иногда для разнообразия штаб добавлял слово: «усиленные».

В это время неугомонные разведчики только то и делали, что с утра до вечера дулись в карты, митинговали или просто грелись от нечего делать на солнце.

Весной 1917 года немцы и русские в самых опасных местах, где не знали иного способа передвижения, как только ползание на животе, сейчас, позабыв об опасности, ходили, точно именинники, высоко задрав головы.

Караулы несли больше по привычке — привычке тягостной, всем приевшейся, надоедливой, как осенний дождь.

От томительного однообразия окопной жизни, от тоски по земле, по осмысленной жизни, от скуки, от одуряющего бездействия люди сделались сонными. Сонными приходили на посты, сонно проводили у бойниц положенное приказами время и сонными уходили спать.

Казалось, что фронтовые люди прожили в окопах века. Не о чем было говорить. За три года окопной жизни все уже было переговорено, перечувствовано, пережито.

Мир — вот о чем думали, бредили мы.

Но мир не шел к нам. Мир, точно сказочную жар-птицу, нужно было еще поймать.

Нас охватило какое-то безразличие ко всему. Нам ничего не хотелось делать. Мы ни во что уже не верили, потому что все, кто приезжал к нам на фронт, точно сговорясь, долбили одно и то же: «Война до победного конца».

Мир, который был так близок, вдруг стал необычайно далек. Так далек, что мы уже потеряли на него всякую надежду. Нам казалось, что мы уже больше никогда не вырвемся из окопов, мы обречены на вечную войну.

В 16-м особом полку у нас перебывали эмиссары, представители всяких партий: кадеты, трудовики, плехановцы, эсеры, меньшевики, и все они были за войну до победного конца, за войну до последнего солдата и патрона.

— Сволочи! Кто же тогда кормить вас будет?.. До последнего солдата... Кто же землю будет пахать?.. — возмущались окопники. — Шли бы сами да и воевали...

Вскоре на фронт пожаловали союзники. Было интересно знать, чем порадуют нас заморские гости. Но лучше бы они и не приезжали. Они тоже стояли за войну до победного конца.

Особенно усердствовали англичане. Эти готовы были драться хоть сто лет. Под конец дело дошло до того, что приедут союзники, а мы — кто куда. Надоела нам болтовня сытых господ, готовых воевать до последнего русского солдата.

Не было у нас пока только представителей партии социал-демократов (большевиков), единственной из всех партий, которая была за немедленный мир без аннексий и контрибуций.

Но мы о ней уже знали хорошо.

Зажигательные лозунги этой партии целиком отвечали нашим тайным желаниям.

Говорили, что в Петрограде большевики издают газеты, но они не попадали на фронт. Представителей этой партии на фронт не допускали, а газеты, брошюры, листовки задерживались и сжигались.

Свободой слова, печати пользовались все партии, но

только не большевики. Когда мы спрашивали, чем вызвана такая несправедливость, нам отвечали:

«Большевики — немецкие шпионы. Ленин приехал из Германии в запломбированном вагоне. Большевики работают на немцев. Своими несбыточными лозунгами они хотят поссорить добрый русский народ, натравить одну часть населения на другую; они хотят разложить доблестную русскую армию и этим помочь немцам прибрать Россию к рукам, чтобы сделать ее потом немецкой колонией».

Но, странное дело, чем больше поносили, шельмовали большевиков, тем бо́льшим уважением пользовались они у нас, тем с бо́льшим нетерпением мы ждали их смелых агитаторов, тем охотнее читали их газеты, брошюры, листовки, каким-то чудом, несмотря на обилие рогаток, все же просачивавшиеся на фронт и всегда являвшиеся дорогими и желанными гостями в окопах, солдатских землянках и блиндажах.

Заполучив петербургскую большевистскую газету, листовку, брошюру, мы уходили в лес, подальше от начальства, эсеров, меньшевиков, шпионивших за нами, где и читали их.

До Февральской революции я не знал, что на свете существует рабочая партия большевиков. А о Ленине я услышал впервые только после приезда Владимира Ильича из-за границы весной 1917 года.

Однажды — это было в конце апреля — я неожиданно спросил Ушакова:

— Ушаков, ты так защищаешь большевиков, что можно подумать, что ты сам большевик. А может, ты анархист.

— Кто я такой? — с улыбкой уставился на меня Ушаков.

Думая, что он боится, я успокоил его:

— Не бойся, никому не скажу.

— А разве это незаметно, кто я? — отвечая на вопрос вопросом, задумчиво проговорил Ушаков.

— Большевик?

— Да, большевик.

Я все же не поверил Ушакову, думал, что он шутит, разыгрывает меня, как это иногда он любил делать. Просто он — революционно настроенный рабочий.

— На этот раз, Ушаков, тебе не удастся меня разыграть.

— А я тебя и не собираюсь разыгрывать.

После небольшого раздумья Ушаков дрогнувшим голосом продолжал:

— Пройдет немного времени, буржуазия объявит солдат предателями и немецкими шпионами.

— Почему?

— Потому, что солдаты не хотят воевать. Партия большевиков вся состоит из таких, как я, как ты. Мы не хотим, чтобы русский народ умирал за английских, французских и русских капиталистов. Ты смотри, кто только не приезжал к нам из Питера: кадеты, меньшевики, эсеры. А много ты видел большевиков? Их не пускают на фронт, арестовывают. Их боятся. Стоит им только выступить, открыть правду солдатам, как весь фронт поддержит их. А это, знаешь, чем пахнет? Новой революцией, новым восстанием против богачей, помещиков и генералов. Вот почему буржуазия клевещет на большевиков, называет немецкими шпионами. Она хочет, чтобы большевиков чурались, как прокаженных. Но она просчитается. Клевета не спасет русских капиталистов. Как нельзя загасить солнце, так и не потушить им нашей правды. Сейчас русский народ все еще от февральского хмеля никак не может отделаться. Как же, свобода! Царя с министрами сбросили. Но это недолго. Пройдет хмель — и тогда народ сумеет отличить друзей от врагов. Да что тебе говорить, скоро сам все поймешь, да только не проболтайся про наш разговор, — закончил мой приятель.

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Мы только то и делали, что ходили на собрания. Митинг сменялся митингом.

Работать никто не хотел. Кашевары, и те побросали кухни.

Свобода!

Щи варили по очереди.

— Петров, — звал взводный.

— Чего? (А уже не «Здесь, господин взводный»).

— На кухню иди, твоя очередь обед варить.

— А я его никогда не варил.

— Все равно, иди. Твоя очередь.

— Моя? А почему Карпова не назначаете?

— Говорят тебе, твоя очередь, — сердился взводный.

— А ты что кричишь? Это не старый режим. Свобода не для кухни делана...

— Дурья голова, есть-то рота должна что-нибудь?

— А мне какое дело. Пускай кашевары варят. Как на фронт — их нет, а как свобода — так они тут как тут...

Так и сидели роты часто на одном хлебе.

Вслед за кашеварами «взбунтовались» и конюхи. Они тоже захотели попользоваться свободой и наотрез отказались ездить на базу за продуктами и ухаживать за лошадьми.

Свобода!

Иногда кто-нибудь распускал слухи, что Временное правительство потому не заключает мира, стоит за войну до победного конца, что не знает настроения солдат. Министры думают, что солдаты за войну. Генералы скрывают от правительства правду.

Солдаты роты связи стали просить меня сочинить от имени полка поскладнее письмо, сказать правительству, что они не хотят воевать.

Я сочинил письмо в газету. Под письмом собрали подписи и послали в город. Солдаты думали, что письмо поместят в газете. Утром какой-нибудь министр сядет пить чай, возьмет газету, прочтет наше письмо, а потом даст его прочесть Керенскому. Тот обсудит вопрос на Совете министров, и долгожданный мир будет подписан. Немудрёно думали мы тогда.

Несколько дней всей ротой мы ждали в газете появления письма, но его не было. Это рассердило нас. Неужели почта затеряла письмо?

Солдаты снова пришли ко мне:

— Настрочи еще одно письмишко. Да погрознее. Что они, на самом деле? Всю жизнь хотят нас здесь держать?

Мы выбирали поукромнее местечко и начинали коллективно сочинять очередное послание. В письма я вкладывал всю свою душу. Ведь домой хотелось и мне.

Но мы зря старались. Петербургские газеты, точно сговорясь, упорно не хотели помещать наши письма.

Я составил третье письмо, мы его послали с нарочным. Один из солдат роты связи уезжал в отпуск. Мы собрали ему денег на дорогу, дав ему строгий наказ доставить письмо в редакцию газеты и сдать под расписку.

Время шло, а газета письма не печатала. И тут злость охватила нас. Вот, сволочи, сговорились они, что ли, все? Мы, быть может, долго еще продолжали бы ждать, если бы наш нарочный не дал нам знать о себе:

«Ребята, не читайте петроградских газет. Не хотят они помещать нашего письма. Все они стоят тут за войну. До вас, фронтовиков, им нет никакого дела. Плюют они на вас.

Меня, как дезертира, чуть не отправили к коменданту.

И вот теперь я вам сообщаю, что на фронт в полк больше не вернусь. Не советую и вам кормить вшей и писать в петроградские газеты. Не любят они правды. Уж если вздумаете кому писать, пишите большевикам. К ним писать нужно».

Ушаков слушал нас и, загадочно улыбаясь, сказал мне:

— Плохо ты, видимо, письмо сочинял, если газеты не помещают его. Писать лучше надо.

А потом, бросив смеяться, сказал уже серьезно:

— Не той дорогой идем мы, ребята. Штыками говорить надо, языком пускай адвокаты работают...

Дней через десять после этого в полк каким-то чудом попал номер газеты «Окопная правда». Мы слышали, что такая газета издается 436-м Новоладожским полком, но читать нам ее не приходилось, командование полка и меньшевистско-эсеровский полковой комитет принимали все меры к тому, чтобы «Окопная правда» к нам не попадала.

До этого нам ни разу не приходилось не то что читать, но даже видеть большевистские газеты. Мы долго разглядывали «Окопную правду», щупали, даже нюхали. Нам казалось, что такая газета должна отличаться от всех прочих газет не только цветом, размером, содержанием, но и... запахом.

«Окопная правда» писала о том, о чем мечтали мы: братании, мире, доме. Она писала, что мир могут завоевать только сами солдаты.

Поднялись ожесточенные споры. Появились сторонники и противники газеты.

В газете было помещено много солдатских писем с требованием мира. Это окрылило нас. Вот куда бы надо посылать нам свои письма. В тот же вечер в землянку, где жили мы с Ушаковым, ввалилось около десятка солдат. Кто-то крикнул мне:

— Точи карандаш! «Окопка» не погнушается нашим письмом. А то обидно: все пишут, а у нас словно языка нет.

Новое письмо ничем не отличалось от предыдущих. Солдаты 16-го особого полка требовали мира, роспуска по домам и заявляли, что воевать больше не будут. А если господа офицеры, трудовики, Временное правительство хотят воевать, — милости просим, окопы к их услугам. Пускай они занимают наши места и пускай воюют хоть до второго пришествия.

— Песочком желтеньким все ходы сообщения обсыплем, окопы ельником разукрасим, нары в блиндажах вымоем, только пускай приходят.

Заканчивалось письмо призывом ко всем полкам 4-й особой дивизии требовать заключения мира и созыва армейского съезда солдатских депутатов.

Когда под письмом были собраны подписи, мы стали думать, каким образом доставить его в «Окопную правду». Отправлять его по почте было нельзя, — солдатские письма просматривались офицерами.

Решили командировать с письмом Ступина. Взводный, большой любитель выпить, за хороший магарыч отпускал надежных солдат в город. Отлучиться в те дни из роты было вполне возможно. Ступин был земляк взводному, и уговорить его не стоило большого труда. На этом и порешили.

Свое поручение Ступин должен был выполнить в два-три дня. Но прошло пять дней, а наш посланец все не возвращался. Беспокойство охватило нас. Неужели загулял?

Отправляя Ступина с письмом, мы собрали по ротам около сорока рублей для передачи в редакцию. Как бы он не прокутил наш дар «Окопной правде»? Домой Ступин уйти не мог. Обычно уходившие с фронта ставили нас об этом в известность, забирали письма к родным и, только справив эти немудреные формальности, уди-

рали. Из роты связи со дня революции ушло домой около десяти человек, но среди них не было ни одного рабочего. Пролетарии знали: на фронте они могут принести больше пользы.

На шестой день Ступин явился.

— Чортова голова, взводный о твоем дезертирстве рапорт чуть не подал. Где был столько времени? За смертью тебя посылать, — отчитывали мы Ступина. Некоторые советовали намять ему бока.

Ступин загадочно улыбнулся, снял потную гимнастерку, вытащил пачку мокрых газет и, бросив их на стол, проговорил:

— «Окопную правду» кто хочет читать? Налетай!

Мы стали на радостях качать Ступина. Наше поручение он выполнил блестяще. Три дня он ждал «Окопной правды», которая печаталась по мере накопления материала. Наше письмо было помещено на первой странице.

Я долго вертел газету, ставшую для меня такой дорогой, щупал ее, радуясь, что наконец-то голос солдат 16-го особого полка будет услышан армией и страной.

Сколько раз в этот день перечитывал я письмо — не помню. Наконец я пошел по ротам и читал его знакомым солдатам, не говоря про автора письма, требовавшего мира, земли и свободы.

Письмо переполошило полковое начальство. Комитетчики считали, что выносить всякого рода резолюции, а тем более выступать от имени полка могут только одни они — «избранники» солдат. А тут вдруг нашлись люди, которые без всякого спроса и разрешения, самочинно настрочили от полка письмо, содержание которого коренным образом расходилось с их мнением, да еще собрали под ним около двухсот подписей. Оказалось, что революционная зараза проникла и в ряды особых полков и что наш 16-й особый полк ровно ничем не отличался от остальных полков армии.

Золотопогонники принялись за розыски авторов письма.

Из рот начали исчезать солдаты.

Из штаба дивизии приходила в полк телефонограмма с требованием прислать двух-трех солдат на курсы. Командир полка пересылал телефонограмму для исполнения в батальон, где и «намечали» кандидатов.

На «курсы» попадали в большинстве боевики, революционно настроенные солдаты. Из полка «исчезли» самые смелые и решительные. Полк очищался офицерьем от беспокойного элемента.

Солдаты отправлялись в полковой комитет, требовали, чтобы комитетчики прекратили отправку солдат на «курсы». Но засевшие в комитете поручики делали вид, что им ничего неизвестно. Впоследствии мы узнали, что аресты производились с ведома и согласия комитета.

Обозники, которым по роду их службы часто приходилось бывать в штабе дивизии, видели, как «курсантов» вели из штаба дивизии в Ригу под усиленным конвоем.

Страх охватил полк. Кто же из нас не выступал против войны? А это уже считалось изменой.

Неважно почувствовали себя и мы с Ушаковым. Особенно мы опасались старовера. Ожидая каждую ночь ареста, мы перестали даже раздеваться.

Но страх не отбил у нас охоту читать «Окопную правду». Мы написали об арестах в газету, а дней через пять «Окопная правда» с протестом против расправы над революционными солдатами пришла в полк. Проверяя телефоны в штабе полка, я сунул номерок газеты в адъютантский стол. Скандал получился невероятный. Полковые писаря пошли под арест.

В начале июня дивизия получила приказ о переброске частей на Двинский фронт в 5-ю армию, в 27-й стрелковый корпус, командиром которого был небезызвестный генерал Болдырев.

Дивизия шла вдоль фронта походным порядком, с развевающимися красными знаменами, под марш оркестров и под глухое уханье тяжелой артиллерии. Внешне она имела вид дисциплинированной части. В действительности это была «больная» часть.

Солнце палило нещадно.

Из колонны отделялись человек десять или пятнадцать, уходили в лес и больше не возвращались.

В тенистой прохладе леса, избавившись от всех походов, они засыпали богатырским сном. А догнать дивизию можно вечером, когда спадет жара.

Навстречу нам попадались штабные автомобили. Окутанные клубами пыли, мчались они, отчаянно гудя, прося дать дорогу.

— Товарищи! Пройдет полк, тогда пускай едут... Мы не хуже их, а пешком идем!

И роты, сомкнувшись плечом к плечу, шли, заняв всю дорогу. Напрасно шофер подавал тревожные гудки, оглядывался по сторонам, куда бы ему свернуть, но по бокам — глубокие канавы и лес.

Тогда шофер переводил машину на большую скорость, направляя автомобиль прямо в середину колонны. Расчет был правильный. Колонна, как бы разрезанная невидимой рукой, раскалывалась на две части. А шоферу только этого было и нужно. Точно стрела, влетал он в образовавшуюся щель и, мелькнув, проносился, сопровождаемый свистом, хохотом, гиканьем, ругательствами. Кое-кто из солдат, срывая злость за минутный испуг, вскидывал винтовку и слал вдогонку автомобилю два-три выстрела.

О переброске дивизии толковали по-разному. Одни говорили, что дивизию гонят в новое наступление; другие утверждали, что дивизию вызвали для подавления взбунтовавшейся 5-й армии; третьи уверяли, что дивизию перебрасывают за границу.

Но, увы, на этот раз охотников ехать за границу не было. Не манили нас уже огни блистательного Парижа и Эйфелевой башни. В России куда интереснее стало жить.

— Заберешься в такую даль, а тут возьмут без тебя и разделят землю. Расхватают соседушки лучшие куски, а тебе болотину оставят. Бог с ней, с этой Европой. Может, когда в другой раз, отдохнувши, придется побывать, а сейчас дома работы по горло... — хозяйственно рассуждали солдаты-крестьяне.

В тридцати километрах от Двинска, около станции Калкуны, в пятнадцати верстах от фронта дивизия разбила палатки. Полки шли форсированным маршем. За десять дней мы прошли триста с лишним верст. Давно не делали мы таких больших переходов.

Дивизия не успела как следует оглядеться, как был получен приказ — готовиться к встрече военного министра Керенского.

Кроме 4-й особой дивизии к Двинску стягивалось много других частей. Шли пехота и кавалерия, артиллерия и инженерные части, броневые автомобили и химические войска. Впервые увидели мы под Двинском батальоны смерти и женские ударные части.

Было ясно, что под Двинском что-то затевается. За войну глаз солдата наметался, и его трудно было провести. А тут еще приезд Керенского.

Ушакова — специалиста по телефону и телеграфу — вызвали в штаб дивизии. Ничего не подозревая, Ушаков поехал, обещая к вечеру вернуться. Но прошла ночь, а его все не было. И тут для нас стало ясно, что Ушакова перехватили по дороге в штаб дивизии и отправили на «курсы».

Потрясенный известием об аресте Ушакова, я хотел итти к командиру полка и сказать, что я тоже большевик. Забрали Ушакова — забирайте и меня.

Потом решил: не лучше ли пойти в роту, взбудоражить солдат, привести их к штабу полка, нагнать на офицеров страху и потребовать освобождения Ушакова? Ступин высмеял меня за эту дурь.

— Ничего твой бунт не даст. Так они по одиночке выхватывают, а тогда ротами начнут забирать. Скажут, у них организация. Заговор могут приписать, в шпионаже обвинить...

— Что же тогда делать? Нас всех, как цыплят, передавят.

— Всех не передавят. Кто-нибудь да останется. Послушаем, что Александр Федорович скажет. На его приезд я возлагаю большие надежды. В полку еще много дураков, которые без ума от него. Послушают его, — тогда узнают, что это за фрукт. Вот тогда мы и пригодимся с тобой. А Павла жалко, но он не пропадет. Не такой он человек. Вот только куда его, сволочи, отправили?

«СОЛДАТСКИЙ» МИНИСТР

Нас пригнали на зажатый лесом огромный луг, покрытый густой травой. Через три дня двадцать тысяч солдат, сотни лошадей, десятки батарей вытоптали дотла этот луг.

— Солдатский министр, а старорежимные парады устраивает. Мущтрует солдат, как царские генералы, — раздавались недовольные голоса.

Нас буквально не выпускали с поля, на котором должен был состояться парад. Мы еле волочили ноги. Но ничего этого не замечали наши командиры.

Приезду Керенского командование дивизии придавало большое значение. Господам офицерам казалось, что весь тот хаос, вся неразбериха, которая происходит на фронте в умах солдат, происходит только потому, что они, офицеры, еще не приноровились к новой жизни, новым порядкам, не нашли ключа к солдатским сердцам, не могут найти с ними общий язык. А вот приедет солдатский министр — и все пойдет по-иному.

Они ничего не понимали в революции, в красных знаменах (которые они презрительно называли «красными тряпками»), в солдатском братстве. По их глубокому убеждению, свобода, которой так упивались солдаты, выразилась в замене военных министров штатскими товарищами да в нежелании кашеваров готовить горячую пищу, лени и никуда не годной войне.

И при подготовке к встрече министра вся энергия господ офицеров главным образом уходила на подготовку к предстоящему параду, церемониальному маршу. Они больше всего заботились о внешнем облике солдат, о выправке, хороших, бойких ответах и традиционной русской «ножке».

Находясь в окопах, солдаты разучились сдваивать ряды, поворачивать, ходить развернутым строем, часто сбивались с ноги. И господа офицеры из кожи лезли, но старались научить нас, как давать, когда это требуется, «ножку», как дружнее отвечать. Они хотели достойно встретить Керенского.

На смотр нас вывели в девять часов, а шел уже четвертый час, — солдатского министра все не было. Мы стояли уже шесть часов с полной боевой выкладкой на жаре в строю. Многие, не обращая внимания на угрозы офицеров, ставили винтовки в козлы и ложились на притоптанную землю.

— А чорт с ним, с этим солдатским министром. Дешевле, что ли, мы его? А в ногах спасенья нет. Ноги под старость пригодятся...

Полковник Караганов, шатаясь от усталости, старался навести порядок.

В четыре часа нестройные гудки автомобилей возвестали, что военный министр едет.

Полки задвигались. Порядок был восстановлен. Каждому интересно было знать, как выглядит Керенский, зачем пожаловал в дивизию и что скажет он солдатам.

Раздались команды: «Смирно!», «Слушай!», «На краул!» Несколько томительных секунд — и одна из линий фронта зашевелилась, сломалась, раздвинулась, и в образовавшемся проходе показался Керенский, сопровождаемый блестящей свитой.

Несколько выше среднего роста, в коричневой походной рубахе, примятой, цвета хаки фуражке, неряшливо подвязанных обмотках, он торопливо шел по фронту, размахивая руками. Серовато-желтое лицо, мутные, беспокойные глаза и нервная походка говорили, что «барабанщик революции» измучен.

Оркестр грянул «Марсельезу». Командующий парадом, расправив на ходу пышные усы, выждав удобный момент, двинулся грудью вперед, выкидывая короткие ноги, навстречу министру.

Знамена склонились. Огромное, зажатое лесом поле притихло.

Приняв рапорт, Керенский рывком сунул командиру полка руку и, не обращая внимания на протянутый рапорт, немного шепелявя, крикнул:

— Здравствуйте, солдаты шестнадцатого особого полка!

Гул пронесся по рядам. Половина полка кричала «ваше высокопревосходительство», несколько рот возвели министра в сиятельство, а пристегнутые к 12-й роте обозники ответили: «Здравия желаем, господин министр».

И это произошло не потому, что полк забыл, как надо отвечать, но в последнюю минуту с ним произошло нечто такое, чего не мог объяснить ни один солдат. Военного министра рассчитывали увидеть в расшитом мундире, при орденах, появление же штатского серого человека, с подергивающейся головой, разочаровало особцев, ряды дрогнули — и получился конфуз.

И все же Керенский остался доволен ответом. Он улыбнулся. Полковник Караганов, вытирая зеленым шелковым платком (на парады он почему-то всегда брал зеленый платок) потное лицо, сделал знак капельмейстеру. «Марсельеза» вновь поплыла по фронту.

С некоторыми офицерами Керенский здоровался за руку, причем, проходя мимо них, он так неожиданно совал им руку, что, застигнутые врасплох, капитаны и поручики не знали, что делать с рукой солдатского министра.

Обход — вернее, бег — по фронту продолжался. «Здрасте, товарищи!», «Здрасте, товарищи!» — скороговоркой приветствовал солдат Керенский, совал прапорщику руку и бежал дальше, чем ставил в затруднительное положение роты. Едва они собирались ответить на приветствие министра, как он уже был далеко и вдогонку неслись отдельные выкрики. А некоторые роты совсем не отвечали удалявшемуся министру.

Но Керенский ничего не замечал. Свита — солидные генералы — еле поспевала за ним.

Обойдя все роты и команды дивизии, Керенский вернулся на середину поляны. Далеко растянувшаяся свита начала подтягиваться. И кого только не было в свите! Генералы и полковники, прапорщики и капитаны, матросы и студенты, представители иностранных миссий и разряженные, лихие «земгусары».

Огромный автомобиль с царскими вензелями вынырнул на середину поляны.

Дивизия выстроилась в каре.

Поддерживаемый генералами, Керенский быстро вскочил в автомобиль, сдернул фуражку и медленным взглядом обвел солдат. Откуда-то появившиеся фотографы устремились к Керенскому. Он дольше чем следует смотрел на солдатские шеренги.

Керенский поднял лицо. Вслед за министром подняли глаза и мы. На толстых сучьях берез примостились солдаты. Защелкали аппараты фотографов.

Это солдаты-венерики, не попавшие в строй, любовались парадом. Полковник Караганов, приложив руку к козырьку, доложил министру:

— Выздоравливающие герои стрелковой дивизии.

Керенский поднял руку.

— Товарищи! Солдаты! Братья! — И министр, точно гипнотизируя, обвел солдат медленным взглядом. — Товарищи, солдаты! — снова повторил он спустя несколько секунд. — Из далекого Петрограда, новой революционной столицы, прибыл я к вам, чтобы передать вам слова приветствия от Временного правительства, избранного вами.

— Покорнейше благодарим! — нестройно, вразброд понеслось по рядам.

Окинув еще раз взглядом полки, Керенский изогнулся и, нервно сжимая кулаки, резко, так, что каждое слово отчетливо было слышно в каждом углу огромной поляны, прохрипел:

— Нас мучили, нас терзали, бросали в тюрьмы, но мы твердо верили, что рано или поздно настанет час возмездия. Многие из нас жизнью заплатили за этот радостный час, который мы с вами переживаем.

Керенский оборвал речь и рванулся, точно ужаленный, в сторону 1-го батальона нашего полка. Первый ряд батальона испуганно попятился назад. Задние торопливо повыхватывали цыгарки изо рта, кое-кто упал. Но Керенский, не обращая внимания на произведенный им переполох, протискался сквозь первые ряды, дошел до батальонного знамени, выхватил стяг из рук знаменосца и так же порывисто очутился вновь в автомобиле.

— Товарищи! Взгляните на это красное знамя — символ свободы, счастья и братства. Скоро оно взовьется над всем миром. Но для этого нужно с вашей стороны еще одно небольшое усилие. Родина и Временное правительство ждут от вас этого. Могу ли я заверить вашего командующего, — жест в сторону командующего 3-й армией, — могу ли я дать ему слово, что вы все, как один, пойдете туда, куда он вас поведет?

Керенский величественно повернулся к командующему армией генералу Данилову.

Фотографы направили аппараты на министра, чтобы запечатлеть для потомства этот «исторический» момент, десятки корреспондентов с блокнотами в руках облепили автомобиль.

Отчеканивая каждое слово, Керенский громко выпалил:

— Генерал! По первому вашему зову солдаты славной 4-й особой дивизии пойдут за вами, куда бы вы их

ни повели. Революция, свобода, братская солидарность, цивилизация требуют жертв, и солдаты готовы их принести. — И сунул свою руку генералу, а потом порывисто облобызал его.

Не успел Керенский оторваться от обвислых губ генерала, как из рядов 16-го особого полка донеслось:

— Это еще как сказать, господин министр, пойдем ли мы в наступление. С замирением ждали, а ты с новой войной прискакал.

Керенский сразу изменился в лице. Дернувшись в сторону полка, он, заикаясь, крикнул:

— Честные солдаты не прячутся за спины товарищей, а высказывают свои мысли открыто и прямо. Шкурники и трусы не нужны армии. Революция не потерпит измены. Кто согласен с этим трусом, которому собственная шкура дороже интересов революции?

Я уже ничего не соображал и не видел.

Передо мной проплыла «Пулеметная горка». Снег. Новенькие серые шинели.

Министр повторил вопрос. Тогда я отдал винтовку взводному и, одернув гимнастерку, твердым шагом вышел на поляну.

Никогда я не слышал такой тишины, как в этот момент. Сколько времени это длилось — не знаю, но вдруг треск раздался сзади меня. Я обернулся. С высокого дерева, по-лягушачьи раскинув ноги, свалился солдат-венерик.

Кто-то насмешливо, с притворным вздохом, проговорил:

— Загляделся, голубь.

Энергичным жестом Керенский пригласил меня к автомобилю. Точно загипнотизированный, дошел я до машины. Пораженная моей дерзостью, свита министра расступилась. Чтобы скрыть дрожь в ногах, я до боли в суставах вытянул ноги. Но что я буду говорить? И я взглянул на свой полк.

Тысячи стальных штыков, сверкая на солнце, дрожали в воздухе.

— Земля и воля, господин министр, нужны живым. Мертвым не нужна воля. Мертвым не много надо земли. А в наступление мы не пойдем.

Что-то сдавило горло, я не мог больше говорить.

Я снова взглянул на полк, и снова увидел я поблескивание дрожавших штыков. Но почему такая тишина? Ведь я говорил то, что думают солдаты. Военный министр, опустив голову, смотрел на вздрагивающие шеренги. Лицо его покрылось мертвенной желтизной. Но вот он повернулся к длинному поручику, должно быть адъютанту, и что-то сказал ему. Через несколько секунд командир полка, выпятив грудь, стоял перед Керенским.

— Полковник, как военный министр и член Временного правительства предлагаю вам уволить этого солдата из рядов русской армии. Трусы и шкурники не нужны революции.

Полковник взял под козырек и встал на место. Одинокий, всеми забытый, я стоял около автомобиля, каждую минуту ожидая ареста.

— Чего стоишь? Иди! — с нескрываемой злостью бросил адъютант полка.

Не зная, куда итти, я пошел в роту связи. Но своего места в строю я уже не нашел. Оно было занято.

Солдаты жали мне руки, ободряли. И это было для меня лучшей наградой. Я был не одинок.

По своей душевной простоте я думал, что меня уволят из армии, отпустят на родину. Министр приказал изгнать меня из армии, и его слово должно быть законом.

Но я ошибся.

КУРСЫ БОЛЬШЕВИЗМА

Вечером меня вызвали в штаб полка за документами. Я забрал вещевой мешок со скудными солдатскими пожитками, простился с товарищами и отправился в канцелярию полка.

Командир роты капитан Мельников, передавая мне подписанный аттестат, насмешливо проговорил:

— Ну-с, господин протестант, желаю всяческих успехов. Пиши из деревни. Спутался с Ушаковым, теперь пеняй на себя.

И затем как-то запросто спросил:

— Ты много получил за свое выступление?

Я изумленно посмотрел на ротного. Капитан Мельников продолжал:

— Ты не продешеви. Такие вещи хорошо оплачиваются... Что же ты молчишь, собака? Ну, пшел!

В штабе полка меня встретил адъютант и провел к командиру полка.

Полковник Караганов, в туфлях, в ночной белой рубашке, сидел на походной кровати. Едва закрылась за мной дверь, как он вскочил с кровати и, застегивая брюки, подскочил ко мне:

— Ты давно, сукин сын, стал большевиком?

Я не состоял в партии. Я лишь состоял в кружке старых особцев, уцелевших от «Пулеметной горки», который возглавлял Ушаков. Какой я большевик, когда я не знал программы партии? Большевики требовали мира, роспуска солдат по домам, раздела помещичьей земли, восьмичасового рабочего дня, — за это был и я. Какой я большевик, когда я не подавал никакого заявления о приеме в партию? Но сейчас, когда командир полка спросил меня, кто я такой, я твердо и зло ответил:

— Так точно, большевик, ваше высокоблагородие.

Здоровенный удар по уху сшиб меня с ног. Я упал на этажерку с книгами и свалил ее.

— За что, ваше высокоблагородие? Не имеете права бить. Это не старый режим...

— Ты еще о праве заговорил! Вот тебе право, негодяй! — оглушил он меня кулаками. — Я тебе покажу свободу. Распустились, мерзавцы! — с трудом владея собой, кричал полковник, продолжая лупить меня.

Я закрыл лицо руками.

Пошатываясь, полковник дошел до походной кровати и тяжело опустился на нее. Немного отдохнув, он достал флягу со спиртом и прильнул к горлышку. Затем снова подошел ко мне.

— Знаешь, чего мне твоя выходка стоит? Мерзавец! Сорок лет украл. Сорок лет! Полк из-за тебя, мерзавца, приходится сдать. Вон, негодяй! — закричал он и вытолкнул меня из комнаты.

В коридоре меня ждал конвой. Взглянув на сумрачные лица солдат, я понял, в какой отпуск хотят меня отправить. Конвойные были из батальона смерти. Они молча

взяли меня под-руки и вывели через задний ход на двор мызы, где стоял крытый санитарный автомобиль.

— Не бежать! Пошевелишься — заколем! — угрюмо бросил один из них с нашивками вольноопределяющегося.

В Двинске меня сдали начальнику крепостной тюрьмы.

В тюрьме меня три дня продержали в одиночке, а на четвертый вызвали к начальнику тюрьмы.

— Читал, читал, молодой человек, о ваших подвигах. Для начала неплохо. Если и впредь так будете преуспевать, то... — показал он на горло, — веревка вам обеспечена... Ну, что же мне с тобой делать? Впрочем, посиди, а там видно будет.

Посадили меня в камеру № 8. Это была огромная, со сводами, комната.

Едва за мной закрылась дверь, как заключенные вскочили с нар и радостно закричали:

— А, новичок! Свеженький!

— Из какого полка будешь, браток?

— Ты ли это, чортова голова? — раздалось с верхних нар.

Оттолкнув обступивших меня солдат, бесценный друг и приятель Ушаков сгреб меня в объятия и, крепко сжимая, сказал:

— Ну, поздравляю тебя! Сдал ты экзамен на большевика.

Ночью мы долго не могли заснуть. О многом мы переговорили в эту ночь. Под утро я спросил Ушакова:

— Ушаков, а ты давно в партии?

— С двенадцатого года.

— Шесть лет? А в полку много членов партии?

— А ты как думаешь? Есть. Хватит. При мне их было много, а сейчас наверное еще больше...

— Но почему же я не видел их?

— Чудак ты. Что же, ты хочешь, чтобы большевик повесил на грудь плакат и всем говорил, что он большевик? Да тогда бы нас всех, как цыплят, переловили.

Ушаков отвернулся и быстро заснул, а я долго не мог сомкнуть глаз.

Не проходило дня, чтобы тюрьма не пополнилась солдатами. В 5-й армии не было воинской части, которая не имела бы в тюрьме своих «представителей». В шутку солдаты величали себя «депутатами», а тюрьму — «армей-

ским комитетом солдатских депутатов». Действительно, двинская тюрьма явилась для нас школой, курсами большевизма.

Когда я пришел в камеру, в ней сидело пятьдесят восемь человек; к концу июля в ней уже было девяносто два. За неимением мест на нарах, мы по очереди спали на полу. Всех, кто попадал в тюрьму, мы встречали как единомышленников.

Неунывающий Ушаков спрашивал:

— Братва, хотите знать, когда нас выпустят из тюрьмы?

— Когда?

— Когда в тюрьму вся армия переберется, а этого недолго ждать.

Но иногда сдавал и Ушаков. Забьется на нары и сидит грустный и задумчивый, ни с кем не разговаривая.

Тут наступала наша очередь утешать его.

Газеты в тюрьму попадали редко. Но мы и без них знали, что делается на свете. О крахе июльского наступления мы узнали от арестованных на другой же день.

В камере установилось правило: кто раньше проснется, тот должен лезть в окно узнавать, что делается на тюремном дворе. Когда солдат взбирался на окно, мы спрашивали:

— Ну, как, держатся еще котелки?

— Держатся, ребята, держатся.

А это означало, что в воротах попрежнему стоят преданные Временному правительству часовые из батальона смерти.

После приезда Керенского 4-я особая дивизия, очищенная от смутьянов, была признана боеспособной. Она должна была итти в наступление вместе с батальонами смерти.

С оркестрами музыки, красными знаменами выступала дивизия на фронт.

Стянутая со всего фронта артиллерия несколько часов молотила по немецким окопам. Такой артиллерийской подготовки солдаты не видели за все время войны.

В десять часов утра в атаку кинулись батальоны

смерти. Вслед за ними должна была броситься на врага и доблестная 4-я особая дивизия. Но тут случилось то, чего не предусмотрели генералы.

Дивизия пропустила батальоны смерти, заняла окопы и остановилась. Из штабов армии, корпуса, дивизии летели в полки грозные приказы с требованием наступать. Все было напрасно. Тогда дивизии был предъявлен ультиматум. Если полки не выступят, не поддержат окопавшихся у немецких проволочных заграждений батальонов смерти, артиллерия откроет огонь по дивизии. Но не помог и ультиматум. Тогда, чтобы устыдить «трусов», «изменников», офицеры дивизии одни бросились в атаку. Но солдаты не пошли за ними. Тогда командование корпуса отдало приказ отвести дивизию в тыл. Полки не подчинились этому распоряжению. Итти в тыл — это значило быть обезоруженными и расстрелянными.

Дивизия получила второй ультиматум — в двадцать четыре часа очистить окопы. И в виде устрашения было выпущено несколько шестидюймовых снарядов по окопам.

Но солдаты, засев у бойниц, держали фронт, зорко следили за немцами, наблюдавшими за этим удивительным поединком.

Командование выпустило около сотни снарядов по своим окопам и перенесло огонь на немцев. Не хотите уходить, — хоть фронт держите.

Но нам и в голову не приходило изменять родине, переходить к немцам, как об этом писали эсеровские и меньшевистские газеты, распространяя о солдатах особой дивизии уйму небылиц.

Они, например, называли день и час, когда дивизия в полном составе и с развернутыми знаменами перейдет к немцам и этим оголит фронт, предаст интересы революции.

Назначенный день, когда дивизия должна была уйти к немцам, давно прошел, а особая дивизия все еще продолжала оставаться в окопах. Она не только не покинула позиций, а отразила несколько яростных атак немцев, решивших воспользоваться нашими неурядицами, захватила около сотни пленных и большие трофеи.

На другой день пленные были отправлены в Двинск как доказательство нашей боеспособности. Солдатам ин-

тересно было знать, как отнесутся к их «сюрпризу» командование и меньшевистский комитет армии.

Но меньшевик — все меньшевик. И не зря в особой дивизии слово «меньшевик» стало потом ругательным. Командование армии и комитет приняли пленных, трофеи, а через два дня в газетах этих господ мы читали:

„ГЕРМАНИЯ НАКАНУНЕ КРАХА

Вчера в расположение Н-ской стрелковой дивизии перебежало 98 голодных немецких солдат. Пленные в один голос заявляют, что продовольственное положение Германии катастрофическое. Германия накануне краха, бунты и восстания грозят взорвать кайзера Вильгельма».

Мы не верили своим глазам. Как же это так? Ошиблась, что ли, редакция газеты? В тот же день в Двинск были командированы ходоки с опровержением. Как же можно так врать?

— Почему врать? — холодно спросил председатель армейского комитета кадет Виленкин.

— Так ведь не перебежали немцы, а в бою мы их захватили. Понимаете, в бою... Во время штыковой атаки.

— А почему вы думаете, что газеты именно о вас писали?

— Девяносто восемь пленных захватили мы, и в газете столько же указано.

— А в Н-ской дивизии столько же в плен перебежало... — серьезно отвечал Виленкин. — В армии не одна ваша дивизия, и вы не можете всего знать.

НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ ПЕРЕМЕНЫ

После неудачного июльского наступления под Двинском, в котором 5-я и 12-я армии растеряли все свои отряды смерти, Северный фронт продолжал оставаться на своих прежних позициях.

Августовский рижский прорыв, занятие немцами Риги на несколько дней всколыхнули тыл России. В сводках штаба верховного главнокомандующего снова за-

мелькали названия городов, крупных железнодорожных станций, сел, местечек, сдаваемых немцам. А потом на Северном фронте снова наступило затишье.

Лишь одни неугомонные разведчики попрежнему чего-то усиленно искали. Чего они искали и искали ли они вообще чего-нибудь, — на этот вопрос вряд ли кто мог ответить. Нужно же было чем-нибудь заполнить военные сводки штаба верховного главнокомандующего.

Рижский прорыв, когда усталая, неспособная к войне, разбитая, отравленная газами 12-я армия в несколько дней отдала немцам целую область, пододвинув фронт к Петрограду, показал, что при существующем в России положении солдаты воевать не будут, они не знают, за что они должны умирать.

Но все это никого и ничему не научило. Отравленных газами солдат, у которых часто не было противогазов, солдат, все же огрызавшихся, солдат, показавших во время рижских боев, что они могут драться, если захотят, если будут знать, за что они дерутся, солдат, которых предали свои же командиры, — этих солдат, с легкой руки Керенского, тыловые люди окрестили трусами, изменниками, предателями, а офицеров, сознательно подготовивших сдачу Риги, возвели в героев, в мучеников.

Стоял сентябрь. Холодало. Ветер гонял по облысевшим окопам желтые листья, нарушая лесной покой Деркульских высот.

От листьев в окопах — мягко. Взводы несли караулы, проводили на постах у бойниц положенное приказами время и уходили в дырявые землянки, блиндажи.

Людям надоело бесцельное сидение в окопах: им до тошноты опротивела сонная, начавшая уже входить в норму фронтовая жизнь: они бредили семьей, тосковали по земле.

И все же они не бросали окопов. Усталые, раздраженные, они знали, что, уйди они с позиций, фронт будет оголен. Но они слишком любили свою родину, свое отечество, чтобы открыть фронт, изменить родине.

О четвертой зиме не думали. Все почему-то были уверены, что на этот раз не придется зябнуть в окопах.

Многие части, не надеясь на Керенского, который к этому времени был уже председателем Совета министров и верховным главнокомандующим русской армии, стали заключать с немцами перемирие.

Не были забыты и двинцы. Полки помнили нас и принимали все меры к нашему освобождению.

В меньшевистский армейский комитет стали посылаться вооруженные делегации с требованием немедленного освобождения нас из тюрьмы. Это и решило нашу судьбу.

В середине сентября мы были на свободе.

Пошли мы с Ушаковым в родной полк. Куда же мы еще могли итти?

Дорогой мы карабкались на телеграфные столбы, деревья, поправляли провода, исправляли линию — так соскучились мы по работе.

Вечером ввалились мы в блиндаж роты связи. Разве думали мы, что нам когда-нибудь удастся вернуться в родной полк?

Точно именинники ходили мы по окопам, землянкам.

Большие перемены произошли в полку. Но капитан Мельников попрежнему командовал ротой связи. Наш приход очень огорчил его. Чтобы сбыть нас с рук, он выхлопотал нам у командира полка по месячному отпуску. Поблагодарив капитана за заботу о нас, мы остались в роте.

Первое, что мы сделали, — это связались с двинской военной организацией большевиков. А потом взялись за перевыборы полкового комитета. Ушаков был избран комиссаром полка, Ступин — председателем полковой организации большевиков и председателем особой комиссии по контролю за командным составом.

Затем послали специальную делегацию от полка в Петроград, в Центральный исполнительный комитет Советов с требованием брать власть.

С немцами решили заключить перемирие. Целыми днями заседал полковой комитет, вырабатывая условия перемирия. Текст условий поручили составить мне.

Сначала я думал, что комитетчики шутят. Как мирный договор? ... Да я ни разу за свою жизнь мимо министра иностранных дел не проходил, а тут на тебе...

— Вы что, белены объелись, ребята?.. Да из меня министр — как из ухвата ружье...

— Ничего, ничего. Министру мы бы и не поручили такого дела... Статьи строчил? Сочинишь и мирный договор...

— Но откуда я знаю, как его сочинять?.. Что вы на самом деле?..

— А мы тоже не знаем...

Тогда я стал грозить, что если меня не освободят от обязанностей полкового министра иностранных дел, я сбегу в Двинск. Но мои угрозы только вызвали смех. Обозленный, я сгреб шапку и ушел к себе в землянку. Думал я, думал, как составить мирный договор, но так ничего и не придумал, направился к выходу. У дверей стоял караул. Оказывается, хитрые комитетчики, видимо, не совсем уверенные в моем прилежании, постановили: держать меня в землянке до тех пор, пока не сочиню договора. Сраженный непреклонным решением товарищей, я взялся за перо.

„Мы, особый демократический полк, порвавший со старым режимом и отвергая всяческие аннексии и контрибуции, желаем вступить с вами, товарищи немцы, в мирные добрососедские отношения на нижеследующих условиях:

(Вокруг слов «товарищи немцы» разгорелись страстные дебаты: одни предлагали — «граждане германцы», мотивируя тем, что в Германии не было еще революции и немцы могут обидеться, если их назовешь товарищами; другие, наоборот, заявили: «Ничего, пускай привыкают. Не было революции, так будет». Остановились на «гражданах».)

1) С подписанием перемирия не вести на фронте никакой стрельбы; свободно — днем и ночью — передвигаться в окопах.

2) Производить регулярный обмен газетами.

3) Так как немецкие братья страдают по части недостатка продовольствия, мы предлагаем устроить меновой пункт, где бы солдаты могли обмениваться всякого рода продуктами и товарами.

4) Свято и нерушимо соблюдать данный договор. Срок договора — три месяца.

5) Под настоящим договором со стороны германской армии должен подписаться командир полка и приложить круглую полковую, с орлом, печать, а со стороны русской армии договор подписывают: командир полка, комиссар и полковой комитет. Печать кладется, за отсутствием новой, старая, круглая, с орлом, но без короны".

— Ну вот, а еще говорил — не министр, — довольно отзывались комитетчики. — Под таким договором и настоящему министру подписаться не стыдно...

После этого полковой комитет засел за сочинение особого письма к немецким солдатам. В письме мы хотели без всякой дипломатии сказать им все, что мы думаем.

Передать это письмо наши представители должны были так, чтобы об этом не пронюхали немецкие офицеры.

По-русски письмо звучало так:

„Дорогие товарищи немцы!

Какие у вас новости? Становится холодно. Неужели мы с вами будем и эту зиму торчать в окопах? Неужели вам еще не надоело воевать? Делайте и у себя революцию. До каких же пор вы будете терпеть своего сухорукого кайзера Вильгельма, который, хоть и король, но такой же подлец, как наш царь Николашка? Гоните его в три шеи, меньше слушайте ваших офицеров, — все они шкуры барабанные, которые во сне царя видят и ждут орденов.

Товарищи и братья! Вам, наверное, также хочется домой. Втыкайте штыки в землю. Не стреляйте, и мы тоже стрелять не будем.

Посылаем вам большевистские газеты. Читайте их.

Мы слышали, что у вас туго с хлебом. Так вот мы можем выручить вас. Хлеба у нас и сахару много. Становитесь на нашу сторону — тогда будете сыты. Итак, за дело!

Революционные солдаты-большевики,
ваши братья и товарищи».

ПАРЛАМЕНТЕРЫ

Немецкое командование вычеркнуло из соглашения пункт об обмене газетами и подписало договор.

Наши представители заупрямились. На этот пункт мы возлагали большие надежды. Вычеркивая пункт о газетах, немецкое командование обезоруживало нас. Как же мы будем вести среди немецких солдат агитацию?

Забрав договор, наши представители заявили, что они тоже подумают, что им делать с ним, и перенесут этот вопрос на заседание полкового комитета.

После горячих споров, продолжавшихся целую ночь, полковой комитет вынес решение попытаться еще раз уломать немецкое командование. Если оно и на этот раз будет упорствовать, — подписать договор. Чорт с ними! В крайнем случае газеты мы и без договора как-нибудь будем доставлять немецким солдатам.

В качестве делегатов для переговоров с немцами полковой комитет выделил Чабана, Ступина и меня.

В окопах мы подняли привязанный к винтовке белый флаг, давая немцам знать, что парламентеры 16-го особого полка хотят снова встретиться для переговоров.

В немецких окопах ни души. Напрасно мы махали флагом, — все безрезультатно. На первый взгляд окопы казались вымершими. Но это только так казалось. На самом деле у каждой бойницы лежал солдат-снайпер. Этот немецкий снайпер вездесущ. Шевельнется солдат не так, как следует, высунется из окопа, и вот он уже валится с раскроенным черепом. Солдаты не любили немецких снайперов, звали их мясниками и беспощадно расправлялись с ними, когда они попадали в плен.

Время шло, а немцы все еще не отвечали на наше приглашение встретиться.

— К начальству побежали... У начальства разрешения пошли спрашивать — недовольно заметил Чабан.

Наконец, белое полотнище, прикрепленное к черному древку, заполоскалось над немецкими окопами.

Вылезая из окопов, Ступин сострил:

— Знаете, почему они так долго не отвечали?

— Ну?

— Флаг делали. Ждали, когда на древке черная краска высохнет. Мы им оторванным от рубахи боком трясли, а они настоящим флагом...

Но нам сейчас было не до Ступинских каламбуров, на которые он был превеликий мастер. Как-никак, мы шли к немцам, к нашим врагам, не раз подводившим нас. И на этот раз, уходя из полка, мы, на всякий случай, привели роты в боевую готовность.

У немецких окопов нас встретил худой офицер с моноклем и хлыстом в руке. Взяв под козырек, он чинно поклонился.

Мы думали, что он сразу же поведет нас к командиру полка, но вместо этого двое немецких солдат подали нам по черному платку.

Я попросил Ступина, чтобы он спросил у офицера, что все это значит.

— Офицер говорит, что надо завязать глаза.

Мы с Чабаном запротестовали. Зачем завязывать глаза? Что это за унижение? Этак немцы нас могут чорт знает куда завести. С парламентерами так не обращаются. Мы уйдем обратно, и война будет продолжаться.

Ступин сказал офицеру, что уполномоченные полка возмущены таким отношением и требуют, чтобы их вели, как подобает, с открытыми глазами.

Офицер замотал головой, что-то забормотав.

— Что он лопочет?

— Он говорит, что господа парламентеры должны подчиниться...

Скрепя сердце, пришлось уступить. Нам завязали глаза, и мы, держась друг за друга, проклиная тот день и час, когда нам впервые пришла мысль о братании, побрели за немцами.

Отправляясь к немцам, мы, грешным делом, думали, что нам удастся поговорить по душам с солдатами, посмотреть, как они живут, как укреплены немецкие окопы. А сейчас нам придется довольствоваться лишь одной командирской землянкой.

Недовольный таким оборотом дела, я спросил следовавшего за мной Чабана, как он себя чувствует.

— Як карась на сковороди, — мрачно буркнул Чабан.

Сколько времени блуждали мы по немецким ходам сообщений, не знаю, но нам казалось, что немцы просто одурачили нас. Они ведут нас в тыл, и там, возможно, расстреляют как русских агитаторов.

Но вот мы, налетев друг на друга, остановились.

Мягкий звон шпор, голоса людей. Куда мы пришли? И почему остановились? Чьи-то холодные руки коснулись моего затылка. Повязка упала с моих глаз, я увидел тучного старого полковника с железным крестом на груди. Он сидел в окружении офицеров, внимательно рассматривал нас сквозь круглые стекляшки монокля. Удивило нас еще и то, что чисто выбритые щеки их украшали глубокие порезы фехтовальных шпаг.

Толстый офицер, по всей видимости командир полка, предложил нам снять шинели. В этой обстановке, в обществе вылощенных немецких офицеров, мы растерялись. Я пожалел, что мы не пригласили немцев к себе.

Мы молча сидели несколько минут, рассматривая друг друга, не зная, с чего начать щекотливый разговор.

Молчали и немцы. Они курили толстые сигары и в упор рассматривали нас.

Открылась дверь в землянку, вошли с подносами в руках два солдата. Выдвинув два запасных стола, они стали накрывать их. Не прошло и пяти минут, как на столах появились ветчина, колбасы, селедки, дичь, фрукты, белый хлеб и вино.

«Уж не для нас ли они так стараются? — мелькнуло в голове. — Но откуда у них ветчина, колбасы, селедка? Нам все время говорили, что в Германии голод, солдаты сидят на одном картофеле, а на поверку выходит...»

Накрыв стол, денщики удалились. Полковник фон-Корф медленно поднялся и жестом гостеприимного хозяина пригласил нас к столу. Мы переглянулись. Вот-те и раз! В наших инструкциях насчет обеда ничего не было сказано. Кроме того, мы не знали, как держать себя с господами офицерами, как обращаться с ножами, вилками, ложками, салфетками и тонкими бокалами. Возьмешь такой стакан в руку, — от него, пожалуй, ничего не останется. Нет, уж лучше отказаться. Я толкнул Ступина в бок, велел ему поблагодарить хозяев и сказать, что мы только что позавтракали.

— Господин полковник говорит, — перевел Ступин, — что он долго жил в России, знает русские обычаи и просит господ солдат разделить с ним трапезу.

Полковник явно издевался над нами. Поблагодарив его, мы сказали, что сыты, не хотим, а лучше посидим так. Но не сдавался и полковник. Посоветовавшись, мы

с неохотой направились к столу. Но, прежде чем сесть, нам предложили вымыть руки.

На кухне блиндажа мы остались одни с денщиком. Ступин спросил его, когда они сделают революцию.

— Ой, геноссе, геноссе... Ленин... большевик... — озираясь по сторонам, залопотал денщик.

Я решил, что настало время действовать, и без долгих слов вынул из кармана сахар, банку консервов, пачку газет и писем к немецким солдатам и сунул все это денщику. Тот вытаращил глаза.

Ступин по-немецки сказал:

— Бери, бери, это газеты, которые издает геноссе Ленин. Только не жги, а солдатам передай...

Денщик схватил подарки и газеты, проворно сунул их под матрац.

После этого мы сразу почувствовали себя гораздо увереннее.

Офицеры поднялись и чинно усадили нас за стол.

Угощая нас, полковник на ломаном русском языке сказал:

— О, этот русски обычай... Три раза приглашал к столу, и на четвертый садится... Кароший русский обычай, кароший...

Ступин объяснил полковнику цель нашего прихода и сообщил о нашем желании обмениваться газетами.

Полковник, внимательно выслушав Ступина, потряс головой и что-то долго и горячо доказывал ему на немецком языке. Я попросил Ступина перевести ответ.

— Полковник говорит, что не видит в этом никакой необходимости. Солдаты полка не знают русского языка, а брать газеты для того, чтобы употреблять их на хозяйские нужды, он считает обидным для русских газет. Он любит Россию, куда собирается приехать сразу же после окончания войны...

Этого еще нехватало! У нас от своих благородий не продохнуть. Уж мы как-нибудь одни проживем.

Стало ясно, что дальнейшие разговоры о газетах бесполезны. Пришлось подписать договор о перемирии без пункта об обмене газетами.

Простившись с нами, полковник пожелал нам счастливого пути и вышел из землянки. Сопровождавший нас

офицер, укрепив свой монокль, снова подал нам черные платки.

— Чего вы так долго?.. А мы было хотели вылазку делать... — спрашивали нас, когда мы очутились в своих окопах.

Но нам было не до разговоров. Мы спешили в полковой комитет, чтобы доложить о нашем путешествии по окопам врага.

БРАТАНИЕ

На следующий день немецкое командование выслало к нашим окопам представителей, которые должны были совместно с нами определить колышками место встречи сторон.

— Ну, началось! Немцы и для братания вводят дисциплину! — недовольно ворчали солдаты, когда узнали о цели прихода немецких представителей.

Пришлось уступить и на этот раз. Что ты будешь делать? В Германии еще существовал старый режим, и тон всему задавали офицеры.

Местом для встречи выбрали кладбище с ветхой часовней. Это было единственное местечко, не тронутое войной. Кругом все было изрыто снарядами, война не пощадила ничего, но почему-то обошла это тихое сельское кладбище.

Всю ночь в ротах шли собрания. Сначала от желающих брататься отбоя не было, а когда настал час, никто не хотел итти. Кто их знает, этих немцев! Вот, если бы у них не было офицеров, тогда другое дело, но они, наверное, и на братание под командой придут.

Для начала решили не злоупотреблять народом. По два-три человека с роты за глаза хватит. А потом решили, что и того много. Хватит для разведки и десятка. Поведет себя немец честно, по-братски, — еще народу можно подбросить, а так — к чему рисковать.

Утром братальщики надели чистые рубашки (мало ли что может быть? Не к теще в гости шли!) и полезли из окопов. Чабан, перелезая через бруствер, истово перекрестился.

— Ну, хлопцы, в случае чего — адрес у Ступина.

Отпишите родным: так и так, мол, сгиб парень в цвете лет. Сгиб не в честном бою, а во время братания.

— Тьфу, закаркал. Ножей лучше проси...

— И дешевить не надо. Больше фунта сахара за перочинный ножик им не давай. Слышишь?..

— А я, хлопцы, думаю, что и этого много. Немец за войну отощал. Он и за полфунта отдаст. Особенно хлебом, мясом его прижимайте.

— Ладно, ладно, нечего! — ответил Чабан. — Не продешевим. А ну, поднимай флаг!

По уговору с немецким командованием для братания отвели два часа в день — от часу до трех. В это время в окопах поднимаются белые флаги, один флаг километр от другого.

Выбравшись из окопов, Чабан с братальщиками, огибая разбросанные перед окопами мотки с проволокой, открыли рогатки и нестройной толпой пошли к кладбищу.

Солдаты разошлись по бойницам и следили за уходившими. Пока все обходилось благополучно, но немец все немец. А главное, хоть бы одна живая душа высунулась из немецких окопов. Тут мировое братство совершается, а они и усом не ведут.

В томительных ожиданиях прошло около часа. Братальщикам пора бы уже возвращаться, а они точно в воду канули. Беспокойство охватило солдат. Что, если немцы надули их? Затянули на кладбище, отобрали хлеб, сахар, а братальщиков в плен увели?

— Ну, дураки и будут, если это сделают. Так бы мы им каждый день хлеб с сахаром таскали, а после такой встречи пулями придется угощать.

Я слушал солдат и тоже начинал жалеть, что отпустил Чабана безоружным. Гранат нужно было бы в карман напихать, тогда вернее было бы дело.

— А главное — силы неравны, — ораторствовали в окопах. — Мы к ним всей душой, со всем чувством, а они с офицерским расчетом... Вот кабы без офицеров, мы бы с немцами на одних пальцах о мировой революции в два часа сговорились.

— Ушаков, как думаешь: придут делегаты, или на выручку целым полком придется итти? — спросил я

Ушакова, с беспокойством поглядывавшего в сторону кладбища.

— Думаю, что придут. Хоть и говорят, что немцы луну выдумали, но все же мы перехитрим господ офицеров.

Прошло еще полчаса, а Чабан все не возвращался.

— Товарищ Ушаков, полк надо поднимать. Утянут они ребят.

— Идут, идут! — весело закричали на заставе.

Я поднес к глазам бинокль. Из леса выходил Чабан с товарищами. Они шли не спеша и о чем-то весело беседовали.

Когда братальщики перевалили через бруствер, солдаты набросились на них.

— Где вы, чортовы головы, так долго пропадали?.. Мы думали, их давно в живых нет, а они здрасте, пожалуйста.

Я спросил у Чабана:

— Ну, как дела?

Чабан устало отмахнулся.

— Буза. Забит еще старым режимом немецкий солдат. Под командой на братание пришли. Я было запротестовал, какое же это, говорю, братание, если вы солдата одного боитесь оставить. А офицеры мне на это: «Мы, говорит, немцы, мы без порядка не можем». А жулики какие! Даром все норовят забрать. За перочинный ножик две буханки требуют... Чистые грабители. А о политике, о Вильгельме и слышать не хотят. Знай, ругают Англию. Мы с солдатами барышничаем, а золотопогонные филины на могилах сидят. А в общем буза. А главное — языка их не знаем. А на пальцах много не наораторствуешь...

В тот же день полковой комитет разослал по ротам телефонограмму с просьбой сообщить, кто из солдат говорит и пишет по-немецки. Мы рассчитывали, что из пяти тысяч бойцов знающих немецкий язык наберется десятка два-три, но мы просчитались, знали только семь человек, да и то не шибко.

Мы сразу же засадили их за переписку воззвания к немецким солдатам. Зная, что немецкие газеты много скрывают от своих солдат, мы стали выпускать неболь-

шие бюллетени, в которых помещали выдержки из иностранных газет.

Но передавать их во время братания было нельзя. Немцы приходили на кладбище целыми ротами под командой офицеров, а при этой публике не разойдешься. А поговорить нам по душам очень хотелось. Нужен был какой-то выход из положения. И он был найден.

Кому-то пришла в голову мысль передавать наши газеты и письма в хлебе. Сказано — сделано. Мы закладывали письма и газеты в банки из-под консервов, отправляли на хлебопекарню, где их и запекали. Начиненные буханки хлеба по внешнему виду ничем не отличались от обычных. Мы обменивали их на перочинные ножики, безопасные бритвы, безделушки из пластмассы и ремни.

Под самым носом господ офицеров вручали мы немецким солдатам большевистскую литературу, бюллетени и личные письма.

С газетами мы переправляли и небольшие записочки своим подшефным, просили их написать нам.

За время братания мы успели перезнакомиться друг с другом, знали, кто чем занимался до войны, откуда кто родом и как кого зовут.

Не оставались в долгу и немецкие солдаты. Первое время мы боялись, как бы они не донесли о проделке начальству, но все обошлось благополучно.

Записки от них мы находили в бритвенных ящиках, в выемках перочинных ножей, в мундштуках папирос и в трубках.

Они благодарили нас за газеты, информацию, жаловались на офицеров и говорили, что им тоже надоела война, они в любое время готовы сбросить Вильгельма II, но только не знают, как это сделать.

Словом, мы развели такую переписку, что семеро наших, знавших немецкий язык, не успевали переводить и переписывать всю эту огромную корреспонденцию. Пришлось откомандировать переводчиков из рот в распоряжение полкового комитета и освободить от всех нарядов.

А ничего не подозревавшие немецкие офицеры продолжали как ни в чем не бывало водить свои взводы для братания, чтобы улучшить паек своих солдат, подкормить их.

Не в убытке от братания были и мы. Правда, иногда кое-кто из переодетых немецких офицеров интересовался нашими позициями, шпионничал, но о переодетых офицерах немецкие солдаты сами нас предупреждали.

В общем все шло хорошо. Не одна тысяча газет проплыла мимо бдительных господ офицеров в тыл Германии.

Однажды на кладбище на братание пришли раненые немецкие солдаты из полкового лазарета.

Мы с радостью вручили истощенным немцам начиненные литературой буханки хлеба. Раненые, обрадовавшись свежеиспеченному душистому ржаному хлебу, который они давно не ели, тут же на кладбище стали разламывать буханки. Напрасно наши солдаты знаками давали им знать, чтобы они потерпели.

Подошел толкавшийся невдалеке офицер. Он отобрал начиненную газетами и письмами банку. И сразу же приказал солдатам сдать весь хлеб. А затем стал разламывать одну буханку за другой и всюду находил одно и то же. Мы стояли ни живые, ни мертвые. Леший побрал бы этих раненых! Мы готовы были выть от злости и обиды. Ведь надо ж так случиться!

Офицер выстроил солдат и резкой командой увел раненых с кладбища.

Настала очередь утекать и нам. Обозленные немцы могли открыть стрельбу. Не чувствуя под собой ног, летели мы домой.

Добравшись до проволочных заграждений, мы заметили, что над немецкими окопами уже не плескался белый флаг.

Дробная очередь пулемета рассыпалась по лугу. Мы кувыркнулись на землю и поползли к окопам. Перемирие кончилось.

Проклятые лазаретники!

НАЧАЛО ЖИЗНИ

В середине октября меня срочно вызвали в Двинск. В тот же день вечером я был в армейском комитете Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков).

В холодном, неуютном помещении комитета я увидел представителей других большевистски настроенных частей. Немного погодя пришел секретарь армейской организации большевиков Сабуров, вернувшийся из Петрограда.

— К завтрашнему дню, — приказал он мне, — к двадцати часам, на восемнадцатый разъезд ты должен явиться с ротой надежных солдат, с четырьмя легкими пулеметами, взводом конной разведки и двумя трехдюймовыми орудиями. Запас продовольствия на семь дней.

— Поедем, что ли, куда, товарищ Сабуров?

— А там узнаете. Предупреждаю, все это нужно проделать без шума и митингов.

Такие же задания получили и остальные представители полков. Силы набирались большие, что-то около бригады, не считая кавалерии и артиллерии. Против кого намечались эти силы, приходилось только догадываться. Одно из двух: или бригаду отправят в Петроград на помощь питерским рабочим, или ее бросят на разоружение батальонов смерти. В общем, так и так хорошо.

На другой день (это было 21 октября) три роты надежных солдат 16-го полка, при двух взводах конной разведки, восьми пулеметах и целой батарее, прибыли к разъезду. Командовал отрядом Ушаков. Сводный отряд двигался так быстро, что прибыл на разъезд к восемнадцати часам.

Поздоровавшись с отрядом, Сабуров отозвал меня в сторону и, укоризненно качая головой, сказал:

— Ты бы целый полк привел. Кто у тебя на фронте остался? Ты не слишком доверяй немцам. Там еще революции не было...

А дело произошло так: от каждой роты должно было явиться до десяти человек, а на сборный пункт приходило по тридцати и сорока. Я ахнул, когда увидел такую уйму людей. Но никто не хотел уходить обратно.

Когда солдаты узнали, что формируется отряд в помощь питерским рабочим для борьбы с Временным правительством, от желающих не было отбоя.

В эти горячие дни армия представляла собой вспененное море.

Армия раскололась на два непримиримых лагеря.

Офицерство, меньшевистско-эсеровские комитеты, батальоны смерти, женские ударные роты, казаки, юнкера, санитарные части, всевозможные интендантства, обозники — стояли за Керенского. Пехота, кавалерия, артиллерия, связь, команды пулеметная, минометная, химическая, технические строевые части — словом, все те, на ком держался фронт, кто находился в окопах, на передовых позициях, поддерживали большевиков.

Тыловые части стояли за войну до победного конца, за войну до последнего патрона. Окопавшись в тылу, они, тыловики, готовы были воевать хоть десятки лет.

Строевые части, окопники, наоборот, требовали скорейшего прекращения и без того слишком затянувшейся бойни; они требовали передачи власти в руки Советов, но не меньшевистских и эсеровских, а большевистских.

Все окопники беззаветно верили большевикам, стояли за немедленный мир, за советскую власть, за Ленина.

В армейском комитете попрежнему сидели эсеры, меньшевики, во главе с кадетом Виленкиным; армией командовал генерал Болдырев. Но по существу и армейский комитет, и командование армией давно были без армии.

Хозяевами армии были большевики. Все, что исходило от Двинского городского комитета большевиков, выполнялось как боевой приказ.

Председатель армейского комитета кадет Виленкин чуть ли не каждый день посылал Керенскому телеграммы, в которых заверял главковерха, что 5-я армия, как и в грозные июльские дни (расправу над петроградскими рабочими учинили батальоны смерти 5-й армии), верна Временному правительству. Мы читали телеграммы и зло издевались над пустыми заверениями бесстыжего болтуна.

На собраниях окопники выносили одну резолюцию за другой, требуя, чтобы большевики брали власть.

В Питер ехали делегации. Пора брать власть, пора передавать власть в руки Советов.

И долгожданный день, наконец, наступил.

25 октября 1917 года я встал раньше обыкновенного. Спать не давали блохи и холод.

Через выбитые стекла блиндажа врывался пронзительный осенний ветер.

Скоро встал Ахмет, ротный повар. Накинув шинель, он опахнул веником заплеванный пол и, разостлав свой коврик, опустился с молитвою на колени.

Но едва он развернул руками, как кто-то толкнул его ногой в спину. Обычно, как только Ахмет принимался за молитву, солдаты всегда стаскивали его с коврика.

На этот раз Ахмет, не желая руганью осквернять утреннюю молитву, забрал коврик и вышел из блиндажа. Но скоро он вернулся и закричал:

— Ой, снег! Ой, зима выпал! Белый каша на дворе. Ой, ребята, зима настал!

— Ты что, не выспался, Ахмет?

Я вышел из блиндажа. И то, чего все мы так боялись, пришло так неожиданно, так непрошенно, что я стоял, точно оглушенный, не в состоянии вымолвить слово.

Снег шел всю ночь, к утру на фронте не было ни одного клочка незаснеженной земли.

Грязнобурые окопы, блиндажи, ходы сообщения вдруг стали белоснежными и легкими.

Все застыло в снеговой холодной тишине.

Снова пришла окопная зима.

Зашел в полковой комитет за газетами. Газет не было. Неужели вьюга замела железнодорожные пути? Звоню в штаб дивизии. Поезда пришли, но газет не было.

Может быть на радиостанции имеются какие-нибудь новости? Но за ночь полковая радиостанция не получила ни одной депеши.

Звоню в соседние полки. Там то же самое. И тут стало ясно, что это не случайно. Радиостанции молчат не зря. Командование армии, фронта умышленно отрезало нас от страны, от Петрограда, от народа.

Зачем?

Ответ на свой вопрос я получил только поздно вечером, когда вдруг сразу заговорили все радиостанции, телеграфные линии, телефоны.

Взвод только что поужинал, солдаты сидели на нарах, занимались каждый своим делом: кто пришивал пу-

говицы, кто чинил сапоги, кто над коптилкой перечитывал старые письма.

— Глебов кто тут будет? Телеграмма из Двинска.

Я спокойно принял телеграмму. Буквы запрыгали в глазах:

„ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства, — это дело обеспечено.

Да здравствуют революционные рабочие и крестьяне!

Военно-революционный комитет.

Петроград, 25 октября 1917 года".

Внизу химическим карандашом, торопливым почерком, приписка:

„Глебов. Приведи в боевую готовность полк и жди распоряжений. Немедленно арестуй контрреволюционно настроенных офицеров. В оба гляди за фронтом. За фронт ты мне отвечаешь головой. Радиостанция занята смертниками. Атакуем.

Сабуров".

— Что за телеграмма? — сразу спросило несколько голосов.

Вопрос вывел меня из оцепенения.

Я громко и радостно крикнул:

— Революция в Петрограде... Кричите «ура».

Человек десять разом соскочили с нар и обступили меня:

— Какая революция? Откуда ты узнал?

— Наша... Большевистская... Телеграмма...

— Господи Иисусе...

— Вот он, снег-от...

— Да ты не говори, а прочти... Что там написано? Может, вранье это... О, господи! Революция...

Под утро весть о революции облетела каждый блиндаж, землянку, окоп.

На ходу натягивая шинели, гимнастерки, полушубки, бежали солдаты к полковому комитету.

Я стоял вместе с членами полкового комитета большевиков на плоской крыше блиндажа.

У дверей полкового комитета — двое часовых. Блиндаж набит арестованными офицерами, меньшевиками, кадетами и эсерами.

Узнав о революции, они покинули позиции, решили пробиться к Двинску, чтобы соединиться с батальонами смерти, оставшимися верными Временному правительству.

Конная разведка настигла их около Двины и после горячей схватки разоружила их, доставила на позиции. Судить их полк будет после митинга.

Налево от блиндажа, у выступа горы, лежали, накрытые брезентом, трупы офицеров, застрелившихся при известии о революции в Петрограде.

Ежась от холода, мы стояли на блиндаже.

Крыша блиндажа тесна. Люди тянулись к телеграмме. Возьмут ее, повертят в руках, и снова на свое место. Некоторые, прежде чем взять телеграмму, снимали шапки, крестились.

А Ступин, приподнимаясь на носках, кричал, размахивая телеграммой:

— Вот где, товарищи, наша революция! Наш мир, наша земля!

Я посмотрел на овраг. Всюду, куда ни взглянешь, люди и винтовки. Солдаты заняли дно, покатые бока оврага. Махорочный дым туманом тянулся кверху.

Но вот Ступин поднял руку и стал читать телеграмму по складам, подчеркивая каждое слово.

Полк долго не подавал признаков жизни. Земля, мир и воля — все это оказалось не сном, а ослепительной, чудесной действительностью.

Тысячи штыков, распарывая махорочный туман, поднимались дрожа.

А потом, словно по команде, солдаты сбросили папахи, фуражки и кинулись целовать друг друга.

На гору влез возбужденный, распаленный солдат. Он ничем не отличался от остальных, забивших овраг,

в меру обтрепан, обожженная папаха сбилась, обстуканная винтовка — на спине. Влез, снял шапку и радостно, будто совершил какой-то геройский подвиг, дернулся вверх.

— Братцы, я сейчас ротного запорол. Ура! Действовать надо! — и упал вниз, ловя свалившуюся с головы шапку.

Ступин, размахивая посинелыми руками, охрипшим голосом кричал:

— Товарищи, от имени большевиков, — а дальше не знал, что говорить. — Революция в Петрограде! Меньшевики, эсеры арестованы...

— Командира полка надо арестовать.

Ступин хотел что-то сказать, но, заметив в овраге какое-то движение, остановился. К блиндажу шел командир полка в полном боевом снаряжении, с шашкой кавказского серебра и солдатским георгиевским крестом на груди.

Тысячи глаз впились в полковника. Овраг расступился.

Подъем крут. Командир полка, бледный от натуги, все лез и лез.

До блиндажа осталось шагов пятьдесят. Ступин, не выдержав напряжения, сорвался с блиндажа и помчался навстречу командиру полка:

— Полковник, вы арестованы.

Командир полка с силой оттолкнул Ступина и крикнул солдатам:

— Кого слушаете? Воров! Немецких шпионов! Я — командир полка... Я... я... я не позволю...

И захлебнулся. Какой-то солдат огрел полковника прикладом винтовки по голове.

Он упал. Затем поднялся, выхватил маузер. Два выстрела взорвали тишину оврага. Полковник как-то нескладно хлопнулся назад и покатился с горы...

ЦВЕТОЧНЫЙ КАПИТАН

Военно-революционный комитет заседал в законченном блиндаже за продолговатым, как пивная стойка, столом.

В дверях стояли обвешанные гранатами часовые. В узком проходе щерился, задрав тупую, точно у бульдо-

та морду, пулемет «Максим». Вокруг блиндажа толпились нетерпеливые представители рот и команд.

Все бойцы могли присутствовать на заседаниях комитета. Всем хотелось знать, что делается на свете и какие решения принимаются комитетом. И вот, чтобы быть в курсе всех дел, от находившихся в окопах рот и команд два раза в день наведывались представители.

С немцами мы братались, обменивали хлеб и сахар на перочинные ножики, зубные щетки, безопасные бритвы, металлические портсигары, карманные электрические фонарики, но держались настороже.

Дружба дружбой, но и о своей территории нельзя было забывать.

Мы лежали с винтовками в руках у бойниц и заградительных щитов, готовые в любую минуту встретить врага.

Каждое решение полкового комитета доводилось до сведения бойцов и для всех являлось законом. Дни проходили в беспрерывных заседаниях, собраниях и митингах. Комитет заседал целые сутки напролет. В блиндаже мы спали (по очереди), ели и снова заседали. Вопросы, один другого важнее, требовали немедленного и коллективного разрешения. Слишком сложна и ответственна была обстановка.

Немало хлопот доставили нам господа офицеры. Они категорически отказались признать новую власть и слышать не хотели о какой-то второй революции. Большевиков они попрежнему называли смутьянами и врагами родины, увлекшими демагогическими лозунгами русский народ, чтобы погубить его.

Встал вопрос, что делать с господами офицерами, как заставить их признать новую власть и подчиниться всем распоряжениям Военно-революционного комитета полка.

Несколько часов спорили члены комитета, но так ни к чему определенному и не пришли. Трудно было примирить непримиримое. И кто знает, сколько времени еще продолжалась бы дискуссия, если бы не одно событие, сразу показавшее нам, что с господами офицерами нужно держать ухо востро.

Три офицера 4-го батальона — поручик Штакенберг, штабс-капитан барон Клюге фон Клюгенау и подполков-

ник Ашаффенбург — все прибалтийские помещики — захватили секретные документы, карты, чертежи укрепленных линий, подбили четырех унтер-офицеров и перешли к немцам.

Это было уже слишком.

Измена офицеров, двое из которых командовали ротами, а один — батальоном, так взбудоражила полк, что мы опасались эксцессов, самосудов. Полковой комитет роты буквально завалили резолюциями, требуя ареста всех подозрительных офицеров и предания их народному суду.

В двух ротах солдаты арестовали четырех офицеров, собиравшихся бежать с фронта с казенными деньгами (должны были выдавать жалованье солдатам), приговорили их к смерти, вывели на бруствер окопов и, на глазах у немцев, расстреляли.

В ту же ночь Военно-революционный комитет вынес постановление об аресте наиболее реакционных офицеров, о снятии погон и царских отличий и приведении к присяге на верность трудовому народу всего командного состава полка.

А если откажутся?..

— Как это так — откажутся? Царю присягали, Керенскому присягали, а народу не хотят? Кто откажется, того на цугундер. Значит, враги они наши... Откажутся...

Присягать Военно-революционному комитету офицеры должны были в присутствии представителей рот, в торжественной обстановке. Кроме присяги и целования красного знамени, офицеры должны были дать еще подписку, что они признают советскую власть и будут не за страх, а за совесть выполнять все распоряжения Военно-революционного комитета. После присяги офицерам будет возвращено оружие, и они снова смогут занять свои должности.

А для того, чтобы офицеры не вздумали удрать из полка в тыл, по ротам был дан приказ: следить за своими офицерами.

Через полчаса после решения представители рот разошлись по частям. Одни из них пошли, чтобы привести для присяги в полковой комитет офицеров, а другие, чтобы некоторых из них арестовать.

На место убитого полковника Караганова был назначен командиром полка подполковник Салтыков. Германофил и монархист, он открыто высказывал свои симпатии немцам.

Такой командир полка, чего доброго, мог открыть фронт или сбежать.

Полковой комитет вынес решение об отдаче его под суд.

Арест был поручен мне и Чабану. Уходя, Чабан спросил Ступина:

— От чьего имени действовать?

— Как от чьего? От имени народной власти.

Сняв часового, мы вошли в землянку командира полка. Подполковник Салтыков сидел в глубоком кресле, опустив голову на стол. В землянке полумрак. Чабан попытался разбудить спящего командира.

— Господин подполковник.

Ответа не последовало.

— Господин подполковник, именем народа, — уже громче проговорил Чабан.

Командир полка не отозвался. На столе лежали наган, карта, походная сумка, планшет и исписанный лист бумаги.

— Ребята, да ведь он застрелился!

Мы забрали телеграммы, оружие, карты, разбросанные приказы.

В полковом комитете нас встретила новая неожиданность. Командира роты связи капитана Мельникова должен был привести для присяги кашевар Ахмет, но он вернулся ни с чем. Капитан Мельников заперся в своей землянке и никого не впускал.

— Глебов, Чабан, придется вам сходить за своим цветочным капитаном. Может быть, он вас послушает.

Окружив землянку, мы стукнули в дверь. Тихо. Тогда мы сильнее застучали в дверь прикладами. Капитан Мельников не отзывался.

— А может быть его, ребята, давно и нет здесь?

— Утек, утек, шайтан, — бесновался Ахмет и дубасил каблуками тяжелых сапог в дверь землянки.

Но скрыться капитан не мог. Дверь была закрыта изнутри.

Нужно было вышибать дверь. Мы достали бревно, и после трех сильных ударов вход в землянку был открыт.

Первым в землянку вбежал Ахмет. Мы стояли с наганами у входа.

— Ай, сука, ай, поганый человек, ай, что наделал! — крикнул Ахмет из землянки.

— Что случилось?

— Большой несчастье случился... Ай, сука, поганый... Горшка портил... цветы портил... добро разорял, все портил...

Чабан зажег лампу и осветил просторную землянку.

Капитан Мельников любил цветы. От своей страсти он не мог отказаться даже на позиции. За долгие месяцы стоянки полка он развел в своей просторной и светлой землянке настоящую оранжерею.

И вот горшки, ящики с цветами свалены на пол в одну кучу. Светлорозовые астры, желтый могучий бархатец, веселый и душистый мак, бледноголубые благородные левкои, полевые васильки, глазастая ромашка и пахучая герань затоптаны неистовыми офицерскими каблуками.

Ахмет опустился на колени и, осторожно вытаскивая цветы из груды глиняных черепков, чуть не плача, причитал:

— Большой сука ты, капитан. Причем тут цвет, капитан? Ай-ай, нехорошо! Ай, нехорошо, капитан...

Чабан сердито толкнул Ахмета...

— Брось выть, Ахмет! Хватит! Что ты... Мы свои цветы разведем, лучше капитановских...

За завешанной портьерой мы обнаружили небольшую дверь. У командира нашей роты землянка была из двух комнат: в одной комнате жил командир роты, в другой, темной, находился денщик. О существовании третьей комнаты мы и не подозревали.

Чабан навалился на дверь. Раздался выстрел. Мы с руганью отскочили и прижались к стене.

— Капитан Мельников, именем народа, сдавайтесь.

Три выстрела были ответом на наши слова.

— Что делать с цветочником?

Гуськом мы выползли из землянки. В дверях Чабан вынул гранату и швырнул ее в землянку...

Тоскливо было у нас на душе, когда все радиостанции, точно сговорясь, молчали, и полк за весь день не получил ни одной депеши. Но в ночь с 25 на 26 октября все радиостанции вдруг заговорили. Никогда, наверное, по эфиру, по телеграфным проводам не передавалось столько воззваний, призывов, приказов, декретов, просьб и распоряжений, как в Октябрьские дни.

И кто только не посылал в эти дни на фронт телеграмм! Их посылали Керенский, Временное правительство, отдельные путешествовавшие министры, посылали фронт и ставка верховного главнокомандующего. Нас засыпали телеграммами многочисленные буржуазные партии, эсеры, меньшевики, меньшевики-бундовцы, плехановцы, общественные организации и даже частные лица. Телеграмм было так много, что мы не успевали их прочитывать.

Все, кто посылал на фронт телеграммы, грозили, молили, приказывали, разъясняли и требовали, чтобы армия сохраняла спокойствие и подчинялась только Временному правительству и Керенскому. И все они уверяли, что бунт в Петрограде, не встретив поддержки в народе, подавлен, Ленин и Сталин бежали за границу, а верные правительству войска наводят порядок в столице.

Проходило немного времени, и то же радио приносило другие вести — радостные и обнадеживающие. То были телеграммы Военно-революционного комитета, Совета народных комиссаров. Из телеграмм мы узнали, что Временное правительство давно арестовано, Керенский бежал и объявлен вне закона. Петроград — в руках верных советскому правительству войск.

А затем шли новые телеграммы, которые утверждали обратное.

Без устали звонил телефон, передавая одну телефонограмму за другой. Меньшевистский армейский комитет не жалел ординарцев, рассылая грозные приказы погибающего Временного правительства, сопровождая их решительными приписками: «к немедленному и срочному исполнению», «к срочному проведению в жизнь».

Особенно донимал Керенский. Он никогда не отли-

чался скупостью в словах, в дни же Октября он буквально извел нас своими грозными посланиями, отправляя их то за подписью верховного главнокомандующего, то как председатель совета министров, то просто за подписью «А. Ф. Керенский».

Как председатель Совета министров, как верховный главнокомандующий он приказывал армии сохранять полное спокойствие (а мы и не думали волноваться), слушаться только своего законного (на этот счет мы придерживались иной точки зрения) правительства и меньше слушаться «узурпаторов»-большевиков.

— Прорвалось, что ли, чего у него, лешего? Хоть бы постыдился! А то себя мучает и нам покою не дает.

— И прорвется. То министр, бог буржуйский, во дворце жил, на царской кровати спал, Александром Федоровичем звался, портреты всюду, а тут, вдруг, — слезай с тележки... Тут не только телеграммами, а поносом изойти можно!

Первое время мы злились. Затем так привыкли к телеграммам Керенского, что, когда их долго не было, члены комитета нетерпеливо поглядывали на тяжелую дверь землянки, ожидая вестового с радиостанции.

— Что такое? Час прошел, а от главковерха депеш нет. Балбека, — звали члена комитета, вестового, — на станцию сыпь, узнай, есть ли там чего... Если нет — напомни: так и так, мол, Александр Федорович, печка у особцев остыла, за дровами итти лень, а от тебя вестей нет...

Балбека шел на станцию и приносил сразу ворох телеграмм. Потрясая телеграммами, он довольно кричал:

— Два письма от Александра Федоровича! А вы горевали. Не позабыл, оказывается, он нас. Интересно — о чем бы он мог сейчас писать... Ведь, кажется, обо всем уже переговорили...

— Умный человек всю жизнь будет говорить — и все равно всего не перескажет. Бирюк, берись за выполнение своих обязанностей, — весело кричали представители рот секретарю комитета, ярославцу, разбитному малому.

До армии Бирюков малевал вместе с отцом иконы и, может быть, поэтому знал очень много «божественных» анекдотов, которые он мог рассказывать без конца.

Бирюков, рослый, краснощекий, похожий на Ваньку-

ключника, злого разлучника, боец, одергивал гимнастерку, которую он носил как русскую рубашку, подхватив ее пояском (подарок невесты). До революции он не носил его — запрещали, а надел сразу же после известия о революции в Петрограде и уже не расставался с ним. Он брал телеграмму, подходил вплотную к лампе, которая не горела и не потухала, а только чадила, и громко, по слогам, напирая на «о», читал:

— «Всем, всем, всем!»

Но его сразу же перебивали.

— Бирюк, погоди, кому это — всем, всем?

Бирюков недоуменно смотрел на членов комитета и, видя, что они не шутят, отвечал:

— Как кому? Рабочим, солдатам, крестьянам — вот три раза и упоминается: всем, всем, всем.

— А-а-а... ну, тогда читай.

— «Я, министр, председатель Временного правительства и верховный главнокомандующий всеми вооруженными силами Российской республики, прибыл сегодня во главе войск, преданных родине, в Гатчино...»

— Знаем, знаем, слышали! Хватит! Ты, Бирюк, лучше скажи, чего он хочет от нас.

— Приказывает спокойствие соблюдать, Временное правительство слушаться, а большевиков в кутузку сажать. За ослушание — казнь. Вот что он пишет.

— Ка-а-знь! Ах, щелкопер он этакий, — казнь! А чем казнить-то он будет?.. Сделай милость, Александр Федорович, казни, мы и шейки подставим... В печку его, в печку!..

— Бирюк, дай-ка мне эту бумажку, я ее на солдатскую хозяйскую надобность употреблю...

Бирюков вел небольшой дневничок и имел привычку все собирать в память о войне. Мы знали, что он кое-какие документы, телеграммы откладывает в свой сундучок. Думал он прибрать к рукам и эту телеграмму Керенского.

— Можно отдать? — спрашивает он членов комитета. — Исторический документ!

— Что из того? А ты думаешь, историческим документом нельзя? Давай, давай, бумага мягкая, хватит с него. А тебе в архив он другую телеграмму пришлет, покороче.

Вскоре нам надоело возиться с посланиями Керенского. И, бывало, только Бирюков возьмет телеграмму, как десятки голосов сразу спрашивают:

— Кто?

— Известно — кто, — обидчиво огрызался Бирюков. Телеграммы сдал Керенский, а зло срывали на нем. Ну, разве не обидно?

— В печку! Подельнее телеграммы не мог достать? Что ты на самом деле?

— А чем же он виноват, товарищи?

— Как чем? Секретарь!

— А может, товарищи, послушать, а? Как-никак — главковерх! историческая личность!.. Попы с амвона прославляли...

— За кошелек попы и тебе многая лета споют.

— В печку, в печку! — ревели представители рот. — Историческая личность... Видали мы их...

И грозное послание Керенского шло в огонь.

— Следующий!

— «Всем, всем, всем!»

— Кто?

— Кишкин какой-то.

— И вовсе не какой-то, а господин министр Кишкин, кадет и член Временного правительства...

— Вот ему, как министру и как члену правительства и как кадету, и нужно было выдавить кишки, чтобы головы нам не морочил.

В три часа ночи пришла телеграмма. Она привела всех нас в уныние.

«ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

Город Гатчина взят войсками, верными правительству, и занят без кровопролития. Роты кронштадтцев, семеновцев, измайловцев и моряки сдали беспрекословно оружие и присоединились к войскам правительства.

Министр-председатель Керенский».

В блиндаже сразу стало тихо. Керенский взял Гатчину? Что бы все это означало? Неужели восстание подавлено? Неужели «ударники», юнкера и батальоны смерти, как и в июле, разбили питерских рабочих?

Но вот открылась дверь. Вестовой протискался в блиндаж с новой пачкой телеграмм.

«ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

Бывшие министры Коновалов, Кишкин, Терещенко, Малянтович, Никитин и другие арестованы. Керенский бежал. Предписывается всем армейским, корпусным, дивизионным, полковым комитетам принять меры к немедленному аресту Керенского и доставлению его в Петроград.

Военно-революционный комитет».

Вздох облегчения прокатился по блиндажу.

Представители рот, члены полкового комитета начали вслух мечтать — что бы они сделали с незадачливым главковерхом, если бы он, паче чаяния, забрел на территорию особой дивизии.

— Я бы его, ребята, кашеваром сделал.

— Ты что, хочешь всю роту голодной оставить?

— Не дело все вы говорите! Знаете, что я бы с ним сделал?

— Ну? — оживлялись комитетчики.

— Вот-те «ну»... Посадил бы я его в котел, холодной воды налил, а потом стал бы по полешку подкладывать дрова. Подкладывал бы и приговаривал: «Это тебе, Александр Федорович, за Стоход, а это за июльское наступление, а это за Ригу, за Дарданеллы, а это за мужика: обещал ты нас землицей попотчевать, да надул. А это полешко за то, что мир долго не заключал, буржуям продался, нас за нос водил!»

Около недели нам не давали еще покоя телеграммы Временного правительства.

Скоро до нас дошли слухи, что в Двинске окопались и не хотят признавать советской власти батальоны смерти.

В тот же день две роты 2-го батальона, без всяких приглашений, выступили в Двинск. Надо же помочь новой власти их разоружить.

Дал о себе знать и Ушаков. Его отряд был брошен под Гатчину, в тыл Керенскому, засевшему там с казаками генерала Краснова.

Когда стало известно, что Краснов с казаками подби-

рается к Петрограду, солдат нельзя было уже сдержать. В комитет приходили делегации от рот, команд, батарей и требовали, чтобы их отправили в Питер.

— Нельзя, товарищи, приказа нет. Мы не анархисты. Нам фронт приказано охранять.

— А почему вы знаете, что приказа нет? Может, он есть, да офицеры спрятали его!

Но комитет был неумолим.

Тогда начался самовольный уход небольших вооруженных групп в Двинск, чтобы оттуда ехать в Петроград. Уговоры, просьбы, угрозы — ничто не помогало!

После бегства офицеров с фронта комитет выставил на всех дорогах посты, которые и перехватывали золотопогонников. Сейчас караулы получили новое задание: задерживать добровольцев.

Так продолжалось до тех пор, пока полк не получил из Петрограда телеграмму с требованием помощи.

«ВСЕМ ПОЛКОВЫМ КОМИТЕТАМ И КОМИССАРАМ ПОЛКОВ

Завоевания революции в опасности. На красный Петроград наступают генерал Краснов с казаками и Керенский с юнкерами. Необходима помощь фронта».

Бойцы уже толпились около комитета, требуя, чтобы их отправили на помощь питерским рабочим. А из батальонов все продолжали поступать новые телефонограммы с требованием включить их в экспедиционный отряд.

Встал вопрос — кого посылать? И простой на первый взгляд вопрос принял довольно-таки запутанный характер. Желающих ехать было так много, что мы буквально не знали, что делать.

После горячих дебатов решили бросить жребий. Отстрогали четыре палочки — по количеству батальонов — три равных и одну подлиннее. Представители батальонов закрывали глаза и, приговаривая: «помоги, боже, длинный жеребок вытянуть», — тянули номер.

Счастливцем оказался 2-й батальон. Это был боевой, заслуженный батальон, в котором больше всего было коммунистов. Две роты этого батальона только что вернулись из Двинска, где разоружали батальон смерти и юнкеров.

В девять часов вечера 2-й батальон выступил по направлению к станции Калкуны.

Провожая батальон, бойцы кричали:

— Питерцам кланяйтесь! Скажите: если надо — мы все пойдем...

Сотни бойцов, заняв возвышенности, земляные горбыли, крыши блиндажей, с затуманенными глазами смотрели на отъезжающих. С какой радостью каждый из нас присоединился бы к уходящим взводам, занял бы место в строю!

На другой день после отъезда 2-го батальона дивизия получила от Военно-революционного комитета новую телеграмму с требованием о посылке третьего отряда в помощь питерским рабочим.

В тот же день 15-й стрелковый полк нашей бригады в полном боевом составе пешим порядком выступил форсированным маршем в Двинск.

Каждый день гремели радостные марши, каждый день мы кого-нибудь да провожали.

Уехали в полном составе 15-й и 11-й особые полки, унесся конный полк, незадолго до революции прикомандированный к дивизии, умчались пулеметчики, снялось с позиций несколько легких батарей. Из пяти тысяч бойцов в 16-м особом полку осталось на позиции меньше половины. Три тысячи солдат ушли — под Петроград, другие — в Могилев, третьи — в Москву, четвертые — разоружали юнкеров и ударников в Пскове, в Двинске и Луге.

Полки дивизии уменьшались в своем составе. Но никто не жалел об этом. В Петрограде, в Москве решались судьбы революции.

Мих. Слонимский

ПОРУЧИК АРХАНГЕЛЬСКИЙ

I

По туго натянутому голубому небу медленно катился ослепительный шар. Горячий воздух тяжело налег на море, на песок, на сосны. Еще секунда — и все вспыхнет ярким пламенем, треща, как сухие ветки в жарко натопленной печи.

Медленные пары двигались по пляжу — вперед, назад и опять вперед. Голубое, розовое, фиолетовое, оранжевое, желтое, зеленое мелькало перед глазами и расплывалось шариками и полосками в воздухе. И снова — пробор за пробором, бант за бантом — бесконечная вереница гуляющих. Медленные пары сверкали кольцами, серьгами, браслетами, зубами.

Мудрецы, расположившись на скамейках, глубокомысленно вычерчивали на песке палками и зонтиками таинственные заклинания в виде мужских и женских имен и других фигур, смысл которых был недоступен пониманию непосвященного. И если неосторожная сандалия, промелькнув мимо скамьи, стирала архимедову запись, мудрец колдовал на песке снова, углубленный в решение неведомой никому задачи и слепой ко всему, кроме линий, избороздивших послушный песок.

Пригвожденная острыми солнечными лучами к песку, Наташа смотрела на море, на Петербург и думала, что град Китеж, наверное, был такой же из картона вырезанный, с колокольнями и стенами. А если закрыть глаза, — от моря, от неба, от солнца отделяется тогда огромная и прозрачная глубина, прилипает к ресницам,

мерно покачивается и проливается в тело. Наташа плыла высоко над землей, в безвоздушном пространстве, где нет ничего — бесконечная голубая пустыня.

Одна в голубой пустыне неслась Наташа. Это только приснился ей странный город на берегу моря, летящий в неизведанные страны. И, может быть, скоро исчезнет город. Достиг предела. Появились в нем странные люди. Хотят все разрушить. Хотят разрушить всех прежних людей, чтобы все стали новыми, ни на что не похожими. А люди и так разрушены — у кого ноги не хватает, у кого руки, а кто душу потерял. Так без души и ходит. А такой — без души — все равно, что пулемет. Убьет сотню и пойдет в ресторан, чаем запьет.

Поручик Архангельский встал со скамейки и подошел к Наташе.

— Наталия Владимировна, танцы начинаются.

Дирижер изгибался, дирижер подпрыгивал, дирижер хотел взлететь на воздух. Не две, а двести рук летали над взъерошенной головой. Победно взвивались фалды черного фрака. Дирижер был влюблен в первую скрипку с лицом из порнографического альбома. Дирижер ненавидел третьего с края виолончелиста, такого маленького в сравнении со своим инструментом, что, казалось, не он играет на виолончели, а виолончель на нем. Больше всех старались литавры. Они звенели так, как будто разбивалась посуда тысячи пансионов. Локти музыкантов сверкали, как пятки убегающих солдат. Все гремело, пело и гудело — литавры, тромбоны, скрипки, виолончели и какие-то совсем неизвестные инструменты, похожие на огромные зубочистки, на которых играли мрачные небритые люди без воротничков.

Мазурка, венгерка, па-д'эспань, ту-степ, уан-степ, полька, вальс безудержно лились в прыгающую залу. В зале нельзя было найти пары ног, спокойно стоящих на месте.

Поручик Архангельский, подхватив Наташу, в легчайших объятиях скользил по паркету. Ноги выделывали такие штуки, что некий герой с Георгием, но без ноги, возмущенно заговорил о безнравственности танцев приятелю-авиатору, у которого на ногах нехватало в общей сложности трех пальцев. Авиатор соглашался с ге-

роем до тех пор, пока сам не улетел в объятиях неведомой красавицы.

Дирижер утомленно повис на невидимом крюке, литавры грянули, по инерции, в последний раз, вздернутые ноги приняли нормальное положение.

Поручик Архангельский угощал Наташу лимонадом и говорил тихим голосом:

— Очень трудно подчинять людей. Убить легко, а подчинить трудно. А если подчинить, то удержать в подчинении — ох, как трудно. Один — дирижер, другой — простой музыкант. Везде так.

Отпил из стакана и продолжал:

— Самое легкое — на войне подчинять. Там погоны гипнотизируют. Но снимается гипноз, Наталья Владимировна, катимся мы, Наталья Владимировна, и только очень сильная рука удержит.

Дирижер воскрес, и зала опять запрыгала. Поручик Архангельский поцеловал руку Наташи:

— Подчинили вы меня, Наталья Владимировна.

II

Товарищи приезжали к Андрею и рассказывали о чудесах, сияя замысловатыми орденами. Раз приехал товарищ и без орденов, и без ноги. Поглядел на него Андрей и подумал: «Нет, дома спокойнее».

И три года Андрей — мимо чудес, мимо крови, крепко надвинув фуражку, — в шахматный клуб. В шахматном клубе — свои дела. На улицах — Варшава, Лодзь, Ковно. В шахматном клубе:

— Вы слышали о замечательном событии? Тринадцатый ход в гамбите слона...

Шахматные люди кучились вокруг доски.

— Тринадцатый ход в гамбите слона...

Андрей не любил, когда офицера называли слоном. У офицера непременно должны быть погоны поручика и блистательный пробор, как у Андрея, дугой разделявший каштановую голову на две части — две трети справа, треть слева.

Летом — пансион. Люди шахматными деревяжками сидели за табль-д'отом, и каждый делал только свой,

предназначенный судьбою ход. Тура — отвратительная дама — обозначала конец площадки и била в прямом направлении — на стоявшую перед ней тарелку. Конь с рыжими усами орудовал направо и налево через клетку: то выдернет соусник у туры, то салатник перед офицером вывернет. И если случится гроза, — все знают — сейчас скажет усач: «Люблю грозу в начале мая», хотя бы был уже июнь. А офицер — Андрей — работал глазами в разные стороны, пересекая шахматную доску, улетал в пустое пространство, в бесконечность, где все пути сходятся, и путь офицера пересечется с путем королевы. Только не той королевы, хозяйки пансиона, которая сидела рядом и защищала одержимого подагрой и глубокомыслием короля от противника. Все бы фигуры появились на шахматной доске — можно найти, но противника нет. Противник еще не расставил своих фигур.

На третий год, в мае, когда в Петербурге кричали о революции, Андрей, распланировав весь мир на квадратики, решал à l'aveugle сложную задачу эндшпиля — король и королева против короля и офицера. Солнце медленным белым королем ступало по расквадраченному небу. Земной король — Петербург — чернел на краю шахматной доски. Андрей поднял глаза. Белая королева стала на пути: шах королю и офицеру. Сложная задача была решена.

Сброшенный с шахматной доски, Андрей лежал на песке и долго смотрел на Наташу. И увидел цепь черных и белых квадратиков — день и ночь — путь офицера, ровный и блистательный, как пробор, прошедший через весь гладко причесанный мир. И по этому пути — непреклонно, сбиваться в сторону, по правилам игры, не полагается. Двадцать лет, сорок лет, шестьдесят лет — все равно: гладкие квадратики — белый, черный, белый, черный — день, ночь. И конец шахматной доски — гамбит слона.

— Не хочу, — решил Андрей и сделал непозволительный ход в сторону. Пусть игрок сбросит зашалившую фигурку с доски. Фигурка будет в бесконечных нерасквадраченных пространствах гоняться неизвестно за чем.

Через неделю Андрей подошел к Наташе на пляже:

— Вы меня не знаете. А мне кажется, что мы уже

давно знакомы. На сегодня я получил отпуск, а завтра я уже в маршевой роте.

И, прощаясь, попросил:

— Вы придите меня провожать. Я в 387-м полку, на Глухаревской улице... Недели через две еду. Я дам вам знать.

III

В казармах смачно пахло солдатским сапогом.

— А ну — вылетай на занятию-у-у!

Городская пыль воздвигла вавилонскую башню к стеклянному небу. Дома трескались от жары, и окна пылали. Перед порогом рождались люди — один, другой, третий... Сто человек, похожие друг на друга, как сто папирос на фабричном складе.

Поручик Архангельский гулял по фронту, покуривая, и посматривал на солдат, как будто выбирая, какую папиросу закурить. Все были одинаковы — серые, плотно набитые, с фабричным клеймом на погонах — 387. Все будут выкурены и брошены в огромную пепельницу ненужными окурками. И вот этот вольнопер, — как его фамилия?

Из-за угла подлетел, как ловкий танцор, новенький автомобиль. Вылезло четверо. Самый маленький, в очках, пошел по рядам, жал руки солдатам маршевой роты. На четвертом десятке остановился — устал. Снял военную фуражку, отер платочком пот с выпуклого, но узкого лба и кивнул остальным круглой головой. Снизал очки, и сразу показалось, что он сейчас захрюкает.

— Товарищи!

Комиссар откашлялся.

— Товарищи! Свободная Россия должна сокрушить германский милитаризм. Товарищи! Мы не хотим воевать, но мы не можем позволить германскому императору вонзить нож в спину революции.

Комиссар откашлялся.

— Вы пришли на помощь Временному правительству. Благодарю вас, товарищи. За землю и волю!

Новенький автомобиль скользнул за угол. Поручик Архангельский скомандовал:

— Смирно! Го-ло-вы на на-чаль-ни-ка!

Пара серых глаз стянула в узел двести нитей.

— Левый, начинайте ученье!

Сегодня к ночи маршевая едет на фронт, а поручик Архангельский остается: три года воевал, а теперь незаменим в Петербурге.

Поручик Архангельский отправился домой. Чем ближе к центру города, тем громче, оглушительней, теснее.

Какой-то маленький человечек в котелке с ожесточением боксера размахивал кулаками на площадке Городской думы. Толпа орала так, что человек, очевидно, сам себя не слышал. Человек в этот день говорил восемнадцатый раз одну и ту же речь.

Сквозь толпу могли протискиваться только мальчишки дошкольного возраста, то есть того возраста, который стоял на углах с винтовкой и каждой мимо проходящей кошке наступал на хвост. Мальчишки подняли такой визг, как будто тысяча паровозов разом пустила пар. Поручик Архангельский взлетел на воздух. Военная кепка соскочила, гетры раскачивались над головами.

— Пустите, граждане.

Толпа кричала «ура» и наступала поручику на ноги.

— Очень тронут, граждане.

Поручик Архангельский надел кепку и пошел, покуривая, к трамваю.

IV

Маленький человечек на площадке Городской думы пылал. Маленький человек раскалился добела, и, казалось, сейчас он врежется в толпу, как паровоз, а за ним Городская дума, каменные вагоны домов, улицы, площади — весь город. Но нет! Просто разгорячился человек: двадцать пятую речь говорит. Жарко.

Женщина в платке объясняла Наташе:

— Вот улица направо — так вы по этой улице не идите. А потом еще будет улица налево. Так вы — по этой улице тоже не идите. А третья улица...

Из-за женщины вывернулся человек в мягкой шляпе. Широкая борода падала на смятый пиджак, и было совершенно неизвестно — есть у человека воротничок и рубашка или нет.

— Я к вашим услугам, мадмуазель. Я все знаю. Идемте, мадмуазель!

— Позвольте! Оставьте руку!

— Я к вашим услугам, мадмуазель, но мне некогда. Я прошу вас не задерживать меня, мадмуазель.

— Я вас не задерживаю.

Люди кольцами обвивались вокруг Наташи.

— Я занятой человек, мадмуазель, а вы меня изволите задерживать.

— Да вы можете итти.

— Хорошо итти, когда протолкаться теперь из-за вас нельзя.

Вокруг волновались.

— В чем дело? Что случилось? Раздавило? Что, большевичка?

И пошло кружить по толпе:

— Большевичка! Большевичка!

Зеленые змеиные глаза гипнотизировали Наташу. Наташа — в центре страшного зеленого круга. Не сдвинуться с места, как во сне. Змея напружинилась для прыжка, выпускает ядовитое жало. И вдруг — хорошо. Вот-вот укусит. Пусть. Наташа даже улыбнулась.

И вдруг развернулись кольца.

— В чем дело, граждане? А, это вы, Наталья Владимировна? Что случилось?

— Да я не понимаю. Я хотела спросить дорогу...

Поручик Архангельский, спокойно зажав широкую бороду, дернул — так и есть: ни воротничка, ни рубашки — волосатая грудь.

— Отведите его, граждане, в комиссариат. Это не опасный человек. Это вор, граждане.

Толпа с торжеством тащила вора.

— Большевика поймали! Большевика!

Наташа объясняла, волнуясь:

— Понимаете, я просто спросила дорогу — мне нужно было...

— А куда вам было нужно?

— Сегодня один мой знакомый уезжает с маршевой ротой на фронт. Я хотела...

— В каком полку?

— В 387-м полку...

— Знаю. Уехала уже маршевая рота, Наталья Владимировна. Еще вчера уехала.

— Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!

— Да, вчера уехала, Наталья Владимировна...

А на Глухаревской улице к ночи все жители повылезли из своих нор и глазели. На Глухаревской улице — Марсельеза, барабанный бой и булыжная поступь солдат маршевой роты. И только на вокзале, в вагонах, солдаты затянули свое, не французское:

Лучше было, лучше было не ходити,
Лучше было, лучше было не любити...

Не было конца песне. Не было конца вросшим в рельсы вагонам. А за тупыми задами поездов и впереди, перед насторожившимися локомотивами, — огромное черное поле. И в черном поле потонул черный поезд, железными цепями аккомпанируя солдатской песне.

V

Огненные стрелы прорезали бегущую за окном темноту. Казалось, поезд летит с аэропланной скоростью. Но нет. Поезд делает десять верст в час и останавливается у каждого полустанка. Там, откуда едут к морю Наташа и поручик Архангельский, — багровое небо: это Петербург бросил вверх свои огни.

Поручик Архангельский щелкнул портсигаром.

— Тут курить не полагается. Это вагон для некурящих!

Поручик Архангельский вынул из портсигара папиросу. Бритая рожа оскалила гнилые зубы.

— Это вагон для некурящих!

Поручик Архангельский зажал папиросу зубами.

— Вы не имеете права тут курить! Я не выношу табачного дыма!

Поручик Архангельский посмотрел сквозь бритую рожу и закурил. На бритой роже то красное — революция! — то белое — сдаюсь! — Рот открывается и закрывается. Бритая рожа исчезла. Одни.

— А кто ваш знакомый в маршевой, Наталья Владимировна?

— Ах, не говорите! Это ужасно, что я не успела его проводить. Я теперь просто не живу. Это странная история...

— А вы расскажите, Наталья Владимировна.

— Ах, это ужасно! Рассказать можно очень кратко. Я его видела только один раз. Но он... Нет, все равно не объяснить.

Поручик Архангельский затянулся крепко, крепче, чтобы во все жилы дым, и выдохнул, — серые чудовища закачались в воздухе.

— Я сказал неправду, Наталья Владимировна. Вы бы поспели. Маршевая рота только сейчас уезжает.

— Поручик!

— Вы знаете, почему я это сделал.

Наташа глядела в темноту: за быстрым окном, там где-то... Может быть, догнать?

— Поручик, вы все можете. Сделайте это — я обещала. Только проститься — больше ничего.

— Уже поздно. Теперь уж не поспеть, — отвечал поручик Архангельский.

VI

Для отца Наташи все ясно: в таком-то году объявлена война Германии, — причины такие-то; в таком-то году было свергнуто царское правительство, — причины такие-то. Отец Наташи, преподаватель истории и член городской управы от кадетской партии, заносит в тетрадочку факты, и он уверен, что когда-нибудь издаст учебник, а гимназисты будут ходить по комнате и зубрить.

— Наташа, нельзя так поздно возвращаться. Это вредно для здоровья.

— Ах, это нельзя просто и ясно. Это ужасно!

— Ну что? Рассказывай!

— Ах, это даже невозможно рассказать.

— Невозможно? Все можно рассказать.

— Нет, ты все равно не поймешь.

— Это ты так говоришь со своим отцом?

— Да нет, папа, боже мой, мне не до того.

— Но все-таки я твой отец, и ты бы могла мне просто и ясно рассказать.

— Ах, это нельзя просто и ясно. Это ужасно!

— Тетя Саша умерла?

— Да нет же! Никто не умер!

— Если никто не умер, значит все благополучно. Прими вот...

Преподаватель истории вынул из стола валерьянку,— верное средство против всех ужасов, кроме смерти,— и отсчитывал отчетливые капли. Отсчитал, оглянулся— нет Наташи.

Наташа — у себя наверху. Окно отворено.

Преподаватель истории услышал наверху странные звуки и, вспомнив далекое прошлое, догадался: плач. Склянка с валерьяновыми каплями разбилась о спокойный пол. Преподаватель истории, роняя книги и папки с вырезанными из газет фактами, ринулся по лестнице— наверх.

— Наташа! Что с тобой? Ната!

— Не знаю, папа. Совсем не знаю. Страшно!

А внизу ветер крутил по полу вырезанные из газет факты.

VII

Андрей из окопа пятые сутки смотрел на одну и ту же мызу. И пятые сутки думал:

«Не пришла».

Мыза принадлежала господину Левенштерну. А господин Левенштерн жил в Стокгольме, пил шоколад и спекулировал на коже. У мызы каждый день такой треск и шум, как будто тысячи гостей съезжаются на тарантайках к мызе — отдыхать и пить молоко. Но если бы господин Левенштерн захотел вернуться на мызу, гости пустили бы великолепный фейерверк, как в великий праздник, и выехали бы навстречу на всех своих тарантайках. И в последний раз увидел бы господин Левенштерн свою мызу.

С мызы приходил широкий майор с черным крестом на груди и белым флагом в руке и говорил речь о солидарности пролетариата. Левый всадил майору пулю прямо в живот — кишка высунулась. Солдаты были недовольны.

— Не по фамилии действуешь.

И вместо майора появился пулемет. Глаз у пулемета

был очень хороший и верный. Даже в светлые ночи нельзя было высунуться — сразу заметит. Майор был лучше — толстый и добродушный.

Было задание — снять пулемет. Андрей ждал ночи. Искал бумагу — написать письмо. Левый вытащил из голенища курительную.

— На!

Андрей рвал огрызком карандаша курительную бумагу.

— Вы, Левый, отнесите в штаб полка, если что...

Левый сунул письмо за голенище. Андрей с гранатой в руке пополз по вздрагивающему полю — в тихую темноту. Тишину прорезало фыркающее чудовище. Может быть, метеор, звезда упала, хотя рано еще — конец июня.

Андрей полз покорной пешкой. Игроки сидят над шахматной доской, и что для них это поле, которое пешке кажется огромным! Маленький черный квадратик. А в сложной комбинации пешкой всегда можно пожертвовать. Потеря пешки не означает проигрыша.

Уже над головой взлетают разноцветные ракеты, и совсем близко мыза. И прямо на Андрея взглянул черный бездонный глаз пулемета.

Левый ругается сам с собой:

— Зачем отпустили дитё мало? Не понимает дитё — потому и вызвался.

В окопах нельзя курить, но как здесь не закурить? Левый вытащил бумагу из-за голенища, крутит цыгарку за цыгаркой.

Далеко — у мызы — затрещало, вспыхнуло, загорелось поле. Левый — недокуренную цыгарку за голенище.

— Ну, теперь назад ползи! Да скорей же!

Андрею бы только скрыться, зарыться в землю, не видеть и не слышать.

«Не меньше как четверых убил, — думал Андрей и полз по дымящемуся, грохочущему и сверкающему полю. — Не меньше как четверых убил».

Лицо стало старое, жженое, будто сорок лет Андрею. Дополз.

— Скорей сюда! Ну, брат, думал, что убили тебя. На тебе грушу за это.

И Левый сует грушу. Но Андрей не донес до груши

руки. Вспомнил — весна, девушка, море — и недокурком упал в окоп.

Левый посмотрел — каюк. Кончено. Запустил пальцы за голенище — где письмо? Нету. Все письмо раскурил на цыгарки. Вытянул недокурок, долго разбирал, — что там такое? Пойти показать грамотею.

VIII

Со звоном лопались телефонные провода. Оконные стекла летели на мостовую. Грузовики носили вооруженных людей по городу.

К поручику Архангельскому прибежал взводный.

— Рота бунтует, господин поручик. Арестовать вас хотят.

— А вы успокойтесь, Точило. Выпейте воды. Успокойтесь.

— Да, господин поручик, мне нет причины волноваться. Вам убегать нужно, господин поручик!

— А вы не торопитесь так, Точило. Зачем торопиться? Вот сядем и поговорим.

— Да, господин поручик, придут сюда! Шум уже, господин поручик.

— Шум разговору не мешает, Точило. Пусть шумят. А вы расскажите мне: как? Письма из деревни имеете?

— Господин поручик, да убьют же вас!

— Не думаю, Точило. Может быть, но не думаю. Да это к делу не относится. Где это я портсигар оставил?

Поручик Архангельский рылся во френче, в брюках.

— Очень хороший портсигар. И притом подарок. Это я, должно быть, в роте оставил.

— Не пущу, господин поручик, ей-богу, не пущу.

Точило сложил на груди непреклонные руки и каменной статуей стал у порога.

— Выпустите меня, пожалуйста. Очень хороший портсигар. Пустите меня, пожалуйста, Точило.

Точило неожиданно для самого себя отошел от двери.

Поручик Архангельский тихо шел по коридору — так бы всю жизнь пройти. И за каждым поворотом — такой же коридор, только чище или грязнее. Коридор казармы.

Издали все слышнее шум. И вот конец коридора — помещение первой роты. Может быть, смерть. Поручик Архангельский вошел, и шум оборвался на полузвуке, забился под нары, в углы — и стих.

— Братцы мои, я тут у вас, кажется, портсигар оставил. Не видели, братцы?

Двести глаз смотрели на офицера. Из чьего-то грязного кармана вылез портсигар. Чья-то рука молчаливо подала.

Поручик Архангельский взял портсигар, раскрыл, вынул папиросу, вложил портсигар в карман. Чиркнул зажигалку, закурил и, покуривая, прошел через помещение первой роты на улицу. И, пока ехал до вокзала, все курил одну и ту же давно потухшую папиросу. И в поезде не выпустил из крепко сцепленных зубов изжеванного ненужного окурка.

IX

Наташа с трудом разбирала корявые буквы:

Письмо от Солдат Русских Воинов. Всенижайшей почтения ото всех Русских Воинов Госпоже Наталье Владимировне Макшеевой.

А еще Госпоже Наталье Владимировне Левый просил всенижайший почтения ото всех Русских Воинов и жених ваш чудо-богатырь Андрей Толмачев убит, в чем поклон вам посылает.

А еще Госпоже Наталье Владимировне цыгарку от письма. Левый не докурил, а я адрес разобрал, в чем и расписуюсь и цыгарку при сем прилагаю с всенижайшим почтением.

Илья Замиракин.

Наташа аккуратно подобрала с полу вывалившуюся цыгарку, раскрутила: адрес ясен, а на другой стороне — «лая», «ша», «лю»—нечленораздельно, как предсмертный крик.

А может быть, прав отец, и все на свете ясно: Андрей убит. Наташа жива. Поручик Архангельский...

Наташа завернула цыгарку в письмо, положила в стол и отчетливыми шагами ходила по комнате — от окна

к кровати, от кровати к окну. За обедом отцу отвечала точно и отчеканенно: «Да. Нет. Да. Нет». Как пулемет.

Преподаватель истории все две недели — как в далеком прошлом. В город не ездит. Бросил дела. И валерьянки нет — разбил. Купить новую склянку не хочется.

— Ты здорова, Наташа?

— Да.

— Но с тобой что-то странное.

— Нет.

— Я тебя не понимаю сегодня. Что-нибудь случилось?

— Нет.

Преподаватель истории после обеда сел за стол — вырезывать из газет факты. Взял ножницы — и выронил. Была бы валерьянка — тогда бы не дрожали так руки. Неужели он такой старый?

— Папа, тебе нужно принять валерьянки.

— Нет. Я пойду лягу.

Наташа вышла в сад, где ждал уже ее поручик Архангельский.

— Наталья Владимировна, я к вам. Я не могу больше, Наталья Владимировна... Я...

— Завтра в семь часов утра на берегу, у сосен — знаете?

И, отдернув руку, Наташа взлетела на террасу, по лестнице, наверх, оставив поручика Архангельского одного в темнеющем саду.

X

Поручик Архангельский шел по пляжу, направляясь к назначенному месту свидания. Навстречу ему — солдат. Проходя мимо офицера, солдат поглядел на него пристально, и рука его не поднялась к козырьку.

Поручик остановился.

— Эй ты, раззява! Ротозей!

Солдат тоже остановился. Рука поручика потянулась к кобуре. Кобуры не было у пояса. Револьвер и даже шашку он оставил дома.

Солдат вдруг подскочил к поручику, сорвал с его плеч погоны и кинул их в лицо офицеру.

— Погоди малость! Уберем вас, сволочей!

Он был гораздо сильней поручика.

И вот поручик Архангельский остался один на пляже. Он не поднял сорванных с плеч погон. Это конец. Гипноз кончился. Вся сила ушла от поручика вместе с погонами. Так он стоял на пляже и глядел вперед, в открывшуюся перед ним пустоту.

Поручик Архангельский взглянул на часы. До встречи с Наташей оставалось еще полчаса. Он двинулся быстро по пляжу назад, в пансион, где он остановился и где оставил револьвер и шашку. Да. Даже на любовное свидание нельзя ходить без оружия.

Через двадцать минут он был уже на условленном месте у сосен. Он оглянулся: Наташи не было видно еще. Тогда поручик Архангельский вытянул из кобуры револьвер, приложил дуло к виску, спустил курок и упал лицом в песок, откинув руку с револьвером. Револьвер выпал из обессиленных пальцев.

Так застала его Наташа. Она наклонилась к нему. Мертв. Андрей — труп. Поручик Архангельский — тоже труп. Кто убил его?

Наташа разогнулась. Все вокруг было такое, как всегда: солнце, море и песок. И все это было не для нее.

Кто убил поручика?

И Наташе стало ясно все: не так, как ее отцу, а по-настоящему ясно...

1921

М. Зощенко

РАССКАЗЫ НАЗАРА ИЛЬИЧА ГОСПОДИНА СИНЕБРЮХОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ[1]

Я такой человек, что все могу... Хочешь — могу землишку обработать по слову последней техники, хочешь — каким ни на есть рукомеслом займусь, — все у меня в руках кипит и вертится.

А что до отвлеченных предметов, — там, может быть, рассказ рассказать или какое-нибудь тоненькое дельце выяснить, — пожалуйста: это для меня очень даже просто и великолепно.

Я даже, запомнил, людей лечил.

Мельник такой жил-был. Болезнь у него, можете себе представить — жаба-болезнь. Мельника того я лечил. А как лечил? Я, может быть, на него только и глянул. Глянул и говорю: да, говорю, болезнь у тебя жаба, но ты не горюй и не пугайся, — болезнь эта не опасная, и даже прямо тебе скажу — детская болезнь.

И что же? Стал мой мельник с тех пор круглеть и розоветь, да только в дальнейшей жизни вышел ему перетык и прискорбный случай...

А на меня многие очень удивлялись. Инструктор Рыло, это еще в городской милиции, тоже очень даже удивлялся. Бывало, придет ко мне, ну, как к своему задушевному приятелю:

---

[1] Предисловие и рассказы записаны в апреле 1921 года со слов Н. И. Синебрюхова писателем М. З.

— Ну, что, — скажет, — Назар Ильич, товарищ Синебрюхов, не богат ли будешь печеным хлебцем?

Хлебца, например, я ему дам, а он сядет, запомнил, к столу, пожует-покушает, ручками этак вот раскинет:

— Да, — скажет, — погляжу я на тебя, господин Синебрюхов, и слов у меня нет. Дрожь прямо берет, какой ты есть человек. Ты, говорит, наверное, даже державой управлять можешь.

Хе-хе, хороший был человек инструктор Рыло, мягкий.

А то начнет, знаете ли, просить: расскажи ему что-нибудь такое из жизни. Ну, я и рассказываю.

Только, безусловно, насчет державы я никогда и не задавался: образование у меня, прямо скажу, не какое, а домашнее. Ну, а в мужицкой жизни я вполне драгоценный человек. В мужицкой жизни я очень полезный и развитой.

Крестьянские эти дела-делишки я ух как понимаю. Мне только и нужно раз взглянуть, как и что.

Да только ход развития моей жизни не такой.

Вот теперь, где бы мне пожить в полное свое удовольствие, я крохобором хожу по разным гиблым местам, будто преподобная Мария египетская.

Да только я не очень горюю. Я вот теперь дома побывал и нет — не увлекаюсь больше мужицкой жизнью.

Что ж там? Бедность, блекота и слабое развитие техники.

Скажем вот про сапоги.

Были у меня сапоги, не отпираюсь, и штаны, очень даже великолепные были штаны. И, можете себе представить, сгинули они — аминь — вовеки-веков в собственном моем домишке.

А сапоги эти я двенадцать лет носил, прямо скажу, в руках. Чуть какая мокрень или непогода — разуюсь и хлюпаю по грязи... Берегу.

И вот сгинули...

А мне теперь что? Мне теперь в смысле сапог — труба.

В германскую кампанию выдали мне сапоги штиблетами — блекота. Смотреть на них грустно. А теперь, скажем, жди. Ну, спасибо, война, может, произойдет —

выдадут. Да только нет, годы мои вышли, и дело мое на этот счет гиблое.

А все, безусловно, бедность и слабое развитие техники.

Ну, а рассказы мои, безусловно, из жизни и все воистинная есть правда.

1921 г.

ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ

Фамилия у меня малоинтересная — это верно: Синебрюхов, Назар Ильич.

Ну, да обо мне речь никакая, — очень я даже посторонний человек в жизни. Но только случилось со мной великосветское приключение, и пошла оттого моя жизнь в разные стороны, все равно как вода, скажем, в руке — через пальцы, да и нет ее.

Принял я и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь.. И все через эту великосветскую историю.

А был у меня задушевный приятель. Ужасно образованный человек, прямо скажу — одаренный качествами. Ездил он по разным иностранным державам в чине камендинера, понимал он даже, может, по-французскому и виски иностранные пил, а был такой же, как и не я, все равно — рядовой гвардеец пехотного полка.

На германском фронте в землянках, бывало, удивительные даже рассказывал происшествия и исторические всякие там вещички.

Принял я от него немало. Спасибо! Многое через него узнал и дошел до такой точки, что случилась со мной гнусь всякая, а сердцем я и посейчас бодрюсь.

Знаю: Пипин Короткий... Встречу, скажем, человека и спрошу: а кто есть такой Пипин Короткий?

И тут-то и вижу всю человеческую образованность, все равно как на ладони.

Да только не в этом штука.

Было тому... сколько?.. четыре года взад. Призывает меня ротный командир в чине — гвардейский поручик и князь ваше сиятельство. Ничего себе. Хороший человек. Но, конечно, ничего не скажу, чуть что — по роже бьет.

Призывает. Так, мол, и так, говорит, очень я тебя, Назар, уважаю, и вполне ты прелестный человек... Сослужи, говорит, мне еще одну службишку.

Произошла, говорит, Февральская революция. Отец староватенький, и очень я даже беспокоюсь по поводу недвижимого имущества. Поезжай, говорит, к старому князю в родное имение, передай вот это самое письмишко в самые то есть его ручки и жди, что скажет. А супруге, говорит, моей, прекрасной полячке Виктории Казимировне, низенько поклонись в ножки и ободри ради бога, а я, говорит, осчастливлю тебя суммой и пущу в несрочный отпуск.

— Ладно, — отвечаю, — князь, ваше сиятельство, спасибо за ваше обращение, — что возможно — совершу.

А у самого сердце огнем играет: эх, думаю, как бы это исполнить. Охота, думаю, получить отпуск и богатство.

А был князь ваше сиятельство со мной все равно как на одной точке. Уважал меня по поводу незначительной даже истории. Конешно, я поступил геройски. Это верно.

Стою раз преспокойно на часах у княжей земляночки на германском фронте, а князь ваше сиятельство пирует с приятелями. Тут же между ними, запомнил, сестричка милосердия.

Ну, конешно: игра страстей и разнузданная вакханалия... А князь ваше сиятельство из себя пьяненький, песни играет.

Стою. Только слышу вдруг шум в передних окопчиках. Шибко так шумят, а немец, безусловно, тихий, и будто вдруг атмосферой на меня пахнуло.

Ах, ты, думаю, так твою так — газы!

А поветрие легонькое этакое в нашу, в русскую сторону.

Беру преспокойно маску (с резиной), взбегаю в земляночку...

Так, мол, и так, кричу, князь ваше сиятельство, дыши через маску — газы.

Очень тут произошел ужас в земляночке.

Сестричка милосердия — бяк, с катушек долой, — мертвая падаль.

А я сволок князеньку вашего сиятельства на волю, кострик разложил по уставу.

Зажег. Лежим, не трепыхнемся... Что будет... Дышим.

А газы... Немец — хитрая каналья, да и мы, безусловно, тонкость понимаем: газы не имеют права осесть на огонь.

Газы туды и сюды крутятся, выискывают нас-то... Сбоку да с верхов так и лезут, так и лезут клубом, вынюхивают...

А мы, знай, полеживаем да дышим в маску...

Только прошел газ, видим — живые.

Князь ваше сиятельство лишь малехонько поблевал, вскочил на ножки, ручку мне жмет, восторгается.

— Теперь, — говорит, — ты, Назар, мне все равно как первый человек в свете. Иди ко мне вестовым, осчастливь. Буду о тебе пекчись.

Хорошо-с. Прожили мы с ним цельный год прямо-таки замечательно.

И вот тут-то и случилось: засылает меня ваше сиятельство в родные места.

Собрал я свое барахлишко. Исполню, думаю, показанное, а там — к себе. Все-таки дома, безусловно, супруга не старая и мальчичек. Интересуюсь, думаю, их увидеть.

И вот, конечно, выезжаю.

Хорошо-с. В город Смоленск прибыл, а оттуда славным образом на пароходе на пассажирском в родные места старого князя.

Иду — любуюсь. Прелестный княжеский уголок и чудное, запомнил, заглавие — вилла «Забава».

Вспрашиваю: здесь ли, говорю, проживает старый князь ваше сиятельство? Я, говорю, очень по самонужнейшему делу с собственноручным письмом из действующей армии.

Это бабенку-то я спрашиваю.

А бабенка:

— Вон, — говорит, — старый князь ходит грустный из себя по дорожкам.

Безусловно: ходит по садовым дорожкам ваше сиятельство.

Вид, смотрю, замечательный — сановник, светлейший

князь и барон. Бородища баками пребелая-белая. Сам хоть и староватенький, а видно, что крепкий.

Подхожу. Рапортую по-военному. Так, мол, и так, совершилась, дескать, Февральская революция, вы, мол, староватенький, и молодой князь ваше сиятельство в совершенном расстройстве чувств по поводу недвижимого имущества. Сам же, говорю, жив и невредимый и интересуется, каково поживает молодая супруга, прекрасная полячка Виктория Казимировна.

Тут и передаю секретное письмишко.

— Пойдем, — говорит, — милый Назар, в комнаты. Я, — говорит, — очень сейчас волнуюсь... А пока — на, возьми, от чистого сердца рубль.

Тут вышла и представилась мне молодая супруга Виктория Казимировна с дитей.

Мальчик у ней — сосун млекопитающийся.

Поклонился я низехонько, вспрашиваю, каково живет ребеночек, а она будто нахмурилась.

— Очень, — говорит, — он нездоровый, ножками крутит, брюшком пухнет, — краше в гроб кладут.

— Ах, ты, — говорю, — и у вас, ваше сиятельство, горе такое же обыкновенное человеческое.

Поклонился я в другой раз и прошусь вон из комнаты, потому понимаю, конечно, свое звание и пост.

Собрались к вечеру княжие люди на паужин. И я с ними.

Харчим, разговор поддерживаем. А я вдруг и вспрашиваю:

— А что, — говорю, — хорош ли будет старый князь, ваше сиятельство?

— Ничего себе, — говорит, — хороший, только не иначе, как убьют его скоро.

— Ай, — говорю, — что сделал?

— Нет, — говорят, — ничего не сделал, вполне прелестный князь, но мужички по поводу Февральской революции беспокоятся и хитрят, поскольку проявляют свое недовольство. Поскольку они в этом не видят перемены своей участи.

Тут стали меня, безусловно, про революцию вспрашивать. Что к чему.

— Я, — говорю, — человек не освещенный. Но произошла, — говорю, — Февральская революция. Это верно.

И низвержение царя с царицей. Что же в дальнейшем — опять, повторяю, не освещен. Однако произойдет отсюда людям немалая, думаю, выгода.

Только встает вдруг один, запомнил, из кучеров. Злой мужик. Так и язвит меня.

— Ладно, — говорит, — Февральская революция. Пусть. А какая такая революция? Наш уезд, если хочешь, весь не освещен. Что к чему и кого бить, не показано. Это, — говорит, — допустимо? И какая такая выгода? Ты мне скажи, какая такая выгода? Капитал?

— Может, — говорю, — и капитал, да только нет, зачем капитал? Не иначе как землишкой разживетесь.

— А на кой мне, — ярится, — твоя землишка, если я буду из кучеров? А?

— Не знаю, — говорю, — не освещен. И мое дело — сторона.

А он говорит:

— Недаром, — говорит, — мужички беспокоятся — что к чему... Старосту Ивана Костыля побили ни за про что, ну, и князь, поскольку он помещик, — безусловно его кончат.

Так вот поговорили мы славным образом до вечера, а вечером ваше сиятельство меня кличут.

Усадили меня, запомнил, в кресло, а сами произносят мне такие слова:

— Я, — говорит, — тебе, Назар, по-прямому: тени я не люблю наводить, так и так, мужички не сегодня — завтра пойдут жечь имение, так нужно хоть малехонько спасти. Ты, мол, очень верный человек, мне же, — говорит, — не на кого положиться... Спаси, — говорит, — для ради бога положение.

Берет тут меня за ручки и водит по комнатам.

— Смотри, — говорит, — тут саксонское серебро черненое и драгоценный горный хрусталь и всякие, — говорит, — золотые излишества. Вот, — говорит, — какое богатое добрище, а все пойдет, безусловно, прахом и к чортовой бабушке.

А сам шкаф откроет — загорюется.

— Да уж, — говорю, — ваше сиятельство, положение ваше не безопасное.

А он:

— Знаю, — говорит, — что не безопасное. И поэтому

сослужи, — говорит, — милый Назар, предпоследнюю службу: бери, — говорит, — лопату и изрой ты мне землю в гусином сарае. Ночью, — говорит, — мы схороним что можно и утопчем ножками.

— Что ж, — отвечаю, — ваше сиятельство, я хоть человек и не освещенный, это верно, а мужицкой жизнью жить не согласен. И хоть в иностранных державах я не бывал, но знаю культуру через моего задушевного приятеля, гвардейского рядового пехотного полка. Утин его фамилия. Я, — говорю, — безусловно, согласен на это дело, потому, — говорю, — если саксонское черненое серебро, то по иностранной культуре совершенно невозможно его портить. И через это я соглашаюсь на ваше культурное предложение — схоронить эти ценности.

А сам тут хитро перевожу дело на исторические вещички.

Испытываю, что за есть такой Пипин Короткий.

Тут и высказал ваше сиятельство всю свою высокую образованность.

Хорошо-с...

К ночи, скажем, уснула наипоследняя собака... Беру лопату — и в гусиный сарай.

Место ощупал. Рою.

И только берет меня будто жуть какая. Всякая то есть дрянь и невидаль в воспоминание лезет.

Копну, откину землишку — потею, и рука дрожит. А умершие покойники так и представляются, так и представляются...

Рыли, помню, на австрийском фронте окопчики и мертвое австрийское тело нашли...

И зрим: когти у покойника предлинные-длинные, больше пальца. Ох, думаем, значит, растут они в земле после смерти. И такая на нас, как сказать, жуть напала — смотреть больно. А один гвардеец дерг да дерг за ножку австрийское мертвое тело... Хороший, говорит, заграничный сапог, не иначе как австрийский... Любуется и примеряет в мыслях и опять дерг да дерг, а ножка в руке и осталась.

Да-с. Вот такая-то гнусь мертвая лезет в голову, но копаю самосильно, принуждаюсь. Только вдруг, как зашуршит чтой-то в углу. Тут я и присел.

Смотрю: ваше сиятельство с фонарчиком лезет — беспокоится.

— Ай, — говорит, — ты умер, Назар, что долго? Берем, — говорит, — сундучки, поскореича — и делу конец.

Принесли мы, запомнил, десять претяжеленных-тяжелых сундучков, землей закрыли и умяли ножками.

К утру выносит мне ваше сиятельство двадцать пять целковеньких, любуется мной и за ручку жмет.

— Вот, — говорит, — тут письмишко к молодому вашему сиятельству. Рассказан тут план местонахождения вклада. Поклонись, — говорит, — ему — сыну и передай родительское благословение.

Оба тут мы полюбовались друг другом и разошлись.

Домой я поехал... Да тут опять речь никакая.

Только прожил дома почти что два месяца и возвращаюсь в полк. Узнаю: произошли, говорят, новые революционные события, отменили воинскую честь и всех офицеров отказали вон. Вспрашиваю: где ж такое ваше сиятельство?

— Уехал, — говорят, — но куда — неизвестно. Кажется, что к старому папаше — в его имение.

Хорошо-с...

Штаб полка.

Являюсь по уставу внутренней службы. Так и так, рапортую, — из несрочного отпуска.

А командир, по выбору, прапорщик Лапушкин — бяк меня по уху.

— Ах, ты, — говорит, — княжий холуй, снимай, — говорит, — собачье мясо, воинские погоны!

«Здорово, — думаю, — бьется прапорщик Лапушкин, сволочь такая...»

— Ты, — говорю, — по морде не бейся. Погоны снять — сниму, а драться я не согласен.

Хорошо-с.

Дали мне, безусловно, вольные документы по чистой, и —

— Катись, — говорят, — колбаской.

А денег у меня, запомнил, ничего не осталось, только рубль дареный, зашитый в ватном жилете.

«Пойду, — думаю, — в город Минск, разживусь, а

там поищу вашего сиятельства. И осчастливит он меня обещанным капиталом».

Только иду нешибко лесом, слышу — кличет ктой-то. Смотрю — посадские. Босые босячки. Крохоборы.

— Куда, — вспрашивают, — идешь-катишься, военный мужичок?

Отвечаю смиренномудро:

— Качусь, — говорю, — в город Минск по личной своей потребности.

— Тек-с, — говорят, — а что у тебя, скажи, пожалуйста, в вещевом мешечке?

— Так, — отвечаю, — кое-какое свое барахлишко.

— Ох, — говорят, — врешь, худой мужик!

— Нету, воистинная моя правда.

— Ну, так объясни, если на то пошло, полностью свое барахлишко.

— Вот, — объясняю, — теплые портянки для зимы, вот запасная блюза гимнастеркой, штаны кой-какие. . .

— А есть ли, — спрашивают, — деньги?

— Нет, — говорю, — извините худого мужика, денег не припас.

Только один рыжий такой крохобор, конопатый:

— Чего, — говорит, — агитировать: становись (это мне то есть), становись, примерно, вон к той березе, тут мы в тебя и штрельнем.

Только смотрю — нет, не шутит. Очень я забеспокоился смертельно, дух у меня упал, но отвечаю негордо:

— Зачем, — отвечаю, — относишься с такими словами? Я, — говорю, — на это совершенно даже не согласен.

— А мы, — говорят, — твоего согласия не спросим, нам, — говорят, — на твое несогласие ровно даже начихать. Становись — и все тут.

— Ну, хорошо, — говорю, — а есть ли вам от казни какая корысть?

— Нет, корысти, — говорят, — нету, но мы, — говорят, — для ради молодечества казним, дух внутренний поддержать.

Одолел тут меня ужас смертный, а жизнь прельщает наслаждением. И совершил я уголовное преступление.

— Убиться я, — говорю, — не согласен, но только

послушайте меня, задушевные босячки: имею я, безусловно, при себе тайну и план местонахождения клада вашего сиятельства.

И привожу им письмо.

Только читают, безусловно: гусиный сарай... саксонское серебро... план местонахождения.

Тут я оправился; путь, думаю, не близкий, дам теку.

Хорошо-с.

А босячки:

— Веди, — говорят, — нас, если на то пошло, к плану местонахождения вклада. Это, — говорят, — тысячное даже дело. Спасибо, что мы тебя не казнили.

Очень мы долго шли, две губернии, может, шли, где ползком, где леском, но только пришли в княжескую виллу «Забава». А только теку нельзя было дать — на ночь вязали руки и ноги.

Пришли.

«Ну, — думаю, — быть беде — уголовное преступление против вашего сиятельства».

Только узнаем: до смерти убит старый князь ваше сиятельство, а прелестная полячка Виктория Казимировна уволена вон из имения. А молодой князь приезжал сюда на недельку и успел смыться в неизвестном направлении.

А сейчас в имении заседает, дескать, комиссия.

Хорошо-с.

Разжились инструментом и к ночи пошли на княжий двор.

Показываю босячкам:

— Вот, — говорю, — двор вашего сиятельства, вот коровий хлев, вот пристроечки всякие, а вот и...

Только смотрю, — нету гусиного сарая.

Будто должен где-то тут существовать, а нету.

Фу, ты, думаю, что за новости.

Идем обратно.

— Вот, — говорю, — двор вашего сиятельства, вот хлев коровий...

Нету гусиного сарая. Прямо-таки нету гусиного сарая. Обижаться стали босячки. А я аж весь двор объелозил на брюхе и смотрю, как бы уволиться. Да за мной босячки — пугаются, что, дескать, сбегу.

Пал я тут на колени:

— Извините, — говорю, — худого мужика, водит нас незримая сила. Не могу признать местонахождения.

Стали тут меня бить босячки инструментами по животу и по внутренностям. И поднял я крик очень ужасный. Хорошо-с.

Сбежались крестьяне и комиссия.

Выяснилось: вклад вашего сиятельства, а где — неизвестно.

Стал я богом божиться — не знаю, мол, что к чему, приказано, дескать, передать письмишко, а я не причинен.

Пока крестьяне рассуждали, что к чему, и солнце встало.

Только смотрю: светло и, безусловно, нет гусиного сарая. Вижу: ктой-то разорил на слом гусиный сарай. «Ну, — думаю, — тайна сохранилась. Теперь помалкивай, Назар Ильич господин Синебрюхов».

А очень тут разгорелась комиссия. И какой-то, запомнил, советский комиссар так и орет горлом, так и прет на меня.

— Вот, — говорит, — взгляните на барского холуя. Уже довольно давно совершилась революция, а он все еще сохраняет свои чувства и намерения и не желает показать, где есть дворянское добро. Вот как сильно его князья одурачили!

Я говорю:

— Может быть тут нету никакого дурачества. А может быть я с этой семьей находился прямо на одной точке. И был им как член фамилии.

Один из комиссии говорит:

— Если ты с их фамилии происходишь, то мы тебе покажем кузькину мать. Тогда становись к сараю — мы тебя сейчас пошлем путешествовать на небо.

Я говорю:

— К сараю я встать не согласен. А вы, — говорю, — неправильно понимаете мои мысли. Не то чтобы я в их семействе родился, а просто, — говорю, — я у них иногда бывал. А что до их вещичек, то согласно плана ищите по всем сараям.

Бросились, конечно, все по сараям, а в этот самый момент мои босячки сгрудились — сиг через забор и теку.

Вот народ копает в сараях — свист идет, но безусловно ничего нету.

Вдруг один из комиссии, наиболее въедливый, говорит:

— Тут еще у них был гусиный сарай. Надо будет порыться на этом месте.

У меня от этих слов прямо дух занялся.

«Ну, — думаю, — нашли. Князь, — думаю, — мне теперича голову отвертит».

Стали они рыть на месте гусиного сарая. И вдруг мы видим, что там тоже нет ничего. Что такое!

«Неужели, — думаю, — князь ваше сиятельство, этот старый трепач, переменил местонахождение клада?» Это меня прямо даже как-то оскорбило.

Тут я сам собственноручно прошелся с лопатой по всем местам. Да, вижу, ничего нету. «Наверное, впрочем, — думаю, — заезжал сюда молодой князь ваше сиятельство, и наверное он подбил старичка зарыть в другом месте, а может быть и вывез все в город. Вот так номер».

Тут один из комиссии мне говорит:

— Ты нарочно тень наводишь. Хочешь сохранить барское добро.

Я говорю:

— Раньше я, может, хотел сохранить, но теперича нет, поскольку со мной допущено недоверие со стороны этой великосветской фамилии.

Но они не стали больше со мной церемониться, связали мне руки, хватили нешибко по личности и отвезли в тюрьму. А после год мурыжили на общественных работах за сокрытие дворянских ценностей.

Вот какая великосветская история произошла со мной. И через нее моя жизнь пошла в разные стороны, и через нее я докатился до тюрьмы и сумы и много путешествовал.

ВИКТОРИЯ КАЗИМИРОВНА

В Америке я не бывал и о ней, прямо скажу, ничего не знаю.

А вот из иностранных держав про Польшу знаю. И даже могу ее разоблачить.

В германскую войну я три года ходил по польской земле... И, конечно, изучил эту нацию.

Скажем — баба. Ихняя баба в руку целует. Только взойдешь в халупу:

— Ниц нема, пан...

И сама целует в руку.

Русскому человеку это невозможно.

Мужик ихний — безусловно, хитрая нация.

Ходит завсегда чисто, бороденка бритая, денежку копит.

Нация их теперь выясняется. Скажем: Верхняя Силезия... Зачем, пожалуйста, им Верхняя Силезия? Зачем же издеваться над германской расой?

Ну, хорошо, живи отдельной державой, имей свою денежную единицу, а к чему же еще такое несбыточное требование?

Нет, это уже очень чересчур гордая нация. И среди них женское население особенно задается.

Но между тем однажды я встретил одну польскую паненку и ее полюбил, и через это такая у меня к Польше симпатия пошла, лучше, думаю, этого народа и не бывает.

И нашло на меня, прямо скажу, такое чудо, такой туман: что она, прелестная красавица, ни скажет, то я и делаю.

Убить человека я, скажем, не согласен — рука дрогнет, а тут убил, и другого, престарелого мельника, убил. Хоть и не своей рукой, да только путем своей личной хитрости.

А сам, подумать грустно, ходил легкомысленно женишком прямо около нее, бороденку даже подстриг и подлую ее ручку целовал.

Было такое польское местечко Крево. На одном конце — пригорок — немцы окопались. На другом — обратно пригорок — мы окопчики взрыли, и польское это местечко Крево осталось лежать между окопчиками в овраге.

Польские жители, конечно, уволились, а которые хозяева, и, как бы сказать, добришко кому покинуть грустно — остались. И как они так существовали — подумать странно.

Пуля так и свистит, так и свистит над ними, а они — ничего, живут себе прежней жизнью.

Ходили мы к ним в гости.

Бывало, в разведку, либо в секрет, а уж по дороге, безусловно, в польскую халупу.

К мельнику все больше ходили.

Мельник такой существовал престарелый. Баба его сказывала: имеет, говорит, он деньжонки капиталом, да только не говорит где. Будто обещал сказать перед смертью, а пока чегой-то пугается и скрывает.

А мельник, это точно, скрывал свои деньжонки.

В задушевной беседе он мне и высказал. Высказал, что желает перед смертью пожить в полное семейное удовольствие.

— Пусть, — говорит, — они меня такого-то малехонько побалуют, а то скажи им, где деньжонки, — оберут, как липку, и бросят за свои любезные, даром что свои родные родственники.

Мельника этого я понимал и ему сочувствовал. Да только какое уж там, сочувствовал, семейное удовольствие, если болезнь у него жаба и ноготь, приметил я, синий.

Хорошо-с. Баловали они старичка.

Старик кобенится и финтит, а они так во взор его и смотрят, так перед ним и трепещут, пугаются, что не скажет про деньги.

А была у мельника семья: баба его престарелая, да неродная дочка, прелестная паненка Виктория Казимировна.

Я вот рассказывал великосветскую историю про клад князя вашего сиятельства — все воистинная есть правда: и босячки-крохоборы, и что били меня инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны. Была тогда другая особа, тоже, может быть, полячка — супруга молодого князя вашего сиятельства. А что касается Виктории Казимировны, то быть ее тогда, конечно, не могло. Была она в другой раз и по другому делу... Была она, Виктория Казимировна, дочка престарелого мельника.

И как это вышло? С первого даже дня завязались у нас прелестные отношения... Только, помню, пришли раз к мельнику, Сидим — хихикаем, а Виктория Казими-

ровна все, замечаю, ко мне ластится: то, знаете ли, плечиком, то ножкой.

— Фу, ты, — восхищаюсь, — какой интересный случай.

А сам все же пока остерегаюсь, отхожу от нее, да отмалчиваюсь.

Только попозже берет она меня за руку, любуется мной.

— Я, — говорит, — господин Синебрюхов, могу даже вас полюбить (так и сказала). И уже имею что-то в груди. Только, — говорит, — есть у меня до вас просьбишка: спасите, — говорит, — меня для ради бога. Желаю, — говорит, — уйти из дому в город Минск или еще в какой-нибудь там польский город, потому что — сами видите — погибаю я здесь курам насмех. Отец мой, престарелый мельник, имеет капитал, так нужно выпытать, где хранит его. Нужно мне разжиться деньгами. Я, — говорит, — против отца не злоупотребляю, но не сегодня — завтра он, безусловно, помрет, болезнь у него — жаба, и пугаюсь я, что про капитал не скажет.

Начал я тут удивляться, а она прямо-таки всхлипывает, смотрит в мои очи, любуется.

— Ах, — говорит, — Назар Ильич господин Синебрюхов, вы самый здесь развитой и прелестный человек, и как-нибудь вы это сделаете.

Хорошо-с. Придумал я такую хитрость: скажу старичку, дескать, выселяют всех из местечка Крево... Он, безусловно, вынет свое добро... Тут мы и заставим его поделить.

Прихожу назавтра к ним, сам, знаете ли, бороденку подстриг, блюзу гимнастерку новую надел, являюсь прямо-таки парадным женишком.

— Сейчас, — говорю, — Викторичка, все будет исполнено.

Подхожу демонстративно к мельнику.

— Так и так, — говорю, — теперь, — говорю, — вам, старичок, каюк-компания — выйдет завтра приказ: по случаю военных действий выселить всех жителей из местечка Крево.

Ох, как содрогнется тут мой мельник, как вскинется на постельке... И сам как был в нижних подштанниках — шасть за дверь и слова никому не молвил.

Вышел он на двор, и я тихонько следом.

А дело ночное было. Луна. Каждая даже травинка виднеется. И идет он весь в белом, будто шкелет какой, а я за сарайчиком прячусь.

А немец, помню, чтой-то тогда постреливал. Только прошел он, старичок, немного, да вдруг как ойкнет. Ойкнет и за грудь скорей. Смотрю — и кровь по белому каплет.

«Ну, — думаю, — произошла беда — пуля».

Повернулся он, смотрю, назад, руки опустил и к дому.

Да только смотрю, пошел он как-то жутко. Ноги не гнет, сам весь в неподвижности, а поступь грузная.

Забежал я к нему, сам пугаюсь, хвать да хвать его за руку, а рука уж холодеет, и смотрю: в нем дыханья нет — покойник. И незримой силой взошел он в дом, веки у него закрыты, а как на пол ступил, так пол гремит — земля к себе покойника требует.

Закричали тут в доме, раздались перед мертвецом, а он дошел поступью смертной до постельки, тут и скосился.

И такой в халупе страх настал, — сидим и дышать даже жутко.

Так вот помер мельник через меня, и сгинули — вовеки-веков — его деньжонки капиталом.

А очень тут загрустила Виктория Казимировна. Плачет она и плачет, и всю неделю плачет — не сохнут слезы.

А как приду к ней — гонит и видеть меня не может.

Так прошла, запомнил, неделя, являюсь к ней. Слез, смотрю, нету, и подступает она ко мне даже любовно.

— Что ж, — говорит, — ты сделал, Назар Ильич господин Синебрюхов? Ты, — говорит, — во всем виноват, ты теперь и раскаивайся. Ты, — говорит, — погубил моего отца. И через это я окончательно лишилась его деньжонок. И теперь достань ты мне хоть с морского дна какой-нибудь небольшой капитал, а иначе, — говорит, — ты первый для меня преступник, и уйду я, знаю куда, в обоз, — звал меня в любовницы прапорщик Лапушкин и обещал даже золотые часишки с браслеткой.

Покачал я прегорько головой: дескать, откуда мне

такому-то разжиться капиталом, а она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низенько:

— Пойду, — говорит, — поджидает меня прапорщик Лапушкин. Прощайте, пожалуйста, Назар Ильич господин Синебрюхов!

— Стой, — говорю, — стой, Виктория! Дай, говорю, срок, — дело это обдумать надо.

— А чего, — говорит, — его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, только исполни мою просьбу.

И осенила тут меня мысль.

На войне, думаю, все можно. Будут, может, немцы наступать — пошурую по карманам, если на то пошло.

А вскоре и вышел подходящий случай.

Была у нас в окопах пушечка... Эх, дай бог память — Гочкис заглавие. Морская пушечка Гочкис.

Дульце у ней тонехонькое, снаряд — и смотреть на него глупо, до того незначительный снаряд. А стреляет она всячески не слабо. Стрельнет и норовит взорвать, что побольше.

Над ней и командир был — морской подпоручик Винча. Подпоручик ничего себе, но — сволочь. Бить не бил, но под винтовку ставил запросто.

А очень мы любили эту пушечку и завсегда ставили ее в свой окоп.

Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок и — пушечка.

Германии она очень досаждала. В польский костел она била по куполу, потому был там германский наблюдатель.

По пулеметам тоже била.

И прямо немцам она не давала никакого спасения.

Так вот вышел случай.

Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть — затвор. И притом унесли пулемет. И как это случилось — удивительно подумать. Время было тихое, я, безусловно, к Виктории Казимировне пошел, часовой у пушечки вздремнул, а подчасок, дрянь такая худая, в дежурный взвод пошел. Там в картишки играли.

Ну, ладно. Пошел.

Только играет он в карты, выигрывает и, сучий сын, не поинтересуется посмотреть, что случилось.

А случилось: немцы пушечкин затвор стибрили.

К утру только подошел подчасок к пушечке и зрит: лежит часовой безусловно мертвый, и кругом — кража.

Ох, и было же что тогда!

Морской подпоручик Винча тигрой на меня наскакивает, весь дежурный взвод ставит под винтовку и каждому велит в зубах по карте держать, а подчаску — веером три карты.

А к вечеру едет — волнуется генерал ваше превосходительство.

Ничего себе, хороший генерал. Но, конечно, не очень уж. Вот он взглянул на взвод, и гнев его прошел. Тридцать человек, как один, в зубах по карте держат.

Усмехнулся генерал.

— Выходи, — говорит, — отборные орлы, налетай на немцев, разоряй внешнего врага.

Вышли тут, запомнил, пять человек, и я с ними.

Генерал ваше превосходительство восхищается нами.

— Ночью, — говорит, — летите, отборные орлы. Режьте немецкую проволоку, изыскивайте хоть какой-нибудь пулемет и, если случится, — пушечкин затвор.

Хорошо-с...

К ночи мы и пошли.

Я-то играючи пошел. Мыслишку, во-первых, свою имел, а потом, имейте в виду, жизнь свою я не берег. Я, знаете ли, счастье вынул.

В одна тыща девятьсот, должно быть, что в шестнадцатом году, запомнил, ходил такой черный, люди говорили, румынский мужик. С птицей он ходил. На груди у него — клетка, а в клетке — не попка, — попка та зеленая, — а тут вообще какая-то тропическая птица. Так она, сволочь такая, ученая, клювом вынимала счастье — кому что. А мне, запомнил, планета Рак и жизнь предсказана до девяноста лет.

И еще там многое что предсказано, что — я уж и позабыл, да только все исполнилось в точности.

И тут вспомнил я предсказание и пошел, прямо скажу, гуляючи.

Подошли мы к немецкой проволоке. Темь. Луны еще не было. Прорезали преспокойно лаз. Спустились вниз,

в окопчики в германские. Прошли шагов с полста — пулемет — пожалуйста.

Уронили мы германского часового наземь и придушили тут же...

Очень мне это было неприятно, жутковато, и вообще, знаете ли, ночной кошмар.

Хорошо-с.

Сняли пулемет с катков, разобрали кому что: кому катки, кому ящики, а мне, запомнил, подсунули самую что ни есть тяжесть — тело пулемета. Почти что целый пулемет.

И такой, провались он совсем, претяжеленный был; те налегке — шаг да шаг и скрылись от меня, а я пыхчу — затрудняюсь, поскольку мне досталась такая тяжесть. Мне бы наверх ползти, да смотрю — проход сообщения... Я в проход сообщения... А из-за угла вдруг германец прездоровенный-здоровенный, и наперевес у него винтовка. Бросил я пулемет под ноги и винтовку тоже против него вскинул.

Только чую — германец стрельнуть хочет, голова на мушке.

Другой оробел бы, другой — ух, как оробел бы, а я ничего — стою, не трепыхнусь даже. А поверни я только спину, либо щелкни затвором — тут, безусловно, мне и конец.

Так вот стоим друг против дружки, и всего-то до нас пять шагов. Зрим друг друга глазами и ждем, кто побежит. И вдруг как задрожит германец, как обернется назад... Тут я в него и стрельнул. И вспомнил, чего задумал. Подполз к нему, пошарил по карману — противно. Ну, да ничего — превозмог себя, вынул кабаньей кожи бумажник, вынул часишки в футляре (немцы все часишки в футляре носят), взвалил пулемет на плечо и наверх. Дошел до проволоки — нету лаза. Да и мыслимо ли в темноте его найти?

Стал я через проволоку продираться — трудно. Может быть, час или больше лез, всю прорвал себе спину и руки совсем изувечил. Да только все-таки пролез. Вздохнул я тут спокойно, залег в траву, стал себе руки перевязывать, — кровь так и льет.

И забыл совсем, чума меня возьми, что я еще в германской стороне, а уже светает. Хотел было я бежать,

да тут немцы тревогу подняли, нашли, видимо, у себя происшествие, открыли по русским огонь и, конечно, поползи я, тут бы меня и приметили и убили.

А место, смотрю, вполне открытое было и подальше травы даже нет — лысое место. А до халуп шагов триста.

«Ну, — думаю, — каюк-компания, лежи теперь, Назар Ильич господин Синебрюхов, благо трава спасает».

Хорошо. Лежу.

А немцы, может быть, очень обиделись: стибрили у них пулемет и двоих почем зря убили, — мстят — стреляют, прямо скажу, без остановки.

К полдню перестали стрелять, да только, смотрю, чуть кто проявится в нашей, в русской стороне, так они туда и метят. Ну, значит, думаю, безусловно, они настороже, и нужно лежать до вечера.

Хорошо-с.

Лежу час. И два лежу. Интересуюсь бумажником — денег не мало, только все иностранные. Часишками любуюсь. А солнце прямо так и бьет в голову, и дух у меня замирать стал. И жажда. Стал я тут думать про Викторию Казимировну, только смотрю — сверху на меня ворон спускается.

Я лежу живой, а он, может, думает, что падаль, и спускается.

Я на него тихонько шикаю:

— Шш, — говорю, — пошел, провал тебя возьми!

Машу рукой, а он, может быть, не верит и прямо на меня наседает.

И ведь такая птичка нечисть — прямо на грудь садится, а поймать я никак его не поймаю — руки изувечены, не гнутся, а он еще бьется больно клювом и крылами.

Я отмахнусь — он взлетит и опять рядом сядет, а потом обратно на меня стремится и шипит даже. Это он кровь, гадюка, на руке чует.

Ну, думаю, пропал, Назар Ильич господин Синебрюхов! Пуля не тронула, а тут птичья нечисть, прости господи, губит человека зря.

Немцы, безусловно, сейчас заприметят, что такое приключилось тут за проволокой. А приключилось: ворон при жизни человека жрет.

Бились так мы долго. Я все норовлю его ударить, да только перед германцем остерегаюсь, а сам прямо-таки чуть не плачу. Руки у меня и так-то изувечены — кровь текет, а тут еще он щиплет. И такая злоба к нему напала, только он на меня устремился, как я на него крикну: кыш, — кричу, — паршивец!

Крикнул, и, безусловно, немцы сразу услышали. Смотрю, змеей ползут германцы к проволоке.

Вскочил я на ноги — бегу. Винтовка по ногам бьется, а пулемет наземь тянет. Закричали тут немцы, стали по мне стрелять, а я и к земле не припадаю — бегу.

И как я добежал до первых халуп, прямо скажу — не знаю. Только добежал, смотрю — из плеча кровь текет — ранен. Тут по за халупами шаг за шагом дошел до своих и скосился замертво. А очнулся, запомнил, в обозе в полковом околотке.

Только хвать-похвать за карман — часишки тут, а кабаньего бумажника как не бывало. То ли я на месте его оставил — ворон спрятать помешал, то ли выкрали санитары.

Заплакал я прегорько, махнул на все рукой и стал поправляться.

Только узнаю: живет у прапорщика Лапушкина здесь в обозе прелестная полячка Виктория Казимировна.

Хорошо-с.

Прошла, может быть, неделя, наградили меня Георгием, и являюсь я в таком виде к прапорщику Лапушкину.

Вхожу в халупу.

— Вздравствуйте, — говорю, — ваше высокоблагородие, и вздравствуйте, пожалуйста, прелестная полячка Виктория Казимировна!

Тут, смотрю, смутились они оба. А он встает, ее заслоняет.

— Чего, — говорит, — тебе надобно? Ты, говорит, давно мне примелькался, под окнами треплешься. Ступай, — говорит, — отсюдова, к лешему.

А я грудь вперед и гордо так отвечаю:

— Вы, — говорю, — хоть и состоите в чине, а дело тут, между прочим, гражданское, и имею я право разго-

варивать, как и всякий. Пусть, — говорю, — она, прелестная полячка, сама сделает нам выбор.

Как закричал он на меня:

— Ах, ты, — закричал, — сякой-такой водохлеб! Как же ты это смеешь так выражаться... Снимай, — говорит, — Георгия, сейчас я тебя наверно ударю.

— Нет, — отвечаю, — ваше высокоблагородие, я в боях киплю и кровь проливаю, а у вас, — говорю, — руки короткие.

А сам тем временем к двери и жду, что она, прелестная полячка, скажет.

Да только она молчит, за Лапушкину спину прячется.

Вздохнул я прегорько, сплюнул на пол плевком и пошел себе.

Только вышел за дверь, слышу, ктой-то топчет ножками.

Смотрю: Виктория Казимировна бежит, с плеч роняет трикотажный платочек.

Подбежала она ко мне, в руку впилась цапастенькими коготками, а сама и слова не может молвить. Только секундочка прошла, целует она меня прелестными губами в руку и сама такое:

— Низенько кланяюсь вам, Назар Ильич господин Синебрюхов... Простите меня такую-то для ради бога, да только судьба у нас разная...

Хотел я было упасть тут же, перед ней, хотел было сказать что-нибудь такое, да вспомнил все, превозмог себя.

— Нету, — говорю, — тебе, полячка, прощения вовеки-веков.

ЧЕРТОВИНКА

Жизнь я свою не хаю. Жизнь у меня, прямо скажу, роскошная.

Да только нельзя мне, заметьте, на одном засиженном месте сидеть да бороденку почесывать.

Все со мной чтой-то такое случается... Фантазии я своей не доверяю, но какая-то, может быть, чертовинка препятствует моей хорошей жизни.

С германской войны я, например, рассчитывал домой уволиться. Дома, думаю, полное хозяйство. Так нет, навалилось тут на меня, прямо скажу, за ни про что всевсякое. Тут и тюрьма, и сума, и пришлось даже мне, такому-то, итти наниматься рабочим батраком к своему задушевному приятелю. И это, заметьте, при полном своем семейном хозяйстве.

Да-с.

При полном хозяйстве нет теперь у меня ни двора, ни даже куриного пера. Вот оно какое дело!

А случилось вот как.

Из тюрьмы меня уволили, прямо скажу, нагишом. Из тюрьмы я вышел разутый и раздетый.

«Ну, — думаю, — куда же мне такому-то голому итти — домой являться? Нужно мне обжиться в Питере».

Поступил я в городскую милицию. Служу месяц и два служу, состою все время в горе, только глядь-поглядь — нету двух лет со дня окончания германской кампании.

Ну, думаю, пора и ехать, где бы только разжиться деньжонками.

Вот и вышла мне такая встреча.

Стою раз преспокойно на Урицкой площади, смотрю, какой-то прет на меня в суконном галифе.

— Узнаешь ли, — вспрашивает, — Назар Ильич господин Синебрюхов? Я, — говорит, — и есть твой задушевный приятель.

Смотрю: точно — личность знакомая. Вспоминаю: безусловно, задушевный приятель, — Утин фамилия.

Стали мы тут вспоминать кампанию, стали радоваться, а он, вижу, чего-то гордится, берет меня за руку.

— Хочешь, — говорит, — знать мою биографию? Я комиссар и занимаю вполне прелестный пост в советском имении.

— Что ж, — отвечаю, — дорогой мой приятель Утин, всякому свое, всякий, — говорю, — человек делает от себя какую-нибудь пользу. Ты же человек, одаренный качествами, и я посейчас вспоминаю всякие исторические рассказы и переживания. И Пипина Короткого, — говорю, — помню. Спасибо тебе не малое!

А он вдруг мной восхитился.

— Хочешь, — говорит, — поедем ко мне, будем жить с тобой вобнимку и по-приятельски.

— Спасибо, — говорю, — дорогой приятель Утин, рад бы, да нужно торопиться мне в родную свою деревеньку.

А он вынул откуда-то кожаный бумажник, открыл десять косых.

— На, — говорит, — возьми, если на то пошло. Поезжай в родную свою деревню, либо так истрать, — мне теперь все равно.

Взял я деньжонки и адрес взял.

«Что ж, — думаю, — и я ему немало сделал, а тут вполне прекрасный случай, — поеду пока в свою деревню. А там видно будет — может, и действительно побываю по этому адресу. Вот, — думаю, — спасибо Утину — сделал благодарность за мое благодеяние».

А это верно: на фронте я его всегда покрывал. Там, скажем, бой или разведка, я — прямо к ротному командиру. Так и так, отвечаю, Утина никак нельзя послать. Ну, не дай бог, пуля его пристрелит, — человек он образованный, и погибнет с ним большое знание.

И через меня устроили его на длинномер, так он всю свою жизнь, всю то есть германскую кампанию, и мерил шаги до германских окопчиков.

Так вот произошла такая с ним встреча, и вскоре после того собрался я и поехал в родные свои места.

И вот, запомнил, подхожу к своей деревеньке походным порядком, любуюсь каждой даже ветошкой, восторгаюсь, только смотрю — ползет навстречу поп, чорт его побери.

«Ну, — думаю, — будет теперь беда-бедишка!»

А сам, безусловно, подхожу к нему.

— Вздравствуйте, — говорю, — батюшка отец Сергий! Вполне прелестный день.

Как шатнется он от меня в сторону.

— Ой-е-ей, — говорит, — взаправду ли это ты, Назар Ильич Синебрюхов, или мне это образ представляется?

— Да, — говорю, — взаправду, батюшка отец Сергий, а что, — говорю, — случилось — ответьте мне для ради бога.

— Да как же, — говорит, — что случилось? Я по тебе живому панихидки служу, и все мы почитаем тебя умер-

шим покойником, а ты вон как... А супруга, — говорит, — твоя, можешь себе представить, живет даже в советском браке с Егор Иванычем.

— Ой-е-ей, — отвечаю, — что же вы со мной такоеча сделали!

Очень я растрогался, сам дрожу.

«Ну, — думаю, — вот и беда-бедишка».

Ничего я попу больше не сказал и потрусил к дому. Взбегаю в собственный, заметьте, домишко, смотрю — уже сидят двое: баба моя Матрена Васильевна Синебрюхова да Егор Иванович. Чай кушают. Поклонился я низенько.

— Чай, — говорю, — вам да сахар! Что же тут такоеча приключилось, Егор Иванович Клопов, не томите меня для ради бога.

А сам не могу больше терпеть и по углам осматриваю свое добришко.

— Вот, — смотрю, — спасибо, сундучок, вот и штаны мои любезные висят, и шинелька — все на том же месте.

Только вдруг подходит ко мне Егор Иваныч, ручкой этак вот передо мной крутит.

— Ты, — говорит, — чужие предметы руками не тронь, а то, — говорит, — я сам за себя не отвечаю.

— Как же, — намекаю, — чужие предметы, Егор Иваныч, если это, безусловно, мои штаны? Вот тут даже, взгляните, химический подпис: Ен Синебрюхов.

А он:

— Нету тут твоих штанов и быть их не может, тут, — говорит, — все мое добришко пополам с Матреной Васильевной.

А сам берет Матрену Васильевну за локоток и за ручку, выводит ее, например, на середину.

— Вот, — говорит, — я, а вот — законная супруга моя, драгоценная Матрена Васильевна. И все, не сомневайтесь, по закону.

Тут поклонилась мне Матрена Васильевна.

— Да, — отвечает, — воистинная все это правда. Идите себе с богом, Назар Ильич Синебрюхов, не мешайте для ради бога постороннему счастью.

Очень я опять растрогался, вижу — все пошло прахом, и ударил я тут Егор Иваныча. И ударил, прямо скажу, не по злобе и не шибко ударил, а так, для ради

собственного блезиру. А он, гадюка, упал нарочно навзничь. Ногами крутит и кровью блюет.

— Ой-е-ей, — кричит, — убийство!

Стали тут собираться мужички. И председатель тоже собрался. Фамилия — Рюха. Начали тут кричать, начали с полу Егор Иваныча поднимать.

А только смотрю — многие прямо-таки мной восхищаются и за меня горой стоят и даже подзюкивают в смысле Егор Иваныча.

— Побей, — подзюкивают, — Егор Ивановича, а мы, — говорят, — в общей куче еще придадим ему, и даже, может быть, нечаянно произойдет убийство. И тогда ослобонится твоя бывшая супруга Матрена Васильевна.

Только замечаю: председатель Рюха перешептался с Егор Иванычем и ко мне подходит.

— Ты что ж это, — говорит, — нарушаешь тут беспорядки? Что ж ты, так твою так, выступаешь супротив нас? Контр твоя революция нам теперь вполне известна, и даже, если на то пошло, есть у меня свидетели.

Вижу — человек обижается, я ему тихоньким образом внедряю:

— Я, — говорю, — беспорядков не нарушаю. Ни отнюдь. Но, — говорю, — как же так, если это мое добришко, так имею же я право руками трогать? И штаны, — говорю, — мои, взгляните — химический подпис.

А он, гадюка, вынимает какую-нибудь там бумагу и читает.

— Нет, — говорит, — ничего тут не выйдет. Лучше, — говорит, — ушел бы ты куда ни на есть. Сам посуди: суд да дело, да уголовное следствие, — все это — год или два, а жрать-то тебе, безусловно, нужно. И к тому же, может быть выяснится, что ты — трудовой дезертир.

И так он обернул все это дело, что поклонился я всем низенько.

— Ладно, — отвечаю, — уйду куда ни на есть. Прощайте навсегда! Только пусть ответит мне Матрена Васильевна: где же родной мой сын, мальчик Игнаша?

А она, жаба, отвечает тихими устами:

— Сын ваш, мальчичек Игнаша, летось еще помер от испанской болезни.

Заскрипел я зубами, оглянулся на четыре угла —

вижу, все мое любезное висит, поклонился я в другой раз и вышел тихохонько.

Вышел я за деревню. Лес. Присел на пенек. Горюю. Только слышу: ктой-то трется у ноги.

И вижу: трется у ноги сучка небольшая, белая. Хвостиком она так и крутит, скулит, в очи мне смотрит и у ноги так и вьется.

Заплакал я прегорько, ласкаюсь к сучке.

А она как завоет тонехонько, как заскулит, как завьется задом, так пошла даже у меня сыпь по телу от неизвестного страха.

И вот тут я глянул на нее еще раз и задрожал.

«Откуда же, — думаю, — взяться тут сучке? — Так вот подумал, вскочил быстренько и, безусловно, от нее ходу. — Эге, — думаю, — это не спроста, это, может, и есть моя чертовинка во образе небольшой сучки».

Иду это я шибко, только смотрю — за мной катится.

Я за дерево схоронился, а она травинку нюх да нюх, понюхрила и, вижу, меня нашла, снова у ноги вьется и в очи смотрит. И такой на меня трепет напал, что закричал я голосом и побежал.

Только бегу по лесу — хрясь идет, а она за мной так скоком и скачет, так меня и достигает.

Упал я тут наземь, зарылся головой в траву, и начался со мной кошмар. Ветер ли зашуршит поверху, либо ветошка обломится, — мне все чудится, что достигает меня сучка и вот-вот зубами взгрызется и, может быть, перекусит горло и будет кровь сосать.

Так вот пролежал я час или, может быть, два, голову поднять не смею, и стал забываться.

Может быть, я тут заснул — не знаю, только утром встаю: трется у ноги сучка. А то мне будто страху никакого и нет и даже какой-то смех внутренний выступает.

«Да это же, — думаю, — собачка с моего двора. Может, она не пожелала с Клоповым находиться и вот пристала ко мне, к своему законному хозяину».

Погладил я сучку по шерстке, сам, безусловно, еще остерегаюсь.

— Ну, — говорю, — нужно нам итти. Есть, говорю, у меня такой задушевный приятель Утин. К нему мы и пойдем. Будем с ним жить вобнимку и по-приятельски. Пойдем со своим законным хозяином.

Так вот я сказал ей, будто у нас вчера ничего и не было. Встаю и иду тихонечко. Она, безусловно, за мной.

Прихожу, например, в одну деревню, расспрашиваю.

— Это, — говорят, — очень даже далеко и итти туда нужно, может быть, пять ден.

— Ой-е-ей, — говорю, — что же мне такоеча делать? Дайте, — говорю, — мне, если на то пошло, полбуханки хлеба.

— Что ты, — говорят, — что ты, прохожий незнакомец, тут все голодают и сами возьмут, если дастишь.

Так вот не дали мне ничего, и в другой деревне тоже ничего не дали, и пошел я вовсе даже голодный с белой своей сучкой.

Да еще, не вспомню уж откуда, увязался за нами преогромный такой пес — кобель.

Так вот иду я сам-третий, голодую, а они, безусловно, нюх да нюх и найдут себе пропитание.

И так я голодал в те дни, провал их возьми, что начал кушать всякую нечисть и блекоту, и съел даже, запомнил, одну лягуху.

Теперь вот озолоти меня золотом — в рот не возьму, а тогда съел.

Было это, запомнил, к концу дороги. К вечеру я, например, очень ослаб, стал собирать грибки да ягодки, смотрю — скачет.

И вспомнил: говорил мне задушевный приятель, что лягух, безусловно, кушают в иностранных державах и даже вкусом они вкусней рябчиков. И будто сам он ел и похваливал.

Поймал я тогда лягуху, лапишки ей пообрывал. Кострик, может быть, разложил и на согретый камушек положил пекчись эти ножки.

А как стали они печеные, дал одну сучке, а та ничего — съела.

Стал и я кушать.

Вкуса в ней, прямо скажу, никакого, только во рту гадливость.

Может быть, ее нужно с солью кушать — не знаю, но только в рот ее больше не возьму.

Все-таки съел я ее, любезную. Поблевал малехонько. Заел еще грибками и побрел дальше.

И сколько я так шел — не помню, только дошел до нужного места.

Вспрашиваю:

— Здесь ли проживает задушевный приятель Утин?

— Да, — говорят, — безусловно, здесь проживает задушевный приятель Утин. Взойдите вот в этот домишко.

Взошел я в домишко, а сучка у меня, заметьте, в ногах так и вьется, и кобель сзади. И вот входит в зальце задушевный приятель и удивляется:

— Ты ли это, Назар Ильич товарищ Синебрюхов?

— Да, — говорю, — безусловно. А что, — говорю, — такоеча?

— Да нет, — говорит, — ничего. Я — говорит, — тебя не гоню и супротив тебя ничего не имею, да только как же все это так? У меня, — говорит, — тут уже папаша живет. И мой папаша наверно будет что-нибудь иметь против. Он у меня очень такой несговорчивый старичок. А лично я, — говорит, — всецело рад и счастлив твоему прибытию.

Тогда я отвечаю ему гордо:

— Нет, — отвечаю, — дорогой мой приятель Утин, вижу, что ты не рад, но я, — говорю, — пришел не в гости гостить и не вобнимку жить. Я, — говорю, — пришел в рабочие батраки наняться, потому что нет у меня теперь ни кола, ни даже куриного пера.

Подумал это он.

— Ну, — говорит, — ладно. Лучше меня, это знай, человека нет! Я, — говорит, — каждому отец родной. Я, — говорит, — тебя чудным образом устрою. Становись ко мне рабочим по двору. Я так своему папе и скажу.

И вдруг, замечайте, всходит из боковой дверюшки старичок. Чистенький такой старикан. Блюза на нем голубенькая, подпоясок, безусловно, шелковый, а за подпояском — платочек носовой. Чуть что — сморкается в него, либо себе личико обтирает. А ножками так и семенит по полу, так, гадюка, и шуршит новыми полсапожками.

И вот подходит он ко мне.

— Я, — говорит, — рекомендуюсь: папаша Утин. Чего это ты, скажи, пожалуйста, приперся с собаками? Я, — говорит, — имейте в виду, собак не люблю и терпеть их ненавижу. Они, мол, всюду гадят и кусаются.

А сам, смотрю, сучку мою все норовит ножкой своей толкнуть.

И так он сразу мне не понравился, и сучке моей, вижу, не понравился, но отвечаю ему такое:

— Нет, — говорю, — старичок, ты не пугайся, они некусачие...

Только это я так сказал, сучка моя как заурчит, как прыгнет на старичка, как куснет его за левую ручку, так он тут и скосился.

Подбежали мы к старичку...

И вдруг, смотрю, убежала моя сучка. Кобель, безусловно, тут, кобель, замечайте, не исчез, а сучки нету.

Люди после говорили, будто видели ее на дворе, будто она ела косточку, да только вряд ли, не знаю, не думаю... Дело это совершенно удивительное...

Так вот подошли мы к старичку. Позвали фершала. Фершал ранку осмотрел.

— Да, — говорит, — это собачий укус небольшой сучки. Ранка небольшая. Маленькая ранка. Не спорю. Но, — говорит, — наука тут совершенно бессильна. Нужно везть старичка в Париж, — наверное, сучка была бешеная.

Услышал это старичок, задрожал, увидел меня.

— Бейте, — закричал, — его! Это он подзюкал сучку, он на мою жизнь покусился. Ой-е-ей, — говорит, — умираю и завещаю вам перед смертью: гоните его отсюда.

Ну, думаю, вот и беда-бедишка произошла через эту белую сучку. Недаром я ее в лесу испугался.

А подходит тут ко мне задушевный приятель Утин.

— Вот, — говорит, — тут налево — порог. Больше мы с тобой не приятели!

ГИБЛОЕ МЕСТО

Много таких же, как и не я, начиная с германской кампании, ходят по русской земле и не знают, к чему бы им такое приткнуться.

И верно. К чему приткнуться человеку, если каждый предмет, заметьте, свиное корыто даже, имеет свое назначение, а человеку этого назначения не указано? И через это человеку самому приходится находить свое определение.

И через это, начиная с германской кампании, многие ходят по русской земле, не понимая, что к чему.

И таких людей видел я немало и презирать их не согласен. Такой человек — мне лучший друг и дорогой мой приятель. Поскольку такой человек ищет свое определение. И я тоже это ищу. Но только не могу найти, поскольку со мной случаются разные бедствия, истории и происшествия.

Конечно, есть такие гиблые места, где кроме таких как я, и другие тоже ходят. Жулики. Но такого страшного жулика я сразу вижу. Взгляну и вижу, какой он есть человек.

Я их даже по походке, может быть, отличу, по самомалейшей черточке увижу.

Я вот, запомнил, встретил такого человека. Через него мне тоже одна неприятность произошла. А я в лесу его встретил.

Так вот, представьте себе — пенек, а так — он сидит. Сидит и на меня глядит.

А я иду, знаете ли, и его будто и не примечаю.

А он вдруг мне и говорит:

— Ты, — говорит, — это что?

Я ему и отвечаю:

— Вы, — говорю, — не пугайтесь, иду я, между прочим, в какую-нибудь там деревню на хлебородное местечко в рабочие батраки.

— Ну, — говорит, — и дурак (это про меня то есть). Зачем же ты идешь в рабочие батраки, коли я, может быть, желаю тебя осчастливить? Ты, — говорит, — сразу мне приглянулся наружной внешностью, и беру я тебя в свои компаньоны. Привалило тебе немалое счастье.

Тут я к нему подсел.

— Да что ты? — отвечаю. — Мне бы, — говорю, — милый ты мой приятель, вполне бы неплохо сапожонками раздобыться.

— Гм, — говорит, — сапожонками... Дивья тоже. Тут, — говорит, — вопрос является побольше. Тут вопрос очень даже большой.

И сам чудно как-то хихикает, глазом мне мигунмигает и все говорит довольно хитрыми выражениями.

И смотрю я на него: мужик он здоровенный и высокущий, и волосы, у него, заметьте, так отовсюду и лезут,

прямо-таки лесной он человек. И ручка у него тоже особенная. Правая ручка у него вполне обыкновенная, а на левой ручке пальцев нет.

— Это что ж, — вспрашиваю, — приятель, на войне пострадал в смысле пальцев-то?

— Да нет, — мигает, — зачем на войне. Это, — говорит, — дельце было. Уголовно-политическое дельце. Бякнули меня топором по случаю.

— А каков же, — вспрашиваю, — не обидьтесь только, случай-то?

— А случай, — говорит, — вполне простой: не клади лапы на чужой стол, коли топор вострый.

Тут я на него еще раз взглянул и увидел, что он за человек.

А после немножко оробел и говорю:

— Нет, — говорю, — милый ты мой приятель. Мне с тобой не по пути. Курс у нас с тобой разный. Я, говорю, не согласен итти на уголовно-политическое дело, имей в виду. Я человек, говорю, вполне кроткий, потребности у меня небольшие. И прошу — оставьте меня в покое.

Так вот ему рассказал это, встал и пошел.

А он мне и кричит:

— Ну, и выходит, что ты дурак и старая дырявая тряпка (это на меня то есть). Пошел, — говорит, — проваливай, покуда целый!

Я, безусловно, за березку да за сосну — и теку.

И вот, запомнил, пришел в деревню, выбрал хату наибогатенькую. Зашел. Наймусь, думаю, тут в батраки. Наверное кормить будут неплохо. А то я сильно отощал. И вот зашел.

А жил-был там мужик Егор Савич. И такой, знаете ли, прелестный говорун мужик этот Егор Савич, что удивительно даже подумать. Усадил он меня, например, к столу, хлебцем попотчевал.

— Да, — отвечает, — это можно. Я возьму тебя в работники. Пожалуйста. Что другое — не знаю, может быть, ну, а это — сделайте ваше великое удовольствие — могу. Делов тут хотя у меня немного и даже чересчур мало, и вообще работы у меня почти нету, но зато мне будет кое с кем словечком переткнуться. А то баба моя — совсем глупая дура. Ей бы все пить да жрать, да про жизнь на картишках гадать. Можете себе пред-

ставить. Так что я тебе прямо скажу — найму не без удовольствия. Только, — говорит, — приятный ты мой, по совести тебе скажу, место у нас тут гиблое. Народу тут множество-многое до смерти испорчено. Босячки всякие так и ходят под флагом бандитизма. Поп вот тоже тут потонул добровольно, а летом, например, матку моей бабы убили по случаю. Тут, приятный ты мой, места вполне гиблые. Смерть так и ходит, своей косой помахивает. Но если ты не из пугливых, то, конечно, оставайся.

Так вот поговорили мы с ним до вечера, а вечером баба его кушать подает.

Припал я тут к горяченькому, а он, Егор Савич, так и говорит, так и поет про разные там дела-делишки и все клонит разговор на самые жуткие вещи и приключения, и сам дрожит и пугается.

Рассказал он мне тогда, запомнил, случай, как бабку Василису убили. Как бабка Василиса у помойной кучи присела, а он, убийца, так в нее и лепит из шпалера и все мимо. Раз только попал, а после все мимо.

А дельце это такое было:

Пришли к ним два человека и за стол без слова сели. А бабка Василиса покойница — яд была бабка.

Ладно. Бабка Василиса видит, что смело они так сели, и к ним.

— Вы, — говорит, — кто же такие будете, красные, может быть, или, наверное, белые?

Те усмехнулись и говорят:

— А ты угадай, мамаша. Ежели угадаешь, то мы тебя угостим свиным шпиком. А ежели нет, то извиняемся — на тот свет пошлем. Нынче жизнь не представляет какой-нибудь определенной ценности, а это у нас будет вроде интересной игры, которая нас подбодрит на дальнейшее путешествие.

Бабка Василиса испугалась и затряслась. Сначала она так сказала, потом этак.

Те говорят:

— Нет, не угадала, мамаша. Мы — зеленая армия. И мы идем против белых и против красных под лозунгом «Догорай, моя лучина».

И тут они взяли бабку и застрелили ее во дворе.

И когда это Егор Савич рассказал, я его побранил.

— Чего ж это ты, — побранил, — за бабку-то не вступился? Явление это вполне недопустимое.

— Да, — говорит, — недопустимое, сознаю, но, — говорит, — если б она мне родная была матка, то — да, то я, я очень вспыльчивый человек, я, может быть, зубами бы его загрыз, ну, а тут не родная она мне матка—бабы моей матка. Сам посуди, зачем мне на рожон было лезть?

Спорить я с ним не стал, меня ко сну начало клонить, а он так весь и горит и все растравляет себя на страшное.

— Хочешь, — говорит, — я тебе еще про попа расскажу? Очень, — говорит, — это замечательное явление.

— Что ж, — отвечаю, — говори, если на то пошло. Ты, — говорю, — теперь хозяин.

Начал он тут про попа рассказывать, как поп тонул.

— Жил-был, — говорит, — поп Иван, и можете себе представить...

Говорит это он, а я слышу — стучит ктой-то в дверь, и голос-бас войти просит.

И вот, представьте себе, входит этот самый беспалый, с хозяином здоровается и мне все мигунмигает.

— Допустите, — говорит, — переночевать. Ночка, — говорит, — темная, я боюсь. А человек я богатый. Могут обокрасть.

И сам, жаба, хохочет.

А Егор Савич так в мыслях своих и порхает.

— Пусть, — говорит, — пусть. Я ему про попа тоже расскажу... Жил-был, — говорит, — поп, и, можете себе представить, ночью у него завыла собака...

А я взглянул в это время на беспалого, — ухмыляется, гадюка. И сам вынимает серебряный портсигарчик и папироску закуривает.

«Ну, — думаю, — вор и сибиряк. Не иначе, как кого распотрошил. Ишь ты, какую вещь стибрил».

А вещь — вполне роскошный барский портсигар. На нем, знаете ли, запомнил, букашка какая-нибудь, свинка, буковка...

Оробел я снова и говорю для внутренней бодрости:

— Да, — говорю, — это ты, Егор Савич, например, про собаку верно. Это неправда, что смерть — старуха с косой. Смерть — маленькое и мохнатенькое, катится и хи-

хикает. Человеку она незрима, а собака, например, ее видит, и кошка видит. Собака как увидит — мордой в землю уткнется и воет, а кошка — та фырчит, и шерстка у ней дыбком становится. А я вот, — говорю, — такой человек, смерти хотя и не вижу, но убийцу замечу издали и вора, например, тоже.

И при этих моих словах на беспалого взглянул.

— У... у...

Как завоет собака, так мы тут и зажались.

Смерти я не боюсь, смерть мне даже очень хорошо известна по военным делам, ну, а Егор Савич — человек гражданский, частный человек.

Егор Савич как услышал «у... у...», так посерел весь будто лунатик, заметался, припал к моему плечику.

— Ох, — говорит, — как вы хотите, а это, безусловно, на мой счет. Ох, — говорит, — моя очередь. Не спорьте.

Смотрю — и беспалая жаба сидит в испуге.

Егора Савича я утешаю, а беспалый говорит такое:

— С чего бы, — говорит, — тут смерти-то ходить? Давайте, говорит, лягем спать поскореича. Завтра-то мне (замечайте) чуть свет вставать нужно.

«Ох, — думаю, — хитровой мужик, как красноречиво выказывает свое намеренье. Ты только ему засни, а он хватит тебя, может быть, топориком и — баста, чуть свет уйдет».

Нет, думаю, не буду ему спать, не такой я еще человек темный.

Ладно. Пес, безусловно, заглох, а мы разлеглись, кто куда, а я, запомнил, на полу приткнулся.

И не знаю уж, как вышло, может, что горяченького через меру покушал, — задремал.

И вот представилась мне во сне такая картина. Снится мне, будто сидим мы у стола, как и раньше, и вдруг катится, замечаем, по полу темненькое и мохнатенькое, вроде крысы. Докатилось оно до Егора Савича и — прыг ему на колени, а беспалый нахально хохочет. И вдруг слышим мы ижехерувимское пение, и деточка будто такая маленькая в голеньком виде всходит и передо мной во фронт становится и честь мне делает ручкой.

А я будто оробел и говорю:

— Чего, — говорю, — тебе, невинненькая деточка, нужно? Ответьте мне для ради бога.

А она будто нахмурилась, невинненьким пальчиком указывает на беспалого.

Тут я и проснулся. Проснулся и дрожу. Сон, думаю, в руку. Так я об этом и знал.

Дошел я тихоньким образом до Егора Савича, сам шатаюсь.

— Что, — вспрашиваю, — жив ли? — говорю.

— Жив, — говорит, — а что такоеча?

— Ну, — говорю, — обними меня, я твой спаситель, буди мужиков, вязать нужно беспалого сибирского преступника, поскольку он, наверное, хотел тебя топором убить.

Разбудили мы мужиков, стали вязать беспалого, а он, гадюка, представляется, что не в курсе дела.

— Что, — говорит, — вы горохом объелись, что ли? Я, — говорит, — и в мыслях это убийство не держал. А что касается моего серебряного портсигара, то я его не своровал, а заработал. И я, — говорит, — могу хозяину по секрету сказать — чем я занимаюсь.

И тут он наклоняется к Егор Савичу и шепчет.

Видим, Егор Савич смеется и веселится и так мне отвечает:

— Я, — говорит, — тебя рабочим к себе не возьму. Ты, — говорит, — только народ смущаешь. Этот беспалый человек есть вполне прелестный человек. Он — заграничный продавец. Он для нас же, дураков, носит спирт из-за границы, вино, коньяк и так далее.

«Ну, — думаю, — опять со мной происшествие случилось. На этот раз, — думаю, — сон подвел. Не то, — думаю, — во сне видел, чего надо. А все, — думаю, — мое воображение плюс горячая пища. Придется, — думаю, — снова итти в поисках более спокойного места, где пища хорошая и люди не так плохи».

Собрал я свое барахлишко и пошел.

А очень тут рыдал Егор Савич.

— Прямо, — говорит, — и не знаю, на ком теперь остановиться, чтоб чего-нибудь рассказывать.

Проводил он меня верст аж за двадцать от гиблого места и все рассказывал разные разности.

1921 г.

Виктор Финк

КОМБАТАНТЫ

1. КАПРАЛ

Я нашел в Париже своего старого товарища Рене Ф.

В университете мы с первого курса сидели на одной скамье, в Латинском квартале жили в смежных комнатах и вместе мечтали о сверкающей жизни.

Едва вспыхнула война, Рене стал рваться в армию. Он с нетерпением ожидал, когда двери рекрутских бюро откроются для иностранцев. Ждать пришлось целых три недели — до двадцать первого августа. Ожидание было для него полно тревог, — а вдруг не возьмут? У него было слабое здоровье и близорукие глаза.

Рене был человек серьезный. Его влекло на войну не искание военных приключений, подвигов, славы, геройства, не то безотчетное чувство наивного юношеского идеализма, которое угнало на поля сражений десятки тысяч молодых людей. Нет! Рене видел в войне страшную и истребительную катастрофу, он знал заранее, что она будет полна бедствий и горя. Но он считал, — как и многие, — что военная гроза развеет удушье, в котором жила Европа, и принесет людям новую, лучшую жизнь.

Двадцать первого августа мы оба ушли в армию и были определены в иностранный легион.

Сначала нас разместили в разные батальоны, и мы еще в тылу потеряли друг друга, но на фронте мы неожиданно встретились глухой ночью у фермы Шодар, которую с короткими интервалами молотили артиллерии — немецкая, французская и английская. Я тогда попросился в роту Рене, и он был моим капралом.

Война оказалась не похожей на то, что мы предполагали. Мы месяцами гнили в окопах, нас поедали вши, и невидимые артиллеристы расстреливали нас издалека.

Служба в легионе была особенно тяжела. Нами командовали и помыкали воры и убийцы.

Волонтеры ворчали, хлопотали о переводе в другие полки; однажды произошла драка между группой волонтеров-интеллигентов и старыми волками легиона. Восемнадцать волонтеров ушли за эту драку на каторгу, девять было расстреляно.

Странное и нередко недружелюбное чувство вызывала у товарищей стойкость, которую среди всех испытаний проявлял Рене Ф. Он точно не видел ужасов нашей жизни. Этот тщедушный человек не страдал от лишений. Рене Ф. не видел их. Его глаза фанатика были устремлены вперед, они видели только высокую конечную цель, — он боролся за право и справедливость, за свободу и братство.

Мы проделали кампанию, расстались и ничего не знали друг о друге свыше двадцати лет.

Я нашел его по телефонной книге. Он не считал меня в живых. Через несколько минут я был у него. Мне бросился на шею господин с седыми висками.

Рене Ф. уже давно адвокат. Он встретил меня, окруженный семьей. Нарядная дама стояла рядом с ним. Двое детей вытянулись в почтительном любопытстве. Горничная в белом переднике таращила глаза из-за спины хозяйки. Было даже несколько чопорно, но за обедом Рене пришел в благодушное настроение. Он подражал петушиному голосу профессора Кана, у которого мы слушали римское право, он говорил короткими и резкими фразами нашего ротного командира. Капрал разливал вино, пил, крякал, веселился, пел и был великолепен.

Потом мы попрощались с хозяйкой и поехали в старый Латинский квартал. На улице Соммерар мы остановились перед домом, в котором жили в 1912 году.

— Ты помнишь? — сказал Рене. — Тогда была балканская война. Мы собирались итти не то за турок против болгар, не то за болгар против турок!

— Помню, конечно.

— Если бы не экзамены, мы бы уехали на Балканы. На чью сторону стать, мы бы решили в поезде...

Я рассмеялся.

— Ага! — воскликнул Рене. — Смеешься? А мне не смешно. Теперь, когда у меня в плече дырка, а на ноге рубец, теперь я понимаю, что это такое было за блюдо, этот наш энтузиазм в четырнадцатом году. Общество так устроено, чтобы миллионам людей было не по себе, чтобы они никому не были нужны и не знали, куда себя девать. Это очень важно на случай войны. Когда приходит война, всех берут. Сразу все делаются нужны и искренне кричат «ура!» Потому что это великое дело для человека — почувствовать, что он нужен, что он не посторонний в жизни. Да! Хитро устроен мир.

— Капрал, — сказал я, — у тебя сделалось хорошее зрение на старости: ты довольно ясно стал видеть вещи. Но ты удивляешь меня, капрал. Я думал, ты — патриот и счастливый человек. А ты вот кто.

— Патриот? — сказал Рене. — Я?

— Ну да! Вот ты и орден носишь!

— Почетный легион? Для клиентов. Чтоб больше платили!.. Почему ты не спрашиваешь, где моя военная медаль и бронзовый крест?

— Правда, — сказал я. — Ты их не носишь? Этак никто и не узнает, что у тебя есть военные заслуги. Почетный легион можно ведь получить и за торговлю.

Он огрызнулся.

— Ну да! Пусть лучше меня принимают за торговца, чем за дурака.

— Так. Что же это ты?

— Ничего. Идем пиво пить.

Мы пошли. На улицах Латинского квартала, у здания университета, каждый камень напоминал нам о годах юности. Здесь мечтали мы о братстве и свободе. Здесь приняли мы и войну так, как она была нам представлена, — как войну за право и справедливость. Мы считали, что нам выпала великая удача, и ринулись в полки.

— Понимаешь, что получается?—внезапно сказал Рене, не то угадывая мои мысли, не то отвечая своим. — Мы обанкротились. Поубивали миллионы людей, утопили мир в крови. Потом кровь высохла, и мир снова тут — какой был, такой и есть.

— Что это ты все так разочарованно? — сказал я.

Мы уселись на террасе «Двух истуканов».

— Говори, что и как?

— Да так! — хмуро сказал Рене. — Ничего.

— Все-таки.

— Что тебе сказать? — точно выдавил он из себя. — Ничего не вышло. Ну, есть семья, есть практика, есть три ордена, две уборных есть в квартире. И все...

— Расскажи мне про Россию, — сказал он, помолчав. — Впрочем, нет, не надо! Я все знаю. Ты расскажешь мне про русских солдат. Не говори мне о них. Русский солдат! Этот тип пошел на пролом! Он не знал сомнений! А у нас каждая живая мысль изъедена. Сомнение, скепсис, бессилие копошатся в ней, как черви, и делают ее падалью! Если бы организм не вырабатывал гормонов иронии и цинизма, каждый давно перерезал бы себе горло за утренним бритьем.

— Ты сделался желчен, капрал! — сказал я. — Ты напоминаешь мне капитана Персье!

— Ротного? Если бы!.. Он был колониальный убийца. А я — интеллигент. Ты сейчас, конечно, прилепишь — «буржуазный» интеллигент. Ну и что ж? Пусть так! Но я был молод и дрался за справедливость. А где она?

Настала ночь. Кафе закрывалось. Мы взяли такси. Вскоре мы были у площади Звезды. Париж спал. Триумфальная арка еле прорезалась сквозь темноту ночи.

Мы вышли.

Прикрытая цветами, венками и лентами, лежала под аркой громадная плита: «Здесь покоится неизвестный солдат, умерший за Францию». Синий пламень подымался из изголовья могилы. Торжественная тишина окутала нас.

— Быть может, из наших кто-нибудь? — сказал я.

— Все равно! — угрюмо ответил Рене. — Солдат. Самый невиновный из всех расстрелянных.

Мы обнажили головы.

2. ПОЕЗДКА В БОРЬЕ

Мы поехали на поля сражений, нам хотелось видеть наш участок в Шампани.

В Реймсе мы взяли автомобиль и отправились на запад.

— Вот тут был Заячий бульвар, — говорит шофер

Мариус, указывая на узкую полоску виноградника. — А этот лесок они тогда звали Зубной щеткой. Они были шутники, эти бородачи! Они для всего находили словцо.

Из-за поворота дороги возникает одинокая часовня.

— Это в память деревни. Ее уже больше нет. Уничтожена.

Мы пересекаем несколько селений. Некогда мы видели их в огне и развалинах. Теперь в них бьется новая жизнь. Они сверкают розовой черепицей.

Мариус говорит:

— После войны построили. А та, прежняя, разрушена и не восстановлена. Молитесь за нее! Ее уж нет!

Потом он добавляет:

— Я сам тоже из такой деревни. Я из Рипона. Это на Марне. Вы, может, слыхали про такое название? Потому что сейчас Рипона нет. В четырнадцатом году его разбили немцы, потом его вконец добили французы. Когда немцы стали наваливаться, население пустилось наутек. Осталось только несколько чудаков. Вероятно, они со страху сошли с ума, потому что они выкопали громадную яму и пересыпали туда всех покойников, которые, быть может, сто лет лежали на кладбище. Там еще мой дед лежал — наполеоновский солдат. А сейчас Рипона больше нет. Я говорю — из Рипона, а я ниоткуда... Нет Рипона. Точка — и все.

Лесок, поле, военное кладбище.

На двух столбах большая доска с надписью указывает, что в пятистах метрах лежит такая-то деревня. Но деревни нет, никто теперь уже не установит среди сорных трав, где именно она находилась.

— Совсем как Рипон, — говорит Мариус. — Страшные у нас там бои были. По самый восемнадцатый год Немцы ввалились в августе четырнадцатого. А в ноябре их стали понемногу выживать. Четыреста метров отобрали в ноябре, потом еще столько же в декабре. А потом началась позиционная война с подкопами и взрывами. Сильные бывали взрывы.

Мариус смеется.

— Один сапер поймал сто пятьдесят осколков. Ах, мсье, если бы слышали, как этот чудак потом смешно рассказывал: «Я, — говорит, — искал свою ногу. Спасибо, — говорит, — ребята из взвода подобрали ее!» Од-

ного типа из Эро, крестьянского парня, ранило в руку, он сам себе ампутировал ее ножом. Вот какие герои были. А Рипона все-таки отобрать не смогли! Только в восемнадцатом году Гуро отобрал эту землю. Но деревни уже больше не было. Только на карте осталось место. А деревня пропала.

Мы пересекаем канал. Двадцать лет хранил я в памяти видение этого канала. Оно осталось у меня как непостижимый образ тишины и покоя: вода еле двигалась тогда среди густых зеленей, брошенная баржа стояла у берега и окровавленная куртка зуава валялась на борту.

Кладбище спокойно и просторно разместилось у деревни Понтарев, на том месте, где некогда стоял наш обоз. Сторож инвалид на деревянной ноге открыл нам калитку. Мы долго и грустно бродили среди крестов.

— Если бы мы умели так правильно стоять в строю, как правильно наши ребята построились в могилах, капитан Персье ругался бы гораздо реже, — заметил Рене.

Мы пересекли лужайки и чащи, где двадцать лет назад бродили мы с полком. Костры легиона снова дымились у меня перед глазами, снова ворчала, пела, веселилась и ругалась вторая рота. Мы искали славы и победы.

Мариус сказал:

— Ему, однако, повезло в жизни, этому гиппопотаму!

— Которому?

— А этому сторожу. Вот он сторож на кладбище. А не оторвало бы ему ногу, ходил бы без работы.

— Ладно, — сказал Рене. — Езжайте в Борье. Мы хотим видеть Борье. Пять километров отсюда.

— Вот тут, за поворотом, она жила, вдова с родимыми пятнышками. Помнишь ее? Уже она теперь старушка, должно быть! — говорит Рене, когда мы въезжали в Борье.

Наш взвод жил одно время в погребе помещичьего замка. Мы не знали, кто выпил вино и кто разбил бутылки, но спать нам пришлось на битом стекле.

— Опыт показывает, — высокопарно сказал однажды мой незабвенный друг, легионер Лум-Лум, — что битое бутылочное стекло, даже будучи перекрыто солдатской

шинелью, является лишь суррогатом волосяного матраца и не может спорить с ним в отношении комфорта.

Мы давно проголодались и отправились разыскивать колесного мастера, — во время войны он торговал булками и вином. На месте колесной мастерской стоит небольшая, но опрятная гостиница с рестораном. Ее содержит сын мастера, бывший пехотный солдат, потерявший руку на Сомме, бывший преподаватель математики, махнувший уцелевшей рукой на науку и принявшийся за зарабатывание денег.

Он накормил нас гораздо лучше, чем кормил его отец. Он принес и бутылку вина. Но мы сидели молча. Лучше было не говорить о том, о чем хотелось говорить обоим: о товарищах, которые здесь погибли, о крови, о которой мы думали, что она пролита, а она оказалась вылитой.

— Кстати, мсье Мариус, — совершенно некстати восклицает Рене. — Вы, пожалуй, и не знаете, кто этот господин, который делает нам честь своим обществом и развлекает нас своим молчанием.

Шофер взглянул на меня и смущенно остановил вилку, поднесенную ко рту.

— Прошу прощения, — сказал он, — не знаю. Вы наняли меня на стоянке.

— Это известный мсье Дурак, — с серьезностью сказал Рене. — Неужели вы не слыхали? Мсье Дурак!

— Нет, господа,—сказал Мариус,—я не имел чести...

Рене поднял свой бокал, Мариус подхватил свой. Он сказал мне почтительно:

— За ваше здоровье, мсье Дурак! Очень рад, мсье Дурак! Право же, какая честь!

— Не удалось тебе пройти неузнанным, старый брат! — буркнул Рене. — Ну, что ж...

— Очень мило, что ты помнишь кличку, которую тебе дали русские студентки еще на первом курсе, — сказал я. — Но мне казалось установленным, что из нас двоих только ты имеешь право так называться. Я не претендую.

Я сказал это по-немецки, не желая вмешивать шофера.

— Ну, еще бы! — по-немецки же ответил Рене. — Ты двадцать лет лечишься. Но в четырнадцатом году ты в армию пошел? Под Борье воевал? Под Реймсом

воевал? А за что? Молчи уж. Зачем скромничать, мсье Дурак?

Мариус сказал:

— Я расскажу вам про одного чудака. У нас в Рипоне был некий мсье Шапрон. Он был мэр Рипона. Сейчас он живет в Сюиппе. Вы, конечно, слыхали про Сюипп. Там очень пекло во время войны. Эти шутники, артиллеристы, оставили после себя только мусор. И вот он живет в Сюиппе, потому что Рипона больше нет.

Хозяин принес счет. Мы расплатились и пошли пить кофе в трактир. В трактире Мариус сказал:

— Я вам говорил про этого чудака, который живет в Сюиппе. Рипона больше нет. Так вот иногда этот господин Шапрон уходит на те старые места, где когда-то был Рипон, и бродит там. Как тень прошлого. Он с совершенной точностью устанавливает место, где был его дом и его двор, и где стояла его конюшня, и где начиналось его поле. Он — чудак. Он — тень прошлого. Он даже может показать, где он стрелял куропаток в тринадцатом году. Нас было семьдесят пять жителей в Рипоне. По мобилизации мы дали семь голов пехоты. Шестеро убиты. Я один остался. Вольные жители тоже исчезли. Одни вымерли, другие рассеялись по Франции. Потому что Рипона больше нет, а селиться на старом месте нельзя: там все завалено неразорвавшимися снарядами.

Из трактира мы пошли на нашу старую позицию. Улица, по которой мы проходили во время войны, теперь залита асфальтом, но она такая же кривая и горбатая, как была. На околице, на старом месте попрежнему стоит чугунное распятие.

Туманное небо висело, как и в тот день, когда я впервые попал в эти места в четырнадцатом году.

— Ну, — сказал Рене, — отсюда двести метров влево, и мы дома.

Немного поодаль, влево от распятия, тощий кустарник скрывал во время войны наши окопы.

Надписи на столбах напоминают, что сюда нельзя ступать: неразорвавшиеся снаряды, бомбы и гранаты еще таят смерть. Проклятие висит над этой землей. Траншеи раскрыты, не засыпаны воронки и фугасные ямы. Куски металла, ржавые осколки снарядов, поломанные кот-

лы походных кухонь, ружейные стволы, баклаги, гильзы, солдатские кости, колючая проволока, банки из-под консервов валяются среди пустыни, которая вздыблена стрельбой. Ничто не растет на ней, и птицы давно улетели из этих мест. Среди скорбного одиночества лежат тут и там груды камней, остаток стены, ступени разбитой лестницы. Зрелище далекой и давно разрушенной жизни встает, как в дыму, и ест глаза.

— Нет порядка, — говорит Рене недовольным тоном капрала. — Какая это скотина набросала мне мусор в траншею?

— Чего ты орешь, капрал? — сказал я. — Ведь здесь третий взвод! Они всегда были неряхи. Наше место дальше.

Мы прошли к месту четвертого взвода. Оно было так же загажено, как и другие...

Неожиданно появился безрукий хозяин гостиницы. Он взошел на бугорок и начал:

— Господа! Перед нами лежит участок фронта мировой войны, известный под именем Шмен-де-Дам. Вы видите дорогу. Предание приписывает строительство этой дороги Нарбонну, который открыл ее в тысяча семьсот семидесятом году для того, чтобы дочери короля Людовика Пятнадцатого, дамы Франции, могли проехать в коляске в его дворец, находившийся в Бов. В действительности же эта дорога была построена гораздо раньше. По ней проходила Жанна д'Арк. Так или иначе, господа, очаровательное имя «дороги Дам» обозначает одно из самых знаменитых полей битв во Франции, — поле, где французский солдат дал наиболее высокие доказательства своего героизма.

Безрукий говорил, не глядя ни на поле, ни на нас. Он машинально повторял объяснения, которые давал приезжим в течение двадцати лет и в которых он никогда больше не сможет изменить ни одного слова. Он описал сентябрьские бои 1914 года, французское наступление 16 апреля 1917 года, майские и октябрьские бои 1918 года.

Пустыня, которая лежала перед нами, заваленная смертью, была наша. Мы не слушали его, а он говорил долго, с назойливой монотонностью гида.

Наконец он кончил и спустился со своего бугорка. Он подошел к нам.

— Эх, господа, — сказал он, раскуривая трубку. — Годы расцвета уже прошли для нас. Туристы стали гораздо реже приезжать на поля сражений. Это уже далеко не то, что было в первое время. Хоть снова возьмись за математику.

Он говорил теперь другим, простым тоном, даже более простым, теплым и человечным, чем обыкновенно. Так говорят иногда за кулисами актеры, снимая с себя грим и парики.

Внезапно встрепенулся Мариус:

— Я не закончил вам про мсье Шапрона. С тех пор, как нет Рипона, он все ходит туда, смотрит-смотрит на свой участок, где был дом его, конюшня и поле. Потом он пробирается туда, где было кладбище. У него там сын лежал, мой сверстник, — он умер молодым. И вот он приходит на кладбище и плачет. Я так думаю, что он, быть может, и не над тем местом плачет, потому что кто его теперь знает, где было кладбище, если Рипона нет? Это мое мнение! А тем более старику семьдесят пять лет! Что он может помнить? Их четверо, таких чудаков. Они все из Рипона: мсье Шапрон — мэр, и мсье Каньо, мсье Леру, мсье Рав. Мсье Шапрон — мэр, а все остальные муниципальные советники. Каждые четыре года они приходят на пустырь и устраивают выборы. Они переизбирают мэра, помощника и двух советников. После выборов они уходят в поле и плачут. Потом они возвращаются в Сюипп и напиваются.

Безрукий смотрел на Мариуса укоризненными глазами: шофер держал себя слишком развязно со своими седоками, он говорил слишком много и слишком громко.

А Мариус расхохотался:

— Вы знаете, что недавно устроили в Рипоне? Господа, я вам расскажу, что устроили в Рипоне, и вам станет смешно: артиллерийский полигон! Пригнали солдат и снова стреляют по старым местам. Прямо во-всю! Они стреляют по теням, господа, потому что Рипона, собственно говоря, нет.

Безрукий повернулся к нему спиной.

— К нам надо приезжать почаще, господа, — сказал

он. — На эти места надо спешить смотреть: они доживают последние мирные годы. Скоро они потеряют характер мертвой достопримечательности. Будет война, они снова оживут.

3. 11 НОЯБРЯ

В Компьенском лесу, у Ретонд, где в 1918 году стоял штабной поезд маршала Фоша, поперек рельс лежит большая черная плита с надписью: «На этом месте свободные народы разбили германскую гордыню».

Старые дубы грустно склонили листву над плитой. Чугунные цепи преграждают доступ к длинной просеке. В глубине ее стоит строение, похожее и на обыкновенный железнодорожный сарай и на усыпальницу. Там сохраняется вагон-салон маршала Фоша, в котором 11 ноября 1918 года было заключено перемирие.

Статуя маршала меланхолически смотрит на этот вагон с противоположной стороны полянки.

11 ноября 1918 года в одиннадцать часов утра горнист при ставке верховного командующего союзными армиями, сержант Селье, вышел на небольшую песчаную площадку перед вагоном, в котором помещалась главная квартира, и протрубил: «прекратить огонь».

В тот же день между восемью и десятью часами утра все начальники воинских частей и подразделений были предупреждены по телеграфу о том, что германская сторона приняла условия перемирия и что военные действия следует прекратить в одиннадцать часов.

В одиннадцать часов все горнисты трубили «прекратить огонь», и военные действия действительно прекратились.

В своих «Воспоминаниях о войне» Эрцбергер, который был главой германской делегации по переговорам с маршалом Фошем, описывает французского солдата, который с сумасшедшим видом бежал к помещению своего командира и, потрясая в воздухе бумажкой, кричал: «Готово! Подписано! В одиннадцать часов конец!» На бумажке был приказ маршала Фоша: «Военные действия прекратить по всей линии фронта в одиннадцать часов» и приказ по дивизии: «В одиннадцать часов ря-

довым привязать белые платки к винтовкам и кричать хором изо всех сил: «Да здравствует Франция» и петь «Марсельезу».

В одиннадцать часов трубачи выскочили из траншей на поверхность, еще рискуя жизнью. Трубы звучали неуверенно. Но все же прозвучало «прекратить огонь». Тягучие звуки уплыли в даль, их подхватывало эхо. Тотчас заиграли немецкие трубачи. Затем был подан сигнал «подниматься». Все поднялись, вышли из окопов и встали во весь рост лицом к неприятелю. Раздалась команда «смирно» и еще через мгновение другая, более громкая: «к знамени». Солдаты запели «Марсельезу» и плакали навзрыд, и вой их рыданий смешался с пением. Прусские гвардейцы тоже пели «Марсельезу» и, вскидывая в воздух каски, кричали: «Гох, гох, республик!»

Клемансо сначала хотел придержать известие втайне до момента обсуждения его в парламенте.

Но в одиннадцать часов ударила пушка, и всю страну охватило радостное безумие. Пуанкаре и Клемансо ненавидели друг друга, но на радостях и они расцеловались.

Красочно описывает этот день Леон Доде.

«Перемирие было вершиной достижений Клемансо. Его имя было у всех на устах. 11 ноября я был в Палате депутатов, когда он читал текст перемирия. Он читал твердым голосом. Вдалеке гремели пушечные салюты. «Отец победы» стоял бледный. Листки мести дрожали в его руке, затянутой, как всегда, в серую перчатку. Кончив чтение, он, дрожа, сошел с трибуны и сел на министерскую скамью. Все взгляды устремились на него. Тогда все увидели, как Бриан с растрепанными волосами, с блуждающими глазами, стал своей походкой краба пробираться к тому, кто в течение всей его жизни был предметом его зависти и ненависти. Он протянул триумфатору свои маленькие пальцы, грязные, как у поденщицы. Но Клемансо заметил его издали и резко заложил руки за спину».

В тылу началась возня между руководителями бойни, которых называли «отцами отечества и победы», но фронту предстояло еще много тревог.

Было заключено всего лишь перемирие. Еще были впереди крупные военные перегруппировки, Кастельно еще организовал армию, которая должна была отрезать

немцам отступление в случае, если они нарушат условия. Еще много было забот. До того дня, когда был, наконец, подписан мир, еще должно было пройти восемь с половиной месяцев. Но военные действия прекратились, и тишина внезапно обрушилась на несчастную страну, которая четыре с половиной года сотрясалась от пушечной пальбы.

Франция сделала из этого дня государственный праздник. Он ежегодно отмечается парадом и пышными церемониями.

Вечером накануне этого дня я проходил в Париже по Елисейским полям. Проспект был подобен могучей реке. Она катила полные воды и играла золотом и никелем. Триумфальная арка издали была похожа на величественный алтарь. С площади Согласия ее очертания были видны недостаточно ясно, и я поплыл дальше по течению.

Громадные трехцветные флаги были натянуты на мачты, похожие на копья исполинов, приготовившихся к битве. Они трепетали. В пламени прожекторов пылали их красные полосы, в тревожной бледности колыхались полосы белые, синие сливались с темнотой ночи.

Я подошел к самой арке. Над могилой Неизвестного колыхался призрачный огонек. Он был почти незаметен.

Утром 11 ноября я снова пришел сюда. Флаги расцвели, как цветы, распустившиеся за ночь. Холодный ветер раздувал их, как паруса. Было еще рано. Женщины, спешившие в метро, делали крюк, чтобы пройти под аркой. Здесь они торопливо опускали на землю кошолки и сетки, складывали на груди руки, беззвучно шептали молитвы и, уходя, торопливо осеняли себя крестным знамением.

Двенадцать постаментов, окрашенных в светлую краску, стояли на круглой площадке вокруг арки. На каждом было написано одно из тех имен, которые тревожат воспоминания каждого француза: Марна и Шампань, Уаза и Эна, Сомма, Артуа, Изер, Фландрия, Верден, Аргонны, Эльзас и Лотарингия. Италия, Восток, Моря и Колонии.

Сейчас придут делегации бывших комбатантов. В небольшие выемки перед этими постаментами уложат они

по нескольку пригоршней земли, привезенной с полей боев, о которых эти постаменты напоминают.

Комбатанты пришли, построившись по-военному. Многие надели старые мундиры и шинели, продырявленные в битвах, изорванные о проволочные заграждения, слежавшиеся в грязи траншей и в крови санитарных носилок. На улицах Парижа снова появилось страшное видение военных лет.

Пришел кортеж инвалидов — безногих, безруких, с поломанными спинами. Одни плелись на костылях, другие сидели в креслах, полулежали или лежали в колясках. Одни правили сами, других подталкивали жены, дети или друзья. За безногими следовали слепцы с белыми палочками; за слепцами — глухие с аппаратами на ушах; раненые в голову — со стальными обручами на черепах. Наконец, «Поломанные морды», как сами себя называют члены Ассоциации раненых в лицо. Многие носят искусственные носы, губы, подбородки, щеки. Но большинство черными масками прикрывает выломанные скулы, вырванные щеки, порванные до ушей рты.

Инвалиды передвигались толпой во всю ширину улицы. Но стройности не было в их движении. Они останавливались, отставали, застревали, потом снова присоединялись к движению.

Это были обломки, щепки. Река несла их, кружа и швыряя.

Над Неизвестным склонились знамена разбитых полков. Пушка прогремела вдали в десять часов пятьдесят девять минут, и жизнь в Париже остановилась на минуту. Был слышен лишь вой ветра. Трубачи и барабанщики заиграли «Призыв к мертвым», но скоро и они умолкли. Перед могилой Неизвестного началось прохождение войск. Заколыхались треуголки военно-инженерной школы, трехцветные перья на киверах сен-сирских кадет, шинели цвета резеды на юнкерах артиллерийского училища; национальная гвардия засверкала кирасами; выбивали шаг морские стрелки в белых гетрах, гремели танкисты, громыхали парашютисты в грузовиках, прошли, горяча коней, драгуны.

В девять часов тридцать минут общество друзей Жоржа Клемансо возложило венок к подножью его памятника.

В одиннадцать часов на берегу Сены собрались моряки, водники, рыболовы. Они принесли с собой венок. Старенький кюре прочитал над ним молитву. Потом два пожилых человека взяли венок в руки, осторожно раскачали и бросили в реку. Воды медленной Сены унесли его в море. Там он будет бродить по волнам и передавать грустные приветствия живых тем, кого во время войны поглотила пучина.

В час дня в Пантеоне состоялось поминовение погибших на войне писателей.

В течение всего дня продавались на улице незабудки — скромный цветок, символ единения душ. Была насмешка в том, что его продавали в память войны, которая сулила объединить всех, но объединила лишь мертвых, а между живыми оставила все старые преграды.

Собственно говоря, торжество начинается накануне. Еще десятого прибывают в Париж представители организации комбатантов из разных городов. Они зажигают факелы о пламень, струящийся из могилы Неизвестного, и увозят их к себе. Пламя будет гореть 11 ноября у памятников жертвам войны, — такие памятники воздвигнуты во всех городах и селах республики.

Делегация бывших комбатантов-бельгийцев тоже зажигает факел. Его торжественно переносят в городскую ратушу. Двадцать комбатантов-бельгийцев и десять комбатантов-французов бессменно стоят вокруг него в карауле до рассвета. При первых лучах солнца они трогаются в путь: факел увозят в Бельгию, в Брюссель. Там французским огнем будет зажжено пламя над могилой бельгийского Неизвестного.

В Брюсселе идет тот же церемониал.

Около пяти часов вечера делегация французских комбатантов отправляется в строевом порядке к Колонне конгресса, где покоится бельгийский Неизвестный. Они зажигают факел от огня с его могилы и везут огонь в Париж. Там бельгийским огнем будет возжено пламя над могилой французского Неизвестного.

Факел зажигает офицер из свиты короля. Оркестр королевских гренадер играет «Призыв к мертвым». Окруженный знаменами, предшествуемый военной музыкой и войсками, факел, несомый комбатантами, плывет по средневековым улицам старого города. Молчаливая, со-

средоточенная толпа стоит на обочинах улиц и на древней площади ратуши. Факел вносят в ратушу. Здесь вокруг него всю ночь стоит караул. На рассвете его отправляют во Францию. Первая остановка в Дуэ. У памятника погибшим на войне происходит передача эстафеты. Короткий парад, и автомобили убегают в сторону Арраса. Здесь в одиннадцать часов французский факел, идущий из Брюсселя, встретится с бельгийским факелом, идущим из Парижа.

Бывшие французские комбатанты, идущие из Брюсселя, соберутся у вокзала, у подножья памятника жертвам войны, лицом к западу. Метрах в пятистах от них лицом к востоку стоят бельгийские комбатанты, прибывшие из Парижа. Они ожидают сигнала, чтобы направиться к памятнику. Сквозь два ряда склоненных знамен идут навстречу друг другу инвалиды, несущие оба факела. Наступает минута молчания. Кортеж снова разделяется — одни поворачивают в сторону Брюсселя, другие по однообразным и меланхоличным дорогам Фландрии — в сторону Ретонд. Здесь последний этап перед Парижем. Пылает факел. Пламя его сольется с пламенем факелов, которые зажжет вокруг полянки расквартированный здесь полк сфаисов.

После минуты торжественного молчания делегации двинутся в Париж. Они прибудут туда в двадцать два часа и передадут в руки командующего войсками округа факел, зажженный в Брюсселе у могилы бельгийского Неизвестного. Командующий войсками поднесет этот факел к могиле французского Неизвестного.

И так во всей Европе, по крайней мере, во всех воевавших странах, и в Америке. Везде свои могилы Неизвестных, свои сложные и напыщенные ритуалы в их память.

В тот самый день, когда делегация французских офицеров откапывала под Верденом трупы восьми безыменных солдат, из числа которых впоследствии был отобран один, ныне покоящийся под Триумфальной аркой в Париже, делегация английских офицеров откапывала во Фландрии покойников в английских солдатских формах. Старшему в чине офицеру завязали глаза, и концом шпаги он указал на один из шести извлеченных из земли одинаковых гробов. Гроб этот был доставлен в Булонь.

Здесь его положили в другой, массивный дубовый гроб, который был выдолблен в стволе векового дуба. Дуб был специально для этой цели срублен в парке самого короля в Хемптон Корт. Гроб был выставлен в Булонском замке, перекрытый британским знаменем, пробитым пулями. На гроб была возложена драгоценная шпага из личной коллекции короля. Потом гроб перенесли в порт. В процессии следовали маршал Фош и бесчисленное множество генералов. Французский броненосец «Верден» принял гроб на борт и ушел в Англию. На середине Ламанша его встретила английская эскадра в составе шести миноносцев и проводила до Дувра. Здесь прах солдата принял маршал королевства и проводил его в Лондон. В Лондоне во главе траурного шествия встал король. Оно направилось в Вестминстерское аббатство, где Неизвестный солдат погребен среди могил государственных деятелей, поэтов и художников.

Спустя год своему Неизвестному воздала почести Америка. На четырех наиболее крупных кладбищах американских солдат во Франции было отобрано по одному безыменному покойнику. Четыре гроба были доставлены в ратушу города Шалон-на-Марне. Отличившийся на войне сержант Кобленцской оккупационной армии был удостоен чести выбрать труп, которому предстояло быть перевезенным в Америку. Все вышли на улицу. В парадном зале остался лишь этот сержант. Он возложил букет белых роз на один из гробов по своему выбору. Три гроба были преданы земле, а четвертый, избранный, был доставлен на «Олимпик» — флагманское судно адмирала Дэви в бою под Манильей во время испано-американской войны, одно из немногих судов, уцелевших от той эпохи. «Олимпик» пересек океан. Он поднялся по реке Потомак и прибыл в Вашингтон 9 ноября 1921 года. 11 ноября прах был предан земле на Арлингтонском кладбище, где покоятся величайшие люди Америки. Над могилой воздвигнут памятник в виде саркофага из белого мрамора, и на нем надпись: «Здесь в славе и почете покоится американский солдат, известный одному лишь богу».

А потом пошло. Все захотели иметь свою могилу Неизвестного: Италия, Чехо-Словакия, Югославия, Польша, Бельгия, Румыния. Даже Португалия! Всем странам

хватило по одному Неизвестному, лишь «великой» Португалии показалось мало иметь одного. Она завела двух: одного откопали во Фландрии, за другим поехали в колонии, в Мозамбико. Впрочем, похоронили их в Лиссабоне обоих под одной плитой!

Душно становится от сложности этого напряженно-торжественного лицемерия!

Вы встречаете людей, которым сорок пять лет. Тогда им было двадцать. Они носили за спиной ранцы и вещевые мешки, набитые тревогой и страданием, а также надеждами молодости. У них были невесты или жены, родные деревни, в которых доживали старики, у каждого было какое-нибудь умение, ремесло, занятие, и оно казалось самым лучшим. Они надеялись.

Потом многим из них выкапывали ямку, укладывали их туда, и ротный писарь заделывал в пакет отсыревшие в поту и крови бумаги, пожелтевшую фотографию, трубку.

Остальные вернулись. И вот лица у них искажены тревогой. Двадцать лет назад они были героями и победителями. Теперь они просто калеки, инвалиды с деревяжкой, и всем надоели. Им первым урезывают пенсию, когда не сходится государственный бюджет, и место сидельца в табачной лавке дается лишь наиболее пронырливым. От прочих отделываются медалями, памятниками, церемониями в честь убитых товарищей. Жизнь взяла их за глотки и за животы. Они теперь — всего лишь лежалое пушечное мясо.

Жизнь с каждым годом все больше и больше опустошает торжества перемирия. Она отнимает у них смысл. Через восемь с половиной месяцев после 11 ноября — 28 июля 1919 года в Версале был подписан мир.

Об этом дне не вспоминают. О нем никогда во Франции не говорят, как не говорят родители о сыне, который их опозорил. Этот день бесславно затерялся в гуще будней. Но он делает там каторжное дело. Франция ежечасно и ежеминутно ждет новой войны и боится ее. Война стала предметом ежедневных тревог французов, они растеряны и не знают, как спастись.

И вот приходит 11 ноября. В этот день воспоминаний они пьяны от жалоб, от плача, от разочарования, от злобы, от бессилия. Они, — в чьих ушах всю жизнь будут звучать грозные, величественные и окровавленные

имена Марны, Соммы, Вердена, Шампани и Вогезов; они, — добрые старые бородачи, безыменная толпа фронтовых страдальцев, у которых белеют волосы и ноги теряют гибкость; они, — которые на фронте умели смотреть в глаза смерти, а в тылу не выдержали взгляда хозяев и церемониймейстеров.

Вечером 11 ноября я пошел к своему приятелю, французскому коммунисту М. Было много народу. Почти все мы были комбатанты. Говорили об утреннем параде. Кто-то принес вечерние газеты. Правые издания исходили злобой: в утренней процессии союз комбатантов-республиканцев прошел с красным знаменем. Правые не могли этого перенести. Правые давно бесятся из-за этого союза. Они не перестают убеждать комбатантов, что те не могут и не должны объединяться в союзы, окрашенные в политические цвета. Старые комбатанты должны и сейчас стоять вне политики, как двадцать лет тому назад, когда они были в армии. Неплохо поливая грязью кое-кого из разложившихся буржуазных политиков, правые успели внушить демобилизованным некоторое недоверие к демократии, и многие комбатанты дали вовлечь себя в «аполитичные» объединения, которые все оказались фашистскими.

Но вот организовалось общество комбатантов-республиканцев, и во главе его встали три виднейших комбатанта-коммуниста: Анри Барбюс, Поль Вайян Кутюрье и Лефевр. Рабочая масса стала переходить именно в этот союз. Старые комбатанты поняли, в чем дело. Они не хотят итти второй раз на войну ради интересов господ Шнейдера и Де Венделя. Они не хотят, чтобы на эту войну угнали их сыновей. Они хотят совсем, совсем другого. Они требуют твердой демократической политики, теснейшего сближения с Советским Союзом, свободы для Испании. Многие из них побросали домашние очаги и, захватив с собой старые раны и солдатскую злобу, ушли в армию Испанской республики.

Они отлично знают цель и смысл и цену почестей, оказываемых Неизвестному солдату за то, что он дал себя убить. Но в день поминания их товарища они приходят на его могилу. Они приносят свое новое знамя:

пусть над прахом убитого солдата колышется красное полотно. Пусть он знает, этот бородач с Соммы, или Шампани, или из-под Вердена, или откуда он там есть,— пусть особенно знают живые, — что фронтовики, старые боевые товарищи Неизвестного, против того, чтобы солдаты были неизвестны и чтобы солдатам было неизвестно, за что и за кого их убивают.

Именно в обозначение таких своих мыслей фронтовики из республиканского союза пришли с красным знаменем.

Правая печать неистовствовала, она вопила об осквернении могилы, она рвала и метала, в исступлении она билась башкой о тротуар.

Об этом и говорили среди гостей. В углу в кресле сидел человек с громоподобным голосом, комбатант, ставший бойцом за коммунизм. Бешенство правых веселило его.

— Хо-хо! Мы заберем у них Неизвестного. Он — наш. Он непременно перейдет к нам. Обязательно заберем!

Он хохотал, точно гудел в бочку.

В конце декабря в городе Арле, в Провансе, происходил 9-й съезд Французской коммунистической партии.

Арль — один из древнейших городов Франции и Европы. Он был построен галло-римлянами и не только не прекращал с тех пор своего существования, но сохранил постройки, относящиеся к этой далекой заре европейской культуры. Гостиница «Форум», где я жил, не только стоит на площади римского Форума, но вделана в его развалины с использованием уцелевших частей древнего здания. Среди живых улиц лежат величественные руины античного театра. На берегу Роны, в аллее громадных кипарисов, сохранились саркофаги древнего галльского кладбища.

Но самое замечательное — это громадный римский цирк в самом центре города. Он еще и поныне служит местом народных празднеств.

Коммунисты не случайно избрали для своего съезда именно этот город, в котором историю Франции трогаешь руками. Молодая партия, законно претендующая на то, чтобы стать единственной наследницей старой французской культуры, ее многообразной красоты, ее фольклора, ее обычаев и традиций и всей величественной истории

французского народа, не случайно пришла в этот древний город, о котором сказал провансальский поэт Мистраль: «Ты был всем, чем город может быть: столицей империи, колыбелью республики, матерью свободы».

Необычайное зрелище представлял Арль в дни съезда: коммунистические плакаты, знамена Великой революции, красные флаги и гирлянды цветов украшали улицы, по которым некогда проходили легионы Цезаря и войска остготов.

Сам съезд был грандиозной манифестацией народности компартии, ее глубокой и органической связи со всей трудовой Францией. Партия создала крепкие кадры, могучих бойцов, вождей с широким государственным кругозором. Доклады горняка Мориса Тореза и пекаря Дюкло превосходили по эрудиции и широте все, что я слышал в Париже от своих профессоров за годы прохождения университетского курса.

В честь съезда на аренах были устроены народные празднества. Они начались с боя быков, старинной игры народов латинского юга.

Могучий бык был выпущен на арену. Два красных помпона были привязаны к его рогам и, болтаясь перед глазами, приводили животное в ярость. Однако люди на арене не были вооружены. Бык убою не подлежит. Задача играющих — сорвать у него помпоны с рогов и унести свои ноги. Игра требует громадной ловкости, подвижности. Арльские спортсмены оказались на высоте.

Юноши в белых костюмах и красных поясах и девушки в широких сборчатых цветастых шелковых платьях и кружевных наколках танцовали фарандолу под звуки барабанов и флейт.

Табунщики с Камарги, одевающиеся и в Провансе как ковбои американского Дикого Запада, показали замечательные игры на необъезженных лошадях.

Дул северный ветер мистраль, но все население древнего города высыпало на арену. Прибыли и многочисленные гости — пастухи с дельты Роны, солевары из Эйг-Морт, рыбаки из Сен-Луи и Гро, виноделы из Шатоеф, огородники из Мейнны, из Гравесона и Тринкетайля — весь трудолюбивый народ Прованса, непризнанный владелец его красок и богатств.

Неподалеку от Арля находится деревушка Фонвиель — родина Альфонса Доде. Еще сохранилась и мельница, героиня «Писем с мельницы». Мы поехали туда в экскурсию. Километрах в пятнадцати от Арля наши автобусы внезапно остановились. Я вышел посмотреть, что произошло. Оказалось, нам преградило путь население деревни, через которую мы должны были проехать. Крестьяне стояли по обе стороны дороги, перетянув через нее красное полотно. На нем было приветствие коммунистической партии. Крестьяне позволили нам ехать дальше, лишь когда мы все его прочитали.

Внезапно я услышал густой и гулкий бас:

— Так! Крестьяне тоже наши.

Голос показался мне знакомым. Я оглянулся. Так и есть — это был мой комбатант, с которым я познакомился 11 ноября на вечеринке у М. Он тоже узнал меня. Мы сели в один автобус и дальше ехали вместе.

— Ты видал? То-то! — громыхал он. — Крестьян забираем! А трехцветный флаг ты видел, как мы забрали?

В зале съезда висел трехцветный французский флаг, «забранный» компартией: белое и синее полотна имеют обычные и одинаковые размеры, а красное раз в десять больше и носит в углу серп и молот.

— Видал? Что такое «Марсельеза»? Гимн первой революции! Забираем. Неизвестный солдат? Он наш! Забираем. Мы заберем у них Мистраля, мы заберем у них мистраль! Все наше!

Его голос заглушал рокот мотора.

— Вся Франция наша! Мы ее любим! Вот возьми меня — я люблю Бургундию, ее горы и долины и вино. Шампань я тоже люблю. Я люблю арльскую колбасу. Я все люблю! Все заберем.

— Слушай, — сказал я. — Я не адвокат, но все-таки... Оставь им хоть Юлия Цезаря... А?

— Кого? — заревел он. — Юлия Цезаря? Арены? Бой быков? Фарандолу? Арлезианок? Ты, видно, был контужен в голову? Все наше! Все заберем!

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

К. Левин
Танненберг 19

М. Слонимский
Единорожец 110
Варшава 118
Чортово колесо 134
Шестой стрелковый 142
Копыто коня 163

Н. Тихонов
Вилла „Мечта" 169
Легкий завтрак 173

П. Евстафьев
Афонька Нагой 178
Отступление 191

Б. Лавренев
Стратегическая ошибка 198

Н. Тихонов
Война 259

С. Розенфельд
Окопы. 382

Ю. Вебер
Прорыв 475

Л. Славин
Дело под Картамышевым 500

А. Ульянский
Кривым путем 525

Н. Брыкин
Малиновые юнкера 589

М. Слонимский
Поручик Архангельский 669

М. Зощенко
Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова 684

В. Финк
Комбатанты 721

Ответств. редактор Ф. Князев. Технический редактор А. Кирнарская. Корректор С. Шаталов. Художник Г. Епифанов. Ленгорлит № 4035. С. П. — 30|Л. Тираж 10000. Сдано в набор 5|VII 1939 г. Подписано к печати 28|VIII 1939 г. Печ. л. 46½. Уч.-а. л. 40,3. Бум. л. 11⅝. Колич. знаков в 1 бум. л. 152.600. Отпечатано в типографии им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57. Заказ № 2587. 13 р. Переплет 2 р.

BC